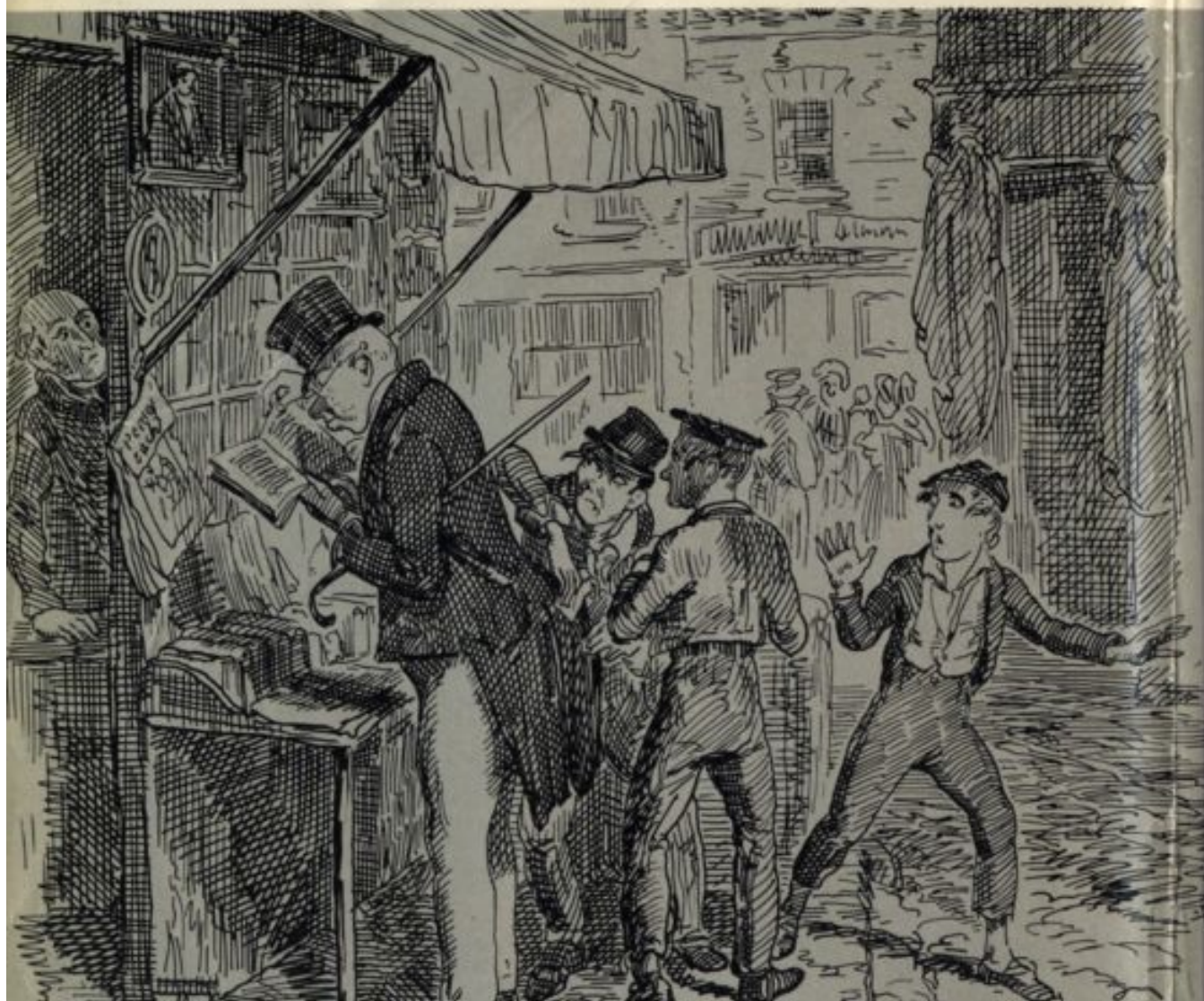


ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ





Диккенс и его творчество

Чарльз Диккенс¹ родился в Портси, на юге Англии, в 1812 году. Его отец был мелким чиновником – он служил клерком в конторе паровой компании. Таким образом, по происхождению Диккенс принадлежал к самому неимущему слою мелкой буржуазии, и юность его была отнюдь не легкой. Его отец, привыкший жить не по средствам, не вылезал из долгов, и в 1824 году был заключен в Маршалси – тюрьму для должников, так превосходно описанную в романе «Крошка Доррит». Чарльз, которому исполнилось тогда двенадцать лет, вынужден был начать работать на фабрике сапожной ваксы, в ужасных условиях, – период этот, навсегда запомнившийся Диккенсу, воскрешен им в эпизоде мытья бутылок в «Дэвиде Копперфилде».

Хотя денежные дела семьи затем немного поправились, систематического образования Диккенс так и не получил. Его, в подлинном смысле слова, самообразование базировалось, помимо личного опыта, на обширном и порою случайном чтении. Пятнадцати лет он бросил школу и поступил клерком к адвокату, а вскоре, подучившись немного стенографии, стал

¹ Статья известного английского ученого профессора А. Кеттла написана специально для нашего издания.

репортером при одном из местных судов. Затем последовал период журналистский – он писал отчеты о заседаниях парламента, – работа эта отточила перо Диккенса и в то же время на всю жизнь преисполнила его глубочайшего презрения к британской парламентской системе.

Тогда же он начал писать. Успех пришел сравнительно рано, и успех – ошеломляющий. «Записки Пиквикского клуба» были встречены как еще ни один роман в Англии, рядом с его популярностью мерк даже успех романов веверлеевского цикла Вальтера Скотта. В двадцать пять лет Диккенс был уже не только необычайно преуспевающим романистом, но и крупным общественным деятелем. С этого времени он разъезжал по Англии и Америке с лекциями, давал интервью, и всюду встречал восторженный прием. Он был не только великим писателем, но и одним из самых известных людей своего времени, мнением которого буквально по всем вопросам интересовался мир. Он был поразительный труженик. Помимо своих романов, регулярно появлявшихся в печати, он издавал несколько журналов, из которых наибольшим успехом пользовался журнал «Домашнее чтение».

Диккенс был типичным горожанином – плоть от плоти нового урбанического общества, порожденного промышленной революцией и развитием промышленного капитализма XIX века. В Лондоне, в огромном, растущем во все стороны, шумном, грязном Лондоне, – в то время самом крупном городе Европы, – он чувствовал себя дома. Он много путешествовал, главным образом по Франции и Италии, но всегда возвращался в Лондон. Этот город с его гнилыми трущобами, загаженной, вонючей рекой, доками, фабриками, складами, с его банками, рынками и роскошными особняками богачей был источником его творчества. В Лондоне и его окрестностях он прожил свою жизнь – бродил по лондонским улицам, посещал лондонские театры, клубы. Его личная, семейная жизнь приносила ему много хлопот, но не слишком много счастья: женитьба его оказалась в высшей степени неудачной, деньги он тратил с невероятной легкостью. Его постоянно просили выступать – в качестве лектора, чтеца собственных произведений, актера. Несколько раз ему предлагали баллотироваться в парламент, но он каждый раз отказывался. В отличие от многих писателей последующих поколений, он был не сторонним наблюдателем, а активным, почти маниакально увлеченным участником жизни. Когда в 1870 году он скончался, казалось, что умер не просто известный писатель, а перестал существовать целый общественный институт.

Годы жизни Диккенса охватывают как раз период, ознаменованный превращением Великобритании в сильнейшую капиталистическую державу мира и развитием буржуазной демократии с характерными для нее культом денег и массовыми выступлениями промышленных рабочих. В 1812 году, когда Диккенс родился, Англией все еще правила земельная аристократия и торговая буржуазия, большинство же народа почти никакими демократическими правами не обладало. Ко времени смерти Диккенса, в 1870 году, большинство рабочих-мужчин пользовались правом голоса при выборах в парламент, но действительная власть перешла в руки капиталистов-промышленников, представленных в последнем из законченных романов Диккенса «Наш общий друг» незабываемой фигурой мистера Подснэпа.

Отношение Диккенса к современному ему английскому обществу определить нелегко. Без сомнения, он в значительной степени явился порождением викторианской буржуазной Англии и принимал многие из общепринятых тогда ценностей. Его дурной вкус, а нередко и филистерство, излишний пуризм в описаниях любовных отношений, его постоянная готовность писать так, как этого хочет публика, – все служит доказательством того, насколько далеко простиралось его согласие со многими привычными, но весьма непривлекательными сторонами современной ему действительности. И все же видеть в Диккенсе только лишь мелкого буржуа викторианской эпохи, который был счастлив своим теплым местечком в хорошо организованном обществе и целиком разделял самодовольство этого общества, значит раскрыть лишь очень небольшую часть истины.

Диккенс с самой юности был вольнодумцем и бунтарем, выступавшим с суровой критикой общества, в котором родился. Уже в ранних его произведениях при всем их

добродушном юморе он говорит от имени народа, а никак не правящих классов, а со времени напечатания «Оливера Твиста»,² вышедшего в 1838 году, когда автору было всего двадцать шесть лет, стало совершенно ясно, что мир, каков он был тогда, не нашел в лице Диккенса ни явного, ни скрытого своего защитника. Но на этой стадии внимание Диккенса привлекали лишь частные проявления несправедливости и жестокости английского общественного строя, такие, например, как зверское обращение с детьми, существование трущоб, бесчеловечность системы ужасных работных домов. «Приключения Оливера Твиста» в этом смысле любопытная смесь беспокойства и благодушия. Тревожащие душу картины: мрачный образ лондонского дна с обитающими там Феджинами, Сайксами и Ловкими Плутами – наиболее сильная, прочувствованная и наиболее запоминающаяся часть романа, и все же история Оливера, его приобщение, благодаря волшебному вмешательству крестных, к респектабельной жизни, свидетельствуют о приятии Диккенсом одного из самых лживых мифов, выдуманных буржуазным обществом. Как мы уже указывали,³ в этом романе явственна двойственность мировоззрения Диккенса. С одной стороны, реакционному государству вменяются в вину и работные дома, и безжалостность, с которой оно изгоняет из общества и толкает на путь страдания и преступлений Оливера Твиста; с другой стороны, это же реакционное государство и избавляет Оливера от всех его несчастий, восстанавливает в благородном звании и в правах на наследство, превращает в добропорядочного представителя класса буржуа, чье господство приносит те самые плоды, вся губительность которых уже была раскрыта в книге.

Эта двойственность, столь очевидная у раннего Диккенса, в значительной степени преодолевается им в произведениях периода зрелости. С годами он стал радикальнее в своих взглядах, глубже и последовательнее оценив Англию XIX столетия. И хотя он всегда страстно восставал против всякой несправедливости, в поздних романах его занимают уже не столько частные социальные явления или случаи злоупотреблений, сколько природа и сущность викторианского общества. Все чаще оно видится ему прогнившей в самой своей сердцевине бесчеловечной системой, основанной на алчности власть имущих и привилегиях отдельных классов. В «Холодном доме» (1853) Диккенс обрушивается уже не на городской суд, а на всю систему судопроизводства. В «Больших надеждах» (1861) проблема получения наследства, легкого приобретения жизненных благ, так некритически трактуемая в ранних романах (тогда Диккенсу представлялось, что как только Оливер Твист получит законное наследство, его жизнь станет прекрасной), приобретает совершенно другой поворот и освещение: предвкушение наследства и легкой жизни развращает героя романа Пипа, а согласно идее романа «Наш общий друг» (1865), возвыситься в буржуазном обществе можно, лишь потеряв свои человеческие качества. Совершенно очевидно, что Диккенс пришел к резкому неприятию общества, к которому принадлежал.

Это тем более поразительно, если вспомнить, что викторианская Англия становится именно в это время благополучной и процветающей. Сороковые годы были периодом страшной нищеты, лишений и отчаянной борьбы. Пятидесятые и шестидесятые, наоборот,

² Роман «Приключения Оливера Твиста» («TheAdventuresofOliverTwist») впервые печатался с февраля 1837 по март 1839 года в новом журнале «Bentley'smiscellany» («Смесь Бентли»), редактором которого издатель Бентли пригласил Диккенса. Еще до окончания печатания его в журнале Диккенс, по соглашению с Бентли, в октябре 1838 года выпустил роман отдельным изданием. В 1846 году роман был издан Диккенсом в ежемесячных выпусках, выходящих с января по октябрь. Иллюстрировал роман во всех этих изданиях известный рисовальщик Джордж Крукшенк.

В России, в февральском номере «Литературной газеты» за 1841 год (№ 14), появился отрывок из «Оливера Твиста» (гл. XXIII), названный «О том, какое влияние имеют чайные ложки на любовь и нравственность». Полный текст романа (перевод А. Горковенко) был напечатан анонимно отдельной книгой (СПб 1841). Настоящим изданием воспроизводится многократно печатавшийся в советских изданиях (в том числе в Собрании сочинений Диккенса, т. 4, 1958) перевод А. В. Кривцовой.

³ А. Кеттл, Введение в историю английского романа, М. 1966.

ознаменовались викторианским «бумом», расцветом британского капитализма, гордым символом которого явилась Выставка 1851 года. Однако капитализм преуспевающий, казалось, вызывал у Диккенса еще меньше симпатий, чем капитализм, переживающий трудности. Критика общества у Диккенса с годами углубилась – это углубление повлекло за собой и дальнейшее совершенствование художественного мастерства. Поздние романы Диккенса не только серьезнее, сумрачнее по колориту, но и написаны на более высоком уровне мастерства, лучше композиционно построены, чем ранние романы.

Неправильно было бы предположить, что у Диккенса когда-либо в его жизни были последовательные, четко сформулированные политические воззрения. Он никогда не претендовал в своих произведениях на систематический научный анализ, подобный тому, какой создали Маркс и Энгельс, так же работавшие в середине XIX века в Англии. В области политики Диккенс не был зрелым мыслителем. В начале своей литературной карьеры он, например, не оценил в полной мере значения развернувшегося тогда чартистского движения, позднее не осознал важности крепнувшего тред-юнионизма. Он называл себя радикалом, и это неопределенное по своему политическому содержанию понятие очень верно характеризует его позицию. Как уже говорилось, социальные основы общества вызывали у него к себе резко критическое отношение, но фундаментом его критицизму служил не столько последовательный классовый анализ, сколько убежденность его как гуманиста в том, что провозглашаемые собственническим обществом ценности враждебны человеческому счастью и прогрессу. Он весьма смутно представлял себе, что может быть сделано или должно быть сделано в практическом смысле. Он ненавидел денежных тузов, презирал политиков, не доверял рабочим агитаторам, но не знал, что предложить взамен.

Ограниченность политических воззрений Диккенса не так существенна, как может показаться. Как художник он достаточно ясно представлял свои задачи. В конце жизни, в 1869 году, выступая с речью в Бирмингеме, он сформулировал свое политическое кредо, «состоящее из двух пунктов и не имеющее никакого отношения к каким-либо партиям или отдельным лицам», следующим образом: «Моя вера в людей правящих бесконечно мала; моя вера в людей управляемых – безгранична».

Значение этого заявления легко недооценить, оно, на первый взгляд, кажется лишь обычным выражением сочувствия народу. Однако существенное в этом заявлении то, что в нем Диккенс ясно противопоставляет «правлящих» и «управляемых» и отождествляет себя с последними. В народе он видит не пассивную массу, а активную силу общества, более того, силу, противоборствующую правящему классу. Это определение еще не предполагает классовый анализ общества, но ясно характеризует симпатии Диккенса. Подразумевается, что «управляемые» не могут стать самостоятельной силой, пока они не станут правящим классом, – таким образом, мировоззрение Диккенса объединяет его с простым народом в его борьбе против правящей верхушки, и в этом и состоит сущность его позиции радикала.

Диккенс – великий, народный писатель. Факт очевидный, но тем не менее значительный. Он очевиден, ибо во всем мире миллионы читателей уже нескольких поколений знают и любят книги Диккенса. Однако в понятие «народный писатель» мы обычно вкладываем и нечто большее. Мы имеем в виду особого рода отношения между писателем и читательской массой. Мировоззрение Диккенса, сам подход его к творчеству, взгляды Диккенса народны и тем самым противостоят аристократически-эстетским взглядам элиты. Бывают писатели, и писатели хорошие, честные, которые тем не менее не отождествляют свою жизнь, свои чаяния с жизнью и чаяниями народа. Не таков Диккенс. Силу и жизненность он черпает в близости своей к народу.

В чем сила Диккенса? Без сомнения, ее рождает и связь его с существовавшими тогда в Британии формами народной культуры. С самого детства и далее, уже в зрелом возрасте, Диккенс черпал из богатого источника английской народной культуры. В его книгах действуют персонажи народных детских песенок, преданий, волшебных сказок. Ведьмы, великаны и волшебницы-крестные, пришедшие из устного творчества, сочетаются в его романах с реалистическим описанием Британии XIX века. Что такое Феджин, как не

великан, злой дух из волшебной сказки, представленный, однако, на мрачном и реалистическом фоне полного нищеты и преступлений диккенсовского Лондона? А что такое сам Оливер, как не классический, повторяющийся в десятках волшебных сказок, заблудившийся малыш, ребенок, брошенный в лесу алчными, злыми родственниками, отнявшими его законное наследство? Образ Оливера Твиста сам по себе не представляет особого интереса. Он зауряден и не очень сложен. По существу, мы узнаем об Оливере лишь то, что он мал, беден и беспомощен. Он возбуждает к себе сочувствие и интерес иного рода, чем, скажем, персонажи толстовских романов, настолько правдиво изображенные, что каждый обнаруживает в них сходство с собой. Мы жалеем Оливера точно так же, как жалели бы маленького нищего из волшебной сказки. В XIX век, в сложный реализм литературы современного индустриального общества Диккенс перенес традиционную манеру рассказа, уходящую в глубь человеческой истории.

Европейские писатели XIX–XX веков, особенно писатели Запада, придерживаются обычно других творческих принципов. Они склонны верить в свою исключительность, и каким бы ни было их отношение к обществу – критическим или конформистским, – они не отождествляют себя полностью с тем, что описывают. В отличие от них, Диккенс не ощущал пропасти между собой и народом, не испытывал пренебрежения к мнению народа, его идеалам.

В первых же абзацах «Колоколов» он говорит: «Желательно с самого начала устранить возможные недомолвки между рассказчиком и читателем», ибо не считает себя сверхчеловеком, великодушно позволяющим массам приобщиться к своим высоким мыслям, – он рассказчик, добросовестно выполняющий условия уважаемого обеими сторонами договора.

Это важная сторона творчества Диккенса, и она в значительной степени определяет сценичность, театральность его художественной манеры. Из всех существовавших в Лондоне в середине XIX века форм народного искусства наиболее яркой был мюзик-холл, театральные представления, посещавшиеся ради развлечения и выпивки рабочими и включавшие всевозможного рода скетчи и танцы, в которых действовали самые разнообразные эксцентрические персонажи.

Диккенс любил театр и многое почерпнул оттуда. Сцена суда над Ловким Плутом, например, по замыслу и выразительным средствам напоминает мюзик-холльный скетч. Подобные детали интересны не только в плане историко-культурном – они дают нам ключ к пониманию самой природы диккенсовского творчества. Искусство Диккенса театрально: его отличают столь свойственные театру яркость и гиперболичность. Диккенс, приглашает своих читателей не на последовательный и тонкий самоанализ страдающей души, мы получаем билет в огромный зал первоклассного мюзик-холла, руководитель которого – автор – демонстрирует на сцене события и персонажи, гиперболизированные по сравнению с жизнью. В самом Диккенсе было много артистизма, и, как истинный артист, он любит быть на сцене. Он обладает всем великолепием техники и талантом приковывать к себе внимание зрителей; он не только драматург, но и актер. Диккенс представляется нам не замкнувшимся в тиши кабинета теоретиком, стремящимся найти выражение своему внутреннему «я», а актером, демонстрирующим себя и свое творение всему миру. Сам творческий процесс является для него переживанием, полным драматизма. «Увлеченный «Колоколами», я постоянно нахожусь в сильнейшем возбуждении, – писал он во время работы над повестью. – Я встаю в семь, принимаю холодную ванну перед завтраком и, красный и злой, кидаюсь в схватку, которая длится до трех или около того...» Он очень любил выступать с чтением отрывков из своих книг, и делал это превосходно. Театральность была свойственна всему творчеству Диккенса. Читатели, не приемлющие театральности, не воспринимают и книги Диккенса, но большинство ими восхищаются, как восхищаются великими актерами – Сарой Бернар или Шаляпиным, – в искусстве которых талант и театральность неотделимы. Все романы Диккенса сначала печатались с продолжением в ежемесячных и даже еженедельных изданиях и зачастую, как это было, например, с «Колоколами», прямо из-под

пера писателя. Обычно он начинал печатать роман частями еще до того, как заканчивал его. Это заставляло его быть необычайно чутким к реакции публики. Если роман переставали читать и спрос на него падал, Диккенс понимал – что-то в книге не так. Читатели часто писали ему, делились мыслями о прочитанном и даже предлагали возможные варианты продолжения. Диккенс не пренебрегал этими советами, хотя, конечно, не всегда им следовал: он не считал свои произведения непогрешимыми. Напротив, он бывал рад возможности общения с читателями, которую предоставляло ему такое печатание романов с продолжением, публичные выступления и переписка.

Своими публичными чтениями, во время которых он чаще других произведений читал «Рождественскую песнь», «Колокола» и сцену убийства Нэнси из «Оливера Твиста», Диккенс лишь подхватил и перевел в план профессиональный обычай, распространенный среди его читателей. В викторианскую эпоху, когда семьи были большими, а развлечения – не такими уж частыми и разнообразными, очень любили читать вслух или слушать чтение в семейном кругу. Не будет ошибкой утверждение, что романы Диккенса предназначались и для чтения вслух. Это проясняет и некоторые стилевые особенности Диккенса. Его стиль – это стиль оратора. «Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уже кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать... Умел, умел, старый греховодник! Это был не человек, а камень. Да, он был холоден и тверд, как камень, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытый, замкнутый, одинокий – он прятался, как устрица в свою раковину». Эти фразы так и просятся, чтобы их читали вслух: умело подобранные прилагательные сами собой вызывают неодобрительную, негодующую интонацию. Читая этот отрывок вслух, понимаешь, насколько блестяще он написан: заключающее его сравнение Скруджа с устрицей, как хорошая реплика в пьесе, снимает накопленное негодование неожиданным комическим эффектом. В чтении про себя шутки Диккенса часто кажутся не особенно тонкими, а повторение ключевых слов и фраз – назойливым. Но эти же особенности при чтении вслух совсем не выглядят недостатками.

С самого начала своей творческой деятельности Диккенс был умелым мастером, точно знавшим, чего он добивается. Безудержная велеречивость иных его пассажей не всегда по вкусу придирчивому читателю, но и в них он почти всегда достигает намеченной цели. Возьмем начало третьей части «Колоколов».

«Темны тяжелые тучи и мутны глубокие воды, когда море сознания после долгого штиля отдаст мертвых, бывших в нем. Чудища, вида странного и дикого, всплывают из глубин, воскресшие до времени, незавершенные; куски и обрывки несходных вещей перемещены и спутаны; и когда, и как, и каким неисповедимым порядком одно отделяется от другого и всякое чувство, всякий предмет вновь обретает жизнь и привычный облик, – того не знает никто, хотя каждый из нас каждодневно являет собою вместилище этой великой тайны».

Диккенс выступает здесь не в лучшем своем качестве: многословие и неопределенность, порождаемая туманным выражением «великая тайна», – здесь ключевым, – портят отрывок. И все же при чтении нас увлекает красноречие Диккенса, его искусство управлять словами, хотя способ, каким он это делает, нам здесь не кажется удачным.

Для писательского мастерства Диккенса в его лучших произведениях особенно характерным является сплав фантастики и реализма. Его воображение тяготеет к фантастическим образам. Даже некоторые из главных персонажей Диккенса – Ловкий Плут, Трухти Вэк, наконец, сам старый Скрудж – написаны с гиперболизацией, выделяющей их из ряда людей обыкновенных, с которыми то и дело встречаешься в жизни. Вот почему они иногда воспринимаются как карикатуры. И все же, погружаясь в атмосферу повествования, где действуют эти персонажи, постигаешь правду их характеров. Если они карикатурны, то лишь потому, что способ изображения их предполагает преувеличение, полет фантазии, но никак не потому, что персонажи эти недостаточно правдивы. При внимательном анализе

становится ясно, что, несмотря на все преувеличения, такие характеры являются в высшей степени реалистическими социальными типами, и если раньше мы не видели этого с такой отчетливостью, то лишь в силу недостаточной тренированности воображения, несравнимого с воображением Диккенса.

Ловкий Плут покоряет нас не тем, что он смешон, а своей типичностью: этот наглый мальчишка развращен миром, в котором живет, и мстит этому миру за все, что ему пришлось вынести. Слова его на суде: «Эта лавочка не годится для правосудия» – смешны и наглы, но по существу абсолютно верны. Как художественный образ Плут выше Оливера: обстоятельства жизни, самым странным образом, не оказывают ни малейшего влияния на Оливера, в то время как воспитанный миром лондонских трущоб Плут заставляет осознать нас, насколько ужасен этот мир и насколько губителен он для человека. Ведь потенциально Плут – замечательная личность. Умный, сильный, острый, талантливый, он не желает покоряться лицемерному обществу, которое породило его, чтобы затем растоптать. Именно через преувеличения постигается человеческая правда этого образа. Создавая этот яркий характер – через описания и, прежде всего, через речь Плути, – Диккенс далеко уходит от негативного натурализма художников-бытописателей и раскрывает нам мир таким, каков он есть в действительности, подлинный мир острейших конфликтов, жестокой борьбы и неисчерпаемых человеческих возможностей.

Трухти Вэк и Скрудж не похожи на Плути, однако созданы они по тому же принципу. Это персонажи сказочные, неправдоподобные, если судить о них по законам натуралистического бытописания. И все же в этих персонажах и в их отношениях с другими героями Диккенс воплотил реальные общественные тенденции, реальные противоречия своего времени. Услужливость Трухти, его убежденность в том, что он и на самом деле человек испорченный, каким его считают вышестоящие, суть выражение действительных социальных противоречий. Даже звон колоколов, в котором слышатся слова: «Упразднить, упразднить! Доброе время, старое время! Факты-цифры, факты-цифры! Упразднить, упразднить!» – не такая уж абсолютная фантастика, как может показаться. Этот образ воплощает покорность маленьких людей, ибо разве не похожа на колокольный звон пропаганда правящих классов, твердящая свои фальшивые лозунги, пока не закружится голова у несчастной жертвы и не потеряет она остатки человеческого достоинства? Вновь фантастика Диккенса оборачивается не чем иным, как реализмом. Среди произведений Диккенса «Колокола» – одна из наиболее действенных атак на буржуазную идеологию с ее утилитаризмом, филантропией и демагогической опекой. А Скрудж из «Рождественской песни» – совсем не просто одинокий и чудаковатый старик. Как пишет о нем Эдгар Джонсон в своей превосходной биографии Диккенса, «он воплощение того ужасного бездуховного меркантилизма, того жестокого безразличия к благу людей, которые экономисты возвели в систему, бизнесмены и промышленники сделали своей жизненной философией, а общество сочло неизбежным и вполне разумным». И далее: «...в противовес бездушному, бесчувственному утилитаризму, Диккенс воспел справедливость, сердечную щедрость, благородство сострадания, заявил о необходимости протянуть руку помощи не только каждому человеку, нуждающемуся в облегчении своего положения, но и всему обществу, нуждающемуся в помощи для разрешения своих проблем».

В этом, в конечном счете, сила Диккенса, секрет его популярности его величия как народного писателя. Источник диккенсовского реализма – в его умении взглянуть на мир глазами простого человека, отбросив все привилегии; родник, питающий его фантазию, – сочувствие человеку, вера в него, отказ признать угнетение и нищету естественными явлениями, искренняя убежденность гуманиста в том, что человек способен переделать мир, переделав при этом самого себя.

А. КЕТТЛ

Приключения Оливера Твист

Глава I

повествует о месте, где родился Оливер Твист, и обстоятельствах, сопутствовавших его рождению

Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах, больших и малых, именно – работный дом.⁴ И в этом работном доме родился, – я могу себя не утруждать указанием дня и числа, так как это не имеет никакого значения для читателя, во всяком случае на данной стадии повествования, – родился смертный, чье имя предшествует началу этой главы.

Когда приходский врач⁵ ввел его в сей мир печали и скорбей, долгое время казалось весьма сомнительным, выживет ли ребенок, чтобы получить какое бы то ни было имя; по всей вероятности, эти мемуары никогда не вышли бы в свет, а если бы вышли, то заняли бы не более двух-трех страниц и благодаря этому бесценному качеству являли бы собою самый краткий и правдивый образец биографии из всех сохранившихся в литературе любого века или любой страны.

Хотя я не склонен утверждать, что рождение в работном доме само по себе самая счастливая и завидная участь, какая может выпасть на долю человека, тем не менее я полагаю, что при данных условиях это было наилучшим для Оливера Твиста. Потому что весьма трудно было добиться, чтобы Оливер Твист взял на себя заботу о своем дыхании, а это занятие хлопотливое, хотя обычай сделал его необходимым для нашего безболезненного существования. В течение некоторого времени он лежал, задыхающийся, на шерстяном матрасике, находясь в неустойчивом равновесии между этим миром и грядущим и решительно склоняясь в пользу последнего. Если бы на протяжении этого короткого промежутка времени Оливер был окружен заботливыми бабушками, встревоженными тетками, опытными сиделками и премудрыми докторами, он неизбежно и, несомненно был бы загублен. Но так как никого поблизости не было, кроме нищей старухи, у которой голова затуманилась от непривычной порции пива, и приходского врача, исполнявшего свои обязанности по договору, Оливер и Природа вдвоем выиграли битву. В результате Оливер после недолгой борьбы вздохнул, чихнул и возвестил обитателям работного дома о новом бремени, ложившемся на приход, испустив такой громкий вопль, какой только можно было ожидать от младенца мужского пола, который три с четвертью минуты назад получил сей весьма полезный дар – голос.

Как только Оливер обнаружил это первое доказательство надлежащей и свободной деятельности своих легких, лоскутное одеяло, небрежно брошенное на железную кровать, зашевелилось, бледное лицо молодой женщины приподнялось с подушки и слабый голос невнятно произнес:

– Дайте мне посмотреть на ребенка – и умереть.

⁴ *Работный дом* – дом призрения (приют) для бедняков в Англии. Нарисованная Диккенсом в романе картина реалистически воспроизводит организацию и порядки английских работных домов с их тюремным режимом.

⁵ *Приходский врач* – врач, состоящий на службе в «приходе». В Англии раньше приходом назывался район, во главе которого церковные власти ставили священника с правом взимать с населения налоги в пользу государственной англиканской церкви. Но с течением времени приходом стал называться небольшой район в городах и сельской местности, хозяйственная жизнь которого была подчинена выборному совету граждан. В эпоху Диккенса в Англии было пятнадцать с половиной тысяч приходов. К управлению делами прихода рабочие и крестьяне не допускались, ибо правом голоса обладали только жители с высоким имущественным цензом. В круг ведения приходских властей входила также организация так называемой «помощи бедным», то есть работный дом, куда решались вступать только те жители прихода, которые потеряли всякую надежду на улучшение своих жизненных условий.

Врач сидел у камина, согревая и потирая ладони. Когда заговорила молодая женщина, он встал и, подойдя к изголовью, сказал ласковее, чем можно было от него ждать:

– Ну, вам еще рано говорить о смерти!

– Конечно, боже избавь! – вмешалась сиделка, торопливо засовывая в карман зеленую бутылку, содержимое которой она с явным удовольствием смаковала в углу комнаты. – Боже избавь! Вот когда она проживет столько, сколько прожила я, сэр, да произведет на свет тринадцать ребят, и из них останутся в живых двое, да и те будут с нею в работном доме, вот тогда она образумится и не будет принимать все близко к сердцу!.. Подумайте, милая, о том, что значит быть матерью! Какой у вас милый ребеночек!

По-видимому, эта утешительная перспектива материнства не произвела надлежащего впечатления. Больная покачала головой и протянула руку к ребенку.

Доктор передал его в ее объятия. Она страстно прижалась холодными, бледными губами к его лбу, провела рукой по лицу, дико осмотрелась вокруг, вздрогнула, откинулась назад... и умерла. Ей растирали грудь, руки и виски, но сердце остановилось навеки. Что-то говорили о надежде и успокоении. Но этого она давно уже не ведала.

– Все кончено, миссис Тингами! – сказал, наконец, врач.

– Да, все кончено. Ах, бедняжка! – подтвердила сиделка, подхватывая пробку от зеленой бутылки, упавшую на подушку, когда она наклонилась, чтобы взять ребенка. – Бедняжка!

– Вам незачем посылать за мной, если ребенок будет кричать, – сказал врач, медленно натягивая перчатки. – Очень возможно, что он окажется беспокойным. В таком случае дайте ему жидкой каши. – Он надел шляпу, направился к двери и, приостановившись у кровати, добавил: – Миловидная женщина... Откуда она пришла?

– Ее принесли сюда вчера вечером, – ответила старуха, – по распоряжению надзирателя. Ее нашли лежащей на улице. Она пришла издалека, башмаки у нее совсем истоптаны, но откуда и куда она шла – никто не знает.

Врач наклонился к покойнице и поднял ее левую руку.

– Старая история, – сказал он, покачивая головой. – Нет обручального кольца... Ну, спокойной ночи!

Достойный медик отправился обедать, а сиделка, еще раз приложившись к зеленой бутылке, уселась на низкий стул у камина и принялась облачать младенца.

Каким превосходным доказательством могущества одеяния явился юный Оливер Твист! Закутанный в одеяло, которое было доселе единственным его покровом, он мог быть сыном дворянина и сыном нищего; самый родовитый человек едва ли смог бы определить подобающее ему место в обществе. Но теперь, когда его облачили в старую коленкоровую рубашонку, пожелтевшую от времени, он был отмечен и снабжен ярлыком и сразу занял свое место – приходского ребенка, сироты из работного дома, смиренного колодного бедняка, проходящего свой жизненный путь под градом ударов и пощечин, презираемого всеми и нигде не встречающего жалости.

Оливер громко кричал. Если бы мог он знать, что он сирота, оставленный на милосердное попечение церковных старост и надзирателей, быть может, он кричал бы еще громче.

Глава II

повествует о том, как рос, воспитывался и как был вскормлен Оливер Твист

В течение следующих восьми или десяти месяцев Оливер был жертвой системы вероломства и обманов. Его кормили из рожка. О голодном малютке-сироте, лишенном самого необходимого, власти работного дома доложили надлежащим образом приходским властям. Приходские власти с достоинством запросили властей работного дома о том, нет ли какой-нибудь особы женского пола, проживающей в доме, которая могла бы доставить

Оливеру Твисту утешение и питание, столь для него необходимые. На это власти работного дома ответили, что такой особы нет. Тогда приходские власти великодушно и человечно порешили, что Оливера следует поместить «на ферму», или, иными словами, препроводить его в отделение работного дома, находившееся на расстоянии примерно трех миль, где от двадцати до тридцати других юных нарушителей закона о бедных⁶ копошились по целым дням на полу, не страдая от избытка пищи или одежды, под материнским надзором пожилой особы, которая принимала к себе этих преступников за семь с половиной пенсов с души. Семь с половиной пенсов в неделю – недурная сумма на содержание ребенка; немало можно приобрести на семь с половиной пенсов – вполне достаточно, чтобы переполнить желудок и вызвать неприятные последствия. Пожилая особа женского пола была человеком разумным и опытным – она знала, что идет на пользу детям. И она в совершенстве постигла, что идет на пользу ей самой. Поэтому большую часть еженедельной стипендии она оставляла себе, а подрастающему приходскому поколению уделяла значительно меньшую долю, чем та, которая была ему назначена. Иными словами, она открыла в бездонных глубинах еще большую глубину, проявив себя великим философом.

Всем известна история другого философа, который измыслил знаменитую теорию о том, что лошадь может существовать без пищи, И он успешно доказал ее, что довел ежедневную порцию пищи, получаемую его собственной лошастью, до одной соломинки; несомненно он сделал бы ее чрезвычайно горячим и резвым животным, если бы она не пала за сутки до того дня, как ей предстояло перейти на отменную порцию воздуха. К несчастью для экспериментальной философии той женщины, чьим заботам и покровительству был поручен Оливер Твист, к таким же результатам обычно приводило применение ее системы; потому что в ту самую минуту, когда дитя научалось поддерживать в себе жизнь ничтожной долей самой непитательной пищи, по превратности судьбы, в восьми с половиной случаях из десяти, оно или заболело от голода и холода, или по недосмотру падало в огонь, или погибало от удушья. В любом из этих случаев несчастный малютка отправлялся в иной мир, чтоб там соединиться со своими родителями, коих он не ведал в этом.

Иной раз, когда производилось особо строгое следствие о приходском ребенке, за которым недосмотрели, а он опрокинул на себя кровать, или которого неумышленно обварили насмерть во время стирки белья – впрочем, последнее случалось не часто, ибо все хоть сколько-нибудь напоминающее стирку было редким событием на ферме, – присяжным иной раз приходило в голову задавать неприятные вопросы, а прихожане возмущались и подписывали протест. Но эти дерзкие выступления тотчас же пресекались в корне после показания врача и свидетельства бидла;⁷ первый всегда вскрывал труп и ничего в нем не находил – это было в высшей степени правдоподобно, а второй неизменно показывал под присягой все, что было угодно приходу, – это было в высшей степени благочестиво. Вдобавок, члены совета регулярно посещали ферму и накануне всегда посылали бидла известить о своем прибытии. Когда они приезжали, дети были милы и опрятны, а можно ли

⁶ ...юные нарушители закона о бедных... – Диккенс имеет в виду закон 1834 года, по которому работный дом стоял в центре всей системы помощи бедным; приходским властям только в исключительных случаях разрешалось помещать сирот не в работном доме, а отдавать на фермы, где за ними, кстати сказать, не было никакого ухода, как и в работном доме. Таким образом, то, что Оливера отправили на ферму, являлось некоторым отступлением от закона 1834 года, и поэтому Диккенс называет младенцев, находящихся на ферме, «юными нарушителями закона».

⁷ Бидл – низшее должностное лицо в приходе. Первоначально бидл был курьером приходских собраний, а также простым исполнителем распоряжений чиновника, ведающего в приходе призрением бедных, но вскоре стал фактически заменять этого чиновника, присвоив его функции, – он по своему произволу решал вопрос о материальном положении неимущих, осуществляя полицейский надзор в работном доме, в церкви, а нередко и в пределах прихода. Диккенс часто изображает в своих произведениях этого чиновника (см. в особенности гл. I в «Очерках Боза») и всегда рисует его резко отрицательно, убедившись на опыте в том, что бидл обладал бесконтрольной властью над судьбой бедняков, нередко являющихся жертвой его произвола.

требовать большего!

Нельзя ожидать, чтобы такая система воспитания на ферме давала какой-нибудь необычайный или богатый урожай. И в тот день, когда Оливеру Твисту исполнилось девять лет, он был бледным, чахлым ребенком, малорослым и несомненно тощим. Но природа заронила добрые семена в грудь Оливера, и они развивались себе на свободе, чему весьма способствовала скудная диета, принятая в учреждении. И, быть может, этому обстоятельству Оливер был обязан тем, что увидел день, когда ему минуло девять лет.

Как бы там ни было, но это был день его рождения, и он проводил его в погребе для угля – в избранном обществе двух юных джентльменов, которые, разделив с ним основательную порку, были посажены под замок за то, что дерзко осмелились заявить, будто они голодны, – как вдруг миссис Манн, славная леди, возглавляющая это учреждение, была потрясена внезапным появлением мистера Бамбла, бидла, который старался открыть калитку в воротах сада.

– Господи помилуй! Это вы, мистер Бамбл? – воскликнула миссис Манн, высовывая голову из окна и искусно притворяясь чрезвычайно обрадованной. – (Сьюзен, приведите наверх Оливера и тех двух мальчишек и сейчас же их вымойте!) Ах, боже мой! Мистер Бамбл, как я рада вас видеть!

Мистер Бамбл был человек дородный и раздражительный; вместо того чтобы должным образом ответить на это «чистосердечное» приветствие, он отчаянно тряхнул калитку, а затем угостил ее таким пинком, какого можно было ждать только от ноги бидла.

– Ах, боже мой! – вскричала миссис Манн, выбежав из дому, ибо три мальчика были к тому времени доставлены наверх. – Подумать только! Как же это я могла позабыть о том, что из-за наших милых ребят калитка заперта изнутри! Войдите, сэр, прошу вас, войдите, мистер Бамбл, войдите, сэр!

Хотя это приглашение сопровождалось реверансом, который мог растрогать сердце церковного старосты, оно отнюдь не смягчило бидла.

– Неужели, миссис Манн, вы считаете почтительным или пристойным, – осведомился мистер Бамбл, сжимая свою трость, – заставлять приходских должностных лиц ждать у садовой калитки, когда они являются сюда по приходским делам, связанным с приходскими сиротами? Известно ли вам, миссис Манн, что вы, так сказать, выборное лицо прихода и получаете жалованье?

– Право же, мистер Бамбл, я только сообщила кое-кому из наших милых деток, которые вас так любят, что это вы пришли, – с большим смирением ответила миссис Манн.

Мистер Бамбл был высокого мнения о своем ораторском даровании и о своей значительности. Он выказал первое и утвердил второе. Он смягчился.

– Ладно, миссис Манн, – ответил он более спокойным тоном, – быть может, и так. Войдемте в дом, миссис Манн. Я пришел по делу и должен вам кое-что сообщить.

Миссис Манн ввела бидла в маленькую гостиную с кирпичным полом, подала ему стул и услужливо положила перед ним на стол его треуголку и трость. Мистер Бамбл вытер со лба пот, выступивший после прогулки, бросил самодовольный взгляд на треуголку и улыбнулся. Да, он улыбнулся. Бидлы в конце концов тоже люди, и мистер Бамбл улыбнулся.

– А теперь не обижайтесь на то, что я вам скажу, – заметила миссис Манн с чарующей любезностью. – Вы совершили, знаете ли, большую прогулку, иначе я бы не стала об этом упоминать. Мистер Бамбл, не выпьете ли вы капельку?..

– Ни капли! Ни капли! – сказал мистер Бамбл, махнув правой рукой с достоинством, но благодушно.

– Я думаю, все-таки можно выпить, – сказала миссис Манн, отметив про себя тон отказа и жест, его сопровождавший. – Одну капельку, и немножко холодной воды и кусочек сахара.

Мистер Бамбл кашлянул.

– Только одну капельку, – убеждала миссис Манн.

– Капельку чего именно? – осведомился бидл.

– Того самого, что я обязана держать в доме для милых малюток, чтобы подбавлять в эликсир Даффи,⁸ когда они нездоровы, мистер Бамбл, – ответила миссис Манн, открывая буфет и доставая бутылку и стакан. – Это джин. Я не хочу вас обманывать, мистер Бамбл. Это джин.

– Вы даете детям Даффи, миссис Манн? – спросил Бамбл, следя глазами за интересной процедурой приготовления смеси.

– Да благословит их бог, даю, хотя это и дорого стоит, – ответила воспитательница. – Знаете ли, сэр, я не могу видеть, как они страдают у меня на глазах.

– Вот именно, – одобрительно сказал мистер Бамбл, – не можете. Вы добрая женщина, миссис Манн. – Она поставила стакан на стол. – Я воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы доложить об этом совету, миссис Манн. – Он придвинул к себе стакан. – У вас материнские чувства, миссис Манн. – Он размешал джин с водой. – Я... я с удовольствием выпью за ваше здоровье, миссис Манн.

И он залпом выпил полстакана.

– А теперь к делу, – продолжал бидл, доставая кожаный бумажник. – Ребенку Твисту, которого окрестили Оливером, исполнилось сегодня девять лет.

– Да благословит его бог! – вставила миссис Манн, докрасна растирая себе левый глаз кончиком передника.

– И, несмотря на предложенную награду в десять фунтов, которая затем была увеличена до двадцати фунтов, несмотря на чрезвычайные и, я бы сказал, сверхъестественные усилия со стороны прихода, – продолжал Бамбл, – нам так и не удалось узнать, кто его отец, а также местожительство, имя и звание его матери.

Миссис Манн с изумлением воздела руки, но после недолгого раздумья спросила:

– Как же тогда он вообще получил какую-то фамилию?

Бидл горделиво выпрямился и сказал:

– Это я придумал.

– Вы, мистер Бамбл?

– Я, миссис Манн. Мы даем фамилии нашим питомцам в алфавитном порядке. Последний был на букву С – я его назвал Суобл. Этот был на букву Т – его я назвал Твист. Следующий будет Унуин, а затем Филиппе. Я придумал фамилии до конца алфавита и, когда мы дойдем до буквы Z, снова начну с начала.

– Да ведь вы настоящий писатель, сэр! – воскликнула миссис Манн.

– Ну-ну! – сказал бидл, явно польщенный комплиментом. – Может быть, и так... Может быть, и так, миссис Манн.

Он допил джин с водой и прибавил:

– Так как Оливер теперь подросток и не может оставаться здесь, совет решил отправить его обратно в работный дом. Я пришел сам, чтобы отвести его туда. Покажите-ка мне его поскорее.

– Я сейчас же его приведу, – сказала миссис Манн, выходя из комнаты.

Оливер, освободившись к тому времени от того верхнего слоя грязи, покрывавшей его лицо и руки, какой можно было соскрести за одно умывание, – был введен в комнату своей милостивой покровительницей.

– Поклонись джентльмену, Оливер, – сказала миссис Манн.

Оливер отвесил поклон, предназначавшийся как бидлу на стуле, так и треуголке на столе.

– Хочешь пойти со мной, Оливер? – величественно спросил мистер Бамбл.

Оливер готов был сказать, что очень охотно уйдет отсюда с кем угодно, но, подняв глаза, встретил взгляд миссис Манн, которая поместилась за стулом бидла и с разъяренной

⁸ *Эликсир Даффи* – популярная детская микстура; Это название перенесено было на джин (можжевеловую водку).

физиономией грозила ему кулаком. Он сразу понял намек – кулак слишком часто оставлял отпечатки на его теле, чтобы не запечатлеться глубоко в памяти.

– А она пойдет со мной? – спросил бедный Оливер.

– Нет, она не может пойти, – ответил мистер Бамбл. – Но иногда она будет тебя навещать.

Это было не очень большим утешением для мальчика. Однако, как ни был он мал, у него хватило ума притвориться, будто он с большим сожалением покидает эти места. Ему совсем нетрудно было прослезиться, голод и дурное обращение – великие помощники в тех случаях, когда вам нужно заплакать. И Оливер плакал и в самом деле очень естественно. Миссис Манн подарила ему тысячу поцелуев и – в этом Оливер нуждался гораздо больше – кусок хлеба с маслом, чтобы он не показался чересчур голодным, когда придет в рабочий дом.

С ломтем хлеба в руке и в коричневой приходской шапочке Оливер был уведен мистером Бамблом из гнусного дома, где ни одно ласковое слово, ни один ласковый взгляд ни разу не озарили его унылых младенческих лет. И все же детское его горе было глубоко, когда за ним закрылись ворота коттеджа. Как ни были жалки его маленькие товарищи по несчастью, которых он покидал, – это были единственные его друзья. И сознание своего одиночества в великом, необъятном мире впервые проникло в сердце ребенка.

Мистер Бамбл шел большими шагами; маленький Оливер, крепко ухватившись за его обшитый золотым галуном обшлаг, рысцей бежал рядом с ним и через каждую четверть мили спрашивал: «Далеко ли еще?» На эти вопросы мистер Бамбл давал очень короткие и резкие ответы, так как недолговечная приветливость, какую пробуждает в иных сердцах джин с водой, к тому времени испарилась, и он снова стал бидлом.

Оливер пробыл в стенах рабочего дома не более четверти часа и едва успел покончить со вторым ломтем хлеба, как мистер Бамбл, оставивший его на попечение какой-то старухи, вернулся и, рассказав о происходившем в тот вечер заседании совета, объявил ему, что, по желанию совета, он должен немедленно предстать перед ним.

Не имея достаточно ясного представления о том, что такое совет, Оливер был ошеломлен этим сообщением и не знал, смеяться ему или плакать. Впрочем, ему некогда было об этом раздумывать, так как мистер Бамбл ударил его тростью по голове, чтобы расшевелить, и еще раз по спине, чтобы подбодрить, и, приказав следовать за собой, повел его в большую выбеленную известкой комнату, где сидели вокруг стола восемь или десять толстых джентльменов. Во главе стола восседал в кресле, более высоком, чем остальные, чрезвычайно толстый джентльмен с круглой красной физиономией.

– Поклонись совету, – сказал Бамбл.

Оливер смахнул две-три еще не высохшие слезинки и, видя перед собой стол, по счастью, поклонился ему.

– Как тебя зовут, мальчик? – спросил джентльмен, восседавший в высоком кресле.

Оливер испугался стольких джентльменов, приводивших его в трепет, а бидл угостил его сзади еще одним пинком, который заставил его расплакаться. По этим двум причинам он ответил очень тихо и нерешительно, после чего джентльмен в белом жилете обозвал его дураком, сразу развеселился и пришел в прекрасное расположение духа.

– Мальчик, – сказал джентльмен в высоком кресле, – слушай меня. Полагаю, тебе известно, что ты сирота?

– Что это такое, сэр? – спросил бедный Оливер.

– Мальчик – дурак! Я так и думал, – сказал джентльмен в белом жилете.

– Тише! – сказал джентльмен, который говорил первым. – Тебе известно, что у тебя нет ни отца, ни матери и что тебя воспитал приход, не так ли?

– Да, сэр, – ответил Оливер, горько плача.

– О чем ты плачешь? – спросил джентльмен в белом жилете.

И в самом деле – очень странно! О чем мог плакать этот мальчик?

– Надеюсь, ты каждый вечер читаешь молитву, – суровым голосом сказал другой

джентльмен, – и молишься – как надлежит христианину – за тех, кто тебя кормит и о тебе заботится?

– Да, сэръ, – заикаясь, ответил мальчик.

Джентльмен, говоривший последним, сам того не сознавая, был прав. Оливер и в самом деле был бы христианином и на редкость хорошим христианином, если бы молился за тех, кто *его* кормит и *о нем* заботится. Но он не молился, потому что никто его этому не учил.

– Прекрасно! Тебя привели сюда, чтобы воспитать и обучить полезному ремеслу, – сказал краснолицый джентльмен, сидевший в высоком кресле.

– И завтра же, с шести часов утра, ты начнешь трепать пеньку, – добавил угрюмый джентльмен в белом жилете.

В благодарность за соединение этих двух благодеяний в несложной операции трепанья пеньки Оливер, по указанию бидла, низко поклонился и был поспешно уведен в большую комнату, где на грубой, жесткой кровати он рыдал, пока не заснул. Какая превосходная иллюстрация к милосердным законам Англии! Они разрешают беднякам спать!

Бедный Оливер! Он спал в счастливом неведении, не помышляя о том, что в этот самый день совет вынес решение, которое должно было повлиять на всю его дальнейшую судьбу. Но совет вынес решение. Оно заключалось в следующем.

Члены этого совета были очень мудрыми, проницательными философами, и, когда они, наконец, обратили внимание на работный дом, они тотчас подметили то, чего никогда бы не обнаружили простые смертные, а именно: бедняки любили работный дом! Это было поистине место общественного увеселения для бедных классов; харчевня, где не нужно платить; даровой завтрак, обед, чай и ужин круглый год; рай из кирпича и известки, где все игра и никакой работы! «Ого! – с глубокомысленным видом изрек совет. – Нам-то и надлежит навести порядок. Мы немедленно положим этому конец». И члены совета постановили, чтобы всем бедным людям был предоставлен выбор (так как, разумеется, они никого не хотели принуждать) либо медленно умирать голодной смертью в работном доме, либо быстро умереть вне его стен. С этою целью они заключили договор с водопроводной компанией на снабжение водой в неограниченном количестве и с агентом по торговле зерном на регулярное снабжение овсянкой в умеренном количестве и постановили давать три раза в день жидкую кашу, луковицу дважды в неделю и полбулки по воскресеньям. Они сделали еще очень много мудрых и гуманных распоряжений, касающихся женщин, но их нет необходимости перечислять. Они милостиво согласились давать развод женатым беднякам ввиду больших издержек, сопряженных с бракоразводным процессом в Докторс-Коммонс.⁹ И вместо того чтобы заставлять человека содержать семью, как они делали раньше, они отнимали у него семью и превращали его в холостяка! Трудно сказать, сколько просителей из всех слоев общества обратилось бы к ним за пособием, имея в виду эти два последних пункта, если бы оно не было связано с работным домом, но члены совета были люди предусмотрительные и приняли меры против такого осложнения. Пособие было неразрывно связано с работным домом и кашей, и это отпугивало людей.

В течение первого полугодия после появления Оливера Твиста систему применяли вовсю. Сначала она потребовала немалых расходов, ибо счет гробовщика увеличился и приходилось непрерывно ушивать одежду бедняков, которая после одной-двух недель каши висела мешком на их исхудавших телах. Но число обитателей работного дома стало таким же тощим, как и сами бедняки, и совет был в восторге.

Мальчиков кормили в большом зале с кирпичными стенами; в одном конце его находился котел, и из этого котла в часы, назначенные для принятия пищи, надзиратель,

⁹ *Докторс-Коммонс* – так первоначально называлась корпорация (общество) юристов, занимавшихся адвокатской практикой в особом – церковном – суде, где слушались дела бракоразводные, по утверждению завещаний и споры по наследству, а также некоторые другие. Название этой корпорации юристов перенесено было на дома, где они имели свои конторы и проживали, а затем – на суд, находившийся в одном из этих домов и разбиравший упомянутые выше дела (этот суд был упразднен только в 1857 году).

надев передник, с помощью одной или двух женщин раздавал кашу. Каждый мальчик получал одну мисочку этого превосходного месива – не больше, за исключением больших праздников, когда он, кроме того, получал две с четвертью унции хлеба. Миски никогда не приходилось мыть. Мальчики скоблили их ложками, пока они не начинали снова блестеть; покончив с этой операцией (которая никогда не отнимала много времени, так как ложки были почти такой же величины, как миски), они сидели, впиваясь в котел такими жадными глазами, словно собирались пожрать кирпичи, которыми он был обложен, и занимались тем, что жадно обсасывали себе пальцы в надежде найти крупички каши, случайно на них оставшейся. Мальчики обычно отличаются прекрасным аппетитом. Оливер Твист и его товарищи на протяжении трех месяцев терпели муки, медленно умирая от недоедания; наконец, они стали такими жадными и так обезумели от голода, что один мальчик, который был рослым для своих лет и не привык к такому положению вещей (его отец содержал когда-то маленькую харчевню), мрачно намекнул товарищам, что, если ему не прибавят миски каши *per diem*, он боится, как бы случайно не съесть ночью спящего с ним рядом тщедушного мальчика. Глаза у него были дикие, голодные, и дети слепо ему поверили. Посоветовались; был брошен жребий, кому подойти в тот вечер после ужина к надзирателю и попросить еще каши. И жребий выпал Оливеру Твисту.

Настал вечер; мальчики заняли свои места. Надзиратель в поварском наряде поместился у котла; его нищие помощники расположились за его спиной. Каша была разлита по мискам. И длинная молитва была прочитана перед скудной едой. Каша исчезла; мальчики перешептывались друг с другом и подмигивали Оливеру, а ближайшие соседи подталкивали его. Он был совсем ребенок, впал в отчаяние от голода и стал безрассудным от горя. Он встал из-за стола и, подойдя с миской и ложкой в руке к надзирателю, сказал, немножко испуганный своей дерзостью:

– Простите, сэр, я хочу еще.

Надзиратель был дюжий, здоровый человек, однако он сильно побледнел. Остолбенев от изумления, он смотрел несколько секунд на маленького мятежника, а затем, ища поддержки, прислонился к котлу. Помощники онемели от удивления, мальчики – от страха.

– Что такое?.. – слабым голосом произнес, наконец, надзиратель.

– Простите, сэр, – повторил Оливер, – я хочу еще.

Надзиратель ударил Оливера черпаком по голове, крепко схватил его за руки и завопил, призывая бидла.

Совет собрался на торжественное заседание, когда мистер Бамбл в великом волнении ворвался в комнату и, обращаясь к джентльмену, восседавшему в высоком кресле, сказал:

– Мистер Лимкинс, прошу прощенья, сэр! Оливер Твист попросил еще каши!

Произошло всеобщее смятение. Лица у всех исказились от ужаса.

– Еще каши?! – переспросил мистер Лимкинс. – Успокойтесь, Бамбл, и отвечайте мне вразумительно. Так ли я вас понял: он попросил еще, после того как съел полагающийся ему ужин?

– Так оно и было, сэр, – ответил Бамбл.

– Этот мальчик кончит жизнь на виселице, – сказал джентльмен в белом жилете. – Я знаю: этот мальчик кончит жизнь на виселице.

Никто не опровергал пророчества джентльмена. Началось оживленное обсуждение. Было предписано немедленно отправить Оливера в заточение; а на следующее утро к воротам было приклеено объявление, что любому, кто пожелает освободить приход от Оливера Твиста, предлагается вознаграждение в пять фунтов. Иными словами, вознаграждение в пять фунтов и Оливер Твист были предложены любому мужчине или женщине, которые, занимаясь ремеслом, торговлей или чем-либо иным, нуждались в ученике.

– Никогда и ни в чем, – сказал джентльмен в белом жилете, постучав на следующее утро в ворота и прочитав объявление, – я не был так уверен, как в том, что этот мальчик кончит жизнь на виселице.

Намереваясь показать в дальнейшем, прав или не прав был джентльмен в белом жилете, я не стану лишать занимательности это повествование (полагая, что оно обладает этим качеством) и не осмелюсь намекнуть, ждет ли Оливера Твиста такая страшная смерть, или нет.

Глава III

рассказывает о том, как Оливер Твист едва не поступил на место, которое оказалось бы отнюдь не синекурой

В течение недели после совершения кощунственного и позорного преступления – просьбы о добавочной порции – Оливер сидел взаперти в темной и пустой комнате, куда его заключили по мудрому и милосердному распоряжению совета. На первый взгляд как будто разумно предположить, что если бы он отнесся с должным почтением к предсказанию джентльмена в белом жилете, то раз и навсегда подтвердил бы пророческий дар этого джентльмена, прикрепив один конец носового платка к крюку в стене и повесившись на другом его конце. Однако для совершения этого подвига существовало одно препятствие, а именно: носовые платки, отнесенные к предметам роскоши, были на все грядущие века отторгнуты от носов бедных людей по специальному приказу совета, собравшегося в полном составе, – по приказу, который был скреплен подписями и печатью и торжественно оглашен.

Еще более серьезным препятствием являлись юный возраст и ребяческий нрав Оливера. Он горько проплакал весь день, а когда настала длинная, унылая ночь, он заслонил руками глаза, чтобы не видеть тьмы, и, забившись в угол, постарался уснуть. То и дело он просыпался, приподнимаясь и вздрагивая, и все теснее и теснее прижимался к стене, чувствуя, что холодная, твердая ее поверхность как бы служит ему защитой от одиночества во мраке, его окружающем.

Да не подумают враги «системы», что во время своего одиночного заключения Оливер был лишен упражнений, необходимых для здоровья, лишен при – личного общества и духовного утешения. Что касается упражнений, то стояла чудесная холодная погода и ему разрешалось каждое утро совершать обливание под насосом в обнесенном кирпичной стеной дворе, в присутствии мистера Бамбла, который заботился о том, чтобы он не простудился, и с помощью трости вызывал ощущение теплоты во всем его теле. Что касается общества, то каждые два дня его водили в зал, где обедали мальчики, и там секли при всех для примера и предостережения остальным. А для того чтобы не лишиться его духовного утешения, его выгоняли пинками каждый вечер в час молитвы в тот же зал и там разрешали утешать свой дух, слушая общую молитву мальчиков, содержащую специальное дополнение, внесенное по распоряжению совета; в этом дополнении они просили сделать их хорошими, добродетельными, довольными и послушными и избавить от грехов и пороков Оливера Твиста: о последнем в молитве было отчетливо сказано, что он находится под особым покровительством и защитой злых сил и является изделием, выпущенным прямо с фабрики самого дьявола.

Однажды утром, когда Оливер находился в столь же утешительном положении, мистер Гэмфилд, трубочист, шел по Хай-стрит, глубокомысленно обдумывая пути и способы уплатить недоимки по арендной плате, которую его квартирохозяин требовал довольно настойчиво. При самом оптимистическом подсчете своих финансов мистер Гэмфилд никак не мог насчитать пяти фунтов, каковая сумма была ему нужна; придя в некое арифметическое отчаяние, он то ломал себе голову, то старался проломить ее своему ослу, как вдруг, поравнявшись с работным домом, заметил на воротах объявление.

– Тпру-у, – сказал мистер Гэмфилд ослу.

Осел пребывал в глубокой задумчивости, размышляя, должно быть, о том, суждено ли ему получить одну-две кочерыжки, когда он избавится от двух мешков сажи, которыми была нагружена тележка; поэтому, не расслышав приказания, он продолжал рысцой подвигаться вперед.

Мистер Гэмфилд разразился неистовыми проклятиями, относившимися к ослу и в особенности к его глазам, и, бросившись за ним, нанес ему удар по голове, от которого неизбежно расколосся бы любой череп, кроме ослиного. Затем, схватив осла за узду, он сильно ее дернул, с целью любезно напомнить ему, кто его хозяин, и таким манером повернул его обратно. После этого он еще раз треснул его по голове, чтобы тот не очухался до самого его возвращения. Покончив с этими приготовлениями, он подошел к воротам прочитать объявление.

Заложив руки за спину, у ворот стоял джентльмен в белом жилете, высказавший только что несколько глубоких мыслей в комнате, где заседал совет. Наблюдая маленькую размолвку между мистером Гэмфилдом и ослом, он радостно улыбнулся, когда этот человек подошел прочесть объявление, ибо он сразу угадал, что мистер Гэмфилд – именно такой хозяин, какой нужен Оливеру Твисту. Прочитав бумагу, мистер Гэмфилд тоже улыбнулся, так как ему необходима была именно сумма в пять фунтов; что же касается мальчика, являвшегося придатком к этой сумме, то мистер Гэмфилд, зная, какова пища в работном доме, был уверен, что мальчик окажется очень миниатюрным экземпляром, весьма подходящим для дымоходов. Поэтому он снова прочел по складам объявление от начала до конца и затем, притронувшись в знак почтения к своей меховой шапке, обратился к джентльмену в белом жилете.

– Этот мальчик, сэр, которого приход хочет отдать в ученье... – начал мистер Гэмфилд.

– Да, любезный, – со снисходительной улыбкой отозвался джентльмен в белом жилете. – Что вы о нем скажете?

– Если приход желает, чтобы он обучился приятному ремеслу, доброму почтенному ремеслу трубочиста, – продолжал мистер Гэмфилд, – то могу сказать, что мне нужен ученик и я готов его взять.

– Войдите, – сказал джентльмен в белом жилете.

Мистер Гэмфилд, замешкавшись позади, угостил осла еще одним ударом по голове и еще раз дернул его за узду, предостерегая, чтобы он не убежал во время его отсутствия, а затем последовал за джентльменом в белом жилете в ту комнату, где Оливер впервые увидел этого джентльмена.

– Это скверное ремесло, – сказал мистер Лимкинс, когда Гэмфилд снова заявил о своем желании.

– Случалось, что мальчики задыхались в дымоходах, – произнес другой джентльмен.

– Это потому, что смачивали солому, прежде чем зажечь ее в камине, чтобы заставить мальчика выбраться наружу, – сказал Гэмфилд. – От этого только дым валит, а огня нет! Ну, а от дыму нет никакого толку, он не заставит мальчика вылезти, он его усыпляет, а мальчишке этого только и нужно. Мальчишки – народ очень упрямый и очень ленивый, джентльмены, и ничего нет лучше славного горячего огонька, чтобы заставить их быстрехонько спуститься. К тому же это доброе дело, джентльмены, потому как, если они застрянут в дымоходе, а им начнешь поджаривать пятки, они изо всех сил стараются высвободиться.

Такое объяснение как будто очень позабавило джентльмена в белом жилете, но веселость эта быстро угасла от взгляда, брошенного на него мистером Лимкинсом. Затем члены совета беседовали между собой в течение нескольких минут, но так тихо, что можно было расслышать только слова: «сокращение расходов», «прекрасно отразится на балансе», «выпустим печатный отчет». Да и эти слова удалось расслышать только потому, что их повторяли очень часто и выразительно.

Наконец, перешептывание прекратилось, и, когда члены совета вернулись на свои места и снова обрели торжественный вид, мистер Лимкинс сказал:

– Мы обсудили ваше предложение и не одобряем его.

– Отнюдь не одобряем, – сказал джентльмен в белом жилете.

– Решительно не одобряем, – добавили остальные члены совета.

Так как мистеру Гэмфилду случилось пострадать от пустячного обвинения в том, что

он забил до смерти трех или четырех мальчиков, то у него мелькнула мысль, что члены совета, по какому-то непонятному капризу, вообразили, будто это обстоятельство, не имеющее отношения к делу, должно повлиять на их решение. Правда, это отнюдь не походило на их обычный образ действия, однако, не имея особого желания воскрешать старые слухи, он повертел в руках шапку и медленно отошел от стола.

– Стало быть, вы не хотите отдать его мне, джентльмены? – спросил мистер Гэмфилд, приостановившись у двери.

– Не хотим, – ответил мистер Лимкинс, – ремесло у вас скверное, и мы считаем, что надо снизить предложенную нами премию.

Физиономия мистера Гэмфилда прояснилась; он быстрым шагом подошел к столу и сказал:

– Сколько дадите, джентльмены? Ну-ка! Не обижайте бедного человека. Сколько дадите?

– Я бы сказал, что трех фунтов десяти шиллингов хватит за глаза, – ответил мистер Лимкинс.

– Десять шиллингов сбросить, – вмешался джентльмен в белом жилете.

– Послушайте! – сказал Гэмфилд. – Порешим на четырех фунтах, джентльмены. Порешим на четырех фунтах, и вы избавитесь от него раз и навсегда. Идет?

– Три фунта десять, – твердо повторил мистер Лимкинс.

– Послушайте, джентльмены, разделим разницу пополам, – предложил Гэмфилд. – Три фунта пятнадцать.

– Ни одного фартинга не прибавлю, – был твердый ответ мистера Лимкинса.

– Уж очень вы меня прижимаете, джентльмены, – нерешительно сказал Гэмфилд.

– Ну-ну! Вздор! – сказал джентльмен в белом жилете. – Он стоит того, чтобы его взяли без всякой премии. Забирайте его, глупый вы человек! Это самый подходящий для вас мальчик. Время от времени его нужно угощать палкой – это пойдет ему на пользу. А его содержание не обойдется дорого, потому что его не закармливали с самого рождения. Ха-ха-ха!

Мистер Гэмфилд хитрым взглядом окинул лица сидевших за столом и, заметив, что они улыбаются, сам начал ухмыляться. Сделка была заключена. Мистеру Бамблу немедленно объявили, что Оливер и его документы должны быть в тот же день препровождены к судье для подписи и утверждения.

Во исполнение этого решения маленького Оливера, крайне удивленного, выпустили из заточения и приказали надеть чистую рубашку. Едва он успел покончить с этим совершенно непривычным гимнастическим упражнением, как мистер Бамбл собственноручно принес ему миску с кашей и праздничную порцию хлеба – две с четвертью унции.

При этом потрясающем зрелище Оливер жалобно заплакал: он подумал, – и это было вполне естественно, – что совет решил убить его для каких-нибудь полезных целей, в противном случае его ни за что не стали бы так откармливать.

– Не плачь, Оливер, а то глаза покраснеют. Ешь свою кашу и будь благодарен! – сказал мистер Бамбл внушительным и торжественным тоном. – Тебя собираются отдать в ученье, Оливер.

– В ученье, сэр? – дрожа, переспросил мальчик.

– Да, Оливер, – сказал мистер Бамбл. – Добрые и милосердные джентльмены, которые заменяют тебе родителей, Оливер, потому что своих у тебя нет, хотят отдать тебя в ученье, поставить на ноги и сделать из тебя человека, хотя это обойдется приходу в три фунта десять шиллингов! Три фунта десять, Оливер! Семьдесят шиллингов... сто сорок шестипенсовиков! И все это для дрянного сироты, которого никто не может полюбить!

Когда мистер Бамбл, устрашающим голосом произнес эту речь, остановился, чтобы перевести дух, слезы заструились по лицу бедного мальчика, и он горько зарыдал.

– Полно, – сказал мистер Бамбл уже не таким торжественным тоном, ибо ему лестно было видеть, какое впечатление производит его красноречие. – Полно, Оливер! Вытри глаза

обшлагом куртки и не роняй слез в кашу. Это очень неразумно, Оливер.

И в самом деле это было неразумно, так как в каше и без того было достаточно воды.

По пути к судье мистер Бамбл сообщил Оливеру, что он сейчас должен казаться счастливым и, когда старый джентльмен спросит его, хочет ли он поступить в ученье, ответить, что ему этого очень хочется. Оба предписания Оливер обещал исполнить, тем более что трудно себе представить, как деликатно намекнул мистер Бамбл, какая его постигнет судьба, если он не выполнит того или другого. Когда они явились в камеру судьи, мистер Бамбл запер его одного в маленькой комнатке и приказал ждать здесь, пока он за ним зайдет.

С сильно бьющимся сердцем мальчик ждал около получаса. По прошествии этого времени мистер Бамбл просунул в дверь голову, не украшенную на этот раз треуголкой, и громко сказал:

– Оливер, милый мой, пойдем к джентльменам. – Произнеся эти слова, мистер Бамбл принял мрачный и угрожающий вид и шепотом добавил: – Помни, что я тебе сказал, негодный мальчишка!

Его манера обращения сбивала с толку, и Оливер простодушно заглянул в лицо мистеру Бамблу, но сей джентльмен помешал ему сделать какое бы то ни было замечание и немедленно повел его в смежную комнату, дверь которой была открыта.

Это была просторная комната с большим окном. За конторкой сидели два старых джентльмена с напудренными волосами; один читал газету, другой, вооружившись очками в черепаховой оправе, изучал лежавший перед ним кусок пергамента. Мистер Лимкинс стоял перед конторкой с одной стороны, а мистер Гэмфилд – его лицо было кое-как умыто – с другой; два-три грубоватых на вид человека в высоких сапогах слонялись вокруг.

Старый джентльмен в очках в конце концов задремал над куском пергамента, и, когда мистер Бамбл поставил Оливера перед конторкой, в течение нескольких минут длилось молчание.

– Вот он, этот мальчик, ваша честь, – сказал мистер Бамбл.

Старый джентльмен, который читал газету, приподнял на минуту голову и дернул другого старого джентльмена за рукав, после чего тот проснулся.

– О, это тот самый мальчик? – промолвил старый джентльмен.

– Он самый, сэр, – отвечал мистер Бамбл. – Милый мой, поклонись судье.¹⁰

Оливер встрепенулся и отвесил почтительнейший поклон. Рассматривая напудренные волосы судей, он с недоумением размышлял о том, неужели все члены совета так и рождаются с этой белой пылью на голове и потому-то становятся сразу членами совета.

– Ну-с, – сказал старый джентльмен, – полагаю, ему нравится ремесло трубочиста?

– Он без ума от него, ваша честь, – ответил Бамбл и украдкой ущипнул Оливера, давая понять, что лучше ему с этим не спорить.

– И он *хочет* быть трубочистом, не так ли? – спросил старый джентльмен.

– Если бы мы вздумали завтра обучать его какому-нибудь другому ремеслу, он тотчас же сбежал бы, ваша честь, – отвечал Бамбл.

– А этот человек, будущий его хозяин... вы, сэр... вы будете хорошо обращаться с ним... кормить его... и тому подобное, не правда ли, сэр? – сказал старый джентльмен.

– Раз я говорю, что буду, значит буду, – угрюмо ответил мистер Гэмфилд.

– Речь у вас грубоватая, друг мой, но вы производите впечатление честного, прямодушного человека, – сказал старый джентльмен, обратив свои очки в сторону кандидата на премию за Оливера.

Мерзкая физиономия этого кандидата была поистине отмечена клеймом, удостоверявшим его жестокость. Но судья был подслеповат и впадал в детство, и потому

¹⁰ *Поклонись судье* – то есть мировому судье, который по закону 1834 года имел в некоторых случаях право утверждать и отменять распоряжения «совета блюстителей» рабочего дома, наблюдавшего также и за сиротским домом.

вряд ли можно было ожидать, чтобы он подметил то, что подмечали другие.

– Надеюсь, что так, сэр, – сказал мистер Гэмфилд с отвратительной усмешкой.

– Я в этом не сомневаюсь, друг мой, – отозвался старый джентльмен, прочнее водрузив очки на нос и озираясь в поисках чернильницы.

Это был решающий момент в жизни Оливера. Если бы чернильница находилась там, где предполагал ее найти старый джентльмен, он обмакнул бы в нее перо, подписал бумагу и Оливер был бы немедленно уведен. Но так как она стояла под самым его носом, он, разумеется, осмотрев всю конторку, не нашел ее и когда, продолжая поиски, случайно посмотрел прямо перед собой, взгляд его упал на бледное, испуганное лицо Оливера Твиста, который, не обращая внимания на предостерегающие взоры и шипки Бамбла, глядел на отвратительную физиономию своего будущего хозяина со страхом и ужасом, столь нескрываемым, что этого не мог не заметить даже подслеповатый судья.



Старый джентльмен помедлил, положил перо и перевел взгляд с Оливера на мистера Лимкинса, который взял понюшку табаку, стараясь принять беззаботный и независимый вид.

– Мальчик! – сказал старый джентльмен, перегнувшись через конторку.

Оливер вздрогнул при этих словах. Ему можно простить это, потому что голос звучал ласково, а незнакомые звуки пугают людей. Он задрожал всем телом и залился слезами.

– Мальчик, – повторил старый джентльмен, – ты бледен и взволнован. В чем дело?

– Отойдите от него, бидл... – сказал другой судья, отложив газету и с любопытством

наклонившись вперед. – А теперь, мальчик, объясни нам, в чем дело. Не бойся.

Оливер упал на колени и, сжав руки, стал умолять, чтобы его отослали обратно в темную комнату... морили голодом... избивали... убили, если это им угодно, но только не отправляли с этим страшным человеком.

– Вот как! – сказал мистер Бамбл, весьма торжественно воздев руки и возведя очи горе. – Вот как! Из всех лукавых и коварных сирот, каких я когда-либо видел, ты, Оливер, самый наглый из наглых.

– Придержите язык, бидл, – сказал второй старый джентльмен, когда мистер Бамбл произнес этот сложный эпитет.

– Прошу прощения, ваша честь, – сказал мистер Бамбл, не веря своим ушам. – Ваша честь изволили обращаться ко мне?

– Да. Придержите язык.

Мистер Бамбл остолбенел от изумления. Бидлу приказано придерживаться язык! Светопреставление!

Старый джентльмен в очках в черепаховой оправе посмотрел на своего коллегу. Тот многозначительно кивнул головой.

– Мы отказываемся утвердить этот договор, – сказал старый джентльмен, отбрасывая в сторону пергамент.

– Н... надеюсь... – заикаясь, начал мистер Лимкинс, – я надеюсь, что, основываясь на показаниях ребенка, ничем не подкрепленных, судьи не придут к тому заключению, будто приходские власти виновны в каком-нибудь недостойном поступке.

– Судьи не обязаны выносить какое бы то ни было заключение по этому вопросу, – резко произнес второй старый джентльмен. – Отведите мальчика обратно в работный дом и обращайтесь с ним хорошо. По-видимому, он в этом нуждается.

В тот же вечер джентльмен в белом жилете заявил совершенно категорически, что Оливер не только будет повешен, но что его вдобавок приволокут к месту казни в четвертую. Мистер Бамбл мрачно и таинственно покачал головой и выразил желание, чтобы он обратился к добру, после чего мистер Гэмфилд пожелал, чтобы он попал к нему в руки; и хотя мистер Гэмфилд почти во всем соглашался с приходским бидлом, он, по-видимому, решительно с ним разошелся, выразив такое пожелание.

На следующее утро публику снова известили о том, что Оливер Твист сдается внаем и что пять фунтов будут уплачены тому, кто пожелает им владеть.

Глава IV

Оливеру предложили другое место, и он впервые выступает на жизненном поприще

Если молодому человеку из аристократической семьи не могут обеспечить выгодной должности по завещанию, дарственной или купчей, то его принято отправлять в плавание. Подражая столь мудрому и спасительному примеру, члены совета принялись обсуждать, уместно ли будет спровадить Оливера Твиста на какое-нибудь маленькое торговое судно, отправляющееся в превосходный, гибельный для здоровья порт. Это казалось наилучшим из всего, что только можно было с ним сделать: как-нибудь после обеда шкипер, находясь в игривом расположении духа, по всей вероятности, засечет его до смерти или проломит ему череп железным ломом; и та и другая забава являются, как многим известно, излюбленным и повседневным развлечением джентльменов этого рода. Чем дольше члены совета рассматривали данный случай с упомянутой точки зрения, тем больше разнообразных преимуществ открывалось им в задуманном плане; и они пришли к решению, что единственный способ облагодетельствовать Оливера – безотлагательно отправить его в плавание.

Мистера Бамбла послали предварительно навести справки с целью отыскать какого-нибудь капитана, которому нужен кают-юнга, не имеющий друзей, и Бамбл

возвращался в работный дом сообщить о результатах своей миссии, как вдруг встретил у ворот мистера Саурбери, приходского гробовщика.

Мистер Саурбери был высоким, сухощавым, ширококостным человеком, в поношенном черном костюме, в заштопанных бумажных чулках тоже черного цвета и таких же башмаках, физиономия его не была от природы предназначена для улыбки, но, в общем, ему не была чужда профессиональная веселость. Походка у него была эластичная, а лицо выражало искреннее удовольствие, когда он подошел к мистеру Бамблу и сердечно пожал ему руку.

– Я снял мерку с двух женщин, умерших сегодня ночью, мистер Бамбл, – сказал гробовщик.

– Вы сколотите себе состояние, мистер Саурбери, – отозвался бидл, запуская большой и указательный пальцы в протянутую ему гробовщиком табакерку; это была искусно сделанная маленькая модель гроба. – Уверяю вас, вы сколотите себе состояние, мистер Саурбери! – повторил мистер Бамбл, дружески похлопав гробовщика тростью по плечу.

– Вы полагаете? – сказал гробовщик таким тоном, как будто он и признавал и оспаривал возможность такого события. – Приходский совет назначил очень низкую цену, мистер Бамбл.

– Да и гробы невелики... – ответил бидл, позволив себе улыбнуться не больше, чем это подобало важному должностному лицу.

Мистера Саурбери это очень позабавило, что было вполне понятно, и он смеялся долго и неудержимо.

– Ну, что же, мистер Бамбл, – произнес он наконец, – нельзя отрицать, что с тех пор, как введена новая система питания, гробы стали чуточку поуже и пониже, чем в былые времена. Но должны же мы получать какую-то прибыль, мистер Бамбл! Сухое, выдержанное дерево стоит недешево, сэр, а железные ручки пересылают по каналу из Бирмингема.

– Так-то оно так, – сказал мистер Бамбл, – каждое ремесло требует затрат. Конечно, дозволительно получать честный барыш.

– Разумеется! – подтвердил гробовщик. – И если я не получаю барыша на той или другой статье, ну что ж, к концу концов я свое наверстаю, хи-хи-хи!

– Вот именно, – сказал мистер Бамбл.

– Однако я должен сказать... – продолжал гробовщик, возвращаясь к размышлениям, прерванным бидлом, – однако я должен сказать, мистер Бамбл, что есть одно немаловажное затруднение. Видите ли, чаще всего умирают люди тучные. Те, что были лучше обеспечены и много лет платили налоги, чахнут в первую очередь, когда попадают в работный дом. И разрешите вам сказать, мистер Бамбл, что три-четыре дюйма, превышающие норму, – нешуточная потеря, в особенности если приходится содержать семью, сэр.

Так как мистер Саурбери произнес эти слова с негодованием – вполне простительным – обиженного человека и так как мистер Бамбл почувствовал, что в них кроется нечто, предосудительное для чести прихода, сей последний джентльмен почел нужным заговорить о другом. Мысли его были заняты главным образом Оливером Твистом, и о нем-то он и заговорил.

– Кстати, – сказал мистер Бамбл, – не знаете ли вы кого-нибудь, кому бы нужен был мальчик? Приходский ученик, который в настоящее время является обузой, я бы сказал – жерновом на шее прихода... Выгодные условия, мистер Саурбери, выгодные условия.

С этими словами мистер Бамбл коснулся тростью объявления, висевшего над его головой, и три раза отчетливо ударил по словам «пять фунтов», которые были напечатаны гигантскими буквами романским шрифтом.

– Ах, бог ты мой! – воскликнул гробовщик, схватив мистера Бамбла за обшитый золотым галуном лацкан его шинели. – Да ведь об этом-то я и хотел с вами поговорить! Знаете ли... Боже мой, какая красивая пуговица, мистер Бамбл! Я до сей поры не обращал на нее внимания.

– Да, мне кажется, что она недурна, – промолвил бидл, горделиво бросив взгляд на

большие бронзовые пуговицы, украшавшие его шинель. – Штамп тот же, что и на приходской печати: добрый самаритянин, лечащий больного и немощного. Приходский совет преподнес мне эту шинель на Новый год, мистер Саурбери. Помню, я впервые надел ее, чтобы присутствовать на следствии о том разорившемся торговце, который умер в полночь у подъезда.

– Припоминаю, – сказал гробовщик. – Присяжные вынесли решение: «Умер от холода и отсутствия самого необходимого для поддержания жизни», не правда ли?

Мистер Бамбл кивнул головой.

– И они как будто вынесли специальный вердикт, – продолжал гробовщик, – присовокупив, что если бы чиновник по надзору за бедными...¹¹

– Вздор! Чепуха! – перебил бидл. – Если бы совет прислушивался к тем глупостям, какие говорят эти невежды присяжные, у него было бы дела по горло.

– Истинная правда, – согласился гробовщик, – по горло.

– Присяжные, – продолжал мистер Бамбл, крепко сжимая трость, ибо такая была у него привычка, когда он сердился, – присяжные – это невежественные, пошлые, жалкие негодяи!

– Верно, – подтвердил гробовщик.

– В философии и политической экономии они смыслят вот сколько! – сказал бидл, презрительно щелкнув пальцами.

– Именно так, – подтвердил гробовщик.

– Я их презираю! – сказал бидл, весь побагровев.

– Я тоже, – присовокупил гробовщик.

– И мне бы только хотелось, чтобы эти независимые присяжные попали к нам в дом на одну-две недельки, – сказал бидл. – Правила и порядок, введенные советом, быстро бы их усмирили.

– Оставим-ка их в покое, – сказал гробовщик.

С этими словами он одобрительно улыбнулся, чтобы умерить нарастающий гнев вознегодовавшего приходского служителя.

Мистер Бамбл снял треуголку, вынул из тульи носовой платок – он разозлился, и пот выступил у него на лбу, – вытер лоб, снова надел треуголку и, повернувшись к гробовщику, сказал более спокойным тоном:

– Ну, так как же насчет мальчика?

– О, знаете ли, мистер Бамбл, – отозвался гробовщик, – я плачу немалый налог в пользу бедных.

– Гм! – сказал мистер Бамбл. – А дальше что?

– А вот что, – ответил гробовщик: – я думал, что если я столько плачу в пользу бедных, то, стало быть, имею право извлечь из них как можно больше, мистер Бамбл. И... и... кажется, я сам возьму этого мальчика.

Мистер Бамбл схватил гробовщика под руку и повел его в дом. Мистер Саурбери в течение пяти минут договаривался с членами совета, и было решено, что Оливер отправится к нему в тот же вечер «на пробу». Применительно к приходскому ученику это означало следующее: если хозяин после короткого испытания убедится, что может, не слишком заботясь о питании мальчика, заставить его изрядно работать, он вправе оставить его у себя на определенный срок и распоряжаться им по своему усмотрению.

Когда маленького Оливера привели в тот вечер к «джентльменам» и объявили ему, что он сегодня же поступает в услужение к гробовщику, а если он вздумает пожаловаться на

¹¹ *Чиновник по надзору за бедными* – находившийся на службе у приходских властей ответственный чиновник, одной из функций которого была проверка нуждаемости граждан, обращающихся за помощью к приходскому совету, а также исполнение решений «совета блюстителей». Власти мало заботились о приеме на эту должность добросовестных людей, и чиновник возлагал функцию проверки нуждаемости на такое безответственное лицо, как бидл, от которого после 1834 года фактически зависело помещение нуждавшегося в рабочий дом.

свое положение или когда-нибудь вернуться в приход, его отправят в плавание либо прошибут ему голову, – Оливер выказал так мало волнения, что все единогласно признали его закоснелым юным негодяем и приказали мистеру Бамблу немедленно его увести.

Вполне естественно, что члены совета должны были скорее, чем кто-либо другой, прийти в величайшее и добродетельное изумление и ужас при малейших признаках бесчувственности со стороны кого бы то ни было, но в данном случае они несколько заблуждались. Дело в том, что Оливер отнюдь не был бесчувственным; пожалуй, он даже отличался чрезмерной чувствительностью, а в результате дурного обращения был близок к тому, чтобы стать тупым и угрюмым до конца жизни. В полном молчании он принял известие о своем назначении, забрал свое имущество – его не очень трудно было нести, так как оно помещалось в пакете из оберточной бумаги, имевшем полфута длины, полфута ширины и три дюйма толщины, – надвинул шапку на глаза и, уцепившись за обшлаг мистера Бамбла, отправился с этим должностным лицом к месту новых терзаний.

Сначала мистер Бамбл вел Оливера, не обращая на него внимания и не делая никаких замечаний, ибо бидл высоко держал голову, как и подобает бидлу, а так как день был ветреный, маленького Оливера совершенно скрывали полы шинели мистера Бамбла, которые развевались и обнажали во всей красе жилет с лацканами и короткие коричневые плюшевые штаны. Но, приблизившись к месту назначения, мистер Бамбл счел нужным взглянуть вниз и убедиться, что мальчик находится в должном виде, готовый предстать перед новым хозяином; так он и поступил, скроив надлежащую мину, милостивую и покровительственную.

– Оливер! – сказал мистер Бамбл.

– Да, сэр? – тихим, дрожащим голосом отозвался Оливер.

– Сдвиньте шапку на лоб, сэр, и поднимите голову!

Хотя Оливер тотчас же исполнил приказание и свободной рукой быстро провел по глазам, но когда он поднял их на своего проводника, в них блестели слезинки. Мистер Бамбл сурово посмотрел на Оливера, но у того слезинка скатилась по щеке. За ней последовала еще и еще одна. Ребенок сделал невероятное усилие, но оно ни к чему не привело. Вырвав у мистера Бамбла свою руку, он обеими руками закрыл лицо и заплакал, а слезы просачивались между подбородком и костлявыми пальцами.

– Вот как! – воскликнул мистер Бамбл, останавливаясь и бросая на своего питомца злобный взгляд. – Вот как! Из всех неблагодарных, испорченных мальчишек, каких мне случалось видеть, ты, Оливер, самый...

– Нет, нет, сэр! – всхлипывая, воскликнул Оливер, цепляясь за руку, которая держала хорошо знакомую ему трость. – Нет, нет, сэр! Я исправлюсь, право же, я исправлюсь, сэр! Я еще очень маленький, сэр, и такой... такой...

– Какой – такой? – с изумлением спросил мистер Бамбл.

– Такой одинокий, сэр – Очень одинокий! – воскликнул ребенок. – Все меня ненавидят. О сэр, пожалуйста, не сердитесь на меня!

Мальчик прижал руку к сердцу и со слезами, вызванными неподдельным горем, посмотрел в лицо спутнику.

Мистер Бамбл с некоторым удивлением встретил жалобный и беспомощный взгляд Оливера, раза три-четыре хрипло откашлялся и, пробормотав что-то об этом «надоедливом кашле», приказал Оливеру осушить слезы и быть хорошим мальчиком. Затем он снова взял его за руку и молча продолжал путь.

Когда вошел мистер Бамбл, гробовщик, только что закрывший ставни в лавке, делал какие-то записи в приходно-расходной книге при свете унылой свечи, весьма здесь уместной.

– Эге! – сказал гробовщик, оторвавшись от книги и не дописав слово. – Это вы! Бамбл?

– Я самый, мистер Саурбери, – отозвался бидл. – Ну вот! Я вам привел мальчика.

Оливер поклонился.

– Так это и есть тот самый мальчик? – спросил гробовщик, подняв над головой свечу,

чтобы лучше рассмотреть Оливера. – Миссис Саурбери, будь так добра, зайди сюда на минутку, дорогая моя.

Из маленькой комнатки позади лавки вышла миссис Саурбери. Это была невысокая, тощая, высохшая женщина с ехидным лицом.

– Милая моя, – почтительно сказал мистер Саурбери, – это тот самый мальчик из работного дома, о котором я тебе говорил.

Оливер снова поклонился.

– Ах, боже мой! – воскликнула жена гробовщика. – Какой он маленький!

– Да, он, пожалуй, мал ростом, – согласился мистер Бамбл, посматривая на Оливера так, словно тот был виноват, что не дорос. – Он и в самом деле маленький. Этого нельзя отрицать. Но он подрастет, миссис Саурбери, он подрастет.

– Да что и говорить! – с раздражением отозвалась эта леди. – Подрастет на наших хлебах. Я никакой выгоды не вижу от приходских детей: их содержание обходится дороже, чем они сами того стоят. Но мужчины всегда думают, что они все знают лучше нас... Ну, ступай вниз, мешок с костями!

С этими словами жена гробовщика открыла боковую дверь и вытолкнула Оливера на крутую лестницу, ведущую в каменный подвал, сырой и темный, служивший преддверием угольного погреба и носивший название кухни; здесь сидела девушка, грязно одетая, в стоптанных башмаках и дырявых синих шерстяных чулках.

– Шарлотт, – сказала миссис Саурбери, спустившаяся вслед за Оливером, – дайте этому мальчику остатки холодного мяса, которые отложены для Трипа. Трип с утра не приходил домой и может обойтись без них. Надеюсь, мальчик не настолько привередлив, чтобы отказываться от них... Верно, мальчик?

У Оливера глаза засверкали при слове «мясо», он задрожал от желания съесть его и дал утвердительный ответ, после чего перед ним поставили тарелку с объедками.

Хотел бы я, чтобы какой-нибудь откормленный философ, в чьем желудке мясо и вино превращаются в желчь, чья кровь холодна как лед, а сердце железное, – хотел бы я, чтобы он посмотрел, как Оливер Твист набросился на изысканные яства, которыми пренебрегла бы собака! Хотел бы я, чтобы он был свидетелем того, с какой жадностью Оливер, терзаемый страшным голодом, разрывал куски мяса! Еще больше мне хотелось бы увидеть, как этот философ с таким же наслаждением поедает такое же блюдо.

– Ну что? – спросила жена гробовщика, когда Оливер покончил со своим ужином; она следила за ним в безмолвном ужасе, с тревогой предвидя, какой будет у него аппетит. – Кончил?

Не видя поблизости ничего съедобного, Оливер ответил утвердительно.

– Ну так ступай за мной, – сказала миссис Саурбери, взяв грязную, тускло горевшую лампу и поднимаясь по лестнице. – Твоя постель под прилавком. Надеюсь, ты можешь спать среди гробов? А впрочем, это не важно – можешь или нет, потому что больше тебе спать негде. Иди! Не оставайся же мне здесь всю ночь!

Оливер больше не мешкал и покорно пошел за своей новой хозяйкой.

Глава V

Оливер знакомится с товарищами по профессии. Впервые побывав на похоронах, он приходит к неблагоприятному выводу о ремесле своего хозяина

Оставшись один в лавке гробовщика, Оливер поставил лампу на верстак и робко осмотрелся вокруг с чувством благоговения и страха, которое без труда поймут многие люди значительно старше его. Недоделанный гроб на черных козлах, стоявший посреди лавки, казался таким унылым и зловещим, что холодок пробежал у Оливера по спине, когда он посматривал на этот мрачный предмет: ему чудилось, что какая-то ужасная фигура вот-вот медленно приподнимет голову и он сойдет с ума от страха. Вдоль стены в образцовом

порядке выстроился длинный ряд вязовых досок, заготовленных для гробов; в тусклом свете они казались сутулыми привидениями, засунувшими руки в карманы. Таблички для гробов, стружки, гвозди с блестящими шляпками и обрезки черной материи валялись на полу, а стену за прилавком украшала картина, на которой были очень живо изображены два немых плакальщика в туго накрахмаленных галстуках, стоящие на посту у дверей дома, к которому подъезжал катафалк, запряженный четверкой вороных лошадей. В лавке было душно и жарко. Казалось, воздух пропитан запахом гробов. Местечко под прилавком, куда был брошен ему тюфяк, напоминало могилу.

Но не только эта унылая обстановка угнетала Оливера. Он был один в незнакомом месте, а все мы знаем, каким покинутым и несчастным может почувствовать себя любой из нас при таких обстоятельствах. У мальчика не было любящих или любимых друзей. Не было у него сожалений о недавней разлуке; не было дорогого, близкого лица, которое ему мучительно хотелось бы увидеть. Но, несмотря на это, на сердце у него было тяжело; и когда он забрался на свое узкое ложе, ему захотелось, чтобы это ложе было гробом, а его, спящего безмятежным и непробудным сном, зарыли бы на кладбище, где тихо шелестела бы над его головой высокая трава и баюкал густой звон старого колокола.

Утром Оливера разбудили громкие удары ногами в дверь лавки; пока он успел кое-как одеться, неистовый стук повторился раз двадцать пять. Когда он стал снимать дверную цепочку, ноги, колотившие в дверь, утихомирились, и раздался голос.

– Отворяйте, слышите! – кричал голос, который принадлежал тому же лицу, что и ноги.

– Сейчас отопру, сэр, – сказал Оливер, снимая цепочку и поворачивая ключ.

– Должно быть, ты и есть новый мальчик? – спросил голос через замочную скважину.

– Да, сэр, – ответил Оливер.

– Сколько тебе лет? – осведомился голос.

– Десять, сэр, – ответил Оливер.

– Ну так я тебя вздую, как только войду, – сообщил голос, – помяни мое слово, приходский щенок!

После этого любезного обещания послышался свист. Оливера слишком часто подвергали операции, обозначаемой только что упомянутым выразительным словечком, а потому он ничуть не сомневался в том, что тот, кому принадлежал голос, добросовестнейшим образом выполнит свою угрозу. Дрожащей рукой он отодвинул засов и открыл дверь.

Секунду или две Оливер осматривал улицу, посмотрел направо, налево и на противоположный тротуар, полагая, что неизвестный, разговаривавший с ним через замочную скважину, прогуливается, чтобы согреться. Дело в том, что он не видел перед собой никого, кроме рослого приютского мальчика, который сидел на тумбе перед домом и ел ломоть хлеба с маслом, разрезая его складным ножом на куски величиной с собственный рот и проглатывая их с большим проворством.

– Прошу прощения, сэр, – сказал Оливер, убедившись, что никто не появляется, – это вы стучали?

– Я колотил ногами, – ответил приютский мальчик.

– Вам нужен гроб, сэр? – простодушно спросил Оливер.

При этих словах приютский мальчик принял необычайно грозный вид и заявил, что самому Оливеру в скором времени понадобится гроб, если он позволяет себе шутить таким образом со старшими.

– Приходский щенок, ты не знаешь, кто я такой? – продолжал приютский мальчик, с важным видом слезая с тумбы.

– Не знаю, сэр, – ответил Оливер.

– Я мистер Ноз Клейпол, – сказал приютский мальчик, – а ты находишься у меня под началом. Открой ставни, ленивая тварь!

С этими словами мистер Клейпол угостил Оливера пинком и вошел в лавку с большим достоинством, делавшим ему честь. При любых обстоятельствах большеголовому, толстому

юнцу с маленькими глазками и тупой физиономией нелегко принять достойный вид, и тем более это трудно, если к таким привлекательным чертам прибавить красный нос и короткие желтые штаны.

Оливер снял ставни и попытался перетащить их во дворик позади дома, куда их уносили на день, но зашатавшись под тяжестью первого же ставня, разбил оконное стекло, после чего Ноэ, утешив его уверением, что «ему влетит», снисходительно пришел ему на помощь. Вскоре в лавку спустился мистер Саурбери. Вслед за ним появилась миссис Саурбери. Оливеру, согласно предсказанию Ноэ, «влетело», а потом он отправился с этим молодым джентльменом вниз завтракать.

– Подсаживайтесь к очагу, Ноэ, – сказала Шарлотт. – Я припасла для вас славный кусочек копченой грудинки от хозяйского завтрака... Оливер, притвори дверь за мистером Ноэ и возьми себе вот те объедки, которые я положила на крышку от кастрюльки. Вот твоя чашка чаю. Поставь ее на ящик, пей там и поторапливайся, потому что тебя скоро позовут в лавку. Слышишь?

– Слышишь, приходский щенок? – сказал Ноэ Клейпол.

– Ах, боже мой, Ноэ! – воскликнула Шарлотт. – Какой вы чудной парень! Почему бы вам не оставить мальчика в покое?

– Оставить в покое! – повторил Ноэ. – Да ведь все и так оставили его в покое. Ни отец, ни мать никогда ни в чем ему не помешают. Все родственники позволяют ему идти своей дорогой. Правда, Шарлотт? Хи-хи-хи!

– Ах, чудак вы этакий! – воскликнула Шарлотт, заливаясь громким смехом, к которому присоединился и Ноэ.

Затем оба посмотрели с презрением на бедного Оливера Твиста, дрожащего на ящике в самом холодном углу комнаты и поедавшего вонючие объедки, отложенные специально для него.

Ноэ был приютским мальчиком, а не сиротой из работного дома. Он не был подкидышем, так как мог проследить свою родословную вплоть до родителей, живших поблизости; мать его была прачкой, а отец – пьяницей-солдатом, вышедшим в отставку с деревянной ногой и ежедневной пенсией в два пенса с половиной и еще какой-то неудобопроизносимой дробью. Мальчишки из соседних лавок давно приобрели привычку клеймить Ноэ на улице позорными кличками вроде «кожаные штаны», «приютский» и так далее, и Ноэ принимал их безропотно. Но теперь, когда судьба поставила на его пути безродного сироту, на которого даже самый ничтожный человек мог с презрением указать пальцем, он вымещал на нем свои обиды с лихвой.

Это дает превосходную пищу для размышлений. Мы видим, какой прекрасной может стать человеческая натура и как одни и те же приятные качества развиваются у благороднейшего лорда и у самого грязного приютского мальчишки.

Прошло три-четыре недели с тех пор, как Оливер поселился у гробовщика. Лавка была закрыта, и мистер и миссис Саурбери ужинали в маленькой задней гостиной, когда мистер Саурбери, бросив несколько почтительных взглядов на жену, сказал:

– Дорогая моя...

Он хотел продолжать, но миссис Саурбери посмотрела на него столь неблагоприятно, что он запнулся.

– Ну? – резко спросила миссис Саурбери.

– Ничего, дорогая моя, ничего! – сказал мистер Саурбери.

– Уф, негодяй! – сказала миссис Саурбери.

– Право же, нет, дорогая моя, – смиренно отозвался мистер Саурбери. – Мне показалось, что ты не расположена слушать, дорогая. Я хотел только сказать...

– Ах, не говори мне, что ты там хотел сказать, – перебила миссис Саурбери. – Я – ничто; пожалуйста, не обращай ко мне за советом. Я не желаю выведывать твои секреты.

Произнеся эти слова, миссис Саурбери залилась истерическим смехом, который угрожал серьезными последствиями.

– Но, дорогая моя, – сказал мистер Саурбери, – я хочу с тобой посоветоваться.

– Нет, нет! Не советуйся со мной! – жалобным тоном промолвила миссис Саурбери. – Советуйся с кем-нибудь другим.

Тут снова раздался истерический смех, чрезвычайно испугавший мистера Саурбери. Такова весьма распространенная и рекомендуемая система обращения с супругом, которая часто приводит к желаемым результатам. Это немедленно побудило мистера Саурбери умолять, как об особом одолжении, чтобы ему было разрешено высказать то, что миссис Саурбери жаждала услышать. После недолгих пререканий, занявших меньше трех четвертей часа, разрешение было милостиво дано.

– Это касается юного Твиста, дорогая моя, – сказал мистер Саурбери. – Он очень милостивый мальчик, дорогая.

– Еще бы, когда он столько ест! – заметила леди.

– У него меланхолическое выражение лица, дорогая моя, – продолжал мистер Саурбери, – и это делает его очень интересным... Из него, милочка, вышел бы превосходный немой плакальщик.

Миссис Саурбери с нескрываемым удивлением посмотрела на него. Мистер Саурбери подметил это и, не дожидаясь возражений со стороны доброй леди, продолжал:

– Я говорю не о настоящем немом плакальщике, присутствующем на похоронах у взрослых, а только о немом плакальщике для детей, дорогая. Было бы такой новинкой, милочка, иметь немого плакальщика соответствующего роста. Можешь быть уверена, что это произведет прекрасное впечатление.

Миссис Саурбери, проявлявшая замечательный вкус, когда дело касалось похорон, была поражена новизной этой идеи; но так как признаться в этом при данных обстоятельствах значило бы уронить свое достоинство, она осведомилась только довольно резким тоном, почему эта простая мысль не приходила раньше в голову ее супругу? Мистер Саурбери правильно истолковал ее слова как согласие на его предложение. Итак, тут же было решено немедленно посвятить Оливера во все тайны ремесла, чтобы он мог сопровождать своего хозяина, как только потребуются его услуги.

Случай не замедлил представиться. На следующее утро, через полчаса после завтрака, в лавку вошел мистер Бамбл и, прислонив свою трость к прилавку, достал поместительный кожаный бумажник, откуда извлек клочок бумаги, который и протянул Саурбери.

– Эге! – сказал гробовщик, с просиявшей физиономией посмотрев на бумажку. – Заказ на гроб?

– Сначала гроб, потом приходские похороны, – ответил мистер Бамбл, затягивая ремешок кожаного бумажника, который, подобно ему самому, был очень тучен.

– Бейтон? – сказал гробовщик, переводя взгляд с клочка бумаги на мистера Бамбла. – Никогда не слышал этой фамилии.

Бамбл, покачивая головой, ответил:

– Упрямый народ, мистер Саурбери, очень упрямый. Боюсь, что к тому же еще и гордый.

– Гордый? – усмехаясь, воскликнул – гробовщик. – Ну, это уж слишком.

– Ох, это отвратительно! – отвечал бидл. – Это безнравственно, мистер Саурбери.

– Совершенно верно, – согласился гробовщик.

– Об этом семействе мы услышали только третьего дня вечером, – продолжал бидл, – да и тогда мы бы ничего о нем не узнали, не будь в том же доме женщины, которая обратилась в приходский комитет с просьбой прислать приходского врача, чтобы он осмотрел больную, – ей, мол, очень худо. Врач уехал на званый обед, а его ученик (очень смысленный парнишка) сейчас же послал им в баночке из-под ваксы какое-то лекарство.

– Вот это быстрота! – сказал гробовщик.

– Именно так! – подтвердил бидл. – Но каковы были последствия, каково было поведение этих неблагодарных бунтовщиков? Муж присылает сказать, что это лекарство не помогает от той болезни, какой страдает его жена, и, стало быть, она не будет его принимать.

Он говорит, что она не будет его принимать, сэр! Прекрасное, сильно действующее, полезное лекарство, которое всего неделю назад очень помогло двум ирландским рабочим и грузчику угля... Его послали даром, в баночке из-под ваксы, а он присылает сказать, что она не будет его принимать, сэр!

Когда чудовищность этого поступка была воспринята мистером Бамблом во всей ее полноте, он сильно ударил тростью по прилавку и покраснел от негодования.

– О! – сказал гробовщик. – Мне бы и в голову никогда...

– Никогда, сэр, – воскликнул бидл. – И никому никогда! Но теперь, когда она умерла, нам приходится ее хоронить! Вот адрес, и чем скорее это будет сделано, тем лучше.

С этими словами мистер Бамбл в приступе лихорадочного возбуждения надел задом наперед свою треуголку и быстро вышел из лавки.

– Ах, Оливер, он так рассердился, что даже забыл спросить о тебе, – сказал мистер Саурбери, глядя вслед бидлу, шагавшему по улице.

– Да, сэр, – ответил Оливер, который во время этого свидания старался не попадаться на глаза бидлу и начал дрожать с головы до ног при одном воспоминании о голосе мистера Бамбла.

Впрочем, он напрасно старался избегнуть взоров мистера Бамбла, ибо это должностное лицо, на которое предсказание джентльмена в белом жилете произвело очень сильное впечатление, полагало, что теперь, когда гробовщик взял Оливера к себе на испытание, разумнее избегать разговоров о нем, пока он не будет окончательно закреплен на семь лет по контракту, а тогда раз и навсегда, законным образом, минует опасность его возвращения на содержание прихода.

– Прекрасно! – проговорил мистер Саурбери, берясь за шляпу. – Чем скорее будет покончено с этим делом, тем лучше... Ноэ, присматривай за лавкой... Оливер, надень шапку и ступай за мной.

Оливер повиновался и последовал за хозяином, отправившимся исполнять свои профессиональные обязанности.

Сначала они шли по самым людным и густонаселенным кварталам города, а затем, свернув в узкую улицу, еще более грязную и жалкую, чем те, какие они уже миновали, они приостановились, отыскивая дом, являвшийся целью их путешествия. По обеим сторонам улицы дома были большие и высокие, но очень старые и населенные бедняками: об этом в достаточной мере свидетельствовали грязные фасады домов, и такой вывод не нуждался в подтверждении, каким являлись испитые лица нескольких мужчин и женщин, которые, скрестив на груди руки и согнувшись чуть ли не вдвое, крадучись проходили по улице. В домах находились лавки, но они были заколочены и постепенно разрушались, и только верхние этажи были заселены. Некоторые дома, разрушавшиеся от времени и ветхости, опирались, чтобы не рухнуть, на большие деревянные балки, припертые к стенам и врытые в землю у края мостовой. Но даже эти развалины, очевидно, служили ночным убежищем для бездомных бедняков, ибо необтесанные доски, закрывавшие двери и окна, были кое-где сорваны, чтобы в отверстие мог пролезть человек. В сточных канавах вода была затхлая и грязная. Даже крысы, которые разлагались в этой гнили, были омерзительно тощими.

Не было ни молотка, ни звонка у раскрытой двери, перед которой остановился Оливер со своим хозяином. Ощупью, осторожно пробираясь по темно – му коридору и уговаривая Оливера не отставать и не трусить, гробовщик поднялся во второй этаж. Наткнувшись на дверь, выходящую на площадку лестницы, он постучал в нее суставами пальцев.

Дверь открыла девочка лет тринадцати – четырнадцати. Гробовщик, едва заглянув в комнату, понял, что сюда-то он и послан. Он вошел; за ним вошел Оливер.

Огня в очаге не было, но какой-то человек по привычке сидел, сгорбившись, у холодного очага. Рядом с ним, придвинув низкий табурет к нетопленной печи, сидела старуха. В другом углу копошились оборванные дети, а в маленькой нише против двери лежало что-то, покрытое старым одеялом. Оливер, бросив взгляд в ту сторону, задрожал и невольно прижался к своему хозяину; хотя предмет и был прикрыт, он догадался, что это труп.

У мужчины было худое и очень бледное лицо; волосы и борода седые; глаза налиты кровью. У старухи лицо было сморщенное; два уцелевших зуба торчали над нижней губой, а глаза были острые и блестящие. Оливер боялся смотреть и на нее и на мужчину. Они слишком походили на крыс, которых он видел на улице.

– Никто к ней не подойдет! – злобно крикнул мужчина, вскочив с места, когда гробовщик направился к нише. – Не подходите! Будь вы прокляты, не подходите, если вам дорога жизнь!

– Вздор, дружище! – сказал гробовщик, который привык к горю во всех его видах. – Вздор!

– Слушайте! – крикнул человек, сжав кулаки и в бешенстве топнув ногой. – Слушайте! Я не позволю зарыть ее в землю. Там она не найдет покоя: черви будут ей мешать... Глодать ее они не могут, так она иссохла.

В ответ на этот сумасшедший бред гробовщик не сказал ни слова; достав из кармана мерку, он опустился на колени перед покойницей.

– Ах! – воскликнул мужчина, залившись слезами и падая к ногам умершей. – На колени перед ней, на колени перед ней, вы все, и запомните мои слова! Говорю вам, ее уморили голодом! Я не знал, что ей так худо, пока у нее не началась лихорадка. И тогда обрисовались все ее кости. Не было ни огня в очаге, ни свечи. Она умерла в темноте – в темноте! Она не могла даже разглядеть лица своих детей, хотя мы слышали, как она окликала их по имени. Для нее я просил милостыню, а меня посадили в тюрьму. Когда я вернулся, она умерла, и кровь застыла у меня в жилах, потому что ее уморили голодом. Клянусь пред лицом бога, который это видел, – ее уморили голодом!

Он вцепился руками в волосы и с громкими воплями стал кататься по полу; глаза его остановились, а на губах выступила пена.

Испуганные дети горько заплакали, но старуха, которая все время оставалась невозмутимой, как будто не слышала того, что происходило вокруг, угрозами заставила их замолчать. Развязав галстук мужчине, все еще лежавшему на полу, она, шатаясь, подошла к гробовщику.

– Это моя дочь, – сказала старуха, кивая головой в сторону покойницы и с идиотским видом подмигивая, что производило здесь еще более страшное впечатление, чем вид мертвеца. – Боже мой, боже мой! Как это чудно! Я родила ее и была тогда молодой женщиной, теперь я весела и здорова, а она лежит здесь, такая холодная и застывшая! Боже мой, боже мой, подумать только: ведь Это прямо как в театре, прямо как в театре!

Пока жалкое создание шамкало и хихикало, предаваясь омерзительному веселью, гробовщик направился к двери.

– Пойдите! – громким шепотом окликнула старуха. – Когда ее похоронят – завтра, послезавтра или сегодня вечером? Я убирала ее к погребению, и я, знаете ли, должна идти за гробом. Пришлите мне большой плащ – хороший теплый плащ, потому что стоит лютый холод. И мы должны поесть пирожка и выпить вина, перед тем как идти! Ладно уж! Пришлите хлеба – ковригу хлеба и чашку воды... Миленький, будет у нас хлеб? – нетерпеливо спросила она, уцепившись за пальто гробовщика, когда тот снова двинулся к двери.

– Да, да, – сказал гробовщик. – Конечно. Все, что вы пожелаете!

Он вырвался из рук старухи и поспешно вышел, увлекая за собой Оливера.

На следующий день (тем временем семейству оказана была помощь в виде двух фунтов хлеба и куску сыру, доставленных самим мистером Бамблом) Оливер со своим хозяином вернулся в убогое жилище, куда уже прибыл мистер Бамбл в сопровождении четырех человек из работного дома, которым предстояло нести гроб. Ветхие черные плащи были наброшены на лохмотья старухи и мужчины, и, когда привинтили крышку ничем не обитого гроба, носильщики подняли его на плечи и вынесли на улицу.

– А теперь шагайте быстрее, старая леди, – шепнул Саурбери на ухо старухе. – Мы опаздываем, а не годится, чтобы священник нас ждал. Вперед, ребята, во всю прыть!

После такого распоряжения носильщики пустились рысцой ее своей легкой ношей, а двое провожающих из всех сил старались не отставать. Мистер Бамбл и Саурбери бодро шагали впереди, а Оливер, у которого ноги были не такие длинные, как у его хозяина, бежал сбоку.

Впрочем, вопреки предположениям мистера Саурбери, не было необходимости спешить, ибо, когда они достигли заброшенного, заросшего крапивой уголка кладбища, отведенного для приходских могил, священника еще не было, а клерк, сидевший у камина в ризнице, считал вполне возможным, что он придет примерно через час. Поэтому гроб поставили у края могилы, и двое провожающих терпеливо ждали, стоя в грязи, под холодным морозящим дождем, а оборванные мальчишки, привлеченные на кладбище предстоящим зрелищем, затеяли шумную игру в прятки среди могильных плит или, придумав новое развлечение, перепрыгивали через гроб. Мистер Саурбери и Бамбл в качестве личных друзей клерка сидели с ним у камина и читали газету.

Наконец, по прошествии часа показались мистер Бамбл, Саурбери и клерк, бежавшие к могиле. Немедленно вслед за ними появился священник, на ходу надевавший стихарь. Затем мистер Бамбл для соблюдения приличий поколотил двух-трех мальчишек, а священник, прочитав из погребальной службы столько, сколько можно было прочесть за четыре минуты, отдал стихарь клерку и ушел.

– Ну, Билл, – сказал Саурбери могильщику, – засыпайте могилу.

Работа была нетрудная: в могиле было столько гробов, что всего несколько футов отделяли верхний гроб от поверхности земли. Могильщик набросал земли, притоптал ее ногами, поднял на плечи лопату и удалился в сопровождении мальчишек, которые орал, досадуя на то, что потеха так скоро кончилась.

– Ступайте, приятель! – сказал Бамбл, похлопав по спине мужчину. – Сейчас запрут ворота кладбища.

Мужчина, который не шевельнулся с тех пор, как стал у края могилы, вздрогнул, поднял голову, посмотрел на говорившего, сделал несколько шагов и упал без чувств. Сумасшедшая старуха была слишком занята оплакиванием плаща (который снял с нее гробовщик), чтобы обращать внимание на мужчину. Поэтому его окатили холодной водой из кружки, а когда он очнулся, благополучно выпроводили с кладбища, заперли ворота и разошлись в разные стороны.

– Ну что, Оливер, – спросил Саурбери, когда они шли домой, – как тебе это понравилось?

– Ничего, благодарю вас, сэр, – нерешительно ответил Оливер. – Не очень, сэр.

– Со временем привыкнешь, Оливер, – сказал Саурбери. – Это пустяки, когда привыкнешь.

Оливер хотел бы знать, долго ли пришлось привыкать мистеру Саурбери. Но он счел более разумным не задавать этого вопроса и вернулся в лавку, размышляя обо всем, что видел и слышал.

Глава VI

Оливер, раздраженный насмешками Ноз, приступает к действиям и приводит его в немалое изумление

Месяц испытания истек, и Оливер был формально принят в ученики. Пора года была славная, несущая болезни. Выражаясь коммерческим языком, на гробы был спрос, и за несколько недель Оливер приобрел большой опыт. Успех хитроумной выдумки мистера Саурбери превзошел самые радужные его надежды. Старожилы не помнили, чтобы так свирепствовала корь и так косила младенцев; и много траурных процессий возглавлял маленький Оливер в шляпе с лентой, спускавшейся до колен, к невыразимому восторгу и умилению всех матерей города. Так как Оливер принимал участие вместе со своим хозяином также и в похоронах взрослых людей, чтобы приобрести невозмутимую осанку и умение

владеть собой, насущно необходимые безупречному гробовщику, то у него было немало случаев наблюдать превосходное смирение и твердость, с какими иные сильные духом люди переносят испытания и утраты.

Так, например, когда Сауербери получал заказ на погребение какой-нибудь богатой старой леди или джентльмена, окруженных множеством племянников и племянниц, которые в течение всей болезни были поистине безутешны и предавались безудержной скорби даже на глазах посторонних, – эти самые особы чувствовали себя прекрасно в своем кругу и были весьма беззаботны, беседуя между собой столь весело и непринужденно, словно не случилось ровно ничего, что могло бы нарушить их покой. Да и мужья переносили потерю своих жен с героическим спокойствием. В свою очередь жены, облачаясь в траур по своим мужьям, не только не горевали в этой одежде скорби, но как будто заботились о том, чтобы она была изящна и к лицу им. Можно было также заметить, что леди и джентльмены, претерпевавшие жестокие муки при церемонии погребения, приходили в себя немедленно по возвращении домой и совершенно успокаивались еще до окончания чаепития. Видеть все это было очень приятно и назидательно, и Оливер наблюдал за происходящим с великим восхищением.

Утверждать с некоторой степенью достоверности, будто пример этих добрых людей научил Оливера покорности судьбе, я не могу, хотя и являюсь его биографом; но я могу решительно заявить, что в течение многих месяцев он смиренно выносил помыкание и насмешки Ноэ Клейпола, который стал обращаться с ним гораздо хуже, чем раньше, ибо почувствовал зависть, когда новый ученик получил черный жезл и ленту на шляпу, тогда как он, старый ученик, по-прежнему ходил в шапке блином и в кожаных штанах. Шарлотт относилась к Оливеру плохо, потому что плохо относился к нему Ноэ; а миссис Сауербери оставалась непримиримым его врагом, потому что мистер Сауербери не прочь был стать его другом; и вот между этими тремя лицами, с одной стороны, и обилием похорон, с другой, Оливер чувствовал себя, пожалуй, не так приятно, как голодная свинья, когда ее по ошибке заперли в амбар с зерном при пивоварне.

А теперь я приступаю к очень важному эпизоду в истории Оливера, ибо мне предстоит поведать о происшествии, которое, хотя и может показаться пустым и незначительным, косвенным образом повлекло за собой существенную перемену во всех его делах и видах на будущее.

Однажды Оливер и Ноэ спустились, по обыкновению, в обеденный час в кухню, чтобы угоститься бараниной – кусок был самый дрянной, фунта в полтора, – когда Шарлотт вызвали из кухни, а Ноэ Клейпол, голодный и злой, решил, что этот короткий промежуток времени он использует наилучшим образом, если станет дразнить и мучить юного Оливера Твиста.

Намереваясь предаться сей невинной забаве, Ноэ положил ноги на покрытый скатертью стол, потянул Оливера за волосы, дернул его за ухо и высказал мнение, что он «подлиза»; далее он заявил о своем желании видеть, как его вздернут на виселицу, когда бы ни наступило это приятное событие, и сделал ряд других язвительных замечаний, каких можно было ждать от столь зловредного и испорченного приютского мальчишки. Но так как ни одна из этих насмешек не достигла желанной цели – не довела Оливера до слез, – Ноэ попытался проявить еще больше остроумия и совершил то, что многие пошлые остряки, пользующиеся большей славой, чем Ноэ, делают и по сей день, когда хотят поиздеваться над кем-либо. Он перешел на личности.

– Приходский щенок, – начал Ноэ, – как поживает твоя мать?

– Она умерла, – ответил Оливер. – Не говорите о ней ни слова.

При этом Оливер вспыхнул, стал дышать прерывисто, а губы и ноздри его начали как-то странно подергиваться, что, по мнению мистера Клейпола, неминуемо предвещало бурные рыдания. Находясь под этим впечатлением, он снова приступил к делу.

– Отчего она умерла, приходский щенок? – спросил Ноэ.

– От разбитого сердца, так мне говорили старые сиделки, – сказал Оливер, не столько

отвечая Ноэ, сколько думая вслух. – Мне кажется, я понимаю, что значит умереть от разбитого сердца!

– Траляля-ля-ля, приходский щенок! – воскликнул Ноэ, когда слеза скатилась по щеке Оливера. – Что это довело тебя до слез?

– Не вы, – ответил Оливер, быстро смахнув слезу. – Не воображайте!

– Не я, вот как? – поддразнил Ноэ.

– Да, не вы! – резко ответил Оливер. – Ну, а теперь довольно. Больше ни слова не говорите мне о ней. Лучше не говорите!

– Лучше не говорить! – воскликнул Ноэ. – Вот как! Лучше не говорить! Приходский щенок, да ты наглец! Твоя мать! Хороша она была, нечего сказать! О, бог ты мой!

Тут Ноэ многозначительно кивнул головой и сморщил, насколько было возможно, свой крохотный красный носик.

– Знаешь ли, приходский щенок, – ободренный молчанием Оливера, он заговорил насмешливым, притворно соболезнующим тоном, – знаешь ли, приходский щенок, теперь уж этому не помочь, да и тогда, конечно, ты не мог помочь, и я очень этим огорчен. Разумеется, мы все огорчены и очень тебя жалеем. Но должен же ты знать, приходский щенок, что твоя мать была самой настоящей шлюхой.

– Что вы сказали? – вздрогнув, переспросил Оливер.

– Самой настоящей шлюхой, приходский щенок, – хладнокровно повторил Ноэ. – И знаешь, приходский щенок, хорошо, что она тогда умерла, иначе пришлось бы ей исполнять тяжелую работу в Брайдуэле,¹² или отправиться за океан, или болтаться на виселице, вернее всего – последнее!

Побагровев от бешенства, Оливер вскочил, опрокинул стол и стул, схватил Ноэ за горло, потрянул его так, что у того зубы застучали, и, вложив все свои силы в один тяжелый удар, сбил его с ног.

Минуту назад мальчик казался тихим, кротким, забитым существом, каким его сделало суровое обращение. Но, наконец, дух его возмутился: жестокое оскорбление, нанесенное покойной матери, воспламенило его кровь. Грудь его вздымалась; он выпрямился во весь рост; глаза горели; он был сам на себя не похож, когда стоял, грозно сверкая глазами над трусливым своим мучителем, съезжившимся у его ног, и бросал вызов с энергией, доселе ему неведомой.

– Он меня убьет! – заревел Ноэ. – Шарлотт! Хозяйка! Новый ученик хочет убить меня! На помощь! На помощь! Оливер сошел с ума! Шарлотт!

На крик Ноэ ответила громким воплем Шарлотт и еще более громким – миссис Саурбери; первая вбежала в кухню из боковой двери, а вторая постояла на лестнице, пока окончательно не убедилась в том, что ни малейшая опасность не угрожает жизни человеческой, если спуститься вниз.

– Ах негодяй! – завизжала Шарлотт, вцепившись в Оливера изо всех сил, которые были примерно равны силам довольно крепкого мужчины, прекрасно их развивавшего. – Ах ты маленький неблаго-дар-ный, кро-во-жадный, мерз-кий негодяй!

И в промежутках между слогами Шарлотт наносила Оливеру полновесные удары, сопровождая их визгом в утеху всей компании.

Кулак у Шарлотт был довольно тяжелый, но, опасаясь, что кулака будет мало для усмирения взбешенного Оливера, миссис Саурбери ринулась в кухню и оказала Ноэ помощь, одной рукой придерживая Оливера, а другой царапая ему лицо. При таком благоприятном положении дел Ноэ поднялся с пола и принялся тузить Оливера кулаками по спине.

Это было, пожалуй, слишком энергичное упражнение, чтобы долго длиться.

¹² *Брайдуэл* – старинная исправительная тюрьма со строгим режимом, известная тем, что заключение в ней, как писали мемуаристы XVII века, «было хуже смерти». Эта тюрьма была снесена только в 1864 году.

Выбившись из сил и устав бить и царапать, они поволокли Оливера, вырывавшегося и кричавшего, но не уstraшенного, в чулан и заперли его там. Когда с этим было покончено, миссис Саурбери упала в кресло и залилась слезами.

– Ах, боже мой, она умирает! – воскликнула Шарлотт. – Ноэ, миленький, стакан воды! Скорей!

– О Шарлотт! – сказала миссис Саурбери, стараясь говорить внятно вопреки недостатку воздуха и избытку холодной воды, которой Ноэ облил ей голову и плечи. – О Шарлотт, какое счастье, что нас всех не зарезали в постели!

– О да! Это – счастье, миссис, – подтвердила та. – Надеюсь только, что это послужит уроком хозяину, чтобы он впредь не брал этих ужасных созданий, которые с самой колыбели предназначены стать убийцами и грабителями. Бедный Ноэ! Он был едва жив, миссис, когда я вошла.

– Бедняжка! – сказала миссис Саурбери, глядя с состраданием на приютского мальчика.

Ноэ, верхняя жилетная пуговица которого могла бы оказаться примерно на одном уровне с макушкой Оливера, тер глаза ладонями, пока его осыпали этими соболезующими возгласами, и, жалобно всхлипывая, выжал из себя несколько слезинок.

– Что нам делать! – воскликнула миссис Саурбери. – Вашего хозяина нет дома, ни единого мужчины нет в доме, а ведь он через десять минут вышибет эту дверь.

Решительный натиск Оливера на упомянутый кусок дерева делал такое предположение в высшей степени правдоподобным.

– Ах, боже мой! – сказала Шарлотт. – Не знаю, что делать, миссис... Не послать ли за полицией?

– Или за солдатами! – предложил мистер Клейпол.

– Нет! – сказала миссис Саурбери, вспомнив о старом приятеле Оливера. – Бегите к мистеру Бамблу, Ноэ, и скажите ему, чтобы он сейчас же, не теряя ни минуты, шел сюда! Бросьте искать шапку! Скорей! Вы можете на бегу прикладывать лезвие ножа к подбитому глазу. Опухоль спадет.

Ноэ не стал тратить времени на ответ и пустился во всю прыть. И как же были удивлены прохожие при виде приютского мальчика, прокладывавшего себе дорогу в уличной толчее, без шапки и со складным ножом, приложенным к глазу.

Глава VII

Оливер продолжает бунтовать

Ноэ Клейпол стремглав мчался по улицам и ни разу не остановился, чтобы перевести дух, пока не добежал до ворот работного дома. Помешкав здесь с минутку, чтобы хорошенько запастись всхлипываниями и скорчить плаксивую и испуганную мину, он громко постучал в калитку и предстал перед стариком нищим, открывшим ее, с такой унылой физиономией, что даже этот старик, который и в лучшие времена видел вокруг себя только унылые лица, с удивлением попятился.

– Что это случилось с мальчиком? – спросил старик нищий.

– Мистера Бамбла! Мистера Бамбла! – закричал Ноэ с ловко разыгранным отчаянием и таким громким и встревоженным голосом, что эти слова не только коснулись слуха самого мистера Бамбла, случайно находившегося поблизости, но привели его в смятение, и он выбежал во двор без треуголки – обстоятельство весьма любопытное и примечательное: оно свидетельствует о том, что даже бидл, действуя под влиянием внезапного и сильного порыва, может временно потерять самообладание и забыть о собственном достоинстве.

– О мистер Бамбл, сэр! – вскричал Ноэ. – Оливер, сэр... Оливер...

– Что? Что такое? – перебил мистер Бамбл, глаза которого засветились радостью. – Неужели сбежал? Неужели он сбежал, Ноэ?

– Нет, сэр! Не сбежал, сэр! Он оказался злодеем! Он хотел убить меня, сэр, а потом

хотел убить Шарлотт, а потом хозяйку. Ох, какая ужасная боль! Какие муки, сэ!

Тут Ноэ начал корчиться и извиваться, как угорь, тем самым давая понять мистеру Бамбл, что неистовое и кровожадное нападение Оливера Твиста привело к серьезным внутренним повреждениям, которые причиняют ему нестерпимую боль.

Увидев, что сообщенное им известие совершенно парализовало мистера Бамбла, он постарался еще усилить впечатление, принявшись сетовать на свои страшные раны в десять раз громче, чем раньше. Когда же он заметил джентльмена в белом жилете, шедшего по двору, вопли его стали еще более трагическими, ибо он правильно рассудил, что было бы весьма целесообразно привлечь внимание и привести в негодование вышеупомянутого джентльмена.

Внимание джентльмена было очень скоро привлечено. Не сделав и трех шагов, он гневно обернулся и спросил, почему этот дрянной мальчишка воеет и почему мистер Бамбл не угостит его чем-нибудь так, чтобы эти звуки, названные воем, вырывались у него произвольно.

– Это бедный мальчик из приютской школы, сэ, – ответил мистер Бамбл. – Его чуть не убил – совсем уж почти убил – тот мальчишка, Твист.

– Черт возьми! – воскликнул джентльмен в белом жилете, остановившись как вкопанный. – Я так и знал! С самого начала у меня было странное предчувствие, что этот дерзкий мальчишка кончит виселицей!

– Он пытался также, сэ, убить служанку, – сказал мистер Бамбл, лицо которого приняло землистый оттенок.

– И свою хозяйку, – вставил мистер Клейпол.

– И своего хозяина, кажется, так вы сказали, Ноэ? – добавил мистер Бамбл.

– Нет, хозяина нет дома, а то бы он его убил, – ответил Ноэ. – Он сказал, что убьет.

– Ну? Он сказал, что убьет? – спросил джентльмен в белом жилете.

– Да, сэ, – ответил Ноэ. – И простите, сэ, хозяйка хотела узнать, не может ли мистер Бамбл уделить время, чтобы зайти туда сейчас и выпороть его, потому что хозяина нет дома.

– Разумеется, разумеется, – сказал джентльмен в белом жилете, благосклонно улыбаясь и поглаживая Ноэ по голове, которая находилась примерно на три дюйма выше его собственной. – Ты – славный мальчик, очень славный. Вот тебе пенни... Бамбл, отправляйтесь-ка с вашей тростью к Саурбери и посмотрите, что там нужно сделать. Не щадите его, Бамбл.

– Не буду щадить, сэ, – ответил Бамбл, поправляя дратву, которой был обмотан конец его трости, предназначенной для бичеваний.

– И Саурбери скажите, чтобы он его не щадил. Без синяков и ссадин от него ничего не добиться, – сказал джентльмен в белом жилете.

– Я позабочусь об этом, сэ, – ответил бидл.

И так как треуголка и трость были уже приведены в порядок, к удовольствию их владельца, мистер Бамбл поспешил с Ноэ Клейполом в лавку гробовщика.

Здесь положение дел отнюдь не изменилось к лучшему. Саурбери еще не вернулся, а Оливер с прежним рвением колотил ногами в дверь погреба. Ярость его, по словам миссис Саурбери и Шарлотт, была столь ужасна, что мистер Бамбл счел благоразумным сперва начать переговоры, а потом уже отпереть дверь. С этой целью он в виде вступления ударил ногой в дверь, а затем, приложив губы к замочной скважине, произнес голосом низким и внушительным:

– Оливер!

– Выпустите меня! – отозвался Оливер из погреба.

– Ты узнаешь мой голос, Оливер? – спросил мистер Бамбл.

– Да, – ответил Оливер.

– И ты не боишься? Не трепещешь, когда я говорю? – спросил мистер Бамбл.

– Нет! – дерзко ответил Оливер.

Ответ, столь не похожий на тот, какой он ждал услышать и какой привык получать, не

на шутку потряс мистера Бамбла. Он попятился от замочной скважины, выпрямился во весь рост и в немом изумлении посмотрел на присутствующих, перевода взгляд с одного на другого.

– Ох, мистер Бамбл, должно быть, он с ума спятил, – сказала миссис Саурбери. – Ни один мальчишка, будь он хотя бы наполовину в здравом рассудке, не осмелился бы так разговаривать с вами.

– Это не сумасшествие, миссис, – ответил мистер Бамбл после недолгого глубокого раздумья. – Это мясо.

– Что такое? – воскликнула миссис Саурбери.

– Мясо, миссис, мясо! – повторил Бамбл сурово и выразительно. – Вы его закармлили, миссис. Вы пробудили в нем противоестественную душу и противоестественный дух, которые не подобают иметь человеку в его положении. Это скажут вам, миссис Саурбери, и члены приходского совета, а они – практические философы. Что делать беднякам с душой или духом? Хватит с них того, что мы им оставляем тело. Если бы вы, миссис, держали мальчика на каше, этого никогда бы не случилось.

– Ах, боже мой! – возопила миссис Саурбери, набожно возведя глаза к потолку. – Вот что значит быть щедрой!

Щедрость миссис Саурбери по отношению к Оливеру выражалась в том, что она, не скупясь, наделяла его отвратительными объедками, которых никто другой не стал бы есть. И, следовательно, было немало покорности и самоотвержения в ее согласии добровольно принять на себя столь тяжкое обвинение, выдвинутое мистером Бамблом. Надо быть справедливым и отметить, что в этом она была неповинна ни помышлением, ни словом, ни делом.

– Ах! – сказал мистер Бамбл, когда леди снова опустила глаза долу. – Единственное, что можно сейчас сделать, – это оставить его на день-другой в погребе, чтобы он немножко проголодался, а потом вывести его оттуда и кормить одной кашей, пока не закончится срок его обучения. Он из дурной семьи. Легко возбуждающиеся натуры, миссис Саурбери! И сиделка и доктор говорили, что его мать приплелась сюда, невзирая на такие препятствия и мучения, которые давным-давно убили бы любую добропорядочную женщину.

Когда мистер Бамбл довел свою речь до этого пункта, Оливер, услышав ровно столько, чтобы уловить снова упоминание о своей матери, опять заколотил ногами в дверь с таким неистовством, что заглушил все прочие звуки.

В этот критический момент вернулся Саурбери. Когда ему поведали о преступлении Оливера с теми преувеличениями, какие, по мнению обеих леди, могли наилучшим образом воспламенить его гнев, он немедленно отпер дверь погреба и вытащил за шиворот своего взбунтовавшегося ученика.

Одежда Оливера была разорвана в клочья во время избиения; лицо в синяках и царапинах; всклокоченные волосы падали ему на лоб. Но лицо его по-прежнему пылало от ярости, а когда его извлекли из темницы, он бросил грозный взгляд на Ноэ и казался несколько не запуганным.

– Нечего сказать, хорош парень! – произнес Саурбери, встряхнув Оливера и угостив его пощечиной.

– Он ругал мою мать, – ответил Оливер.

– Ну так что за беда, если и ругал, неблагодарная, негодная ты тварь? – воскликнула миссис Саурбери. – Она заслужила все, что он о ней говорил, и даже больше.

– Нет, не заслужила, – сказал Оливер.

– Нет, заслужила, – сказала миссис Саурбери.

– Это неправда! – крикнул Оливер. – Неправда!

Миссис Саурбери залилась потоком слез. Этот поток слез лишил мистера Саурбери возможности сделать выбор. Если бы он хоть на минутку поколебался сурово наказать Оливера согласно всем прецедентам в супружеских размолвках, то заслужил бы, как поймет искусенный читатель, наименование скотины, чудовища, оскорбителя, гнусной пародии на

мужчину и другие лестные отзывы, слишком многочисленные, чтобы их можно было уместить в пределах этой главы. Нужно отдать ему справедливость: простиралась его власть, – а она простиралась недалеко, – он был расположен шадить мальчика, может быть потому, что это отвечало его интересам, а быть может потому, что его жена не любила Оливера. Однако поток ее слез поставил его в безвыходное положение, и он отколотил Оливера так, что удовлетворил даже миссис Саурбери, а мистеру Бамблу в сущности уже незачем было пускаться в ход приходскую трость. До наступления ночи Оливер сидел под замком в чулане в обществе насоса и ломтя хлеба, а вечером миссис Саурбери, стоя за дверью, сделала ряд замечаний, отнюдь не лестных для памяти его матери, затем – Ноэ и Шарлотт все это время осыпали его насмешками и остротами – приказала ему идти наверх, где находилось его жалкое ложе.

Оставшись один в безмолвии и тишине мрачной лавки гробовщика, Оливер только тогда дал волю чувствам, которые после такого дня могли пробудиться даже в душе ребенка. Он с презрением слушал язвительные замечания, он без единого крика перенес удары плетью, ибо сердце его исполнилось той гордости, которая заставила бы его молчать до последней минуты, даже если бы его поджаривали на огне. Но теперь, когда никто не видел и не слышал его, Оливер упал на колени и заплакал такими слезами, какие мало кто в столь юном возрасте имел основания проливать – к чести нашей, бог дарует их смертным.

Долго оставался Оливер в этой позе. Свеча догорала в подсвечнике, когда он встал. Осторожно осматриваясь и чутко прислушиваясь, он потихоньку отпер дверь и выглянул на улицу.

Была холодная, темная ночь. На взгляд мальчика, звезды были дальше от земли, чем он привык их видеть; ветра не было, и мрачные тени, отбрасываемые на землю деревьями, казались призрачными и мертвыми – так были они неподвижны. Он тихо запер дверь. При слабом свете догорающей свечи, увязав в носовой платок коекакую свою одежду, он сел на скамейку и стал ждать утра.

Когда первый луч света пробился сквозь щели в ставнях, Оливер встал и снова снял дверные засовы. Робкий взгляд, брошенный вокруг, минутное колебание – и он притворил за собой дверь и очутился на улице.

Он посмотрел направо, потом налево, не зная, куда бежать. Он вспомнил, что повозки, выезжая из города, медленно поднимались на холм. Он избрал этот путь и, дойдя до тропинки, пересекавшей поле, которая, как он знал, дальше снова выходила на дорогу, свернул на эту тропинку и быстро пошел вперед.

Оливер прекрасно помнил, что по этой самой тропинке он бежал рысцой рядом с мистером Бамблом, когда тот вел его с фермы в работный дом. Путь его лежал как раз мимо коттеджа. Сердце у него сильно забилося, когда он об этом подумал, и он чуть было не повернул назад. Но он уже прошел немалое расстояние и потерял бы много времени на обратный путь. К тому же было очень рано, и вряд ли были основания опасаться, что его увидят. Итак, он двинулся вперед.

Он поравнялся с домом. По-видимому, в такой ранний час все обитатели его еще спали. Оливер остановился и заглянул в сад. Какой-то мальчик полон грядку; когда Оливер остановился, он поднял бледное личико – это был один из его прежних товарищей. Оливер обрадовался, что увидел его, прежде чем отсюда уйти: мальчик был моложе его, но Оливер жил с ним в дружбе и часто они вместе играли. Много раз их обоих били, морили голодом, сажали под замок.

– Тише, Дик! – сказал Оливер, когда мальчик подбежал к калитке и просунул между перекладинами худую руку, чтобы поздороваться с ним. – Никто еще не встал?

– Никто, кроме меня, – ответил мальчик.

– Дик, не говори, что ты меня видел, – сказал Оливер. – Я сбежал. Меня били и обижали, и я решил искать счастья где-нибудь далеко отсюда. Не знаю только где. Какой ты бледный!

– Я слышал, как доктор сказал, что я умру, – слабо улыбнувшись, ответил мальчик. – Я

рад, что повидался с тобой, но уходи, уходи!

– Нет, я хочу попрощаться с тобой, – сказал Оливер. – Мы еще увидимся, Дик. Знаю, что увидимся! Ты будешь здоровым и счастливым!

– Надеюсь, – ответил мальчик. – После того как умру. Я знаю, доктор прав, Оливер, потому что мне часто снятся небо, ангелы и добрые лица, которых я никогда не вижу наяву. Поцелуй меня, – сказал мальчик, вскарабкавшись на низкую калитку и обвив ручонками шею Оливера. – Прощай, милый! Да благословит тебя бог.

Это благословение произнесли уста ребенка, но Оливер впервые услышал, что на него призывают благословение, и в последующей своей жизни, полной борьбы, страданий, превратностей и невзгод, он никогда не забывал его.

Глава VIII

Оливер идет в Лондон. Он встречает на дороге странного молодого джентльмена

Оливер добрался до перелаза, которым кончалась тропинка, и снова вышел на большую дорогу. Было восемь часов. Хотя от города его отделяло почти пять миль, но до полудня он бежал, прячась за изгородями, опасаясь, что его преследуют и могут настигнуть. Наконец, он сел отдохнуть у придорожного столба и впервые задумался о том, куда ему идти и где жить.

На столбе, у которого он сидел, было начертано крупными буквами, что отсюда до Лондона ровно семьдесят миль. Эта надпись вызвала у мальчика вереницу мыслей. Лондон!.. Величественный, огромный город!.. Никто – даже сам мистер Бамбл – никогда не сможет отыскать его там! Старики в работном доме говаривали, что ни один толковый парень не будет нуждаться, живя в Лондоне, и в этом большом городе существуют такие способы зарабатывать деньги, о каких понятия не имеют люди, выросшие в провинции. Это было самое подходящее место для бездомного мальчика, которому придется умереть на улице, если никто ему не поможет. Когда эти мысли пришли ему в голову, он вскочил и снова зашагал вперед.

Расстояние между ним и Лондоном уменьшилось еще на добрые четыре мили, прежде чем он сообразил, сколько он должен претерпеть, пока достигнет цели своего путешествия. Слегка замедлив шаги, он задумался о том, как ему туда добраться. В узелке у него была корка хлеба, грубая рубашка и две пары чулок. Кроме того, в кармане был пенни – подарок Саурбери после каких-то похорон, на которых Оливер особенно отличился. «Чистая рубашка, – подумал Оливер, – вещь прекрасная, так же как две пары заштопанных чулок и пенни; но от этого мало пользы тому, кто должен пройти шестьдесят пять миль в зимнюю пору».

Оливер, как и большинство людей, отличался чрезвычайной готовностью и умением подмечать трудности, но был совершенно беспомощен, когда нужно было придумать какой-нибудь осуществимый способ их преодолеть. И после долгих размышлений, оказавшихся бесплодными, он перебрросил свой узелок через другое плечо и поплелся дальше.

В тот день Оливер прошел двадцать миль, и за все это время у него во рту не было ничего, кроме сухой корки хлеба и воды, которую он выпросил у дверей придорожного коттеджа. Когда стемнело, он свернул на луг и, забравшись в стог сена, решил лежать здесь до утра. Сначала ему было страшно, потому что ветер уныло завывал над оголенными полями. Ему было холодно, он был голоден и никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Но, очень устав от ходьбы, он скоро заснул и забыл о своих невзгодах.

К утру он озяб, окоченел и был так голоден, что поневоле обменял свой пенни на маленький хлебец в первой же деревне, через которую случилось ему проходить. Он прошел не больше двенадцати миль, когда снова спустилась ночь. Ступни его ныли, и от усталости подкашивались ноги. Прошла еще одна ночь, которую он провел в холодном, сыром месте, и ему стало еще хуже; когда наутро он тронулся в путь, то едва волочил ноги.

Он подождал у подножия крутого холма, пока приблизится почтовая карета, и попросил милостыню у пассажиров, сидевших снаружи, но мало кто обратил на него внимание, да и те сказали, чтобы он подождал, пока они поднимутся на вершину холма, а тогда они посмотрят, так ли он быстро побежит, чтобы получить полпенни. Бедный Оливер старался не отставать от кареты, но потерпел неудачу: он очень устал, и у него болели ноги. Наружные пассажиры спрятали в карман свои полпенни, заявив, что он – ленивый щенок и ровно ничего не заслуживает. И карета с грохотом укатила, оставив за собой только облако пыли.

В некоторых деревнях были прибиты большие цветные доски с предупреждением всем, кто просит милостыню в этой округе, что им грозит тюрьма. Оливера это всякий раз очень пугало, и он спешил поскорее покинуть эти места. В других деревнях он стоял у гостиниц и горестно смотрел на прохожих; обычно это кончалось тем, что хозяйка гостиницы приказывала одному из фореиторов, слонявшихся поблизости, прогнать мальчишку, потому что – в этом она уверена – он хочет что-нибудь стащить. Если он просил милостыню у двери фермера, в девяти случаях из десяти грозили натравить на него собаку, а когда он просовывал нос в лавку, заходила речь о бидле, после чего у Оливера от страха пересыхало во рту, а ведь частенько у него во рту ничего, кроме слюны, не бывало.

В конце концов не будь добросердечного сторожа у заставы и милосердной старой леди, страдания Оливера закончились бы гораздо скорее, так же как и страдания его матери, – иными словами, он упал бы мертвым на королевской большой дороге. Но сторож у заставы накормил его хлебом и сыром, а старая леди, внук которой, потерпев кораблекрушение, скитался босой в какой-то далекой стране, пожалела бедного сироту и дала ему то небольшое, что могла уделить; и самое главное, она подарила ему добрые, ласковые слова и слезы сочувствия и сострадания, запавшие в душу Оливера глубже, чем все перенесенные им доселе мучения.

На седьмой день после ухода из родного города Оливер, прихрамывая, медленно вошел рано утром в городок Барнет. Ставни на окнах были закрыты, улицы пустынные: никто еще не просыпался для повседневных дел. Солнце вставало во всем своем великолепии, но свет заставил Оливера только сильнее почувствовать свое полное одиночество и заброшенность, когда он с окровавленными ногами, покрытый пылью, сидел на ступеньках у какой-то двери.

Постепенно начали открываться ставни; поднялись шторы на окнах, и на улице появились прохожие. Иные на минутку приостанавливались и смотрели на Оливера или на ходу оборачивались, чтобы взглянуть на него; но никто не пришел ему на помощь и не спросил, как он сюда попал. У него не хватало духу просить милостыню. И он по-прежнему сидел у двери.

Долго он сидел, съежившись, на ступеньке, удивляясь количеству трактиров (в каждом втором доме города Барнета помещалась таверна, большая или маленькая), равнодушно посматривая на проезжающие мимо кареты и размышляя о том, как странно, что им ничего не стоит проделать в несколько часов то, на что ему понадобилась целая неделя, в течение которой он проявил мужество и решимость, несвойственные его возрасту. Вдруг он заметил мальчика, который, безучастно пройдя мимо него несколько минут назад, вернулся и теперь очень пристально следил за ним с противоположной стороны улицы. Сначала он не придал этому значения, но мальчик так долго занимался наблюдением, что Оливер поднял голову и тоже посмотрел на него в упор. Тогда мальчик перешел улицу и, подойдя к Оливеру, сказал:

– Эй, парнишка! Какая беда стряслась?

Мальчик, обратившийся с этим вопросом к юному путешественнику, был примерно одних с ним лет, но казался самым удивительным из всех мальчиков, каких случалось встречать Оливеру. Он был курносый, с плоским лбом, ничем не примечательной физиономией и такой грязный, каким только можно вообразить юнца, но напускал на себя важность и держался как взрослый. Для своих лет он был мал ростом, ноги у него были кривые, а глазки острые и противные. Шляпа едва держалась у него на макушке, ежеминутно грозя слететь; это случилось бы с ней не раз, если бы ее владелец не имел привычки то и

дело встряхивать головой, после чего шляпа водворилась на прежнее место. На нем был сюртук взрослого мужчины, доходивший ему до пят. Обшлага он отвернул до локтя, выпростав кисти рук из рукавов, по-видимому с той целью, чтобы засунуть их с вызывающим видом в карманы плисовых штанов, ибо руки он держал в карманах. Вообще это был самый развязный и самоуверенный молодой джентльмен, ростом около четырех футов шести дюймов и в блюхеровских башмаках.¹³

– Эй, парнишка! Какая беда стряслась? – сказал сей странный молодой джентльмен Оливеру.

– Я очень устал и проголодался, – со слезами на глазах ответил Оливер. – Я пришел издалека. Я иду вот уже семь дней.

– Семь дней! – воскликнул молодой джентльмен. – Понимаю. По приказу клюва, да? Но, кажется, – добавил он, заметив удивленный взгляд Оливера, – ты не знаешь, что такое клюв, приятель?

Оливер скромно ответил, что, по его сведениям, упомянутое слово обозначает рот у птиц.

– До чего же он желторотый! – воскликнул молодой джентльмен. – Да ведь *клюв* – это судья! И если идешь по приказу клюва, то идешь не прямо вперед, а к петле, и с нее уж не сорваться. Ты никогда не бывал на ступальном колесе?¹⁴

– На каком колесе? – спросил Оливер.

– На каком? Да, конечно, на ступальном, на том самом, которое занимает так мало места, что может вертеться в каменном кувшине. И чем лучше оно работает, тем хуже приходится людям, потому что, если людям хорошо живется, для него не найти рабочих... Но послушай, – продолжал молодой джентльмен, – тебе нужно задать корму, и ты его получишь. Я и сам теперь на мели – только и есть у меня, что боб да сорока,¹⁵ но уж коли на то пошло, я раскошелюсь. Вставай-ка! Ну!.. Вот так!.. В путь-дорогу!

Молодой джентльмен помог Оливеру подняться и повел его в ближайшую мелочную лавку, где купил ветчины и половину четырехфунтовой булки, или, как он выразился, «отрубей на четыре пенса»; ветчина сохранялась от пыли благодаря хитроумной уловке, заключавшейся в том, что из булки вытаскивали часть мякиша, а вместо него запихивали ветчину. Взяв хлеб под мышку, молодой джентльмен свернул в небольшой трактир и прошел в заднюю комнату, служившую распивочной. Сюда, по распоряжению таинственного юнца, была принесена кружка пива, и Оливер, воспользовавшись приглашением своего нового друга, принялся за еду и ел долго и много, а в это время странный мальчик посматривал на него с величайшим вниманием.

– Идешь в Лондон? – спросил странный мальчик, когда Оливер, наконец, покончил с едой.

– Да.

– Квартира есть?

– Нет.

– Деньги?

– Нет.

Странный мальчик свистнул и засунул руки в карманы так глубоко, как только

¹³ *Блюхеровские башмаки* – высокие зашнурованные ботинки.

¹⁴ *Ступальное колесо* – Так назывался длинный вал, нарезанный горизонтальными ступенями. Над валом неподвижно закреплена широкая доска с ручками, держась за которые и переступая ногами по ступеням вала, рабочие приводят его в движение; ступальное колесо соединялось с каким-нибудь механизмом. В английских тюрьмах и рабочих домах на ступальное колесо назначали в порядке наказания.

¹⁵ *Боб да сорока* – на воровском жаргоне: шиллинг и полпенни.

позволяли длинные рукава.

– Вы живете в Лондоне? – спросил Оливер.

– Да, когда бываю у себя дома, – ответил мальчик. – Ты бы не прочь отыскать какое-нибудь местечко, чтобы переночевать там сегодня, верно?

– Очень хотел бы, – ответил Оливер. – Я не спал под крышей с тех пор, как ушел из своего городка.

– Нечего тереть из-за этого глаза, – сказал молодой джентльмен. – Сегодня вечером я должен быть в Лондоне, а там у меня есть знакомый, почтенный старый джентльмен, который приютит тебя даром и сдачи не потребует, – конечно, если ему тебя представит джентльмен, которого он знает. А разве он меня не знает? О нет! Совсем не знает! Нисколько! Разумеется!

Молодой джентльмен улыбнулся, давая понять, что последние замечания были шутливо-ироническими, и допил пиво.

Неожиданное предложение дать приют было слишком соблазнительно, чтобы его отклонить. К тому же за ним тотчас же последовало уверение, что упомянутый старый джентльмен несомненно подыщет Оливеру хорошее место в самое ближайшее время. Это повело к более дружеской и душевной беседе, из которой Оливер узнал, что его друга зовут Джек Даукинс и что он пользуется особой любовью и покровительством вышеупомянутого пожилого джентльмена.

Наружность мистера Даукинса вряд ли свидетельствовала в пользу удобств, какие его патрон предоставлял тем, кого брал под свое покровительство. Но так как он вел довольно легкомысленные и развязные речи и вдобавок признался, что среди близких своих друзей больше известен под шутливым прозвищем «Ловкий Плут», Оливер заключил, что это беззаботный и беспутный малый, на которого поучения его благодетеля до сей поры не возымели действия. Находясь под этим впечатлением, он втайне решил поскорее заслужить доброе мнение старого джентльмена, и если Плут окажется неисправимым, что было более чем вероятно, он уклонится от чести поддерживать с ним знакомство.

Так как Джек Даукинс не хотел войти в Лондон, пока не стемнеет, то они ждали одиннадцати часов и только тогда подошли к заставе у Излингтона. От «Ангела»¹⁶ они свернули на Сент-Джон-роуд, прошли маленькой улочкой, заканчивающейся у театра Сэдлерс-Уэлс, миновали Элут-стрит и Копис-Роу, прошли по маленькому дворику около работного дома, пересекли Хокли-интехоул, оттуда повернули к Сафрен-Хилл, а затем к Грейт-Сафрен-Хилл, и здесь Плут стремительно помчался вперед, приказав Оливеру следовать за ним по пятам.

Хотя внимание Оливера было поглощено тем, чтобы не упустить из виду проводника, однако на бегу он изредка поглядывал по сторонам. Более гнусного и жалкого места он еще не видывал. Улица была очень узкая и грязная, а воздух насыщен зловонием. Много было маленьких лавчонок, но, казалось, единственным товаром являлись дети, которые даже в такой поздний час копошились в дверях или визжали в доме. Единственными заведениями, как будто преуспевавшими в этом обреченном на гибель месте, были трактиры, и в них орали во всю глотку отпетые люди – ирландские подонки. За крытыми проходами и дворами, примыкавшими к главной улице, виднелись домишки, сбившиеся в кучу, и здесь пьяные мужчины и женщины буквально барахтались в грязи, а из некоторых дверей крадучись выходили какие-то дюжие подозрительные парни, очевидно отправлявшиеся по делам не особенно похвальным и безобидным.

Оливер подумал, не лучше ли ему улизнуть, но они уже спустились с холма. Проводник, схватив его за руку, отворил дверь дома около Филд-лепп, втащил его в коридор и прикрыл за собой дверь.

– Эй, кто там? – раздался снизу голос в ответ на свист Плути.

¹⁶ «Ангел» – популярный трактир в одном из лондонских районов – в Излингтоне.

– Плутни и удача! – был ответ.

По-видимому, это был пароль или сигнал, возвещавший о том, что все в порядке, так как на стену в дальнем конце коридора упал тусклый свет свечи, а из-за сломанных перил старой лестницы, ведущей в кухню, выглянуло лицо мужчины.

– Вас тут двое, – сказал мужчина, вытягивая руку со свечой, а другой рукой заслоняя глаза от света. – Кто этот второй?

– Новый товарищ, – ответил Джек Даукинс, подталкивая вперед Оливера.

– Откуда он взялся?

– Из страны желторотых... Феджин наверху?

– Да, сортирует утиралки. Ступайте наверх!

Свечу убрали, и лицо исчезло. Оливер, одной рукой шаря в темноте, в то время как товарищ крепко сжимая в своей другую его руку, с большим трудом поднялся по темной ветхой лестнице, по которой его проводник взбирался с легкостью и быстротой, свидетельствовавшими о том, что она ему хорошо знакома. Он открыл дверь задней комнаты и втащил за собой Оливера.

Стены и потолок в этой комнате совсем почернели от времени и пыли. Перед очагом стоял сосновый стол, а на столе – свеча, воткнутая в бутылку из-под имбирного пива, две-три оловянные кружки, хлеб, масло и тарелка. На сковороде, подвешенной на проволоке к полке над очагом, поджаривались на огне сосиски, а наклонившись над ними, стоял с вилкой для поджаривания гренек очень старый, сморщенный еврей с всклокоченными рыжими волосами, падавшими на его злобное, отталкивающее лицо. На нем был засаленный фланелевый халат с открытым воротом, а внимание свое он, казалось, делил между сковородкой и вешалкой, на которой висело множество шелковых носовых платков. Несколько дрянных старых мешков, служивших постелями, лежали один подле другого на полу. За столом сидели четыре-пять мальчиков не старше Плути и с видом солидных мужчин курили длинные глиняные трубки и угощались спиртным. Все они столпились вокруг своего товарища, когда тот шепнул несколько слов еврею, а затем повернулись и, ухмыляясь, стали смотреть на Оливера. Так поступил и еврей, не выпуская из рук вилки для поджаривания гренек.

– Это он самый и есть, Феджин, – сказал Джек Даукинс, – мой друг Оливер Твист.

Еврей усмехнулся и, отвесив Оливеру низкий поклон, подал ему руку и выразил надежду, что удостоится чести познакомиться с ним ближе. Вслед за этим Оливера окружили молодые джентльмены с трубками и очень крепко пожали ему обе руки – в особенности ту, в которой он держал свой узелок. Один из молодых джентльменов очень заботливо повесил его шапку, а другой был столь услужлив, что засунул руки в его карманы, чтобы Оливер вследствие своего крайнего утомления не трудился вынимать вещи из карманов, когда будет ложиться спать. Вероятно, их любезность простерлась бы еще дальше, если бы еврей не пустил в ход вилку, колотя ею предупредительных юношей по голове и по плечам.

– Мы очень рады познакомиться с тобой, Оливер, очень рады... – сказал еврей. – Плут, сними сосиски и придвинь ближе к огню бочонок для Оливера. Ты смотришь на носовые платки, да, миленький? Их много, правда? Мы их только что разобрали, приготовили к стирке. Вот и все, Оливер, вот и все. Ха-ха-ха!

Заключительные фразы вызвали шумное одобрение всех многообещающих питомцев веселого старого джентльмена. И среди этого шума они принялись за ужин.

Оливер съел свою порцию, а затем еврей налил ему стакан горячего джина с водой, приказав выпить залпом, потому что стакан нужен другому джентльмену. Оливер повиновался. Тотчас после этого он почувствовал, что его осторожно перенесли на один из мешков, потом он заснул глубоким сном.

Глава IX

содержащая различные сведения о приятном старом джентльмене и

его многообещающих питомцах

На следующий день Оливер проснулся поздно после долгого, крепкого сна. В комнате никого не было, кроме старого еврея, который варил в кастрюльке кофе к завтраку и тихонько насвистывал, помешивая его железной ложкой. Он то и дело останавливался и прислушивался к малейшему шуму, доносившемуся снизу, а затем, удовлетворив свое любопытство, снова принимался насвистывать и помешивать ложкой.

Хотя Оливер уже не спал, но он еще не совсем проснулся. Бывает такое дремотное состояние между сном и бодрствованием, когда вы лежите с полузакрытыми глазами и наполовину сознаете все, что происходит вокруг, и, однако, вам за пять минут может пригрезиться больше, чем за пять ночей, хотя бы вы их провели с плотно закрытыми глазами и ваши чувства были погружены в глубокий сон. В такие минуты смертный знает о своем духе ровно столько, чтобы составить себе смутное представление о его великом могуществе, о том, как он отрывается от земли и отметаает время и пространство, освободившись от уз, налагаемых на него телесной его оболочкой.

Именно таким было состояние Оливера. Из-под полуопущенных век он видел еврея, слышал его тихое посвистывание и догадывался по звуку, что ложка скребет края кастрюли, и, однако, в то же самое время мысли его были заняты чуть ли не всеми, кого он когда-либо знал.

Когда кофе был готов, еврей снял кастрюльку с подставки на очаге, где она нагревалась. Постояв несколько минут в раздумье, словно не зная, чем заняться, он обернулся, посмотрел на Оливера и окликнул его по имени. Тот не отозвался – по-видимому, он спал.

Успокоившись на этот счет, еврей потихоньку подошел к двери и запер ее. Затем он вытащил – из какого-то тайника под полом, как показалось Оливеру, – небольшую шкатулку, которую осторожно поставил на стол. Глаза его блеснули, когда он, приподняв крышку, заглянул туда. Придвинув к столу старый стул, он сел и вынул из шкатулки великолепные золотые часы, сверкавшие драгоценными камнями.

– Ого! – сказал еврей, приподняв плечи и скривив лицо в омерзительную улыбку. – Умные собаки! Умные собаки! Верные до конца! Так и не сказали старому священнику, где они были. Не донесли на старого Феджина! Да и к чему было доносить? Все равно это не развязало бы узла и ни на минуту не отсрочило бы конца. Да! Молодцы! Молодцы!

Бормоча себе под нос эти слова, еврей снова спрятал часы в то же надежное место. По крайней мере еще с полдюжины часов он извлек по очереди из шкатулки и рассматривал их с не меньшим удовольствием, так же как и кольца, брошки, браслеты и другие драгоценные украшения, столь же искусно сделанные, о которых Оливер не имел ни малейшего представления и даже не знал, как они называются.

Положив обратно эти драгоценные безделушки, еврей достал еще одну, умещавшуюся у него на ладони. Очевидно, на ней было что-то написано очень мелкими буквами, потому что он положил ее на стол и, заслонясь рукой от света, разглядывал очень долго и внимательно. Наконец, он спрятал ее, словно отчаявшись в – успехе, и, откинувшись на спинку стула, пробормотал:

– Превосходная штука – смертная казнь! Мертвые никогда не каются. Мертвые никогда не выбалтывают неприятных вещей. Ах, и славная это штука для такого ремесла! Пятерых вздернули, и ни одного не осталось, чтобы заманить в ловушку сообщников или отпраздновать труса!

Когда еврей произнес эти слова, его блестящие темные глаза, рассеянно смотревшие в пространство, остановились на лице Оливера. Глаза мальчика с безмолвным любопытством были прикованы к нему, и, хотя их взгляды встретились на одно мгновение – на кратчайшую долю секунды, – этого было достаточно, чтобы старик понял, что за ним следят. Он с треском захлопнул шкатулку и, схватив хлебный нож, лежавший на столе, в бешенстве вскочил. Но он трясся всем телом, и Оливер, несмотря на ужасный испуг, заметил, как

дрожит в воздухе нож.

– Что это значит? – крикнул еврей. – Зачем ты подсматриваешь за мной? Почему не спишь? Что ты видел? Говори! Живей, живей, если тебе дорога жизнь!

– Я больше не мог спать, сэр, – робко ответил Оливер. – Простите, если я вам помешал, сэр.

– Ты уж час как не спишь? – спросил еврей, злобно глядя на мальчика.

– Нет! О нет! – ответил Оливер.

– Это правда? – крикнул еврей, бросив еще более злобный взгляд и приняв угрожающую позу.

– Клянусь, я спал, сэр, – с жаром ответил Оливер. – Право же, сэр, я спал.

– Полно, полно, мой милый, – сказал еврей, неожиданно вернувшись к прежней своей манере обращения, и поиграл ножом, прежде чем положить его на стол, словно желая показать, что нож он схватил просто для забавы. – Конечно, я это знаю, мой милый. Я хотел только напугать тебя. Ты храбрый мальчик. Ха-ха! Ты храбрый мальчик, Оливер!

Еврей, хихикая, потер руки, но тем не менее с беспокойством посмотрел на шкатулку.

– Ты видел эти хорошенькие вещички, мой мальчик? – помолчав, спросил еврей, положив на шкатулку руку.

– Да, сэр, – ответил Оливер.

– А! – сказал еврей, слегка побледнев. – Это... это мои вещи, Оливер. Мое маленькое имущество. Все, что у меня есть, чтобы прожить на старости лет. Меня называют скрягой, мой милый. Скрягой, только и всего.

Оливер подумал, что старый джентльмен, должно быть, и в самом деле настоящий скряга, если, имея столько часов, живет в такой грязной дыре; но, решив, что его заботы о Плуте и других мальчиках связаны с большими расходами, он бросил почтительный взгляд на еврея и попросил разрешения встать.

– Разумеется, мой милый, разумеется, – ответил старый джентльмен. – Вон там в углу, у двери, стоит кувшин с водой. Принеси его сюда, а я дам тебе таз, и ты, милый мой, умоешься.

Оливер встал, прошел в другой конец комнаты и наклонился, чтобы взять кувшин. Когда он обернулся, шкатулка уже исчезла.

Он едва успел умыться, привести себя в порядок и, по указанию еврея, выплеснуть воду из таза за окно, как вернулся Плут в сопровождении своего бойкого молодого друга, которого накануне вечером Оливер видел с трубкой; теперь он был официально ему представлен как Чарли Бейтс. Вчетвером они сели за завтрак, состоявший из кофе, ветчины и горячих булочек, принесенных Плутом в шляпе.

– Ну, – сказал еврей, лукаво посмотрев на Оливера и обращаясь к Плутому, – надеюсь, мои милые, вы поработали сегодня утром?

– Здорово, – ответил Плут.

– Как черти, – добавил Чарли Бейтс.

– Славные ребята, славные ребята! – продолжал еврей. – Что ты принес. Плут?

– Два бумажника, – ответил сей молодой джентльмен.

– С прокладкой? – нетерпеливо осведомился еврей.

– Довольно плотной, – ответил Плут, подавая два бумажника – один зеленый, другой красный.

– Могли бы быть потяжелее, – заметил еврей, внимательно ознакомившись с их содержимым, – но сделаны очень мило и аккуратно... Он искусный работник, правда, Оливер?

– О да, очень искусный, сэр, – сказал Оливер.

Тут юный Чарльз Бейтс оглушительно захохотал, к большому удивлению Оливера, который не видел ровно ничего смешного в том, что происходило.

– А ты что принес, мой милый? – обратился Феджин к Чарли Бейтсу.

– Утиралки, – ответил юный Бейтс, доставая четыре носовых платка.

– И то хорошо, – сказал еврей, пристально их рассматривая. – Недурны, совсем недурны. Но ты плохо их пометил, Чарли, – придется спороть метки иголкой. Мы научим Оливера, как это делается... Научить тебя, Оливер? Ха-ха-ха!

– Пожалуйста, сэр, – ответил Оливер.

– Тебе хотелось бы делать носовые платки так же искусно, как Чарли Бейтс, мой милый?

– Очень, сэр, если вы меня научите, – ответил Оливер.

Юный Бейтс усмотрел нечто столь смешное в этом ответе, что снова разразился хохотом; и этот хохот едва не привел к преждевременной смерти от удушения, так как он пил кофе, которое и попало в дыхательное горло.

– Уж очень он желторотый! – оправившись, сказал Чарли, принося извинение за свою неучтивость.

Плут промолчал и только взъерошил Оливеру волосы так, что они упали ему на глаза, а потом сказал, что со временем он поумнеет. Тут старый джентльмен, заметив, как покраснел Оливер, переменял тему разговора и спросил, много ли народу глазело утром на казнь. Оливер удивился еще больше, так как из ответа мальчиков выяснилось, что они оба там были, и он, разумеется, не понимал, когда же они успели так усердно поработать.

После завтрака, когда убрали со стола, веселый старый джентльмен и оба мальчика затеяли любопытную и необычайную игру: веселый старый джентльмен, положив в один карман брюк табакерку, в другой – записную книжку, а в жилетный карман – часы с цепочкой, обвивавшей его шею, и приколов к рубашке булавку с фальшивым бриллиантом, наглухо застегнул сюртук, сунул в карманы футляр от очков и носовой платок и с палкой в руке принялся расхаживать по комнате, подражая тем пожилым джентльменам, которых можно увидеть в любой час дня прогуливающимися по улице. Он останавливался то перед очагом, то у двери, делая вид, будто с величайшим вниманием рассматривает витрины. При этом он то и дело озирался, опасаясь воров и, желая убедиться, что ничего не потерял, похлопывал себя поочередно по всем карманам так забавно и натурально, что Оливер смеялся до слез. Все время оба мальчика следовали за ним по пятам, а когда он оборачивался, так ловко скрывались из поля его зрения, что невозможно было за ними уследить. Наконец, Плут не то наступил ему на ногу, не то случайно за нее зацепился, а Чарли Бейтс налетел на него сзади, и в одно мгновение они с удивительным проворством стянули у него табакерку, записную книжку, часы с цепочкой, носовой платок и даже футляр от очков.

Если старый джентльмен ощущал чью-то руку в кармане, он кричал, в каком кармане рука, и тогда игра начиналась сызнова.

Когда в эту игру сыграли много раз подряд, явились две молодые леди навестить молодых джентльменов; одну из них звали Бет, а другую Нэнси. У них были чрезвычайно пышные волосы, не очень аккуратно причесанные, и грязные чулки и башмаки. Пожалуй, их нельзя было назвать хорошенькими, но румянец у них был яркий, и они казались здоровыми и жизнерадостными. Держали они себя очень мило и непринужденно, и Оливер решил, что они славные девушки. И несомненно так оно и было.

Эти гости пробыли долго. Подали виски, так как одна из молодых леди пожаловалась, что внутри у нее все застыло. Завязалась беседа, очень оживленная и поучительная. Наконец, Чарли Бейтс заявил, что пора, по его мнению, поразмять копыта. Оливер решил, что, по-видимому, это значит прогуляться, так как немедленно вслед за этим Плут, Чарли и обе молодые леди ушли все вместе, получив предварительно деньги на расходы от любезного старого еврея.

– Так-то, мой милый, – сказал Феджин. – Приятная жизнь, не правда ли? Они ушли на целый день.

– Со своей работой они уже покончили, сэр? – спросил Оливер.

– Совершенно верно, – ответил еврей, – разве что им подвернется какое-нибудь дельце во время прогулки, а уж тогда они им займутся, мой милый, можешь не сомневаться в этом.

Бери с них пример, милый мой. Бери с них пример, – повторил он, постукивая по очагу лопаткой для угля, чтобы придать своим словам больше веса. – Делай все, что они тебе прикажут, и во всем слушайся их советов, в особенности, мой милый, советов Плута. Он будет великим человеком и тебя сделает таким же, если ты станешь ему подражать. Кстати, мой милый, не торчит ли у меня из кармана носовой платок? – спросил вдруг еврей.

– Да, сэр, – ответил Оливер.

– Посмотрим, удастся ли тебе его вытащить так, чтобы я не заметил. Утром ты видел, как они это делали, когда мы играли.

Оливер одной рукой придержал карман снизу, как это делал на его глазах Плут, а другой осторожно вытащил платок.

– Готово? – воскликнул еврей.

– Вот он, сэр! – сказал Оливер, показывая платок.

– Ты ловкий мальчуган, мой милый, – сказал старый джентльмен, одобритительно погладив Оливера по голове. – Никогда еще я не видывал такого шустрого мальчика. Вот тебе шиллинг. Если ты будешь продолжать в этом духе, из тебя выйдет величайший человек в мире. А теперь иди сюда, я тебе покажу, как спарывают метки с платков.

Оливер не понимал, почему кража – в шутку – носового платка из кармана старого джентльмена имеет отношение к его шансам стать великим человеком. Но полагая, что еврей, который был много старше его, прекрасно об этом осведомлен, он послушно подошел к столу и вскоре углубился в новую работу.

Глава X

Оливер ближе знакомится с новыми товарищами и дорогой ценой приобретает опыт. Короткая, но очень важная глава в этом повествовании

Много дней Оливер не выходил из комнаты еврея, спарывая метки с носовых платков (их приносили в большом количестве), а иной раз принимая участие в описанной выше игре, которую оба мальчика и еврей затекали каждое утро. Наконец, он начал тосковать по свежему воздуху и не раз умолял старого джентльмена разрешить ему пойти на работу вместе с двумя его товарищами.

Оливеру не терпелось приступить к работе еще и потому, что он узнал суровый, добродетельный нрав старого джентльмена. Если Плут и Чарли Бейтс приходили вечером домой с пустыми руками, он с жаром толковал о гнусной привычке к праздности и безделью и внушал им необходимость вести трудовую жизнь, отправляя их спать без ужина. Однажды он даже спустил обоих с лестницы, но, пожалуй, тут он слишком далеко зашел в своих моральных поучениях.

Наконец, настало утро, когда Оливер получил разрешение, которого так ревностно добивался. Вот уже два три дня не приносили носовых платков, ему нечего было делать, и обеда стали довольно скудными. Быть может, по этой-то причине старый джентльмен дал свое согласие. Как бы там ни было, он позволил Оливеру идти и поручил его заботам Чарли Бейтса и его приятеля Плута.

Мальчики втроем отправились в путь. Плут, по обыкновению, шел с подвернутыми рукавами и в заломленной набекрень шляпе; юный Бейтс шествовал, заложив руку в карманы, а между ними брел Оливер, недоумевая, куда они идут и какому ремеслу будет он обучаться в первую очередь.

Брели они лениво, не спеша, и Оливер вскоре начал подумывать, не хотят ли его товарищи обмануть старого джентльмена и вовсе не пойти на работу. Вдобавок у Плута была дурная привычка сдергивать шапки с ребят и забрасывать их во дворы, а Чарли Бейтс обнаружил весьма непохвальное понятие о правах собственности, таская яблоки и луковицы с лотков, стоящих вдоль тротуара, и рассовывая их по карманам, столь поместительным, что казалось, его костюм весь состоит из них. Это так не нравилось Оливеру, что он собирался

заявить о своем намерении идти назад, как вдруг мысли его приняли другое направление, так как поведение Плута весьма загадочно изменилось.

Они только что вышли из узкого двора неподалеку от площади в Клеркенуэле, которая неведомо почему называется «Лужайкой», как вдруг Плут остановился и, приложив палец к губам, с величайшей осторожностью потащил своих товарищей назад.

– Что случилось? – спросил Оливер.

– Те... – зашептал Плут. – Видишь вон того старикашку у книжного ларька?

– Видишь джентльмена на той стороне? – спросил Оливер. – Вижу.

– Годится! – сказал Плут.

– Первый сорт! – заметил юный Чарли Бейтс.

Оливер с величайшим изумлением переводил взгляд с одного на другого, но задать вопроса не пришлось, так как оба мальчика незаметно перебежали через дорогу и подкрались сзади к старому джентльмену, которого показали ему раньше. Оливер сделал несколько шагов, и не зная, идти ли ему за ними, или пойти назад, остановился и взирал на них с безмолвным удивлением.

Старый джентльмен с напудренной головой и в очках в золотой оправе имел вид весьма почтенный. На нем был бутылочного цвета фрак с черным бархатным воротником и светлые брюки, а под мышкой он держал изящную бамбуковую трость. Он взял с прилавка книгу и стоя читал ее с таким вниманием, как будто сидел в кресле у себя в кабинете. Очень возможно, что он и в самом деле воображал, будто там сидит: судя по его сосредоточенному виду, было ясно, что он не замечает ни прилавка, ни улицы, ни мальчиков – короче говоря, ничего, кроме книги, которую усердно читал; дойдя до конца страницы, он переворачивал лист, начинал с верхней строки следующей страницы и продолжал читать с величайшим интересом и вниманием.

Каковы же были ужас и смятение Оливера, остановившегося в нескольких шагах и смотревшего во все глаза, когда он увидел, что Плут засунул руку в карман старого джентльмена и вытащил оттуда носовой платок, увидел, как он передал этот платок Чарли Бейтсу и, наконец, как они оба бросились бежать и свернули за угол.

В одно мгновение мальчику открылась тайна носовых платков, и часов, и драгоценных вещей, и еврея. Секунду он стоял неподвижно, и от ужаса кровь бурлила у него в жилах так, что ему казалось, будто он в огне; потом, растерянный и испуганный, он кинулся прочь и, сам не по ни мая, что делает, бежал со всех ног.

Все это произошло в одну минуту. В тот самый момент, когда Оливер бросился бежать, старый джентльмен сунул руку в карман и, не найдя носового платка, быстро оглянулся. При виде удиравшего мальчика он, разумеется, заключил, что это и есть преступник, и, закричав во все горло: «Держите вора!» – пустился за ним с книгой в руке.

Но не один только старый джентльмен поднял тревогу. Плут и юный Бейтс, не желая бежать по улице и тем привлечь к себе всеобщее внимание, спрятались в первом же подъезде за углом. Услыхав крик и увидев бегущего Оливера, они сразу угадали, что произошло, поспешили выскочить из подъезда и с криком: «Держите вора!» – приняли участие в погоне, как подобает добрым гражданам.

Хотя Оливер был воспитан философами, он теоретически не был знаком с превосходной аксиомой, что самосохранение есть первый закон природы. Будь он с нею знаком, он оказался бы к этому подготовленным. Но он не был подготовлен и тем сильнее испугался; посему он летел, как вихрь, а за ним с криком и ревом гнались старый джентльмен и два мальчика.

«Держите вора! Держите вора!» Есть в этих словах магическая сила. Лавочник покидает свой прилавок, а возчик свою подводку, мясник бросает свой лоток, булочник свою корзину, молочник свое ведро, рассыльный свои свертки, школьник свои шарики, ¹⁷

¹⁷ *Шарики* – излюбленная в Англии детская игра.

мостильщик свою кирку, ребенок свой волан.¹⁸ И бегут они как попало, попеременно, наобум, толкаются, орут, кричат, заворачивая за угол, сбивают с ног прохожих, пугают собак и приводят в изумление кур; а улицы, площади и дворы оглашаются криками.

«Держите вора! Держите вора!» Крик подхвачен сотней голосов, и толпа увеличивается на каждом углу. И мчатся они, шлепая по грязи и топая по тротуарам; открываются окна, выбегают из домов люди, вперед летит толпа, зрители покидают Панча¹⁹ в самый разгар его приключений и, присоединившись к людскому потоку, подхватывают крики и с новой энергией вопят: «Держите вора! Держите вора!»

«Держите вора! Держите вора!» Глубоко в человеческом сердце заложена страсть травить кого-нибудь. Несчастный, измученный ребенок, задыхающийся от усталости, – ужас на его лице, отчаяние в глазах, крупные капли пота стекают по щекам, – напрягает каждый нерв, чтобы уйти от преследователей, а они бегут за ним и, с каждой секундой к нему приближаясь, видят, что силы ему изменяют, и орут еще громче, и гикают, и режут от радости. «Держите вора!» О да, ради бога, задержите его хотя бы только из сострадания!

Наконец, задержали! Ловкий удар. Он лежит на мостовой, а толпа с любопытством его окружает. Вновь прибывающие толкаются и протискиваются вперед, чтобы взглянуть на него. «Отойдите в сторону!» – «Дайте ему воздух!» – «Вздор! Он его не заслуживает». – «Где этот джентльмен?» – «Вот он, идет по улице». – «Пропустите вперед джентльмена!» – «Это тот самый мальчик, сэр?» – «Да».

Оливер лежал, покрытый грязью и пылью, с окровавленным ртом, бросая обезумевшие взгляды на лица окружавших его людей, когда самые быстроногие его преследователи угодливо привели и втолкнули в круг старого джентльмена.

– Да, – сказал джентльмен, – боюсь, что это тот самый мальчик.

– Бойтесь! – пробормотали в толпе. – Добряк!

– Бедняжка! – сказал джентльмен. – Он ушибся.

– Это я, сэр! – сказал здоровенный, неуклюжий парень, выступив вперед. – Вот разбил себе кулак о его зубы. Я его задержал, сэр.

Парень, ухмыльнувшись, притронулся к шляпе, ожидая получить что-нибудь за труды, но старый джентльмен, посмотрев на него с неприязнью, тревожно оглянулся, как будто в свою очередь подумывал о бегстве. Весьма возможно, что он попытался бы это сделать и началась бы новая погоня, если бы в эту минуту не пробился сквозь толпу полисмен (который в таких случаях обычно является последним) и не схватил Оливера за шиворот.

– Ну, вставай! – грубо сказал он.

– Право же, это не я, сэр. Право же, это два других мальчика! – воскликнул Оливер, с отчаянием сжимая руки и осматриваясь вокруг. – Они где-нибудь здесь.

– Ну, здесь их нет, – сказал полисмен. Он хотел придать иронический смысл своим словам, но они соответствовали истине: Плут и Чарли Бейтс удрали, воспользовавшись первым подходящим для этой цели двором. – Вставай!

– Не обижай его! – мягко сказал старый джентльмен.

– Нет, я-то его не обижу! – отвечал полисмен и к доказательство своих слов чуть не сорвал с Оливера куртку. – Идем, я тебя знаю, брось эти штуки. Встанешь ты, наконец, на ноги, чертенок?

Оливер, который едва мог стоять, ухитрился подняться на ноги, и тотчас его потащили за шиворот по улице. Джентльмен шагал рядом с полисменом, а те из толпы, что были попроворнее, забежали вперед и то и дело оглядывались на Оливера. Мальчишки торжественно орала, а они продолжали путь.

¹⁸ *Волан* – игра, напоминающая теннис, с той разницей, что партнеры играют не мячом, а куском пробкового дерева с насаженными на него перьями.

¹⁹ *Панч* – герой английского кукольного театра, соответствует русскому Петрушке.

Глава XI

повествует о мистере Фэнге, полицейском судье, и дает некоторое представление о его способе отправлять правосудие

Преступление было совершено в районе, входившем в границы весьма известного полицейского участка столицы. Толпа имела удовольствие сопровождать Оливера только на протяжении двух-трех улиц и по так называемому Маттон-Хилл, а затем его провели под низкой аркой в грязный двор полицейского суда. В этом маленьком мощеном дворике их встретил дородный мужчина с клочковатыми бакенбардами на лице и связкой ключей в руке.

– Что тут еще случилось? – небрежно спросил он.

– Охотник за носовыми платками, – ответил человек, который привел Оливера.

– Вы – пострадавшая сторона, сэр? – осведомился человек с ключами.

– Да, я, – ответил старый джентльмен, – но я не уверен в том, что этот мальчик действительно стащил у меня носовой платок... Мне... мне бы хотелось не давать хода этому делу...

– Теперь остается только идти к судье, – сказал человек с ключами. – Его честь освободится через минуту. Ступай, молодой висельник.

Этимися словами он пригласил Оливера войти в отпертую им дверь, ведущую в камеру с кирпичными стенами. Здесь Оливера обыскали и, не найдя у него ничего, заперли.

Камера своим видом и размерами напоминала погреб, но освещалась куда хуже. Она оказалась нестерпимо грязной; было утро понедельника, а с субботнего вечера здесь сидели под замком шестеро пьяниц. Но это пустяки. В наших полицейских участках каждый вечер сажают под арест мужчин и женщин по самым ничтожным обвинениям – это слово достойно быть отмеченным – в темницы, по сравнению с которыми камеры в Ньюгете,²⁰ заполненные самыми опасными преступниками, коих судили, признали виновными и приговорили к смертной казни, напоминают дворцы. Пусть тот, кто в этом сомневается, сравнит их сам.

Когда ключ заскрежетал в замке, старый джентльмен был опечален почти так же, как Оливер. Он со вздохом обратился к книге, которая послужила невольной причиной происшедшего переполоха.

– В лице этого мальчика, – сказал старый джентльмен, медленно отходя от двери и с задумчивым видом похлопывая себя книгой по подбородку, – в лице этого мальчика есть что-то такое, что меня трогает и интересует. Может ли быть, что он не виновен? Лицо у него такое... Да, кстати! – воскликнул старый джентльмен, вдруг остановившись и подняв глаза к небу. – Ах, боже мой! Где ж это я раньше мог видеть такое лицо?

После нескольких минут раздумья старый джентльмен все с тем же сосредоточенным видом вошел в прихожую перед камерой судьи, выходящую во двор, и здесь, отступив в угол, воскресил в памяти длинную вереницу лиц, над которыми уже много лет назад спустился сумеречный занавес.

– Нет! – сказал старый джентльмен, покачивая головой. – Должно быть, это моя фантазия!

Он снова их обзрел. Он вызвал их, и нелегко было вновь опустить на них покров, так долго их скрывавший. Здесь были лица друзей, врагов, людей, едва знакомых, назойливо выглядывавших из толпы; здесь были лица молодых, цветущих девушек, теперь уже старух; здесь были лица, искаженные смертью и сокрытые могилой. Но дух, властвующий над ней, по-прежнему облакал их свежестью и красотой, вызывая в памяти блеск глаз, сверкающую улыбку, сияние души, просвечивающей из праха, и то неясное, что нашептывает красота из

²⁰ *Ньюгет* – центральная уголовная тюрьма в Лондоне. Во время лондонского «мятежа лорда Гордона» (1780), описанного Диккенсом в романе «Барнеби Радж», частично была разрушена, затем восстановлена и в 1877 году закрыта.

загробного мира, изменившаяся лишь для того, чтобы вспыхнуть еще ярче, и отнятая у земли, чтобы стать светочем, который озаряет мягкими, нежными лучами тропу к небесам.

Но старый джентльмен не мог припомнить ни одного лица, чьи черты можно было найти в облике Оливера. С глубоким вздохом он распрощался с пробужденными им воспоминаниями и, будучи, к счастью для себя, рассеянным старым джентльменом, снова похоронил их между пожелтевших страниц книги.

Он очнулся, когда человек с ключами тронул его за плечо и предложил следовать за ним в камеру судьи. Он поспешно захлопнул книгу и предстал перед лицом величественного и знаменитого мистера Фэнга.

Камера судьи помещалась в первой комнате с обшитыми панелью стенами. Мистер Фэнг сидел в дальнем конце, за перилами, а у двери находилось нечто вроде деревянного загона, куда уже был помещен бедный маленький Оливер, весь дрожавший при виде этой устрашающей обстановки.

Мистер Фэнг был худощавым, с длинной талией и несгибающейся шеей, среднего роста человеком, с небольшим количеством волос, произрастающих на затылке и у висков. Лицо у него было хмурое и багровое. Если он на самом деле не имел обыкновения пить больше, чем было ему полезно, он мог бы возбудить в суде против своей физиономии дело о клевете и получить щедрое вознаграждение за понесенные убытки.

Старый джентльмен почтительно поклонился и, подойдя к столу судьи, сказал, согласуя слова с делом:

– Вот моя фамилия и адрес, сэр.

Затем он отступил шага на два и, отвесив еще один учтивый джентльменский поклон, стал ждать допроса.

Случилось так, что в этот самый момент мистер Фэнг внимательно читал передовую статью в утренней газете, упоминающую одно из недавних его решений и в триста пятидесятый раз предлагающую министру внутренних дел обратиться на него особое и чрезвычайное внимание. Он был в дурном расположении духа и, нахмурившись, сердито поднял голову.

– Кто вы такой? – спросил мистер Фэнг.

Старый джентльмен с некоторым удивлением указал на свою визитную карточку.

– Полисмен, – сказал мистер Фэнг, презрительно отбрасывая карточку вместе с газетой, – кто этот субъект?

– Моя фамилия, сэр, – сказал старый джентльмен, как подобает говорить джентльмену, – моя фамилия, сэр, Браунлоу... Разрешите узнать фамилию судьи, который, пользуясь защитой своего звания, наносит незаслуженное и ничем не вызванное оскорбление почтенному лицу.

С этими словами мистер Браунлоу окинул взглядом комнату, словно отыскивая кого-нибудь, кто бы доставил ему требуемые сведения.

– Полисмен, – повторил мистер Фэнг, швыряя в сторону лист бумаги, – в чем обвиняется этот субъект?

– Он ни в чем не обвиняется, ваша честь, – ответил полисмен. – Он выступает обвинителем против мальчика, ваша честь.

Его честь прекрасно это знал; но это был превосходный способ досадить свидетелю, да к тому же вполне безопасный.

– Выступает обвинителем против мальчика, вот как? – сказал Фэнг, с ног до головы смерив мистера Браунлоу презрительным взглядом. – Приведите его к присяге!

– Прежде чем меня приведут к присяге, я прошу разрешения сказать одно слово, – заявил мистер Браунлоу, – а именно: я бы никогда не поверил, не убедившись на собственном опыте...

– Придержите язык, сэр! – повелительно сказал мистер Фэнг.

– Не желаю, сэр! – ответил старый джентльмен.

– Сию же минуту придержите язык, а не то я прикажу выгнать вас отсюда! –

воскликнул мистер Фэнг. – Вы наглец! Как вы смеете грубить судье? Что такое? – покраснев, вскричал старый джентльмен.

– Приведите этого человека к присяге! – сказал Фэнг клерку. – Не желаю больше слышать ни единого слова. Приведите его к присяге.

Негодование мистера Браунлоу было безгранично, но, сообразив, быть может, что он только повредит мальчику, если даст волю своим чувствам, мистер Браунлоу подавил их и покорно принес присягу.

– Ну, – сказал Фэнг, – в чем обвиняют этого мальчика? Что вы имеете сказать, сэр?

– Я стоял у книжного ларька... – начал мистер Браунлоу.

– Помолчите, сэр, – сказал мистер Фэнг. – Полисмен! Где полисмен?.. Вот он. Приведите к присяге этого полисмена... Ну, полисмен, в чем дело?

Полисмен с надлежащим смирением доложил о том, как он задержал обвиняемого, как обыскал Оливера и ничего не нашел, и о том, что он больше ничего об этом не знает.

– Есть еще свидетели? – осведомился мистер Фэнг.

– Больше никого нет, сэр, – ответил полисмен.

Мистер Фэнг несколько минут молчал, а затем, повернувшись к потерпевшему, сказал с неудержимой злобой:

– Намерены вы изложить, в чем заключается ваше обвинение против этого мальчика, или не намерены? Вы принесли присягу. Если вы отказываетесь дать показание, я вас покараю за неуважение к суду. Чтоб вас...

Конец фразы остается неизвестным, ибо как раз в надлежащий момент клерк и тюремщик очень громко кашлянули, и первый уронил на пол – разумеется, случайно – тяжелую книгу, благодаря чему слова невозможно было расслышать.

Мистер Браунлоу, которого много раз перебивали и поминутно оскорбляли, ухитрился изложить свое дело, заявив, что в первый момент, растерявшись, он бросился за мальчиком, когда увидел, что тот удирает от него: затем он выразил надежду, что судья, признав мальчика виновным не в воровстве, но в сообщничестве с ворами, окажет ему снисхождение, не нарушая закона.

– Он и без того уже пострадал, – сказал в заключение старый джентльмен. – И боюсь, – энергически добавил он, бросив взгляд на судью, – право же, боюсь, что он болен!

– О да, конечно! – насмешливо улыбаясь, сказал мистер Фэнг. – Эй ты, бродяжка, брось эти фокусы! Они тебе не помогут. Как тебя зовут?

Оливер попытался ответить, но язык ему не повиновался. Он был смертельно бледен, и ему казалось, что все в комнате кружится перед ним.

– Как тебя зовут, закоснелый ты негодяй? – спросил мистер Фэнг. – Полисмен, как его зовут?

Эти слова относились к грубоватому, добродушному на вид старику в полосатом жилете, стоявшему у перил. Он наклонился к Оливеру и повторил вопрос, но, убедившись, что тот действительно не в силах понять его, и зная, что молчание мальчика только усилит бешенство судьи и приведет к более суровому приговору, он рискнул ответить наобум.

– Он говорит, и его зовут Том Уайт, ваша честь, – сказал этот мягкосердечный охотник за ворами.

– О, так он не желает разговаривать? – сказал Фэнг. – Прекрасно, прекрасно. Где он живет?

– Где придется, ваша честь! – заявил полисмен, снова притворяясь, будто Оливер ему незнаком.

– Родители живы? – осведомился мистер Фэнг.

– Он говорит, что они умерли, когда он был совсем маленький, ваша честь, – сказал полисмен наугад, как говорил обычно.

Когда допрос достиг этой стадии. Оливер поднял голову и, бросив умоляющий взгляд, слабым голосом попросил глоток воды.

– Вздор! – сказал мистер Фэнг. – Не вздумай меня дурачить.

– Мне кажется, он и в самом деле болен, ваша честь, – возразил полисмен.

– Мне лучше знать, – сказал мистер Фэнг.

– Помогите ему, полисмен, – сказал старый джентльмен, инстинктивно протягивая руки, – он вот-вот упадет!

– Отойдите, полисмен! – крикнул Фэнг. – Если ему угодно, пусть падает.

Оливер воспользовался милостивым разрешением и, потеряв сознание, упал на пол. Присутствующие переглянулись, но ни один не посмел шевельнуться.

– Я знал, что он притворяется, – сказал Фэнг, словно это было неопровержимым доказательством притворства. – Пусть он так и лежит. Ему это скоро надоест.

– Как вы намерены решить это дело, сэр? – спросил клерк.

– Очень просто! – ответил мистер Фэнг. – Он приговаривается к трехмесячному заключению и, разумеется, к тяжелым работам. Очистить зал!

Открыли дверь, и два человека приготовились унести бесчувственного мальчика в тюремную камеру, как вдруг пожилой человек в поношенном черном костюме, на вид пристойный, но бедный, ворвался в комнату и направился к столу судьи.

– Подождите! Не уносите его! Ради бога, подождите минутку! – воскликнул вновь прибывший, запыхавшись от быстрой ходьбы.

Хотя духи, председательствующие в подобных местах, пользуются полной и неограниченной властью над свободой, добрым именем, репутацией, чуть ли не над жизнью подданных ее величества, в особенности принадлежащих к беднейшим классам, и хотя в этих стенах ежедневно разыгрываются такие фантастические сцены, что ангелы могли бы выплакать себе глаза, однако это скрыто от общества, разве только кое-что проникает в печать. Вследствие этого мистер Фэнг не на шутку вознегодовал при виде незваного гостя, столь неучтиво нарушившего порядок.

– Что это? Кто это такой? Выгнать этого человека! Очистить зал! – вскричал мистер Фэнг.

– Я буду говорить! – крикнул человек. – Я не позволю, чтобы меня выгнали! Я все видел. Я владелец книжного ларька. Я требую, чтобы меня привели к присяге! Меня вы не заставите молчать. Мистер Фэнг, вы должны меня выслушать! Вы не можете мне отказать, сэр.

Этот человек был прав. Вид у него был решительный, а дело принимало слишком серьезный оборот, чтобы можно было его замять.

– Приведите этого человека к присяге! – весьма недружелюбно проворчал мистер Фэнг. – Ну, что вы имеете сказать?

– Вот что: я видел, как три мальчика – арестованный и еще двое слонялись по другой стороне улицы, когда этот джентльмен читал книгу. Кражу совершил другой мальчик. Я видел, как это произошло и видел, что вот этот мальчик был совершенно ошеломлен и потрясен.

К тому времени достойный владелец книжного ларька немного отдышался и уже более связно рассказал, при каких обстоятельствах была совершена кража.

– Почему вы не явились сюда раньше? – помолчав, спросил Фэнг.

– Мне не на кого было оставить лавку, – ответил тот. – Все, кто мог бы мне помочь, приняли участие в погоне. Еще пять минут назад я никого не мог найти, а сюда я бежал всю дорогу.

– Истец читал, не так ли? – осведомился Фэнг, снова помолчав.

– Да, – ответил человек. – Вот эту самую книгу, которая у него в руке.

– Эту самую, да? – сказал Фэнг. – За нее уплачено?

– Нет, не уплачено, – с улыбкой ответил книгопродавец.

– Ах, боже мои, я об этом совсем забыл! – простодушно воскликнул рассеянный старый джентльмен.

– Что и говорить, достойная особа, а еще возводит обвинения на бедного мальчика! – сказал Фэнг, делая комические усилия казаться сердобольным. – Я полагаю, сэр, что вы

завладели этой книгой при весьма подозрительных и порочащих вас обстоятельствах. И можете считать себя счастливым, что владелец ее не намерен преследовать вас по суду. Пусть это послужит вам уроком, любезнейший, а не то правосудие еще займется вами... Мальчик оправдан. Очистить зал!

– Черт побери! – вскричал старый джентльмен, не в силах больше сдерживать свой гнев. – Черт побери! Я...

– Очистить зал! – сказал судья. – Полицейские, слышите? Очистить зал!

Приказание было исполнено. И негодующего мистера Браунлоу, который был вне себя от гнева и возмущения, выпроводили вон с книгой в одной руке и с бамбуковой тростью в другой. Он вышел во двор, и бешенство его мгновенно улеглось. На мощеном дворе лежал маленький Оливер Твист в расстегнутой рубашке и со смоченными водой висками; лицо его было смертельно бледно, дрожь пробегала по всему телу.

– Бедный мальчик, бедный мальчик! – сказал мистер Браунлоу, наклонившись к нему. – Карету! Пожалуйста, пусть кто-нибудь наймет карету. Поскорее!

Появилась карета, и когда Оливера бережно опустили на одно сиденье, старый джентльмен занял другое.

– Разрешите поехать с вами? – попросил владелец книжного ларька, заглядывая в карету.

– Ах, боже мой, конечно, дорогой сэръ! – быстро ответил мистер Браунлоу. – Я забыл о вас. Боже мой, боже мой! У меня все еще эта злополучная книга! Влезайте поскорее! Бедный мальчуган! Нельзя терять ни минуты.

Владелец книжного ларька сел в карету, и они уехали.

Глава XII

в которой об Оливере заботятся лучше, чем когда бы то ни было, а в которой снова повествуется о веселом старом джентльмене и его молодых друзьях

Карета с грохотом катила почти той же дорогой, какой шел Оливер, когда впервые вступил в Лондон, сопровождаемый Плутон, и, доехав до «Ангела» в Излингтоне, свернула в другую сторону и, наконец, остановилась у чистенького домика в тихой, окаймленной деревьями улице близ Пентонвила. Здесь Оливеру была немедленно приготовлена постель, и сам мистер Браунлоу проследил, чтобы в нее бережно уложили его юного питомца; здесь за ним ухаживали с бесконечной нежностью и заботливостью.

Но в течение многих дней Оливер оставался нечувствительным к доброте своих новых друзей. Солнце взошло и зашло, и снова взошло и зашло, и это повторялось много раз, а мальчик по-прежнему метался на кровати к иссушающему жару лихорадки. Червь совершает свою работу над трупом не с большей уверенностью, чем этот медленно ползущий огонь над живым телом.

Слабый, худой и бледный, он очнулся, наконец, словно после долгого тревожного сна.

– Что это за комната? Куда меня привели? – спросил Оливер. – Мне здесь никогда не случалось спать.

Он был очень истощен и слаб, и эти слова произнес тихим голосом, но их тотчас же услышали. Полог у изголовья кровати быстро отдернули, и добродушная старая леди, опрятно и скромно одетая, поднялась с кресла у самой кровати, в котором она сидела, занимаясь шитьем.

– Тише, дорогой мой, – ласково сказала старая леди. – Ты должен лежать очень спокойно, иначе опять заболеешь. А тебе было очень плохо, так плохо, что хуже и быть не может. Ложись, будь умником!

С этими словами старая леди осторожно уложила голову Оливера на подушку и, откинув ему волосы со лба с такой добротой и любовью посмотрела на него, что он невольно схватил исхудалой рукой ее руку и обвил ее вокруг своей шеи.

– Господи помилуй! – со слезами на глазах сказала старая леди. – Какое благодарное милое дитя! И какой он хорошенький! Что почувствовала бы его мать, если бы все это время она сидела, как я, в его кровати и могла поглядеть на него сейчас!

– Может быть, она меня видит, – прошептал Оливер, складывая руки. – Может быть, она сидела подле меня. Мне казалось, будто она сидела.

– Это тебя от лихорадки, дорогой мой, – ласково сказала старая леди.

– Должно быть, – ответил Оливер, – потому что небо от нас очень далеко, а они там слишком счастливы, чтобы прийти к постели больного мальчика. Но если она знала, что я болен, она и там должна была пожалеть меня, ведь она сама перед смертью была очень больна. Впрочем, она ничего не может обо мне знать, – помолчав, добавил Оливер. – Если бы она видела, как меня обижали, ее бы это опечалило, но, когда она мне снилась, лицо у нее всегда было ласковое и счастливое.

Старая леди ничего на это не ответила; вытерев сначала глаза, а потом лежавшие на одеяле очки, словно они являлись неотъемлемой частью глаз, она подала Оливеру какое-то прохладительное питье, а затем, погладив его по щеке, сказала, что он должен лежать очень спокойно, а не то опять заболит.

И Оливер лежал очень спокойно, отчасти потому, что хотел во всем повиноваться доброй старой леди, а отчасти, сказать по правде, и потому, что очень ослабел после этого разговора. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше.

– Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый? – сказал джентльмен.

– Да, благодарю вас, – ответил Оливер.

– Я знаю, что лучше, – сказал джентльмен. – И тебе хочется есть, правда?

– Нет, сэр, – ответил Оливер.

– Гм! – сказал джентльмен. – Я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть, миссис Бэдуин, – с глубокомысленным видом сказал джентльмен.

Старая леди почтительно наклонила голову, как бы давая понять, что считает доктора очень умным человеком. По-видимому, и сам доктор был того же мнения.

– Тебя клонит в сон, правда, мой милый? – сказал доктор.

– Нет, сэр, – ответил Оливер.

– Так! – сказал доктор с очень проницательным и довольным видом. – Тебя не клонит в сон. И пить не хочется, правда?

– Пить хочется, сэр, – ответил Оливер.

– Я так и предполагал, миссис Бэдуин, – сказал доктор. – Очень естественно, что ему хочется пить. Вы можете дать ему немного чаю, сударыня, и гренок без масла. Не укрывай его слишком тепло, но, будьте добры, позаботьтесь, чтобы ему не было холодно.

Старая леди сделала реверанс. Доктор, отдавав освежающее питье и выразив свое одобрение, поспешно удалился; башмаки его скрипели очень внушительно и чванливо, когда он спускался по лестнице.

Вскоре после этого Оливер снова задремал, а когда он проснулся, было около полуночи. Старая леди ласково пожелала ему спокойной ночи и оставила его на попечение толстой старухи, которая только что пришла, принеся с собой в узелке маленький молитвенник и большой ночной чепец. Надев чепец на голову и положив молитвенник на стол, старуха сообщила, что пришла ухаживать за ним ночью, а затем придвинула стул поближе к камину и погрузилась в сон, который то и дело прерывался, потому что она клевала носом, охала и сопела. Впрочем, никакой беды от этого не приключилось, только по временам она просыпалась и сильно терла нос, после чего снова засыпала.

Медленно тянулись ночные часы. Оливер долго не спал, считая светлые кружочки, которые отбрасывала на потолок тростниковая свеча,²¹ заслоненная экраном, или

²¹ *Тростниковая свеча* – тусклая сальная свеча с фитилем из сердцевины тростника.

всматриваясь усталым взором в сложный рисунок на обоях. Сумрак и тишина в комнате были торжественны. Они навяли мальчику мысль о том, что в течение многих дней и ночей здесь витала смерть и, быть может, еще теперь в комнате сохранился след ее страшного присутствия; он уткнулся лицом в подушку и стал горячо молиться.

Наконец, он заснул тем глубоким, спокойным сном, какой приходит только после недавних страданий, тем безмятежным, тихим сном, который мучительно нарушить. Если такова смерть, кто захотел бы воскреснуть для борьбы и тревожащей жизни со всеми ее заботами о настоящем, тревогой о будущем и прежде всего тяжелыми воспоминаниями о прошлом!

Давно уже рассвело, когда Оливер открыл глаза; он почувствовал себя бодрым и счастливым. Кризис благополучно миновал. Оливер возвратился в этот мир.

Прошло три дня – и он уже мог сидеть в кресле, со всех сторон обложенный подушками; а так как он все еще был очень слаб и не мог ходить, миссис Бэдуин – экономка – на руках перенесла его вниз, в маленькую комнатку, которую она занимала. Усадив его здесь у камина, добрая старая леди тоже села и, в восторге от того, что он чувствует себя гораздо лучше, расплакалась не на шутку.

– Не обращай на меня внимания, дорогой мой, – сказала старая леди. – Я хочу хорошенько поплакать... Ну вот, все уже прошло, и у меня очень весело на душе.

– Вы очень, очень добры ко мне, сударыня, – сказал Оливер.

– Полно, не думай об этом, дорогой мой, – сказала старая леди. – Это никакого отношения не имеет к твоему бульону, а тебе давно уже пора его покушать, потому что доктор позволил мистеру Браунлоу навестить тебя сегодня утром, и у тебя должен быть наилучший вид: чем лучше будет у тебя вид, чем он будет довольнее.

И с этими словами старая леди принялась разогревать в кастрюльке большую порцию бульона, такого крепкого, что, по мнению Оливера, если разбавить этот бульон надлежащим образом, он мог бы послужить обедом, по самому скромному подсчету, на триста пятьдесят бедняков.

– Ты любишь картины, дорогой мой? – спросила старая леди, заметив, что Оливер пристально смотрит на портрет, висевший на стене, как раз против его кресла.

– Право, не знаю, сударыня, – ответил Оливер, не спуская глаз с холста. – Я видел так мало картин, что и сам хорошенько не знаю. Какое прекрасное, кроткое лицо у этой леди!

– Ах! – сказала старая леди. – Живописцы всегда рисуют леди красивее, чем они есть на самом деле, иначе у них не было бы заказчиков, дитя мое. Человек, который изобрел машину, снимающую портреты, мог бы догадаться, что она не будет пользоваться успехом. Она слишком правдива, слишком правдива, – сказала старая леди, от души смеясь своей собственной остроте.

– А это... это портрет, сударыня? – спросил Оливер.

– Да, – сказала старая леди, на минутку отвлекаясь от бульона, – это портрет.

– Чей, сударыня? – спросил Оливер.

– Право, не знаю, дорогой мой, – добродушно ответила старая леди. – Думаю что этой особы на портрете мы с тобой не знаем. Он как будто тебе понравился?

– Он такой красивый, – сказал Оливер.

– Да уж не боишься ли ты его? – спросила старая леди, заметив, к большому своему изумлению, что мальчик с каким-то благоговейным страхом смотрит на картину.

– О нет! – быстро ответил Оливер. – Но глаза такие печальные, и с того места, где я сижу, кажется, будто они смотрят на меня. У меня начинает сильно биться сердце, – шепотом добавил Оливер, – словно этот портрет живой и хочет заговорить со мной, но не может.

– Господи помилуй! – вздрогнув, воскликнула старая леди. – Не надо так говорить, дитя мое. Ты еще слаб, и нервы у тебя не в порядке после болезни. Дай-ка я передвину твое

кресло к другой стене, и тогда тебе не будет его видно. Вот так! – сказала старая леди, приводя свое намеренье в исполнение. – Уж теперь-то ты его не видишь.

Оливер *видел* его духовным взором так же ясно, как будто не менял места; но он решил не огорчать добрую старую леди; поэтому он кротко улыбнулся, когда она взглянула на него. Миссис Бэдуин, радуясь тому, что он успокоился, посолила бульон и положила туда сухариков; исполняя эту торжественную процедуру, она чрезвычайно суетилась. Оливер очень быстро покончил с бульоном. Едва успел он проглотить последнюю ложку, как в дверь тихонько постучали.

– Войдите, – сказала старая леди.

И появился мистер Браунлоу.

Старый джентльмен очень бодро вошел в комнату, но как только он поднял очки на лоб и заложил руки за спину под полы халата, чтобы хорошенько всмотреться в Оливера, лицо его начало как-то странно подергиваться. Оливер казался очень истощенным и прозрачным после болезни. Из уважения к своему благодетелю он сделал неудачную попытку встать, закончившуюся тем, что он снова упал в кресло. А уж если говорить правду, сердце мистера Браунлоу, такое большое, что его хватило бы на полдюжины старых джентльменов, склонных к человеколюбию, заставило его глаза наполниться слезами благодаря какому-то гидравлическому процессу, который мы отказываемся объяснить, не будучи в достаточной мере философами.

– Бедный мальчик, бедный мальчик! – откашливаясь, сказал мистер Браунлоу. – Я немножко охрип сегодня, миссис Бэдуин. Боюсь, что простудился.

– Надеюсь, что нет, сэр, – сказала миссис Бэдуин. – Все ваши вещи были хорошо просушены, сэр.

– Не знаю, Бэдуин, не знаю, – сказал мистер Браунлоу. – Кажется, вчера за обедом мне подали сырую салфетку, но это неважно... Как ты себя чувствуешь, мой милый?

– Очень хорошо, сэр, – ответил Оливер. – Я очень благодарен, сэр, за вашу доброту ко мне.

– Славный мальчик... – решительно сказал Мистер Браунлоу. – Вы ему дали поесть, Бэдуин? Какого-нибудь жиденького супу?

– Сэр, он только что получил тарелку прекрасного, крепкого бульону, – ответила миссис Бэдуин, выпрямившись и делая энергичное ударение на последнем слове, как бы давая этим понять, что жиденький суп и умело приготовленный бульон не состоят ни в родстве, ни в свойстве.

– Уф! – вымолвил мистер Браунлоу, передернув плечами. – Рюмки две хорошего портвейна принесли бы ему гораздо больше пользы. Не правда ли, Том Уайт?

– Меня зовут Оливер, сэр, – с удивлением сказал маленький больной.

– Оливер, – повторил мистер Браунлоу. – Оливер, а дальше как? Оливер Уайт, да?

– Нет, сэр, Твист, Оливер Твист.

– Странная фамилия, – сказал старый джентльмен. – Почему же ты сказал судье, что тебя зовут Уайт?

– Я ему этого не говорил, сэр, – с недоумением возразил Оливер.

Это так походило на ложь, что старый джентльмен довольно строго посмотрел на Оливера. Немыслимо было не поверить ему: тонкое, исхудавшее лицо его дышало правдой.

– Какое-то недоразумение! – сказал мистер Браунлоу.

У него больше не было оснований пристально смотреть на Оливера, тем не менее мысль о сходстве его с каким-то знакомым лицом снова овладела старым джентльменом с такой силой, что он не мог отвести взгляд.

– Надеюсь, вы не сердитесь на меня, сэр? – спросил Оливер, устремив на него умоляющий взгляд.

– Нисколько! – сказал старый джентльмен. – Что же это значит?.. Бэдуин, смотрите!

С этими словами он быстро указал на портрет над головой мальчика, а потом на лицо Оливера. Это была живая копия. Те же черты, глаза, лоб, рот. И выражение лица то же,

словно мельчайшая черточка была воспроизведена с поразительной точностью!

Оливер не узнал причины такого неожиданного восклицания, потому что у него еще не было сил перенести вызванное этим потрясение, и он потерял сознание.

Обнаруженная им слабость дает нам возможность удовлетворить интерес читателя к двум юным ученикам веселого старого джентльмена и поведать о том, что, когда Плут и его достойный друг юный Бейтс приняли участие в погоне за Оливером, начавшейся вследствие того, что они, как было описано выше, незаконным образом присвоили личную собственность мистера Браунлоу, – ими руководила весьма похвальная забота о самих себе. А так как истый англичанин прежде всего и с наибольшей гордостью хвастается гражданскими вольностями и свободой личности, то вряд ли нужно обращать внимание читателя на то, что поведение Плути и юного Бейтса должно поднимая их в глазах всех общественных деятелей и патриотов в такой же мере, в какой это неопровержимое доказательство их беспокойства о собственной безопасности и благополучии утверждает и подкрепляет небольшой свод законов, который иные глубокомысленные философы положили в основу всех деяний и поступков Природы! Упомянутые философы очень мудро свели действия этой доброй леди к правилам и теориям и, делая весьма любезный и приятный комплимент ее высокой мудрости и разуму, совершенно устранили все, что имеет отношение к сердцу, великодушным побуждениям и чувствам. Ибо эти качества вовсе не достойны особы, которая со всеобщего согласия признана стоящей выше многочисленных маленьких слабостей и недостатков, присущих ее полу.

Если бы мне нужно было еще какое-нибудь доказательство в пользу философического характера поведения этих молодых джентльменов, я бы тотчас обрел его в том факте (уже отмеченном в предшествующей части этого повествования), что они отказались от погони, когда всеобщее внимание сосредоточилось на Оливере, и немедленно отправились домой кратчайшим путем. Хотя я не намерен утверждать, что прославленные, всеведущие мудрецы имеют обыкновение сокращать пути, ведущие к великим умозаключениям (в сущности, они скорее расположены увеличивать расстояние с помощью различных многоречивых уклонений и колебаний, подобных тем, которым склонны предаваться пьяные под натиском слишком мощного потока мыслей), но я намерен сказать и говорю с уверенностью, что многие великие философы, развивая теории, проявляют большую мудрость и предусмотрительность, принимая меры против всех случайностей, какие могут быть им хоть сколько-нибудь опасны. Таким образом, для того чтобы принести великое добро, вы имеете право сотворить маленькое зло и можете пользоваться любыми средствами, которые будут оправданы намеченной вами целью. Определить степень добра и степень зла и даже разницу между ними всецело предоставляется усмотрению заинтересованного в этом философа, дабы он их установил путем ясного, разумного и беспристрастного исследования каждого частного случая.

Оба мальчика быстро пробежали запутаннейшим лабиринтом узких улиц и дворов и тогда только рискнули остановиться в низком и темном подъезде. Постояв здесь молча ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы отдышаться и обрести дар речи, юный Бейтс весело взвизгнул и, залившись неудержимым смехом, бросился на крылечко и начал по нему кататься вне себя от восторга.

– В чем дело? – осведомился Плут.

– Ха-ха-ха! – заливался Чарли Бейтс.

– Заткни глотку, – приказал Плут, осторожно озираясь. – Хочешь, чтобы тебя сцапали, дурак?

– Я не могу удержаться, – сказал Чарли, – не могу удержаться! Как он улепетывал, сворачивая за угол, налетал на тумбы и опять пускался бежать, словно и сам он железный, как тумба, а утиралка у меня в кармане, а я ору ему вслед. Ах, боже мой!

Живое воображение юного Бейтса воспроизвело всю сцену в слишком ярких красках. При этом восклицании он снова стал кататься по крылечку и захохотал еще громче.

– Что скажет Феджин? – спросил Плут, воспользовавшись минутой, когда его приятель

снова задохнулся от смеха.

– Что? – переспросил Чарли Бейтс.

– Вот именно – что? – повторил Плут.

– А что же он может сказать? – спросил Чарли, внезапно перестав веселиться, потому что вид у Плути был серьезный. – Что он может сказать?

Мистер Даукинс минуты две свистел, затем, сняв шляпу, почесал голову и трижды кивнул.

– Что ты хочешь сказать? – спросил Чарли.

– Тра-ля-ля! Вздор и чепуха, черт подери! – сказал Пим. И на умной его физиономии появилась усмешка.

Это было пояснение, но неудовлетворительное. Юный Бейтс нашел его таковым и повторил:

– Что ты хочешь сказать?

Чарли ничего не ответил; надев шляпу и подобрав полы своего длинного сюртука, он подпер щеку языком, раз шесть по привычке, но выразительно, щелкнул себя по переносице и, повернувшись на каблуках, шмыгнул во двор. Юный Бейтс с задумчивой физиономией последовал за ним.

Несколько минут спустя после этого разговора шаги на скрипучей лестнице привлекли внимание веселого старого джентльмена, который сидел у очага, держа в левой руке дешевую колбасу и хлеб, а в правой – складной нож: на тагане стояла оловянная кастрюля. Отвратительная улыбка появилась на его бледном лице, когда он оглянулся и, зорко поглядывая из-под густых рыжих бровей, повернулся к двери и стал прислушиваться.

– Что же это? – пробормотал еврей, изменившись в лице. – Только двое? Где третий? Не могли же они попасть в беду.

Шаги приближались; они уже слышались с площадки лестницы. Дверь медленно открылась, и Плут с Чарли Бейтсом, войдя, закрыли ее за собой.

Глава XIII

Понятливый читатель знакомится с новыми лицами; в связи с этим повествуется о разных занимательных предметах, имеющих отношение к этой истории

– Где Оливер? – с грозным видом спросил еврей и вскочил. – Где мальчик?

Юные воришки смотрели на своего наставника, встревоженные его порывистым движением, и с беспокойством переглянулись. Но они ничего не ответили.

– Что случилось с мальчиком? – крикнул еврей, крепко схватив Плути за шиворот и осыпая его отвратительными ругательствами. – Отвечай, или я тебя задушу!

Мистер Феджин отнюдь не шутил, и Чарли Бейтс, который почитал разумным заботиться о собственной безопасности и не видел ничего невероятного в том, что затем наступит и его черед погибнуть от удушения, упал на колени и испустил громкий, протяжный, несмолкающий рев – нечто среднее между ревом бешеного быка и ревом рупора.

– Будешь ты говорить? – рявкнул еврей, встряхивая Плути с такой силой, что казалось поистине чудесным, как тот не выскочит из своего широкого сюртука.

– Ищейки его сцапали, и конец делу! – сердито сказал Плут. – Пустите меня, слышите!

Рванувшись и выскользнув из широкого сюртука, который остался в руках еврея, Плут схватил вилку для поджаривания гренок и замахнулся, целясь в жилет веселого старого джентльмена; если бы это увенчалось успехом, старик лишился бы некоторой доли веселости, которую нелегко было бы возместить.

В этот критический момент еврей отскочил с таким проворством, какого трудно было ожидать от человека, по-видимому столь немощного и дряхлого, и, схватив кувшин, замахнулся, чтобы швырнуть его в голову противнику. Но так как в эту минуту Чарли Бейтс

привлек его внимание поистине устрашающим воем, он внезапно передумал и запустил кувшином в этого молодого джентльмена.

– Что за чертовщина! – проворчал чей-то бас. – Кто это швырнул? Хорошо, что в меня попало пиво, а не кувшин, не то я бы кое с кем расправился!.. Ну конечно! Кто же, кроме этого чертова богача, грабителя, старого еврея, станет зря расплескивать напитки! Разве что воду, – да и воду только в том случае, если каждые три месяца обманывает водопроводную компанию... В чем дело, Феджин? Черт меня подери, если мой шарф не вымок в пиве!.. Ступай сюда, подлая тварь, чего торчишь там, за дверью, будто стыдишься своего хозяина! Сюда!

Субъект, произнесший эту речь, был крепкого сложения детиной лет тридцати пяти, в черном вельветовом сюртуке, весьма грязных коротких темных штанах, башмаках на шнуровке и серых бумажных чулках, которые обтягивали толстые ноги с выпуклыми икрами, – такие ноги при таком костюме всегда производят впечатление чего-то незаконченного, если их не украшают кандалы. На голове у него была коричневая шляпа, а на шее пестрый шарф, длинными, обтрепанными концами которого он вытирал лицо, залитое пивом. Когда он покончил с этим делом, обнаружилось, что лицо у него широкое, грубое, несколько дней не знавшее бритвы; глаза были мрачные; один из них обрамляли разноцветные пятна, свидетельствующие о недавно полученном ударе.

– Сюда, слышишь? – проворчал этот симпатичный субъект.

Белая лохматая собака с исцарапанной мордой прошмыгнула в комнату.

– Почему не входила раньше? – сказал субъект. – Слишком возгордилась, чтобы показываться со мной на людях? Ложись!

Приказание сопровождалось пинком, отбросившим животное в другой конец комнаты. Однако пес, по-видимому, привык к этому: очень спокойно он улегся в углу, не издавая ни звука, раз двадцать в минуту мигая своими недобрыми глазами, и, казалось, принялся обзирать комнату.

– Чем это вы тут занимаетесь: мучите мальчиков, жадный, скупой, ненасытный старик, укрыватель краденого? – спросил детина, преспокойно усаживаясь. – Удивляюсь, как это они вас еще не прикончили! Я бы на их месте это сделал! Я бы давным-давно это сделал, будь я вашим учеником и... нет, продать вас мне бы не удалось, куда вы годны?! Разве что сохранять вас, как редкую уродину, в стеклянной банке, да таких больших стеклянных банок, кажется, не делают.

– Тише! – дрожа, проговорил еврей. – Мистер Сайкс, не говорите так громко.

– Бросьте этих мистеров! – отозвался детина. – У вас всегда что-то недоброе на уме, когда вы начинаете этак выражаться. Вы мое имя знаете – стало быть, так меня и называйте! Я его не опозорю, когда час пробьет!

– Вот именно, совершенно верно, Билл Сайкс, – с гнусным подобоострастием сказал еврей. – Вы как будто в дурном расположении духа, Билл?

– Может быть, и так, – ответил Сайкс. – Я бы сказал, что и вы не в своей тарелке, или вы считаете, что никому не приносите убытка, когда швыряетесь кувшинами или выдаете...

– Вы с ума сошли? – вскричал еврей, хватая его за рукав и указывая на мальчиков.

Мистер Сайкс удовольствовался тем, что затянул воображаемый узел под левым своим ухом и склонил голову к правому плечу, – по-видимому, еврей прекрасно понял этот пантомим. Затем на жаргоне, которым были в изобилии приправлены все его речи, – если бы привести его здесь, он был бы решительно непонятен, – мистер Сайкс потребовал себе стаканчик.

– Только не подумайте всыпать туда яду, – сказал он.

Это было сказано в шутку, но если бы он видел, как еврей злобно прищурился и повернулся к буфету, закусив бледные губы, быть может, ему пришло бы в голову, что предосторожность не является излишней и веселому старому джентльмену во всяком случае не чуждо желание улучшить изделие винокура.

Пропустив два-три стаканчика, мистер Сайкс снизошел до того, что обратил внимание

на молодых джентльменов; такая любезность с его стороны привела к беседе, в которой причины и подробности ареста Оливера были детально изложены с теми изменениями и отклонениями от истины, какие Плут считал наиболее уместными при данных обстоятельствах.

– Боюсь, – произнес еврей, – как бы он не сказал чего-нибудь, что доведет нас до беды...

– Все может быть, – со злобной усмешкой отозвался Сайкс. – Вас предадут, Феджин.

– И, знаете ли, я боюсь, – продолжал еврей, как будто не обращая внимания на то, что его прервали, и при этом пристально глядя на своего собеседника, – боюсь, что если наша игра проиграна, то это может случиться и кое с кем другим, а для вас это обернется, пожалуй, хуже, чем для меня, мой милый.

Детина вздрогнул и круто повернулся к еврею. Но старый джентльмен поднял плечи до самых ушей, а глаза его рассеянно уставились на противоположную стену.

Наступило длительное молчание. Казалось, каждый член почтенного общества погрузился в свои собственные размышления, не исключая и собаки, которая злорадно облизывалась, как будто подумывая о том, чтобы атаковать ноги первого джентльмена или леди, которых случится ей встретить, когда она выйдет на улицу.

– Кто-нибудь должен разузнать, что там произошло, в камере судьи, – сказал мистер Сайкс, заметно умерив тон.

Еврей в знак согласия кивнул головой.

– Если он не донес и посажен в тюрьму, бояться нечего, пока его не выпустят, – сказал мистер Сайкс, – а потом уж нужно о нем позаботиться. Вы должны как-нибудь заполучить его в свои руки.

Еврей снова кивнул головой.

Такой план действий был разумен, но, к несчастью, ему препятствовало одно весьма серьезное обстоятельство. Дело в том, что Плут, Чарли Бейтс, Феджин и мистер Уильям Сайкс питали глубокую и закоренелую антипатию к прогулкам около полицейского участка на любом основании и под любым предлогом.

Как долго могли бы они сидеть и смотреть друг на друга, пребывая в неприятном состоянии нерешительности, угадать трудно. Впрочем, нет необходимости делать какие бы то ни было догадки, так как внезапное появление двух молодых леди, которых уже видел раньше Оливер, оживило беседу.

– Как раз то, что нам нужно! – сказал еврей. – Бет пойдет. Ты пойдешь, моя милая?

– Куда? – осведомилась молодая леди.

– Всего-навсего в полицейский участок, моя милая, – вкрадчиво сказал еврей.

Нужно воздать должное молодой леди: она не объявила напрямик, что не хочет идти, но выразила энергичное и горячее желание «быть проклятой, если она туда пойдет». Эта вежливая и деликатная уклончивость свидетельствовала о том, что молодая леди отличалась прирожденной учтивостью, которая препятствовала ей огорчить ближнего прямым и резким отказом.

Физиономия у еврея вытянулась. Он отвернулся от этой молодой леди, которая была в ярком, если не великолепном наряде – красное платье, зеленые ботинки, желтые папильотки, – и обратился к другой.

– Нэнси, милая моя, – улещивал ее еврей, – что ты скажешь?

– Скажу, что это не годится, стало быть нечего настаивать, Феджин, – ответила Нэнси.

– Что ты хочешь этим сказать? – вмешался мистер Сайкс, бросая на нее мрачный взгляд.

– То, что сказала, Билл, – невозможно отозвалась леди.

– Да ведь ты больше всех подходишь для этого, – произнес мистер Сайкс. – Здесь о тебе никто ничего не знает.

– А так как я и не хочу, чтобы знали, – с тем же спокойствием отвечала Нэнси, – то скорее скажу «нет», чем «да», Билл.

- Она пойдет, Феджин, – сказал Сайкс.
– Нет, она не пойдет, Феджин, – сказала Нэнси.
– Она пойдет, Феджин, – сказал Сайкс.

И мистер Сайкс не ошибся. С помощью угроз, посулов и подачек упомянутую леди в конце концов заставили взять на себя это поручение. В самом деле, ей не могли воспрепятствовать соображения, какие удерживали ее любезную подругу: не так давно переселившись из отдаленных, но аристократических окрестностей рэтклифской большой дороги²² в Филд-Лейн, она могла не опасаться, что ее узнает кто-нибудь из многочисленных знакомых.

И вот, повязав поверх платья чистый белый передник и запрятав папильотки под соломенную шляпку – эти принадлежности туалета были извлечены из неисчерпаемых запасов еврей, – мисс Нэнси приготовилась выполнить поручение.

– Подожди минутку, моя милая, – сказал еврей, протягивая ей корзинку с крышкой. – Держи ее в руках. Она тебе придаст более пристойный вид.

– Феджин, дайте ей ключ от двери, пусть она держит его в руке, – сказал Сайкс. – Это покажется естественным и приличным.

– Совершенно верно, мой милый, – сказал еврей, вешая молодой леди большой ключ от двери на указательный палец правой руки. – Вот так! Прекрасно! Прекрасно, моя милая! – сказал еврей, потирая руки.

– Ох, братец! Мой бедный, милый, ни в чем не повинный братец! – воскликнула Нэнси, заливаясь слезами и в отчаянии теребя корзиночку и дверной ключ. – Что с ним случилось? Куда они его увели? Ох, сжальтесь надо мной, скажите мне, джентльмены, что сделали с бедным мальчиком? Умоляю вас, скажите, джентльмены!

Произнеся эти слова, к бесконечному восхищению слушателей, очень жалобным, душераздирающим голосом, мисс Нэнси умолкла, подмигнула всей компании, улыбнулась, кивнула головой и скрылась.

– Ах, мои милые, какая смышленная девушка! – воскликнул еврей, поворачиваясь к своим молодым друзьям и торжественно покачивая головой, как бы призывая их следовать блестящему примеру, который они только что лицезрели.

– Она делает честь своему полу, – промолвил мистер Сайкс, налив себе стакан и ударив по столу огромным кулаком. – Пью за ее здоровье и желаю, чтобы все женщины походили на нее!

Пока все эти похвалы расточались по адресу достойной Нэнси, эта молодая леди спешила в полицейское управление, куда вскоре и прибыла благополучно, несмотря на вполне понятную робость, вызванную необходимостью идти по улицам одной, без провожатых.

Войдя с черного хода, она тихонько постучала ключом в дверь одной из камер и прислушалась. Оттуда не доносилось ни звука; тогда она кашлянула и снова прислушалась. Ответа не было, и она заговорила.

– Ноли, миленький! – ласково прошептала Нэнси. – Ноли!

В камере не было никого, кроме жалкого, босого преступника, арестованного за игру на флейте; так как его преступление против общества было вполне доказано, мистер Фэнг приговорил его к месяцу заключения в исправительном доме, заметив весьма кстати и юмористически, что раз у него такой избыток дыхания, полезнее будет потратить его на ступальное колесо, чем на музыкальный инструмент. Преступник ничего не отвечал, ибо мысленно оплакивал флейту, конфискованную в пользу графства. Тогда Нэнси подошла к следующей камере и постучалась.

– Что нужно? – отозвался тихий, слабый голос.

²² *Рэтклифская большая дорога* – так называлась раньше длинная улица в рабочем районе Лондона, к северу от огромных лондонских доков.

– Нет ли здесь маленького мальчика? – спросила Нэнси, предварительно всхлипнув.

– Нет! – ответил заключенный. – Боже упаси!

Это был шестидесятипятилетний бродяга, приговоренный к тюремному заключению за то, что не играл на флейте, – иными словами, просил милостыню на улице и ничего не делал для того, чтобы заработать себе на жизнь. В смежной камере сидел человек, который отправлялся в ту же самую тюрьму, так как торговал вразнос оловянными кастрюлями, не имея разрешения, – иными словами, уклонялся от уплаты налогов и делал что-то для того, чтобы заработать себе на жизнь.

Но так как никто из этих преступников не отзывался на имя Оливера и ничего о нем не знал, Нэнси обратилась непосредственно к добродушному старику в полосатом жилете и со стонами и причитаниями, – они казались особенно жалобными, ибо она искусно теребила корзинку и ключ, – потребовала у него своего милого брата.

– У меня его нет, моя милая, – сказал старик.

– Где же он? – взвизгнула Нэнси.

– Его забрал с собой джентльмен, – ответил тот.

– Какой джентльмен? Боже милостивый! Какой джентльмен? – вскричала Нэнси.

В ответ на этот невразумительный вопрос старик сообщил взволнованной «сестре», что Оливеру стало дурно в камере судьи, что его оправдали, так как один свидетель показал, будто кража совершена не им, а другими мальчиками, оставшимися на свободе, и что истец увез Оливера, лишившегося чувств, к себе, в свой собственный дом. Об этом доме ее собеседник знал только, что он находится где-то в Пентонвиле, – это слово он расслышал, когда давались указания кучеру.

В ужасном смятении и растерянности несчастная молодая женщина, шатаясь, поплелась к воротам, а затем, сменив нерешительную поступь на быстрый бег, вернулась к дому еврея самыми запутанными и извилистыми путями, какие только могла придумать.

Мистер Билл Сайкс, едва успев выслушать отчет о ее походе, поспешно кликнул белую собаку и, надев шляпу, стремительно удалился, не тратя времени на такую формальность, как пожелание остальной компании счастливо оставаться.

– Милые мои, мы должны узнать, где он... Его нужно найти! – в страшном волнении сказал еврей. – Чарли, ты пока ничего не делай, только шныряй повсюду, пока не добудешь о нем каких-нибудь сведений. Нэнси, моя милая, мне во что бы то ни стало нужно его отыскать. Я тебе доверяю во всем, моя милая, – тебе и Плуту! Пойдите, пойдите, – добавил еврей, дрожащей рукой отпирая ящик стола, – вот вам деньги, милые мои. Я на сегодня закрываю лавочку. Вы знаете, где меня найти! Не задерживайтесь здесь ни на минуту. Ни на секунду, мои милые!

С этими словами он вытолкнул их из комнаты и, старательно повернув два раза ключ в замке и заложив дверь засовом, достал из потайного местечка шкатулку, которую случайно увидел Оливер. Затем он торопливо начал прятать часы и драгоценные вещи у себя под одеждой.

Стук в дверь заставил его вздрогнуть и оторваться от этого занятия.

– Кто там? – крикнул он пронзительно.

– Я! – раздался сквозь замочную скважину голос Плути.

– Ну, что еще? – нетерпеливо крикнул еврей.

– Нэнси спрашивает, куда его тащить – в другую берлогу? – осведомился Плут.

– Да! – ответил еврей. – Где бы она его не сцапала! Отыщите его, отыщите, вот и все! Я уж буду знать, что дальше делать. Не бойтесь!

Мальчик буркнул, что он понимает, и бросился догонять товарищей.

– Пока что он не выдал, – сказал еврей, принимаясь за прежнюю работу. – Если он вздумает болтать о нас своим новым друзьям, мы еще успеем заткнуть ему глотку.

Глава XIV

закрывающая дальнейшие подробности о пребывании Оливера у

**мистера, Браунлоу, а также замечательное пророчество, которое
некий мистер Гримуиг изрек касательно Оливера, когда тот
отправился исполнять поручение**

Оливер быстро пришел в себя после обморока, вызванного внезапным восклицанием мистера Браунлоу, а старый джентльмен и миссис Бэдуин в дальнейшем старательно избегали упоминать о портрете: разговор не имел ни малейшего отношения ни к прошлой жизни Оливера, ни к его видам на будущее и касался лишь тех предметов, которые могли позабавить его, но не взволновать. Оливер был все еще слишком слаб, чтобы вставать к завтраку, но на следующий день, спустившись в комнату экономки, он первым делом бросил нетерпеливый взгляд на стену в надежде снова увидеть лицо прекрасной леди. Однако его ожидания были обмануты – портрет убрали.

– А, вот что! – сказала экономка, проследив за взглядом Оливера. – Как видишь, его унесли.

– Вижу, что унесли, сударыня, – ответил Оливер. – Зачем его убрали?

– Его сняли, дитя мое, потому что, по мнению мистера Браунлоу, он как будто тебя беспокоил. А вдруг он, знаешь ли, помешал бы выздоровлению, – сказала старая леди.

– О, право же нет! Он меня не беспокоил, сударыня, – сказал Оливер. – Мне приятно было смотреть на него. Я очень его полюбил.

– Ну-ну! – благодушно сказала старая леди. – Постарайся, дорогой мой, как можно скорее поправиться, и тогда портрет будет повешен на прежнее место. Это я тебе обещаю! А теперь поговорим о чем-нибудь другом.

Вот все сведения, какие мог получить в то время Оливер о портрете. В ту пору он старался об этом не думать, потому что старая леди была очень добра к нему во время его болезни; и он внимательно выслушивал бесконечные истории, какие она ему рассказывала о своей милой и прекрасной дочери, вышедшей замуж за милого и прекрасного человека и жившей в деревне, и о сыне, который служил клерком у купца в Вест-Индии и был также безупречным молодым человеком, и четыре раза в год посылал домой такие почтительные письма, что у нее слезы навертывались на глаза при упоминании о них. Старая леди долго распространялась о превосходных качествах своих детей, а также и о достоинствах своего доброго, славного мужа, который – бедная, добрая душа! – умер ровно двадцать шесть лет назад... А затем наступало время пить чай. После чаю она принималась обучать Оливера кривбеджу,²³ который он усваивал с такой же легкостью, с какой она его преподавала; и в эту игру они играли с большим интересом и торжественностью, пока не наступал час, когда больному надлежало дать теплого вина с водой и уложить его в мягкую постель.

Это были счастливые дни – дни выздоровления Оливера. Все было так мирно, чисто и аккуратно, все было так добры и ласковы, что после шума и сутолоки, среди которых протекала до сих пор его жизнь, ему казалось, будто он в раю. Как только он окреп настолько, что мог уже одеться, мистер Браунлоу приказал купить ему новый костюм, новую шляпу и новые башмаки. Когда Оливеру объявили, что он может распорядиться по своему усмотрению старым своим платьем, он отдал его служанке, которая была очень добра к нему, и попросил ее продать это старье какому-нибудь еврею, а деньги оставить себе. Эту просьбу она с готовностью исполнила. И когда Оливер, стоя у окна гостиной, увидел, как еврей спрятал платье в свой мешок и удалился, он пришел в восторг при мысли, что эти вещи унесли и теперь ему уже не грозит опасность снова их надеть. По правде сказать, это были жалкие лохмотья, и у Оливера никогда еще не бывало нового костюма.

Однажды вечером, примерно через неделю после истории с портретом, когда Оливер разговаривал с миссис Бэдуин, мистер Браунлоу прислал сказать, что хотел бы видеть Оливера Твиста у себя в кабинете и потолковать с ним немного, если он хорошо себя

²³ *Кривбедж* – популярная карточная игра.

чувствует.

– Господи, спаси и помилуй нас! Вымой руки, дитя мое, и дай-ка я хорошенько приглажу тебе волосы! – воскликнула миссис Бэдуин. – Боже мой! Знай мы, что он пожелает тебя видеть, мы бы надели тебе чистый воротничок и ты засиял бы у нас, как новенький шестипенсовик!

Оливер повиновался старой леди, и хотя она горько сетовала о том, что теперь уже некогда прогладить гофрированную оборочку у воротничка его рубашки, он казался очень хрупким и миловидным, несмотря на отсутствие столь важного украшения, и она, с величайшим удовольствием осмотрев его с головы до ног, пришла к выводу, что даже если бы их и предупредили заблаговременно, вряд ли можно было сделать его еще красивее.

Ободренный этими словами, Оливер постучал в дверь кабинета.

Когда мистер Браунлоу предложил ему войти, он очутился в маленькой комнатке, заполненной книгами, с окном, выходящим в красивый садик. К окну был придвинут стол, за которым сидел и читал мистер Браунлоу. При виде Оливера он отложил в сторону книгу и предложил ему подойти к столу и сесть. Оливер повиновался, удивляясь, где можно найти людей, которые бы читали такое множество книг, казалось написанных для того, чтобы сделать человечество более разумным. До сей поры это является загадкой и для людей более искушенных, чем Оливер Твист.

– Много книг, не правда ли, мой мальчик? – спросил мистер Браунлоу, заметив, с каким любопытством Оливер посматривал на книжные полки, поднимавшиеся от пола до потолка.

– Очень много, сэр, – ответил Оливер. – Столько я никогда не видал.

– Ты их прочтешь, если будешь вести себя хорошо, – ласково сказал старый джентльмен, – и тебе это понравится больше, чем рассматривать переплеты. А впрочем, не всегда: бывают такие книги, у которых самое лучшее – корешок и обложка.

– Должно быть, это вон те тяжелые книги, сэр, – заметил Оливер, указывая на большие томы в раззолоченных переплетах.

– Не обязательно, – ответил старый джентльмен, глядя его по голове и улыбаясь. – Бывают книги такие же тяжелые, но гораздо меньше этих. А тебе бы не хотелось вырасти умным и писать книги?

– Я думаю, мне больше бы хотелось читать их, сэр, – ответил Оливер.

– Как! Ты не хотел бы писать книги? – спросил старый джентльмен.

Оливер немножко подумал, а потом сообщил, что, пожалуй, гораздо лучше продавать книги; в ответ на это старый джентльмен от души рассмеялся и объявил, что он неплохо сказал. Оливер обрадовался, хотя понятия не имел о том, что тут хорошего.

– Прекрасно! – сказал старый джентльмен, перестав смеяться. – Не бойся! Мы из тебя не сделаем писателя, раз есть возможность научиться какому-нибудь честному ремеслу или стать каменщиком.

– Благодарю вас, сэр, – сказал Оливер.

Услыхав его серьезный ответ, старый джентльмен снова расхохотался и сказал что-то о странностях инстинкта, но Оливер не понял и не обратил на это внимания.

– А теперь, мой мальчик, – продолжал мистер Браунлоу, говоря – если это было возможно – еще более ласково, но в то же время лицо его было такое серьезное, какого Оливер никогда еще у него не видывал, – я хочу, чтобы ты с величайшим вниманием выслушал то, что я намерен сказать. Я буду говорить с тобой совершенно откровенно, потому что я уверен: ты можешь понять меня не хуже, чем многие другие старше тебя.

– О, прошу вас, сэр, не говорите мне, что вы хотите меня прогнать! – воскликнул Оливер, испуганный серьезным тоном старого джентльмена. – Не выбрасывайте меня за дверь, чтобы я снова бродил по улицам! Позвольте мне остаться здесь и быть вашим слугой. Не отсылайте меня назад, в то ужасное место, откуда я пришел! Пожалейте бедного мальчика, сэр!

– Милое мое дитя, – сказал старый джентльмен, растроганный неожиданной и горячей мольбой Оливера, – тебе незачем бояться, что я тебя когда-нибудь покину, если ты сам не

дашь повода...

– Никогда, никогда этого не случится, сэр! – перебил Оливер.

– Надеюсь, – ответил старый джентльмен. – Не думаю, чтобы ты когда-нибудь это сделал. Мне приходилось быть обманутым теми, кому я старался помочь, но я весьма расположен верить тебе, и мне самому непонятно, почему я тобой так интересуюсь. Люди, которым я отдал самую горячую свою любовь, лежат в могиле; и хотя вместе с ними погребены счастье и радость моей жизни, я не превратил своего сердца в гробницу и оставил его открытым для – лучших моих чувств. Глубокая скорбь только укрепила эти чувства и очистила их.

Так как старый джентльмен говорил тихо, обращаясь скорее к самому себе, чем к своему собеседнику, а затем умолк, то и Оливер не нарушал молчания.

– Так-то! – сказал, наконец, старый джентльмен более веселым тоном. – Я заговорил об этом только потому, что сердце у тебя молодое и ты, узнав о моих горестях и страданиях, постарайся, быть может, не доставлять мне еще новых огорчений. По твоим словам, ты сирота и у тебя нет ни единого друга; сведения, какие мне удалось получить, подтверждают эти слова. Расскажи мне все о себе: откуда ты пришел, кто тебя воспитал и как ты попал в ту компанию, в какой я тебя нашел? Говори правду, и пока я жив, у тебя всегда будет друг.

В течение нескольких минут всхлипывания мешали Оливеру говорить; когда же он собрался рассказать о том, как его воспитывали на ферме и как мистер Бамбл отвел его в работный дом, раздался отрывистый, нетерпеливый двойной удар в парадную дверь, и служанка, взбежав по лестнице, доложила о приходе мистера Гримуига.

– Он идет сюда? – осведомился мистер Браунлоу.

– Да, сэр, – ответила служанка. – Он спросил, есть ли в доме сдобные булочки, и, когда я ответила утвердительно, объявил, что пришел пить чай.

Мистер Браунлоу улыбнулся и, обратившись к Оливеру, пояснил, что мистер Гримуиг – старый его друг, и пусть Оливер не обращает внимания на его несколько грубоватые манеры, ибо в сущности он достойнейший человек, о чем имел основания знать мистер Браунлоу.

– Мне уйти вниз, сэр? – спросил Оливер.

– Нет, – ответил мистер Браунлоу, – я бы хотел, чтобы ты остался.

В эту минуту в комнату вошел, опираясь на толстую трость, дородный старый джентльмен, слегка прихрамывающий на одну ногу; на нем был синий фрак, полосатый жилет, нанковые брюки и гетры и широкополая белая шляпа с зеленой каймой. Из-под жилета торчало мелко гофрированное жабо, а снизу болталась очень длинная стальная цепочка от часов, на конце которой не было ничего, кроме ключа. Концы его белого галстука были закручены в клубок величиной с апельсин, а всевозможные гримасы словно скручивали его физиономию и не поддавались описанию. Разговаривая, он имел обыкновение склонять голову набок, посматривая уголком глаза, что придавало ему необычайное сходство с попугаем. В этой позе он и остановился, едва успел войти в комнату, и, держа в вытянутой руке кусочек апельсиновой корки, воскликнул ворчливым, недовольным голосом:

– Смотрите! Видите? Не странная ли и не удивительная ли это вещь: стоит мне зайти к кому-нибудь в дом, как я нахожу на лестнице вот такого помощника бедных врачей? Некогда я охромел из-за апельсиновой корки и знаю, что в конце концов апельсиновая корка послужит причиной моей смерти. Так оно и будет, сэр! Апельсиновая корка послужит причиной моей смерти, а если это неверно, то я готов съесть свою собственную голову, сэр!

Этим превосходным предложением мистер Гримуиг заключал и подкреплял чуть ли не каждое свое заявление, что было весьма странно, ибо, если даже допустить, что наука достигнет той ступени, когда джентльмен сможет съесть свою собственную голову, если он того пожелает, голова мистера Гримуига была столь велика, что самый сангвинический человек вряд ли мог питать надежду прикончить ее за один присест, даже если совершенно не принимать в расчет очень толстого слоя пудры.

– Я съем свою голову, сэ́р! – повторил мистер Гримуиг, стукнув тростью по полу. – Погодите! Это что такое? – добавил он, взглянув на Оливера и отступив шага на два.

– Это юный Оливер Твист, о котором мы говорили, – сказал мистер Браунлоу.

Оливер поклонился.

– Надеюсь, вы не хотите сказать, что это тот самый мальчик, у которого была горячка? – попятившись, сказал мистер Гримуиг. – Подождите минутку! Не говорите ни слова! Постоите-ка... – бросал отрывисто мистер Гримуиг, потеряв всякий страх перед горячкой и с торжеством делая открытие, – это тот самый мальчик, у которого был апельсин? Если это не тот самый мальчик, сэ́р, который бросил корку на лестнице, я съем свою голову, да и его в придачу!

– Нет, у него не было апельсина, – смеясь, сказал мистер Браунлоу. – Полно! Положите свою шляпу и побеседуйте с моим юным другом.

– Меня этот вопрос очень беспокоит, сэ́р, – произнес раздражительный старый джентльмен, снимая перчатки. – По всей нашей улице всегда валяются на мостовой апельсиновые корки, и мне *известно*, что их разбрасывает мальчишка хирурга, который живет на углу. Вчера вечером молодая женщина поскользнулась, наступив на корку, и упала у решетки моего сада. Как только она встала, я увидел, что она смотрит на его проклятый красный фонарь,²⁴ безмолвно приглашающий войти. «Не ходите к нему! – крикнул я из окна. – Это убийца! Он расставляет капканы!» И это правда. А если это не так...

Тут вспыльчивый старый джентльмен громко стукнул тростью об пол, что, как знали его друзья, заменяло его обычную присказку всякий раз, когда она не была выражена словами. Затем, не выпуская из рук трости, он сел и, раскрыв лорнет, висевший на широкой черной ленте, устремил взор на Оливера, который, видя, что является объектом наблюдения, покраснел и снова поклонился.

– Это тот самый мальчик, не так ли? – сказал, наконец, мистер Гримуиг.

– Тот самый, – ответил мистер Браунлоу.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил мистер Гримуиг.

– Гораздо лучше, благодарю вас, сэ́р, – ответил Оливер.

Мистер Браунлоу, как будто опасаясь, что его чудаковатый друг вот-вот скажет что-нибудь неприятное, попросил Оливера пойти вниз и передать миссис Бэдуин просьбу распорядиться о чае; он с радостью повиновался, так как ему не особенно понравились манеры гостя.

– Хорошенький мальчик, не правда ли? – спросил мистер Браунлоу.

– Не знаю, – брюзгливо отозвался мистер Гримуиг.

– Не знаете?

– Не знаю. Не вижу никакой разницы между мальчишками. Я знаю только два сорта мальчишек: мальчишки мучнистые и мальчишки мясистые.

– К каким же относится Оливер?

– К мучнистым. У одного моего приятеля мясистый мальчишка; они его называют прекрасным мальчуганом: круглая голова, красные щеки, блестящие глаза. Ужасный мальчишка. Туловище, руки и ноги у него такие, что его синий костюм вот-вот лопнет по швам; голос, как у лоцмана, а аппетит волчий. Я его знаю! Негодяй!

– Полно! – сказал мистер Браунлоу. – Это отнюдь не отличительные признаки юного Оливера Твиста; стало быть, он не может возбуждать ваш гнев.

– Согласен, не отличительные, – заметил мистер Гримуиг. – У него могут быть еще похуже.

Тут мистер Браунлоу нетерпеливо кашлянул, что, по-видимому, доставило величайшее удовольствие мистеру Гримуигу.

– У него могут быть и похуже, говорю я, – повторил мистер Гримуиг. – Откуда он

²⁴ *Красный фонарь* – «вывеска» врача в эпоху Диккенса.

взялся? Кто он такой? Что он такое? У него была горячка. Ну так что ж! Горячка не является особой привилегией порядочных людей, не так ли? Дурные люди тоже болеют иной раз горячкой, не правда ли? Я знал одного человека, которого повесили на Ямайке за то, что он убил своего хозяина. Он шесть раз болел горячкой; на этом основании он не был помилован. Тьфу! Чепуха!

Дело в том, что в самых тайниках души мистер Гримуиг был весьма расположен признать наружность и манеры Оливера в высшей степени привлекательными; однако у него была неудержимая потребность противоречить, обострившаяся в тот день благодаря найденной им апельсиновой корке; решив про себя, что ни один человек не заставит его признать мальчика красивым или некрасивым, он сразу стал возражать своему другу. Когда мистер Браунлоу заявил, что ни на один из этих вопросов он пока не может дать удовлетворительного ответа, так как откладывает расследование, касающееся прошлой жизни Оливера, до той поры, пока мальчик не окрепнет, мистер Гримуиг злорадно усмехнулся. С насмешливой улыбкой он спросил, имеет ли экономка обыкновение проверять на ночь столовое серебро; если она в одно прекрасное утро не обнаружит пропажи одной-двух столовых ложек, то он готов... и так далее.

Зная странности своего друга, мистер Браунлоу – хотя он и сам был вспыльчивым джентльменом – выслушал все это очень добродушно; за чаем все шло очень мирно, так как мистер Гримуиг за чаем милостиво соизволил выразить полное свое одобрение булочкам, и Оливер, принимавший участие к чаепитию, уже не так смущался и присутствии сердитого старого джентльмена.

– А когда же вам предстоит услышать полный, правдивый и подробный отчет о жизни и приключениях Оливера Твиста? – спросил Гримуиг мистера Браунлоу по окончании трапезы и, заведя об этом речь, искоса взглянул на Оливера.

– Завтра утром, – ответил мистер Браунлоу. – Я бы хотел быть в это время с ним наедине. Ты придешь ко мне, дорогой мой, завтра в десять часов утра.

– Как вам будет угодно, сэр, – сказал Оливер. Он ответил с некоторым замешательством, потому что его смутил пристальный взгляд мистера Гримуига.

– Вот что я вам скажу, – шепнул сей джентльмен мистеру Браунлоу, – завтра утром он к вам не придет. Я видел, как он смутился. Он вас обманывает, добрый мой друг.

– Готов поклясться, что не обманывает! – с жаром воскликнул мистер Браунлоу.

– Если не обманывает, – сказал мистер Гримуиг, – то я готов... – и трость стукнула об пол.

– Я ручаюсь своей жизнью, что этот мальчик не лжет! – сказал мистер Браунлоу, стукнув кулаком по столу.

– А я – своей головой за то, что он лжет! – отвечивал мистер Гримуиг, также стукнув по столу.

– Увидим! – сказал мистер Браунлоу, сдерживая нарастающий гнев.

– Совершенно верно! – отозвался мистер Гримуиг с раздражающей улыбкой. – Посмотрим!

Судьбе угодно было, чтобы в эту минуту миссис Бэдуин принесла небольшую пачку книг, купленных утром мистером Браунлоу у того самого владельца книжного ларька, который уже появлялся в этом повествовании. Положив их на стол, она хотела выйти из комнаты.

– Задержите мальчика, миссис Бэдуин, – сказал мистер Браунлоу, – я хочу кое-что отослать с ним обратно.

– Он ушел, сэр, – ответила миссис Бэдуин.

– Верните его, – сказал мистер Браунлоу. – Это дело важное. Книгопродавец – человек бедный, а за книги не уплачено. И несколько книг нужно отнести назад.

Парадная дверь была открыта. Оливер бросился в одну сторону, служанка – в другую, а миссис Бэдуин стояла на пороге и пронзительным голосом звала посланца, но никакого мальчика не было видно. Оливер и служанка вернулись, запыхавшись, и доложили, что того

и след простыл.

– Ах, боже мой, какая досада! – воскликнул мистер Браунлоу. – Мне так хотелось отослать сегодня вечером эти книги!

– Отошлите их с Оливером, – с иронической улыбкой сказал мистер Гримуиг. – Он несомненно доставит их в полной сохранности.

– Да, пожалуйста, позвольте мне отнести их, сэр, – сказал Оливер. – Я буду бежать всю дорогу, сэр.

Старый джентльмен хотел было сказать, что ни в коем случае не пустит Оливера, но злорадное покашливание мистера Гримуига заставило его принять другое решение: быстрым исполнением поручения Оливер докажет мистеру Гримуигу несправедливость его подозрений хотя бы по этому пункту, и докажет немедленно.

– Хорошо! Ты пойдешь, мой милый, – сказал старый джентльмен. – Книги лежат на стуле у моего стола. Принеси их.

Радуясь случаю быть полезным, Оливер быстро схватил книги подмышку и с шапкой в руке ждал, что ему поручено будет передать.

– Ты ему передашь, – продолжал мистер Браунлоу, – пристально глядя на Гримуига, – ты передашь, что принес эти книги обратно, и уплатишь четыре фунта десять шиллингов, которые я ему должен. Вот билет в пять фунтов. Стало – быть, ты принесешь мне сдачи десять шиллингов.

– Десяти минут не пройдет, как я уже вернусь, сэр! – с жаром отвечал Оливер.

Спрятав банковый билет в карман куртки, застегивавшийся на пуговицу, и старательно придерживая книги под мышкой, он отвесил учтивый поклон и вышел из комнаты. Миссис Бэдуин проводила его до парадной двери, дала многочисленные указания, как пройти кратчайшим путем, сообщила фамилию книгопродавца и название улицы; все это, по словам Оливера, он прекрасно понял. Добавив сверх того еще ряд наставлений, чтобы он не простудился, старая леди, наконец, позволила ему уйти.

– Да благословит бог его милое личико! – сказала старая леди, глядя ему вслед. – Почему-то мне трудно отпускать его от себя.

Как раз в эту минуту Оливер весело оглянулся и кивнул ей, прежде чем свернуть за угол. Старая леди с улыбкой ответила на его приветствие и, заперев дверь, пошла к себе в комнату.

– Ну-ка, посмотрим: он вернется не позже чем через двадцать минут, – сказал мистер Браунлоу, вынимая часы и кладя их на стол. – К тому времени стемнеет.

– О! Вы всерьез думаете, что он вернется? – осведомился мистер Гримуиг.

– А вы этого не думаете? – с улыбкой спросил мистер Браунлоу.

В тот момент дух противоречия целиком овладел мистером Гримуигом, а самоуверенная улыбка друга еще сильнее его подстрекнула.

– Не думаю! – сказал он, ударив кулаком по столу. – На мальчишке новый костюм, под мышкой пачка дорогих книг, а в кармане билет в пять фунтов. Он пойдет к своим приятелям-ворам и посмеется над вами. Если этот мальчишка когда-нибудь вернется сюда, сэр, я готов съесть свою голову.

С этими словами он придвинул стул к столу. Два друга сидели в молчаливом ожидании, а между ними лежали часы.

Следует отметить, чтобы подчеркнуть то значение, какое мы приписываем нашим суждениям, и ту гордыню, с какой мы делаем самые опрометчивые и торопливые заключения, – следует отметить, что мистер Гримуиг был отнюдь не жестокосердным человеком и непритворно огорчился бы, если бы его почтенного друга обманули и одурачили, но при всем том он искренне и от всей души надеялся в ту минуту, что Оливер Твист никогда не вернется.

Сумерки сгустились так, что едва можно было разглядеть цифры на циферблате, но два старых джентльмена по-прежнему сидели молча, а между ними лежали часы.

Глава XV

показывающая, сколь нежно любил Оливера Твиста веселый старый еврей и мисс Нэнси

В темной комнате дрянного трактира, в самой грязной части Малого Сафрен-Хилла, в хмурой и мрачной берлоге, пропитанной запахом спирта, где зимой целый день горит газовый рожок и куда летом не проникает ни один луч солнца, сидел над оловянным кувшинчиком и рюмкой человек в вельветовом сюртуке, коротких темных штанах, башмаках и чулках, которого даже при этом тусклом свете самый неопытный агент полиции не преминул бы признать за мистера Уильяма Сайкса. У ног его сидела белая красноглазая собака, которая то моргала, глядя на хозяина, то зализывала широкую свежую рану на морде, появившуюся, очевидно, в результате недавней драки.

– Смирно, гадина! Смирно! – приказал мистер Сайкс, внезапно нарушив молчание.

Были ли мысли его столь напряжены, что им помешало моргание собаки, или нервы столь натянуты в результате его собственных размышлений, что для их успокоения требовалось угостить пинком безобидное животное, – остается невыясненным. Какова бы ни была причина, но на долю собаки достались одновременно и пинок и проклятье.

Собаки обычно не склонны мстить за обиды, нанесенные их хозяевами, по собака мистера Сайкса, отличаясь таким же скверным нравом, как и ее владелец, и, быть может, находясь в тот момент под впечатлением пережитого оскорбления, без всяких церемоний вцепилась зубами в его башмак. Хорошенько встряхнув его, она с ворчанием спряталась под скамью – как раз вовремя, чтобы ускользнуть от оловянного кувшина, который мистер Сайкс занес над ее головой.

– Вот оно что! – произнес Сайкс, одной рукой схватив кочергу, а другой неторопливо открывая большой складной нож, который вытащил из кармана. – Сюда, дьявол! Сюда! Слышишь?

Собака несомненно слышала, так как мистер Сайкс говорил грубейшим тоном и очень грубым голосом, но, испытывая, по-видимому, какое-то странное нежелание оказаться с перерезанной глоткой, она не покинула своего места и зарычала еще громче; она вцепилась зубами в конец кочерги и принялась грызть ее, как дикий зверь.

Такое сопротивление только усилило бешенство мистера Сайкса, который, опустившись на колени, злобно атаковал животное. Собака металась из стороны в сторону, огрызаясь, рыча и лая, а человек ругался, наносил удары и изрыгал проклятья; борьба достигла критического момента, как вдруг дверь распахнулась, и собака вырвалась из комнаты, оставив Билла Сайкса с кочергой и складным ножом в руках.

Для ссоры всегда нужны две стороны – гласит старая поговорка. Мистер Сайкс, лишившись собаки как участника в ссоре, немедленно перенес свой гнев на вновь прибывшего.

– Черт вас побери, зачем вы влезаете между мной и моей собакой? – злобно жестикулируя, крикнул Сайкс.

– Я не знал, мой милый, не знал, – смиренно ответил Феджин (появился именно он).

– Не знали, трусливый вор? – проворчал Сайкс. – Не слышали шума?

– Ни звука не слышал, Билл, умереть мне на этом месте, – ответил еврей.

– Ну да! Конечно, вы ничего не слышите, – злобно усмехнувшись, сказал Сайкс. – Крадетесь так, что никто не слышит, как вы вошли и вышли! Жаль Феджин, что полминуты тому назад вы не были этой собакой!

– Почему? – с натянутой улыбкой осведомился еврей.

– Потому что правительство заботится о жизни таких людей, как вы, которые подлее всякой дворняжки, но разрешает убивать собак, когда б человек ни пожелал, – ответил Сайкс, с многозначительным видом закрывая свой нож. – Вот почему.

Еврей потер руки и, присев к столу, принужденно засмеялся в ответ на шутку своего друга. Впрочем, ему было явно не по себе.

– Ладно, ухмыляйтесь! – продолжал Сайкс, кладя на место кочергу и созерцая его со злобным презрением. – Никогда не случится вам посмеяться надо мной, разве что на виселице. Вы в моих руках, Феджин, и будь я проклят, если вас выпущу. Да! Попадусь я – попадетесь и вы. Стало быть, будьте со мной осторожны.

– Да, да, мой милый, – сказал еврей, – все это мне известно. У нас... у нас общие интересы, Билл, общие интересы.

– Гм... – пробурчал Сайкс, словно он полагал, что не все интересы у них общие. – Ну, что же вы хотели мне сказать?

– Все благополучно пропущено через тигель, – отвечал Феджин, – и я принес вашу долю. Она больше, чем полагается вам, мой милый, но так как я знаю, что в следующий раз мы меня не обидите, и...

– Довольно болтать! – нетерпеливо перебил грабитель. – Где она? Подавайте!

– Хорошо, Билл, не торопите меня, не торопите, – успокоительным гоном отозвался еврей. – Вот она! Все в сохранности!

С этими словами он вынул из-за пазухи старый бумажный платок и, развязав большой узел в одном из его уголков, достал маленький пакет в оберточной бумаге. Сайкс, выхватив его из рук еврея, торопливо развернул и начал считать находившиеся в нем соверены.²⁵

– Это все? – спросил Сайкс.

– Все, – ответил еврей.

– А вы по дороге не разворачивали сверток и не проглотили одну-две монеты? – подозрительно спросил Сайкс. – Нечего корчить обиженную физиономию. Вы это уже не раз проделывали. Звякните!

В переводе на обычный английский язык это означало приказание позвонить. На звонок явился другой еврей, моложе Феджина, но с почти такой же отталкивающей внешностью.

Билл Сайкс указал на пустой кувшинчик. Еврей, превосходно поняв намек, взял кувшин и ушел, чтобы его наполнить, предварительно обменявшись многозначительным взглядом с Феджином, который, как бы ожидая его взгляда, на минутку поднял глаза и в ответ кивнул головой – слегка, так что это с трудом мог бы подметить наблюдательный зритель. Этого не видел Сайкс, который наклонился, чтобы завязать шнурок на башмаке, порванный собакой. Быть может, если бы он заметил быстрый обмен знаками, у него мелькнула бы мысль, что это не предвещает ему добра.

– Есть здесь кто-нибудь, Барни? – спросил Феджин; теперь, когда Сайкс поднял голову, он говорил, не отрывая глаз от пола.

– Ни души, – ответил Барни, чьи слова – исходили ли они из сердца или нет – проходили через нос.

– Никого? – спросил Феджин удивленным тоном, тем самым давая понять, что Барни должен говорить правду.

– Никого нет, кроме мисс Нэнси, – ответил Барни.

– Нэнси! – воскликнул Сайкс. – Где? Лопни мои глаза, если я не почитаю эту девушку за ее природные таланты.

– Она заказала себе вареной говядины в буфетной, – ответил Барни.

– Пошлите ее сюда, – сказал Сайкс, наливая водку в стакан. – Пошлите ее сюда.

Барни робко глянул на Феджина, словно спрашивая разрешения; так как еврей молчал и не поднимал глаз, Барни вышел и вскоре вернулся с Нэнси, которая была в полном наряде – в чепце, переднике, с корзинкой и ключом.

– Напала на след, Нэнси? – спросил Сайкс, предлагая ей рюмку водки.

– Напала, Билл, – ответила молодая леди, осушив рюмку, – и здорово устала. Мальчишка был болен, не вставал с постели и...

²⁵ *Соверен* – золотая монета ценностью в фунт стерлингов, то есть двадцать шиллингов.

– Ах, Нэнси, милая! – сказал Феджин, подняв глаза.

Быть может, странно нахмурившиеся рыжие брови еврея и его полузакрытые глубоко запавшие глаза возвестили мисс Нэнси о том, что она расположена к излишней откровенности, но это не имеет большого значения. В данном случае нам надлежит интересоваться только фактом. А факт тот, что мисс Нэнси вдруг оборвала свою речь и, даря любезные улыбки мистеру Сайксу, перевела разговор на другие темы.

Минут через десять у мистера Феджина начался приступ кашля; тогда Нэнси набросила на плечи шаль и объявила, что ей пора идти. Мистер Сайкс, узнав, что часть дороги ему с ней по пути, изъявил желание сопровождать ее; они отправились вместе, а за ними на некотором расстоянии следовала собака, которая крадучись выбежала с заднего двора, как только удалился ее хозяин.

Сайкс вышел из комнаты, а еврей выглянул из двери и, посмотрев ему вслед, когда тот шел по темному коридору, погрозил кулаком, пробормотал какое-то проклятье, а затем с отвратительной усмешкой снова присел к столу и вскоре погрузился в чтение небезынтересной газеты «Лови! Держи!».²⁶

Тем временем Оливер Твист, не ведая того, что такое небольшое расстояние отделяет его от веселого старого джентльмена, направлялся к книжному ларьку. Дойдя до Клеркенуэла, он по ошибке свернул в переулок, который мог бы и миновать; но он прошел уже полпути, когда обнаружил свою ошибку; зная, что и этот переулок приведет его к цели, он решил не возвращаться и быстро продолжал путь, держа под мышкой книги.

Он шел, размышляя о том, каким счастливым и довольным должен он себя чувствовать и как много дал бы он за то, чтобы хоть разок взглянуть на бедного маленького Дика, измученного голодом и побоями, который, быть может, в эту самую минуту горько плачет. Вдруг он вздрогнул, испуганный громким воплем какой-то молодой женщины: «О милый мой братец!» И не успел он осмотреться и понять, что случилось, как чьи-то руки крепко обхватили его за шею.

– Оставьте! – отбиваясь, крикнул Оливер. – Пустите меня! Кто это? Зачем вы меня остановили?

Единственным ответом на это были громкие причитания обнимавшей его молодой женщины, которая держала в руке корзиночку и ключ от двери.

– Ах, боже мой! – кричала молодая женщина. – Я нашла его! Ох, Оливер! Ах ты, дрянной мальчишка, заставил меня столько горя вынести из-за тебя. Идем домой, дорогой мой, идем! Ах, я нашла его! Боже милостивый, благодарю тебя, я нашла его!

После этих бессвязных восклицаний молодая особа снова разразилась рыданиями и пришла в такое истерическое состояние, что две подошедшие в это время женщины спросили служившего в мясной лавке мальчика с лоснящимися волосами, смазанными говяжьим салом, не считает ли он нужным сбегать за доктором. На это мальчик из мясной лавки, который, по-видимому, был расположен к отдыху, чтобы не сказать – к лени, ответил, что он этого не считает.

– Ах, не обращайтесь внимания! – сказала молодая женщина, сжимая руку Оливера. – Мне теперь лучше. Сейчас же пойдем домой, бессердечный мальчишка! Идем!

– Что случилось, сударыня? – спросила одна из женщин.

– Ах, сударыня! – воскликнула молодая женщина. – Около месяца назад он убежал от своих родителей, работающих, почтенных людей, связался с шайкой воров и негодяев и разбил сердце своей матери.

– Ну и дрянной мальчишка! – сказала первая.

²⁶ *Небезынтересная газета «Лови! Держи!»* – полицейская газета, в которой печатались приметы разыскиваемых преступников. В Англии, в старину, все жители местности, где было совершено преступление, обязаны были участвовать в поимке преступников, ибо, в случае их бегства, на все население налагался штраф. Обычно облава сопровождалась гиканьем и криками «Хью энд край!». Эти возгласы, – которые можно перевести, как указано выше, были избраны для названия газеты.

– Ступай домой, звереныш! – подхватила другая.

– Нет, нет! – воскликнул Оливер в страшной тревоге. – Я ее не знаю! У меня нет сестры, нет ни отца, ни матери. Я сирота. Я живу в Пентонвиле.

– Вы только послушайте, как он храбро ото всех отрекается! – вскричала молодая женщина.

– Как, да ведь это Нэнси! – воскликнул Оливер, который только что увидел ее лицо, и в изумлении отшатнулся.

– Видите, он меня знает! – крикнула Нэнси, взывая к присутствующим. – Тут уж он не может отвертеться. Помилосердствуйте, заставьте его вернуться домой, а то он убьет свою добрую мать и отца и разобьет мне сердце!

– Черт побери, что тут такое? – крикнул, выбежав из пивной, какой-то человек, за которым следовала по пятам белая собака. – Маленький Оливер! Щенок, иди к своей бедной матери! Немедленно отправляйся домой!

– Они мне не родня! Я их не знаю! Помогите! Помогите! – крикнул Оливер, вырываясь из могучих рук этого человека.

– Помогите? – повторил человек. – Да, я тебе помогу, маленький мошенник! Что это за книги? Ты их украл? Дай-ка их сюда!

С этими словами он вырвал у мальчика из рук книги и ударил его ими по голове.

– Правильно! – крикнул из окна на чердаке какой-то ротозей. – Только таким путем и можно его образумить.

– Совершенно верно? – отозвался плотник с заспанным лицом, бросив одобрительный взгляд на чердачное окно.

– Это пойдет ему на пользу! – решили обе женщины.

– Да, польза ему от этого будет! – подхватил человек, снова нанеся удар и хватая Оливера за шиворот. – Ступай, мерзавец!.. Эй, Фонарик, сюда! Запомни его! Запомни!

Ослабевший после недавно перенесенной болезни, ошеломленный ударами и внезапным нападением, уstraшенный грозным рычанием собаки и зверским обращением человека, угнетенный тем, что присутствующие убеждены, будто он и в самом деле закоснелый маленький негодяй, каким его изобразили, – что он мог сделать, бедный ребенок? Спустились сумерки; в этих краях жил темный люд; не было поблизости никого, кто бы мог помочь. Сопротивление было бесполезно. Минуту спустя его увлекли в лабиринт темных узких дворов, а если он и осмеливался изредка кричать, его заставляли идти так быстро, что слов нельзя было разобрать. В сущности какое имело значение, можно ли их разобрать, раз не было никого, кто обратил бы на них внимание, даже если бы они звучали внятно?

Зажгли свет; миссис Бэдуин в тревоге ждала у открытой двери; служанка раз двадцать выбегала на улицу посмотреть, не видно ли Оливера. А два старых джентльмена по-прежнему сидели в темной гостиной и между ними лежали часы.

Глава XVI

повествует о том, что случилось с Оливером Твистом после того, как на него предъявила права Нэнси

Узкие улицы и дворы вывели, наконец, к широкой открытой площади, где расположены были загоны и все, что необходимо для торговли рогатым скотом. Дойдя до этого места. Сайкс замедлил шаги: девушка больше не в силах была идти так быстро. Повернувшись к Оливеру, он грубо приказал ему взять за руку Нэнси.

– Ты что, не слышишь? – заворчал Сайкс, так как Оливер мешкал и озирался вокруг.

Они находились в темном закоулке, в стороне от людных улиц. Оливер прекрасно понимал, что сопротивление ни к чему не приведет. Он протянул руку, которую Нэнси крепко сжала в своей.

– Другую руку дай мне, – сказал Сайкс, завладев свободной рукой Оливера. – Сюда,

Фонарик!

Собака подняла голову и зарычала.

– Смотри! – сказал он, другой рукой касаясь шеи Оливера. – Если он промолвит хоть словечко, хватай его! Помни это!

Собака снова зарычала и, облизываясь, посмотрела на Оливера так, словно ей не терпелось вцепиться ему в горло.

– Пес его схватит не хуже, чем любой христианин, лопни мои глаза, если это не так!.. – сказал Сайкс, с каким-то мрачным и злобным одобрением поглядывая на животное. – Теперь, мистер, вам известно, что вас ожидает, а значит, можете кричать сколько угодно: собака скоро положит конец этой забаве... Ступай вперед, песик!

Фонарик завил хвостом в благодарность за это непривычно ласковое обращение, еще раз, в виде предупреждения, зарычал на Оливера и побежал вперед.

Они пересекли Смитфилд, но Оливер все равно не узнал бы дороги, даже если бы они шли через Гровенор-сквер. Вечер был темный и туманный. Огни в лавках едва мерцали сквозь тяжелую завесу тумана, который с каждой минутой сгущался, окутывая мглой улицы и дома, и незнакомые места казались Оливеру еще более незнакомыми, а его растерянность становилась еще более гнетущей и безнадежной.

Они сделали еще несколько шагов, когда раздался глухой бой церковных часов. При – первом же ударе оба спутника Оливера остановились и повернулись в ту сторону, откуда доносились звуки.

– Восемь часов, Билл, – сказала Нэнси, когда замер бой.

– Что толку говорить? Разве я сам не слышу? – отозвался Сайкс.

– Хотела бы я знать, слышат ли *они*? – произнесла Нэнси.

– Конечно, слышат, – ответил Сайкс. – Меня сцапали в Варфоломеев день,²⁷ и не было на ярмарке такой грошовой трубы, писка которой я бы не расслышал. От шума и грохота снаружи тишина в проклятой старой тюрьме была такая, что я чуть было не размозжил себе голову о железную дверь.

– Бедные! – сказала Нэнси, которая все еще смотрела в ту сторону, где били часы. – Ах, Билл, такие славные молодые парни!

– Да, вам, женщинам, только об этом и думать, – отозвался Сайкс. – Славные молодые парни! Сейчас они все равно что мертвецы. Значит, не чем и толковать.

Произнеся эти утешительные слова, мистер Сайкс, казалось, заглушил проснувшуюся ревность и, крепче сжав руку Оливера, приказал ему идти дальше.

– Подожди минутку! – воскликнула девушка. – Я бы не стала спешить, если бы это тебе, Билл, предстояло болтаться на виселице, когда в следующий раз пробьет восемь часов. Я бы ходила вокруг да около того места, пока бы не свалилась, даже если бы на земле лежал снег, а у меня не было шали, чтобы прикрыться.

– А какой был бы от этого толк? – спросил чуждый сентиментальности мистер Сайкс. – Раз ты не можешь передать напильник и двадцать ярдов прочной веревки, то бродила бы ты за пятьдесят миль или стояла бы на месте, все равно никакой пользы мне это не принесло бы. Идем, нечего стоять здесь и читать проповеди!

Девушка расхохоталась, запахнула шаль, и они пошли дальше. Но Оливер почувствовал, как дрожит ее рука, а когда они проходили мимо газового фонаря, он заглянул ей в лицо и увидел, что оно стало мертвенно бледным.

Не меньше получаса они шли глухими и грязными улицами, встречая редких прохожих, да и те занимали, судя по их виду, такое же положение в обществе, как и мистер Сайкс. Наконец, они вышли на очень узкую, грязную улицу, почти сплошь занятую лавками старьевщиков; собака бежала впереди, словно понимая, что больше не понадобится ей быть

²⁷ *Варфоломеев день* – праздник св. Варфоломея в ноябре, когда в Лондоне с давних пор происходила большая ярмарка; эта ярмарка перестала существовать при жизни Диккенса – в 1855 году.

начеку, и остановилась у дверей лавки, запертой и, по-видимому, пустой. Дом полуразвалился, и к двери была прибита табличка, что он сдается внаем; казалось, она висит здесь уже много лет.

– Все в порядке! – крикнул Сайкс, осторожно посматривая вокруг.

Нэнси наклонилась к ставням, и Оливер услышал звон колокольчика. Они перешли на другую сторону улицы и несколько минут стояли под фонарем. Послышался шум, словно кто-то осторожно поднимал оконную раму; а вскоре после этого потихоньку открыли дверь. Затем мистер Сайкс без всяких церемоний схватил испуганного мальчика за шиворот, и все трое быстро вошли в дом.

В коридоре было совсем темно. Они ждали, пока человек, впустивший их, запирает дверь на засов и цепочку.

– Кто-нибудь есть? – спросил Сайкс.

– Никого, – ответил голос.

Оливеру показалось, что он его слышал раньше.

– А старик здесь? – спросил грабитель.

– Здесь, – отозвался голос. – Он здорово струхнул. Вы думаете, он вам не обрадуется? Как бы не так!

Форма ответа, как и голос говорившего, показались Оливеру знакомыми, но в темноте невозможно было разглядеть даже фигуру говорившего.

– Посвети, – сказал Сайкс, – не то мы свернем себе шею или наступим на собаку. Береги ноги, – если тебе случится на нее наступить.

– Подождите минутку, я вам посвечу, – отозвался голос.

Послышались удаляющиеся шаги, и минуту спустя появился мистер Джек Даукинс, иначе – Ловкий Плут. В правой руке у него была сальная свеча, вставленная в расщепленный конец палки.

Молодой джентльмен ограничился насмешливой улыбкой в знак того, что узнал Оливера, и, повернувшись, предложил посетителям спуститься вслед за ним по лестнице. Они прошли через пустую кухню и, войдя в низкую комнату, где пахло землей, были встречены взрывом смеха.

– Ох, не могу, не могу! – завопил юный Чарльз Бейтс, заливаясь во все горло. – Вот он! Ох, вот и он! Ах, Феджин, посмотрите на него. Да посмотрите же на него, Феджин! У меня сил больше нет. Вот так потеха! Эй, кто-нибудь подержите меня, пока я нахожусь вволю!

В порыве неудержимой веселости юный Бейтс повалился на пол и в течение пяти минут судорожно дрыгал ногами, выражая этим свой восторг. Затем, вскочив, он выхватил из рук Плута палку со свечой и, подойдя к Оливеру, принялся осматривать его со всех сторон, в то время как еврей, сняв ночной колпак, отвешивал низкие поклоны перед ошеломленным мальчиком. Между тем Плут, отличавшийся довольно мрачным нравом и редко позволявший себе веселиться, если это мешало делу, с великим прилежанием обшаривал карманы Оливера.

– Посмотрите на его костюм, Феджин! – сказал Чарли, так близко поднося свечу к новой курточке Оливера, что чуть было ее не подпалил. – Посмотрите на его костюм! Тончайшее сукно и самый щегольской покрой! Вот так потеха! Да еще книги в придачу! Да он настоящий джентльмен, Феджин!

– Очень рад видеть тебя таким молодцом, мой милый – сказал еврей, с притворным смирением отвешивая поклон. – Плут даст тебе другой костюм, мой милый, чтобы ты не запачкал своего воскресного платья. Почему, же ты нам не написал, мой милый, и не предупредил о своем приходе! Мы бы тебе приготовили что-нибудь горячее на ужин.

Тут юный Бейтс снова захохотал так громко, что сам Феджин развеселился, и даже Плут улыбнулся, но так как в этот момент Плут извлек пятифунтовый билет, то трудно сказать, чем вызвана была его улыбка – шуткой или находкой.

– Эй, это еще что такое? – спросил Сайкс, шагнув вперед, когда еврей схватил билет. – Это моя добыча, Феджин.

– Нет, нет, мой милый! – воскликнул еврей. – Это моя, Билл, моя. Вы получите книги.

– Как бы не так! – сказал Билл Сайкс, с решительным видом надевая шляпу. – Это принадлежит мне и Нэнси, а не то я отведу мальчишку обратно.

Еврей вздрогнул. Вздрогнул и Оливер, но совсем по другой причине: у него появилась надежда, что его отведут обратно.

– Отдайте! Слышите! – сказал Сайкс.

– Это несправедливо, Билл. Ведь правда же, Нэнси? – спросил еврей.

– Справедливо или несправедливо, – возразил Сайкс, – говорят вам, отдайте. Неужели вы думаете, что нам с Нэнси только и дела, что рыскать по улицам и похищать мальчишек, которых сцапали по вашей вине? Отдай деньги, скупой, старый скелет! Слышишь!

После такого увещания мистер Сайкс выхватил билет, зажатый между большим и указательным пальцами еврея, и, хладнокровно глядя в лицо старику, старательно сложил билет и завязал в свой платок.

– Это нам за труды, – сказал Сайкс, – а следовало бы вдвое больше. Книги можете оставить себе, если вы любитель чтения. Или продайте их.

– Какие они красивые! – сказал Чарли Бейтс, корча гримасы и делая вид, будто читает одну из книг. – Интересное чтение, правда, Оливер?

Видя, с какой тоской Оливер смотрит на своих мучителей, юный Бейтс, наделенный способностью подмечать во всем смешную сторону, пришел в еще более исступленный восторг.

– Это книги старого джентльмена! – ломая руки, воскликнул Оливер. – Доброго, славного старого джентльмена, который приютил меня и ухаживал за мной, когда я чуть не умер от горячки! О, прошу вас, отошлите их назад, отошлите ему книги и деньги! Держите меня здесь до конца жизни, но отошлите их назад. Он подумает, что я их украл. И старая леди и все, кто был так добр ко мне, подумают, что я их украл! О, сжальтесь надо мной, отошлите их!



Произнеся эти слова с безграничной тоской, Оливер упал на колени к ногам еврея и в полном отчаянии ломал руки.

– Мальчик прав, – заметил Феджин, украдкой осмотревшись вокруг и сдвинув косматые брови. – Ты прав, Оливер, ты прав: они, конечно, подумают, что ты их украл. Ха-ха! – усмехнулся еврей, потирая руки. – Большой удачи быть не могло, как бы мы ни старались.

– Конечно, не могло, – отозвался Сайкс. – Я это понял, как только увидел его в Клеркенуэле с книгами под мышкой. Все в порядке. Эти люди – мягкосердечные святоши, иначе они не взяли бы его к себе в дом. И они не будут наводить о нем справки, опасаясь, как бы не пришлось обратиться в суд, а стало быть, отправить его на каторгу. Сейчас он в безопасности.

Пока шел этот разговор, Оливер переводил взгляд с одного на другого, словно хорошенько не мог понять, что происходит; но когда Билл Сайкс умолк, он вдруг вскочил и вне себя бросился вон из комнаты, испуская пронзительные вопли, призывающие на помощь и гулко разносившиеся по пустынному старому дому.

– Придержи собаку, Билл! – крикнула Нэнси, рванувшись к двери и захлопнув ее, когда еврей и его два питомца бросились в погоню. – Придержи собаку. Она разорвет мальчика в клочья!

– Поделом ему! – крикнул Сайкс, стараясь вырваться из рук девушки. – Убирайся,

иначе я разможжу тебе голову об стену!

– Мне все равно, Билл, все равно! – завопила девушка, изо всех сил вцепившись в мужчину. – Эта собака не растерзает ребенка, разве что ты раньше убьешь меня!

– Не растерзает! – стиснув зубы, произнес Сайкс. – Скорее я это сделаю, если ты не отстанешь! Грабитель отшвырнул от себя девушку в другой конец комнаты, и как раз в этот момент вернулся еврей с двумя мальчиками, волоча за собой Оливера.

– Что случилось? – спросил Феджин, озираясь вокруг.

– Похоже на то, что девчонка с ума спятила, – с бешенством ответил Сайкс.

– Нет, она не спятила с ума, – сказала Нэнси, бледная, задыхающаяся после борьбы. – Нет, она не спятила с ума, Феджин, не думайте!

– Ну, так успокойся, слышишь? – сказал еврей, бросая на нее грозный взгляд.

– Нет, я этого не сделаю, – возразила Нэнси, повысив голос. – Ну, что вы на это скажете?

Мистер Феджин был в достаточной мере знаком с нравами и обычаями тех людей, к породе которых принадлежала Нэнси, и знал, что поддерживать с нею разговор сейчас не совсем безопасно. С целью отвлечь внимание присутствующих, он повернулся к Оливеру.

– Значит, ты хотел улизнуть, мой милый, не так ли? – сказал еврей, беря сучковатую дубинку, лежавшую у очага. – Не так ли?

Оливер ничего не ответил. Он следил за каждым движением еврея и порывисто дышал.

– Хотел позвать на помощь, звал полицию, да? – насмехался еврей, хватая мальчика за руку. – Мы тебя от этого излечим, молодой джентльмен!

Еврей больно ударил Оливера дубинкой по спине и замахнулся снова, но девушка, рванувшись вперед, выхватила ее. Она швырнула дубинку в огонь с такой силой, что раскаленные угли посыпались на пол.

– Не желаю я стоять и смотреть на это, Феджин! – крикнула девушка. – Мальчик у вас, чего же вам еще нужно? Не троньте его, не троньте, не то я припечатая кого-нибудь из вас так, что попаду на виселицу раньше времени.

Произнося эту угрозу, девушка неистово топнула ногой и, сжав губы, стиснув кулаки, перевела взгляд с еврея на другого грабителя; лицо ее стало мертвенно бледным от бешенства, до которого она постепенно довела себя.

– Ах, Нэнси! – умиротворяющим тоном сказал еврей, переглянувшись в смущении с мистером Сайксом. – Сегодня ты смысленнее, чем когда бы то ни было. Ха-ха! Милая моя, ты прекрасно разыгрываешь свою роль.

– Вот как! – сказала девушка. – Берегитесь, как бы я не переиграла. Вам только хуже будет, если это случится, Феджин, и я вас заранее предупреждаю, чтобы вы держались от меня подальше.

В женщине взбешенной, в особенности если к другим ее неукротимым страстям присоединяются безрассудство и отчаяние, есть нечто такое, с чем мало кто из мужчин захотел бы столкнуться. Еврей понял, что безнадежно притворяться, будто он не верит в ярость Нэнси, и, невольно попятившись, бросил умоляющий и трусливый взгляд на Сайкса, как бы говоря, что теперь тому надлежит продолжать диалог.

Мистер Сайкс, угадав эту немую мольбу и чувствуя, быть может, что гордость его и авторитет могут пострадать, если он сразу же не образумит мисс Нэнси, изрыгнул несколько десятков проклятий и угроз, быстрое извержение которых делало честь его изобретательности. Но так как они не произвели никакого впечатления на ту, против которой были направлены, он прибег к более веским аргументам.

– Это еще что значит? – сказал Сайкс, подкрепляя свой вопрос весьма распространенным проклятьем, обращенным к прекраснейшему украшению человеческого лица; если бы этому проклятью внимали наверху хотя бы один раз на пятьдесят тысяч, когда оно произносится, слепота сделалась бы такой же обыкновенной болезнью, как корь. – Это еще что значит? Провалиться мне в пекло! Да знаешь ли ты, кто ты и что ты?

– Да, все это я знаю, – ответила девушка, истерически смеясь, покачивая головой и

тщетно притворяясь равнодушной.

– А если так, то перестань шуметь, – сказал Сайкс тем ворчливым голосом, которым привык говорить, обращаясь к своей собаке, – а не то я тебя утихомирю на долгие времена.

Девушка засмеялась еще более истерическим смехом и, бросив быстрый взгляд на Сайкса, отвернулась и прикусила губу так, что выступила кровь.

– Нечего сказать, молодчина! – добавил Сайкс, окидывая ее презрительным взглядом. – Как раз тебе-то и подобает стать на сторону человеколюбцев и людей благородных. Самая подходящая особа для того, чтобы ребенок, как ты его называешь, подружился с тобой!

– Это правда, да поможет мне всемогущий бог! – с жаром воскликнула девушка. – И лучше бы я упала замертво на улице или поменялась местами с теми, мимо которых мы сегодня проходили, прежде чем я помогла вам привести его сюда! Начиная с этого вечера он становится вором, лжецом, чертом, всем, чем угодно. Неужели старому негодяю этого мало и нужны еще побои?

– Полно, полно, – увещевал еврей Сайкса, указывая на мальчиков, которые с любопытством следили за всем происходящим. – Мы должны выразаться учтиво, учтиво, Билл.

– Выразаться учтиво! – вскричала взбешенная девушка, на которую страшно было смотреть. – Выразаться учтиво, негодяй! Да, вы от меня заслужили учтивые речи! Я для вас воровала, когда была вдвое моложе, чем он! – Она указала на Оливера. – Я занималась этим ремеслом и служила вам двенадцать лет. Вы этого не знаете? Да говорите же! Не знаете?

– Ну-ну! – пытался успокоить ее еврей. – А коли так, то ведь ты зарабатываешь этим себе на жизнь.

– О да! – подхватила девушка; она не говорила, а визжала – слова лились каким-то неистовым потоком: – Я этим живу... Холодные, сырые, грязные улицы – мой дом! А вы – тот негодяй, который много лет назад выгнал меня на эти улицы и будет держать меня там день за днем, ночь за ночью, пока я не умру...

– Я еще не то с тобой сделаю! – перебил еврей, раздраженный этими упреками. – Я с тобой расправлюсь, если ты еще хоть слово скажешь!

Девушка больше ничего не сказала; она в испуге рвала на себе волосы и так стремительно набросилась на еврея, что оставила бы на нем следы своей мести, если бы Сайкс в надлежащий момент не схватил ее за руки, после чего она сделала несколько тщетных попыток освободиться и лишилась чувств.

– Теперь все в порядке, – сказал Сайкс, укладывая ее в углу комнаты. – Когда она вот так бесится, у нее удивительная сила в руках.

Еврей вытер лоб и улыбнулся, видимо почувствовав облегчение, когда тревога улеглась, но и он, и Сайкс, и собака, и мальчики, казалось, считали это повседневным происшествием, связанным с их профессией.

– Вот почему плохо иметь дело с женщинами, – сказал еврей, кладя на место дубинку, – но они хитры, и нам, с нашим ремеслом, без них не обойтись... Чарли, покажи-ка Оливеру его постель.

– Я думаю, Феджин, лучше ему не надевать завтра самый парадный свой костюм? – сказал Чарли Бейтс.

– Конечно, – ответил еврей, ухмыляясь так же, как ухмыльнулся Чарли, задавая этот вопрос.

Юный Бейтс, явно обрадованный данным ему поручением, взял палку с расщепленным концом и повел Оливера в смежную комнату-кухню, где лежали два-три тюфяка, на одном из которых он спал раньше. Здесь, заливаясь неудержимым смехом, он извлек то самое старое платье, от которого Оливер с такой радостью избавился в доме мистера Браунлоу; это платье, случайно показанное Феджину евреем, купившим его, послужило первой нитью, которая привела к открытию местопребывания Оливера.

– Снимай свой парадный костюмчик, – сказал Чарли, – я отдам его Феджину, у него он будет целее. Ну и потеха!

Бедный Оливер неохотно повиновался. Юный Бейтс, свернув новый костюм, сунул его под мышку, вышел из комнаты и, оставив Оливера в темноте, запер за собой дверь.

Оглушительный смех Чарли и голос Бетси, явившейся как раз вовремя, чтобы побрызгать водой на свою подругу и оказать ей прочие услуги для приведения ее в чувство, быть может, заставили бы бодрствовать многих и многих людей, находящихся в более счастливом положении, чем Оливер. Но силы его иссякли, он был совершенно измучен и заснул крепким сном.

Глава XVII

Судьба продолжает преследовать Оливера и, чтобы опорочить его, приводит в Лондон великого человека

На театре существует обычай во всех порядочных кровавых мелодрамах перемежать в строгом порядке трагические сцены с комическими, подобно тому как в свиной грудинке чередуются слои красные и белые. Герой опускается на соломенное свое ложе, отягощенный цепями и несчастиями; в следующей сцене его верный, но ничего не подозревающий оруженосец угощает слушателей комической песенкой. С трепещущим сердцем мы видим героиню во власти надменного и беспощадного барона; честь ее и жизнь равно подвергаются опасности; она извлекает кинжал, чтобы сохранить честь, пожертвовав жизнью; а в тот самый момент, когда наше волнение достигает высшей степени, раздается свисток, и мы сразу переносимся в огромный зал замка, где седобородый сенешаль²⁸ распевает забавную песню вместе с еще более забавными вассалами, которые могут появляться в любом месте – и под церковными сводами и во дворцах – и толпами скитаются по стране, вечно распевая песни.

Такие перемены как будто нелепы, но они более натуральны, чем может показаться с первого взгляда. В жизни переход от нагруженного яствами стола к смертному ложу и от траурных одежд к праздничному наряду отнюдь не менее поразителен; только в жизни мы – актеры, а не пассивные зрители, в этом-то и заключается существенная разница. Актеры в подражательной жизни театра не видят резких переходов и неистовых побуждений страсти или чувства, которые глазам простого зрителя сразу представляются достойными осуждения как неумеренные и нелепые.

Так как внезапные чередования сцен и быстрая смена времени и места не только освящены в книгах многолетним обычаем, но и почитаются доказательством великого мастерства писателя – такого рода критики расценивают искусство писателя в зависимости от тех затруднительных положений, в какие он ставит своих героев в конце каждой главы, – это краткое вступление к настоящей главе, быть может, будет сочтено ненужным. В таком случае пусть оно будет принято как деликатный намек историка, оповещающего о том, что он возвращается в город, где родился Оливер Твист; и пусть читатель примет на веру, что есть существенные и основательные причины отправиться в путь, иначе ему не предложили бы совершить такое путешествие.

Ранним утром мистер Бамбл вышел из ворот работного дома и с торжественным видом зашагал величественной поступью по Хай-стрит. Он весь так и сиял, упоенный своим званием бидла; галуны на его треуголке и на шинели сверкали в лучах утреннего солнца; он сжимал свою трость энергически и крепко, отличаясь отменным здоровьем и исполненный сознания своего могущества. Мистер Бамбл всегда высоко держал голову, но в это утро он держал ее выше, чем обычно. Рассеянный его взор, горделивый вид могли бы оповестить наблюдательного зрителя о том, что голова бидла полна мыслями слишком глубокими, чтобы можно было выразить их словами.

Мистер Бамбл не останавливался побеседовать с мелкими лавочниками и теми, кто

²⁸ Сенешаль – управляющий королевским замком во Франции.

почтительно обращался к нему, когда он проходил мимо. На их приветствия он отвечал только мановением руки и не замедлял величественного своего шага, пока не прибыл на ферму, где миссис Манн с приходской заботливостью выхаживала нищих младенцев.

– Черт бы побрал этого бидла! – сказала миссис Манн, услышав хорошо ей знакомый стук в садовую калитку. – Кто, кроме него, придет в такой ранний час... Ах, мистер Бамбл, подумать только, что это вы пришли! Боже мой, какое счастье! Пожалуйте в гостиную, сэр, прошу вас!

Первая часть речи была адресована к Сьюзен, а восторженные восклицания относились к мистеру Бамблу; славная леди отперла садовую калитку и с большим почтением и услужливостью ввела его в дом.

– Миссис Манн, – начал мистер Бамбл, не садясь и не падая в кресло, как сделал бы какой-нибудь нахал, но опускаясь медленно и постепенно, – миссис Манн, с добрым утром.

– И вам желаю доброго утра, сэр, – сияя улыбками, ответила миссис Манн. – Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?

– Так себе, миссис Манн, – ответил бидл. – Приходская жизнь – не ложе из роз, миссис Манн.

– Ах, это правда, мистер Бамбл! – подхватила леди.

И если бы бедные младенцы слышали эти слова, они могли бы весьма кстати повторить их хором.

– Приходская жизнь, сударыня, – продолжал мистер Бамбл, ударив тростью по столу, – полна забот, неприятностей и тяжких трудов, но могу сказать, что все общественные деятели обречены терпеть от преследований.

Миссис Манн, не совсем понимая, что хочет сказать бидл, сочувственно воздела руки и вздохнула.

– Ах, и в самом деле можно вздохнуть, миссис Манн! – сказал бидл.

Убедившись, что она поступила правильно, миссис Манн еще раз вздохнула, к явному удовлетворению общественного деятеля, который, бросив суровый взгляд на свою треуголку и тем самым скрыв самодовольную улыбку, сказал:

– Миссис Манн, я еду в Лондон.

– Ах, боже мой, мистер Бамбл! – попятившись, воскликнула миссис Манн.

– В Лондон, сударыня, – повторил непреклонный бидл, – в почтовой карете. Я и двое бедняков, миссис Манн. Предстоит судебный процесс касательно оседлости,²⁹ и совет поручил мне – мне, миссис Манн, – дать показания по этому делу на квартальной сессии в Клеркенуэле. И я не на шутку опасаясь, – добавил, приосанившись, мистер Бамбл, – как бы судьи на клеркенуэлской сессии³⁰ не попали впросак, прежде чем покончить со мной.

– Ах, не будьте слишком строги к ним, сэр! – вкрадчиво сказала миссис Манн.

– Судьи на клеркенуэлской сессии сами довели себя до этого, сударыня, – ответил мистер Бамбл. – И если дело обернется для них хуже, чем они предполагали, пусть благодарят самих себя!

Столько решимости и сознания долга слышалось в угрожающем тоне, каким мистер

²⁹ *Судебный процесс касательно оседлости* – судебное разбирательство вопроса о месте рождения граждан, нуждающихся в помощи приходских властей. К нему прибегали всякий раз, когда приходские власти старались сократить расходы по работному дому; одной из таких мер, помогающих приходу избавиться от неимущих граждан, была высылка бедняков, не родившихся в данной местности, то есть не имеющих «права оседлости». На такой судебный «процесс» Бамбл и везет двух тяжело больных людей, которым приходские власти отказали в помощи.

³⁰ *Клеркенуэлская сессия* – период, в течение которого происходили судебные заседания; в Англии суды, за исключением низших (мировых, заседали периодически – четыре раза в год; зги периоды, в течение которых суды разбирали подлежащие их ведению дела, назывались «квартальными сессиями». На такую сессию и едет Бамбл в Лондон, где в районе Клеркенуэл суд должен был разбирать дело о «праве оседлости».

Бамбл изрек эти слова, что миссис Манн, казалось, совершенно была утрашена. Наконец, она промолвила:

– Вы едете в карете, сэр? А я думала, что этих нищих принято отправлять в повозках.

– Если они больны, миссис Манн, – сказал бидл. – В дождливую погоду мы отправляем больных в открытых повозках, чтобы они не простудились.

– О! – сказала миссис Манн.

– Обратная карета берется довести этих двоих да к тому же по сходной цене, – сказал мистер Бамбл. – Обоим очень худо, и мы считаем, что увезти их обойдется на два фунта дешевле, чем похоронить, – в том случае, если нам удастся спихнуть их на руки другому приходу, а это я считаю вполне возможным, только бы они назло нам не умерли посреди дороги. Ха-ха-ха!

Мистер Бамбл посмеялся немного, затем взгляд его снова упал на треуголку, и он принял серьезный вид.

– Мы забыли о делах, сударыня, – сказал бидл. – Вот вам жалованье от прихода за месяц.

Мистер Бамбл извлек из бумажника завернутые в бумагу серебряные монеты и потребовал, расписку, которую ему и написала миссис Манн.

– Замарала я ее, сэр, – сказала воспитательница младенцев, – но, кажется, все написано по форме. Благодарю вас, мистер Бамбл, сэр, право же, я вам очень признательна.

Мистер Бамбл благосклонно кивнул в ответ на реверанс миссис Манн и осведомился, как поживают дети.

– Да благословит их бог! – с волнением сказала миссис Манн. – Они, миленькие, здоровы, лучшего и пожелать им нельзя! Конечно, за исключением тех двух, что умерли на прошлой неделе, и маленького Дика.

– А этому мальчику все не лучше? – спросил мистер Бамбл.

Миссис Манн покачала головой.

– Это зловредный, испорченный, порочный приходский ребенок, – сердито сказал мистер Бамбл. – Где он?

– Я сию же минуту приведу его к вам, сэр, – ответила миссис Манн. – Иди сюда. Дик!

Дика окликнули несколько раз, и он, наконец, отыскался. Его лицо подставили под насос и вытерли подолом миссис Манн, после чего он предстал пред грозным мистером Бамблом, бидлом.

Мальчик был бледен и худ; щеки у него ввалились, глаза были большие и блестящие. Жалкое приходское платье – ливрея его нищеты – висело на его слабом теле, а руки и ноги ребенка высохли, как у старца.

Таково было это маленькое создание, которое, трепеща, стояло перед мистером Бамблом, не смея отвести глаз от пола и пугаясь даже голоса бидла.

– Не можешь ты, что ли, посмотреть в лицо джентльмену, упрямый мальчишка? – сказала миссис Манн.

Мальчик робко поднял глаза и встретил взгляд мистера Бамбла.

– Что случилось с тобой, приходский Дик? – осведомился мистер Бамбл – весьма уместно – шутливым тоном.

– Ничего, сэр, – тихо ответил мальчик.

– Разумеется, ничего! – сказала миссис Манн, которая не преминула – посмеяться от души над шуткой мистера Бамбла. – Я уверена, что ты ни в чем не нуждаешься.

– Мне бы хотелось... – заикаясь, начал ребенок.

– Вот так-так! – перебила миссис Манн. – Ты, кажется, хочешь сказать, что тебе чего-то не хватает? Ах ты маленький негодяй!

– Тише, тише, миссис Манн! – сказал бидл, властно поднимая руку. – Чего бы вам хотелось, сэр?

– Мне бы хотелось, – заикаясь, продолжал мальчик, – чтобы кто-нибудь написал за меня несколько слов на клочке бумаги, сложил ее, запечатал и спрятал, когда меня заруют в

землю.

– О чем говорит этот мальчик! – воскликнул мистер Бамбл, на которого серьезный тон и истощенный вид ребенка произвели некоторое впечатление, хотя он и был привычен к таким вещам. – О чем вы говорите, сэр?

– Мне бы хотелось, – сказал ребенок, – передать бедному Оливеру Твисту мой горячий привет, и пусть он узнает, как часто я сидел и плакал, думая о том, что он скитается в темную ночь и нет никого, кто бы ему помог. И мне бы хотелось сказать ему, – продолжал ребенок, сжимая ручонки и говоря с большим жаром, – что я рад умереть совсем маленьким, если бы я вырос, стал взрослым и состарился, моя сестренка на небе забыла бы меня или была бы на меня не похожа, а гораздо лучше будет, если мы оба встретимся там детьми.

Мистер – Бамбл с неопишущим изумлением смерил взглядом маленького оратора с головы до ног и, повернувшись к своей собеседнице, сказал:

– Все они на один лад, миссис Манн. Этот дерзкий Оливер всех их перепортил.

– Никогда бы я этому не поверила, сэр! – сказала миссис Манн, воздевая руки и злобно поглядывая на Дика. – Я никогда еще не видывала такого закоренелого маленького негодяя!

– Уведите его, сударыня! – повелительно сказал мистер Бамбл. – Об этом следует доложить совету, миссис Манн.

– Надеюсь, джентльмены поймут, что это не моя вина, сэр? – жалобно хныча, сказала миссис Манн.

– Они это поймут, сударыня; они будут осведомлены об истинном положении дел, – сказал мистер Бамбл. – А теперь уведите его, мне противно на него смотреть.

Дика немедленно увели и заперли в погреб для угля. Вскоре вслед за этим мистер Бамбл удалился, чтобы снарядиться в путь.

На следующий день, в шесть часов утра, мистер Бамбл, заменив треуголку круглой шляпой и укутав свою особу в синий плащ с капюшоном, занял наружное место в почтовой карете, сопровождаемый двумя преступниками, чье право на оседлость оспаривалось. И вместе с ними он в надлежащее время прибыл в Лондон. В пути у него не было никаких неприятностей, кроме тех, что причиняли ему своим гнусным поведением бедняки, которые упрямо не переставали дрожать и жаловаться на стужу так, что, по словам мистера Бамбла, у него у самого застучали зубы и он озяб, хотя и был закутан в плащ.

Избавившись на ночь от этих злонамеренных лиц, мистер Бамбл расположился в доме, перед которым остановилась карета, и заказал скромный обед – жареное мясо, соус из устриц и портер. Поставив на каминную полку стакан горячего джина с водой, он придвинул кресло к огню и после высококонравственных размышлений о слишком распространенном пороке – недовольстве и неблагодарности, – приготовился к чтению газеты.

Первыми же строками, на которые упал взор мистера Бамбла, были следующие:

Пять гиней награды

«В четверг вечером, на прошлой неделе, убежал или был уведен из дома в Пентонвиле мальчик, по имени Оливер Твист, и с тех пор о нем нет никаких известий. Вышеуказанная награда будет уплачена любому, кто поможет обнаружить местопребывание упомянутого Оливера Твиста, или прольет свет на прежнюю его жизнь, которой по многим причинам горячо интересуется лицо, давшее это объявление».

Далее следовало подробное описание одежды и особы Оливера, его появления и исчезновения, а также имя и адрес мистера Браунлоу.

Мистер Бамбл широко раскрыл глаза, прочел объявление медленно и старательно три раза подряд и минут через пять уже ехал в Пентонвил, в волнении оставив нетронутым стакан горячего джина с водой.

– Дома мистер Браунлоу? – спросил мистер Бамбл у девушки, которая открыла дверь.

На этот вопрос девушка дала обычный, но довольно уклончивый ответ:

– Не знаю... Откуда вы?

Как только мистер Бамбл, объясняя причину своего появления, произнес имя Оливера, миссис Бэдуин, которая прислушивалась у двери в гостиную, выбежала, задыхаясь, в коридор.

– Войдите, войдите! – воскликнула старая леди. – Я знала, что мы о нем услышим. Бедняжка! Я знала, что услышим о нем! Я была в этом уверена. Да благословит его бог! Я все время это говорила.

С этими словами почтенная старая леди поспешила назад в гостиную, села на диван и залилась слезами. Тем временем служанка, не отличавшаяся такой впечатлительностью, побежала наверх и, вернувшись, предложила мистеру Бамблу немедленно следовать за ней, что тот и сделал.

Его ввели в маленький кабинет, где перед графинами и стаканами сидели мистер Браунлоу и его друг мистер Гримуиг. Сей последний джентльмен сразу разразился восклицаниями:

– Бидл! Я готов съесть свою голову, если это не приходский бидл.

– Пожалуйста, помолчите, – сказал мистер Браунлоу. – Не угодно ли сесть?

Мистер Бамбл сел, совершенно сбитый с толку странными манерами мистера Гримуига.

Мистер Браунлоу подвинул лампу так, чтобы лучше видеть лицо бидла, и сказал несколько нетерпеливо:

– Ну-с, сэр, вы пришли потому, что вам попалось на глаза объявление?

– Да, сэр, – сказал мистер Бамбл.

– И вы бидл, не так ли? – спросил мистер Гримуиг.

– Я – приходский бидл, джентльмены, – с гордостью ответил мистер Бамбл.

– Ну, конечно, – заметил мистер Гримуиг, обращаясь к своему другу. – Так я и думал.

Бидл с головы до пят!

Мистер Браунлоу слегка покачал головой, предлагая приятелю помолчать, и продолжал:

– Вам известно, где сейчас находится этот бедный мальчик?

– Не больше, чем всякому другому, – ответил мистер Бамбл.

– Ну, так что же вы о нем знаете? – спросил старый джентльмен. – Говорите, друг мой, если у вас есть что сказать. Что вы о нем знаете?

– Вряд ли что-нибудь хорошее, не так – ли? – язвительно сказал мистер Гримуиг, внимательно всматриваясь в лицо мистера Бамбла.

Мистер Бамбл, быстро уловив тон вопроса, зловеще и величественно покачал головой.

– Видите! – сказал мистер Гримуиг, с торжеством взглянув на мистера Браунлоу.

Мистер Браунлоу опасливо посмотрел на насупленную физиономию мистера Бамбла и попросил его рассказать как можно короче все, что ему известно об Оливере.

Мистер Бамбл положил шляпу, расстегнул сюртук; скрестив руки, глубокомысленно наклонил голову и, после недолгого раздумья, начал свой рассказ.

Скучно было бы передавать его словами бидла, которому потребовалось на это минут двадцать, но суть его заключалась в том, что Оливер – питомец, рожденный от порочных родителей низкого происхождения; что со дня рождения он обнаружил такие качества, как вероломство, неблагодарность и злость; что свое недолгое пребывание в родном городе он закончил кровожадным и мерзким нападением на безобидного мальчика и бежал ночной порой из дома своего хозяина. В доказательство того, что он действительно то лицо, за которое себя выдает, мистер Бамбл положил на стол бумаги, привезенные им в город. Сложив руки, он ждал, пока мистер Браунлоу ознакомится с ними.

– Боюсь, что все это правда, – грустно сказал старый джентльмен, просмотрев бумаги. – Награда за доставленные вами сведения невелика, но я бы с радостью дал вам втрое больше, если бы они оказались благоприятными для мальчика.

Знай мистер Бамбл об этом обстоятельстве раньше, весьма возможно, что он придал бы совсем иную окраску своему краткому рассказу. Однако теперь поздно было это делать, а

потому он степенно покачал головой и, спрятав в карман пять гиней, удалился.

В течение нескольких минут мистер Браунлоу шагал взад и вперед по комнате, видимо столь огорченный рассказом бидла, что даже мистер Гримуиг не стал больше ему досаждать.

Наконец, он остановился и резко позвонил в колокольчик.

– Миссис Бэдуин, – сказал мистер Браунлоу, когда вошла экономка, – этот мальчик, Оливер, оказался негодяем.

– Не может этого быть, сэр, не может быть! – с жаром сказала старая леди.

– Говорю вам – он негодяй! – возразил старый джентльмен. – Какие у вас основания говорить, что «не может этого быть»? Мы только что выслушали подробный рассказ о нем со дня его рождения. Он всю свою жизнь был ловким маленьким негодяем.

– Никогда не поверю этому, сэр, – твердо заявила старая леди. – Никогда!

– Вы, старухи, верите только шарлатанам да нелепым сказкам, – проворчал мистер Гримуиг. – Я это знал с самого начала. Почему вы сразу не обратились ко мне за советом? Вероятно, вы бы это сделали, не заболел он горячкой? Он казался интересным, да? Интересным! Вот еще! – И мистер Гримуиг, взмахнув кочергой, ожесточенно ткнул ею в камин.

– Это было милое, благодарное, кроткое дитя, сэр! – с негодованием возразила миссис Бэдуин. – Я детей знаю, сэр. Я их знаю уже сорок лет; а те, кто не может сказать того же о себе, пусть лучше помолчат! Вот мое мнение.

Это был резкий выпад против мистера Гримуига, который был холостяком. Так как у этого джентльмена он вызвал только улыбку, старая леди тряхнула головой и расправила свой передник, готовясь к новому выступлению, но ее остановил мистер Браунлоу.

– Довольно! – сказал старый джентльмен, притворяясь рассерженным, чего на самом деле отнюдь не было. – Больше я не желаю слышать имени этого мальчика! Я вас позвал, чтобы сообщить вам об этом. Никогда! Никогда, ни под каким видом! Запомните! Можете идти, миссис Бэдуин. Помните! Я не шучу.

В эту ночь тяжело было на сердце у обитателей дома мистера Браунлоу.

У Оливера сердце сжималось, когда он думал о своих добрых, любящих друзьях; хорошо, что он не знал, какие сведения получены ими, иначе сердце его могло бы разорваться.

Глава XVIII

Как Оливер проводил время в душеспасительном обществе своих почтенных друзей

На следующий день, около полудня, когда Плут и юный Бейтс ушли из дому на обычную свою работу, мистер Феджин воспользовался случаем, чтобы прочесть Оливеру длинную лекцию о вопиющем грехе неблагодарности, в котором, как доказал он ясно, Оливер был повинен в немалой степени, умышленно избегая общества своих встревоженных друзей и вдобавок пытаясь убежать от них после того, как столько хлопот и издержек стоило найти его. Мистер Феджин в особенности подчеркивал тот факт, что он дал приют Оливеру и пригрезил его в то время, когда – не будь этой своевременной помощи – он мог умереть с голоду; и мистер Феджин рассказал печальную и трогательную историю одного мальчика, которому он из человеколюбия помог при таких же обстоятельствах, но этот мальчик, оказавшись недостойным его доверия и обнаружив желание связаться с полицией, был, к сожалению, повешен однажды утром в Олд-Бейли.³¹ Мистер Феджин не пытался скрыть свою долю участия в катастрофе, но со слезами на глазах сокрушался о гнусном и предательском поведении упомянутого юнца, каковое привело к необходимости сделать его

³¹ *Олд-Бейли* – старый уголовный суд, находившийся рядом с Ньюгетской тюрьмой; смертные приговоры приводились в исполнение не во дворе суда, а во дворе тюрьмы.

жертвой некоторых показаний, данных на суде, которые, если и не вполне соответствовали истине, были насущно необходимы для безопасности его (мистера Феджина) и немногих избранных друзей. В заключение мистер Феджин дал довольно неприятное описание неудобств, сопутствующих повешению, и очень дружелюбно и вежливо выразил горячую надежду, что ему никогда не придется подвергнуть Оливера Твиста этой неприятной операции.

У маленького Оливера кровь стыла в жилах, когда он слушал речь еврея и смутно догадывался о мрачных угрозах, таившихся в ней. Ему уже было известно, что даже правосудие может принять невинного за виновного, если тот и другой случайно очутились вместе. Вполне вероятным казалось ему также, что старый еврей уж не раз придумывал и приводил в исполнение таинственные планы с целью погубить слишком осведомленных или болтливых людей, так как Оливер вспомнил о пререканиях между этим джентльменом и мистером Сайксом, которые как будто относились к заговору, имевшему место в прошлом. Робко подняв глаза и встретив испытующий взгляд еврея, он почувствовал, что его бледность и трепет не остались незамеченными и доставили удовольствие этому бдительному старому джентльмену.

Еврей, отвратительно улыбаясь, погладил Оливера по голове и сказал, что они еще станут друзьями, если он будет вести себя хорошо и начнет работать. Затем, взяв шляпу и надев старое, заплатанное пальто, он вышел из комнаты и запер за собой дверь.

Весь этот день и в последующие дни Оливер не видел никого с раннего утра до полуночи и в течение долгих часов был предоставлен своим собственным мыслям. А эти мысли, неизменно обращаясь к его добрым друзьям и к тому мнению, какое у них сложилось о нем, были очень грустны.

По прошествии недели еврей перестал запирает дверь, и теперь Оливер получил возможность бродить по всему дому.

Здесь было очень грязно. В комнатах верхнего этажа были огромные, высокие деревянные камины, большие двери, обшитые панелью стены и карнизы у потолка, почерневшие от времени и грязи, но украшенные всевозможными орнаментами. Все это позволяло Оливеру заключить, что много лет назад, еще до рождения старого еврея, дом принадлежал людям более достойным и, быть может, был веселым и красивым, хотя и стал теперь унылым и мрачным.

Пауки затянули паутиной углы комнаты, а иной раз, когда Оливер потихоньку входил в комнату, мыши разбегались во все стороны и в испуге пря – тались в свои норки. За исключением мышей, здесь не видно и не слышно было ни единого живого существа; и часто, когда наступали сумерки и Оливер уставал бродить по комнатам, он забивался в уголок у входной двери, чтобы быть поближе к живым людям, и сидел здесь, прислушиваясь и считая часы, пока не возвращался еврей или мальчишки.

Во всех комнатах ветхие ставни были закрыты, укреплявшие их болты плотно привинчены к дереву; свет пробивался только в круглые отверстия наверху, что делало комнаты еще более мрачными и наполняло их причудливыми тенями. Выходившее во двор чердачное окно с заржавленной решеткой, приделанной снаружи, не было закрыто ставнями, и в это окно грустивший Оливер часто смотрел часами; за окном в беспорядке громоздились крыши, видны были почерневшие трубы, коньки – и только. Правда, иной раз можно было увидеть седую голову, выглядывавшую из-за парапета какого-нибудь далекого дома, но она быстро исчезала; а так как окно в обсерватории Оливера было забито и за долгие годы потускнело от дождя и дыма, то ему оставалось только всматриваться в очертания различных предметов, не надеясь, что его увидят или услышат, – на это у него было не больше шансов, чем если бы он жил внутри купола собора св. Павла.

Как-то после полудня, когда Плут и юный Бейтс готовились к вечерней работе, первому из упомянутых молодых джентльменов пришла в голову мысль позаботиться об украшении собственной особы (нужно отдать ему справедливость – обычно он не был подвержен этой слабости), и с этой целью он снисходительно приказал Оливеру немедленно

помочь ему при совершении туалета.

Оливер был рад случаю оказать услугу, счастлив, что видит подле себя людей, хотя бы и дурных, страстно желал снискать расположение тех, кто его окружал, если этого можно было достигнуть, не совершая бесчестных поступков, – вот почему он и не подумал возражать против такого предложения. Он поспешил изъявить свою готовность и, опустившись на пол, чтобы поставить себе на колено ногу Плута, сидевшего на столе, приступил к процедуре, которую мистер Даукинс назвал «полированием своих скакунов». Эти слова в переводе на обычный английский язык означали чистку сапог.

Сознание ли свободы и независимости, которое, по-видимому, должно испытывать разумное животное, когда оно сидит в удобной позе на столе, курит трубку и небрежно болтает одной ногой, пока ему чистят сапоги, хотя оно не потрудились их снять, и неприятная перспектива снова их натягивать не тревожит его мыслей, или же хороший табак смягчил сердце Плута, а может быть, на него подействовало успокоительно слабое пиво, – как бы там ни было, но Плут в тот момент находился в расположении духа романтическом и восторженном, обычно чуждом его природе. Сначала он с задумчивым видом смотрел вниз на Оливера, а затем, подняв голову и тихонько вздохнув, сказал не то самому себе, не то юному Бейтсу:

– Какая жалость, что он не мазурик!

– Да, – сказал юный Чарльз Бейтс, – он своей выгоды не понимает.

Плут снова вздохнул и снова взялся за трубку; так же поступил и Чарли Бейтс. Несколько секунд оба курили молча.

– Ты, наверно, даже не знаешь, что такое мазурик? – задумчиво спросил Плут.

– Мне кажется, знаю, – отозвался Оливер, поднимая голову. – Это во... вы один из них, правда? – запнувшись, спросил он.

– Совершенно верно, – ответил Плут. – Я бы не унился до какого-нибудь другого занятия.

Сообщив о таком решении, мистер Даукинс сердито сдвинул шляпу набекрень и посмотрел на юного Бейтса, как будто вызывая его на возражения.

– Совершенно верно, – повторил Плут. – А также и Чарли, и Феджин, и Сайкс, и Нэнси, и Бет. Все мы мазурики, не исключая и собаки. А она будет половчее нас всех!

– И уж она-то не донесет! – добавил Чарли Бейтс.

– Она бы и не твякнула на суде из боязни проболтаться... э, нет, даже если бы ее там привязали и две недели не давали жрать, – сказал Плут.

– Ни за что бы не твякнула, – подтвердил Чарли.

– Чудная собака, – продолжал Плут. – Как свирепо она смотрит на чужого, который вздумает смеяться или петь при ней! А как ворчит, когда играют на скрипке! И ненавидит всех собак другой породы! О!

– Настоящая христианка! – сказал Чарли.

Он хотел только похвалить собаку за ее качества, но его замечание было уместно и в ином смысле, хотя юный Бейтс этого не знал: много есть леди и джентльменов, претендующих на то, чтобы их считали истинными христианами, которые обнаруживают поразительное сходство с собакой мистера Сайкса.

– Ну ладно, – сказал Плут, возвращаясь к теме, от которой они отвлеклись, ибо он всегда помнил о своей профессии. – Это не имеет никакого отношения к нашему простаку.

– Правильно, – согласился Чарли. – Оливер, почему ты не хочешь поступить в обучение к Феджину?

– И сразу сколотить себе состояние? – усмехаясь, добавил Плут.

– А потом уйти от дел и зажечь по-благородному? Я и сам так поступлю, скажем, через четыре високосных года, в следующий же високосный, в сорок второй вторник на трюичной неделе, – сказал Чарли Бейтс.

– Мне это не нравится, – робко ответил Оливер. – Я бы хотел, чтобы меня отпустили. Мне... мне хотелось бы уйти.

– А вот Феджин этого не хочет! – возразил Чарли.

Оливер знал это слишком хорошо, но, считая, что опасно выражать открыто свои чувства, только вздохнул и продолжал чистить сапоги.

– Уйти! – воскликнул Плут. – Стыда у тебя нет, что ли? И гордости никакой нет! Ты бы хотел уйти и жить за счет своих друзей?

– Черт подери! – воскликнул юный Бейтс, вытаскивая из кармана два-три шелковых платка и швыряя их в шкаф. – Это подло, вот оно что!

– Я бы на это не пошел, – сказал Плут тоном высокомерно-презрительным.

– А друзей своих бросать вы можете, – с бледной улыбкой сказал Оливер, – и допускать, чтобы их наказывали за вас?

– Ну, знаешь ли, – отозвался Плут, размахивая трубкой, – это было сделано из внимания к Феджину, ведь ищейки-то знают, что мы работаем вместе, а он мог попасть в беду, если бы мы не улили. . . Вот в чем тут дело, правда, Чарли?

Юный Бейтс кивнул в знак согласия и хотел что-то добавить, но, внезапно вспомнив о бегстве Оливера, захохотал, и дым, которым он затянулся, попал не в то горло, вследствие чего он минут пять кашлял и топал ногами.

– Смотри! – сказал Плут, доставая из кармана целую пригоршню шиллингов и полупенсовиков. – Вот это развеселая жизнь! Не все ли равно, откуда они взялись? Ну, бери! Там, откуда их взяли, еще много осталось. Что, не хочешь? Эх ты, простофиля!

– Это очень дурно, правда, Оливер? – сказал Чарли Бейтс. – Кончится тем, что его за это вздернут, да?

– Я не понимаю, что это значит, – отозвался Оливер.

– А вот что, дружище! – сказал Чарли.

С этими словами юный Бейтс схватил конец своего галстука, дернул его кверху и, склонив голову набок, издал сквозь зубы какой-то странный звук, поясняя с помощью этой веселенькой пантомимы, что вздергивание и повешение – одно и то же.

– Вот что это значит, – сказал Чарли. – Смотри, Джек, как он тарачит глаза! Никогда еще я не видывал такого простофилю, как этот мальчишка. Когда-нибудь он меня окончательно уморит, знаю, что уморит.

Юный Чарльз Бейтс, снова расхохотавшись так, что слезы выступили у него на глазах, взялся за свою трубку.

– Тебя плохо воспитали, – сказал Плут, с большим удовольствием созерцая свои сапоги, вычищенные Оливером. Впрочем, Феджин что-нибудь из тебя сделает, или ты окажешься первым, от которого он ничего не мог добиться. Начинай-ка лучше сразу, потому что все равно придется тебе заняться этим ремеслом, и ты только время теряешь, Оливер.

Юный Бейтс подкрепил этот совет всевозможными увещаниями морального порядка; когда же они были исчерпаны, он и его приятель мистер Даукинс принялись описывать в ярких красках многочисленные удовольствия, связанные с той жизнью, какую они вели, и намекали Оливеру, что для него лучше безотлагательно снискать расположение мистера Феджина с помощью тех средств, которыми пользовались они сами.

– И вбей себе в башку. Ноли, – сказал Плут, услышав, что еврей отпирает дверь наверху, – если ты не будешь таскать утиралки и тикалки. . .

– Что толку в этих словах? – вмешался юный Бейтс. – Он не понимает, о чем ты говоришь.

– Если ты не будешь таскать носовые платки и часы, – сказал Плут, приспособляя свою речь к уровню развития Оливера, – все равно их стащит кто-нибудь другой. От этого плохо будет тем, у кого их стащат, и плохо будет тебе, и никто на этом деле не выгадает, кроме того парня, который эти вещи прикарманил, а ты имеешь на них точь-в-точь такое же право, как и он.

– Верно! – сказал еврей, который вошел в комнату, не замеченный Оливером. – Все это очень просто, мой милый; очень просто, можешь поверить на слово Плуту. Ха-ха-ха! Он знает азбуку своего ремесла.

Старик весело потирал руки, подтверждая рассуждения Плута, и посмеивался, восхищенный способностями своего ученика.

На этот раз беседа оборвалась, так как еврей вернулся домой в сопровождении мисс Бетси и джентльмена, которого Оливер ни разу еще не видел; Плут называл его Томом Читлингом; он замешкался на лестнице, обмениваясь любезностями с леди, и только что вошел в комнату.

Мистер Читлинг был старше Плута – быть может, видал на своему веку восемнадцать зим, – но обращение его с этим молодым джентльменом отличалось некоторой почтительностью, казалось свидетельствовавшей о том, что он признавал себя, пожалуй, ниже Плута, поскольку речь шла о хитрости и профессиональных способностях. У него были маленькие, блестящие глазки и лицо, взрытое оспой; на нем была меховая шапка, темная, из рубчатого плиса куртка, засаленные бумазейные штаны и фартук. Правду сказать, его костюм был в незавидном состоянии; но он принес извинения компании, заявив, что его «выпустили» всего час назад, а так как он в течение последних шести недель носил мундир, то и не имел возможности уделить внимания своему штатскому платью. С величайшим раздражением мистер Читлинг добавил, что новый способ окуривать одежду чертовски противоречит конституции, так как прожигается материя; но нет никакой возможности бороться с властями графства. Подобное же замечание он сделал по поводу распоряжения стричь волосы, которое считал решительно противозаконным. Свою речь мистер Читлинг закончил заявлением, что вот уже сорок два бесконечных трудовых дня у него ни капли не было во рту и «пусть его прихлопнут, если он не усох».

– Как ты думаешь, Оливер, откуда пришел этот джентльмен? – ухмыляясь, спросил еврей, когда два других мальчика поставили на стол бутылку виски.

– Н-не знаю, сэр, – сказал Оливер.

– Это кто такой? – спросил Том Читлинг, бросив презрительный взгляд на Оливера.

– Это, милый мой, один из моих юных друзей, – ответил еврей.

– Значит, ему повезло... – сказал молодой человек, многозначительно посмотрев на Феджина. – Не все ли равно, откуда я пришел, мальчуган? Бьюсь об заклад на крону, что ты скоро отыщешь туда дорогу!

Эта шутка вызвала смех у мальчиков. Побалагурив еще немного на ту же тему, они шепотом обменялись несколькими словами с Феджином и ушли.

Новый гость потолковал в сторонке с Феджином, после чего оба придвинули свои стулья к очагу, и еврей, подзвав к себе Оливера и приказав ему сесть возле, завел речь о том, что должно было больше всего интересоваться его слушателей. Разговор шел о великих выгодах их профессии, о сноровке Плута, о добродушном нраве Чарльза Бейтса и о щедрости самого еврея. Наконец, эти темы истощились, истощен был и мистер Читлинг, ибо пребывание в исправительном доме становится утомительным по истечении одной-двух недель. Поэтому мисс Бетси ушла, предоставив компании расположиться на отдых.

Начиная с этого дня Оливера редко оставляли одного; почти всегда он находился в обществе обоих мальчиков, которые ежедневно играли с евреем в старую игру – то ли для собственного усовершенствования, то ли для Оливера, – об этом лучше всех знал мистер Феджин. Иногда старик рассказывал им истории о грабежах, которые совершал в дни молодости, и столько было в них смешного и любопытного, что Оливер невольно смеялся от души и, несмотря на все свои прекрасные качества, не мог скрыть, что эти истории его забавляют.

Короче говоря, хитрый старый еврей опутал мальчика своими сетями. Подготовив его душу одиночеством и унынием к тому, чтобы мальчик предпочел любое общество своим печальным мыслям, старик теперь вливал в нее по капле яд, который, как он надеялся, загрязнит ее, навеки изменив ее цвет.

Глава XIX

в которой обсуждают, и принимают замечательный план

Была серая, промозглая, ветреная ночь, когда еврей, застегнув на все пуговицы пальто, плотно облежавшее его иссохшее тело, и подняв воротник до ушей, чтобы скрыть нижнюю часть лица, вышел из своей берлоги. Он приостановился на ступени, пока запирали за ним дверь и закладывали цепочку, и, убедившись, что мальчишки заперли все как следует и шаги их замерли вдали, побежал по улице так быстро, как только мог.

Дом, куда привели Оливера, был расположен по соседству с Уайтчеплом.³² Еврей на минутку приостановился на углу и, подозрительно осмотревшись по сторонам, перешел через улицу по направлению к Спителфилдс.

Грязь толстым слоем лежала на мостовой, и черная мгла нависла над улицами; моросил дождь, все было холодным и – липким на ощупь. Казалось, именно в эту ночь и подобает бродить по улицам таким существам, как этот еврей. Пробираясь крадучись вперед, скользя под прикрытием стен и подъездов, отвратительный старик походил на какое-то омерзительное пресмыкающееся, рожденное в грязи и во тьме, сквозь которые он шел: он полз в ночи в поисках жирной падали себе на обед.

Он шел извилистыми и узкими улицами, пока не достиг Бетнел-Гряна; затем, круто свернув влево, он очутился в лабиринте грязных улиц, которых так много в этом густонаселенном районе.

По-видимому, еврей был очень хорошо знаком с той местностью, где находился, и его отнюдь не пугали темная ночь и трудная дорога. Он быстро миновал несколько переулков и улиц и, наконец, свернул в улицу, освещенную только одним фонарем в дальнем ее конце. Он постучал в дверь одного из домов и, обменявшись вполголоса несколькими невнятными словами с человеком, открывшим ее, поднялся по лестнице.

Когда он коснулся ручки двери, зарычала собака, и голос мужчины спросил, кто там.

– Это я, Билл, это только я, мой милый, – сказал еврей, заглядывая в комнату.

– Ну, так вваливайтесь сюда, – сказал Сайкс. – Лежи смирно, глупая скотина! Не можешь ты, что ли, узнать черта, если он в пальто?

Очевидно, собаку ввело в заблуждение верхнее одеяние мистера Феджина, ибо, как только еврей расстегнул пальто и бросил его на спинку стула, она удалилась в свой угол и при этом завиляла хвостом, как бы давая понять, что теперь она удовлетворена, насколько это чувство свойственно ее природе.

– Ну! – сказал Сайкс.

– Ну что ж, милый мой!.. – отозвался еврей. – А, Нэнси! В этом обращении слышалось некоторое замешательство, свидетельствовавшее о неуверенности в том, как оно будет принято: мистер Феджин и его юная приятельница не виделись с того дня, как она заступилась за Оливера. Поведение молодой леди быстро рассеяло все сомнения на этот счет, если таковые у него были. Она спустила ноги с каминной решетки, отодвинула стул и без лишних слов предложила Феджину подсесть к очагу, так как ночь – что и говорить – холодная.

– Да, моя милая Нэнси, очень холодно, – сказал еврей, грея свои костлявые руки над огнем. – Пронизывает насквозь, – добавил старик, потирая себе бок.

– Лютый должен быть холод, чтобы пробрать вас до самого сердца, – сказал мистер Сайкс. – Дай ему выпить чего-нибудь, Нэнси. Да пошевеливайся, черт подери! Тут и самому недолго заболеть, когда помотришь, как трясется этот мерзкий старый скелет, словно гнусный призрак, только что вставший из могилы.

Нэнси проворно достала бутылку из шкафа, где стояло еще много бутылок, наполненных, судя по их виду, всевозможными спиртными напитками.

Сайкс, налив стакан бренди, предложил его еврею.

³² *Уайтчепл* – северо-восточный район Лондона, получивший печальную известность своими трущобами, в которых ютилась беднота.

– Довольно, довольно... Спасибо, Билл, – сказал еврей, едва пригубив и поставив стакан на стол.

– Бойтесь, как бы вас не обошли? – сказал Сайкс, пристально посмотрев на еврея. – Уф!

С хриплым, презрительным ворчанием мистер Сайкс схватил стакан и выплеснул остатки бренди в золу – эта церемония предшествовала тому, чтобы затем наполнить его для себя, что он и сделал.

Пока он опрокидывал в глотку второй стакан, еврей окинул взглядом комнату – не из любопытства, так как не раз уже видел ее, но по свойственной ему подозрительности и вследствие беспокойной своей натуры. Это была нищенски обставленная комната, и только содержимое шкафа наводило на мысль, что здесь живет человек, не занимающийся трудом; на виду не было никаких подозрительных предметов, кроме нескольких тяжелых дубинок, стоявших в углу, и дубинки со свинцовым наконечником, висевшей над очагом.

– Ну вот, – сказал Сайкс, облизывая губы, – теперь я готов.

– Поговорим о делах? – осведомился еврей.

– Ладно, пусть о делах, – согласился Сайкс. – Выкладывайте, что хотели сказать.

– О делишках в Чертей, Билл? – спросил еврей, придвинув свой стул и понизив голос.

– Ладно. Что вы об этом скажете? – спросил Сайкс.

– Ах, милый мой, ведь вы знаете, что у меня на уме... – сказал еврей. – Ведь он это знает, Нэнси, правда?

– Нет, не знает, – ухмыльнулся мистер Сайкс. – Или не хочет знать, а это одно и то же. Говорите начистоту и называйте вещи своими именами! Нечего сидеть здесь, моргать да подмигивать и объясняться со мной намеками, как будто не вам первому пришла в голову мысль о грабеже! Что у вас на уме?

– Тише, Билл, тише! – сказал еврей, тщетно пытавшийся положить конец этому взрыву негодования. – Нас могут услышать.

– Пусть слушают! – сказал Сайкс. – Не все ли мне равно?

Но так как мистеру Сайксу было не все равно, то, поразмыслив, он заговорил тише и стал заметно спокойнее.

– Ну-ну, – сказал еврей, улещивая его. – Я просто осторожен, вот и все. А теперь, мой милый, поговорим об этом дельце в Чертей. Когда мы его обделаем, Билл? Когда? Какое там столовое серебро, мой милый, какое серебро! – сказал еврей, потирая руки и поднимая брови в предвкушении удовольствия.

– Ничего не выйдет, – холодно отозвался Сайкс.

– Ничего из этого дела не выйдет?.. – воскликнул еврей, откинувшись на спинку стула.

– Да, ничего не выйдет, – сказал Сайкс. – Во всяком случае, это не такое простое дело, как мы думали.

– Значит, за него взялись плохо, – сказал еврей, побледнев от злости. – Можете ничего мне не говорить!

– Нет, я вам все расскажу, – возразил Сайкс, – Кто вы такой, что вам ничего нельзя сказать? Я вам говорю, что Тоби Крекит две недели слонялся вокруг этого места и ему не удалось связаться ни с одним из слуг!

– Неужели вы хотите сказать, Билл, – спросил еврей, успокаиваясь по мере того, как его собеседник начинал горячиться, – что хоть одного из этих двух слуг не удалось переманить?

– Да, это самое я и хочу вам сказать, – ответил Сайкс. – Вот уже двадцать лет, как они служат у старой леди, и если бы вы им дали пятьсот фунтов, они все равно не клюнули бы.

– Неужели вы хотите сказать, мой милый, что никому не удастся даже женщин переманить? – спросил еврей.

– Совершенно верно, не удастся, – ответил Сайкс.

– Как, даже такому ловкачу, как Тоби Крекит? – недоверчиво сказал еврей. – Вспомните, Билл, что за народ эти женщины!

– Да, даже ловкачу Тоби Крекиту, – ответил Сайкс. – Он говорит, что приклеивал фальшивые бакенбарды, надевал канареечного цвета жилет, когда слонялся в тех краях, и все

ни к чему.

– Лучше было бы ему, мой милый, испробовать усы и военные штаны, – возразил еврей.

– Он и это пробовал, – сказал Сайкс, – а пользы от них было столько же.

Это известие смутило еврея. Уткнувшись подбородком в грудь, он несколько минут размышлял, а потом поднял голову и сказал с глубоким вздохом, что если ловкач Тоби Крекит рассказал все правильно, то игра, он опасается, проиграна.

– А все-таки, – сказал старик, опуская руки на колени, – грустно, милый мой, столько терять, когда на это были направлены все наши помыслы.

– Верно, – согласился мистер Сайкс. – Не повезло.

Наступило длительное молчание; еврей погрузился в глубокие размышления, и сморщенное его лицо поистине стало дьявольски мерзким. Время от времени Сайкс украдкой поглядывал на него. Нэнси, явно боясь раздражить взломщика, сидела, не спуская глаз с огня, будто оставалась глухой ко всему происходившему.

– Феджин, – спросил Сайкс, резко нарушая наступившую тишину, стоит это дело лишних пятидесяти золотых?

– Да, – сказал еврей, также внезапно оживившись.

– Значит, по рукам? – осведомился Сайкс.

– Да, мой милый, – ответил еврей; глаза у него засверкали, и каждый мускул на лице его дрожал от волнения, вызванного этим вопросом.

– Ну, так вот, – сказал Сайкс, с некоторым пренебрежением отстраняя руку еврея, – это можно сделать когда угодно. Позапрошлой ночью мы с Тоби перелезли через ограду сада и ошупали дверь и ставни. На ночь дом запирают, как тюрьму, но есть одно местечко, куда мы можем пробраться потихоньку и ничем не рискуя.

– Где же это, Билл? – нетерпеливо спросил еврей.

– Нужно, знаете ли, пересечь лужайку... – шепотом заговорил Сайкс.

– Да? – подхватил еврей, вытянув шею и выпучив глаза так, что они едва не выскочили из орбит.

– Уф! – воскликнул Сайкс и запнулся, так как девушка вдруг оглянулась и чуть заметным кивком головы указала на еврея. – Не все ли равно, где это? Знаю, что без меня вам все равно не обойтись... Но лучше быть начеку, когда имеешь дело с таким, как вы.

– Как хотите, мой милый, как хотите, – отозвался еврей. – Помощи вам никакой не надо, вы справитесь вдвоем с Тоби?

– Никакой, – сказал Сайкс. – Нам нужны только коловорот и мальчишка. Первый у нас есть, а второго должны достать нам вы.

– Мальчишка! – воскликнул еврей. – О, так, стало быть, речь идет о филенке?

– Вам до этого нет никакого дела! – ответил Сайкс. – Мне нужен мальчишка, и мальчишка должен быть не жирный. О господи! – раздумчиво сказал мистер Сайкс. – Если бы я мог заполучить сынишку трубочиста Нэда! Он нарочно держал его в черном теле и отпускал на работу. Но отца послали на каторгу, и тогда вмешалось Общество попечения о малолетних преступниках, забрало мальчишку, лишило его ремесла, которое давало заработок, обучает грамоте и со временем сделает из него подмастерье. Вечно они суются! – сказал мистер Сайкс, припоминая все обиды и раздражаясь все больше и больше. – Вечно суются! И будь у них достаточно денег (слава богу, их нет!), у нас через годик-другой не осталось бы и пяти мальчишек для нашего ремесла.

– Правильно, – согласился еврей, который в продолжение этой речи был погружен в размышления и расслышал только последнюю фразу. – Билл!

– Ну, что еще? – сказал Сайкс.

Еврей кивнул головой в сторону Нэнси, которая по-прежнему смотрела на огонь, и этим дал понять, что лучше было бы удалить ее из комнаты. Сайкс нетерпеливо пожал плечами, как будто считал такую меру предосторожности излишней, но тем не менее подчинился и потребовал, чтобы мисс Нэнси принесла ему кружку пива.

– Никакого пива ты не хочешь, – сказала Нэнси, складывая руки и преспокойно оставаясь на своем месте.

– А я говорю тебе, что хочу! – крикнул Сайкс.

– Вздор! – хладнокровно ответила девушка. – Продолжайте, Феджин. Я знаю, что он хочет сказать, Билл. На меня он может не обращать никакого внимания.

Еврей все еще колебался. Сайкс удивленно переводил взгляд с него на нее.

– Да неужели девушка мешает вам, Феджин? – сказал он, наконец. – Что за чертовщина! Вы давно ее знаете и можете ей доверять. Она не из болтливых. Верно, Нэнси?

– Ну еще бы! – ответила эта молодая леди, придвинув стул к столу и облокотившись на него.

– Да, да, моя милая, я это знаю, – сказал еврей, – но... – И старик снова запнулся.

– Но – что? – спросил Сайкс.

– Я думал, что она, знаете ли, опять выйдет из себя, как в тот вечер, – ответил еврей.

Услыхав такое признание, мисс Нэнси громко расхохоталась и, залпом выпив стаканчик бренди, вызываяще покачала головой и разразилась восклицаниями, вроде: «Валяйте смелее», «Никогда не унывайте» и тому подобными. По-видимому, они подействовали успокоительно на обоих джентльменов, так как еврей с удовлетворенным видом кивнул головой и снова занял свое место; так же поступил и мистер Сайкс.

– Ну, Феджин, – со смехом сказала Нэнси, – поскорее расскажите Биллу об Оливере!

– Ха! Какая ты умница, моя милая! Никогда еще не видывал такой смышленной девушки! – сказал еврей, поглаживая ее по шее. – Верно, я хотел поговорить об Оливере. Ха-ха-ха!

– Что же вы хотели сказать о нем! – спросил Сайкс.

– Для вас это самый подходящий мальчик, мой милый, – хриплым шепотом ответил еврей, прикладывая палец к носу и отвратительно ухмыляясь.

– Он?! – воскликнул Сайкс.

– Возьми его, Билл, – сказала Нэнси. – Я бы взяла, будь я на твоём месте. Может, он не так проворен, как другие, но ведь тебе нужно только, чтобы он отпер дверь. Будь уверен, Билл, на него можно положиться.

– Я в этом не сомневаюсь, – подтвердил Феджин. – Эти последние недели мы его здорово дрессировали, и пора ему зарабатывать себе на хлеб. К тому же все остальные слишком велики.

– Да, он как раз подходит по росту, – задумчиво сказал мистер Сайкс.

– И он исполнит все, чего вы от него потребуете, Билл, милый мой, – присовокупил еврей. – У него другого выхода нет. Конечно, если вы его хорошенько припугнете.

– Припугнуть! – подхватил Сайкс. – Запомните, я его припугну не на шутку. Если он вздумает увилывать, когда мы примемся за работу, я ему не спущу ни на пенни, ни на фунт. Живым вы его не увидите, Феджин. Подумайте об этом, прежде чем посылать его. Запомните мои слова! – сказал грабитель, показывая лом, который он достал из-под кровати.

– Обо всем этом я подумал, – с жаром ответил еврей. – Я... к нему присматривался, мой милый, очень внимательно. Нужно только дать ему понять, что он из нашей компании, вбить ему в голову, что он стал вором, – и тогда он наш! Наш на всю жизнь. Ого! Как это все кстати случилось!

Старик скрестил руки на груди; опустив голову и сгорбившись, он как будто обнимал самого себя от радости.

– Наш! – повторил Сайкс. – Вы хотите сказать – ваш!

– Может быть, мой, милый, – сказал еврей, пронзительно захихикав. – Мой, если хотите, Билл!

– А почему, – спросил Сайкс, нахмурившись и злобно взглянув на своего милого дружка, – почему вы столько труда положили на какого-то чахлого младенца, когда вам известно, что в Коммон-Гарден каждый вечер слоняются пятьдесят мальчишек, из которых – вы можете выбрать любого?

– Потому что от них мне никакой пользы, мой милый, – с некоторым смущением ответил еврей. – Не стоит и говорить. Если случится им попасть в беду, их выдаст сама их физиономия, и тогда для меня они потеряны. А если этого мальчика хорошенько вымуштровать, мои милые, с ним я больше сделаю, чем с двумя десятками других. И к тому же, – добавил еврей, оправившись от смущения, – он нас теперь предаст, если только ему удастся удрать, а потому он должен разделить нашу судьбу. Не все ли равно, как это случится? В моей власти заставить его принять участие в грабеже – вот все, что мне нужно. И к тому же это куда лучше, чем смести с дороги бедного маленького мальчика. Это было бы опасно, и вдобавок мы потеряли бы на этом деле.

– На какой день назначено? – спросила Нэнси, помешав мистеру Сайксу разразиться негодующими возгласами в ответ на человеколюбивые замечания Феджина.

– Да, в самом деле, – подхватил еврей, – на какой день назначено, Билл?

– Я сговорился с Тоби на послезавтра, ночью, – угрюмо ответил Сайкс. – В случае чего я его предупрежу.

– Прекрасно, – сказал еврей, – луны не будет.

– Не будет, – подтвердил Сайкс.

– Значит, все приготовлено, чтобы завладеть добычей? – спросил еврей.

Сайкс кивнул.

– И насчет того, чтобы...

– Обо всем договорились, – перебил его Сайкс. – Нечего толковать о подробностях. Приведите-ка лучше мальчишку завтра вечером. Я тронусь в путь через час после рассвета. А вы держите язык за зубами и тигель наготове, больше ничего от вас не требуется.

После недолгой беседы, в которой все трое принимали живое участие, было решено, что завтра, в сумерках, Нэнси отправится к еврею и уведет с собой Оливера; при этом Феджин хитро заметил, что, если Оливер вздумает оказать сопротивление, он, Феджин, с большей готовностью, чем кто-нибудь другой, согласен сопровождать девушку, которая недавно заступалась за Оливера. Торжественно условились также, что бедный Оливер, ввиду задуманной экспедиции, будет всецело поручен заботам и попечению мистера Уильяма Сайкса и что упомянутый Сайкс будет обходиться с ним так, как сочтет нужным, и еврей не призовет его к ответу в случае, если Оливера постигнет какая-нибудь беда или окажется необходимым подвергнуть его наказанию; относительно этого пункта договорились, что любое заявление мистера Сайкса по возвращении домой будет во всех важных деталях подтверждено и засвидетельствовано ловкачом Тоби Крекитом.

Когда с предварительными переговорами было покончено, мистер Сайкс с ожесточением принялся за бренди, устрашающе размахивал ломом, во все горло, весьма немзыкально распевал какую-то песню и выкрикивая отвратительные ругательства. Наконец, в порыве профессионального энтузиазма он пожелал показать свой ящик с набором воровских инструментов; не успел он ввалиться с ним в комнату и открыть его с целью объяснить свойства и качества различных находящихся в нем инструментов и своеобразную прелесть их конструкции, как растянулся вместе с ящиком на полу и заснул, где упал.

– Спокойной ночи, Нэнси, – сказал еврей, снова закутываясь до ушей.

– Спокойной ночи.

Взгляды их встретились, и еврей зорко посмотрел на нее. Девушка и глазом не моргнула. Она так же не помышляла об обмане и так же серьезно относилась к делу, как и сам Тоби Крекит.

Еврей снова пожелал ей спокойной ночи, украдкой лягнул за ее спиной распростертое тело мистера Сайкса и ощупью спустился по лестнице.

– Вечно одно и то же, – бормотал себе под нос еврей, возвращаясь домой. – Хуже всего в этих женщинах то, что малейший пустяк пробуждает в них какое-то давно забытое чувство, а лучше всего то, что это скоро проходит. Ха-ха! Мужчина против ребенка, – за мешок золота!

Коротая время за такими приятными размышлениями, мистер Феджин добрался по

грязи и слякоти – до своего мрачного жилища, где бодрствовал Плут, нетерпеливо ожидавший его возвращения.

– Оливер спит? Я хочу с ним поговорить, – были первые слова Феджина, когда они спустились вниз.

– Давным-давно, – ответил Плут, распахнув дверь. – Вот он!

Мальчик крепко спал на жесткой постели, постланной на полу; от тревоги, печали и затхлого воздуха своей темницы он был бледен как смерть – не мертвец в саване и гробу, но тот, кого только что покинула жизнь и чей кроткий юный дух секунду назад вознесся к небу, а грубый воздух земного мира еще не успел изменить тленную оболочку...

– Не сейчас, – сказал еврей, потихоньку отходя от него. – Завтра. Завтра.

Глава XX

в которой Оливер поступает в распоряжение мистера Уильяма Сайкса

Проснувшись утром, Оливер с большим удивлением увидел, что у его постели стоит пара новых башмаков на прочной толстой подошве, а старые его башмаки исчезли. Сначала он обрадовался этому открытию, надеясь, что оно предвещает ему освобождение, но надежда быстро рассеялась, когда он уселся завтракать вместе с евреем и тот сообщил ему, что сегодня вечером его отведут в резиденцию Билла Сайкса, причем тон и вид еврея еще более усилили его тревогу.

– И... и оставят там совсем, сэр? – с беспокойством спросил Оливер.

– Нет, нет, мой милый, не оставят, – ответил еврей. – Нам бы не хотелось расставаться с тобой. Не бойся, Оливер, ты к нам вернешься! Ха-ха-ха! Мы не так жестоки и не отпустим тебя, мой милый. О нет!

Старик, склонившийся над очагом и поджаривавший кусок хлеба, оглянулся, подшучивая над Оливером, и захихикал, давая понять, что прекрасно знает, как рад был бы Оливер уйти, будь это возможно.

– Я думаю, мой милый, – сказал еврей, устремив взгляд на Оливера, – тебе хочется знать, зачем тебя посылают к Биллу?

Оливер невольно покраснел, видя, что старый вор отгадал его мысли, но храбро сказал: да, ему хотелось бы это знать.

– А как ты думаешь, зачем? – спросил Феджин, уклоняясь от ответа.

– Право, не знаю, сэр, – отозвался Оливер.

– Эх, ты! – воскликнул еврей и, пристально всмотревшись в лицо мальчика, с неудовольствием отвернулся. – Подожди, пусть Билл сам тебе скажет.

Еврею как будто досадно было, что Оливер не проявил большого любопытства. Между тем дело объяснилось так: хотя Оливер и был очень встревожен, но его слишком смутили серьезные и лукавые взгляды Феджина и его собственные мысли, чтобы он мог в тот момент задавать какие-нибудь вопросы. Но другого случая ему уже не представилось, потому что вплоть до самого вечера еврей хмурился и молчал, а потом собрался уйти из дому.

– Ты можешь зажечь свечу, – сказал он, поставив ее – на стол. – А вот тебе книга, читай, пока не зайдут за тобой. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи, – тихо отозвался Оливер.

Еврей направился к двери, посмотрел через плечо на мальчика. Вдруг он остановился и окликнул его по имени.

Оливер поднял голову; еврей знаком приказал ему зажечь свечу. Он повиновался и, поставив подсвечник на стол, увидел, что еврей, нахмурившись и сдвинув брови, пристально смотрит на него из темного угла комнаты.

– Берегись, Оливер, берегись! – сказал старик, предостерегающе погрозив ему правой рукой. – Он человек грубый. Что ему стоит пролить кровь, если у него самого кровь закипит в жилах! Что бы ни случилось – молчи. И делай все, что он тебе прикажет. Помни!

Сделав ударение на последнем слове, он отвратительно улыбнулся и, кивнув головой, вышел из комнаты.

Когда старик ушел, Оливер подпер голову рукой и с трепещущим сердцем задумался о словах Феджина. Чем больше он размышлял о предостережении еврея, тем труднее было ему угадать подлинный его смысл. Он не мог придумать, для какого недоброго дела хотят отослать его к Сайксу и почему нельзя достигнуть той же цели, оставив его у Феджина, и после долгих размышлений решил, что его выбрали прислуживать взломщику и исполнять повседневную черную работу, пока тот не подыщет другого, более подходящего мальчика.

Он слишком привык к страданиям и слишком много выстрадал здесь, чтобы с горечью сетовать на предстоящую перемену. Несколько минут он сидел погруженный в свои думы, потом с тяжелым вздохом снял нагар со свечи и, взяв книгу, которую оставил ему еврей, стал читать.

Он перелистывал страницы. Сначала читал рассеянно, но, заинтересовавшись отрывком, который привлек его внимание, он вскоре погрузился в чтение. Это были биографии и судебные процессы знаменитых преступников; страницы были запачканы, замусолены грязными пальцами. В этой книге он читал об ужасных преступлениях, от которых кровь стынет в жилах; об убийствах из-за угла, совершенных на безлюдных проселочных дорогах; о трупах, сокрытых от глаз людских в глубоких ямах и колодцах, которые – как ни были они глубоки – не сохранили их на дне, но по истечении многих лет выбросили их в конце концов на поверхность, и это зрелище столь устало убило, что в ужасе они покалялись и молили о виселице, чтобы избавиться от душевной муки. Здесь читал он также о людях, которые, лежа глухой ночью в постели, предавались (по их словам) греховным своим мыслям и потом совершали убийства столь ужасные, что при одной мысли о них мороз пробегал по коже и руки и ноги дрожали. Страшные описания были так реальны и ярки, что пожелтевшие страницы, казалось, краснели от запекшейся крови, а слова звучали в ушах Оливера, как будто их глухо нашептывали ему призраки умерших.

В ужасе мальчик захлопнул книгу и отшвырнул ее от себя. Потом, упав на колени, он стал молиться и просил Бога избавить его от таких деяний и лучше ниспослать сейчас же смерть, чем сохранить ему жизнь для того, чтобы он совершил преступления столь страшные и отвратительные. Мало-помалу он успокоился и тихим, прерывающимся голосом молил спасти его от угрожающей ему опасности и, если можно, прийти на помощь бедному, всеми отвергнутому мальчику, никогда не знавшему любви друзей и родных, помочь ему сейчас, когда он, одинокий и всеми покинутый, находится в самой гуще пороков и преступлений.

Он кончил молиться, но все еще закрывал лицо руками, как вдруг какой-то шорох заставил его встрепенуться.

– Что это? – воскликнул он и вздрогнул, заметив какую-то фигуру, стоящую у двери. – Кто там?

– Я... это я, – раздался дрожащий голос.

Оливер поднял над головой свечу и посмотрел в сторону двери. Там стояла Нэнси.

– Поставь свечку, – отворачиваясь, сказала девушка. – Свет режет мне глаза.

Оливер заметил, как она бледна, и ласково спросил, не больна ли она. Девушка бросилась на стул спиной к нему и стала ломать руки, но ничего не ответила.

– Помилуй меня, боже! – воскликнула она немного погодя. – Я об этом не подумала.

– Что-то случилось? – спросил Оливер. – Не могу ли я вам помочь? Я все сделаю, что в моих силах. Право же, все!

Она раскачивалась взад и вперед, схватив себя за горло, и, всхлипывая, ловила воздух ртом.

– Нэнси, – крикнул Оливер, – что с вами?

Девушка заколотила руками по коленям, затопала ногами, потом, вдруг затихнув, задрожала от холода и плотнее закуталась в шаль.

Оливер размешал угли в очаге. Придвинув стул к огню, она сначала сидела молча; наконец, она подняла голову и осмотрелась вокруг.

– Не понимаю, что это иной раз на меня находит, – сказала она, делая вид, будто оправляет платье, – Должно быть, виновата эта сырая, грязная комната... Ну, Ноли, дорогой мой, ты готов?

– Я должен идти с вами? – спросил Оливер.

– Да, меня прислал Билл, – ответила девушка. – Ты пойдешь со мной?

– Зачем? – отшатнувшись, спросил Оливер.

– Зачем? – повторила девушка и подняла глаза, но, взглянув на мальчику, тотчас же отвернулась. – Нет, не для худого дела.

– Не верю, – сказал Оливер, пристально следивший за ней.

– Пусть будет по-твоему, – отозвалась девушка с деланным смехом. – Пожалуй, не для доброго.

Оливер видел, что может в какой-то мере пробудить в девушке лучшие чувства, и, нигде не найдя помощи, подумал воззвать к ее состраданию. Но потом у него мелькнула мысль, что сейчас только одиннадцать часов и на улице еще много прохожих; конечно, среди них найдется кто-нибудь, кто поверит его рассказу. Придя к такому заключению, он шагнул вперед и торопливо заявил, что готов идти.

Недолгое его раздумье было подмечено Нэнси. Она следила за ним, пока он говорил, и бросила на него зоркий взгляд, который ясно показывал, что она угадала, какие мысли пронеслись у него в голове.

– Тсс!.. – зашептала девушка, наклонившись к нему, и, осторожно озираясь, указала на дверь. – Ты ничего не можешь поделать. Я изо всех сил старалась тебе помочь, но это ни к чему не привело. Ты связан по рукам и по ногам. Если удастся тебе когда-нибудь вырваться отсюда, то во всяком случае не сейчас.

Пораженный ее выразительным тоном, Оливер удивленно смотрел на нее. Казалось, она говорит правду; лицо у нее было бледное и встревоженное, и она дрожала от волнения.

– Один раз я тебя уже спасла от побоев, и еще раз спасу, да я и сейчас это делаю, – повысив голос, продолжала девушка. – Ведь если бы вместо меня послали кого-нибудь другого, он обошелся бы с тобой гораздо грубее, чем я. Я поручилась, что ты будешь вести себя тихо и смиренно. Если ты не слушаешь, то повредишь и себе и мне и, может быть, принесешь мне смерть. Смотри! Клянусь богом, который меня видит сейчас, вот что я уже перенесла из-за тебя!

Она торопливо указала на синяки на шее и на руках и заговорила скороговоркой:

– Помни это! И сейчас не заставляй меня сильнее страдать из-за тебя. Если бы я могла тебе помочь, я бы тебе помогла, но я не могу. Они не хотят причинить тебе зло. Что бы они не заставили тебя сделать – вина не твоя. Молчи! Каждое твое слово может погубить меня. Дай мне руку! Скорей! Дай руку!

Она схватила Оливера за руку, которую он машинально подал ей, и, задув свечу, увлекла его за собой на лестницу. Кто-то невидимый в темноте быстро распахнул дверь и так же быстро ее запер, когда они вышли. Их ждал наемный кабриолет; с той же стремительностью, с какой она говорила с Оливером, девушка втощила его в кэб и плотно задернула занавески. Кучер не нуждался ни в каких указаниях – он хлестнул лошадь и погнал ее во всю прыть.

Девушка все еще сжимала руку Оливера и продолжала нашептывать ему предостережения и увещания, которые он уже раньше от нее слышал. Все произошло так быстро и внезапно, что не успел он сообразить, где он и почему сюда попал, как экипаж уже остановился перед домом, к которому накануне вечером направил свои стопы еврей.

Была минута, когда Оливер быстро окинул взглядом безлюдную улицу и призыв на помощь едва не сорвался с его губ. Но в ушах его еще звучал голос девушки, с такой тоской закливавшей помнить о ней, что у него не хватило духу крикнуть. Пока он колебался, благоприятный момент был упущен: его уже ввели в дом, и дверь захлопнулась.

– Сюда! – сказала девушка, только сейчас разжав руку. – Билл!

– Ну, что там! – отозвался Сайкс, появляясь со свечой на площадке лестницы. – О! Вот

здорово! Пожалуйте!

Со стороны особы такого темперамента, как мистер Сайкс, эти слова выражали весьма решительное одобрение, необычайно сердечный прием. Нэнси, по-видимому очень этим довольная, приветствовала его с жаром.

– Фонарик отправился домой с Томом, – сказал Сайкс, освещая дорогу. – Он бы здесь помешал.

– Верно, – отозвалась Нэнси.

– Значит, привела мальчишку? – заметил Сайкс, когда все трое вошли в комнату, и с этими словами запер дверь.

– Да, вот он, – ответила Нэнси.

– Послушно шел? – осведомился Сайкс.

– Как ягненок, – отозвалась Нэнси.

– Рад это слышать, – сказал Сайкс, хмуро посмотрев на Оливера, – рад за его шкуру, иначе ей пришлось бы худо. Пожалуйте сюда, молодой человек, и выслушайте мое поучение; лучше с этим покончить сразу.

Обратившись с такими словами к своему новому ученику, мистер Сайкс сорвал с Оливера шапку и швырнул ее в угол; потом, придерживая его за плечо, уселся на стул и поставил мальчика перед собой.

– Ну-с, прежде всего, известно ли тебе, что это такое? – спросил Сайкс, беря карманный пистолет, лежавший на столе.

Оливер отвечал утвердительно.

– А теперь посмотри-ка сюда, – продолжал Сайкс, – Вот порох, вот пуля, а вот кусочек старой шляпы для лыжа...

Оливер прошептал, что ему известно назначение указанных предметов, а мистер Сайкс принялся очень старательно заряжать пистолет.

– Теперь он заряжен, – сказал мистер Сайкс, покончив с этим делом.

– Вижу, сэр, – ответил Оливер.

– Слушай, – продолжал грабитель, крепко схватив Оливера за руку и приставив вплотную к его виску дуло пистолета, отчего мальчик невольно вздрогнул, – если ты хоть слово скажешь, когда мы выйдем из дому – разве что, я сам с тобой заговорю, – пуля сразу будет у тебя в голове. Стало быть, если ты вздумаешь говорить без разрешения, прочти раньше свои молитвы.

Для большего эффекта мистер Сайкс сопровождал это предостережение грозным взглядом и продолжал:

– Насколько мне известно, нет никого, кто бы стал беспокоиться о твоей судьбе, если бы тебя прикончили. Стало быть, мне незачем столько трудиться и объяснять тебе суть дела, не желай я тебе добра. Слышишь?

– Короче говоря, – решительно вмешалась Нэнси, хмуро поглядывая на Оливера, чтобы тот обратил внимание на ее слова, – если Оливер тебя рассердит, когда ты примешься за работу, на которую ты идешь, ты прострелишь ему голову, чтобы он потом не болтал языком, хотя бы ты рисковал качаться из-за этого на виселице, ведь ремесло у тебя такое, что ты на этот риск идешь изза всякого пустяка каждый месяц в году.

– Правильно! – одобрил мистер Сайкс. – Женщины умеют объяснить все в двух словах, если только не начинают кипятиться, а уж тогда заводят волынку. Ну, теперь он ко всему подготовлен... Давай ужинать, а потом всхрапнем перед уходом.

Исполняя его приказание, Нэнси – быстро накрыла на стол; исчезнув на несколько минут, она вернулась с кувшином пива и блюдом с фаршированной бараньей головой, что дало возможность мистеру Сайксу отпустить несколько острот, основанных на странном совпадении слов: «джемми»³³ называлось и это кушанье и хитрый инструмент, весьма

³³ *Джемми* – так называют на воровском жаргоне складной лом, которым пользуются взломщики.

распространенный среди лиц его профессии. Достойный джентльмен, возбужденный, может быть, перспективой незамедлительно приступить к действию, был очень весел и находился в превосходном расположении духа; в доказательство этого можно здесь отметить, что он с удовольствием выпил залпом свое пиво и за ужином изрыгнул по приблизительному подсчету не больше восьмидесяти проклятий.

После ужина – нетрудно угадать, что у Оливера не было аппетита, – мистер Сайкс осушил два стакана виски с водой, бросился на кровать и приказал Нэнси разбудить его ровно в пять часов, изругав ее заранее в случае, если она этого не сделает. По команде того же авторитетного лица, Оливер улегся, не раздеваясь, на тюфяке, лежавшем на полу; а девушка, подбрасывая топливо, осталась у очага, готовая разбудить их в назначенный час.

Оливер долго не спал, надеясь, что Нэнси воспользуется этим случаем и шепотом даст еще какой-нибудь совет, но девушка в мрачном раздумье сидела у очага, не двигаясь и только время от времени снимала нагар со свечи. Измученный бдением и тревогой, он в конце концов заснул.

Когда он проснулся, стол был накрыт к чаю, а Сайкс рассовывал какие-то вещи по карманам своего пальто, висевшего на спинке стула. Нэнси суежилась, готовя завтрак. Еще не рассвело; горела свеча, и за окном было темно. Вдобавок колючие струи дождя ударили в оконные стекла, и небо было черным и облачным.

– Ну! – проворчал Сайкс, когда Оливер вскочил. – Половина шестого! Поторапливайся, не то останешься без завтрака. Мы и так уже опаздываем.

Оливер быстро покончил со своим туалетом; позавтракав наспех, он на сердитый вопрос Сайкса ответил, что совсем готов.

Нэнси, стараясь не смотреть на мальчика, бросила ему платок, чтобы он обвязал его вокруг шеи; Сайкс дал ему большой плащ из грубой материи и велел накинуть на себя и застегнуть. Одевшись, Оливер протянул руку грабителю, который приостановился, чтобы показать ему пистолет, хранившийся в боковом кармине пальто, зажал его руку в своей и затем, распрощавшись с Нэнси, увел его.

Когда они подошли к двери, Оливер оглянулся, надеясь встретиться глазами с девушкой. Но она снова уселась на прежнее место у очага и сидела не шевелясь.

Глава XXI

Экспедиция

Унылое было утро, когда они вышли на улицу: дул ветер, шел дождь, нависли хмурые грозные тучи. Дождь шел всю ночь – на мостовой стояли большие лужи, из желобов хлестала вода. Слабый свет загоравшегося дня только омрачал унылую картину; при бледном свете тускнели уличные фонари, и этот свет не окрашивал в более теплые и яркие тона мокрые крыши и темные улицы. В этой части города, казалось, никто еще не просыпался: во всех домах окна были закрыты ставнями, а улицы, по которым они проходили, были тихи и безлюдны.

Когда они свернули на Бетнел-Грин-роуд, уже совсем рассвело. Многие фонари были погашены. По направлению к Лондону медленно тащилось несколько деревенских повозок; изредка проносилась с грохотом почтовая карета, покрытая грязью, и кучер в виде предостережения угощал бичом неторопливого возчика, который ехал по той стороне дороги, вследствие чего кучеру грозила опасность подъехать к конторе на четверть минуты позже. Уже открылись трактиры, и в них горел газ. Начали открывать и лавки, и навстречу изредка попадались люди. Затем появились отдельными группами мастеровые, шедшие на работу. Потом мужчины и женщины с нагруженными рыбой корзинками на голове; повозки с овощами, запряженные ослами; повозки с живым скотом и тушами; молочницы с ведрами – нескончаемая вереница людей, несущих съестные припасы к восточным предместьям города. По мере приближения к Сити грохот экипажей усиливался; когда они проходили по улицам между Шордитч и Смитфилд, шум перешел в гул, началась суетолака. Стало совсем

светло – светлее уже не будет, – и для половины населения Лондона настало деловое утро.

Миновав Сан-стрит и Краун-стрит, пройдя Финсбери-сквер, мистер Сайкс вышел по Чизуел-стрит на Барбикен, потом на Лонг-лейн и затем в Смитфилд, откуда неслись такие оглушительные нестройные звуки, что Оливер Твист пришел в изумление.

Был базарный день. Ноги чуть ли не по самую щиколотку увязали в грязи; над дымящимися крупами быков и коров поднимался густой пар и, смешиваясь с туманом, казалось отдыхавшим на дымовых трубах, тяжелым облаком нависал над головой. Все загоны для скота в центре большой площади, а также временные загоны, которые уместились на свободном пространстве, были битком набиты овцами; вдоль желобов стояли привязанные к столбам в три-четыре длинных ряда быки и другой рогатый скот. Крестьяне, мясники, погонщики, разносчики, мальчишки, воры, зеваки и всякого рода бродяги смешались в толпу; свист погонщиков, лай собак, мычанье быков, бляенье овец, хрюканье и визг свиней, крики разносчиков, вопли, проклятья и ругательства со всех сторон; звон колокольчиков, гул голосов, вырывающийся из каждого трактира, толкотня, давка, драки, гиканье и вопли, визг, отвратительный вой, то и дело доносящийся со всех концов рынка, и немые, небритые, жалкие и грязные люди, мечущиеся туда и сюда, – все это производило ошеломляющее, одуряющее впечатление.

Мистер Сайкс, тащивший за собой Оливера, прокладывая себе локтями путь сквозь толпу и очень мало внимания обращал на все то, что поражало слух и зрение мальчика. Раза два или три он кивал проходившим мимо приятелям и, отклоняя предложение пропустить утреннюю рюмочку, упорно пробивался вперед, пока они не выбрались из толпы и не направились по Хоузер-лейн к Холборну.

– Ну, малый, – сказал Сайкс, бросив взгляд на часы Церкви Сент Эндрью, – скоро семь часов! Шагай быстрее! Еле ноги волочит, лентяй!

Произнеся эту речь, мистер Сайкс дернул за руку своего маленького спутника; Оливер по мере сил приноравливался к быстрым шагам взломщика; он пустился рысцой – это было нечто среднее между быстрой ходьбой и бегом.

Они не замедляли шага, пока не миновали угол Гайд-парка и не свернули к Кенсингтону; здесь Сайкс шел медленнее, пока их не нагнала пустая повозка, ехавшая некоторое время позади. Увидев на ней надпись «Хаунсло», он со всей вежливостью, на какую только был способен, спросил возницу, не согласится ли тот подвезти их до Айлуорта.

– Полезайте, – сказал возница. – Это ваш мальчуган?

– Мой, – отвечал Сайкс, пристально посмотрев на Оливера и небрежно сунув руку в карман, где лежал пистолет.

– Твой отец шагает, пожалуй, слишком быстро для тебя! Верно говорю, парнишка? – сказал возница, видя, что Оливер запыхался.

– Ничуть не бывало, – вмешался Сайкс. – Он к этому привык. Держись за мою руку, Нэд. Ну, полезай!

Обратившись с такими словами к Оливеру, он помог ему влезть в повозку, а возница, указав на груду мешков, предложил прилечь на них и отдохнуть.

Когда они проезжали мимо придорожных столбов, Оливер все больше и больше недоумевал, куда же спутник везет его. Кенсингтон, Хамерсмит, Чизуик, Кью-Бридж, Brentford остались позади, и тем не менее они подвигались вперед с таким упорством, как будто только что тронулись в путь. Наконец, они подъехали к трактиру, носившему название «Карета и Кони»; неподалеку от него начиналась другая дорога. Здесь повозка остановилась.

Сайкс поспешил выйти, не выпуская из своей руки руку Оливера; подняв его и опустив на землю, он бросил на него злобный взгляд и многозначительно похлопал кулаком по боковому карману.

– Прощай, мальчуган, – сказал возница.

– Он дуется, – отозвался Сайкс, встряхивая Оливера. – Дуется! Вот щенок! Не обращайтесь на него внимание.

– Стану я обращать на него внимание! – воскликнул тот, залезая в свою повозку. – А

погода нынче славная.

И он уехал. Сайкс подождал, пока он не отъехал на порядочное расстояние, потом, сказав Оливеру, что он может, если хочет, глядеть по сторонам, потащил его вперед.

Миновав трактир, он свернул налево, потом направо. Шли они долго – позади остались большие усадьбы с садами; задерживались они только для того, чтобы выпить пива, и, наконец, добрались до города, здесь на стене какого-то дома Оливер увидел надпись крупными буквами: «Хэмптон».

Несколько часов они слонялись по окрестным полям. Наконец, вернулись в город и, зайдя в старый трактир со стертой вывеской, заказали себе обед в кухне у очага.

Кухней служила затхлая комната с низким потолком, поперек которого тянулась толстая балка, а перед очагом стояли скамьи с высокими спинками, и на них сидели грубоватые на вид люди в рабочих блузах. Они не обратили никакого внимания на Оливера и очень мало – на Сайкса; а так как Сайкс очень мало внимания обратил на них, то он со своим юным спутником сидел в углу, нисколько не стесняемый их присутствием.

На обед они получили холодное мясо, а после обеда сидели очень долго, пока мистер Сайкс услаждал себя тремя-четырьмя трубками. И теперь Оливер почти не сомневался в том, что дальше они не пойдут. Очень устав от ходьбы, после раннего пробуждения, он начал дремать; потом от усталости и табачного дыма заснул.

Было совсем темно, когда его разбудил толчок Сайкса. Он преодолел сонливость, сел, осмотрелся и обнаружил, что сей достойный джентльмен завязал за пинтой пива приятельские отношения с каким-то рабочим.

– Значит, вы едете в Лоуэр-Халифорд? – спросил Сайкс.

– Да, – подтвердил парень, который как будто чувствовал себя немного хуже, а быть может, и лучше – после выпивки, – и поеду очень скоро. Моя лошадь дойдет порожняком – не то что сегодня утром, и пойдет она быстро. Выпьем за ее здоровье! Ура! Это славная лошадка!

– Не подвезете ли вы меня и моего мальчика? – спросил Сайкс, придвигая пиво своему новому приятелю.

– Ну что ж, подвезу, если вы готовы сейчас же тронуться с места, – отозвался парень, выглядывая из-за кружки. – Вы едете в Халифорд?

– В Шепертон, – ответил Сайкс.

– Подвезу... – повторил тот. – Все уплачено, Беки?

– Да, вот этот джентльмен заплатил, – сказала девушка.

– Э, нет! – воскликнул парень с важностью захмелевшего человека. – Так, знаете ли, не годится.

– Почему? – возразил Сайкс. – Вы нам оказываете услугу, вот я и хочу угостить вас пинтой-другой.

Новый знакомый с весьма глубокомысленным видом призадумался над этим доводом, потом схватил руку Сайкса и заявил, что он славный малый. На это мистер Сайкс ответил, что тот шутит; и, будь парень трезв, у него были бы серьезные основания для такого предположения.

Обменявшись еще несколькими любезностями, они пожелали доброй ночи остальной компании и вышли; служанка забрала кувшины и стаканы и, держа их в руках, подошла к двери посмотреть на отъезжающих.

Лошадь, за чье здоровье пили в ее отсутствие, стояла перед домом, уже запряженная в повозку. Оливер и Сайкс уселись без дальнейших церемоний, а владелец лошади на минутку замешкался, чтобы подбодрить ее и объявить конюху и всему миру, что нет ей равной. Затем конюху было приказано отпустить лошадь, и, когда это было сделано, лошадь повела себя весьма глупо: мотала головой с величайшим презрением, сунула ее в окно домика на другой стороне улицы и, совершив эти подвиги, поднялась на дыбы, после чего ретиво пустилась во всю прыть и с грохотом вылетела из города.

Вечер был очень темный. Промозглый туман поднимался от реки и от ближних болот,

клубился над печальными полями. Холод пронизывал. Все было мрачно и черно. Никто не проронил ни слова: возницу клонило в сон, а Сайкс не был расположен заводить с ним разговор. Оливер, съездившись, забился в угол повозки, испуганный и терзаемый недобрыми предчувствиями: ему чудились странные существа вместо чахлах деревьев, ветки которых угрюмо покачивались, словно в упоении от унылого пейзажа.

Когда они проезжали мимо церкви Санбери, пробило семь часов. Напротив, в доме перевозчика, одно окно было освещено, и луч света падал на дорогу, отчего тисовое дерево, осенявшее могилы, казалось, окутывал более густой мрак. Где-то неподалеку слышался глухой шум низвергающейся воды, а листья старого дерева тихо шелестели на ветру. Это походило на тихую музыку, дарующую покой умершим.

Санбери остался позади, и снова они выехали на безлюдную дорогу. Еще две-три мили – и повозка остановилась. Сайкс вылез, взял за руку Оливера, и они опять побрели дальше.

В Шепертоне они ни в один дом не заходили, вопреки надежде усталого мальчика, и по-прежнему шли по грязи и в темноте унылыми проселочными дорогами и пересекали холодные, открытые ветрам пустоши, пока невдалеке не показались огни города. Пристально всматриваясь, Оливер увидел у своих ног воду и понял, что они подходят к мосту.

Сайкс шел, не сворачивая в сторону, до самого моста, Затем внезапно повернул налево, к берегу. «Там вода! – подумал Оливер, замирая от страха. – Он привел меня в это безлюдное место, чтобы убить».

Он хотел упасть на землю, пытаясь спасти свою юную жизнь, как вдруг увидел, что они подошли к какому-то полуразрушенному, заброшенному дому. По обе стороны подгнившего крыльца было по окну; выше – еще один этаж, но нигде не видно было света.

Дом был темный, обветшалый и, по-видимому, необитаемый.

Сайкс, все еще не выпуская руку Оливера из своей, подошел потихоньку к невысокому крыльцу и поднял щеколду. Дверь поддалась его толчку, и они вошли.

Глава XXII

Кража со взломом

– Эй! – раздался громкий, хриплый голос, как только они вошли в коридор.

– Нечего орать, – отозвался Сайкс, запирая дверь. – Посветите нам, Тоби.

– Эге! Да это мой приятель! – крикнул тот же голос. – Свету, Барни, свету! Впусти джентльмена... А прежде всего не угодно ли вам будет проснуться?

По-видимому, оратор швырнул сначала рожок для надевания башмаков или что-нибудь в этом роде в особу, к которой обращался, чтобы пробудить ее ото сна, потому что слышно было, как с грохотом упала какая-то деревянная вещь, а затем послышалось невнятное бормотанье человека, находящегося между сном и бодрствованием.

– Слышишь ты или нет? – продолжал тот же голос. – В коридоре Билл Сайкс, и никто его не встречает, а ты дрыхнешь, как будто принял опиум за обедом. Ну что, очухался, или, может быть, запустить в тебя железным подсвечником, чтобы ты окончательно проснулся?

Как только был задан этот вопрос, по голому полу быстро зашлепали стоптанные туфли, и из двери направо появились – сначала тускло горевшая свеча, а затем фигура того самого субъекта, который уже был описан, – гнусавого слуги из трактира на Сафрен-Хилле.

– Мистер Сайкс! – воскликнул Барни с искренней или притворной радостью. – Пожалуйте, сэр, пожалуйста!

– Ну, входи первым, – сказал Сайкс, подталкивая Оливера. – Живее, не то наступлю тебе на пятки.

Ругая его за медлительность. Сайкс толкнул Оливера, и они очутились в низкой темной комнате, где был закопченный камин, два-три поломанных стула, стол и очень старый диван, на котором, задрав ноги выше головы, лежал, растянувшись во весь рост, мужчина, куривший длинную глиняную трубку. На нем был модного покроя сюртук табачного цвета с большими бронзовыми пуговицами, оранжевый галстук, грубый, бросающийся в глаза

пестрый жилет и короткие темные штаны. Мистер Крекит (ибо это был он) не имел чрезмерного количества волос ни на голове, ни на лице, а те, какие у него были, отличались красноватым оттенком и были закручены в длинные локоны наподобие пробочника, в которые он то и дело засовывал свои грязные пальцы, украшенные большими дешевыми перстнями. Он был немного выше среднего роста и, по-видимому, слаб на ноги, но это обстоятельство ничуть не мешало ему восхищаться собственными, задранными вверх, высокими сапогами, которые он созерцал с живейшим удовольствием.

– Билл, приятель! – сказал субъект, повернув голову к двери. – Рад вас видеть. Я уже начал побаиваться, не отказались ли вы от нашего дельца, тогда бы я пошел на свой страх и риск. Ох!

Испустив этот возглас, выразивший величайшее изумление при виде Оливера, мистер Тоби Крекит принял сидячее положение и пожелал узнать, что это такое.

– Мальчишка, всего-навсего мальчишка, – ответил Сайкс, придвигая стул к камину.

– Один из питомцев мистера Феджина, – ухмыляясь, подхватил Барни.

– Ах, Феджина! – воскликнул Тоби, разглядывая Оливера. – Ну и редкостный мальчишка – такому ничего не стоит очистить карманы у всех старых леди в церкви! Этот тихоня составит Феджину целое состояние!

– Ну-ну, довольно! – нетерпеливо перебил Сайкс и, наклонившись к своему приятелю, шепнул ему на ухо несколько слов, после чего мистер Крекит неудержимо расхохотался и удостоил Оливера пристальным и изумленным взглядом.

– А теперь, – сказал Сайкс, усевшись на прежнее место, – дайте нам, пока мы тут ждем, чего-нибудь поесть и выпить, это нас подбодрит – меня во всяком случае. Подсаживайся к камину, малыш, и отдыхай – ночью тебе еще придется пройтись, хоть не так уж далеко.

Оливер посмотрел на Сайкса робко и с немым изумлением; потом, придвинув табурет к огню, сел, опустив голову на руки – она у него болела, – вряд ли сознавая, где он находится и что вокруг него творится.

– Ну, – сказал Тоби, когда молодой еврей принес еду и поставил на стол бутылку. – За успех дельца!

Провозгласив этот тост, он встал, заботливо положил в угол пустую трубку и, подойдя к столу, наполнил стаканчик водкой и выпил. Мистер Сайкс последовал его примеру.

– Нужно дать капельку мальчишке, – сказал Тоби, налив рюмку до половины. – Выпей залпом, невинное создание.

– Право же, – начал Оливер, жалобно подняв на него глаза, – право же, я...

– Выпей залпом, – повторил Тоби. – Думаешь, я не знаю, что пойдет тебе на пользу?..

Прикажете ему пить, Билл.

– Пусть лучше выпьет! – сказал Сайкс, хлопывая рукой по карману. – Провалиться мне в пекло, с ним больше хлопот, чем с целым семейством Плуттов! Пей, чертенок, пей!

Испуганный угрожающими жестами обоих мужчин, Оливер поспешил залпом выпить рюмку и тотчас же сильно закашлялся, что привело в восхищение Тоби Крекита и Барии и даже вызвало улыбку у мрачного мистера Сайкса.

Когда с этим было покончено, а Сайкс утолил голод (Оливера с трудом заставили проглотить корочку хлеба), двое мужчин улеглись на стульях, чтобы немножко вздремнуть. Оливер остался на своем табурете у камина; Барни, завернувшись в одеяло, растянулся на полу, перед самой каминной решеткой.

Некоторое время они спали или казались спящими; никто не шевельнулся, кроме Барни, который раза два вставал, чтобы подбросить углей в камин. Оливер погрузился в тяжелую дремоту; ему чудилось, будто он бредет по мрачным проселочным дорогам, блуждает по темному кладбищу, вновь видит картины, мелькавшие перед ним в течение дня, как вдруг его разбудил Тоби Крекит, который вскочил и объявил, что уже половина второго.

Через секунду другие двое были на ногах, и все деятельно занялись приготовлениями. Сайкс и его приятель закутали шеи и подбородки широкими темными шарфами и надели пальто; Барни, открыв шкаф, достал оттуда различные инструменты и торопливо рассовал их

по карманам.

– Подай мне собак, Барни, – сказал Тоби Крекит.

– Вот они, – отозвался Барни, протягивая пару пистолетов. – Вы сами их зарядили.

– Ладно! – пряча их, сказал Тоби. – А где напильники?

– У меня, – ответил Сайкс.

– Клещи, отмычки, коловороты, фонари – ничего не забыли? – спрашивал Тоби, прикрепляя небольшой лом к петле под полый своего пальто.

– Все в порядке, – ответил его товарищ. – Тащи дубинки, Барни. Пора идти.

С этими словами он взял толстую палку из рук Барни, который, вручив другую палку Тоби, принялся застегивать плащ Оливера.

– Ну-ка, – сказал Сайкс, протягивая руку.

Оливер, совершенно одурманенный непривычной прогулкой, свежим воздухом и водкой, которую его заставили выпить, машинально вложил руку в протянутую руку Сайкса.

– Бери его за другую, Тоби, – сказал Сайкс. – Выгляни-ка наружу, Барни.

Тот направился к двери и, вернувшись, доложил, что все спокойно. Двое грабителей вышли вместе с Оливером. Барни, хорошенько заперев дверь, снова завернулся в одеяло и заснул.

Была непроглядная тьма. Туман стал еще гуще, чем в начале ночи, а воздух был до такой степени насыщен влагой, что, хотя дождя и не было, спустя несколько минут после выхода из дома у Оливера волосы и брови стали влажными. Они прошли мостом и двинулись по направлению к огонькам, которые Оливер уже видел раньше. Расстояние было небольшое, а так как они шли быстро, то вскоре и достигли Чертей.

– Махнем через город, – прошептал Сайкс. – Ночью нам никто не попадет на пути.

Тоби согласился, и они быстро зашагали по главной улице маленького городка, совершенно безлюдной в этот поздний час. Кое-где в окне какой-нибудь спальни мерцал тусклый свет; изредка хриплый лай собаки нарушал тишину ночи. Но на улице не было никого. Они вышли за город, когда церковные часы пробили два.

Ускорив шаги, они свернули влево, на дорогу. Пройдя примерно четверть мили, они подошли к одиноко стоявшему дому, обнесенному стеной, на которую Тоби Крекит, даже не успев отдышаться, вскарабкался в одно мгновение.

– Теперь давайте мальчишку, – сказал Тоби. – Поднимите его; я его подхвачу.

Оливер оглянуться не успел, как Сайкс подхватил его под мышки, и через три-четыре секунды он и Тоби лежали на траве по ту сторону стены. Сайкс не замедлил присоединиться к ним. И они крадучись направились к дому.

И тут только Оливер, едва не лишившийся рассудка от страха и отчаяния, понял, что целью этой экспедиции был грабеж, если не убийство. Он сжал руки и, не удержавшись, глухо вскрикнул от ужаса. В глазах у него потемнело, холодный пот выступил на побледневшем лице, ноги отказались служить, и он упал на колени.

– Вставай! – прошипел Сайкс, дрожа от бешенства и вытаскивая из кармана пистолет. – Вставай, не то я тебе размозжу башку.

– Ох, ради бога, отпустите меня! – воскликнул Оливер. – Я убегу и умру где-нибудь там, в полях. Я никогда не подойду близко к Лондону, никогда, никогда! О, пожалейте меня, не заставляйте воровать! Ради всех светлых ангелов небесных, сжальтесь надо мной!

Человек, к которому он обращался с этой мольбой, изрыгнул отвратительное ругательство и взвел курок пистолета, но Тоби, выбив у него из рук пистолет, зажал мальчику рот рукой и потащил его к дому.

– Тише! – зашептал он. – Здесь это ничему не поможет. Еще словечко, и я сам с тобой расправлюсь – хлопну тебя по голове. Шуму никакого не будет, а дело надежное, и все по-благородному. Ну-ка, Билл, взломайте этот ставень. Ручаюсь, что мальчик теперь подбодрился. В такую холодную ночь людям и постарше его в первую минуту случалось сплеховать – сам видел.

Сайкс, призывая грозные проклятья на голову Феджина, пославшего на такое дело

Оливера, решительно, но стараясь не шуметь, пустил в ход лом. Спустя немного ему удалось с помощью Тоби открыть ставень, державшийся на петлях.

Это было маленькое оконце с частым переплетом, находившееся в пяти с половиной футах от земли, в задней половине дома, – оконце в комнате для мытья посуды или для варки пива, и конце коридора. Отверстие было такое маленькое, что обитатели дома, должно быть, не считали нужным закрыть его ненадежней; однако оно было достаточно велико, чтобы в него мог пролезть мальчик ростом с Оливера. Повозившись еще немного, мистер Сайкс справился с задвижками; вскоре окно распахнулось настежь.

– Слушай теперь, чертенок! – прошипел Сайкс, вытаскивая из кармана потайной фонарь и направляя луч света прямо в лицо Оливера. – Я тебя просуну в это окно. Ты возьмешь этот фонарь, поднимешься тихонько по лестнице – она как раз перед тобой, – пройдешь через маленькую переднюю к входной двери, отпнешь ее ипустишь нас.

– Там наверху есть засов, тебе до него не дотянуться, – вмешался Тоби. – Влезь на стул в передней... Там три стула, Билл, а на спинках большущий синий единорог и золотые вилы, это герб старой леди.

– Помалкивай! – перебил Сайкс, бросив на него грозный взгляд. – Дверь в комнаты открыта?

– Настежь, – ответил Тоби, предварительно заглянув в окно. – Потеха! Они всегда оставляют ее открытой, чтобы собака, у которой здесь подстилка, могла прогуляться по коридору, когда ей не спится. Ха-ха-ха! А Барни сманил ее сегодня вечером. Вот здорово!

Хотя мистер Крекит говорил чуть слышным шепотом и смеялся беззвучно, однако Сайкс властно приказал ему замолчать и приступить к делу. Тоби повиновался: сначала достал из кармана фонарь и поставил его на землю, затем крепко уперся головой в стену под окном, а руками в колени, так, чтобы спина его служила ступенькой. Когда Это было сделано. Сайкс, взобравшись на него, осторожно просунул Оливера в окно, ногами вперед, и, придерживая его за шиворот, благополучно опустил на пол.

– Бери этот фонарь, – сказал Сайкс, заглядывая в комнату. – Видишь перед собой лестницу?

Оливер, ни жив ни мертв, прошептал: «Да». Сайкс указывая пистолетом на входную дверь, лаконически посоветовал ему принять к сведению, что он все время будет находиться под прицелом и если замешкается, то в ту же секунду будет убит.

– Все должно быть сделано в одну минуту, – продолжал Сайкс чуть слышно. – Как только я тебя отпущу, принимайся за дело. Эй, что это?

– Что там такое? – прошептал его товарищ.

Оба напряженно прислушались.

– Ничего! – сказал Сайкс, отпуская Оливера. – Ну!

В тот короткий промежуток времени, когда мальчик мог собраться с мыслями, он твердо решил – хотя бы эта попытка и стоила ему жизни – взбежать по лестнице, ведущей из передней, и поднять тревогу в доме. Приняв такое решение, он тотчас же крадучись двинулся к двери.

– Назад! – закричал вдруг Сайкс. – Назад! Назад!

Когда мертвая тишина, царившая в доме, была нарушена громким криком, Оливер в испуге уронил фонарь и не знал, идти ли ему вперед, или бежать!

Снова раздался крик – блеснул свет; перед его глазами появились на верхней ступеньке лестницы два перепуганных полуодетых человека. Яркая вспышка, оглушительный шум, дым, треск неизвестно откуда, – и Оливер отшатнулся назад.

Сайкс на мгновение исчез, но затем показался снова и схватил его за шиворот, прежде чем рассеялся дым. Он выстрелил из своего пистолета вслед людям, которые уже кинулись назад, и потащил мальчика вверх.

– Держись, крепче, – прошептал Сайкс, протаскивая его в окно. – Эй, дай мне шарф. Они попали в него. Живее! Мальчишка истекает кровью.

Потом Оливер услышал звон колокольчика, выстрелы, крики и почувствовал, что

кто-то уносит его, быстро шагая по неровной почве. А потом шум замер вдалеке, смертельный холод сковал ему сердце. И больше он ничего не видел и не слышал.

Глава XXIII

которая рассказывает о приятной беседе между мистером Бамблом и некоей леди и убеждает в том, что в иных случаях даже бидл бывает не лишен чувствительности

Вечером был лютый холод. Снег, лежавший на земле, покрылся твердой ледяной коркой, и только на сугробы по проселкам и закоулкам налетал резкий, воющий ветер, который словно удваивал бешенство при виде добычи, какая ему попадалась, взметал снег мглистым облаком, кружил его и рассыпал в воздухе. Суровый, темный, холодный был вечер, заставивший тех, кто сыт и у кого есть теплый у гол, собраться у камина и благодарить бога за то, что они у себя дома, а бездомных, умирающих с голоду бедняков – лечь на землю и умереть. В такой вечер многие измученные голодом отщепенцы смыкают глаза на наших безлюдных улицах, и – каковы бы ни были их преступления – вряд ли они откроют их в более жестком мире.

Так обстояло дело под открытым небом, когда миссис Корни, надзирательница работного дома, с которым наши читатели уже знакомы как с местом рождения Оливера Твиста, уселась перед веселым огоньком в своей собственной маленькой комнатке и не без самодовольства бросила взгляд на небольшой круглый столик, на котором стоял соответствующих размеров поднос со всеми принадлежностями, необходимыми для наилучшего ужина, какой только может пожелать надзирательница. Миссис Корни хотела побаловать себя чашкой чая. Когда она перевела взгляд со стола на камин, где самый маленький из всех существующих чайников затянул тихим голосом тихую песенку, чувство внутреннего удовлетворения у миссис Корни до того усилилось, что она улыбнулась.

– Ну что ж! – сказала надзирательница, облокотившись на стол и задумчиво глядя на огонь, – Право же, каждому из нас дано очень много, и нам есть за что быть благодарными. Очень много, только мы этого не понимаем. Увы!

Миссис Корни скорбно покачала головой, словно оплакивая духовную слепоту тех бедняков, которые этого не понимают, и, погрузив серебряную ложечку (личная собственность) в недра металлической чайницы, вмещающей две-три унции, принялась заваривать чай.

Как мало нужно, чтобы нарушить спокойствие нашего слабого духа. Пока миссис Корни занималась рассуждениями, вода в черном чайнике, который был очень маленьким, так что ничего не стоило наполнить его доверху, перелилась через край и слегка ошпарила руку миссис Корни.

– Ах, будь ты проклят! – воскликнула почтенная надзирательница, с большой поспешностью поставив чайник на камин. – Дурацкая штука! Вмещает всего-навсего две чашки! Ну кому от нее может быть прок?.. Разве что, – призадумавшись, добавила миссис Корни, – разве что такому бедному, одинокому созданию, как я! Ах, боже мой!

С этими словами надзирательница упала в кресло и, снова облокотившись на стол, задумалась об одинокой своей судьбе. Маленький чайник и одна-единственная чашка пробудили печальные воспоминания о мистере Корни (который умер всего-навсего двадцать пять лет назад), и это подействовало на нее угнетающе.

– Больше никогда не будет у меня такого! – досадливо сказала миссис Корни. – Больше никогда не будет у меня такого, как он!

Неизвестно, к кому относилось это замечание: к мужу или к чайнику. Быть может, к последнему, ибо, произнося эти слова, миссис Корни смотрела на него, а затем сняла его с огня. Она только отведала первую чашку, как вдруг ее потревожил тихий стук в дверь.

– Ну, входите! – резко сказала миссис Корни. – Должно быть, какая-нибудь старуха собралась помирать. Они всегда помирают, когда я вздумаю закусить. Не стойте там, не

напускайте холодного воздуха. Ну, что там еще случилось?

– Ничего, сударыня, ничего, – ответил мужской голос.

– Ах, боже мой! – воскликнула надзирательница значительно более мягким голосом. – Неужели это мистер Бамбл?

– К вашим услугам, сударыня, – произнес мистер Бамбл, который задержался было в дверях, чтобы соскоблить грязь с башмаков и отряхнуть снег с пальто, а затем вошел, держа в одной руке шляпу, а в другой узелок. – Не прикажете ли, сударыня, закрыть дверь?

Леди из целомудрия не решалась дать ответ, опасаясь, пристойно ли будет иметь свидание с мистером Бамблом при закрытых дверях. Мистер Бамбл, воспользовавшись ее замешательством, а к тому же и озябнув, закрыл дверь, не дожидаясь разрешения.

– Ненастная погода, мистер Бамбл, – сказала надзирательница.

– Да, сударыня, ненастье, – отозвался бидл. – Такая погода во вред приходу, сударыня. Сегодня после полудня, миссис Корни, мы раздали двадцать четырехфунтовых хлебов и полторы головки сыра, а эти бедняки все еще недовольны.

– Ну конечно. Когда же они бывают довольны, мистер Бамбл? – сказала надзирательница, попивая чай.

– Совершенно верно, сударыня, когда? – подхватил мистер Бамбл. – Тут одному человеку, ради его жены и большого семейства, дали четырехфунтовый хлеб и добрый фунт сыру, без обвеса. А как вы думаете, почувствовал он благодарность, сударыня, настоящую благодарность? Ни на один медный фартинг! Как вы думаете, что он сделал, сударыня? Стал просить угля – хотя бы немножко, в носовой платок, сказал он! Угля! А что ему с ним делать? Поджаривать сыр, а потом прийти и просить еще. Вот какие навыки у этих людей, сударыня: навали ему сегодня угля полон передник, он, бессовестный, послезавтра опять придет выпрашивать.

Надзирательница выразила полное одобрение этому образному суждению, и бидл продолжал свою речь.

– Я и не представлял себе, до чего это может дойти, – сказал мистер Бамбл. – Третьего дня – вы были замужем, сударыня, и я могу это рассказать вам, – третьего дня какой-то субъект, у которого спина едва прикрыта лохмотьями (тут миссис Корни потупилась), приходит к дверям нашего смотрителя, когда у того гостя собрались на обед, и говорит, что нуждается в помощи, миссис Корни. Так как он не хотел уходить и произвел на гостей ужасающее впечатление, то смотритель выслал ему фунт картофеля и полпинты овсяной муки. «Ах, бог мой! – говорит неблагодарный негодяй. – Что толку мне от этого? С таким же успехом вы могли бы дать мне очки в железной оправе!» – «Отлично, – говорит наш смотритель, отбирая у него подаяние, – больше ничего вы здесь не получите». – «Ну, значит, я умру где-нибудь на улице!» – говорит бродяга. «Нет, не умрешь», – говорит наш смотритель...

– Ха-ха-ха! Чудесно! Как это похоже на мистера Граната, правда? – перебила надзирательница. – Дальше, мистер Бамбл!

– Так вот, сударыня, – продолжал бидл, – он ушел и так-таки и умер на улице. Вот упрямый нищий!

– Никогда бы я этому не поверила! – решительно заметила надзирательница. – Но не думаете ли вы, мистер Бамбл, что оказывать помощь людям с улицы – дурное дело? Вы – джентльмен, умудренный опытом, и должны это знать. Как вы полагаете?

– Миссис Корни, – сказал бидл, улыбаясь, как улыбаются люди, сознающие, что они хорошо осведомлены, – оказывать помощь таким людям – при соблюдении надлежащего порядка, надлежащего порядка, сударыня! – Это спасение для прихода. Первое правило, когда оказываешь помощь, заключается в том, чтобы давать беднякам как раз то, что им не нужно... А тогда им скоро надоест приходить.

– Ах, боже мой! – воскликнула миссис Корни. – Как это умно придумано!

– Еще бы! Между нами говоря, сударыня, – отозвался мистер Бамбл, – это правило весьма важное: если вы заинтересуетесь теми случаями, какие попадают в эти дерзкие

газеты, вы не преминете заметить, что нуждающиеся семейства получают вспомоществование в виде кусочков сыру. Такой порядок, миссис Корни, установлен ныне по всей стране. Впрочем, – добавил бидл, развязывая свой узелок, – это служебные тайны, сударыня, – о них толковать не полагается никому, за исключением, сказал бы я, приходских чиновников, вроде нас с вами... А вот портвейн, сударыня, который приходский совет заказал для больницы: свежий, настоящий портвейн, без обмана, только сегодня из бочки; чистый, как стеклышко, и никакого осадка!

Посмотрев одну из бутылок на свет и хорошенько взболтав ее, чтобы убедиться в превосходном качестве вина, мистер Бамбл поставил обе бутылки на комод, сложил носовой платок, в который они были завернуты, заботливо сунул его в карман и взялся за шляпу с таким видом, будто собирался уйти.

– Придется вам идти по морозу, мистер Бамбл, – заметила надзирательница.

– Жестокий ветер, сударыня, – отозвался мистер Бамбл, поднимая воротник шинели. – Того гляди, оторвет уши.

Надзирательница перевела взгляд с маленького чайника на бидла, направившегося к двери, и, когда бидл кашлянул, собираясь пожелать ей спокойной ночи, она застенчиво осведомилась, не угодно ли... не угодно ли ему выпить чашку чаю?

Мистер Бамбл немедленно опустил воротник, положил шляпу и трость на стул, а другой стул придвинул к столу. Медленно усаживаясь на свое место, он бросил взгляд на леди. Та устремила взор на маленький чайник. Мистер Бамбл снова кашлянул и слегка улыбнулся.

Миссис Корни встала, чтобы достать из шкафа вторую чашку и блюдце. Когда она уселась, глаза ее снова встретились с глазами галантного бидла; она покраснела и принялась наливать ему чай. Снова мистер Бамбл кашлянул – на этот раз громче, чем раньше.

– Послаще, мистер Бамбл? – спросила надзирательница, взяв сахарницу.

– Если позволите, послаще, сударыня, – ответил мистер Бамбл. При этом он устремил взгляд на миссис Корни; и если бидл может быть нежен, то таким бидлом был в тот момент мистер Бамбл.

Чай был налит и подан молча. Мистер Бамбл, расстелив на коленях носовой платок, чтобы крошки не запачкали его великолепных коротких штанов, приступил к еде и питью, время от времени прерывая это приятное занятие глубокими вздохами, которые, однако, отнюдь не служили в ущерб его аппетиту, а напротив, помогали ему управляться с чаем и гренками.

– Вижу, сударыня, что у вас есть кошка, – сказал мистер Бамбл, глядя на кошку, которая грелась у камина, окруженная своим семейством. – Да вдобавок еще котят!

– Ах, как я их люблю, мистер Бамбл, вы и представить себе не можете! – отозвалась надзирательница. – Такие веселые, такие шаловливые, такие беззаботные, право же, они составляют мне компанию!

– Славные животные, сударыня, – одобрительно заметил мистер Бамбл. – Такие домашние...

– О да! – восторженно воскликнула надзирательница. – Они так привязаны к своему дому. Право же, это истинное наслаждение.

– Миссис Корни, – медленно произнес мистер Бамбл, отбивая такт чайной ложкой, – вот что, сударыня, намерен я вам сказать: если кошки или котят живут с вами, сударыня, и не привязаны к своему дому, то, стало быть, они ослы, сударыня.

– Ах, мистер Бамбл! – воскликнула миссис Корни.

– Зачем скрывать истину, сударыня! – продолжал мистер Бамбл, медленно помахивая чайной ложкой с видом влюбленным и внушительным, что производило особенно сильное впечатление. – Я бы с удовольствием собственными руками утопил такую кошку.

– Значит, вы злой человек! – с живостью подхватила надзирательница, протягивая руку за чашкой бидла. – И вдобавок жестокосердный!

– Жестокосердный, сударыня? – повторил мистер Бамбл. – Жестокосердный?

Мистер Бамбл без лишних слов отдал свою чашку миссис Корни, сжал при этом ее мизинец и, дважды хлопнув себя ладонью по обшитою галуном жилету, испустил глубокий вздох и чуть-чуть отодвинул свой стул от камина.

Стол был круглый; а так как миссис Корни и мистер Бамбл сидели друг против друга на небольшом расстоянии, лицом к огню, то ясно, что мистер Бамбл, отодвигаясь от огня, но по-прежнему сидя за столом, увеличивал расстояние, отделявшее его от миссис Корни; к такому поступку иные благоразумные читатели несомненно отнесутся с восторгом и будут почитать его актом величайшего героизма со стороны мистера Бамбла; время, место и благоприятные обстоятельства до известной степени побуждали его произнести те нежные и любезные словечки, которые – как бы ни приличествовали они устам людей легкомысленных и беззаботных – кажутся ниже достоинства судей сей страны, членов парламента, министров, лорд-мэров и прочих великих общественных деятелей, а тем более не подобает столь великому и солидному человеку, как бидл, который (как хорошо известно) долженствует быть самым суровым и самым непоколебимым из всех этих людей.

Однако, каковы бы ни были намерения мистера Бамбла (а они несомненно были наилучшими), к несчастью, случилось так, что стол – о чем уже упомянуто дважды – был круглый, вследствие этого мистер Бамбл, помаленьку передвигая свой стул, вскоре начал уменьшать расстояние, отделявшее его от надзирательницы, и, продолжая путешествие по кругу, придвинул, наконец, свой стул к тому, на котором сидела надзирательница. В самом деле, оба стула соприкоснулись, а когда это произошло, Мистер Бамбл остановился.

Если бы надзирательница подвинула теперь свой стул вправо, ее неминуемо опалило бы огнем, а если бы подвинула влево, то упала бы в объятия мистера Бамбла; итак (будучи скромной надзирательницей и несомненно предусмотрев сразу эти последствия), она осталась сидеть на своем месте и протянула мистеру Бамблу вторую чашку чаю.

– Жестокосердный, миссис Корни? – повторил мистер Бамбл, помешивая чай и заглядывая в лицо надзирательнице. – А вы не жестокосердны, миссис Корни?

– Ах, боже мой! – воскликнула надзирательница. – Странно слышать такой вопрос от холостяка! Зачем вам это понадобилось знать, мистер Бамбл?

Бидл выпил чай до последней капли, доел гренки, смахнул крошки с колен, вытер губы и преспокойно поцеловал надзирательницу.

– Мистер Бамбл! – шепотом воскликнула сия целомудренная леди, ибо испуг был так велик, что она лишилась голоса. – Мистер Бамбл, я закричу!

Вместо ответа мистер Бамбл не спеша, с достоинством обвил рукой талию надзирательницы.

Раз сия леди выразила намерение закричать, то, конечно, она бы и закричала при этом новом дерзком поступке, если бы торопливый стук в дверь не сделал это излишним: как только раздался стук, мистер Бамбл с большим проворством ринулся к винным бутылкам и с рвением принялся смахивать с них пыль, а надзирательница суровым тоном спросила, кто стучит. Следует отметить любопытный факт: удивление оказало такое действие на крайний ее испуг, что голос вновь обрел всю свою официальную жесткость.

– Простите, миссис, – сказала высохшая старая нищенка, на редкость безобразная, просовывая голову в дверь, – старуха Салли отходит.

– Ну, а мне какое до этого дело? – сердито спросила надзирательница. – Ведь я же не могу ее оживить.

– Конечно, конечно, миссис, – ответила старуха, – Это никому не под силу; ей уже нельзя помочь. Много раз я видела, как помирают люди – и младенцы и крепкие, сильные люди, – и уж мне ли не знать, когда приходит смерть! Но у нее что-то тяжелое на душе, и, когда боли ее отпускают – а это бывает редко, потому что помирает она в муках, – она говорит, что ей нужно что-то вам сказать. Она не помрет спокойно, пока вы не придете, миссис.

Выслушав это сообщение, достойная миссис Корни вполголоса осыпала всевозможными ругательствами тех старух, которые даже и умереть не могут, чтобы

умышленно не досадить лицам, выше их стоящим. Быстро схватив теплую шаль и завернувшись в нее, она, не тратя лишних слов, попросила мистера Бамбла подождать ее возвращения на тот случай, если произойдет что-нибудь из ряда вон выходящее. Приказав посланной за ней старухе идти быстро, а не карабкаться всю ночь по лестнице, она вышла вслед за ней из комнаты с очень суровым видом и всю дорогу ругалась.

Поведение мистера Бамбла, предоставленного самому себе, в сущности не поддается объяснению. Он открыл шкаф, пересчитал чайные ложки, взвесил на руке щипцы для сахара, внимательно осмотрел серебряный молочник и, удовлетворив этим свое любопытство, надел треуголку набекрень и весьма солидно пустился в пляс, четыре раза обойдя вокруг стола. Покончив с этим изумительным занятием, он снова снял треуголку и, расположившись перед камином, спиной к огню, казалось, принялся мысленно составлять точную опись обстановки.

Глава XXIV

трактует о весьма ничтожном предмете. Но это короткая глава, и она может оказаться не лишней в этом повествовании

Особа, нарушившая покой в комнате надзирательницы, была подобающей вестницей смерти. Преклонные годы согнули ее тело, руки и ноги дрожали, лицо, искаженное бессмысленной гримасой, скорее походило на чудовищную маску, начертанную карандашом сумасшедшего, чем на создание Природы.

Увы! Как мало остается лиц, сотворенных Природой, которые не меняются и радуют нас своей красотой! Мирские заботы, скорби и лишения изменяют их так же, как изменяют сердца; и только тогда, когда страсти засыпают и навеки теряют свою власть, рассеиваются взбаламученные облака и проясняется небесная твердь. Нередко бывает так, что лица умерших, даже напряженные и окоченевшие, принимают давно забытое выражение, словно у спящего ребенка, напоминая младенческий лик; такими мирными, такими безмятежными становятся снова эти люди, что те, кто знал их в пору счастливого детства, преклоняют колени у гроба и видят ангела, сошедшего на Землю.

Старая карга ковыляла по коридорам и поднималась по лестницам, невнятно бормоча что-то в ответ на ругань своей спутницы; наконец, приостановившись, чтобы отдышаться, она передала ей в руки свечу и последовала за ней, стараясь не отставать от своей куда более проворной начальницы, направлявшейся в комнату больной.

Это была жалкая каморка на чердаке. В дальнем ее углу горел тусклый свет. У постели сидела другая старуха; у камина стоял ученик аптекаря и делал себе зубочистку из гусяного пера.

– Вечер морозный, миссис Корни, – сказал этот молодой джентльмен вошедшей надзирательнице.

– В самом деле, очень морозный, сэр, – приседая, ответила та самым учтивым тоном.

– Вам следовало бы получать лучший уголь от ваших поставщиков, – заявил помощник аптекаря, разбивая заржавленной кочергой кусок угля в камине, – такой уголь не годится для морозной ночи.

– Совет выбирал его, сэр, – ответила надзирательница. – А совет мог бы позаботиться, по крайней мере о том, чтобы мы не мерзли, потому что работа у нас тяжелая.

Тут разговор был прерван стоном больной.

– О! – сказал молодой человек, поворачиваясь к кровати с таким видом, будто совсем забыл о пациентке. – Ее песенка спета, миссис Корни.

– Неужели, сэр? – спросила надзирательница.

– Я буду очень удивлен, если она протянет еще часа два, – сказал помощник аптекаря, сосредоточив внимание на острие зубочистки. – Организм совершенно разрушен. Посмотрите-ка, старушка, она дремлет?

Сиделка наклонилась к кровати и утвердительно кивнула головой.

– Быть может, она так и умрет, если вы не будете шуметь, – сказал, молодой человек. –

Поставьте свечу на пол. Там она ей не помешает.

Сиделка исполнила приказание и в то же время покачала головой, как бы давая понять, что женщина так легко не умрет; затем она снова заняла свое место рядом с другой старухой, которая к тому времени возвратилась. Надзирательница с раздражением завернулась в шаль и присела в ногах кровати.

Помощник аптекаря, покончив с отделкой зубочистки, расположился перед камином и в течение десяти минут грелся у огня; наконец, по-видимому соскучившись, он пожелал миссис Корни успешного завершения ее трудов и на цыпочках удалился.

Посидев несколько минут молча, обе старухи отошли от кровати и, присев на корточки у огня, стали греть иссохшие руки. Приняв такую позу, они вели тихим голосом разговор, и, когда пламя отбрасывало призрачный отблеск на их сморщенные лица, их безобразие казалось ужасающим.

– Больше она ничего не говорила, Энни, милая, пока меня не было? – спросила та, что ходила за надзирательницей.

– Ни слова, – ответила вторая сиделка. – Сначала она щипала и ломала себе руки, но я их придержала, и она скоро утихомирилась. Сил у нее мало осталось, так что мне легко было ее успокоить. Для старухи я не так уж слаба, хотя и сижу на приходском пайке!

– Она выпила подогретое вино, которое ей прописал доктор? – спросила первая.

– Я пробовала влить ей в рот, – отозвалась вторая, – но зубы у нее были стиснуты, а за кружку она уцепилась так, что мне едва удалось ее вырвать; тогда я сама выпила вино, и оно пошло мне на пользу.

Осторожно оглянувшись и убедившись, что их не подслушивают, обе старые карги ближе придвинулись к огню в весело захихикали.

– Было время, – снова заговорила первая, – когда она сама сделала бы то же самое и как бы еще потом потешалась!

– Ну конечно! – подхватила другая. – Она была развеселая. Много, много славных покойничков она обрядила, и были они такие милые и аккуратные, как восковые куклы. Мои старые глаза их видели, эти старые руки их трогали, потому что я десятки раз ей помогала.

Вытянув дрожащие пальцы, старуха с восторгом помахала ими перед носом собеседницы, потом, пошарив в кармане, вытащила старую, выцветшую от времени жестяную табакерку, из которой насыпала немножко табаку на протянутую ладонь своей приятельницы и чуть-чуть побольше себе на ладонь. Пока они так развлекались, надзирательница, нетерпеливо ожидавшая, когда же, наконец, умирающая очнется, подошла к камину и резко спросила, долго ли ей еще ждать.

– Недолго, миссис, – ответила вторая старуха, подняв на нее глаза. – Всем нам недолго ждать смерти. Потерпите, потерпите! Скоро она заберет всех нас.

– Придержите язык, старая идиотка! – строго приказала надзирательница. – Отвечайте мне вы, Марта: впадала ли она и раньше в такое состояние?

– Много раз, – отозвалась первая старуха.

– Но больше это уже не повторится – добавила вторая, – то есть еще один разок она очнется, но ненадолго, попомните мое слово, миссис!

– Надолго или ненадолго, – с раздражением сказала надзирательница, – но когда она очнется, меня здесь уже не будет! И чтобы вы не смели меня больше беспокоить из-за пустяков! В мои обязанности не входит смотреть, как умирают здесь старухи, и я этого делать не стану. Запомните это, бесстыжие старые ведьмы! Если вы опять вздумаете меня дурачить, предупреждаю – я с вами быстро расправлюсь!

Разозлившись, она бросилась к двери, но крик обеих старух, повернувшихся к кровати, заставил ее оглянуться. Больная приподнялась в постели и простирала к ним руки.

– Кто это? – глухо кричала она.

– Тише, тише! – зашипела одна из старух, наклоняясь к ней. – Ложитесь, ложитесь!

– Живой я никогда уже больше не лягу!.. – отбиваясь, воскликнула женщина. – Я хочу что-то сказать ей. Подойдите ко мне! Ближе! Я буду шептать вам на ухо.

Она вцепилась в руку надзирательницы и, заставив ее сесть на стул у кровати, хотела заговорить, но, оглянувшись, заметила двух старух, которые, вытянув шею, приготовились с жадностью слушать.

– Прогоните их, – слабым голосом сказала больная. – Скорее, скорее!

Старые карги, завопив в один голос, принялись жалобно сетовать на то, что бедняжке очень худо и она не узнает лучших своих друзей, твердили, что ни за что ее не покинут, но надзирательница вытолкала их из комнаты, заперла дверь и вернулась к кровати. Очувшись за дверью, старые леди переменили тон и стали кричать в замочную скважину, что старуха Салли пьяна; это было довольно правдоподобно, так как в дополнение к умеренной дозе опиума, прописанного аптекарем, на нее подействовала последняя порция джина с водой, которым, по доброте сердечной, тайком угостили ее достойные старые леди.

– Теперь слушайте меня! – громко сказала умирающая, напрягая все силы, чтобы раздуть последнюю искру жизни. – Когда-то в этой самой комнате я ухаживала за молодой красоткой, лежавшей на этой самой кровати. Сюда ее принесли с израненными от ходьбы ногами, покрытыми грязью и кровью. Она родила мальчика и умерла. Сейчас я припомню... в каком году это было?..

– Неважно, в каком году, – перебила нетерпеливая слушательница. – Ну, дальше, что скажете о ней?

– Дальше... – пробормотала больная, впадая в прежнее полудремотное состояние, – что еще сказать о ней, что еще... Знаю! – воскликнула она, быстро выпрямившись; лицо ее было багровым, глаза были выпучены. – Я ее ограбила. Да, вот что я сделала! Она еще не окоченела, говорю вам – она еще не окоченела, когда я это украла!

– Что вы украли, да говорите же, ради бога? – вскричала надзирательница, сделав движение, словно хотела позвать на помощь.

– Одну вещь, – ответила женщина, прикрыв ей рот рукой. – Единственную вещь, какая у нее была. Ей нужна была одежда, чтобы не мерзнуть, нужна была пища, но эту вещь она сохраняла и прятала у себя на груди. Говорю вам – вещь была золотая! Чистое золото, которое могло спасти ей жизнь!

– Золото! – повторила надзирательница, наклонившись к упавшей на подушку женщине. – Говорите же, говорите... что дальше? Кто была мать? Когда это было?

– Она поручила мне сохранить ее, – со стоном продолжала больная, – и доверилась мне, единственной женщине, которая была при ней. Как только она мне показала эту вещь, висевшую у нее на шее, я сразу порешила ее украсть. Может быть, на моей душе лежит еще и смерть ребенка! Они бы лучше с ним обращались, если бы им все было известно.

– Что известно? – спросила надзирательница. – Да говорите же!

– Мальчик подрос и так походил на мать, – бессвязно продолжала больная, не обращая внимания на вопрос, – что я никогда не могла об этом забыть, стоило мне увидеть его лицо. Бедная женщина! Бедная женщина! И такая молоденькая! Такая кроткая овечка! Подождите. Я должна еще что-то сказать. Ведь я вам еще не все рассказала?

– Нет, нет, – ответила надзирательница, наклоняясь, чтобы лучше расслышать слабый голос умирающей. – Скорее, не то будет поздно!

– Мать, – сказала женщина, делая еще более отчаянное усилие, – мать, когда настали смертные муки, зашептала мне на ухо, что если ее ребенок родится живым и вырастет, то, может быть, придет день, когда он, услышав о своей бедной молодой матери, не будет считать себя опозоренным. «О боже милостивый! – сказала она. – Будет ли это мальчик или девочка, пошли ему друзей в этом мире, полном невзгод, и жалься над бедным, одиноким ребенком, брошенным на произвол судьбы!»

– Имя мальчика? – спросила надзирательница.

– Его назвали Оливером, – слабым голосом ответила женщина. – Золотая вещь, которую я украла...

– Да, да... говорите! – крикнула надзирательница.

Она нетерпеливо наклонилась к женщине, чтобы услышать ответ, но невольно

отшатнулась, когда та медленно, не сгибаясь, снова приподнялась и села, потом, вцепившись обеими руками в одеяло, пробормотала что-то невнятное и упала на подушки.

– Умерла! – сказала одна из старух, врываясь в комнату, как только открылась дверь.

– И в конце концов ничего не сказала, – отозвалась надзирательница и спокойно ушла.

Обе старухи, готовясь к исполнению своей ужасной обязанности, были, по-видимому, слишком заняты, чтобы отвечать, и, оставшись одни, закопошились около тела.

Глава XXV

которая вновь повествует о мистере Феджине и компании

Пока происходили эти события в провинциальном работном доме, мистер Феджин сидел в старой своей берлоге – той самой, откуда девушка увела Оливера, – и размышлял о чем-то у тусклого огня в дымящем очаге. На коленях у него лежали раздувательные мехи, с помощью которых он, видимо, старался раздуть веселый огонек, но, задумавшись, он положил на них руки, подпер подбородок большими пальцами и рассеянно устремил взгляд на заржавленные прутья.

У стола за его спиной сидели Ловкий Плут, юный Чарльз Бейтс и мистер Читлинг; все трое с увлечением играли в вист; Плут с «болваном» играл против юного Бейтса и мистера Читлинга. Физиономия первого из упомянутых джентльменов, всегда удивительно смышленная, казалась теперь особенно интересной вследствие вдумчивого его отношения к игре и внимательного изучения карт мистера Читлинга, на которые, как только представлялся удобный случай, он бросал зоркий взгляд, мудро сообразуя свою игру с результатами наблюдений над картами соседа. Так как ночь была холодная. Плут не снимал шляпы, что, впрочем, являлось одной из его привычек. Он сжимал зубами мундштук глиняной трубки, которую вынимал изо рта на короткое время, когда считал нужным подкрепиться джином с водой из кувшина, вместимостью в квартиру, поставленного на стол для угощения всей компании.

Юный Бейтс также уделял большое внимание игре, но так как у него натура была более впечатлительная, чем у его талантливого друга, то можно было заметить, что он чаще угощался джином с водой и вдобавок увеселял себя всевозможными шутками и непристойными замечаниями, в высшей степени неуместными при серьезной игре. Плут, на правах тесной дружбы, несколько раз принимался торжественно журить его за такое неприличное поведение, но все эти наставления юный Бейтс выслушивал с величайшим добродушием и предлагал своему другу отправиться к черту либо засунуть голову в мешок или же отвечал другими изящными остротами в том же духе, удачное пользование которыми приводило в восторг мистера Читлинга. Примечательно, что сей последний джентльмен и его партнер неизменно проигрывали, и это обстоятельство не только не раздражало юного Бейтса, но, по-видимому, доставляло ему огромное удовольствие, так как после каждой партии он оглушительно хохотал и уверял, что отроду не видывал такой веселой игры.

– Два двойных и роббер, – с вытянувшейся физиономией сказал мистер Читлинг, доставая из жилетного кармана полкроны. – В первый раз вижу такого парня, как ты, Джек. Ты всегда выигрываешь. Даже когда у нас с Чарли хорошие карты, все равно иы ничего не можем поделать.

Самый ли факт, или очень печальный тон, каким юбли сказаны эти слова, привели в такое восхищение Чарли Бейтса, что очередной его взрыв смеха заставили еврея очнуться от раздумья и спросить, в чем дело.

– В чем дело, Феджин!?! – закричал Чарли. – Жаль, что вы не следили за игрой. Томми Читлинг ни разу не выиграл, мы с ним играли против Плута с «болваном».

– Так, так, – сказал еврей с улыбкой свидетельствующавшей о том, что причина ему ясна. – Попробуй еще разок, Том, попробуй еще разок.

– Хватит с меня, благодарю вас, Феджин, – ответил мистер Читлинг. – Хватит! Этому Плуту так везет, что против него не устоишь.

– Ха-ха-ха, милый мой! – рассмеялся еврей. – Встань утром пораньше, тогда выиграешь у Плута.

– Утром! – повторил Чарли Бейтс. – Если хотите его обыграть, нужно с вечера надеть башмаки, приставить к обоим глазам по подзорной трубе, а за спину повесить бинокль.

Мистер Даукинс с философическим спокойствием выслушал эти любезные комплименты и предложил любому из присутствующих джентельменов открыть фигуру, ставка – шиллинг. Так как никто не принял вызова, а трубку он к тому времени выкурил, то и начал для развлечения чертить на столе общий план Ньюгетской тюрьмы тем куском мела, который заменял ему фишки; при этом он долго и пронзительно свистел.

– Ну и скуотища же с тобой, Томми!.. – после долгого молчания сказал Плут, перестав свистеть и повернувшись к мистеру Читлингу. – Как вы полагаете, о чем он думает, Феджин?

– Откуда мне знать, мой милый? – оглядываясь, отозвался еврей, раздувавший огонь мехами. – Может быть, о своем проигрыше или о том уединенном местечке в провинции, которое он недавно покинул. Ха-ха!.. Верно, мой милый?

– Ничуть не бывало, – возразил Плут, перебивая мистера Читлинга, собиравшегося ответить. – А ты что скажешь, Чарли?

– Скажу, – ухмыляясь, отвечал юный Бейтс, – что он без ума от Бетси. Смотрите, как он краснеет. Боже ты мой! Ну и умора! Томми Читлинг влюблен!.. Ох, Феджин, Феджин, вот так потеха!

Потрясенный образом мистера Читлинга – жертвы нежной страсти, – юный Бейтс столь энергически откинулся на спинку стула, что потерял равновесие и полетел на пол, где и остался лежать, вытянувшись во весь рост (это происшествие отнюдь не уменьшило его веселости), пока не нахохотался вдосталь, после чего занял прежнее место и снова захохотал.

– Не обращайтесь на него внимания, мой милый, – сказал еврей, подмигнув мистеру Даукинсу и в виде наказания ударив юного Бейтса рыльцем раздувальных мехов. – Бетси – славная девушка. Держитесь за нее, Том. Держитесь за нее.

– Я хочу только сказать, Феджин, – отозвался мистер Читлинг, густо покраснев, – что это решительно никого не касается.

– Разумеется, – подтвердил еврей. – Чарли так себе болтает. Не обращайтесь на него внимания, мой милый, не обращайтесь внимания. Бетси – славная девушка. Делайте то, что она вам скажет, Том, – и вы разбогатеете.

– Да я так и поступаю, как она велит, – ответил мистер Читлинг. – Меня бы не зацапали, если бы я не послушался ее совета. Вам-то это оказалось на руку, правда, Феджин? Ну, да ведь шесть недель ничего не стоят. Рано или поздно, это должно было случиться, так уж лучше зимой, когда нет охоты болтаться по улицам. Правда, Феджин?

– Совершенно верно, мой милый, – ответил еврей.

– Ты бы согласился еще разок посидеть, Том, – спросил Плут, подмигивая Чарли и еврею, – раз Бет дала тебе хороший совет?

– Я хочу сказать, что я бы не отказался! – сердито ответил Том. – Ну, хватит! Хотел бы я знать, кто, кроме меня, мог бы это сказать, Феджин?

– Никто, мой милый, – ответил еврей, – ни один человек, Том. Я не знаю никого, кроме вас, кто бы мог это сказать. Никого, мой милый.

– Меня бы отпустили, если бы я ее выдал. Верно, Феджин? – с раздражением продолжал бедный, одуроченный, слабоумный парень. – Для этого мне нужно было сказать только слово. Верно, Феджин?

– Разумеется, отпустили бы, мой милый, – ответил еврей.

– Но я ничего не выболтал. Правда, Феджин? – сказал Том, стремительно задавая один вопрос за другим.

– Нет, нет, разумеется, ничего, – ответил еврей, – вы слишком мужественны для этого. Слишком мужественны, мой милый!

– Может быть, это и верно, – отозвался Том, озираясь. – Но коли так, то что тут смешного, а, Феджин?

Еврей, видя, что мистер Читлинг не на шутку раздражен, поспешил уверить его, что никто не смеется; желая добиться серьезного отношения собравшихся, он воззвал к юному Бейтсу, первому обидчику. Но, к несчастью, Чарли, уже раскрыв рот и собравшись ответить, что еще ни разу в жизни он не был так серьезен, не смог удержаться и разразился таким неистовым хохотом, что оскорбленный мистер Читлинг без дальнейших церемоний кинулся в другой конец комнаты и замахнулся на обидчика, но тот, наловчившись избегать преследователей, шмыгнул в сторону, дабы ускользнуть от него, и столь удачно выбрал момент, что удар попал в грудь веселого старого джентльмена и заставил его пошатнуться и отступить к стене, где он и остановился, тяжело дыша, а мистер Читлинг взирал на него с ужасом.

– Тише! – крикнул в эту минуту Плут. – Что-то тренькает.

Взяв свечу, он крадучись стал подниматься по лестнице.

Снова раздался нетерпеливый звон колокольчика. Все остальные сидели в темноте. Вскоре вернулся Плут и с таинственным видом шепнул что-то Феджину.

– Как? – вскричал еврей. – Один?

Плут утвердительно кивнул головой и, заслонив рукой пламя свечи, украдкой дал понять Чарли Бейтсу с помощью пантомимы, что лучше бы ему теперь не смеяться. Оказав эту дружескую услугу, он устремил взгляд на еврея и ждал его распоряжений.

В течение нескольких секунд старик кусал свои желтые пальцы и пребывал в раздумье; лицо его подергивалось от волнения, словно он чего-то опасался и страшился узнать наихудшее. Наконец, он поднял голову.

– Где он? – спросил еврей.

Плут указал на потолок и сделал движение, будто намеревался выйти из комнаты.

– Да, – сказал еврей, отвечая на безмолвный вопрос. – Приведи его сюда, вниз. Тес!.. Тише, Чарли! Успокойтесь, Том! Смойтесь!

Это лаконическое приказание Чарли Бейтс и его недавний противник исполнили покорно и незамедлительно. Ни один звук не выдавал их присутствия, когда Плут со свечой в руке спустился по лестнице, а вслед за ним пошел человек в грубой рабочей блузе, который, быстро окинув взглядом комнату, снял широкий шарф, скрывавший нижнюю часть лица, и показал усталую, немытую и небритую физиономию ловкача Тоби Крекита.

– Как поживаете, Феги? – сказал сей достойный джентльмен, кивая еврею. – Сунь этот шарф в мою кастровую шляпу, Плут, чтобы я знал, где его найти, когда буду удирать. Вот какие времена настали! А из тебя выйдет прекрасный взломщик, лучше этого старую мошенника.

С этими словами он вытянул из штанов подол блузы, обмотал ее вокруг талии и, придвинув стул к огню, положил ноги на решетку.

– Посмотрите-ка, Феги, – сказал он, печально показывая на свои сапоги с отворотами. – Сами знаете, с какого дня они не нюхали ваксы Дэй и Мартин,³⁴ ей-богу ни разу не чищены!.. Нечего тарачить на меня глаза, старик. Все в свое время. Я не могу говорить о делах, пока не поем и не выпью. Тащите сюда еду и дайте мне спокойно поесть в первый раз за эти три дня!

Еврей жестом приказал Плуту подать на стол съестные припасы и, усевшись против взломщика, стал ждать.

Суда по всему, Тоби отнюдь не спешил начать разговор. Сначала еврей довольствовался тем, что терпеливо изучал его физиономию, словно надеясь по выражению ее угадать, какие вести он принес, но это ни к чему не привело. Тоби казался усталым и изнуренным, но лицо его оставалось благодушно спокойным, как всегда, и, невзирая на грязь, небритую бороду и бакенбарды, на нем сияла все та же самодовольная, глупая улыбка

³⁴ *Вакса Дэй и Мартин* – известная в Лондоне вакса для обуви, производимая фирмой, успешно конкурировавшей с фирмой Уоррена, на предприятии которого работал Диккенс, когда был ребенком.

ловкача Крекита. Тогда еврей, вне себя от нетерпения, стал следить за каждым куском, который тот отправлял себе в рот, и, не скрывая волнения, зашагал взад и вперед по комнате. Но от всего этого не было никакого толку. Тоби продолжал есть с величайшим хладнокровием, пока не наелся до отвала; затем, приказав Плуту выйти из комнаты, он запер дверь, налил в стакан виски с водой и приступил к беседе.

– Прежде всего, Феги... – начал Тоби.

– Ну, ну?... – перебил еврей, придвигая стул.

Мистер Крекит приостановился, чтобы хлебнуть джина с водой, и объявил, что он превосходен; затем, упершись ногами в полку над низким очагом так, чтобы сапоги находились на уровне его глаз, он спокойно продолжал.

– Прежде всего, Феги, – сказал взломщик, – как поживает Билл?

– Что! – взвизгнул еврей, вскакивая со стула.

– Как, неужели вы хотите сказать?... – бледнея, начал Тоби.

– Хочу сказать! – завопил еврей, в бешенстве топая ногами. – Где они? Сайкс и мальчик! Где они? Где они были? Где они скрываются? Почему не пришли сюда?

– Кража со взломом провалилась, – тихо сказал Тоби.

– Я это знаю, – сказал еврей, выхватив из кармана газету и указывая на нее. – Что дальше?

– Они стреляли, попали в мальчика. Мы пустились наутек вместе с ним через поля позади дома, бежали вперед быстрее, чем ворона летит... перескакивали через изгороди и канавы. За нами погнались. Черт подери! Все окрестные жители проснулись, на нас напустили собак...

– А мальчик?

– Билл тащил его на спине и мчался как вихрь. Мы остановились, чтобы нести его вдвоем; голова у него свесилась, и он весь похолодел. Они гнались за нами по пятам. Тут уж каждый за себя и подальше от виселицы! Мы расстались, а мальчишку положили в канаву. Живого или мертвого – не знаю.

Еврей не стал больше слушать. Громко завопив и вцепившись себе в волосы, он бросился вон из дому.

Глава XXVI

в которой появляется таинственная особа, и происходят многие события, неразрывно связанные с этим повествованием

Старик добежал до угла улицы, прежде чем успел прийти в себя от впечатления, произведенного на него сообщением Тоби Крекита. Он по-прежнему мчался с необычайной быстротой, растерянный и обезумевший, как вдруг пролетевший мимо экипаж и громкий крик прохожих, заметивших, какая грозила ему опасность, заставили его отступить на тротуар. Избегая по возможности людных улиц и крадучись пробираясь окольными путями и закоулками, он вышел, наконец, на Сноу-Хилл. Здесь он зашагал еще быстрее и не останавливался до той поры, пока не вошел в какой-то двор, где, словно почувствовав себя в родной стихии, поплелся, по своему обыкновению волоча ноги, и, казалось, вздохнул свободнее.

Неподалеку от того места, где Сноу-Хилл сливается с Холборн-Хиллом, начинается справа, если идти от Сити, узкий и мрачный переулок, ведущий к Сафрен-Хиллу. В грязных его лавках выставлены на продажу огромные связки подержанных шелковых носовых платков всевозможных размеров и расцветок, ибо здесь проживают торговцы, скупающие эти платки у карманных воришек. Сотни носовых платков висят на гвоздях за окнами или развеваются у дверных косяков, а в лавке ими завалены все полки. Как ни узки границы Филд-лейна, однако здесь есть свой цирюльник, своя кофейня, своя пивная и своя лавка с жареной рыбой. Это нечто вроде коммерческой колонии, рынок мелких воров, посещаемый ранним утром и в сумерках молчаливыми торговцами, которые обделывают свои делишки в

темных задних комнатах и уходят так же таинственно, как и приходят. Здесь продавец платья, сапожник и старьевщик выставляют свой товар, который для мелких воришек заменяет вывеску; здесь кучи заржавленного железа и костей, заплесневевшие куски шерстяной материи и полотна гниют и тлеют в мрачных подвалах.

Вот в этот-то переулочек и свернул еврей. Он был хорошо знаком чахлам его обитателям, и те из них, которые оставались на своем посту, чтобы продать что-нибудь или купить, кивали ему, как старому приятелю, когда он проходил мимо. На их приветствия он отвечал кивком, но ни с кем не вступал в разговор, пока не дошел до конца переулочка; здесь он остановился и заговорил с одним торговцем, очень маленького роста, который, втиснув кое-как свою особу в детское креслице, курил трубку у двери своей лавки.

– Стоит на вас посмотреть, мистер Феджин, – и слепоту как рукой снимет! – сказал сей почтенный торговец, отвечая на вопрос еврея о его здоровье.

– Слишком уж жарко было здесь по соседству, Лайвли, – откликнулся Феджин, приподняв брови и скрестив руки.

– Да, мне уже два раза приходилось выслушивать такие жалобы, – ответил торговец. – Но ведь огонь очень скоро остывает, не правда ли?

Феджин в знак согласия кивнул головой. Указав в сторону Сафрен-Хилла, он спросил, заглядывал ли туда кто-нибудь сегодня вечером.

– Навестить «Калек»? – спросил торговец.

Еврей снова кивнул головой.

– Подождите-ка, – призадумавшись, сказал человек. – Да, человек пять-шесть пошли туда. Думаю, что вашего друга там нет.

– Сайкса там нет? – спросил еврей; вид у него был очень встревоженный.

– Non istventus, как говорят законники, – отозвался человек, покачав головой и скроив на редкость хитрую мину. – Нет ли у вас сегодня чего-нибудь по моей части?

– Сегодня ничего нет, – сказал еврей, отходя от него.

– Вы идете к «Калекам», Феджин? – крикнул ему вслед человек. – Пойдите! Я не прочь пропустить с вами рюмочку!

Но так как еврей, оглянувшись, махнул рукой, давая понять, что предпочитает остаться в одиночестве, и к тому же человеку не очень-то легко было вылезти из креслица, то на этот раз трактир под вывеской «Калек» не удостоился посещения мистера Лайвли. К тому времени, когда он поднялся на ноги, еврей уже скрылся из виду, и мистер Лайвли, постояв на цыпочках и обманувшись в надежде его увидеть, снова втиснул свою особу в креслице и, обменявшись кивком с леди из лавки напротив и выразив этим свои сомнения и недоверие, вновь взялся с торжественной миной за трубку.

«Трое калек», или, вернее, «Калек» – ибо под этой вывеской учреждение было известно его завсегда, – был тем самым трактиром, в котором появлялся мистер Сайкс со своей собакой. Сделав знак человеку, стоявшему за стойкой, Феджин поднялся по лестнице, открыл дверь и, незаметно проскользнув в комнату, с беспокойством стал озираться, прикрывая глаза рукой и словно кого-то разыскивая.

Комнату освещали две газовые лампы; с улицы не видно было света благодаря закрытым ставням и плотно задернутым вылинявшим красным занавескам. Потолок был выкрашен в черный цвет, чтобы окраска его не пострадала от коптящих ламп, и в комнате стоял такой густой табачный дым, что сначала ничего нельзя было разглядеть. Но когда мало-помалу дым ушел через раскрытую дверь, обнаружилось скопище людей, такое же беспорядочное, как и гул, наполнявший комнату, и, по мере того как глаз привыкал к этому зрелищу, наблюдатель убеждался, что за длинным столом собралось многочисленное общество, состоявшее из мужчин и женщин; во главе стола помещался председатель с молоточком в руке, а в дальнем углу сидел за разбитым фортепьяно джентльмен-профессионал с багровым носом и подвязанной – по случаю зубной боли – щекой.

Когда Феджин прошмыгнул в комнату, джентльмен-профессионал пробежал пальцами

по клавишам, взамен прелюдии, после чего все громогласно потребовали песни; как только крики затихли, молодая леди принялась услаждать общество балладой из четырех строф, в промежутках между которыми аккомпаниатор играл как можно громче всю мелодию с начала до конца. Когда с этим было покончено, председатель произнес свое суждение, после чего профессионалы, сидевшие по правую и левую руку от него, выразили желание спеть дуэт и спели его с большим успехом.

Любопытно было всматриваться в иные лица, выделявшиеся из толпы. Прежде всего-сам председатель (хозяин заведения), грубый, неотесанный, тяжеловесный мужчина, который шнырял глазами во все стороны, пока продолжалось пение, и делая вид, что принимает участие в общем веселье, видел все, что происходит, слышал все, что говорится, а зрение у него было острое и слух чуткий. С ним рядом сидели певцы, с профессиональным равнодушием слушавшие похвалы всей компании и по очереди прикладывавшиеся к дюжине стаканчиков виски с водой, поднесенных им пылкими поклонниками, чьи физиономии, носившие печать чуть ли не всех пороков во всех стадиях их развития, неумолимо привлекали внимание именно своей омерзительностью. Хитрость, жестокость, опьянение были ярко запечатлены на них, а что касается женщин, то иные еще сохранили какую-то свежесть юности, блекнувшую, казалось, у вас на глазах; другие же окончательно утратили все признаки своего пола и олицетворяли лишь гнусное распутство и преступность; эти девушки, эти молодые женщины – ни одна из них не перешагнула порога юности – являли собой, пожалуй, самое печальное зрелище в этом омерзительном вертепе.

Тем временем Феджин, отнюдь не тревожимый серьезными размышлениями, жадно всматривался в лица, по-видимому не находя того, кого искал. Когда ему удалось, наконец, поймать взгляд человека, занимавшего председательское место, он осторожно поманил его и вышел из комнаты так же тихо, как и вошел.

– Чем могу служить вам, мистер Феджин? – осведомился председатель, выйдя вслед за ним на площадку. – Не угодно ли присоединиться к нам? Все будут рады, все до единого.

Еврей нетерпеливо покачал головой и шепотом спросил:

– Он здесь?

– Нет, – ответил тот.

– И никаких известий о Барни?

– Никаких, – ответил хозяин «Калек», ибо это был он. – Барни не шелохнется, пока все не утихнет. Будьте уверены, они там напали на след, и, если бы он вздумал двинуться с места, их сразу бы накрыли. С Барни ничего плохого не случилось, не то я бы о нем услышал. Бьюсь об заклад, что Барни ведет себя молодцом. О нем можете не беспокоиться.

– А тот будет здесь сегодня? – спросил еврей, снова выразительно подчеркивая местоимение.

– Вы говорите о Монксе? – нерешительно спросил хозяин.

– Тес!.. – зашептал еврей. – Да.

– Конечно, – ответил хозяин, вытаскивая из кармана золотые часы. – Я ждал его раньше. Если вы подождете минут десять, он...

– Нет, нет! – быстро сказал еврей, который как будто и хотел видеть того, о ком шла речь, и был рад, что его нет. – Передайте ему, что я заходил сюда повидаться с ним; пусть он придет ко мне сегодня вечером. Нет, лучше завтра. Раз его здесь нет, то не поздно будет и завтра.

– Ладно! – отозвался хозяин. – Еще что-нибудь?

– Ни слова больше, – сказал еврей, спускаясь по лестнице.

– Послушайте, – заговорил хриплым шепотом хозяин, перевешиваясь через перила, – сейчас самое время обделать дело! У меня здесь Фил Баркер; так пьян, что любой мальчишка может его сцапать.

– А! Впрочем, для Фила Баркера время еще не пришло, – ответил еврей, подняв голову. – Фил должен еще поработать, прежде чем мы позволим себе расстаться с ним. Возвращайтесь-ка, мой милый, к своей компании и скажите им, чтобы они веселились...

пока живы! Ха-ха-ха!

Трактирщик ответил ему смехом и вернулся к своим гостям. Как только еврей остался один, на лице его снова появилось тревожное и озабоченное выражение. После недолгого раздумья он нанял кабриолет и приказал извозчику ехать в Бетнел-Грин-роуд. За четверть мили до резиденции мистера Сайкса он отпустил извозчика и прошел это короткое расстояние пешком.

– Ну, – пробормотал еврей, стуча в дверь, – если тут ведут какую-то темную игру, то, как вы ни хитры, моя милая, а я у вас все выпытаю.

Женщина, которую он имел в виду, находилась у себя в комнате. Феджин потихоньку поднялся по лестнице и без дальнейших церемоний вошел. Девушка была одна; она положила на стол голову с распущенными, сбившимися волосами.

«Напилась, – хладнокровно подумал еврей, – или, может быть, просто горюет о чем-нибудь».

С этой мыслью он повернулся, чтобы закрыть дверь; шум заставил девушку встрепенуться. Зорко всматриваясь в его хитрое лицо, она спросила, нет ли новостей, и выслушала от него сообщение Тоби Крекита. Когда рассказ был закончен, она снова приняла прежнее положение, но не проронила ни слова. Она терпеливо отодвинула свечу, раза два лихорадочно меняла позу, шаркала ногами по полу, но не более того.

Пока длилось молчание, еврей с беспокойством озирался, словно желая удостовериться, что нет никаких признаков, указывающих на тайное возвращение Сайкса. По-видимому, удовлетворенный осмотром, он раза два-три кашлянул и столько же раз пытался завязать разговор, но девушка не обращала на него никакого внимания, словно перед ней был камень. Наконец, он сделал еще одну попытку и, потирая руки, спросил самым заискивающим тоном:

– Как вы думаете, моя милая, где теперь Билл?

Девушка невнятно простонала в ответ, что этого она не знает, и по приглушенному всхлипыванию можно было угадать, что она плачет.

– А мальчик? – продолжал еврей, стараясь заглянуть ей в лицо. – Бедный ребенок! Его оставили в канаве! Нэнси, подумай только!

– Ребенку лучше там, чем у нас, – сказала девушка, неожиданно подняв голову. – И если только Билл не попадет из-за этого в беду, я надеюсь, что мальчик лежит мертвый в канаве, и пусть там сгниют его кости.

– Что такое?! – с изумлением воскликнул еврей.

– Да, надеюсь! – ответила девушка, глядя ему в глаза. – Я буду рада, если узнаю, что он убрался с моих глаз и худшее осталось позади. Я не могу выносить его около себя. Стоит мне посмотреть на него – и я сама себе ненавижна, и вы все мне ненавистны.

– Вздор! – презрительно сказал еврей. – Ты пьяна...

– Вот как! – с горечью воскликнула девушка. – Не ваша вина, если я не пьяная! Будь ваша воля, вы бы всегда меня спаивали – но только не сегодня. Сейчас эта привычка вам не по нутру, да?

– Совершенно верно! – злобно ответил еврей. – Не по нутру.

– Ну, так измените ее! – со смехом сказала девушка.

– Изменить! – крикнул еврей, окончательно выведенный из терпения неожиданным упорством собеседницы и досадными происшествиями этой ночи. – Да, я ее изменю! Слушай меня, девка! Слушай меня – мне достаточно сказать пять слов, чтобы задушить Сайкса, вот так, как если бы я сдавил сейчас пальцами его бычью шею. Если он вернется, а мальчишку бросит там, если он выкрутится и не доставит мне мальчишки, живого или мертвого, убей его сама, если не хочешь, чтобы он попал в руки Джека Кетча!³⁵ Убей его, как только он

³⁵ *Джек Кетч* – так называли палача в эпоху реставрации Стюартов на английском престоле в 60–80-х годах XVIII века. Это прозвище стало нарицательным.

войдет в эту комнату, не то – попомни мои слова – будет поздно.

– Что это значит? – невольно воскликнула девушка.

– Что это значит? – повторил Феджин, потеряв голову от бешенства. – Этот мальчик стоит сотни фунтов, так неужели я должен терять то, что случай позволяет мне подобрать без всякого риска, – терять из-за глупых причуд пьяной шайки, которую я могу придушить! И вдобавок я связан с самим дьяволом во плоти, которому нужно только завещание, и он может... может...

Задыхаясь, старик запнулся, подыскивая слова, но тут же сдержал приступ гнева, и поведение его совершенно изменилось. За секунду до этого он ловил скрюченными пальцами воздух, глаза были расширены, лицо посинело от ярости, а сейчас он опустился на стул, съежился и дрожал, боясь, что сам выдал какую-то мерзкую тайну. После короткого молчания он решил взглянуть на свою собеседницу. Казалось, он немного успокоился, видя, что та по-прежнему сидит безучастная, в той позе, в какой он ее застал.

– Нэнси, милая! – прохрипел еврей обычным своим тоном. – Ты меня слушала, милая?

– Не приставайте ко мне сейчас, Феджин, – отозвалась девушка, лениво поднимая голову. – Если Билл теперь этого не сделал, так в другой раз сделает. Немало он хороших дел для вас обделал и еще немало обделает, если сможет. А не сможет, так, значит, нечего больше об этом толковать.

– А как насчет мальчика, моя милая?.. – спросил еврей, нервически потирая руки.

– Мальчику приходится рисковать, как и всем остальным, – быстро перебила Нэнси. – И говорю вам: я надеюсь, что он помер и избавился от всяких бед и от вас, – надеюсь, если только с Биллом ничего плохого не приключится. А если Тоби выпутался, то, конечно, и Билл в безопасности, потому что Билл стоит двух таких, как Тоби.

– Ну, а как насчет того, что я говорил, моя милая? – спросил еврей, не спуская с нее сверкающих глаз.

– Если вы хотите, чтобы я для вас что-то сделала, так повторите все сначала, – ответила Нэнси. – А лучше бы вы подождали до завтра. Вы меня на минутку растормошили, но теперь я опять отупела.

Феджин задал еще несколько вопросов все с той же целью установить, обратила ли девушка внимание на его неосторожные намеки; но она отвечала ему с такой готовностью и так равнодушно встречала его пронизывающие взгляды, что его первое впечатление, будто она под хмельком, окончательно укрепилось.

Нэнси и в самом деле была подвержена этой слабости, весьма распространенной среди учениц еврея, которых с раннего детства не только не отучали, но, скорее, поощряли к этому. Ее неопрятный вид и резкий запах джина, стоявший в комнате, в достаточной мере подтверждали правильность его догадки. Когда же она после описанной вспышки сначала впала в какое-то отупение, а затем пришла в возбужденное состояние, под влиянием которого то проливала слезы, то восклицала на все лады: «Не унывать!» – и рассуждала о том, что хоть милые бранятся, только тешатся, – мистер Феджин, имевший солидный опыт в такого рода делах, убедился, к большому своему удовлетворению, что она очень пьяна.

Успокоенный этим открытием, мистер Феджин, достигнув двух целей, то есть сообщив девушке все, что слышал в тот вечер, и собственными глазами удостоверившись в отсутствии Сайкса, отправился домой. Молодая его приятельница заснула, положив голову на стол.

До полуночи оставалось около часу. Вечер был темный, пронизывающе холодный, так что Феджин не имел желаний мешкать. Резкий ветер, рыскавший по улицам, как будто смел с них пешеходов, словно пыль и грязь, – прохожих было мало, и они, по-видимому, спешили домой. Впрочем, для еврея ветер был попутный, и Феджин шел все вперед и вперед, дрожа и сутулясь, когда его грубо подгонял налетавший вихрь.

Он дошел до угла своей улицы и уже нащупывал в кармане ключ от двери, как вдруг из окутанной густой тенью подъезда вынырнула какая-то темная фигура и, перейдя через улицу, незаметно приблизилась к нему.

– Феджин! – прошептал у самого его уха чей-то голос.

– Ах! – вскрикнул еврей, быстро обернувшись. – Вы...

– Да! – перебил незнакомец. – Вот уже два часа, как я здесь слоняюсь. Черт подери, где вы были?

– Ходил по вашим делам, мой милый, – ответил еврей, с беспокойством поглядывая на своего собеседника и замедляя шаги. – Весь вечер по вашим делам.

– Да, конечно! – с усмешкой сказал незнакомец. – Ну, а что же из этого вышло?

– Ничего хорошего, – ответил еврей.

– Надеюсь, и ничего плохого? – спросил незнакомец, неожиданно остановившись и бросив испуганный взгляд на своего спутника.

Еврей покачал головой и хотел было ответить, но незнакомец, перебив его, указал на дом, к которому они тем временем подошли, и заметил, что лучше поговорить под крышей, так как кровь у него застыла от долгого ожидания и ветер пронизывает насквозь.

Феджин, казалось, не прочь был отговориться тем, что не может ввести в дом посетителя в такой поздний час, и даже пробормотал, что камин не затоплен, но, когда его спутник повелительным тоном повторил свое требование, он отпер дверь и попросил его закрыть ее потихоньку, пока он принесет свечу.

– Здесь темно, как в могиле, – сказал незнакомец, ощупью сделав несколько шагов. – Поторапливайтесь.

– Закройте дверь, – шепнул Феджин с другого конца коридора.

В эту минуту дверь с шумом захлопнулась.

– Это не моя вина, – сказал незнакомец, пощупывая дорогу. – Ветер закрыл ее или она сама захлопнулась – одно из двух. Скорее дайте свет, не то я наткнусь на что-нибудь в этой проклятой дыре и размозжу себе голову.

Феджин крадучись спустился по лестнице в кухню. После недолгого отсутствия он вернулся с зажженной свечой и сообщил, что Тоби Крекит спит в задней комнате внизу, а мальчики – в передней. Знаком предложив незнакомцу следовать за ним, он стал подниматься по лестнице.

– Здесь мы можем обо всем переговорить, мой милый, – сказал еврей, открывая дверь комнаты во втором этаже. – Но так как в ставнях есть дыры, а мы не хотим, чтобы соседи видели у нас свет, то свечу мы оставим на лестнице. Вот так!

С этими словами еврей, наклонившись, поставил подсвечник на верхнюю площадку лестницы как раз против двери. Затем он первый вошел в комнату, где не было никакой мебели, кроме сломанного кресла и старой кушетки или дивана без обивки, стоявшего за дверью. На этот диван устало опустился незнакомец, а еврей подвинул кресло так, что они сидели друг против друга. Здесь было не совсем темно: дверь была приотворена, а свеча на площадке отбрасывала слабый отблеск света на противоположную стену.

Сначала они разговаривали шепотом. Хотя из этого разговора нельзя было разобрать ничего, кроме отдельных несвязных слов, однако слушатель мог бы легко угадать, что Феджин как будто защищается, отвечая на замечания незнакомца, а этот последний крайне раздражен. Так толковали они с четверть часа, если не больше, а затем Монкс – этим именем еврей несколько раз на протяжении их беседы называл незнакомца – сказал, слегка повысив голос:

– Повторяю, этот план ни к черту не годился. Почему было не оставить его здесь, вместе с остальными, и не сделать из него этакого паршивого, сопливого карманника?

– Вы только послушайте, что он говорит! – воскликнул еврей, пожимая плечами.

– Да неужели же вы хотите сказать, что не могли бы этого сделать, если бы захотели? – сердито спросил Монкс. – Разве вы этого не делали десятки раз с другими мальчишками? Если бы у вас хватило терпения на год, неужели вы не добились бы, чтобы его засудили и выслали из Англии, быть может на всю жизнь?

– Кому бы это пошло на пользу, мой милый? – униженно спросил еврей.

– Мне, – ответил Монкс.

– Но не мне, – смиренно сказал еврей? – Мальчик мог оказаться мне полезен. Когда в договоре участвуют две стороны, благоразумие требует считаться с интересами обеих, не так ли, милый друг?

– Что же дальше? – спросил Монкс.

– Я понял, что нелегко будет приучить его к делу, – ответил еврей. – Он не похож на других мальчишек, очутившихся в таком же положении.

– Да, не похож, будь он проклят! – пробормотал Монкс. – Иначе он бы давным-давно стал вором.

– Чтобы испортить его, мне надо было сперва забрать его хорошенько в руки, – продолжал еврей, с тревогой всматриваясь в лицо собеседника. – Но я ничего не мог с ним поделать. Я ничем не мог его запугать, а с этого мы всегда должны начинать, иначе наши труды пропадут; даром. Что мне было делать? Посылать его с Плутом и Чарли? Довольно с меня и одного раза, мой милый; тогда я трепетал за всех нас.

– Уж в этом-то я не виноват, – заметил Монкс.

– Конечно, конечно, мой милый? – подхватил еврей. – Да я и не жалею теперь: ведь не случись этого, вы, может быть, никогда бы не увидели мальчишки, а значит, и не узнали бы, что как раз его-то и разыскиваете. Ну что ж! Я его вернул вам с помощью этой девки, а потом она вздумала жалеть его.

– Задушить девку! – нетерпеливо сказал Монкс.

– Сейчас мы не можем себе это позволить, мой милый, – улыбаясь, ответил еврей. – И к тому же мы такими делами не занимаемся, иначе я бы с радостью это сделал в один из ближайших дней. Я этих девок хорошо знаю, Монкс. Как только мальчишка закалится, она будет интересоваться им не больше, чем бревном. Вы хотите, чтобы мальчишка стал вором. Если он жив, я могу это сделать, а если... если... – сказал еврей, придвигаясь к своему собеседнику, – помните, это маловероятно... но если случилась беда и он умер...

– Не моя вина, если он умер! – с ужасом перебил Монкс, дрожащими руками схватив руку еврея. – Запомните, Феджин! Я в этом не участвовал. С самого начала я вам сказал – все, только не его смерть. Я не хотел проливать кровь: в конце концов это всегда обнаруживается, и, вдобавок человек не находит себе покоя. Если его застрелили, я тут ни при чем, слышите?.. Черт бы побрал это логовище!.. Что это такое?

– Что? – вскричал еврей, обеими руками обхватив труса, когда тот вскочил с места. – Где?

– Вон там! – ответил Монкс, пристально глядя на противоположную стену. – Тень! Я видел тень женщины в накидке и шляпе, она быстро скользнула вдоль стены!

Еврей разжал руки, и оба стремительно выбежали из комнаты. Свеча, оплывшая от сквозняка, стояла там, где ее поставили. При свете ее видна была только лестница и их побелевшие лица. Оба напряженно прислушивались: глубокая тишина царила во всем доме.

– Вам почудилось, – сказал еврей, беря свечу и поворачиваясь к своему собеседнику.

– Клянусь, что я ее видел! – дрожа, возразил Монкс. – Она стояла, наклонившись, когда я ее увидел, а когда я заговорил, она метнулась прочь.

Еврей с презрением посмотрел на бледное лицо своего собеседника и, предложив ему, если он хочет, следовать за ним, стал подниматься по лестнице. Они заглянули во все комнаты; в них было холодно, голо и пусто. Они спустились в коридор и дальше, в подвал. Зеленая плесень покрывала низкие стены; следы, оставленные улитками и слизняками, блестели при свете свечи, но кругом было тихо, как в могиле.

– Ну, что вы теперь скажете? – спросил еврей, когда они вернулись в коридор. – Не считая нас с вами, в доме нет никого – только Тоби и мальчишки, а их можно не опасаться. Смотрите!

В подтверждение этого факта еврей вынул из кармана два ключа и объяснил, что, спустившись в первый раз вниз, он запер их в комнате, чтобы никто не помешал беседе.

Это новое доказательство значительно поколебало уверенность мистера Монкса. Его возражения становились все менее и менее бурными по мере того, как оба продолжали

поиски и ничего не обнаружили; наконец, он начал мрачно хохотать и признался, что всему виной только его расстроенное воображение. Однако он отказался возобновить в тот вечер разговор, вспомнив внезапно, что уже второй час. И любезная парочка рассталась.

Глава XXVII

заглаживает неучтивость одной из предыдущих глав, в которой весьма, бесцеремонно покинута некая леди

Скромному автору не подобает, конечно, заставлять столь важную особу, как бидл, ждать, повернувшись спиной к камину и подобрав полы шинели, до той поры, пока автор не соблаговолит отпустить его; и еще менее подходит автору, принимая во внимание его положение и галантность, относиться с тем же пренебрежением к леди, на которую сей бидл бросил взор нежный и любовный, нашептывая ласковые слова, которые, исходя от такого лица, заставили бы затрепетать сердце любой девицы или матроны. Историк, чье перо пишет эти слова, – полагая, что знает свое место и относится с подобающим уважением к тем смертным, кому дарована высшая, непререкаемая власть, – спешит засвидетельствовать им почтение, коего они вправе ждать по своему положению, и соблюсти все необходимые церемонии, которых требуют от него их высокое звание, а следовательно, и великие добродетели.

С этой целью автор намеревался даже привести здесь доводы касательно божественного происхождения прав бидла и его непогрешимости. Такие доводы не преминули бы доставить удовольствие и пользу здравомыслящему читателю, но, к сожалению, за недостатком времени и места автор принужден отложить это до более удобного и благоприятного случая; когда же таковой представится, автор готов разъяснить, что бидл в точном смысле этого слова – а именно: приходский бидл, состоящий при приходском работном доме и прислуживающий в качестве официального лица в приходской церкви, – наделен по своей должности всеми добродетелями и наилучшими качествами, и ни на одну из этих добродетелей не имеют ни малейшего права притязать бидлы, состоящие при торговых, компаниях, судейский бидлы и даже бидлы в часовнях (впрочем, последние все-таки имеют на это некоторое право, хоть и самое ничтожное).

Мистер Бамбл еще раз пересчитал чайные ложки, взвесил на руке щипчики для сахара, внимательно осмотрел молочник, в точности установил, в каком состоянии находится мебель и даже конский волос в сиденьях кресел, и, проделав каждую из этих операций не менее пяти-шести раз, начал подумывать о том, что пора бы уже миссис Корни вернуться. Одна мысль порождает другую: так как ничто не указывало на приближение миссис Корни, мистеру Бамблу пришло в голову, что он проведет время невинно и добродетельно, если удовлетворит свое любопытство беглым осмотром комода миссис Корни.

Прислушавшись у замочной скважины с целью удостовериться, что никто не идет, мистер Бамбл начал знакомиться с содержимым трех длинных ящиков, начиная с нижнего; эти ящики, наполненные всевозможными принадлежностями туалета прекрасного качества, которые были заботливо уложены между двумя листами старой газеты и посыпаны сухой лавандой, по-видимому, доставили ему чрезвычайное удовольствие. Добравшись до ящика в правом углу (где торчал ключ) и узрев в нем шкатулочку с висячим замком, откуда, когда он ее встряхнул, донесся приятный звук, напоминающий звон монет, мистер Бамбл величественной поступью вернулся к камину и, приняв прежнюю позу, произнес с видом серьезным и решительным: «Я это сделаю». После сего примечательного заявления он минут десять игриво покачивал головой, как будто рассуждал сам с собой о том, какой он славный парень, а затем с явным удовольствием и интересом стал рассматривать свои ноги сбоку.

Он все еще мирно предавался этому созерцанию, как вдруг в комнату ворвалась миссис Корни, задыхаясь, упала в кресло у камина и, прикрыв глаза одной рукой, другую прижала к сердцу, стараясь отдышаться.

– Миссис Корни, – сказал мистер Бамбл, наклоняясь к надзирательнице, – в чем дело,

сударыня? Что случилось, сударыня? Прошу вас, отвечайте, я как на... на...

Мистер Бамбл от волнения не мог припомнить выражения «как на иголках» и вместо этого сказал: «как на осколках».

– Ах, мистер Бамбл! – воскликнула леди. – Меня так ужасно расстроили.

– Расстроили, сударыня? – повторил мистер Бамбл. – Кто посмел?.. Я знаю, – произнес мистер Бамбл с присущим ему величием, сдерживая свои чувства, – эти дрянные бедняки.

– Страшно и подумать, – содрогаясь, сказала леди.

– В таком случае не думайте, сударыня, – отвечивал мистер Бамбл.

– Не могу, – захныкала леди.

– Тогда выпейте чего-нибудь, сударыня, – успокоительным тоном сказал мистер Бамбл. – Рюмочку вина?

– Ни за что на свете, – ответила миссис Корни. – Не могу... Ох! На верхней полке, в правом углу... Ох!

Произнеся эти слова, добрая леди указала в умопомрачении на буфет и начала корчиться от спазм. Мистер Бамбл устремился к шкафу и, схватив с полки, столь туманно ему указанной, зеленую бутылку, вмещавшую пинту, наполнил ее содержимым чайную чашку и поднес к губам леди.

– Теперь мне лучше, – сказала миссис Корни, выпив полчашки и откинувшись на спинку стула.

В знак благодарности мистер Бамбл благоговейно возвел очи к потолку, потом опустил их на чашку и поднес ее к носу.

– Пепперминт, ³⁶ – слабым голосом промолвила миссис Корни, нежно улыбаясь бидлу. – Попробуйте. Там есть еще... еще кое-что.

Мистер Бамбл с недоверчивым видом отведал лекарство, причмокнув губами, отведал еще раз и осушил чашку.

– Это очень успокаивает, – сказала миссис Корни.

– Чрезвычайно успокаивает, сударыня, – сказал бидл.

С этими словами он придвинул стул к креслу надзирательницы и ласковым голосом осведомился, что ее расстроило.

– Ничего, – ответила миссис Корни. – Я такое глупое, слабое создание, меня так легко взволновать...

– Ничуть не слабое, сударыня, – возразил мистер Бамбл, придвинув ближе свой стул. – Разве вы слабое создание, миссис Корни?

– Все мы слабые создания, – сказала миссис Корни, констатируя общеизвестную истину.

– Да, правда, – согласился бидл.

Затем оба молчали минуты две. По истечении этого времени мистер Бамбл, поясняя высказанную мысль, снял руку со спинки кресла миссис Корни, где эта рука раньше покоилась, и положил ее на пояс передника миссис Корни, вокруг которого она постепенно обвилась.

– Все мы слабые создания, – сказал мистер Бамбл.

Миссис Корни вздохнула.

– Не вздыхайте, миссис Корни, – сказал мистер Бамбл.

– Не могу удержаться, – сказала миссис Корни. И снова вздохнула...

– У вас очень уютная комната, сударыня, – осматриваясь вокруг, сказал мистер Бамбл. – Прибавить к ней еще одну, сударыня, и будет прекрасна.

– Слишком много для одного человека, – прошептала леди.

– Но не для двух, сударыня, – нежным голосом возразил мистер Бамбл. – Не так ли, миссис Корни?

³⁶ *Пепперминт* – водка, настоянная на мяте и перце.

Когда бидл произнес эти слова, миссис Корни опустила голову; бидл тоже опустил голову, чтобы заглянуть в лицо миссис Корни. Миссис Корни весьма пристойно отвернулась и высвободила руку, чтобы достать носовой платок, но, сама того не сознавая, вложила ее в руку мистера Бамбла.

– Совет, отпускает вам уголь, не правда ли, миссис Корни? – спросил бидл, нежно пожимая ей руку.

– И свечи, – ответила миссис Корни, в свою очередь пожимая слегка его руку.

– Уголь, свечи и даровая квартира, – сказал мистер Бамбл. – О миссис Корни, вы – ангел!

Леди не устояла перед таким взрывом чувств. Она упала в объятия мистера Бамбла, и сей джентльмен в волнении запечатлел страстный поцелуй на ее целомудренном носу.

– Превосходнейшее творение прихода! – восторженно воскликнул мистер Бамбл. – Известно ли вам, моя очаровательница, что сегодня мистеру Скауту стало хуже?

– Да, – застенчиво отвечала миссис Корни.

– Доктор говорит, что он и недели не протянет, – продолжал мистер Бамбл. – Он стоит во главе этого учреждения; после его смерти освободится вакансия, эту вакансию кто-нибудь должен занять. О миссис Корни, какая перспектива! Какой благоприятный случай, чтобы соединить сердца и завести общее хозяйство!

Миссис Корни всхлипнула.

– Одно словечко, – промолвил мистер Бамбл, склоняясь к застенчивой красавице. – Одно маленькое, маленькое словечко, ненаглядная моя Корни?

– Д... д... да, – прошептала надзирательница.

– Еще одно, дорогая, – настаивал мистер Бамбл. – Соберитесь с силами и произнесите еще одно словечко. Когда это совершится?

Миссис Корни дважды пыталась заговорить и дважды потерпела неудачу. Наконец, собравшись с духом, она обвила руками шею мистера Бамбла и сказала, что это произойдет, когда он пожелает, и что он «ненаглядный ее птенчик».

Когда дело было таким образом улажено, дружески и к полному удовлетворению, договор скрепили еще одной чашкой пепперминта, которая оказалась весьма необходимой вследствие трепета и волнения, овладевших леди. Осушив чашку, она сообщила мистеру Бамблу о смерти старухи.

– Прекрасно! – сказал сей джентльмен, попивая пепперминт. – По дороге домой я загляну к Саурбери и скажу, чтобы он прислал, что нужно, завтра утром. Так, значит, это вас и испугало, моя дорогая?

– Ничего особенного не случилось, мой милый, – уклончиво отвечала леди.

– Но все-таки что-то случилось, дорогая моя, – настаивал мистер Бамбл. – Неужели вы не расскажете об этом вашему Бамблу?

– Не сейчас... – ответила леди, – в один из ближайших дней, когда мы сочетаемся браком, дорогой мой.

– Когда мы сочетаемся браком! – воскликнул мистер Бамбл. – Неужели у кого-нибудь из этих нищих хватило наглости...

– Нет, нет, дорогой мой! – быстро перебила леди.

– Если бы я считал это возможным, – продолжал мистер Бамбл, – если бы я считал возможным, что они осмелятся взирать своими гнусными глазами на это прелестное лицо...

– Они бы не осмелились, дорогой мой, – ответствовала леди.

– Тем лучше для них, – сказал мистер Бамбл, сжимая руку в кулак. – Покажите мне такого человека, приходского или сверхприходского, который посмел бы это сделать, и я докажу ему, что второй раз он не осмелится.

Не будь это заявление подкреплено энергической жестикуляцией, оно могло бы показаться весьма нелестным для прелестей сей леди, но так как мистер Бамбл сопровождал свою угрозу воинственными жестами, леди была чрезвычайно растрогана этим доказательством его преданности и с величайшим восхищением объявила, что он и в самом

деле ее птенчик.

После этого птенчик поднял воротник шинели, надел треуголку и, обменявшись долгим и нежным поцелуем с будущей своей подругой жизни, снова храбро зашагал навстречу холодному ночному ветру, задержавшись лишь на несколько минут в палате для бедняков мужского пола, чтобы осыпать их бранью и тем самым удостовериться, что может с надлежащей суровостью исполнять обязанности начальника работного дома. Убедившись в своих способностях, мистер Бамбл покинул заведение с легким сердцем и радужными мечтами о грядущем повышении, которые занимали его, пока он не дошел до лавки гробовщика.

Мистер и миссис Саурбери пили чай и ужинали в гостях, а Ноэ Клейпол никогда не склонен был утруждать себя физическими упражнениями, за исключением тех, какие необходимы для принятия пищи и питья, – вот почему лавка оказалась незапертой, хотя уже миновал час, когда ее обычно закрывали. Мистер Бамбл несколько раз ударил тростью по прилавку, но не привлек к себе внимания и, видя свет за стеклянной дверью маленькой гостиной позади лавки, решил заглянуть туда, чтобы узнать, что там происходит. Узнав же, что там происходит, он был немало удивлен.

Стол был покрыт скатертью; на нем красовались хлеб и масло, тарелки и стаканы, кружка портера и бутылка вина. Во главе стола, небрежно развалившись в кресле и перебросив ноги через ручку, сидел мистер Ноэ Клейпол; в одной руке у него был раскрытый складной нож, а в другой – огромный кусок хлеба с маслом. Подле него стояла Шарлотт и раскрывала вынутые из бочонка устрицы, которые мистер Клейпол достаивал проглатывать с удивительной жадностью. Нос молодого джентльмена, более красный, чем обычно, и какое-то напряженное подмигивание правым глазом свидетельствовали, что он под хмельком; эти симптомы подтверждало и величайшее наслаждение, с каким он поедал устрицы и которое можно было объяснить лишь тем, что он весьма ценил их свойство охлаждать сжигающий его внутренний жар.

– Вот чудесная жирная устрица, милый Ноэ, – сказала Шарлотт. – Скушайте ее, одну только эту.

– Чудесная вещь – устрица, – заметил мистер Клейпол, проглотив ее. – Какая досада, что начинаешь плохо себя чувствовать, если съешь слишком много! Правда, Шарлотт?

– Это прямо-таки жестоко, – сказала Шарлотт.

– Совершенно верно, – согласился мистер Клейпол. – А вы любите устрицы?

– Не очень, – отвечала Шарлотт. – Мне приятнее смотреть, как вы их едите, милый Ноэ, чем самой их есть.

– Ах, боже мой... – раздумчиво сказал Ноэ. – Как странно!

– Еще одну! – предложила Шарлотт. – Вот эту, с такими красивыми, нежными ресничками.

– Больше не могу ни одной, – сказала Ноэ. – Очень печально... Подойдите ко мне, Шарлотт, я вас поцелую.

– Что такое? – вскричал мистер Бамбл, врываясь в комнату. – Повторите-ка это, сэр.

Шарлотт взвизгнула и закрыла лицо передником. Мистер Клейпол, оставаясь в прежней позе и только спустив ноги на пол, с пьяным ужасом взирал на бидла.

– Повторите-ка это, дерзкий, дрянной мальчишка, – продолжал Бамбл. – Как вы смее заикаться о таких вещах, сэр?.. А вы как смее подстрекать его, бесстыдная вертушка?.. Поцеловать ее! – воскликнул мистер Бамбл в сильнейшем негодовании. – Тьфу!

– Я вовсе этого не хотел, – захныкал Ноэ. – Она вечно сама меня целует, нравится мне это или не нравится.

– О Ноэ! – с упреком воскликнула Шарлотт.

– Да, целуешь. Сама знаешь, что целуешь, – возразил Ноэ. – Она всегда это делает, мистер Бамбл, сэр; она меня треплет по подбородку, сэр, и всячески ухаживает.

– Молчать!.. – строго прикрикнул мистер Бамбл. – Ступайте вниз, сударыня... Ноэ, закройте лавку. Вам не поздоровится, если вы еще хоть словечко пророните, пока не

вернется ваш хозяин. А когда он придет домой, передайте ему, что мистер Бамбл приказал прислать завтра утром, после завтрака, гроб для старухи. Слышите, сэръ?.. Целоваться! – воскликнул мистер Бамбл, воздев руки. – Поистине ужасна развращенность и греховность низших классов в этом приходе. Если парламент не обратит внимания на их гнусное поведение, погибла эта страна, а вместе с нею и нравственность крестьян!

С этими словами бидл величественно и мрачно покинул владения гробовщика.

А теперь, проводив домой бидла и покончив со всеми необходимыми приготовлениями для похорон старухи, справимся о юном Оливере Твисте и удостоверимся, лежит ли он еще в канаве, где его оставил Тоби Крекит.

Глава XXVIII

занимается Оливером Твистом и повествует о его приключениях

– Чтобы вам волки перегрызли глотку! – скрежеща зубами, бормотал Сайкс. – Попадись вы мне – вы бы у меня завыли.

Бормоча эти проклятия с самой безудержной злобой, на какую только способна была его натура. Сайкс опустил раненого мальчика на колени и на секунду повернул голову, чтобы разглядеть своих преследователей.

В темноте и тумане почти ничего нельзя было увидеть, но он слышал громкие крики, и со всех сторон доносился лай собак, разбуженных набатом.

– Стой, трусливая тварь! – крикнул разбойник вслед Тоби Крекиту, который, не щадя своих длинных ног, далеко опередил его. – Стой!

После второго окрика Тоби Крекит остановился как вкопанный. Он был не совсем уверен в том, что находится за пределами пистолетного выстрела, а Сайкс пребывал не в таком расположении духа, чтобы с ним шутить.

– Помоги нести мальчика! – крикнул Сайкс, злобно подзывая своего сообщника. – Вернись!

Тоби сделал вид, будто возвращается, но шел медленно и тихим голосом, прерывавшимся от одышки, осмелился выразить крайнее свое нежелание идти.

– Поторапливайся! – крикнул Сайкс, положив мальчика в сухую канаву у своих ног и вытаскивая из кармана пистолет. – Меня не проведешь.

В эту минуту шум усилился. Сайкс, снова оглянувшись, увидел, что гнавшиеся за ним люди уже перелезают через ворота в конце поля, а две собаки опередили их на несколько шагов.

– Все кончено, Билл! – крикнул Тоби. – Брось мальчишку и улепетывай!

Дав на прощание этот совет, мистер Крекит, предпочитая возможность умереть от руки своего друга уверенности в том, что он попадет в руки врагов, пустился наутек и помчался во всю прыть. Сайкс стиснул зубы, еще раз оглянувшись, накрыл распростертого Оливера плащом, в который его второпях завернули, побежал вдоль изгороди, чтобы отвлечь внимание преследователей от того места, где лежал мальчик, на момент приостановился перед другой изгородью, пересекавшей первую под прямым углом, и, выстрелив из пистолета в воздух, перемахнул через нее и скрылся.

– Хо, хо, сюда! – раздался сзади неуверенный голос. – Пинчер! Нептун! Сюда! Сюда!

Собаки, казалось, испытывали от забавы, которой предавались, не больше удовольствия, чем их хозяева, и с готовностью вернулись на зов. Трое мужчин, вышедшие к тому времени в поле, остановились и стали совещаться.

– Мой совет, или, пожалуй, следовало бы сказать – мой приказ: немедленно возвращаться домой, – произнес самый толстый из всех трех.

– Мне по вкусу все, что по вкусу мистеру Джайлсу, – сказал другой, пониже ростом, отнюдь не худощавый, но очень бледный и очень вежливый, каким часто бывает струсивший человек.

– Я бы не хотел оказаться невежей, джентльмены, – сказал третий, тот, что отозвал

собак. – Мистеру Джайлсу лучше знать.

– Разумеется, – ответил низкорослый. – И что бы ни сказал мистер Джайлс, не нам ему перечить. Нет, нет, я свое место знаю. Слава богу, я свое место знаю.

Сказать по правде, маленький человечек как будто и в самом деле знал свое место, и знал прекрасно, что оно отнюдь не завидно, ибо, когда он говорил, зубы у него стучали.

– Вы боитесь, Бритлс! – сказал мистер Джайлс.

– Я не боюсь, – сказал Бритлс.

– Вы боитесь! – сказал Джайлс.

– Вы лжец, мистер Джайлс! – сказал Бритлс.

– Вы лгун, Бритлс! – сказал мистер Джайлс.

Эти четыре реплики были вызваны попреком мистера Джайлса, а попрек мистера Джайлса был вызван его негодованием, ибо под видом комплимента на него возложили ответственность за возвращение домой. Третий мужчина рассудительно положил конец пререканиям.

– Вот что я вам скажу, джентльмены, – заявил он, – мы все боимся.

– Говорите о себе, сэр, – сказал мистер Джайлс, самый бледный из всей компании.

– Я о себе и говорю, – ответил сей джентльмен. – Бояться при таких обстоятельствах вполне естественно и уместно. Я боюсь.

– Я тоже, – сказал Бритлс. – Только зачем же так грубо попрекать этим человека!

Эти откровенные признания смягчили мистера Джайлса, который немедленно сознался, что и он боится, после чего все трое повернули назад и бежали с полным единодушием, пока мистер Джайлс (который был обременен вилами и начал задыхаться раньше всех) весьма любезно не предложил остановиться, так как он хочет принести извинение за свои необдуманные слова.

– Но вот что удивительно, – сказал мистер Джайлс, покончив с объяснениями, – чего только не сделает человек, когда кровь у него закипает! Я мог бы совершить убийство – знаю, что мог бы, если бы мы поймали одного из этих негодяев.

Так как другие двое чувствовали то же самое и так как кровь у них тоже совсем остыла, то они принялись рассуждать о причине этой внезапной перемены в их темпераменте.

– Я знаю причину, – сказал мистер Джайлс. – Ворота!

– Я бы не удивился, если б так оно и было! – воскликнул Бритлс, ухватившись за эту мысль.

– Можете не сомневаться, – сказал Джайлс, – это ворота охладили пыл. Перелезая через них, я почувствовал, как весь мой пыл внезапно улетучился.

По удивительному стечению обстоятельств другие двое испытали такое же неприятное ощущение в тот же самый момент. Итак, было совершенно очевидно, что всему причиной ворота; к тому же не оставалось никаких сомнений относительно момента, когда наступила перемена, ибо все трое припомнили, что как раз в эту минуту они увидели разбойников.

Этот разговор вели двое мужчин, спугнувшие взломщиков, и спавший в сарае странствующий лудильщик, которого разбудили, чтобы он со своими двумя дворнягами тоже принял участие в погоне. Мистер Джайлс исполнял обязанности дворецкого и управляющего в доме старой леди; Бритлс был на побегушках; поступив к ней на службу совсем ребенком, он все еще считался многообещающим юнцом, хотя ему уже шел четвертый десяток.

Подбодряя себя такими разговорами, но тем не менее держась поближе друг к другу и пугливо озираясь, когда ветви трещали под порывами ветра, трое мужчин бегом вернулись к дереву, позади которого оставили свой фонарь, чтобы свет его не надоумил грабителей, куда стрелять. Подхватив фонарь, они бодрой рысцой пустились к дому; и, когда уже нельзя было различить в темноте их фигуры, фонарь долго еще мерцал и плясал вдали, словно какой-то болотный огонек в сыром и нездоровом воздухе.

По мере того как приближался день, становилось все свежее, и туман клубился над землей, подобно густым облакам дыма. Трава была мокрая, тропинка и низины покрыты

жидкой грязью; с глухим воем лениво налетали порывы сырого, тлетворного ветра. Оливер по-прежнему лежал неподвижный, без чувств, там, где его оставил Сайкс.

Загоралось утро. Ветер стал более резким и пронизывающим, когда первые тусклые проблески рассвета, – скорее смерть ночи, чем рождение дня, – слабо забрезжили в небе. Предметы, казавшиеся расплывчатыми и страшными в темноте, постепенно вырисовывались все яснее и яснее и принимали свой обычный вид. Полил дождь, частый и сильный, и застучал по голым кустам. Но Оливер не чувствовал, как хлестал его дождь, потому что все еще лежал без сознания, беспомощный, распростертый на своем глинистом ложе.

Наконец, болезненный стон нарушил тишину, и с этим стоном мальчик очнулся. Левая его рука, кое-как обмотанная шарфом, повисла тяжелая и бессильная; повязка была пропитана кровью. Он так ослабел, что ему едва удалось приподняться и сесть; усевшись, он с трудом огляделся кругом в надежде на помощь и застонал от боли. Дрожа всем телом от холода и слабости, он сделал попытку встать, но, содрогнувшись с головы до ног, как подкошенный упал на землю.

Когда он очнулся от короткого обморока, подобного тому, в который он был так долго погружен, Оливер, побуждаемый дурнотой, подползавшей к сердцу и словно предупреждавшей его, что он умрет, если останется здесь лежать, поднялся на ноги и попытался идти. Голова у него кружилась, и он шатался, как пьяный. Однако он удержался на ногах и, устало свесив голову на грудь, побрел, спотыкаясь, вперед, сам не зная куда.

И тогда в его сознании возникли какие-то сбивчивые, неясные образы. Ему чудилось, будто он все еще шагает между Сайксом и Крекитом, которые сердито переругиваются, – даже те слова, какими они обменивались, звучали у него в ушах; а когда он, сделав невероятное усилие, чтобы не упасть, пришел в себя, то обнаружил, что он сам разговаривал с ними. Потом он остался один с Сайксом и брел вперед, как накануне; а когда мимо проходили призрачные люди, он чувствовал, как Сайкс сжимает ему руку. Вдруг он отшатнулся, услышав выстрелы; раздались громкие вопли и крики; перед глазами замелькали огни; вокруг был шум и грохот; чья-то невидимая рука увлекла его прочь. В то время как быстро сменялись эти видения, его не покидало смутное ощущение какой-то боли, которая не давала ему покоя.

Так плелся он, шатаясь, вперед, пролезал, чуть ли не машинально, между перекладинами ворот и в проломы изгородей, попадавших ему на пути, пока не вышел на дорогу. Тут начался такой ливень, что мальчик пришел в себя.

Он осмотрелся по сторонам и неподалеку увидел дом, до которого, пожалуй, мог бы добраться. Быть может, там, видя печальное его состояние, сжалятся над ним, а если и не сжалятся, подумал он, то все-таки лучше умереть близ людей, чем в пустынном открытом поле. Он собрал все свои силы для этого последнего испытания и нетвердыми шагами направился к дому.

Когда он подошел ближе, ему показалось, что он уже видел его раньше. Деталей он не помнил, но дом был ему как будто знаком.

Стена сада! На траве, за стеной, он упал прошлой ночью на колени и молил тех, двоих, о сострадании. Это был тот самый дом, который они хотели ограбить.

Узнав его, Оливер так испугался, что на секунду забыл о мучительной ране и думал только о бегстве. Бежать! Но он едва держался на ногах, и если бы даже силы не покинули его хрупкого детского тела, куда было ему бежать? Он толкнул калитку: она была не заперта и распахнулась. Спотыкаясь, он пересек лужайку, поднялся по ступеням, слабой рукой постучал в дверь, но тут силы ему изменили, и он опустился на ступеньку, прислонившись спиной к одной из колонн маленького портика.

Случилось так, что в это время мистер Джайлс, Бритлс и лудильщик после трудов и ужасов этой ночи подкреплялись в кухне чаем и всякой снедью. Нельзя сказать, чтобы мистер Джайлс привык терпеть излишнюю фамильярность со стороны простых слуг, по отношению к которым держал себя с величественной приветливостью, каковая была им приятна, но все же не могла не напомнить о его более высоком положении в обществе. Но

смерть, пожар и грабеж делают всех равными; вот почему мистер Джайлс сидел, вытянув ноги перед решеткой очага и облокотившись левой рукой на стол, правой пояснял детальный и обстоятельный рассказ о грабеже, которому его слушатели (в особенности же кухарка и горничная, находившиеся в этой компании) внимали с безграничным интересом.

– Было это около половины третьего... – начал мистер Джайлс, – поклясться не могу, быть может около трех... когда я проснулся и повернулся на кровати, скажем, вот так (тут мистер Джайлс повернулся на стуле и натянул на себя край скатерти, долженствующей изображать одеяло), как вдруг мне послышался шум...

Когда рассказчик дошел до этого места в своем повествовании, кухарка побледнела и попросила горничную закрыть дверь; та попросила Бритлса, тот попросил лудильщика, а тот сделал вид, что не слышит.

– ...послышался шум, – продолжал мистер Джайлс. – Сначала я сказал себе: «Мне почудилось», – и приготовился уже опять заснуть, как вдруг снова, на этот раз ясно, услышал шум.

– Какой это был шум? – спросила кухарка.

– Как будто что-то затрещало, – ответил мистер Джайлс, поглядывая по сторонам.

– Нет, вернее, будто кто-то водил железом по терке для мускатных орехов, – подсказал Бритлс.

– Так оно и было, когда вы, сэр, услышали шум, – возразил мистер Джайлс, – но в ту минуту это был какой-то треск. Я откинул одеяло, – продолжал Джайлс, отвернув край скатерти, – уселся в постели и прислушался.

Кухарка и горничная в один голос воскликнули: «Ах, боже мой!» – и ближе придвинулись друг к другу.

– Теперь я совершенно отчетливо слышал шум, – повествовал мистер Джайлс. – «Кто-то, говорю я себе, взламывает дверь или окно. Что делать? Разбужу-ка я этого бедного парнишку Бритлса, спасу его, чтобы его не убили в кровати, а не то, говорю я, он и не услышит, как ему перережут горло от правого уха до левого».

Тут все взоры обратились на Бритлса, который воззрился на рассказчика и тарачил на него глаза, широко разинув рот и всей своей физиономией выражая беспредельный ужас.

– Я отшвырнул одеяло, – продолжал Джайлс, отбрасывая край скатерти и очень сурово глядя на кухарку и горничную, – потихоньку спустился с кровати, натянул пару...

– Мистер Джайлс, здесь дамы, – прошептал лудильщик.

– ...башмаков, сэр, – сказал Джайлс, поворачиваясь к – нему и особо подчеркивая это слово, – схватил заряженный пистолет, который всегда относят наверх вместе с корзиной со столовым серебром, и на цыпочках вышел к нему в комнату. «Бритлс, говорю я, разбудив его, не пугайся!..»

– Да, вы это сказали, – тихим голосом вставил Бритлс.

– «Мне кажется, твоя песенка спета, Бритлс, говорю я, – продолжал Джайлс, – но ты не пугайся».

– А он испугался? – спросила кухарка.

– Ничуть, – ответил мистер Джайлс. – Он был так же тверд... да, почти так же тверд, как и я.

– Право же, будь я на его месте, я бы тут же умерла, – заметила горничная.

– Вы – женщина, – возразил Бритлс, слегка приободрившись.

– Бритлс прав, – сказал мистер Джайлс, одобрительно кивая головой, – ничего другого и ждать нельзя от женщины. Но мы, мужчины, взяли потайной фонарь, стоявший на камине у Бритлса, и ошупью, в непроглядной тьме, спустились по лестнице – скажем, вот так...

Сопровождая свой рассказ соответствующими жестами, мистер Джайлс встал и сделал два шага с закрытыми глазами, но вдруг сильно вздрогнул, так же как и все остальные, и бросился назад к своему стулу. Кухарка и горничная взвизгнули.

– Кто-то постучал, – сказал мистер Джайлс, притворяясь безмятежно спокойным. – Пусть кто-нибудь откроет дверь.

Никто не шевельнулся.

– Довольно странно – стук в такой ранний час, – сказал мистер Джайлс, окинув взглядом бледные лица окружающих, да и сам он очень побледнел, – но дверь открыть нужно. Кто-нибудь, слышите?

При этом мистер Джайлс посмотрел на Бритлса, но сей молодой человек, будучи от природы скромным, должно быть почитал себя никем и, следовательно, полагал, что этот вопрос не имеет к нему ни малейшего отношения: во всяком случае он ничего не ответил. Мистер Джайлс перевел умоляющий взгляд на лудильщика, но тот внезапно заснул. О женщинах не могло быть и речи.

– Если Бритлс согласится отпереть дверь в присутствии свидетелей, – сказал после короткого молчания мистер Джайлс, – я готов быть одним из них.

– Я также, – сказал лудильщик, проснувшись так же внезапно, как и заснул.

На этих условиях Бритлс сдался, и вся компания, слегка успокоенная открытием (сделанным, когда распахнули ставни), что уже совсем рассвело, стала подниматься по лестнице – впереди шли собаки. Обе женщины, боясь оставаться внизу, замыкали шествие. По совету мистера Джайлса, все говорили очень громко, предупреждая любого находящегося снаружи злоумышленника, что их очень много; а в прихожей, приводя в исполнение гениальный план, родившийся в голове того же изобретательного джентльмена, собак больно дергали за хвост, чтобы они подняли отчаянный лай.



Когда эти меры предосторожности были приняты, мистер Джайлс крепко уцепился за руку лудильщика (чтобы тот не убежал, как любезно пояснил он) и дал приказ открыть дверь. Бритлс повиновался; остальные, боязливо выглядывая друг из-за друга, не увидели ничего устрашающего, кроме бедного, маленького Оливера Твиста. От слабости он не мог говорить, только поднял отяжелевшие веки и безмолвно молил о сострадании.

– Мальчик! – воскликнул мистер Джайлс, храбро оттесняя на задний план лудильщика. – Что с ним такое... а?... Что? Бритлс... Взгляни-ка... Ты узнаешь?

Не успел Бритлс – он отступил за дверь (чтобы открыть ее) – увидеть Оливера, как у него вырвался громкий крик. Мистер Джайлс, схватив Оливера за ногу и за руку (к счастью, за здоровую руку), втащил его прямо в холл и положил на пол.

– Вот он! – заорал Джайлс, в сильнейшем возбуждении поворачиваясь лицом к лестнице. – Вот один из грабителей, сударыня! Вот он, грабитель, мисс! Он ранен, мисс! Я его подстрелил, а Бритлс мне светил.

– Держал фонарь, мисс! – крикнул Бритлс, приложив руку ко рту так, чтобы голос его звучал громче.

Обе служанки бросились наверх сообщить о том, что мистер Джайлс поймал грабителя, а лудильщик старался привести в чувство Оливера, чтобы тот не умер раньше, чем его можно будет повесить. Среди этого шума и суматохи послышался нежный женский голос, сразу водворивший тишину.

– Джайлс! – прошептал голос с верхней площадки лестницы.

– Я здесь, мисс, – отозвался мистер Джайлс. – Не пугайтесь, мисс, я не очень пострадал. Он не оказывал отчаянного сопротивления, мисс! Я быстро с ним справился.

– Тише! – сказала молодая леди. – Вы пугаете мою тетю не меньше, чем напугали ее воры... Бедняжка, он тяжело ранен?

– Ужасно, мисс! – ответил Джайлс с неописуемым самодовольством.

– Похоже на то, что он сейчас помрет, мисс, – заорал Бритлс тем же голосом. – Не угодно ли вам спуститься вниз и поглядеть на него, мисс, на случай если он помрет?

– Будьте добры, пожалуйста, потише! – сказала леди. – Подождите тихонько одну минутку, пока я переговорю с тетей.

И она вышла из комнаты, – поступь у нее была такая же мягкая, как и голос. Вскоре она вернулась и отдала распоряжение, чтобы раненого осторожно перенесли наверх, в комнату мистера Джайлса, а Бритлс пусть оседлает пони и немедленно отправляется в Чертей, откуда должен как можно скорее прислать констебля и доктора.

– Не хотите ли взглянуть на него сначала, мисс? – спросил мистер Джайлс с такой гордостью, как будто Оливер был птицей с диковинным оперением, которую он ловко подстрелил. – Один разочек, мисс?

– Нет, не сейчас, ни за что на свете, – ответила молодая леди. – Бедняжка! О Джайлс, обращайтесь с ним ласково, ради меня!

Старый слуга посмотрел на говорившую, когда она повернулась, чтобы уйти, с такой гордостью и восхищением, словно она была его детищем. Потом, наклонившись к Оливеру, он заботливо и осторожно, как женщина, помог перенести его наверх.

Глава XXIX

сообщает предварительные сведения об обитателях дома, в котором нашел пристанище Оливер

В уютной комнате, хотя обстановка ее свидетельствовала скорее о старомодном комфорте, чем о современной роскоши, сидели за изысканно сервированным завтраком две леди. Им прислуживал мистер Джайлс, одетый в благопристойную черную пару. Он занимал позицию на полпути между буфетом и столом; выпрямившись во весь рост, откинув голову и слегка склонив ее набок, левую ногу выставив вперед, а правую руку заложив за борт

жилета, тогда как в опущенной левой руке у него был поднос, он имел вид человека, который с большой приятностью сознает собственные свои заслуги и значение.

Что касается двух леди, то одна была уже пожилой, но держалась так же прямо, как высокая спинка дубового кресла, в котором она сидела. Одета очень изысканно и строго в старомодное платье, причудливо допускающее некоторые уступки последней моде, которые не только не вредили общему впечатлению, но скорее изящно подчеркивали старый стиль, она сидела с величественным видом, сложив перед собой руки на столе. Глаза ее (а годы почти не затуманили их блеска) смотрели пристально на молодую ее собеседницу.

Для младшей леди наступил очаровательный расцвет, весенняя пора женственности – тот возраст, когда, не впадая в кошунство, можно предположить, что в подобные создания вселяются ангелы, если бог, во имя благих своих целей, когда-нибудь заключает их в смертную оболочку.

Ей было не больше семнадцати лет. Облик ее был так хрупок и безупречен, так нежен и кроток, так чист и прекрасен, что казалось, земля – не ее стихия, а грубые земные существа – не подходящие для нее спутники. Даже ум, светившийся в ее глубоких синих глазах и запечатленный на благородном челе, казалось, не соответствовал ни возрасту ее, ни этому миру; но мягкость и добросердечие, тысячи отблесков света, озарявших ее лицо и не оставлявших на нем тени, а главное, улыбка, прелестная, радостная улыбка, были созданы для семьи, для мира и счастья у домашнего очага.

Она усердно хозяйничала за столом. Случайно подняв глаза в ту минуту, когда старая леди смотрела на нее, она весело откинула со лба волосы, скромно причесанные, и ее сияющий взор выразил столько любви и подлинной нежности, что духи небесные улыбнулись бы, на нее глядя.

– Уже больше часу прошло, как уехал Бритлс, не правда ли? – помолчав, спросила старая леди.

– Час двадцать минут, сударыня, – ответил мистер Джайлс, справившись по часам, которые вытащил за черную ленту.

– Он всегда медлит, – сказала старая леди.

– Бритлс всегда был медлительным парнишкой, сударыня, – отозвался слуга.

Кстати, если принять во внимание, что Бритлс был неповоротливым парнишкой вот уже тридцать лет, казалось маловероятным, чтобы он когда-нибудь сделался проворным.

– Мне кажется, что он становится не лучше, а хуже, – заметила пожилая леди.

– Совершенно непростительно, если он мешкает, играя с другими мальчиками, – улыбаясь, сказала молодая леди.

Мистер Джайлс, по-видимому, раздумывал, уместно ли ему позволить себе почтительную улыбку, но в эту минуту к калитке сада подъехала двуколка, откуда выпрыгнул толстый джентльмен, который побежал прямо к двери и, каким-то таинственным способом мгновенно проникнув в дом, ворвался в комнату и чуть не опрокинул и мистера Джайлса и стол, накрытый для завтрака.

– Никогда еще я не слыхивал о такой штуке! – воскликнул толстый джентльмен. – Дорогая моя миссис Мэйли... ах, боже мой!.. и вдобавок под покровом ночи... никогда еще я не слыхивал о такой штуке!

Выразив таким образом свое соболезнование, толстый джентльмен пожал руку обеим леди и, придвинув стул, осведомился, как они себя чувствуют.

– Вы могли умереть, буквально умереть от испуга, – сказал толстый джентльмен. – Почему вы не послали за мной? Честное слово, мой слуга явился бы через минуту, а также и я, да и мой помощник рад был бы помочь, как и всякий при таких обстоятельствах. Боже мой, боже мой! Так неожиданно! И вдобавок под покровом ночи.

Казалось, доктор был особенно встревожен тем, что попытка ограбления была предпринята неожиданно и в ночную пору, словно у джентльменов-взломщиков установился обычай обделывать свои дела в полдень и предупреждать по почте за день – за два.

– А вы, мисс Роз, – сказал доктор, обращаясь к молодой леди, – я...

– Да, конечно, – перебила его Роз, – но тетя хочет, чтобы вы осмотрели этого беднягу, который лежит наверху.

– Да, да, разумеется, – ответил доктор. – Совершенно верно! Насколько я понял, это ваших рук дело, Джайлс.

Мистер Джайлс, лихорадочно убиравший чашки, густо покраснел и сказал, что эта честь принадлежит ему.

– Честь, а? – переспросил доктор. – Ну, не знаю, быть может, подстрелить вора в кухне так же почетно, как и застрелить человека на расстоянии двенадцати шагов. Вообразите, что он выстрелил в воздух, а вы дрались на дуэли, Джайлс.

Мистер Джайлс, считавший такое легкомысленное отношение к делу несправедливой попыткой умалить его славу, почтительно отвечал, что не ему судить об этом, однако, по его мнению, противной стороне было не до шуток.

– Да, правда! – воскликнул доктор. – Где он? Проводите меня. Я еще загляну сюда, когда спущусь вниз, миссис Мэйли. Это то самое оконце, в которое он влез, да? Ну, ни за что бы я этому не поверил!

Болтая без умолку, он последовал за мистером Джайлсом наверх. А пока он поднимается по лестнице, можно поведать читателю, что мистер Лосберн, местный лекарь, которого знали на десять миль вокруг просто как «доктора», растолстел скорее от добродушия, чем от хорошей жизни, и был таким милым, сердечным и к тому же чудаковатым старым холостяком, какого ни один исследователь не сыскал бы в округе и в пять раз большей.

Доктор отсутствовал гораздо дольше, чем предполагал он сам и обе леди. Из двуколки принесли большой плоский ящик; в спальне очень часто звонили в колокольчик, а слуги все время сновали вверх и вниз по лестнице; на основании этих признаков было сделано справедливое заключение, что наверху происходит нечто очень серьезное. Наконец, доктор вернулся и в ответ на тревожный вопрос о своем пациенте принял весьма таинственный вид и старательно притворил дверь.

– Это из ряда вон выходящий случай, миссис Мэйли, – сказал доктор, прислонившись спиной к двери, словно для того, чтобы ее не могли открыть.

– Неужели он в опасности? – спросила старая леди.

– Принимая во внимание все обстоятельства, в этом не было бы ничего из ряда вон выходящего, – ответил доктор, – впрочем, полагаю, что опасности нет. Вы видели этого вора?

– Нет, – ответила старая леди.

– И ничего о нем не слышали?

– Ничего.

– Прошу прощения, сударыня, – вмешался мистер Джайлс, – я как раз собирался рассказать вам о нем, когда вошел доктор Лосберн.

Дело в том, что сначала мистер Джайлс не в силах был признаться, что подстрелил он всего-навсего мальчика. Таких похвал удостоилась его доблесть, что он решительно не мог не отложить объяснения хотя бы на несколько восхитительных минут, в течение коих пребывал на самой вершине мимолетной славы, которую стяжал непоколебимым мужеством.

– Роз не прочь была посмотреть на него, – сказала миссис Мэйли, – но я и слышать об этом не хотела.

– Гм! – отозвался доктор. – На вид он совсем не страшный. Вы не возражаете против того, чтобы взглянуть на него в моем присутствии?

– Конечно, если это необходимо, – ответила старая леди.

– Я считаю это необходимым, – сказал доктор. – Во всяком случае, я совершенно уверен, что вы очень пожалеете, если будете откладывать и не сделаете этого. Сейчас он лежит тихо и спокойно. Разрешите мне... мисс Роз, вы позволите? Клянусь честью, нет никаких оснований бояться!

Глава XXX

**повествует о том, что подумали об Оливере новые лица,
посетившие его**

Твердя о том, что они будут приятно изумлены видом преступника, доктор продел руку молодой леди под свою и, предложив другую, свободную руку миссис Мэйли, повел их церемонно и торжественно наверх.

– А теперь, – прошептал доктор, тихонько поворачивая ручку двери в спальню, – послушаем, что вы о нем скажете. Он давненько не брился, но тем не менее вид у него совсем не свирепый. А впрочем, постойте! Сначала я посмотрю, готов ли он к приему гостей.

Опередив их, он заглянул в комнату. Потом, дав знак следовать за ним, впустил их, закрыл за ними дверь и осторожно откинул полог кровати. На ней вместо закоснелого, мрачного злодея, которого ожидали они увидеть, лежал худой, измученный болью ребенок, погруженный в глубокий сон. Раненая его рука в лубке лежала на груди; голова покоилась на другой руке, полускрытой длинными волосами, разметавшимися по подушке.

Достойный джентльмен придерживал полог рукой и с минуту смотрел на мальчика молча. Пока он наблюдал пациента, молодая леди тихонько проскользнула мимо него и, опустившись на стул у кровати, откинула волосы с лица Оливера. Когда она наклонилась к нему, ее слезы упали ему на лоб.

Мальчик зашевелился и улыбнулся во сне, словно эти знаки жалости и сострадания пробудили какую-то приятную мечту о любви и ласке, которых он никогда не знал. Так же точно нежная мелодия, журчание воды в тишине, запах цветка или знакомое слово иной раз внезапно вызывают смутное воспоминание о том, чего никогда не было в этой жизни, – воспоминание, которое исчезает, как вздох, которое пробуждено какой-то мимолетной мыслью о более счастливом существовании, давно минувшем, – воспоминание, которое нельзя вызвать, сознательным напряжением памяти.

– Что же это значит? – воскликнула пожилая леди. – Этот бедный ребенок не мог быть подручным грабителей.

– Порок находит себе пристанище во многих храмах, – со вздохом сказал врач, опуская полог, – и кто может сказать, что ему не служит обителью прекрасная оболочка?

– Но в таком юном возрасте? – возразила Роз.

– Милая моя молодая леди, – произнес врач, горестно покачивая головой, – преступление, как и смерть, простирает свою власть не только на старых и дряхлых. Самые юные и прекрасные слишком часто бывают повинны в нем.

– Но неужели... о, неужели вы можете допустить, что этот хрупкий мальчик был добровольным сообщником самых отвратительных отщепенцев? – сказала Роз.

Доктор покачал головой, давая понять, что это весьма возможно; предупредив, чтоб они не потревожили больного, он повел их в соседнюю комнату.

– Но даже если он развращен, – продолжала Роз, – подумайте, как он молод. Подумайте, что, быть может, он никогда не знал ни материнской любви, ни домашнего уюта. Может быть, дурное обращение, побои или голод заставили его сойтись с людьми, которые принудили его пойти на преступление... Тетя, милая тетя, ради бога, подумайте об этом, прежде чем позволите бросить этого больного ребенка в тюрьму, где, конечно, будет погребена последняя надежда на его исправление! О, вы меня любите, вы знаете, что благодаря вашей ласке и доброте я никогда не чувствовала своего сиротства, но я могла бы его почувствовать, могла быть такой же беспомощной и беззащитной, как это бедное дитя! Так сжальтесь же над ним, пока еще не поздно!

– Дорогая моя, – сказала пожилая леди, прижимая к груди плачущую девушку, – неужели ты думаешь, что я трону хоть один волосок на его голове?

– О нет! – с жаром воскликнула Роз.

– Конечно, нет, – подтвердила старая леди. – Жизнь моя клонится к закату, и я в

надежде на милосердие ко мне стараюсь быть милосердной к людям... Что мне делать, чтобы спасти его, сэр?

– Дайте подумать, сударыня, – сказал доктор, – дайте подумать...

Мистер Лосберн засунул руки в карманы и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, часто останавливаясь, приподнимаясь на цыпочки и грозно хмурясь. Многократно восклицая: «придумал!» и «нет, не то!» – он снова принимался ходить с нахмуренными бровями и, наконец, остановился и произнес:

– Мне кажется, если вы мне позволите как следует припугнуть Джайлса и мальчугана Бритлса, я с этим делом справлюсь. Знаю, что Джайлс – преданный человек и старый слуга, но у вас есть тысяча способов поладить с ним и вдобавок наградить за меткую стрельбу. Вы против этого не возражаете?

– Если нет другого способа спасти ребенка, – ответила миссис Мэйли.

– Никакого другого способа нет, – сказал доктор. – Никакого! Можете поверить мне на слово.

– В таком случае тетя облакает вас неограниченной властью, – улыбаясь сквозь слезы, сказала Роз. – Но, прошу вас, не будьте с этими бедняками строже, чем это необходимо.

– Вы как будто считаете, мисс Роз, – возразил доктор, – что сегодня все, кроме вас, склонны к жестокосердию. Могу лишь надеяться, ради блага подрастающих представителей мужского пола, что первый же достойный юноша, который будет взывать к вашему состраданию, найдет вас в таком же чувствительном и мягкосердечном расположении духа. И хотел бы я быть юношей, чтобы тут же воспользоваться таким благоприятным случаем, какой представляется сегодня.

– Вы такой же взрослый ребенок, как и бедняга Бритлс, – зардевшись, сказала Роз.

– Ну что же, – от души рассмеялся доктор, – это не так уж трудно. Но вернемся к мальчику. Нам еще предстоит обсудить основной пункт нашего соглашения. Полагаю, он проснется через час. И хотя я сказал этому тупоголовому констеблю там, внизу, что мальчика нельзя беспокоить и нельзя разговаривать с ним без риска для его жизни, я думаю, мы можем с ним побеседовать, не подвергая его опасности. Я ставлю такое условие: я его спрошу в вашем присутствии, и, если на основании его слов мы заключим, к полному удовлетворению трезвых умов, что он окончательно испорчен (а это более чем вероятно), мальчик будет предоставлен своей судьбе, – я, во всяком случае, больше вмешиваться не стану.

– О нет, тетя! – взмолилась Роз.

– О да, тетя! – перебил доктор. – Решено?

– Он не может быть закоснелым негодяем! – сказала Роз. – Это невыносимо.

– Прекрасно! – заявил доктор. – Значит, тем больше оснований принять мое предложение.

В конце концов договор был заключен, и обе стороны с некоторым нетерпением стали ждать, когда проснется Оливер.

Терпению обеих леди предстояло более длительное испытание, чем предсказал им мистер Лосберн, ибо час проходил за часом, а Оливер все еще спал тяжелым сном. Был уже вечер, когда сердобольный доктор принес им весть, что Оливер достаточно оправился, чтобы можно было с ним говорить. Мальчик, по словам доктора, был очень болен и ослабел от потери крови, но ему так мучительно хотелось о чем-то сообщить, что доктор предпочел дать ему эту возможность и не настаивал, чтобы его не беспокоили до утра; иначе он не преминул бы настоять на этом.

Долго тянулась беседа. Несложную историю своей жизни Оливер рассказал им со всеми подробностями, а боль и упадок сил часто заставляли его умолкать. Печально звучал в затемненной комнате слабый голос больного ребенка, развертывавшего длинный список обид и бед, навлеченных на него жестокими людьми. О, если бы мы, угнетая и притесняя своих ближних, задумались хоть однажды над ужасными уликами человеческих заблуждений, – уликами, которые, подобно густым и тяжелым облакам, поднимаются

медленно, но неуклонно к небу, чтобы обрушить отмщение на наши головы! О, если бы мы хоть на миг услышали в воображении своем глухие, обличающие голоса мертвецов, которые никакая сила не может заглушить и никакая гордыня не заставит молчать! Что осталось бы тогда от оскорблений и несправедливости, от страданий, нищеты, жестокости и обид, какие приносит каждый день жизни!

В тот вечер подушку Оливера оправили ласковые руки, и красота и добродетель бодрствовали над ним, пока он спал. Он был спокоен и счастлив и мог бы умереть безропотно.

Как только закончилась знаменательная беседа и Оливер снова начал засыпать, доктор, вытерев глаза и в то же время попрекнув их за слабость, спустился вниз, чтобы открыть действия против мистера Джайлса.

Не найдя никого в парадных комнатах, он подумал, что, может быть, достигнет больших успехов, если начнет кампанию в кухне; итак, он отправился в кухню.

Здесь, в нижней палате домашнего парламента, собрались служанки, мистер Бритлс, мистер Джайлс, лудильщик (который, в награду за оказанные услуги, получил специальное приглашение угощаться до конца дня) и констебль. У сего последнего джентльмена был большой жезл, большая голова, крупные черты лица и огромные башмаки, и он имел вид человека, который выпивает соответствующее количество эля, как оно и было в действительности.

Предметом обсуждения все еще служили приключения прошлой ночи, ибо, когда доктор вошел, мистер Джайлс разглагольствовал о своем присутствии духа; мистер Бритлс с кружкой эля в руке подтверждал каждое слово, прежде чем его успевал выговорить его начальник.

– Не вставайте, – сказал доктор, махнув им рукой.

– Благодарю вас, сэр, – отозвался мистер Джайлс. – Хозяйка распорядилась выдать нам эля, сэр, а так как я не чувствовал ни малейшего расположения идти к себе в комнату, сэр, и хотел побыть в компании, то вот и распиваю здесь с ними.

Бритлс первый, а за ним все леди и джентльмены тихим шепотом выразили то удовлетворение, какое им доставила снисходительность мистера Джайлса. Мистер Джайлс с покровительственным видом осмотрелся вокруг, как бы говоря, что пока они будут держать себя пристойно, он их не покинет.

– Как себя чувствует сейчас больной, сэр? – спросил Джайлс.

– Неважно, – ответил доктор. – Боюсь, что вы попали в затруднительное положение, мистер Джайлс.

– Надеюсь, сэр, – задрожав, начал мистер Джайлс, – вы не хотите этим сказать, что он умрет? Если бы я так думал, я бы навсегда потерял покой. Ни одного мальчика я бы не согласился погубить – даже вот этого Бритлса, – не согласился бы за все столовое серебро в графстве, сэр.

– Не в этом дело... – таинственно сказал доктор. – Мистер Джайлс, вы протестант?

– Да, сэр, надеюсь, – заикаясь, проговорил мистер Джайлс.

– А вы кто, молодой человек? – спросил доктор, резко поворачиваясь к Бритлсу.

– Господи помилуй, сэр, – вздрогнув, сказал Бритлс. – Я... я то же самое, что и мистер Джайлс, сэр.

– В таком случае, – продолжал доктор, – отвечайте вы оба, да, оба: готовы ли вы показать под присягой, что этот мальчик, там наверху, – тот самый, которого просунули прошлой ночью в окошко? Отвечайте! Ну? Мы вас слушаем.

Доктор, которого все считали одним из благодушнейших людей в мире, задал этот вопрос таким разгневанным тоном, что Джайлс и Бритлс, в достаточной мере возбужденные и одурманенные элем, остолбенев, посмотрели друг на друга.

– Слушайте внимательно, констебль, – сказал доктор, весьма торжественно погрозив указательным пальцем и постучав им по переносице, чтобы вызвать к жизни всю пронизательность сего достойного человека. – Сейчас кое-что должно обнаружиться.

Констебль принял самый глубокомысленный вид, какой только мог, и взял свой служебный жезл, который стоял без дела в углу у камина.

– Как видите, это вопрос об установлении личности, – сказал доктор.

– Совершенно верно, сэр, – ответил констебль, жестоко закашлявшись, так как с излишней поспешностью допил свой эль, который и попал ему не в то горло.

– В дом вламываются воры, – продолжал – доктор, – и два человека видят мельком в темноте, в самый разгар тревоги и сквозь пороховой дым какого-то мальчика. Наутро к этому самому дому подходит мальчик, и только потому, что рука у него завязана, эти люди грубо хватают его – чем подвергают серьезной опасности его жизнь – и клянутся, что он вор. Возникает вопрос: оправдано ли поведение этих людей, а если не оправдано, то в какое же положение они себя ставят?

Констебль глубокомысленно кивнул головой. Он сказал, что если это не законный поступок, то хотелось бы ему знать, что же это такое?

– Я вас спрашиваю еще раз, – громовым голосом произнес доктор, – можете ли вы торжественно поклясться, что это тот самый мальчик?

Бритлс нерешительно посмотрел на мистера Джайлса, мистер Джайлс нерешительно посмотрел на Бритлса; констебль поднял руку к уху, чтоб уловить ответ; обе женщины и лудильщик наклонились вперед, чтобы лучше слышать; доктор зорко осматривался кругом, как вдруг у ворот раздался звонок и в то же время послышался стук колес.

– Это полицейские сыщики! – воскликнул Бритлс, по-видимому почувствовав большое облегчение.

– Что такое? – вскричал доктор, который теперь, в свою очередь, пришел в ужас.

– Агенты с Боу-стрит, сэр, – ответил Бритлс, беря свечу. – Мы с мистером Джайлсом послали за ними сегодня утром.

– Послали, вот как! Так будь же прокляты ваши... ваши здешние кареты – они еле тащатся! – сказал доктор, выходя из кухни.

Глава XXXI

повествует о критическом положении

– Кто там? – спросил Бритлс, приоткрыл дверь и, не сняв цепочки, выглянул, заслоня рукой свечу.

– Откройте дверь, – отозвался человек, стоявший снаружи. – Это агенты с Боу-стрит, за которыми посылали сегодня.

Совершенно успокоенный этим ответом, Бритлс широко распахнул дверь и увидел перед собой осанистого человека в пальто, который вошел, не говоря больше ни слова, и вытер ноги о циновку с такой невозмутимостью, как будто здесь жил.

– Ну-ка, молодой человек, пошлите кого-нибудь сменить моего приятеля, – сказал агент. – Он остался в двуколке, присматривает за лошадью. Есть у вас тут каретный сарай, куда бы можно было ее поставить минут на пять – десять?

Когда Бритлс дал утвердительный ответ и указал им строение, осанистый человек вернулся к воротам и помог своему спутнику поставить в сарай двуколку, в то время как Бритлс в полном восторге светил им. Покончив с этим, они направились в дом и, когда их ввели в гостиную, сняли пальто и шляпы и предстали во всей красе.

Тот, что стучал в дверь, был человеком крепкого сложения, лет пятидесяти, среднего роста, с лоснящимися черными волосами, довольно коротко остриженными, с бакенами, круглой физиономией и зоркими глазами. Второй был рыжий, костлявый, в сапогах с отворотами; у него было некрасивое лицо и вздернутый, зловещего вида нос.

– Доложите вашему хозяину, что приехали Блетерс и Дафф, слышите? – сказал человек крепкого сложения, приглаживая волосы и кладя на стол пару наручников. – А, добрый вечер, сударь! Разрешите сказать вам словечко наедине.

Эти слова были обращены к мистеру Лосберну, входившему в комнату; сей

джентльмен, знаком приказав Бритлсу удалиться, ввел обеих леди и закрыл дверь.

– Вот хозяйка дома, – сказал мистер Лосберн, указывая на миссис Мэйли.

Мистер Блетерс поклонился. Получив приглашение сесть, он положил шляпу на пол и, усевшись, дал знак Даффу последовать его примеру. Сей джентльмен, который либо был менее привычен к хорошему обществу, либо чувствовал себя в нем менее свободно, уселся после ряда судорожных движений и в замешательстве засунул в рот набалдашник своей трости.

– Теперь займемся этим грабежом, сударь, – сказал Блетерс. – Каковы обстоятельства дела?

Мистер Лосберн, хотевший, казалось, выиграть время, рассказал о них чрезвычайно подробно и с многочисленными отклонениями. Господа Блетерс и Дафф имели весьма проницательный вид и изредка обменивались кивками.

– Конечно, я ничего не могу утверждать, пока не увижу место происшествия, – сказал Блетерс, – но сейчас мое мнение, – и в этих пределах я готов раскрыть свои карты, – мое мнение, что это сработано не какой-нибудь деревенщиной. А, Дафф?

– Разумеется, – отозвался Дафф.

– Если перевести этим дамам слово «деревенщина», вы, насколько я понимаю, считаете, что это было совершено не деревенским жителем? – с улыбкой спросил мистер Лосберн.

– Именно, сударь, – ответил Блетерс. – Больше никаких подробностей о грабеже?

– Никаких, – сказал доктор.

– А что это толкуют слуги о каком-то мальчике? – спросил Блетерс.

– Пустяки, – сказал доктор. – Один из слуг с перепугу вбил себе в голову, что мальчик имеет какое-то отношение к этим разбойникам. Но это вздор, сушая чепуха.

– А если так, то очень легко с этим разделаться, – заметил доктор.

– Он правильно говорит, – подтвердил Блетерс, одобрительно кивнув головой и небрежно играя наручниками, словно парой кастаньет. – Кто этот мальчик? Что он о себе рассказывает? Откуда он пришел? Ведь не с неба же он свалился, сударь?

– Конечно, нет, – отозвался доктор, бросив беспокойный взгляд на обеих леди. – Вся его история мне известна, но об этом мы можем потолковать позднее. Полагаю, вам сначала хотелось бы увидеть, где воры пытались пробраться в дом?

– Разумеется, – подхватил мистер Блетерс. – Лучше мы сначала осмотрим место, а потом допросим слуг. Так принято расследовать дело.

Принесли свет, и господа Блетерс и Дафф в сопровождении местного констебля, Бритлса, Джайлса и, короче говоря, всех остальных вошли в маленькую комнатку в конце коридора и выглянули из окна, а после этого обошли вокруг дома по лужайке и заглянули в окно; затем им подали свечу для осмотра ставня; затем – фонарь, чтобы освидетельствовать следы; а затем вилы, чтобы обшарить кусты. Когда при напряженном внимании всех зрителей с этим делом было покончено, они снова вошли в дом, и тут Джайлс и Бритлс должны были изложить свою мелодраматическую историю о приключениях минувшей ночи, которую они повторили раз пять-шесть, противореча друг другу не более чем в одном важном пункте в первый раз и не более чем в десяти – в последний. Достигнув таких успехов, Блетерс и Дафф выдворили всех из комнаты и вдвоем долго держали совет, столь секретно и торжественно, что по сравнению с ним консилиум великих врачей, разбирающих труднейший в медицине случай, показался бы детской забавой.

Тем временем доктор, крайне озабоченный, шагал взад и вперед в соседней комнате, а миссис Мэйли и Роз с беспокойством смотрели на него.

– Честное слово, – сказал он, пробежав по комнате великое множество раз и, наконец, останавливаясь, – я не знаю, что делать.

– Право же, – сказала Роз, – если правдиво рассказать этим людям историю бедного мальчика, этого будет вполне достаточно, чтобы оправдать его.

– Сомневаюсь, милая моя молодая леди, – покачивая головой, возразил доктор. –

Полагаю, что это не оправдывает его ни в их глазах, ни в глазах служителей правосудия, занимающих более высокое положение. В конце концов кто он такой? – скажут они. – Беглец! Если руководствоваться только доводами и соображениями здравого смысла, его история в высшей степени неправдоподобна...

– Но вы-то ей верите? – перебила Роз.

– Как ни странно, но верю, и, может быть, я старый дурак, – ответил доктор. – Но тем не менее я считаю, что такой рассказ не годится для опытного полицейского чиновника.

– Почему? – спросила Роз.

– А потому, прелестная моя допросчица, – ответил доктор, – что с их точки зрения в этой истории много неприглядного: мальчик может доказать только те факты, которые производят плохое впечатление, и не докажет ни одного, выгодного для себя. Будь прокляты эти субъекты! Они пожелают знать, зачем да почему, и не поверят на слово. Видите ли, на основании его собственных показаний, он в течение какого-то времени находился в компании воров; его отправили в полицейское управление, обвиняя в том, что он обчистил карман некоего джентльмена; из дома этого джентльмена его увели насильно в какое-то место, которое он не может описать или указать и ни малейшего представления не имеет о том, где оно находится. Его привозят в Чертей люди, которые как будто крепко связаны с ним, хочет он того или не хочет, и его пропихивают в окно, чтобы ограбить дом, а затем, как раз в тот момент, когда он собрался подняться на ноги обитателей дома и, стало быть, совершить поступок, который бы снял с него всякие обвинения, появляется эта бестолковая тварь, этот болван дворецкий, и стреляет в него. Словно умышленно хотел ему помешать сделать то, что пошло бы ему на пользу. Теперь вам все понятно?

– Разумеется, понятно, – ответила Роз, улыбаясь в ответ на взволнованную речь доктора, – но все-таки я не вижу в этом ничего, что могло бы повредить бедному мальчику.

– Да, конечно, ничего! – отозвался доктор. – Да благословит бог зоркие очи представительниц вашего пола. Они видят только одну сторону дела – хорошую или дурную, – и всегда ту, которую заметят первой.

Изложив таким образом результаты своего жизненного опыта, доктор засунул руки в карманы и еще проворнее зашагал по комнате.

– Чем больше я об этом думаю, – продолжал доктор, – тем больше убеждаюсь, что мы не оберемся хлопот, если расскажем этим людям подлинную историю мальчика. Конечно, ей не поверят. А если даже они в конце концов не могут ему повредить, то все же оглашение его истории, а также и сомнения, какие она вызывает, существенно отразятся на вашем благом намерении избавить его от страданий.

– Ах, что же делать?! – вскричала Роз. – Боже мой, боже мой! Зачем они послали за этими людьми?

– Совершенно верно, зачем? – воскликнула миссис Мэйли. – Я бы ни за что на свете не пустила их сюда.

– Я знаю только одно, – сказал, наконец, мистер Лосберн, усаживаясь с видом человека, который на все решился, – надо сделать все, что можно, и действовать надо смело. Цель благая, и пусть это послужит нам оправданием. У мальчика все симптомы сильной лихорадки, и он не в таком состоянии, чтобы с ним можно было разговаривать; а нам это на руку. Мы должны извлечь из этого все выгоды. Если же получится худо, вина не наша... Войдите!

– Ну, сударь, – начал Блетерс, войдя вместе со своим товарищем и плотно притворив дверь, – дело это не состряпанное.

– Черт подери! Что значит состряпанное дело? – нетерпеливо спросил доктор.

– Состряпанным грабежом, миледи, – сказал Блетерс, обращаясь к обеим леди и как бы соблезнуя их невежеству, но презирая невежество доктора, – мы называем грабеж с участием слуг.

– В данном случае никто их не подозревал, – сказала миссис Мэйли.

– Весьма возможно, сударыня, – отвечал Блетерс, – но тем не менее они могли быть

замешаны.

– Это тем более вероятно, что на них не падало подозрение, – добавил Дафф.

– Мы обнаружили, что работали городские, – сказал Блетерс, продолжая доклад. – Чистая работа.

– Да, ловко сделано, – вполголоса заметил Дафф.

– Их было двое, – продолжал Блетерс, – и с ними мальчишка. Это ясно, судя по величине окна. Вот все, что мы можем сейчас сказать. Теперь, с вашего разрешения, мы, не откладывая, посмотрим на мальчишку, который лежит у вас наверху.

– А не предложить ли им сначала выпить чего-нибудь, миссис Мэйли? – сказал доктор; лицо его прояснилось, словно его осенила какая-то новая мысль.

– Да, конечно! – с жаром подхватила Роз. – Если хотите, вас сейчас же угостят.

– Благодарю вас, мисс, – сказал Блетерс, проводя рукавом по губам. – Должность у нас такая, что в глотке пересыхает. Что найдете под рукой, мисс. Не хлопчите из-за нас.

– Чего бы вам хотелось? – спросил доктор, подходя вместе с молодой леди к буфету.

– Капельку спиртного, сударь, если вас не затруднит, – ответил Блетерс. – По дороге из Лондона мы промерзли, сударыня, а я всегда замечал, что спирт лучше всего согревает.

Это интересное сообщение было обращено к миссис Мэйли, которая выслушала его очень милостиво. Пока оно излагалось, доктор незаметно выскользнул из комнаты.

– Ах! – произнес мистер Блетерс, беря рюмку не за ножку, а ежидая доньшко большим и указательным пальцами и держа ее на уровне груди. – Мне, сударыня, довелось на своем веку видеть много таких дел.

– Взять хотя бы эту кражу со взломом на проселочной дороге у Эдмонта, Блетерс, – подсказал мистер Дафф своему коллеге.

– Она напоминает здешнее дельце, правда? – подхватил мистер Блетерс. – Это была работа Проныры Чикуида.

– Вы всегда приписываете это ему, – возразил Дафф. – А я вам говорю, что это сделал Семейный Пет. Проныра имел к этому такое же отношение, как и я.

– Бросьте! – перебил мистер Блетерс. – Мне лучше знать. А помните, как ограбили самого Проныру? Вот была потеха. Лучше всякого романа.

– Как же это случилось? – спросила Роз, желая поддержать доброе расположение духа неприятных гостей.

– Таковую кражу, мисс, вряд ли кто мог бы строго осудить, – сказал Блетерс. – Этот самый Проныра Чикуид...

– Проныра значит хитрец, сударыня, – пояснил Дафф.

– Дамам, конечно, это слово понятно, не так ли?.. – сказал Блетерс. – Вечно вы меня перебиваете, приятель... Так вот этот самый Проныра Чикуид держал трактир на Бэтл-бриджской дороге, и был у него погреб, куда заходили молодые джентльмены посмотреть бой петухов, травлю барсуков собаками и прочее. Очень ловко велись эти игры – я их частенько видел. В ту пору он еще не входил в шайку. И как-то ночью у него украли триста двадцать семь гиней в парусиновом мешке; их стащил среди ночи, у него из спальни, какой-то высокий мужчина с черным пластырем на глазу; мужчина прятался под кроватью, а совершив кражу, выскочил из окна во втором этаже. Очень он это быстро проделал. Но и Проныра не мешкал: проснувшись от шума, он вскочил с кровати и выстрелил ему вслед из ружья и разбудил всех по соседству. Тотчас же бросились в погоню, а когда стали осматриваться, то убедились, что Проныра задел-таки вора: следы крови были видны на довольно большом расстоянии, они вели к изгороди и здесь терялись. Как бы там ни было, вор удрал с добычей, а фамилия мистера Чикуида, владельца трактира, имевшего патент на продажу спиртного, появилась в «Газете»³⁷ среди других банкротов. И тогда затеяли

³⁷ «Газета» – сокращенное название «Лондонской газеты», основанной в XVII веке для публикации распоряжений правительства, назначений чиновников, судебных постановлений о банкротствах и тому подобного.

всевозможные подписки и сбор пожертвований для бедняги, который был очень угнетен своей потерей: дня три-четыре бродил по улицам и с таким отчаянием рвал на себе волосы, что многие боялись, как бы он не покончил с собой. Однажды он впопыхах прибегает в полицейский суд, уединяется для частной беседы с судьей, а тот после долгого разговора звонит в колокольчик, требует к себе Джема Спайерса (Джем был агент расторопный) и приказывает, чтобы он пошел с мистером Чикуидом и помог ему арестовать человека, обокравшего дом. «Спайерс, – говорит Чикуид, – вчера утром я видел, как он прошел мимо моего дома». – «Так почему же вы не схватили его за шиворот?» – говорит Спайерс. «Я был так ошарашен, что мне можно было проломить череп зубочисткой, – отвечает бедняга, – но уж теперь-то мы его поймаем. Между десятью и одиннадцатью вечера он опять прошел мимо дома». Услыхав это, Спайерс сейчас же сует в карман смену белья и гребень на случай, если придется задержаться дня на два, отправляется в путь и, явившись в трактир, усаживается у окна за маленькой красной занавеской, не снимая шляпы, чтобы в любой момент можно было выбежать. Здесь он курит трубку до позднего вечера, как вдруг Чикуид ревет: «Вот он! Держите вора! Убивают!» Спайерс выскакивает на улицу и видит Чикуида, который мчится во всю прыть и кричит. Спайерс за ним; Чикуид летит вперед; люди оборачиваются; все кричат: «Воры!» – и сам Чикуид не перестает орать как сумасшедший. На минутку Спайерс теряет его из виду, когда тот заворачивает за угол, бежит за ним, видит небольшую толпу, ныряет в нее: «Который из них?» – «Черт побери, – говорит Чикуид, – опять я его упустил». Как это ни странно, но его нигде не было видно, – и пришлось им вернуться в трактир. Наутро Спайерс занял прежнее место и высматривал из-за занавески рослого человека с черным пластырем на глазу, пока у него самого не заболели глаза. Наконец, ему пришлось закрыть их, чтобы немного передохнуть, и в этот самый момент слышит, Чикуид орет: «Вот он!» Снова он пустился в погоню, а Чикуид уже опередил его на пол-улицы. Когда они пробежали вдвое большее расстояние, чем накануне, этот человек опять скрылся. Так повторялось еще два раза, и, наконец, большинство соседей заявило, что мистера Чикуида обокрал сам черт, который теперь и водит его за нос, а другие – что бедный мистер Чикуид рехнулся с горя.

– А что сказал Джем Спайерс? – спросил доктор, который вернулся в начале повествования.

– Долгое время, – продолжал агент, – Джем Спайерс решительно ничего не говорил и ко всему прислушивался, однако и виду не подавал; отсюда следует, что свое дело он разумел. Но вот однажды утром он вошел в бар, достал табакерку и говорит: «Чикуид, я узнал, кто совершил эту кражу». – «Да неужели! – воскликнул Чикуид. – Ах, дорогой мой Спайерс, дайте мне только отомстить, и я умру спокойно. Ах, дорогой мой Спайерс, где он, этот негодяй?» – «Полно! – сказал Спайерс, предлагая ему понюшку табаку. – Довольно вздор болтать. Вы сами это сделали». Так оно и было, и немало денег он на этом заработал, и ничего никогда бы и не открылось, если бы Чикуид поменьше заботился о правдоподобию, – закончил мистер Блетерс, поставив рюмку и позвякивая наручниками.

– Действительно, очень любопытная история, – заметил доктор. – А теперь, если вам угодно, можете пойти наверх.

– Если вам угодно, сэр, – ответил мистер Блетерс.

Следуя по пятам за мистером Лосберном, оба агента поднялись наверх, в спальню Оливера; шествие возглавлял мистер Джайлс с зажженной свечой.



Оливер дремал, но вид у него был хуже, и его лихорадило сильнее, чем раньше. С помощью доктора он сел в постели и посмотрел на незнакомцев, совершенно не понимая, что происходит, – он, видимо, не припоминал, где он находится и что случилось.

– Вот этот мальчик, – сказал мистер Лосберн шепотом, но тем не менее с большим жаром, – тот самый, который, озорничая, был случайно ранен из самострела,³⁸ когда забрался во владения мистера, как его там зовут, расположенные позади этого дома. Сегодня утром он приходит сюда за помощью, а его немедленно задерживает и грубо обходится с ним вот этот; сообразительный джентльмен со свечой в руке, который подвергает его жизнь серьезной опасности, что я как врач могу удостоверить.

Господа Блетерс и Дафф посмотрели на мистера Джайлса, отрекомендованного таким образом. Ошеломленный – дворецкий с лицом, выражающим и страх, и замешательство, переводил взгляд с них на Оливера и с Оливера на мистера Лосберна.

– Полагаю, вы не намерены это отрицать? – спросил доктор, осторожно опуская Оливера на подушки.

³⁸ *Самострел* – ружье, приводимое в действие каким-нибудь механическим способом. Диккенс имеет в виду самострелы, устанавливаемые для борьбы с браконьерами. Английское законодательство не запрещало такой бесчеловечной расправы над теми, кто рисковал охотиться без разрешения на земле помещика.

– Я... хотел, чтобы было... чтобы было как можно лучше, сэр, – ответил Джайлс. – Право же, я думал, что это тот самый мальчишка, сэр, иначе я бы его не тронул. Я ведь не бесчувственный, сэр.

– Какой мальчишка? – спросил старший агент.

– Мальчишка грабителей, сэр, – ответил Джайлс. – С ними, конечно, был мальчишка.

– Ну? Вы и теперь так думаете? – спросил Блетерс.

– Что думаю теперь? – отозвался Джайлс, тупо глядя на допрашивающего.

– Думаете, что это тот самый мальчик, глупая вы голова! – нетерпеливо пояснил Блетерс.

– Не знаю. Право, не знаю, – с горестным видом сказал Джайлс. – Я бы не мог показать под присягой.

– Что же вы думаете? – спросил мистер Блетерс.

– Не знаю, что и думать, – ответил бедный Джайлс. – Думаю, что это не тот мальчик. Да я почти уверен, что это не он. Вы ведь знаете, что это не может быть он.

– Этот человек пьян, сэр? – осведомился Блетерс, повернувшись к доктору.

– Ну и тупоголовый же вы парень! – сказал Дафф с величайшим презрением, обращаясь к мистеру Джайлсу.

Во время этого короткого диалога мистер Лосберн щупал больному пульс; теперь он поднялся со стула, стоявшего у кровати, и заметил, что если у агентов еще осталось какое-нибудь сомнение, то не желают ли они выйти в соседнюю комнату и потолковать с Бритлсом.

Приняв это предложение, они отправились в смежную комнату, куда был призван мистер Бритлс, опутавший и себя и своего почтенного начальника такой изумительной паутиной новых противоречий и нелепостей, что ни одного факта не удалось выяснить, за исключением факта полной его, Бритлса, растерянности; впрочем, он заявил, что не узнал бы мальчишку, если бы его поставили сейчас перед ним, что он принял за него Оливера только благодаря утверждению Джайлса и что пять минут назад мистер Джайлс признался на кухне в своих опасениях, не слишком ли он поторопился.

Затем среди других остроумных предположений появилось и такое – действительно ли мистер Джайлс кого-то подстрелил; когда же был осмотрен пистолет, парный с тем, из которого стрелял Джайлс, в нем не обнаружилось заряда более разрушительного, чем порох и пыж. Это открытие произвело чрезвычайное впечатление на всех, кроме доктора, который минут десять тому назад вынул пулю. Но наибольшее впечатление произвело оно на самого мистера Джайлса, который в течение нескольких часов, терзаясь опасениями, не ранил ли он смертельно своего ближнего, с восторгом ухватился за эту новую идею и всеми силами ее поддерживал.

В конце концов агенты, не слишком утруждая себя мыслями об Оливере, оставили в доме его и констебля из Чертей и отправились ночевать в город, обещав вернуться утром.

А наутро распространился слух, что в Кингстонскую тюрьму посадили двух мужчин и мальчика, арестованных прошлой ночью при подозрительных обстоятельствах, и господу Блетерс и Дафф отправились в Кингстон. Впрочем, при расследовании подозрительные обстоятельства свелись к тому, что этих людей обнаружили спящими под стогом сена, каковой факт, хотя и является тягчайшим преступлением, наказуется только заключением в тюрьму и, с точки зрения милостивого английского закона с его всеобъемлющей любовью к королевским подданным, почитается при отсутствии других улик недостаточным доказательством того, что спящий или спящие совершили кражу со взломом и, стало быть, заслуживают смертной казни. Господа Блетерс и Дафф вернулись не умнее, чем уехали.

Короче говоря, после новых допросов и бесконечных разговоров местный мировой судья охотно принял поручительство миссис Мэйли и мистера Лосберна в том, что Оливер явится, если когда-нибудь его вызовут, а Блетерс и Дафф, награжденные двумя гинейми, вернулись в город, не сходясь во мнении о предмете своей экспедиции: сей последний джентльмен, по зрелом обсуждении всех обстоятельств, склонялся к уверенности, что

покушение на кражу со взломом было совершено Семейным Петом, а первый готов был в равной мере приписать всю заслугу великому Проньре Чикииду.

Между тем Оливер помаленьку поправлялся и благоденствовал, окруженный заботами миссис Мэйли, Роз и мягкосердечного мистера Лосберна. Если пламенные молитвы, изливающиеся из сердца, исполненного благодарности, бывают услышаны на небе – что тогда молитва, если она не может быть услышана! – то те благословения, которые призывал на них сирота, проникли им в душу, даря покой и счастье.

Глава XXXII

о счастливой жизни, которая началась для Оливера среди его добрых друзей

Болезнь Оливера была затяжной и тяжелой. Не говоря уже о медленном заживлении простреленной руки и боли в ней, долгое пребывание Оливера под дождем и на холоде вызвало лихорадку, которая не покидала его много недель и очень истощила. Но, наконец, он начал понемногу поправляться и уже в состоянии был произнести несколько слов о том, как глубоко он чувствует доброту двух ласковых леди и как горячо надеется, что, окрепнув и выздоровев, сделает для них что-нибудь в доказательство своей благодарности, чтоб они увидели, какой любовью и преданностью полно его сердце, и окажет им хотя бы какую-нибудь пустячную услугу, которая убедит их в том, что бедный мальчик, спасенный благодаря их доброте от страданий или смерти, достоин их милосердия и от всего сердца желает им служить.

– Бедняжка! – сказала однажды Роз, когда Оливер с трудом пытался выговорить бледными губами слова благодарности. – Тебе представится много случаев нам услужить, если ты этого захочешь. Мы поедем за город, и тетя намерена взять тебя. Тишина, чистый воздух и все радости и красоты весны помогут тебе в несколько дней окрепнуть. Мы будем давать тебе сотни поручений, если тебе это окажется по силам.

– Поручений! – воскликнул Оливер. – О дорогая леди, если бы я мог работать для вас, если бы я мог доставить вам удовольствие, поливая ваши цветы, ухаживая за вашими птичками или весь день бегая на посылках, чтобы только вы были счастливы, – чего бы я не отдал за это!

– Тебе ничего не нужно отдавать, – улыбаясь, сказала Роз Мэйли, – ведь я уже сказала, что мы будем давать тебе сотни поручений, и если ты будешь хоть наполовину трудиться так, как сейчас обещаешь, чтобы угодить нам, я буду очень счастлива.

– Счастливы, сударыня! – воскликнул Оливер. – Как вы добры, что говорите так!

– Ты сделаешь меня такой счастливой, что и сказать нельзя, – ответила молодая леди. – Мысль о том, что моя милая, добрая тетя спасла кого-то от той печальной участи, какую ты нам описал, доставляет мне невыразимое удовольствие, но сознание, что тот, к кому она отнеслась с лаской и состраданием, чувствует искреннюю благодарность и преданность, радует меня больше, чем ты можешь себе представить... Ты меня понимаешь? – спросила она, взглядываясь в задумчивое лицо Оливера.

– О да, сударыня, понимаю! – с жаром ответил Оливер. – Но сейчас я думал о том, какой я неблагодарный.

– К кому? – спросила молодая леди.

– К доброму джентльмену и милой старой няне, которые так заботились обо мне, – сказал Оливер. – Они были бы, наверно, довольны, если бы знали, как я счастлив.

– Наверно, – отозвалась благодетельница Оливера. – И мистер Лосберн по доброте своей уже обещал, что повезет тебя повидаться с ними, как только ты в состоянии будешь перенести путешествие.

– Обещал, сударыня? – вскричал Оливер, просясь от удовольствия. – Не знаю, что со мной будет от радости, когда я снова увижу их добрые лица.

Вскоре Оливер достаточно оправился, чтобы перенести утомление, связанное с этой

поездкой. Однажды утром он и мистер Лосберн двинулись в путь в – маленьком экипаже, принадлежащем миссис Мэйли. Когда они доехали до моста через Чертей, Оливер вдруг сильно побледнел и громко вскрикнул.

– Что случилось с мальчиком? – засуетился, по своему обыкновению, доктор. – Ты что-нибудь увидел... услышал... почувствовал, а?

– Вот, сэр, – крикнул Оливер, указывая в окно кареты. – Этот дом!

– Да? Ну так что же? Эй, кучер! Остановитесь здесь, – крикнул доктор. – Что это за дом, мой мальчик? А?

– Воры... Они приводили меня сюда, – прошептал Оливер.

– Ах, черт побери! – воскликнул доктор. – Эй, вы там! Помогите мне выйти!

Но не успел кучер слезть с козел, как доктор уже каким-то образом выкарабкался из кареты и, подбежав к заброшенному дому, начал как сумасшедший стучать ногой в дверь.

– Кто там? – отозвался маленький, безобразный горбун, так внезапно раскрыв дверь, что доктор, энергически наносивший последний удар, чуть не влетел прямо в коридор. – Что случилось?

– Случилось! – воскликнул доктор, ни секунды не размышляя и хватая его за шиворот. – Многое случилось. Грабеж – вот что случилось!

– Случится еще и убийство, если вы не отпустите меня, – хладнокровно отозвался горбун. – Слышите?

– Слышу, – сказал доктор, основательно встряхивая своего пленника. – Где этот, черт бы его подрал, как его, проклятого, зовут... Да, Сайкс. Где Сайкс, отвечайте, вор?

Горбун вытаращил глаза, как бы вне себя от изумления и негодования, затем, ловко высвободившись из рук доктора, изрыгнул залп омерзительных проклятий и вернулся в дом. Но не успел он закрыть дверь, как доктор, не вступая ни в какие переговоры, вошел в комнату. Он с беспокойством осмотрелся кругом: и мебель, и предметы, и даже расположение шкафов не соответствовали описанию Оливера.

– Ну? – сказал горбун, зорко следивший за ним. – Что это значит, почему вы насильно врываетесь в мой дом? Хотите меня ограбить или убить?

– Случалось вам, глупый вы старый кровопийца, видеть когда-нибудь, чтобы человек приезжал с этой целью в карете? – сказал вспыльчивый доктор.

– Так что же вам нужно? – крикнул горбун. – Убирайтесь, пока не поздно! Будь вы прокляты!

– Уйду, когда сочту нужным, – сказал мистер Лосберн, заглядывая в другую комнату, которая, как и первая, не имела ни малейшего сходства с описанной Оливером. – Я еще до вас доберусь, приятель.

– Вот как! – огрызнулся отвратительный урод. – Если я вам буду нужен, вы найдете меня здесь. Я здесь один-одинешенек двадцать пять лет сижу, совсем рехнулся, а вы еще меня запугиваете! Вы за это заплатите, да, заплатите!

И уродливый маленький демон поднял вой и в ярости стал плясать по комнате.

– Выходит довольно глупо, – пробормотал себе под нос доктор, – должно быть, мальчик ошибся. Вот, суньте это в карман и заткните глотку!

С этими словами он бросил горбуну монету и вернулся к экипажу.

Горбун следовал за ним до дверцы кареты, все время осыпая его гнусными ругательствами; когда же мистер Лосберн заговорил с кучером, он заглянул в карету и бросил на Оливера взгляд такой зоркий и пронизывающий и в то же время такой злобный и мстительный, что в течение нескольких месяцев мальчик вспоминал его и во сне и наяву. Горбун продолжал омерзительно ругаться, пока кучер не занял своего места; а когда карета тронулась в путь, можно было издали видеть, как он топает ногами и рвет на себе волосы в припадке подлинного или притворного бешенства.

– Я – осел... – сказал доктор после долгого молчания. – Ты это знал раньше, Оливер?

– Нет, сэр.

– Ну, так не забывай этого в следующий раз. Осел! – повторил доктор, снова помолчав

несколько минут. – Даже если бы это было то самое место и там оказались те самые люди, что бы я мог поделаться один? А будь у меня помощники, я все же не знаю, какой вышел бы толк. Пожалуй, это привело бы к тому, что я сам попался бы, и обнаружилось бы неизбежно, каким образом я замолчал эту историю. Впрочем, поделом бы мне было. Вечно я попадаю в беду, действуя под влиянием импульса. Может быть, это пойдет мне на пользу.

Добрейший доктор и в самом деле всю свою жизнь действовал только под влиянием импульсов, и к немалой чести руководивших им импульсов служил тот факт, что он не только избег сколько-нибудь серьезных затруднений или неудач, но и пользовался глубоким уважением и привязанностью всех, кто его знал. Если же говорить правду, доктор одну-две минутки чувствовал некоторую досаду, ибо ему не удалось раздобыть доказательства, подтверждающие рассказ Оливера, когда впервые представился случай их получить. Впрочем, он скоро успокоился; убедившись, что Оливер отвечает на его вопросы так же непринужденно и последовательно и говорит, по-видимому, так же искренне и правдиво, как и раньше, он решил отныне относиться с полным доверием к его словам.

Так как Оливер знал название улицы, где проживал мистер Браунлоу, они поехали прямо туда. Когда карета свернула за угол, сердце Оливера забилося так сильно, что у него перехватило дыхание.

– Ну, мой мальчик, где же этот дом? – спросил мистер Лосберн.

– Вот он, вот! – воскликнул Оливер, нетерпеливо показывая в окно. – Белый дом. Ох, поезжайте быстрее! Пожалуйста, быстрее! Мне кажется, я вот-вот умру. Я весь дрожу.

– Ну-ну, – сказал добряк-доктор, похлопав его по плечу. – Сейчас ты их увидишь, и они придут в восторг, узнав, что ты цел и невредим.

– О да, я надеюсь на это! – вскричал Оливер. – Они были так добры ко мне, очень, очень добры.

Карета мчалась дальше. Потом она остановилась. Нет, Это не тот дом; следующая дверь. Еще несколько шагов, карета снова остановилась. Оливер посмотрел на окна. Слезы, вызванные радостным ожиданием, струились по его щекам.

Увы, в белом доме не было жильцов, и в окне виднелась табличка: «Сдается внаем».

– Постучите в следующую дверь! – крикнул мистер Лосберн, взяв за руку Оливера. – Не знаете ли вы, что случилось с мистером Браунлоу, который жил в соседнем доме?

Служанка не знала, но не прочь была навести справки. Вскоре она вернулась и сказала, что мистер Браунлоу распродал свое имущество и вот уже полтора месяца как уехал в Вест-Индию. Оливер сжал руки и без сил откинулся на спинку сиденья.

– А экономка его тоже уехала? – помолчав, спросил мистер Лосберн.

– Да, сэръ, – ответила служанка. – Старый джентльмен, экономка и еще один джентльмен, приятель мистера Браунлоу, уехали все вместе.

– В таком случае поезжайте домой, – сказал мистер Лосберн кучеру, – и не останавливайтесь кормить лошадей, пока мы не выберемся из этого проклятого Лондона.

– А книготорговец, сэръ? – спросил Оливер. – Дорогу к нему я знаю. Пожалуйста, повидайтесь с ним. Повидайтесь с ним.

– Бедный мой мальчик, хватит с нас разочарований на сегодня, – сказал мистер Лосберн. – Совершенно достаточно для нас обоих. Если мы поедем к книготорговцу, то, разумеется, узнаем, что он умер, или поджег свой дом, или удрал. Нет, едем прямо домой.

И, повинувшись внезапному требованию доктора, они отправились домой.

Это горькое разочарование принесло Оливеру, даже в пору его счастья, много скорби и печали. Не раз в течение своей болезни он тешил себя мечтой о том, что скажут ему мистер Браунлоу и миссис Бэдуин и какая это будет радость, – мечтал рассказать им, сколько долгих дней и ночей провел он, размышляя об их благодеяниях и оплакивая жестокою разлуку с ними. Надежда оправдаться и рассказать им о своем насильственном уходе воодушевляла и поддерживала его во время недавних испытаний; мысль, что они уехали так далеко и увезли с собой уверенность в том, что он – обманщик и вор, – уверенность, которая, быть может, останется непровергнутой до конца жизни, – этой мысли он не мог вынести.

Впрочем, все это несколько не изменило отношения к нему его благодетелей. Еще через две недели, когда установилась прекрасная теплая погода, деревья покрылись новой листвой, а цветы раскрыли свои бутоны, начались приготовления к отъезду на несколько месяцев из Чертей. Отправив в банк столовое серебро, столь воспламенившее жадность Феджина, и оставив дом на попечении Джайлса и еще одного слуги, они переехали в коттедж, находившийся довольно далеко от города. Оливера они взяли с собой.

Кто может описать радость и восторг, спокойствие духа и тихую умиротворенность, которые почувствовал болезненный мальчик в благовонном воздухе, среди зеленых холмов и густых лесов, окружавших отдаленную деревню? Кто может рассказать, как запечатлеваются в душе измученных обитателей тесных и шумных городов картины мира и тишины и как глубоко проникает их свежесть в истерзанные сердца? Те, кто всю свою трудовую жизнь прожил в густо населенных, узких улицах и никогда не жаждал перемены, те, для кого привычка стала второй натурой и кто чуть ли не полюбил каждый кирпич и камень, служившие границей их повседневных прогулок, – эти люди, даже они, когда нависала над ними рука смерти, начинали, наконец, томиться желанием взглянуть хотя бы мельком в лицо Природе; удалившись от тех мест, где прежде страдали и радовались, они как будто сразу вступали в новую стадию бытия. Когда они изо дня в день выползали на какую-нибудь зеленую, залитую солнцем лужайку, у них при виде неба, холмов, долины, сверкающей воды пробуждались такие воспоминания, что даже предощущение загробной жизни действовало умиротворяюще на быстрое их увядание, и они сходили в могилу так же безмятежно, как угасало перед их слабыми, тускнеющими глазами солнце, закат которого наблюдали они всего несколько часов назад из окна своей уединенной спальни. Воспоминания, вызываемые мирными деревенскими пейзажами, чужды миру сему, его помыслам и надеждам. Умиротворяя, они могут научить нас сплести свежие гирлянды на могилы тех, кого мы любили, могут очистить наши мысли и сломить прежнюю вражду и ненависть; но под ними дремлет в каждой хоть сколько-нибудь созерцательной душе смутное, неопределенное сознание, что такие чувства были уже испытаны когда-то, в далекие, давно прошедшие времена, – сознание, пробуждающее торжественные мысли о далеких, грядущих временах и смиряющее суетность и гордыню.

Прелестным было местечко, куда они переехали. Для Оливера, всегда жившего в грязной толпе, среди шума и ругани, казалось, началась здесь новая жизнь. Розы и жимолость льнули к стенам коттеджа, плющ обвивал стволы деревьев, а цветы в саду наполняли воздух чудесным ароматом. Совсем поблизости находилось маленькое кладбище, где не было высоких безобразных надгробий, а только скромные холмики, покрытые свежим дерном и мхом, под которыми покоились старики из деревни. Часто Оливер бродил здесь и, вспоминая о жалкой могиле, где лежала его мать, садился иной раз и плакал, не видимый никем; но, поднимая глаза к глубокому небу над головой, он уже не представлял ее себе лежащей в земле и оплакивал ее грустно, но без горечи.

Счастливая была пора. Дни проходили безмятежные и ясные, ночи не приносили с собой ни страха, ни забот – ни прозябания в отвратительной тюрьме, ни общения с отвратительными людьми, – радостны и светлы были его мысли.

Каждое утро Оливер ходил к седому, старому джентльмену, жившему неподалеку от маленькой церкви, который помогал ему совершенствоваться в грамоте; старый джентльмен говорил так ласково и так много уделял ему внимания, что Оливер всеми силами старался угодить ему. Потом он шел гулять с миссис Мэйли и Роз и прислушивался к их разговорам о книгах или усаживался рядом с ними в каком-нибудь тенистом местечке и слушал, как читает молодая леди; слушать он готов был до самых сумерек, пока можно было различать буквы. Потом он готовил уроки к следующему дню и в своей маленькой комнатке, которая выходила в сад, усердно работал, пока не приближался постепенно вечер, и тогда обе леди снова отправлялись на прогулку, а с ними и он, с удовольствием прислушиваясь ко всем их разговорам. Если им нравился какой-нибудь цветок и он мог добраться до него и сорвать или если они забыли какую-нибудь вещь, за которой он мог сбежать, он был так счастлив, что со

всех ног бросался оказать им услугу. Когда же совсем темнело, они возвращались домой, и молодая леди, садилась за фортепьяно и играла прекрасные мелодии или же пела тихим и нежным голосом какую-нибудь старую песню, правившуюся ее тете. В таких случаях свечей не зажигали, и Оливер, сидя у окна, в полном восторге слушал чудную музыку.

А воскресенье! Совсем по-иному проводили здесь этот день по сравнению с тем, как проводил он его раньше. И какой счастливый был день – как и все дни в эту счастливую пору! Утром – служба в маленькой церкви; там за окном шелестели зеленые листья, пели птицы, а благовонный воздух прокрадывался в низкую дверь и наполнял ароматом скромное здание. Бедняки были одеты так чисто и опрятно, так благоговейно преклоняли колени, как будто для удовольствия, а не во имя тягостного долга собрались они здесь вместе; а пение, быть может и неискusstное, звучало искреннее и казалось (во всяком случае Оливеру) более музыкальным, чем слышанное им прежде. Затем, как всегда – прогулки и посещение чистеньких домиков рабочего люда, а вечером Оливер прочитывал одну-две главы из библии, которую изучал всю неделю, и чувствовал себя более гордым и счастливым, чем если бы он сам был священником.

В шесть часов утра Оливер был уже на ногах; он блуждал по полям и обшаривал живые изгороди в поисках полевых цветов; нагруженный ими, он возвращался домой, и тогда нужно было заботливо и внимательно составить букеты для украшения стола к первому завтраку. Был и крестовник для птиц мисс Мэйли; Оливер с большим вкусом убирал им клетки, научившись этому искусству у многоопытного приходского клерка. Когда с этим бывало покончено, его обычно отправляли в деревню для оказания кому-нибудь помощи или устраивали иной раз игру в крикет на лугу, а бывало и так, что находилось какое-нибудь дело в саду, которым Оливер (изучавший эту науку под руководством того же наставника, садовника по профессии) занимался весело и охотно, пока не появлялась мисс Роз. А тогда его осыпали тысячью похвал за все, что он сделал.

Так промелькнули три месяца – три месяца, которые в жизни самого благополучного и благоденствующего из смертных могли почитаться безграничным счастьем, а в жизни Оливера были поистине блаженством. Самое чистое и нежное великодушие – с одной стороны; самая искренняя, горячая и глубокая благодарность – с другой. Не чудо, что по истечении этого короткого срока Оливер Твист тесно сблизился со старой леди и ее племянницей, и пламенная любовь его юного и чуткого сердца была вознаграждена тем, что они привязались к мальчику и стали им гордиться.

Глава XXXIII

в которой счастью Оливера и его друзей неожиданно угрожает опасность

Быстро пролетела весна, и настало лето. Если деревня была прекрасна раньше, то теперь она предстала в полном блеске и пышности своих богатств. Огромные деревья, которые раньше казались съезжившимися и нагими, преисполнились жизнью и здоровьем и, простирая зеленые свои руки над жаждущей землей, превратили открытые и оголенные места в чудесные уголки, окутанные густой и приятной тенью, откуда можно было смотреть на раскинувшееся вдаль широкое и залитое солнцем пространство. Земля облачилась в самую яркую свою зеленую мантию и источала самое пряное благоухание. Наступила лучшая пора года – вся природа ликовала.

По-прежнему тихо и мирно шла жизнь в маленьком коттедже, и то же беззаботное спокойствие осеняло его обитателей. Оливер давно уже выздоровел и окреп, но был ли он болен или здоров, горячее чувство его к окружающим ничуть не менялось, хотя такая перемена происходит весьма часто в чувствах людей. Он оставался все тем же кротким, признательным, любящим мальчиком, как и в ту пору, когда боль и страдания истощили его силы и он всецело зависел от внимания и забот тех, кто за ним ухаживал.

Однажды, чудесным вечером, они предприняли более длительную прогулку, чем

обычно, потому что день выдался жаркий; ярко светила луна, и вместе с легким ветерком повеяло необычной прохладой. Да и Роз была в превосходном расположении духа, и, весело беседуя, они шли все дальше и оставили далеко позади места своих повседневных прогулок. Так как миссис Мили почувствовала усталость, они медленным шагом вернулись домой.

Молодая леди, сняв простенькую шляпу, села, по обыкновению, за фортепьяно. В течение нескольких минут она рассеянно пробегала пальцами по клавишам, потом заиграла медленную и торжественную мелодию; и пока она играла, им показалось, будто она плачет.

– Роз, дорогая моя! – воскликнула пожилая леди.

Роз ничего не ответила, но заиграла немного быстрее, словно эти слова отвлекли ее от каких-то тягостных мыслей.

– Роз, милочка! – вскричала миссис Мэйли, торопливо вставая и наклоняясь к ней. – Что это значит? Слезы? Дорогое мое дитя, что огорчает тебя?

– Ничего, тетя, ничего! – ответила молодая леди. – Я не знаю, что это... не могу рассказать... но чувствую...

– Чувствуешь, что больна, милочка? – перебила миссис Мэйли.

– Нет, нет! О нет, не больна! – ответила Роз, содрогаясь, однако, при этих словах так, будто на нее повеяло смертным холодом. – Сейчас мне будет лучше. Пожалуйста, закройте окно!

Оливер поспешил исполнить ее просьбу. Молодая леди, делая усилие, чтобы вернуть прежнюю жизнерадостность, заиграла более веселую мелодию, но пальцы ее беспомощно застыли на клавишах. Закрыв лицо руками, она опустила на диван и дала волю слезам, которых больше уже не могла удержать.

– Дитя мое! – обняв ее, воскликнула старая леди. – Такою я тебя никогда еще не видела.

– Я бы не стала тревожить вас, если бы могла, – отозвалась Роз. – Право же, я очень старалась, но ничего не могла поделать. Боюсь, что я и в самом деле больна, тетя.

Она действительно была больна: когда принесли свечи, они увидели, что за короткий промежуток времени, истекший после их возвращения, лицо ее стало белым как мрамор. Выражение ее по-прежнему прекрасного лица было какое-то иное. Что-то тревожное и безумное появилось в кротких его чертах, чего не было раньше. Еще минута – и щеки ее залились ярким румянцем, и диким блеском сверкнули нежные голубые глаза. Затем все это исчезло, как тень, отброшенная мимолетным облаком, и она снова стала мертвенно-бледной.

Оливер, с беспокойством следивший за старой леди, заметил, что она встревожена этими симптомами; по правде говоря, встревожен был и он, но, заметив, что она старается не придавать этому значения, он попытался поступить также, и они добились того, что Роз, уходя, по совету тети, спать, была в лучшем расположении духа, казалась даже не такой больной и уверяла их, будто не сомневается в том, что утром проснется совсем здоровой.

– Надеюсь, – сказал Оливер, когда миссис Мэйли вернулась, – ничего серьезного нет? Вид у нее сегодня болезненный, но...

Старая леди знаком попросила его не разговаривать и, сев в темном углу комнаты, долго молчала. Наконец, она дрожащим голосом сказала:

– И я надеюсь, Оливер. Несколько лет я была очень счастлива с нею, может быть слишком счастлива. Может прийти время, когда меня постигнет какое-нибудь горе, но я надеюсь, что не это.

– Что? – спросил Оливер.

– Тяжкий удар, – сказала старая леди, – утрата дорогой девушки, которая так долго была моим утешением и счастьем.

– О, боже сохрани! – быстро воскликнул Оливер.

– Аминь, дитя мое! – сжимая руки, отозвалась старая леди.

– Но ведь никакой опасности нет, ничего страшного не случилось? – воскликнул Оливер. – Два часа назад она была совсем здорова.

– Сейчас она очень больна, – сказала миссис Мэйли. – И ей будет хуже, я уверена в

этом. Милая, милая моя Роз! О, что бы я стала без нее делать?

Печаль ее была так велика, что Оливер, скрывая свою тревогу, стал уговаривать и настойчиво упрашивать, чтобы она успокоилась ради молодой леди.

– Вы подумайте, сударыня, – говорил Оливер, а слезы, несмотря на все его усилия, навертывались ему на глаза, – подумайте о том, какая она молодая и добрая и какую радость и утешение дает она всем окружающим! Я знаю... я уверен... твердо уверен в том, что ради вас, такой же доброй, ради себя самой и ради всех, кого она делает такими счастливыми, она не умрет! Бог не допустит, чтобы она умерла такой молодой.

– Тише! – сказала миссис Мэйли, кладя руку на голову Оливера. – Бедный мой мальчик, ты рассуждаешь как дитя. Но все-таки ты учишь меня моему долгу. Я на минуту забыла о нем, Оливер, но, надеюсь, мне можно простить, потому что я стара и видела достаточно болезней и смертей, чтобы знать, как мучительна разлука с теми, кого любишь. Видела я достаточно и убедилась, что не всегда самые юные и добрые бывают сохранены для тех, кто их любит. Но пусть это служит нам утешением в нашей скорби, ибо небеса справедливы, и это свидетельствует о том, что есть иной мир, лучший, чем этот... а переход туда совершается быстро. Да будет воля божия! Я люблю ее, и он знает, как я ее люблю!

Оливер с удивлением увидел, что, произнося эти слова, миссис Мэйли, с усилием прервав сетования, выпрямилась и стала спокойной и сдержанной. Еще более изумился он, убедившись, что эта сдержанность оказалась длительной и, несмотря на все последующие хлопоты и уход за больной, миссис Мэйли всегда оставалась энергичной, спокойной, исполняя свои обязанности неуклонно и, по-видимому, даже бодро. Но он был молод и не знал, на что способны сильные духом при тяжелых испытаниях. Да и как мог он знать, если даже люди, сильные духом, так редко сами об этом догадываются.

Настала тревожная ночь. Наутро предсказания миссис Мэйли, к сожалению, сбылись. У Роз началась жестокая, опасная горячка.

– Мы не должны сидеть сложа руки, Оливер, и поддаваться бесполезной скорби, – сказала миссис Мэйли, приложив палец к губам и пристально всматриваясь в его лицо. – Это письмо следует как можно скорее отправить мистеру Лосберну. Нужно отнести его в городок, где рынок, – отсюда не больше четырех миль, если идти по тропинке полем, а из города его отошлют с верховым прямо в Чертей. В гостинице возьмутся это исполнить, а я могу положиться на тебя, что все будет сделано. Я это знаю.

Оливер не ответил ничего, но видно было, что он рвется немедленно отправиться в путь.

– Вот еще одно письмо, – сказала миссис Мэйли и задумалась. – Право, не знаю, посылать ли его сейчас, или подождать, пока увижу, как развивается болезнь Роз. Мне бы не хотелось его отправлять, пока я не опасаясь худшего.

– Это тоже в Чертей, сударыня? – спросил Оливер, которому не терпелось поскорее исполнить поручение, и он протянул дрожащую руку за письмом.

– Нет, – ответила старая леди, машинально отдавая письмо.

Оливер бросил на него взгляд и увидел, что оно адресовано Гарри Мэйли, эсквайру,³⁹ проживающему в поместье знатного лорда – где именно, он не мог разобрать.

– Послать его, сударыня? – с нетерпением спросил Оливер, поднимая глаза.

– Нет, пожалуй, не надо, – ответила миссис Мэйли, беря назад письмо. – Подожду до завтра.

С этими словами она вручила Оливеру свой кошелек, и он, не медля больше, зашагал так быстро, как только мог.

Он бежал по полям и тропинкам, кое-где разделявшим их; то почти скрывался в

³⁹ *Эсквайр* – звание, значение которого менялось с течением времени; в феодальную эпоху его получал оруженосец рыцаря; затем оно было присвоено чиновникам, занимающим должности, связанные с доверием правительства (например, мировым судьей); в прошлом веке это значение было утрачено и в обиходе звание эсквайра присваивалось состоятельным буржуа; в настоящее время вышло из употребления.

высоких хлебах, то выходил на открытый луг, где косили и склады – вали в копны сено; лишь изредка задерживался он на несколько секунд, чтобы передохнуть, и, наконец, вышел, разгоряченный и покрытый пылью, на рыночную площадь маленького городка.

Здесь он остановился и осмотрелся, отыскивая гостиницу. На площади находились белое здание банка, красная пивоварня и желтая ратуша, а на углу стоял большой деревянный дом, окрашенный в зеленый цвет, на фасаде которого виднелась вывеска Джорджа. К этому дому и бросился Оливер, как только его заметил.

Он заговорил, с форейтором, дремавшим в подворотне, который, выслушав, направил его к конюху, а тот к хозяину гостиницы, высокому джентльмену в синем галстуке, белой шляпе, темных штанах и сапогах с отворотами, который, прислонясь к насосу у ворот конюшни, ковырял в зубах серебряной зубочисткой.

Сей джентльмен неторопливо пошел в буфетную выписать счет, что отняло много времени; когда счет был готов и оплачен, нужно было оседлать лошадь, а человеку одеться, и на это ушло еще добрых десять минут. Оливер был в таком нетерпении и тревоге, что не прочь был сам вскочить в седло и мчаться галопом до следующей станции. Наконец, все было готово; и когда маленький пакет был вручен вместе с предписаниями и мольбами как можно скорее его доставить, человек пришпорил лошадь и поскакал по неровной мостовой рыночной площади; минуты через две он был уже за городом и мчался по дороге к заставе.

Так как было нечто успокоительное в сознании, что за помощью послано и ни минуты не потеряно, Оливер, у которого немножко отлегло от сердца, побежал через двор гостиницы. В воротах он неожиданно налетел на высокого, закутанного в плащ человека, выходившего в тот момент из гостиницы.

– Ого! – вскричал этот человек, взглянув на Оливера и внезапно попятившись. – Черт возьми, что это значит?

– Простите, сэр, – сказал Оливер, – я очень спешил домой и не заметил, как вы вышли.

– Проклятье! – пробормотал человек, впиваясь в мальчика своими большими темными глазами. – Кто бы подумал! Разотрите его в порошок – он все равно выскочит из каменного гроба, чтобы встать на моем пути!

– Простите, – заикаясь, сказал Оливер, смущенный безумным взглядом странного человека. – Надеюсь, я вас не ушиб?

– Черт бы тебя побрал! – проскрежетал тот, вне себя от бешенства. – Если бы только хватило у меня храбрости сказать слово, я бы от тебя отделался в одну ночь. Проклятье на твою голову, чуму тебе в сердце, чертенок! Что ты тут делаешь?

Бессвязно произнеся эти слова, человек потряс кулаком. Он шагнул к Оливеру, словно намереваясь его ударить, но вдруг упал на землю с пеной у рта, корчась в припадке.

Одно мгновение Оливер смотрел на судороги сумасшедшего (он принял его за сумасшедшего), потом бросился в дом звать на помощь. Убедившись, что того благополучно перенесли в гостиницу, Оливер побежал домой как можно быстрее, чтобы наверстать потерянное время, и с великим изумлением и не без страха размышлял о странном поведении человека, с которым только что расстался.

Впрочем, это происшествие недолго его занимало, ибо когда он вернулся в коттедж, событий там было достаточно, чтобы дать пищу для размышлений и стереть из памяти все мысли о самом себе.

Роз Мэйли стало хуже; еще до полуночи она начала бредить. Врач, проживавший в этом местечке, не отходил от ее постели; осмотрев больную, он отвел в сторону миссис Мэйли и объявил, что болезнь опасна.

– Чудо, если она выздоровеет, – сказал он.

Сколько раз Оливер вставал в ту ночь с постели и, крадучись выйдя на лестницу, прислушивался к малейшему звуку, доносившемуся из комнаты больной! Сколько раз начинал он дрожать всем телом, и от ужаса на лбу у него выступал холодный пот, когда внезапно раздавшиеся торопливые шаги заставляли его опасаться, что уже совершилось то, о чем слишком страшно было думать! И можно ли было сравнить прежние пламенные его

молитвы с теми, какие возносил он теперь, молясь в тоске и отчаянии о жизни и здоровье кроткого существа, стоявшего у самого края могилы!

О, какое это жестокое мучение – быть беспомощным в то время, когда жизнь того, кого мы горячо любим, колеблется на чаше весов! О, эти мучительные мысли, которые теснятся в мозгу и силой образов, вызванных ими, заставляют неистово биться сердце и тяжело дышать! О, это страстное желание хоть что-нибудь сделать, чтобы облегчить страдания или уменьшить опасность, которую мы не в силах устранить; уныние души, вызванное печальным воспоминанием о нашей беспомощности, – какие пытки могут сравниться с этими, какие думы или усилия могут в самую трудную и горячечную минуту их ослабить!

Настало утро, а в маленьком коттедже было тихо. Говорили шепотом. Время от времени у ворот появлялись встревоженные лица; женщины и дети уходили в слезах. Весь этот бесконечный день до самой ночи Оливер ходил по саду и поминутно поглядывал с дрожью на окно комнаты больной, и ему казалось, что над ним простерлась смерть. Поздно вечером приехал мистер Лосберн...

– Как это тяжело! – сказал добряк-доктор, отворачиваясь при этом в сторону. – Такая молодая, всеми любимая! Но надежды очень мало.

Снова утро. Ярко светило солнце – так ярко, словно не видело ни горя, ни забот; вокруг была пышная листва и цветы, жизнь, здоровье – звуки и картины, вещавшие о радости, а прекрасное юное создание быстро угасало. Оливер прокрался на старое кладбище и, присев на зеленый холмик, плакал и молился о ней в тишине.

Такой был покой и так прекрасно вокруг, таким радостным казался озаренный солнцем пейзаж, такая веселая музыка слышалась в песнях летних птиц, так вольно над самой головой пронесился грач, столько было жизни и радости, что мальчик, подняв болевшие от слез глаза и осмотревшись вокруг, невольно подумал о том, что сейчас не время для смерти, что Роз, конечно, не может умереть, когда так веселы и беззаботны все эти бесхитростные создания, что время рыть могилы в холодную и унылую зимнюю пору, а не теперь, когда все залито солнцем и благоухает. Он невольно подумал, что и саваны предназначены для морщинистых стариков и никогда не облекали своими страшными складками молодое и прекрасное тело.

Похоронный звон церковного колокола грубо оборвал Эти детские размышления. Еще один удар! Еще! Они возвещали о погребальной службе. В ворота вошла скромная группа провожающих; на них были белые банты, потому что покойник был молод. С обнаженной головой они стояли у могилы, и среди плачущих была мать – мать, потерявшая ребенка. Но ярко светило солнце и птицы пели.

Оливер побрел домой, размышляя о том, сколько добра видел он от молодой леди, и мечтая, чтобы вновь вернулось то время и он мог бы неустанно доказывать ей свою благодарность и привязанность. У него не было никаких оснований упрекать себя в небрежности или невнимании – он служил ей преданно, и тем не менее припоминались сотни мелких случаев, когда, казалось ему, он мог бы проявить больше усердия и рвения, и он сожалел, что этого не сделал. Мы должны быть осторожны в своих отношениях с теми, кто нас окружает, ибо каждая смерть приносит маленькому кружку оставшихся в живых мысль о том, как много было упущено и как мало сделано, сколько позабытого и еще больше непоправимого! Нет раскаяния более жестокого, чем раскаяние бесполезное; если мы хотим избавить себя от его мук, вспомним об этом, пока не поздно.

Когда он вернулся домой, миссис Мэйли сидела в маленькой гостиной. При виде ее у Оливера замерло сердце: она ни разу не отходила от постели своей племянницы, и он страшился подумать, какая перемена заставила ее уйти. Он узнал, что Роз погрузилась в глубокий сон и, очнувшись ото сна, либо выздоровеет и будет жить, либо простится с ними и умрет.

В течение нескольких часов они сидели, прислушиваясь и боясь заговорить. Обед унесли нетронутым; видно было, что мысли их витают где-то в другом месте, когда они следили, как солнце опускалось все ниже и ниже и, наконец, окрасило небо и землю в те

радужные тона, которые возвещают закат. Их чуткий слух уловил шум приближающихся шагов. Они невольно бросились к двери; вошел мистер Лосберн.

– Что Роз? – вскричала старая леди. – Скажите сразу! Я могу это вынести, я вынесу все, кроме неизвестности! Говорите же, ради бога!

– Вы должны успокоиться! – поддерживая ее, сказал доктор. – Прошу вас, сударыня, успокойтесь, дорогая моя!

– Пустите меня, ради бога! Дорогое мое дитя! Она умерла! Умирает!

– Нет! – с жаром воскликнул доктор. – Бог милостив, она будет жить еще много лет на радость всем нам!

Леди упала на колени и попыталась сложить руки, но силы, так долго ее поддерживавшие, унеслись к небесам вместе с первой благодарственной молитвой, и она опустилась на руки друга.

Глава XXXIV

содержит некоторые предварительные сведения о молодом джентльмене, который появляется на сцене, а также новое приключение Оливера

Это счастье было почти непосильно. Оливер был ошеломлен и оглушен неожиданной вестью. Он не мог плакать, разговаривать, отдыхать. Он с трудом понимал происходившее, долго бродил, вдыхая вечерний воздух, и, наконец, хлынувшие слезы принесли ему облегчение, и он словно очнулся вдруг и осознал вполне ту радостную перемену, какая произошла, и как безгранично тяжело было бремя тревоги, которое сняли с его плеч.

Быстро сгущались сумерки, когда он возвращался домой, нагруженный цветами, которые собирал с особенной заботливостью, чтобы украсить комнату больной. Бодро шагая по дороге, он услышал за спиной шум бешено мчавшегося экипажа. Оглянувшись, он увидел быстро приближавшуюся почтовую карету и, так как лошади неслись галопом, а дорога была узкая, прислонился к каким-то воротам, чтобы ее пропустить.

Когда карета поравнялась с ним, Оливер мельком увидел человека в белом ночном колпаке, лицо которого показалось ему знакомым, хотя за это короткое мгновение он не мог его узнать. Секунды через две ночной колпак высунулся из окна кареты, а зычный голос приказал кучеру остановиться, что тот и исполнил, как только ему удалось справиться с лошадьми.

– Сюда! – крикнул голос. – Оливер, что нового? Мисс Роз? О-ли-вер!

– Это вы, Джайлс? – закричал Оливер, подбегая к дверце кареты.

Джайлс снова высунул свой ночной колпак, собираясь ответить, как вдруг его оттолкнул назад молодой джентльмен, занимавший другой угол кареты, и с нетерпением спросил, что нового.

– Одно слово! – крикнул джентльмен. – Лучше или хуже?

– Лучше, гораздо лучше! – поспешил ответить Оливер.

– Слава богу! – воскликнул джентльмен. – Ты уверен?

– Совершенно уверен, сэр! – ответил Оливер. – Кризис был всего несколько часов назад, и мистер Лосберн говорит, что всякая опасность миновала.

Джентльмен, не произнося ни слова, открыл дверцу, выпрыгнул из кареты и, схватив Оливера под руку, отвел его в сторону.

– Ты совершенно уверен? Ты не ошибаешься, мой мальчик? – дрожащим голосом спросил он. – Не обманывай меня, пробуждая надежду, которой не суждено сбыться.

– Ни за что на свете я бы этого не сделал, сэр, – ответил Оливер. – Право же, вы можете мне поверить! Вот слова мистера Лосберна: «Она будет жить еще много лет на радость всем нам». Я сам слышал, как он это сказал.

У Оливера слезы выступили на глазах, когда он припомнил минуту, даровавшую такое великое счастье; а джентльмен молча отвернулся. Оливеру не один раз чудилось, будто он

слышит его рыдания, но он боялся помешать ему каким-нибудь замечанием, ибо легко угадывал, что у него на душе, – а потому стоял в сторонке и делал вид, будто занят своим букетом.

Между тем мистер Джайлс, в белом ночном колпаке, сидел на подножке кареты, опершись обоими локтями о колени и утирая глаза бумажным носовым платком, синим в белую крапинку. Бедняга отнюдь не притворялся взволнованным – об этом явно свидетельствовали очень красные глаза, которые он поднял на молодого джентльмена, когда тот повернулся и заговорил с ним.

– Пожалуй, лучше будет, Джайлс, если вы сядете в карсту и поедете к моей матери, – сказал он. – А я предпочел бы пройти пешком, чтобы выиграть время, прежде чем увижу ее. Можете сказать ей, что я сейчас приду.

– Прошу прощения, мистер Гарри, – сказал Джайлс, наводя носовым платком последний лоск на свою взбудораженную физиономию, – но если бы вы приказали фореитору передать это поручение, я был бы вам весьма признателен. Не годится, чтобы служанки видели меня в таком состоянии, сэр... Я утрачу всякий авторитет в их глазах.

– Хорошо, – с улыбкой ответил Гарри Мэйли, – поступайте как знаете. Пусть он отправляется вперед с багажом, если вам это по вкусу, а вы следуйте за ним вместе с нами. Но сначала смените этот ночной колпак на более приличный головной убор, не то нас примут за сумасшедших.

Мистер Джайлс, получив напоминание о неподобающем своем наряде, сорвал с головы и спрятал в карман ночной колпак и заменил его шляпой солидного и простого фасона, которую достал из кареты. Когда с этим было покончено, фореитор поехал дальше; Джайлс, мистер Мэйли и Оливер следовали за ним не спеша.

Дорогой Оливер с большим интересом и любопытством посматривал на приезжего. На вид ему было лет двадцать пять; он был среднего роста, лицо открытое и красивое, обхождение простое и непринужденное. Невзирая на разницу в возрасте, он так походил на пожилую леди, что Оливер мог бы догадаться об их родстве, даже если бы он не упомянул о ней как о своей матери.

Когда он подходил к коттеджу, миссис Мэйли с нетерпением поджидала сына. При встрече оба были очень взволнованы.

– Маменька, – прошептал молодой человек, – почему вы не написали раньше?

– Я написала, – ответила миссис Мэйли, – но, подумав, решила не посылать письма, пока не услышу мнение мистера Лосберна.

– Но зачем, – продолжал молодой человек, – зачем было рисковать, когда могло случиться то, что едва не случилось? Если бы Роз... нет, сейчас я не могу выговорить это слово... если бы исход болезни оказался иным, разве могли бы вы когда-нибудь простить себе? Разве мог бы я когда-нибудь быть снова счастливым?

– Случись самое скверное, Гарри, – сказала миссис Мэйли, – твоя жизнь, боюсь, была бы навсегда разбита, и тогда имело бы очень, очень мало значения, приехал ты сюда днем раньше или позже.

– А если и так, что удивительного? – возразил молодой человек. – И зачем говорить если? Это так и есть, так и есть... вы это знаете, маменька... должны знать.

– Я знаю, что она заслуживает самой нежной и чистой любви, на какую способно сердце мужчины, – сказала миссис Мэйли, – знаю, что ее преданная и любящая натура требует не легкого чувства, но глубокого и постоянного. Если бы я этого не понимала и не знала вдобавок, что, изменись к ней тот, кого она любит, она тут же умерла бы с горя, я почла бы свою задачу не столь трудной и с легким сердцем взялась бы за исполнение того, что считаю своим непреложным долгом.

– Это жестоко, маменька, – сказал Гарри. – Неужели вы до сих пор смотрите на меня как на мальчика, не ведающего своего собственного сердца и не понимающего стремлений своей души?

– Я думаю, дорогой мой сын, – ответила миссис Мэйли, положив руку ему на плечо, –

что юности свойственны благородные стремления, которые не бывают длительными, а среди них есть такие, которые, будучи удовлетворены, оказываются еще более мимолетными. А прежде всего я думаю, – продолжала леди, не спуская глаз с сына, – что если восторженный, пылкий и честлюбивый человек вступает в брак с девушкой, на чьем имени лежит пятно, то хотя она в этом не повинна, бессердечные и дурные люди могут карать и ее и их детей и, по мере его успеха в свете, напоминать ему об этом пятне и издеваться над ним; и я думаю, что этот человек – как бы ни был он великодушен и добр по природе – может когда-нибудь раскаяться в союзе, какой заключил в молодости. А она, зная об этом, будет страдать.

– Маменька, – нетерпеливо сказал молодой человек, – тот, кто поступил бы так, недостойн называться мужчиной и недостойн женщины, которую вы описываете.

– Так думаешь ты теперь, Гарри, – отозвалась мать.

– И так буду думать всегда! – воскликнул молодой человек. – Душевная пытка, какую я претерпел за эти два дня, вырывает у меня признание в страсти, которая, как вам хорошо известно, родилась не вчера и возникла не вследствие моего легкомыслия. Роз, милой, кроткой девушке, навсегда отдано мое сердце, как только может быть отдано женщине сердце мужчины. Все мои мысли, стремления, надежды связаны с нею, и, препятствуя мне в этом, вы берете в свои руки мое спокойствие и счастье и пускаете их по ветру. Маменька, подумайте хорошенько об этом и обо мне и не пренебрегайте тем счастьем, о котором вы как будто так мало думаете!

– Гарри! – воскликнула миссис Мэйли. – Как раз потому, что я так много думаю о горячих и чувствительных сердцах, мне бы хотелось избавить их от ран. Но сейчас сказано об этом достаточно, более чем достаточно...

– В таком случае пусть решает Роз, – перебил Гарри. – Вы не будете отстаивать свои взгляды, чтобы создавать препятствия на моем пути?

– Нет, – ответила миссис Мэйли, – но мне бы хотелось, чтобы ты подумал...

– Я *думал*! – последовал нетерпеливый ответ. – Мама, я думал годы и годы. Я начал думать об этом, как только стал способен рассуждать серьезно. Мои чувства неизменны, и такими они останутся. К чему мне терпеть мучительную отсрочку и сдерживать их, раз это ничего доброго принести не может? Нет! Прежде чем я отсюда уеду, Роз должна меня выслушать.

– Она выслушает, – сказала миссис Мэйли.

– Судя по вашему тону, вы как будто полагаете, маменька, что она выслушает меня холодно, – сказал молодой человек.

– Нет, не холодно, – ответила старая леди. – Совсем нет.

– Тогда как? – настаивал молодой человек. – Не отдала ли она свое сердце другому?

– Конечно, нет! – сказала его мать. – Если не ошибаюсь, ее сердце принадлежит тебе. Но вот что хотелось бы мне сказать, – продолжала старая леди, удерживая сына, когда тот хотел заговорить, – прежде чем ставить все на эту карту, прежде чем позволить себе унести на крыльях надежды, подумай минутку, дорогое мое дитя, об истории Роз и рассуди, как может повлиять на ее решение то, что она знает о своем сомнительном происхождении, раз она так предана нам всей своей благородной душой и всегда так безгранично готова пренебречь своими интересами – как в серьезных делах, так и в пустяках.

– Что вы хотите этим сказать?

– Я предоставляю тебе подумать, – отозвалась миссис Мэйли. – Я должна вернуться к ней. Да благословит тебя бог!

– Мы еще увидимся сегодня вечером? – с волнением спросил молодой человек.

– Позднее, – ответила леди, – когда я приду от Роз.

– Вы ей скажете, что я здесь? – спросил Гарри.

– Конечно, – ответила миссис Мэйли.

– И скажите, в какой я был тревоге, сколько страдал и как хочу ее видеть. Вы не откажете мне в этом, маменька?

– Нет, – отозвалась старая леди. – Я скажу ей все.

И, ласково пожав сыну руку, она вышла. Пока шел этот торопливый разговор, мистер Лосберн и Оливер оставались в другом конце комнаты. Теперь мистер Лосберн протянул руку Гарри Мэйли, и они обменялись сердечными приветствиями. Затем доктор в ответ на многочисленные вопросы своего молодого друга дал точный отчет о состоянии больной, оказавшейся не менее утешительным, чем слова Оливера, пробудившие в нем надежду. Мистер Джайлс, делая вид, будто занят багажом, прислушивался, наострив уши.

– За последнее время ничего особенного не подстрелили, Джайлс? – осведомился доктор, закончив отчет.

– Ничего особенного, сэр, – ответил мистер Джайлс, покраснев до ушей.

– И воров никаких не поймали и никаких грабителей не опознали? – продолжал доктор.

– Никаких, сэр, – важно ответил мистер Джайлс.

– Жаль, – сказал доктор, – потому что такого рода дела вы обделываете превосходно... А скажите, пожалуйста, как поживает Бритлс?

– Паренек чувствует себя прекрасно, сэр, – ответил мистер Джайлс, вновь обретая свой обычный, снисходительный тон, – и просит засвидетельствовать вам свое глубокое уважение.

– Отлично, – сказал доктор. – При виде вас я вспомнил, мистер Джайлс, что за день до того, как меня так поспешно вызвали, я исполнил, по просьбе вашей доброй хозяйки, маленькое приятное для вас поручение. Не угодно ли вам отойти на минутку сюда, в угол?

Мистер Джайлс величественно, с некоторым изумлением отступил в угол и имел честь вести шепотом краткую беседу с доктором, по окончании которой отвесил великое множество поклонов и удалился необычайно важной поступью. Предмет этого собеседования остался тайной в гостиной, но незамедлительно был обнародован в кухне, ибо мистер Джайлс отправился прямо туда и, потребовав кружку эля, возвестил с торжественным видом, что его госпоже угодно было в награду за его доблестное поведение в день неудавшегося грабежа положить в местную сберегательную кассу двадцать пять фунтов специально для него. Тут обе служанки подняли руки и глаза к небу и предположили, что теперь мистер Джайлс совсем возгордится. На это мистер Джайлс, расправив жабо, отвечал: «Нет, нет», – добавив, что, если они заметят хоть сколько-нибудь высокомерное отношение с его стороны к подчиненным, он будет им благодарен, когда бы они ему об этом ни сказали. А затем он сделал еще много других замечаний, в не меньшей мере свидетельствовавших о его скромности, которые были приняты так же благосклонно и одобрительно и являлись такими же оригинальными и уместными, какими обычно бывают замечания великих людей.

Конец вечера прошел наверху весело: доктор был в превосходном расположении духа, а как ни был утомлен сначала или озабочен Гарри Мэйли, однако и он не мог устоять перед добродушием достойного джентльмена, проявлявшимся в разнообразнейших островах, всевозможных профессиональных воспоминаниях и бесчисленных шутках, которые казались Оливеру самыми забавными из всех им слышанных и заставляли его смеяться, к явному удовольствию доктора, который и сам хохотал безудержно и, в силу симпатии, принуждал Гарри смеяться чуть ли не так же заразительно. Таким образом, они провели время очень приятно, насколько возможно при данных обстоятельствах, и было уже поздно, когда они с легким и благодарным сердцем ушли отдыхать, в чем после недавно перенесенных тревожений и беспокойства очень нуждались.

Утром Оливер проснулся бодрым и принялся за свои обычные занятия с такой надеждой и радостью, каких не знал много дней. Клетки были снова развешаны, чтобы птицы пели на старых своих местах; и снова были собраны самые душистые полевые цветы, чтобы красотой своей радовать Роз. Грусть, которая, как представлялось печальным глазам встревоженного мальчика, нависла надо всем вокруг, хотя вокруг все и было прекрасно, рассеялась, словно по волшебству. Казалось, роса ярче сверкала на зеленой листве, ветер шелестел в ней нежнее и небо стало синее и ярче – Так влияют наши собственные мысли даже на внешний вид предметов. Люди, взирающие на природу и своих ближних и

утверждающие, что все хмуро и мрачно, – правы; но темные тона являются отражением их собственных затуманенных желчью глаз и сердец. В действительности же краски нежны и требуют более ясного зрения.

Не мешает отметить – и Оливер не преминул обратить на это внимание, – что в утренние свои экскурсии он отправлялся теперь не один. Гарри Мэйли с того утра, когда он встретил Оливера, возвращающегося домой со своей ношей, воспылал такой любовью к цветам и проявил столько вкуса при составлении букетов, что заметно превзошел своего юного спутника. Но если в этом Оливер отстал, зато ему известно было, где найти лучшие цветы; и каждое утро они вдвоем рыскали по окрестностям и приносили домой прекрасные букеты. Окно спальни молодой леди было теперь открыто; ей нравилось, когда в комнату врвался душистый летний воздух и оживлял ее своей свежестью; а на подоконнике всегда стоял в воде особый маленький букетик, который с величайшей заботливостью составляли каждое утро. Оливер не мог не заметить, что увядшие цветы никогда не выбрасывались, хотя маленькая вазочка аккуратно наполнялась свежими; не мог он также не заметить, что, когда бы доктор не вышел в сад, он неизменно посматривал в тот уголок и весьма выразительно кивал головой, отправляясь на утреннюю свою прогулку. Оливер занимался наблюдениями, дни летели, и Роз быстро поправлялась.

Нельзя сказать, чтобы для Оливера время тянулось медленно, хотя молодая леди еще не выходила из своей комнаты и вечерних прогулок не было, разве что изредка недалекие прогулки с миссис Мэйли. С особым рвением он принялся за уроки у старого, седого джентльмена и работал так усердно, что даже сам был удивлен своими быстрыми успехами.

Но вот однажды, когда он занимался, неожиданное происшествие несказанно испугало его и потрясло.

Маленькая комнатка, где он обычно сидел за своими книгами, находилась в нижнем этаже, в задней половине дома. Это была обычная комната сельского коттеджа – окно, забранное решеткой, а за ним кусты жасмина и вившаяся по оконной раме жимолость, наполнявшие помещение чудесным ароматом. Окно выходило в сад, садовая калитка вела на огороженный лужок; дальше – прекрасный луг и лес. В этой стороне не было поблизости никакого жилья, а отсюда открывалась широкая даль.

Однажды чудесным вечером, когда первые сумеречные тени начали простираться по земле, Оливер сидел у окна, погруженный в свои книги. Он давно уже сидел над ними, а так как день был необычайно знойный и он немало потрудился – авторов этих книг, кто бы они там ни были, нисколько не унижает то, что Оливер незаметно заснул.

Иной раз к нам подкрадывается такой сон, который, держа в плену тело, не освобождает нашего духа от восприятия окружающего и позволяет ему витать где вздумается. Если ощущение непреодолимой тяжести, упадок сил и полная неспособность контролировать наши мысли и движения могут быть названы сном – это сон; однако мы сознаем все, что вокруг нас происходит, и если в это время вам что-нибудь снится, слова, действительно произносимые, и звуки, в этот момент действительно слышимые, с удивительной легкостью приносятся к нашему сновидению, и, наконец, действительное и воображаемое так странно сливаются воедино, что потом почти невозможно их разделить. Но это еще не самое поразительное явление, сопутствующее такому состоянию. Хотя наше чувство осязания и наше зрение в это время мертвы, однако на наши спящие мысли и на мелькающие перед нами видения может повлиять материально даже *безмолвное присутствие* какого-нибудь реального предмета, который мог и не находиться около нас, когда мы закрыли глаза, и о близости которого мы и не подозревали наяву.



Оливер прекрасно знал, что сидит в своей комнатке, что перед ним на столе лежат его книги, что за окном ароматный ветерок шелестит в листьях ползучих растений. И, однако, он спал. Внезапно картина изменилась. Воздух стал душным и спертым, и он с ужасом подумал, что снова находится в доме еврея. Там, в обычном своем уголку, сидел этот безобразный старик, указывая на него и шепча что-то другому человеку, который, отвернувшись в сторону, сидел рядом с ним.

– Тише, мой милый! – чудилось ему, будто он слышит слова еврея. – Конечно, это он! Уйдем.

– Он! – ответил будто бы тот, другой. – Вы думаете, я могу не узнать его? Если бы толпа призраков приняла его облик и он стоял в этой толпе, что-то подсказало бы мне, как его опознать. Если бы его тело зарыли глубоко под землей, я сыскал бы его могилу, даже не будь на ней ни плиты, ни камня.

Казалось, человек говорит с такой страшной ненавистью, что от испуга Оливер проснулся и вскочил.

О боже! Что же заставило кровь прихлынуть к его сердцу, лишило его голоса и способности двигаться? Там... там... у окна... близко – так близко, что он мог бы его коснуться, если бы не отшатнулся, – стоял еврей. Он заглядывал в комнату и встретился с ним глазами. А рядом с ним – побледневшее от ярости или страха, либо от обоих этих чувств – виднелось злобное лицо того самого человека, который заговорил с ним во дворе

гостиницы.

Это было мгновение, взгляд, вспышка. Они исчезли. Но они его узнали; и он их узнал; и лица их запечатлелись в его памяти так прочно, словно были высечены глубоко на камне и со дня его рождения находились у него перед глазами. Секунду он стоял как пригвожденный к месту. Потом, выпрыгнув из окна в сад, громко позвал на помощь.

Глава XXXV

повествующая о том, как неудачно окончилось приключение Оливера, а также о не лишенном значения разговоре между Гарри Мэйли и Роз

Когда обитатели дома, привлеченные криками, бросились туда, откуда они доносились, Оливер, бледный и потрясенный, указывал на луга за домом и с трудом бормотал: «Старик! Старик!»

Мистер Джайлс не в силах был уразуметь, что означает этот возглас, но Гарри Мэйли, соображавший быстрее и слышавший историю Оливера от своей матери, понял сразу.

– В какую сторону он побежал? – спросил он, схватив тяжелую палку, стоявшую в углу.

– Туда! – ответил Оливер, указывая, в каком направлении они скрылись. – Я мгновенно потерял их из виду.

– Значит, они в канаве! – сказал Гарри. – За мной! И старайтесь от меня не отставать.

С этими словами он перепрыгнул через живую изгородь и помчался с такой быстротой, что остальным чрезвычайно трудно было не отставать.

Джайлс следовал за ним по мере сил; следовал за ним и Оливер, а минуты через две мистер Лосберн, вышедший на прогулку и только что вернувшийся домой, перевалился через изгородь и, вскочив на ноги с таким проворством, какого нельзя было от него ожидать, кинулся сломя голову в том же направлении и все время оглушительно кричал, желая узнать, что случилось.

Все мчались вперед и ни разу не остановились, чтобы отдышаться, пока их предводитель, свернув на указанный Оливером участок поля, не начал тщательно обыскивать канаву и прилегающие кусты, что дало время остальным догнать его, а Оливеру – поведать мистеру Лосберну о тех обстоятельствах, которые привели к столь стремительной погоне.

Поиски оказались тщетными. Не видно было даже свежих следов. Теперь все стояли на вершине небольшого холма, откуда на три-четыре мили можно было обозреть окрестные поля. Слева в ложбине находилась деревня, но чтобы добраться до нее дорогой, указанной Оливером, людям пришлось бы бежать в обход по открытому месту, и вряд ли они могли скрыться из виду за такое короткое время. С другой стороны луг был окаймлен густым лесом, но этого прикрытия они не могли достигнуть по той же причине.

– Не приснилось ли это тебе, Оливер? – сказал Гарри Мэйли.

– Нет, право же, нет, сэр! – воскликнул Оливер, содрогаясь при одном воспоминании о физиономии старого негодяя. – Я слишком ясно его видел! Их обоих я видел так же ясно, как вижу сейчас вас.

– А кто был этот второй? – в один голос спросили Гарри и мистер Лосберн.

– Тот самый, о котором я вам уже говорил. Тот самый, кто вдруг набросился на меня около гостиницы, – ответил Оливер. – Мы встретились с ним взглядом, и я могу поклясться, что это он.

– Они побежали в эту сторону? – спросил Гарри. – Ты в этом уверен?

– Уверен так же, как и в том, что они стояли у окна, – ответил Оливер, указывая при этих словах на изгородь, отделявшую сад коттеджа от луга. – Вот здесь перепрыгнул высокий человек, а еврей, отбежав на несколько шагов вправо, пролез вон в ту дыру.

Пока Оливер говорил, оба джентльмена всматривались в его возбужденное лицо и, переглянувшись, по-видимому, поверили в точность его рассказа. Тем не менее нигде не

видно было следов людей, поспешно обратившихся в бегство. Трава была высокая, но нигде не примята, за исключением тех мест, где они сами ее притоптали. По краям канав лежала сырая глина, но нигде не могли они различить отпечатков мужских башмаков или хоть какой-нибудь след, указывавший, что несколько часов назад здесь ступала чья-то нога.

– Удивительно, – сказал Гарри.

– Удивительно! – откликнулся доктор. – Блетерс и Дафф и те не могли бы тут разобраться.

Несмотря на явную бесполезность поисков, они не ушли домой – пока спустившаяся ночь не сделала дальнейшие поиски безнадежными; да и тогда они отказались от них с неохотой. Джайлса послали в деревенские трактиры, снабдив самым точным описанием внешности и одежды незнакомцев, какое мог дать Оливер. Еврей был во всяком случае достаточно примечателен, чтобы его запомнили, если б он зашел куда-нибудь выпить стаканчик или слонялся поблизости, но Джайлс вернулся, не принеся никаких сведений, которые могли бы раскрыть тайну или хоть что-нибудь объяснить.

На другой день возобновили поиски и снова наводили справки, но столь же безуспешно. Через день Оливер и мистер Мэйли отправились в городок, где был рынок, надеясь услышать что-нибудь об этих людях; но и эта попытка ни к чему не привела. Спустя несколько дней это событие стало забываться, как забываются почти все события, когда любопытство, не получая новой пищи, само собой угасает.

Между тем Роз быстро поправлялась. Она уже ходила по дому, начала выходить в сад и снова приняла участие в жизни семьи, радуя все сердца.

Но хотя эта счастливая перемена заметно отразилась на маленьком кружке и хотя в коттедже снова зазвучали беззаботные голоса и веселый смех, иногда кое в ком чувствовалась непривычная скованность – даже в самой Роз, – на что не мог не обратить внимания Оливер. Миссис Мэйли с сыном уединялись часто и надолго, а Роз не раз приходила заплаканная. Когда же мистер Лосберн назначил день своего отъезда в Чертей, эти признаки стали еще заметнее, и было ясно, что происходит нечто, нарушающее покой молодой леди и кого-то еще.

Наконец, как-то утром, когда Роз сидела одна в маленькой столовой, вошел Гарри Мэйли и нерешительно попросил позволения поговорить с ней несколько минут.

– Недолго... совсем недолго... я вас не задержу, Роз, – сказал молодой человек, придвигая к ней стул. – То, что я хочу сказать, уже открыто вашим мыслям... Самые заветные мои надежды известны вам, хотя от меня вы о них еще не слыхали.

Роз очень побледнела, когда он вошел, но это можно было приписать ее недавней болезни. Она опустила голову и, склонившись над стоявшими поблизости цветами, молча ждала продолжения.

– Я... я должен был уехать отсюда раньше, – сказал Гарри.

– Да... должны, – отозвалась Роз. – Простите мне эти слова, но я бы хотела, чтобы вы уехали.

– Меня привело сюда самое ужасное и мучительное опасение, – продолжал молодой человек, – боязнь потерять единственное дорогое существо, на котором сосредоточены все мои упования и надежды. Вы были при смерти; вы пребывали между землей и небом. Мы знаем: когда болезнь поражает юных, прекрасных и добрых, их дух бессознательно стремится к светлой обители вечного покоя... Мы знаем – да поможет нам небо! – что лучшие и прекраснейшие из нас слишком часто увядают в полном расцвете.

При этих словах слезы выступили на глазах кроткой девушки; и когда одна слезинка упала на цветок, над которым она склонилась, и ярко засверкала в его венчике, цветок стал еще прекраснее, – казалось, будто изливания ее девственного, юного сердца заявляют по праву о своем родстве с чудеснейшим творением Природы.

– Создание, прекрасное и невинное, как ангел небесный, – с жаром продолжал молодой человек, – находилось между жизнью и смертью. О, кто мог надеяться – когда перед глазами ее приоткрылся тот далекий мир, который был родным для нее, – что она вернется к печалям

и невзгодам этого мира! Роз, Роз, видеть, как вы ускользаете, подобно нежной тени, отброшенной на землю лугом с небес, отказаться от надежды, что вы будете сохранены для тех, кто прозябает здесь, – да и вряд ли знать, зачем должны вы быть сохранены для них, – чувствовать, что вы принадлежите тому лучезарному миру, куда так рано унеслись на крыльях столь многие, самые прекрасные и добрые, и, однако, вопреки этим утешительным мыслям, молиться о том, чтобы вы были возвращены тем, кто вас любит, – такое мучение вряд ли можно вынести! Я испытывал его днем и ночью. Вместе с ним на меня нахлынул поток страхов, опасений и себялюбивых сожалений, что вы можете умереть, не узнав, как беззаветно я любил вас, – этот поток мог унести с собой и сознание и мой разум!.. Вы выздоровели. День за днем и чуть ли не час за часом здоровье по капле возвращалось к вам и, вливаясь в истощенный, слабый ручеек жизни, медлительно в вас текущий, вновь подарило ему стремительность и силу. Глазами, ослепленными страстной и глубокой любовью, я следил за тем, как с порога смерти вы возвращались к жизни. Не говорите же мне, что вы хотите лишиться меня этого! Ибо теперь, когда я люблю, люди стали мне ближе.

– Я не это хотела сказать, – со слезами ответила Роз. – Я хочу только, чтобы вы уехали отсюда и снова устремились к высоким и благородным целям – целям, вполне достойным вас.

– Нет цели, более достойной меня, более достойной самого благородного человека, чем старания завоевать такое сердце, как ваше! – сказал молодой человек, беря ее руку. – Роз, милая моя, дорогая Роз! Много лет, много лет я любил вас, надеясь завоевать пути к славе, а потом гордо вернуться домой, чтобы разделить ее с вами... Я грезил наяву о том, как в эту счастливую минуту напому вам о многих безмолвных доказательствах юношеской любви и попрошу вашей руки во исполнение старого безмолвного соглашения, заключенного между нами! Это не случилось. Но теперь, не завоевав никакой славы и не осуществив ни одной юношеской мечты, я предлагаю вам свое сердце, давно отданное вам, и вся моя судьба зависит от тех слов, какими вы встретите это предложение.

– Вы всегда были добры и благородны, – сказала Роз, подавляя охватившее ее волнение. – Вы не считаете меня бесчувственной или неблагодарной, так выслушайте же мой ответ.

– Вы ответите, что я могу заслужить вас, не правда ли, дорогая Роз?

– Я отвечу, – сказала Роз, – что вы должны постараться забыть меня: нет, не старого и преданного вам друга – это ранило бы меня глубоко, – а ту, кого вы любите. Посмотрите вокруг! Подумайте, сколько на свете сердец, покорить которые вам было бы лестно. Если хотите, сделайте меня поверенной вашей новой любви... Я буду самым верным, любящим и преданным вашим другом.

Последовало молчание, в течение которого Роз, закрыв лицо рукой, дала волю слезам. Гарри не выпускал другой ее руки.

– Какие у вас причины. Роз, – тихо спросил он, наконец, – какие у вас причины для такого решения?

– Вы имеете право их знать, – ответила Роз. – И все ваши слова бессильны их изменить. Это – долг, который я должна исполнить. Я обязана это сделать ради других и ради самой себя.

– Ради самой себя?

– Да, Гарри. Ради себя самой; лишенная друзей и состояния, с запятнанным именем, я не должна давать вашим друзьям повод заподозрить меня в том, будто я из корысти уступила вашей первой любви и послужила помехой для всех ваших надежд и планов. Я обязана, ради вас и ваших родных, помешать тому, чтобы вы в пылу свойственного вам великодушия воздвигли такую преграду на пути к жизненным успехам...

– Если ваши чувства совпадают с сознанием долга... – начал Гарри.

– Нет, не совпадают... – сильно покраснев, ответила Роз.

– Значит, вы отвечаете на мою любовь? – спросил Гарри. – Только это одно скажите, дорогая Роз, только это! И смягчите горечь столь тяжкого разочарования!

– Если бы я могла отвечать на нее, не принося жестокого зла тому, кого люблю, – сказала Роз, – я бы...

– Вы приняли бы это признание совсем иначе? – спросил Гарри. – Хоть этого не скрывайте от меня. Роз!

– Да! – сказала Роз. – Довольно! – прибавила она, освобождая руку. – Зачем нам продолжать этот мучительный разговор? Очень мучительный для меня, и тем не менее он сулит мне счастье на долгие времена, потому что счастьем будет сознавать, что своей любовью вы вознесли меня так высоко и каждый ваш успех на жизненном поприще будет придавать мне сил и твердости. Прощайте, Гарри! Так, как встретились мы сегодня, мы больше никогда не встретимся, но хотя наши отношения не будут походить на те, какие могла повлечь за собой Эта беседа, – мы можем быть связаны друг с другом прочно и надолго. И пусть благословения, исторгнутые молитвами верного и пылкого сердца из источника правды, пусть они принесут вам радость и благоденствие!

– Еще одно слово, Роз! – сказал Гарри. – Скажите, какие у вас основания? Дайте мне услышать их из ваших уст!

– Перед вами блестящее будущее, – твердо ответила Роз. – Вас ждут все почести, которых большие способности и влиятельные родственники помогают достигнуть в общественной жизни. Но эти родственники горды, а я не хочу встречаться с теми, кто может отнестись с презрением к матери, давшей мне жизнь, и не хочу принести позор сыну той, которая с такой добротой заступила место моей матери. Одним словом, – продолжала молодая девушка, отворачиваясь, так как стойкость покинула ее, – мое имя запятнано, и люди перенесут мой позор на невиновного! Пусть попрекают лишь меня и я одна буду страдать.

– Еще одно слово, Роз, дорогая Роз, только одно! – воскликнул Гарри, бросаясь перед ней на колени. – Если бы я не был таким... таким счастливым, как сказали бы в свете... если бы мне суждено было тихо и незаметно прожить свою жизнь, если бы я был беден, болен, беспомощен, вы и тогда отвернулись бы от меня? Или же эти сомнения рождены тем, что я, быть может, завуюю богатство и почести?

– Не настаивайте на ответе, – сказала Роз. – Этот вопрос не возникал и никогда не возникнет. Нехорошо, почти жестоко добиваться ответа!

– Если ответ ваш будет такой, на какой я почти смею надеяться, – возразил Гарри, – он прольет луч счастья на одинокий мой путь и осветит лежащую передо мной тропу. Произнести несколько коротких слов, дать так много тому, кто любит вас больше всех в мире, – не пустое дело! О Роз, во имя моей пламенной и крепкой любви, во имя того, что я выстрадал ради вас, и того, на что вы меня обрекаете, ответьте мне на один только этот вопрос!

– Да, если бы судьба ваша сложилась иначе, – сказала Роз, – и вы не намного выше меня стояли бы в обществе, если бы я могла быть вам помощью и утешением в каком-нибудь скромном, тихом и уединенном уголке, а не бесчестьем и помехой среди честолюбивых и знатных людей, – тогда мне проще было бы принять решение. Теперь у меня есть все основания быть счастливой, очень счастливой, но признаюсь вам, Гарри, тогда я была бы еще счастливее.

Яркие воспоминания о былых надеждах, которые она лелеяла давно, еще девочкой, воскресли в уме Роз, когда она делала это признание; но они вызвали слезы, какие всегда вызывают былые надежды, возвращаясь к нам увядшими, и слезы принесли ей облегчение.

– Я не могу побороть эту слабость, но она укрепляет мое решение, – сказала Роз, протягивая ему руку. – А теперь мы должны расстаться.

– Обещайте мне только одно, – сказал Гарри, – один раз, один только раз – ну, скажем, через год, а быть может, раньше – вы позволите мне снова заговорить с вами об этом... заговорить в последний раз!

– Но не настаивать на том, чтобы я изменила принятое мной решение, – с печальной улыбкой отозвалась Роз. – Это будет бесполезно.

– Согласен! – сказал Гарри. – Только услышать, как вы повторите его, если захотите – повторите в последний раз! Я положу к вашим ногам все чины и богатства, каких достигну, и если вы останетесь непоколебимы в своем решении, я не буду ни словом, ни делом добиваться, чтобы вы от него отступили.

– Пусть будет так, – ответила Роз, – это только причинит новую боль, но, может быть, к тому времени я в состоянии буду перенести ее.

Она снова протянула руку. Но молодой человек прижал Роз к груди и, поцеловав ее чистый лоб, быстро вышел из комнаты.

Глава XXXVI

очень короткая и, казалось бы, не имеющая большого значения в данном месте. Но тем не менее ее должно прочесть как продолжение предыдущей и ключ к той, которая последует в надлежащее время

– Так, стало быть, вы решили уехать сегодня утром со мной? – спросил доктор, когда Гарри Мэйли уселся за завтрак вместе с ним и Оливером. – Каждые полчаса у вас меняются или планы, или расположение духа!

– Придет время, и вы мне скажете совсем другое, – отозвался Гарри, краснея без всякой видимой причины.

– Надеюсь, у меня будут на то веские основания, – ответил мистер Лосберн, – хотя, признаюсь, я не думаю, чтобы это случилось. Не далее чем вчера утром вы очень поспешно приняли решение остаться здесь и, как подобает примерному сыну, проводить вашу мать на морское побережье. Еще до полудня вы возвещаете о своем намерении оказать мне честь и сопровождать меня в Лондон. А вечером вы весьма таинственно убеждаете меня отправиться в дорогу, раньше чем проснутся леди, – в результате чего юный Оливер принужден сидеть здесь за завтраком, хотя ему следовало бы рыскать по лугам в поисках всяких красивых растений... Плохо дело, не правда ли, Оливер?

– Я бы очень жалел, сэр, если бы меня не было дома, когда уезжаете вы и мистер Мэйли, – возразил Оливер.

– Молодец! – сказал доктор. – Когда вернешься в город, зайди навестить меня... Но, говоря серьезно, Гарри, не вызван ли этот неожиданный отъезд каким-нибудь известием, полученным от важных особ?

– От важных особ, – ответил Гарри, – к числу которых, полагаю, вы относите моего дядю, не было никаких известий с того времени, что я здесь, и в эту пору года вряд ли могло произойти какое-нибудь событие, делающее мое присутствие среди них необходимым.

– Ну и чудак же вы! – сказал доктор. – Разумеется, они проведут вас в парламент на предрождественских выборах, а эти внезапные колебания и переменчивость – недурная подготовка к политической жизни. В этом какой-то толк есть. Хорошая тренировка всегда желательна, состязаются ли из-за поста, кубка или выигрыша на скачках.

У Гарри Мэйли был такой вид, будто он мог продлить этот короткий диалог двумя-тремя замечаниями, которые потрясли бы доктора не на шутку, но он удовольствовался словом «посмотрим» и больше не говорил на эту тему. Вскоре к двери подъехала почтовая карета, и, когда Джайлс пришел за багажом, славный доктор суетливо выбежал из комнаты посмотреть, как его уложат.

– Оливер, – тихо произнес Гарри Мэйли, – я хочу сказать тебе несколько слов.

Оливер вошел в нишу у окна, куда поманил его мистер Мэйли; он был очень удивлен, видя, что расположение духа молодого человека было грустным и в то же время каким-то восторженным.

– Теперь ты уже хорошо умеешь писать? – спросил Гарри, положив руку ему на плечо.

– Надеюсь, сэр, – ответил Оливер.

– Быть может, я не скоро вернусь домой... Я бы хотел, чтобы ты мне писал – скажем, раз в две недели, в понедельник, – на главный почтамт в Лондоне. Согласен?

– О, разумеется, сэр! Я с гордостью буду это делать! – воскликнул Оливер, в восторге от такого поручения.

– Мне бы хотелось знать, как... как поживают моя мать и мисс Мэйли, – продолжал молодой человек, – и ты можешь заполнить страничку, описывая мне, как вы гуляете, о чем разговариваете и какой у нее... у них, хотел я сказать... вид, счастливый ли и здоровый. Ты меня понимаешь?

– О да, прекрасно понимаю, сэр, – ответил Оливер.

– Я бы хотел, чтобы ты им об этом не говорил, – быстро сказал Гарри, – так как моя мать стала бы писать мне чаще, что для нее утомительно и хлопотливо. Пусть это будет наш секрет. И помни – пиши мне обо всем! Я на тебя рассчитываю.

Оливер, восхищенный и преисполненный сознанием собственной значительности, от всей души пообещал хранить тайну и посылать точные сообщения. Мистер Мэйли распрощался с ним, заверив его в своем расположении и покровительстве.

Доктор сидел в карете; Джайлс (который, как было условлено, оставался здесь) придерживал дверцу, а служанки собрались в саду и наблюдали оттуда. Гарри бросил мимолетный взгляд на окно с частым переплетом и вскочил в экипаж.

– Трогайте! – крикнул он. – Быстрой, живей, галопом! Сегодня только полет будет мне по душе.

– Эй, вы! – закричал доктор, быстро опуская переднее стекло и взывая к фореитору. – Мне полет совсем не по душе. Слышите?

Дребезжа и грохоча, пока расстояние не заглушило этого шума и только глаз мог различить движущийся экипаж, карета катилась по дороге, почти скрытая облаком пыли, то совсем исчезая из виду, то появляясь снова по воле встречавшихся на пути предметов и извилин дороги. Провожажющие разошлись лишь тогда, когда нельзя было разглядеть даже пыльное облачко.

А один из провожавших долго не спускал глаз с дороги, где исчезла карета, давно уже отъехавшая на много миль: за белой занавеской, которая скрывала ее от глаз Гарри, бросившего взгляд на окно, сидела Роз.

– Он как будто весел и счастлив, – произнесла она, наконец. – Одно время я боялась, что он будет иным. Я ошиблась. Я очень, очень рада.

Слезы могут знаменовать и радость и страдание; но те, что струились по лицу Роз, когда она задумчиво сидела у окна, глядя все в ту же сторону, казалось говорили скорее о скорби, чем о радости.

Глава XXXVII

в которой читатель может наблюдать столкновение, нередкое в супружеской жизни

Мистер Бамбл сидел в приемной работного дома, хмуро уставившись на унылую решетку камина, откуда по случаю летней поры не вырывались веселые языки пламени, и только бледные лучи солнца отражались на ее холодной и блестящей поверхности. С потолка свешивалась бумажная мухоловка, на которую он изредка в мрачном раздумье поднимал глаза, и, глядя, как суетятся в пестрой сетке неосторожные насекомые, мистер Бамбл выпускал тяжкий вздох, а на физиономию его спускалась еще более мрачная тень. Мистер Бамбл размышлял; быть может, насекомые напоминали ему какое-нибудь тягостное событие из его собственной жизни.

Но не только мрачное расположение духа мистера Бамбла могло пробудить меланхолию в душе наблюдателя. Немало было других признаков, и притом тесно связанных с его особой, которые возвещали о том, что в делах его произошла великая перемена. Обшитая галуном шинель и треуголка – где они? Нижняя половина его тела была по-прежнему облечена в короткие панталоны и черные бумажные чулки; но это были отнюдь не те панталоны. Сюртук был по-прежнему широкополый и этим напоминал прежнюю

шинель, но – какая разница! Внушительную треуголку заменила скромная круглая шляпа.

Мистер Бамбл больше не был приходским бидлом. Есть такие должности, которые независимо от более существенных благ, с ними связанных, обретают особую ценность и значительность от сюртуков и жилетов, им присвоенных. У фельдмаршала есть мундир; у епископа – шелковая ряса; у адвоката – шелковая мантия; у приходского бидла – треуголка. Отнимите у епископа его рясу или у приходского бидла его треуголку и галуны – кем будут они тогда? Людьями. Обыкновенными людьями! Иной раз достоинство и даже святость зависят от сюртука и жилета больше, чем кое-кто полагает.

Мистер Бамбл женился на миссис Корни и стал надзирателем работного дома. Власть приходского бидла перешла к другому – он получил и треуголку, и обшитую галуном шинель, и трость.

– Завтра будет два месяца с тех пор, как это совершилось! – со вздохом сказал мастер Бамбл. – А мне кажется, будто прошли века.

Быть может, мистер Бамбл хотел сказать, что в этом коротком восьминедельном отрезке времени сосредоточилось для него все счастье жизни, но вздох – очень многозначителен был этот вздох.

– Я проданся, – сказал мистер Бамбл, развивая все ту же мысль, – за полдюжины чайных ложек, щипцы для сахара, молочник и в придачу небольшое количество подержанной мебели и двадцать фунтов наличными. Я продешевил. Дешево, чертовски дешево!

– Дешево! – раздался над самым ухом мистера Бамбла пронзительный голос. – За тебя сколько ни дай, все равно будет дорого: всевышнему известно, что уж я-то немало за тебя заплатила!

Мистер Бамбл повернулся и увидел лицо своей привлекательной супруги, которая, не вполне уразумев те несколько слов, какие она подслушала из его жалобы, рискнула тем не менее сделать вышеупомянутое замечание.

– Миссис Бамбл, сударыня! – сказал мистер Бамбл с сентиментальной строгостью.

– Ну что? – крикнула леди.

– Будьте любезны посмотреть на меня, – произнес мистер Бамбл, устремив на нее взор. («Если она выдержит такой взгляд, – сказал самому себе мистер Бамбл, – значит, она может выдержать что угодно. Не помню случая, чтобы этот взгляд не подействовал на бедняков. Если он не подействует на нее, значит я потерял свою власть»).

Может быть, для усмирения бедняков достаточно было лишь немного выпучить глаза, потому что они сидели на легкой пище и находились не в очень блестящем состоянии, или же бывшая миссис Корни была совершенно непроницаема для орлиных взглядов – зависит от точки зрения. Во всяком случае, надзирательница отнюдь не была сокрушена грозным видом мистера Бамбла, но, напротив, отнеслась к нему с великим презрением и даже разразилась хохотом, который казался вовсе не притворным.

Когда мистер Бамбл услышал эти весьма неожиданные звуки, на лице его отразилось сначала недоверие, а затем изумление. После этого он впал в прежнее состояние и очнулся не раньше, чем внимание его было вновь привлечено голосом подруги его жизни.

– Ты весь день намерен сидеть здесь и храпеть? – осведомилась миссис Бамбл.

– Я намерен сидеть здесь столько, сколько найду нужным, сударыня, – отвечал мистер Бамбл. – И хотя я не храпел, но, если мне вздумается, буду храпеть, зевать, чихать, смеяться или плакать. Это мое право.

– Твое право! – с неизъяснимым презрением ухмыльнулась миссис Бамбл.

– Да, я произнес это слово, сударыня, – сказал мистер Бамбл. – Право мужчины – повелевать!

– А какие же права у женщины, скажи во имя господ бога? – вскричала бывшая супруга усопшего мистера Корни.

– Повиноваться, сударыня! – загремел мистер Бамбл. – Следовало бы вашему злосчастному покойному супругу обучить вас этому, тогда, быть может, он бы и по сей день

был жив. Хотел бы я, чтобы он был жив, бедняга!

Миссис Бамбл, сразу угадав, что решительный момент настал и удар, нанесенный той или другой стороной, должен окончательно и бесповоротно утвердить главенство в семье, едва успела выслушать это упоминание об усопшем, как уже рухнула в кресло и, завопив, что мистер Бамбл – бессердечная скотина, разразилась истерическими слезами.

Но слезам не проникнуть было в душу мистера Бамбла: сердце у него было непромокаемое. Подобно тому как касторовые шляпы, которые можно стирать, делаются только лучше от дождя, так и его нервы стали более крепкими и упругими благодаря потоку слез, каковые, являясь признаком слабости и в силу этого молчаливым признанием его могущества, были приятны ему и воодушевляли его. С большим удовлетворением он взирал на свою любезную супругу и поощрительным тоном просил ее хорошенько выплакаться, так как, по мнению врачей, это упражнение весьма полезно для здоровья.

– Слезы очищают легкие, умывают лицо, укрепляют Зрение и успокаивают нервы, – сказал мистер Бамбл. – Так плачь же хорошенько.

Сделав это шутивное замечание, мистер Бамбл снял с гвоздя шляпу и, надев ее довольно лихо набекрень, – как человек, сознающий, что он должным образом утвердил свое превосходство, – засунул руки в карманы и направился к двери, всем видом своим выражая полное удовлетворение и игривое расположение духа.

А бывшая миссис Корни прибегла к слезам, потому что это менее утомительно, чем кулачная расправа, но она была вполне подготовлена к тому, чтобы испробовать и последний способ воздействия, в чем не замедлил убедиться мистер Бамбл.

Первым доказательством этого факта, дошедшим до его сознания, был какой-то глухой звук, а затем его шляпа немедленно отлетела в другой конец комнаты. Когда эта предварительная мера обнажила его голову, опытная леди, крепко обхватив его одной рукой за шею, другой осыпала его голову градом ударов (наносимых с удивительной силой и ловкостью). Покончив с этим, она слегка видоизменила свои приемы, принявшись царапать ему лицо и таскать за волосы; когда же он, по ее мнению, получил должное возмездие за оскорбление, она толкнула его к стулу, который, по счастью, стоял как раз в надлежащем месте, и предложила ему еще раз заикнуться о своем праве, если у него хватит смелости.

– Вставай! – повелительным тоном сказала миссис Бамбл. – И убирайся вон, если не желаешь, чтобы я совершила какой-нибудь отчаянный поступок!

Мистер Бамбл с горестным видом встал, недоумевая, какой бы это мог быть отчаянный поступок. Подняв свою шляпу, он направился к двери.

– Ты уходишь? – спросила миссис Бамбл.

– Разумеется, дорогая моя, разумеется, – отвечал мистер Бамбл, устремившись к двери. – Я не хотел... я ухожу, дорогая моя! Ты так порывиста, что, право же, я...

Тут миссис Бамбл торопливо шагнула вперед, чтобы расправить ковер, сбившийся во время потасовки. Мистер Бамбл мгновенно вылетел из комнаты, даже и не подумав закончить начатую фразу, а поле битвы осталось в полном распоряжении бывшей миссис Корни.



Мистер Бамбл растерялся от неожиданности и был разбит наголову. Он отличался несомненно склонностью к запугиванию, извлекал немалое удовольствие из мелочной жестокости и, следовательно (что само собой разумеется), был трусом. Это отнюдь не порочит его особы, ибо многие должностные лица, к которым относятся с великим уважением и восхищением, являются жертвами той же слабости. Это замечание сделано скорее в похвалу ему и имеет целью внушить читателю правильное представление о его пригодности к службе.

Но мера унижения его еще не исполнилась. Производя обход дома и впервые подумав о том, что законы о бедняках и в самом деле слишком суровы, а мужа, убежавшие от своих жен и оставившие их на попечение прихода, заслуживают по справедливости отнюдь не наказания, а скорее награды, как люди достойные, много претерпевшие, – мистер Бамбл подошел к комнате, где несколько призреваемых женщин обычно занимались стиркой приходского белья и откуда сейчас доносился гул голосов.

– Гм! – сказал мистер Бамбл, обретая присущее ему достоинство. – Уж эти-то женщины по крайней мере будут по-прежнему уважать мои права... Эй, вы! Чего вы такой шум подняли, негодные твари?

С этими словами мистер Бамбл открыл дверь и вошел с видом разгневанным и грозным, который мгновенно уступил место самому смиренному и трусливому, когда взгляд его неожиданно остановился на достойной его супруге.

– Дорогая моя, – сказал мистер Бамбл, – я не знал, что ты здесь.

– Не знал, что я здесь! – повторила миссис Бамбл. – А ты что тут делаешь?

– Я подумал, что они слишком много болтают, а дела не делают, дорогая моя, – отвечал мистер Бамбл, в замешательстве глядя на двух старух у лохани, которые обменивались наблюдениями, восхищенные смиренным видом надзирателя работного дома.

– Ты думал, что они слишком много болтают? – спросила миссис Бамбл. – А тебе какое дело?

– Совершенно верно, дорогая моя, ты тут хозяйка, – покорно согласился мистер Бамбл. – Но я подумал, что, может быть, тебя сейчас здесь нет.

– Вот что я тебе скажу, мистер Бамбл, – заявила его супруга, – в твоём вмешательстве мы не нуждаемся. Очень уж ты любишь совать нос в дела, которые тебя не касаются; только ты отвернешься, над тобой смеются, все время разыгрываешь дурака... Ну-ка, проваливай!

Мистер Бамбл, с тоской наблюдая радость обеих старух, весело хихикавших, минутку колебался. Миссис Бамбл, не терпевшая никакого промедления, схватила ковш с мыльной пеной и, указав на дверь, приказала ему немедленно удалиться, пригрозив окатить дородную его персону содержимым ков – ша.

Что было делать мистеру Бамблу? Он уныло осмотрелся и потихоньку ретировался. Когда он добрался до двери, хихиканье старух перешло в пронзительный смех, выражавший неудержимый восторг. Этого только не хватало! Он был унижен в их глазах; он уронил свой авторитет и достоинство даже перед этими бедняками; он упал с величественных высот поста бидла в глубочайшую пропасть, очутившись в положении мужа, находящегося под башмаком у сварливой жены.

– И все это за два месяца! – сказал мистер Бамбл, исполненный горестных дум. – Два месяца! Всего-навсего два месяца тому назад я был не только сам себе господин, но всем другим господин, во всяком случае в работном доме, а теперь!..

Это было уже слишком. Мистер Бамбл угостил пощечиной мальчишку, открывавшего ему ворота (ибо в раздумье, сам того не замечая, он добрался до ворот), и в замешательстве вышел на улицу.

Он прошел по одной улице, потом по другой, пока прогулка не заглушила первых приступов тоски, а эта перемена в расположении духа вызвала у него жажду. Он миновал много трактиров, но, наконец, остановился перед одним в переулке, где, как он убедился, глянув мельком поверх занавески, не было никого, кроме одного-единственного завсегдатая. Как раз в это время полил дождь. Это заставило его решиться. Мистер Бамбл вошел; пройдя мимо стойки и приказав, чтобы ему подали чего-нибудь выпить, он очутился в комнате, куда заглядывал с улицы.

Человек, сидевший там, был высокий и смуглый, в широком плаще. Он производил впечатление иностранца и, судя по изможденному его виду и запыленной одежде, совершил длинное путешествие. Когда вошел Бамбл, он искоса взглянул на него и едва удостоил кивком в ответ на его приветствие.

У мистера Бамбла хватило бы достоинства и на двоих, даже если бы незнакомец оказался более общительным; поэтому он молча пил свой джин, разбавленный водой, и читал газету с очень важным и солидным видом. Однако же случилось так – это бывает очень часто, когда люди встречаются при подобных обстоятельствах, – что мистер Бамбл то и дело чувствовал сильное желание, которому не мог противостоять, украдкой бросить взгляд на незнакомца, и всякий раз он не без смущения отводил глаза, ибо в эту минуту незнакомец украдкой посматривал на него. Замешательство мистера Бамбла усиливалось вследствие странного взгляда незнакомца, у которого глаза были зоркие и блестящие, но выражали какое-то мрачное недоверие и презрение, чего мистер Бамбл никогда доселе не наблюдал и что было очень неприятно.

Когда взгляды их таким образом несколько раз встретились, незнакомец грубым, низким голосом нарушил молчание.

– Это меня вы искали, когда заглядывали в окно? – спросил он.

– Думаю, что нет, если вы не мистер...

Тут мистер Бамбл запнулся, ибо он любопытствовал узнать имя незнакомца и в нетерпении своем надеялся, что тот заполнит пробел.

– Вижу, что не искали, – сказал незнакомец; саркастическая улыбка чуть заметно кривила его губы. – Иначе вы бы знали мое имя. Советую вам не осведомляться о нем.

– Я не хотел вас обидеть, молодой человек, – величественно ответил мистер Бамбл.

– И не обидели, – сказал незнакомец.

После этого краткого диалога снова воцарилось молчание, которое и на сей раз было нарушено незнакомцем.

– Мне кажется, я вас раньше видел, – сказал он. – Я видел вас мельком на улице, когда вы были одеты иначе, но, кажется, я вас узнаю. Вы когда-то были здесь бидлом, не так ли?

– Правильно, – с удивлением сказал мистер Бамбл, – приходским бидлом.

– Вот именно, – отозвался незнакомец, кивнув головой. – Как раз эту должность вы и занимали, когда я вас встретил. А теперь кто вы такой?

– Надзиратель работного дома, – произнес мистер Бамбл медленно и внушительно, чтобы воспрепятствовать неуместной фамильярности, которую мог позволить себе незнакомец. – Надзиратель работного дома, молодой человек.

– Полагаю, вы, как и в прежние времена, не упускаете из виду своих интересов? – продолжал незнакомец, зорко посмотрев в глаза мистеру Бамблу, когда тот поднял их, удивленный этим вопросом. – Не смущайтесь, говорите откровенно, старина. Как видите, я вас хорошо знаю.

– Мне кажется, – отвечал мистер Бамбл, заслоняя глаза рукой и с явным замешательством осматривая незнакомца с головы до ног, – женатый человек, как и холостяк, не прочь честно заработать пенни, когда представляется случай. Приходским чиновникам не так уж хорошо платят, чтобы они могли отказываться от маленького добавочного вознаграждения, если его предлагают им вежливо и пристойно.

Незнакомец улыбнулся и снова кивнул головой, как бы желая сказать, что не ошибся в этом человеке, затем позвонил в колокольчик.

– Наполните-ка еще разок, – сказал он, протягивая трактирщику пустой стакан мистера Бамбла. – Налейте покрепче и погорячее... Думаю, вам это по вкусу?

– Не слишком крепко, – ответил мистер Бамбл, деликатно кашлянув.

– Вы понимаете, что он хотел этим сказать, трактирщик? – сухо спросил незнакомец.

Хозяин улыбнулся, исчез и вскоре принес кружку горячего пунша; от первого же глотка у мистера Бамбла слезы выступили на глазах.

– Теперь слушайте меня, – начал незнакомец, предварительно закрыв дверь и окно. – Я приехал сюда сегодня, чтобы разыскать вас, и благодаря счастливому случаю, какие дьявол иной раз дарит своим друзьям, вы вошли в ту самую комнату, где я сидел, когда мои мысли были заняты главным образом вами. Мне нужно получить от вас кое-какие сведения. Хотя они и маловажны, но я не прошу, чтобы вы сообщали их даром. Для начала спрячьте-ка это в карман.

С этими словами он придвинул через стол своему собеседнику два соверена – осторожно, словно опасаясь, как бы снаружи не услышали звон монет. Когда мистер Бамбл заботливо проверил, не фальшивые ли деньги, и с большим удовольствием спрятал их в жилетный карман, незнакомец продолжал:

– Перенеситесь мыслями в прошлое... Ну, скажем, припомните зиму двенадцать лет назад.

– Времена далекие, – сказал мистер Бамбл. – Ладно. Припомнил.

– Место действия – работный дом.

– Хорошо.

– А время – ночь.

– Так.

– И где-то там – отвратительная дыра, в которой жалкие твари порождали на свет жизнь и здоровье, так часто отнятые у них самих, – рождали хнычущих ребят, оставляя их на попечение прихода, а сами, черт бы их побрал, скрывали свой позор в могиле.

– Должно быть, это родильная комната? – спросил мистер Бамбл, не совсем уразумев описание комнаты, с таким волнением сделанное незнакомцем.

– Правильно, – сказал незнакомец. – Там родился мальчик.

– Много мальчиков рождалось, – заметил мистер Бамбл, удрученно покачивая головой.

– Провались они сквозь землю, эти чертенята! – воскликнул незнакомец. – Я говорю только об одном: тихом, болезненном мальчике, который был учеником здешнего гробовщика – жаль, что тот не сделал ему гроб и не запрятал его туда, – а потом, как предполагают, сбежал в Лондон.

– Так вы говорите об Оливере? О юном Твисте? – воскликнул мистер Бамбл. – Конечно, я его помню. Такого негодного мальчишки никогда еще...

– Я не о нем хотел слышать; о нем я достаточно наслушался, – сказал незнакомец, прерывая речь мистера Бамбла на тему о пороках бедного Оливера. – Я спрашиваю о женщине, о той старой карге, которая ходила за его матерью. Где она?

– Где она? – повторил мистер Бамбл, который после джина с водой не прочь был пошутить. – На это нелегко ответить. Куда бы она ни отправилась, повитухи там не нужны, вот я и полагаю, что работы у нее нет.

– Что вы хотите этим сказать? – сердито спросил незнакомец.

– Да то, что она умерла этой зимой, – отвечал мистер Бамбл.

Услышав эти слова, незнакомец пристально на него посмотрел, и, хотя довольно долго не сводил с него глаз, взгляд его постепенно делался рассеянным, и он, казалось, глубоко задумался. Сначала он как будто колебался, почувствовать ли ему облегчение или разочарование при таком известии, но, наконец, вздохнув свободнее и отведя взгляд, заявил, что это не так важно. С этими словами он встал, словно собираясь уйти.

Но мистер Бамбл был достаточно хитер – он сразу угадал, что представляется возможность выгодно распорядиться некоей тайной, которая принадлежала его лучшей половине. Он прекрасно помнил тот вечер, когда умерла старая Салли, ибо обстоятельства этого дня не без основания запечатлелись в его памяти: благодаря им он сделал предложение-миссис Корни, и хотя эта леди не доверила ему того, чему была единственной свидетельницей, он слышал достаточно и понял, что это имеет отношение к какому-то событию, которое произошло в ту пору, когда старуха как сиделка работного дома ухаживала за молодой матерью Оливера Твиста. Быстро припомнив это обстоятельство, он с таинственным видом сообщил незнакомцу, что перед самой смертью старой карги одна женщина оставалась с ней с глазу на глаз и у него есть основания предполагать, что она может содействовать ему в его расследованиях.

– Как мне ее найти? – спросил застигнутый врасплох незнакомец, явно обнаруживая, что эта весть воскресила все его опасения (каковы бы они ни были).

– Только при моей помощи, – заявил мистер Бамбл.

– Когда? – нетерпеливо воскликнул незнакомец.

– Завтра, – ответил Бамбл.

– В девять часов вечера, – сказал незнакомец, достал клочок бумаги и почерком, выдававшим его волнение, записал на нем название какой-то улицы у реки. – В девять часов вечера придите с ней туда. Мне незачем говорить вам, чтобы вы держали все в тайне. Это в ваших интересах.

С этими словами он направился к двери, задержавшись, чтобы уплатить за выпивку. Бросив короткое замечание, что здесь их пути расходятся, он удалился без всяких церемоний, внушительно напомнив о часе, назначенном для свидания на следующий день.

Взглянув на адрес, приходский чиновник заметил, что фамилия не обозначена. Незнакомец еще не успел отойти далеко, а потому он побежал за ним, чтобы справиться о ней.

- Что вам нужно? – крикнул тот, быстро повернувшись, когда Бамбл тронул его за руку. – Выслеживаете меня?
- Хочу только узнать, – сказал мистер Бамбл, указывая на клочок бумаги, – кого мне там спросить?
- Монкса, – ответил тот и быстро пошел дальше.

Глава XXXVIII

содержащая отчет о том, что произошло между супругами Бамбл и мистером Монксом во время их вечернего свидания

Был хмурый, душный, облачный летний вечер. Тучи, которые ползли по небу весь день, собрались густой, грязноватой пеленой и уже роняли крупные капли дождя и, казалось, предвещали жестокую грозу, когда мистер и миссис Бамбл, свернув с главной улицы, направили свои стопы к кучке беспорядочно разбросанных, полуразрушенных домов, находящихся примерно на расстоянии полутора миль от центра города, в гнилой, болотистой низине у реки.

Старая, поношенная верхняя одежда, которая была на них, могла послужить двум целям: защищать от дождя и не привлекать к ним внимания. Супруг нес фонарь, пока еще не излучавший никакого света, и трусил в нескольких шагах впереди, словно для того, чтобы его жена могла ступать по тяжелым его следам: дорога была грязная. Они шли в глубоком молчании; время от времени мистер Бамбл замедлял шаги и оглядывался, как бы желая удостовериться, что подруга жизни от него не отстала; затем, видя, что она идет за ним по пятам, он ускорял шаги и еще быстрее устремлялся к цели их путешествия.

Репутация этого места отнюдь не вызывала сомнений: давно уже оно было известно как обиталище отъявленных негодяев, которые, всячески притворяясь, будто живут честным трудом, поддерживали свое существование главным образом грабежом и преступлениями. Здесь были только лачуги: одни – наспех построенные из заваливавшихся кирпичей, другие – из старого, подточенного червями корабельного леса; они были сбиты в кучу с полным пренебрежением к порядку и благоустройству и находились на расстоянии нескольких футов от реки. Продырявленные лодки, вытасенные на грязный берег и привязанные к окаймляющей его низенькой стене, а также лежавшие кое-где весла и сложенные в бухту канаты сначала наводили на мысль, что обитатели этих жалких хижин зарабатывают себе пропитание на реке. Но одного взгляда на эту старую и ни на что не годную заваль, разбросанную здесь, было достаточно, чтобы прохожий без особого труда пришел к заключению, что она выставлена скорее для виду и вряд ли кто пользуется ею.

В центре этой кучки лачуг, у самой реки, так что верхние этажи нависали над ней, возвышалось большое строение, бывшее прежде фабрикой. В былые времена оно, верно, доставляло заработок обитателям соседних домишек, но с тех пор давно пришло в ветхость. От крыс, червей и сырости расшатались и подгнили сваи, на которых оно держалось, – значительная часть здания уже погрузилась в воду, тогда как еще уцелевшая, шаткая и накренившаяся над темным потоком, казалось, ждала удобного случая, чтобы последовать за старым своим приятелем и подвергнуться той же участи.

Перед этим-то ветхим домом и остановилась достойная пара, когда в воздухе пронеслись первые раскаты отдаленного грома и полил сильный дождь.

– Должно быть, это где-то здесь, – сказал Бамбл, разглядывая клочок бумаги, который держал в руке.

– Эй, вы, там! – раздался сверху чей-то голос.

Мистер Бамбл поднял голову и увидел человека, наполовину высунувшегося из двери во втором этаже.

– Пойдите минутку, – продолжал голос, – я сейчас к вам выйду. С этими словами голова исчезла и дверь захлопнулась.

– Это и есть тот самый человек? – спросила любезная супруга мистера Бамбла.

Мистер Бамбл утвердительно шепнул.

– Так помни же, что я тебе наказывала, – сказала надзирательница, – и старайся говорить как можно меньше, а не то ты нас сразу выдашь.

Мистер Бамбл, с удрученным видом созерцавший дом, казалось, собирался высказать некоторое сомнение, уместно ли будет сейчас приводить в исполнение их план, но ему помешало появление Монкса – тот открыл маленькую дверь, у которой они стояли, и поманил их в дом.

– Входите! – нетерпеливо крикнул он, топнув ногой. – Не задерживайте меня здесь!

Женщина, колебавшаяся поначалу, смело вошла, не дожидаясь новых приглашений. Мистер Бамбл, который не то стыдился, не то боялся мешкать позади, последовал за ней, чувствуя себя весьма неважно и почти утратив ту исключительную величавость, которая являлась его характеристической чертой.

– Какого черта вы там топтались, под дождем? – заперевав за ними дверь, спросил Монкс, оглядываясь и обращаясь к Бамблу.

– Мы... мы только хотели немного прохладиться, – заикаясь, выговорил Бамбл, с опаской осматриваясь вокруг.

– Прохладиться! – повторил Монкс. – Все дожди, какие когда-либо выпали или выпадут, не могут угасить того адского пламени, которое иной человек носит в себе. Не так-то легко вам прохладиться, не надейтесь на это!

После такой любезной речи Монкс круто повернулся к надзирательнице и посмотрел на нее так пристально, что даже она, особа отнюдь не из пугливых, отвела взгляд и потупилась.

– Это та самая женщина? – спросил Монкс.

– Гм... Это та самая женщина, – ответил Бамбл, помня предостережения жены.

– Вы, верно, думаете, что женщины не умеют хранить тайну? – вмешалась надзирательница, отвечая при этом на испытующий взгляд Монкса.

– Одну тайну они всегда хранят, пока она не обнаружится, – сказал Монкс.

– Какую же? – спросила надзирательница.

– Потерю доброго имени, – ответил Монкс. – А стало быть, если женщина посвящена в тайну, которая может привести ее к виселице или каторге, я не боюсь, что она ее кому-нибудь выдаст, о нет! Вы меня понимаете, сударыня?

– Нет, – промолвила надзирательница и при этом слегка покраснела.

– Ну, разумеется, – сказал Монкс. – Разве вы можете это понять?

Посмотрев на обоих своих собеседников не то насмешливо, не то мрачно и снова поманив их за собой, он быстро пересек комнату, довольно большую, но с низким потолком. Он уже начал – подниматься по крутой лестнице, которая походила на приставную и вела в верхний этаж, где когда-то были склады, как вдруг яркая вспышка молнии осветила отверстие наверху, а последовавший за ней удар грома потряс до самого основания полуразрушенный дом.

– Вы слышите? – крикнул он, попятившись. – Слышите? Гремит и грохочет, как будто раскатывается по тысяче пещер, где прячутся от него дьяволы. Ненавижу гром!

Несколько секунд он молчал, потом внезапно отнял руки от лица, и мистер Бамбл, к невыразимому своему смятению, увидел, что оно исказилось и побелело.

– Со мной бывают такие припадки, – сказал Монкс, заметив его испуг, – и частенько их вызывает гром. Не обращайтесь на меня внимания, уже все прошло.

С этими словами он стал подниматься по лестнице и, быстро закрыв ставни в комнате, куда вошел, спустил фонарь, висевший на конце веревки с блоком; веревка была пропущена через тяжелую балку потолка, и фонарь бросал тусклый свет на стоявший под ним старый стол и три стула.

– А теперь, – сказал Монкс, когда все трое уселись, – чем скорее мы приступим к делу, тем лучше для всех... Женщина знает, о чем идет речь?

Вопрос был обращен к Бамблу, но его супруга предупредила ответ, объявив, что суть

дела ей хорошо известна.

– Он правду сказал, что вы находились с той ведьмой в ночь, когда она умерла, и она сообщила вам что-то?..

– О матери того мальчика, про которого вы говорили? – перебила его надзирательница. – Да.

– Первый вопрос заключается в том, какого характера было ее сообщение, – сказал Монкс.

– Это второй вопрос, – очень рассудительно заметила женщина. – Первый заключается в том, сколько стоит это сообщение.

– А кто, черт возьми, на это ответит, не узнав, каково оно? – спросил Монкс.

– Лучше вас – никто, я в этом уверена, – заявила миссис Бамбл, у которой не было недостатка в храбрости, что с полным правом мог засвидетельствовать спутник ее жизни.

– Гм!.. – многозначительно произнес Монкс тоном, выразившим живейшее любопытство. – Значит, из него можно извлечь деньги?

– Все может быть, – последовал сдержанный ответ.

– У нее что-то взяли, – сказал Монкс. – Какую-то вещь, которая была на ней. Какую-то вещь...

– Вы бы лучше назначили цену, – перебила миссис Бамбл. – Я уже слышала достаточно и убедилась, что вы как раз тот, с кем мне нужно потолковать.

Мистер Бамбл, которому лучшая его половина до сих пор еще не открыла больше того, что он когда-то узнал, прислушивался к этому диалогу, вытянув шею и выпучив глаза, переводя взгляд с жены на Монкса и не скрывая изумления, пожалуй еще усилившегося, когда сей последний сердито спросил, сколько они потребуют у него за раскрытие тайны.

– Какую цену она имеет для вас? – спросила женщина так же спокойно, как и раньше.

– Быть может, никакой, а может быть, двадцать фунтов, – ответил Монкс. – Говорите и предоставьте мне решать.

– Прибавьте еще пять фунтов к названной вами сумме. Дайте мне двадцать пять фунтов золотом, – сказала женщина, – и я расскажу вам все, что знаю. Только тогда и расскажу.

– Двадцать пять фунтов! – воскликнул Монкс, откинувшись на спинку стула.

– Я вам ясно сказала, – ответила миссис Бамбл. – Сумма небольшая.

– Вполне достаточно за жалкую тайну, которая может оказаться ничего не стоящей, – нетерпеливо крикнул Монкс. – И погребена она уже двенадцать лет, если не больше.

– Такие вещи хорошо сохраняются, а пройдет время – стоимость их часто удваивается, как это бывает с добрым вином, – ответила надзирательница, по-прежнему сохраняя рассудительный и равнодушный вид. – Что до погребения, то, кто знает, бывают такие вещи, которые могут пролежать двенадцать тысяч или двенадцать миллионов лет и в конце концов порассказать странные истории.

– А если я зря отдам деньги? – колеблясь, спросил Монкс.

– Вы можете легко их отобрать: я только женщина, я здесь одна и без защиты.

– Не одна, дорогая моя, и не без защиты, – почтительно вставил мистер Бамбл голосам, прерывающимся от страха. – Здесь я, дорогая моя. А кроме того, – продолжал мистер Бамбл, щелкая при этом зубами, – мистер Монкс – джентльмен и не станет совершать насилие над приходскими чиновниками. Мистеру Монксу известно, дорогая моя, что я уже не молод и, если можно так выразиться, немножко отцвел, но он слышал – я не сомневаюсь, дорогая моя, мистер Монкс слышал, что я особа очень решительная и отличаюсь незаурядной силой, если меня расшевелить. Меня нужно только немножко расшевелить, вот и все.

С этими словами мистер Бамбл попытался с грозной решимостью схватить фонарь, но по его испуганной физиономии было ясно видно, что его и в самом деле надо расшевелить, и расшевелить хорошенько, прежде чем он приступит к каким-либо воинственным действиям; конечно, если они не направлены против бедняков или особ, выдрессированных для этой цели.

– Ты – дурак, – сказала миссис Бамбл, – и лучше бы ты держал язык за зубами!

– Лучше бы он его отрезал, прежде чем идти сюда, если не умеет говорить потише! – мрачно сказал Монкс. – Так, значит, он ваш муж?

– Он – мой муж, – хихикнув, подтвердила надзирательница.

– Я так и подумал, когда вы вошли, – отозвался Монкс, отметив злобный взгляд, который леди метнула при этих словах на своего супруга. – Тем лучше. Я охотнее веду дела с мужем и женой, когда вижу, что они действуют заодно. Я говорю серьезно. Смотрите!

Он сунул руку в боковой карман и, достав парусиновый мешочек, отсчитал на стол двадцать пять соверенов и подвинул их к женщине.

– А теперь, – сказал он, – берите их. И когда утихнут эти проклятые удары грома, которые, я чувствую, вот-вот прокатятся над крышей, послушаем ваш рассказ.

Когда затих гром, грохотавший, казалось, где-то еще ближе, почти совсем над ними, Монкс, приподняв голову, наклонился вперед, готовясь выслушать рассказ женщины. Лица всех троих почти соприкасались, когда двое мужчин в нетерпении переглянулись через маленький столик, а женщина тоже наклонилась вперед, чтобы они слышали ее шепот. Тусклые лучи фонаря, падавшие прямо на них, еще усиливали тревожную бледность лиц, и, окруженные густым сумраком и тьмою, они казались призрачными.

– Когда умирала эта женщина, которую мы звали старой Салли, – начала надзирательница, – мы с ней были вдвоем.

– Больше никого при этом не было? – таким же глухим шепотом спросил Монкс. – Ни одной больной старухи или идиотки на соседней кровати? Никого, кто мог бы услышать, а может быть, и понять, о чем идет речь?

– Ни души, – ответила женщина, – мы были одни. Я одна была возле нее, когда пришла смерть.

– Хорошо, – сказал Монкс, пристально в нее всматриваясь. – Дальше.

– Она говорила об одной молодой женщине, – продолжала надзирательница, – которая родила когда-то ребенка не только в той самой комнате, но даже на той самой кровати, на которой она теперь умирала.

– Неужто? – дрожащими губами проговорил Монкс, оглянувшись через плечо. – Проклятье! Какие бывают совпадения!

– Это был тот самый ребенок, о котором он говорил вам вчера вечером, – продолжала надзирательница, небрежно кивнув в сторону своего супруга. – Сиделка обокрала его мать.

– Живую? – спросил Монкс.

– Мертвую, – слегка вздрогнув, ответила женщина. – Она сняла с еще не остывшего тела ту вещь, которую женщина, умирая, просила сберечь для младенца.

– Она продала ее? – воскликнул Монкс вне себя от волнения. – Она ее продала? Где? Когда? Кому? Давно ли?

– С великим трудом рассказав мне, что она сделала, – продолжала надзирательница, – она откинулась на спину и умерла.

– И ни слова больше не сказала? – воскликнул Монкс голосом, казавшимся еще более злобным благодаря тому, что он был приглушен. – Ложь! Со мной шутки плохи. Она еще что-то сказала. Я вас обоих прикончу, но узнаю, что именно.

– Она не вымолвила больше ни словечка, – сказала женщина, по-видимому ничуть не испуганная (чего отнюдь нельзя было сказать о мистере Бамбле) яростью этого странного человека. – Она изо всех сил уцепилась за мое платье, а когда я увидела, что она умерла, я разжала ее руку и нашла в ней грязный клочок бумаги.

– И в нем было... – прервал Монкс, наклоняясь вперед.

– Ничего в нем не было, – ответила женщина. – Это была закладная квитанция.

– На какую вещь? – спросил Монкс.

– Скоро узнаете, – ответила женщина. – Сначала она хранила драгоценную безделушку, надеясь, наверно, как-нибудь получше ее пристроить, а потом заложила и наскребывала деньги, из года в год выплачивая проценты ростовщику, чтобы она не ушла из ее рук. Значит, если бы что-нибудь подвернулось, ее всегда можно было выкупить. Но ничего не

подвертывалось, и, как я вам уже сказала, она умерла, сжимая в руке клочок пожелтевшей бумаги. Срок истекал через два дня. Я тоже подумала, что, может быть, со временем что-нибудь подвернется, и выкупила заклад.

– Где он сейчас? – быстро спросил Монкс.

– *Здесь*, – ответила женщина.

И, словно радуясь возможности избавиться от него, она торопливо бросила на стол маленький кошелек из лайки, где едва могли бы поместиться французские часики. Монкс схватил его и раскрыл трясущимися руками – в кошельке лежал маленький золотой медальон, а в медальоне две пряди волос и золотое обручальное кольцо.

– С внутренней стороны на нем выгравировано имя «Агнес», – сказала женщина. – Потом оставлено место для фамилии, а дальше следует дата примерно за год до рождения ребенка, как я выяснила.

– И это все? – спросил Монкс, жадно и пристально осмотрев содержимое маленького кошелька.

– Все, – ответила женщина.

Мистер Бамбл перевел дух, будто радуясь, что рассказ окончен и ни слова не сказано о том, чтобы отобрать двадцать пять фунтов; теперь он набрался храбрости и вытер капли пота, обильно стекавшие по его носу во время всего диалога.

– Я ничего не знаю об этой истории, кроме того, о чем могу догадываться, – после короткого молчания сказала его жена, обращаясь к Монксу, – да и знать ничего не хочу, так будет безопаснее. Но не могу ли я задать вам два вопроса?

– Можете, задавайте, – не без удивления сказал Монкс, – впрочем, отвечу ли я на них, или нет – это уж другой вопрос.

– Итого будет три, – заметил мистер Бамбл, пытаясь состричь.

– Вы получили от меня то, на что рассчитывали? – спросила надзирательница.

– Да, – ответил Монкс. – Второй вопрос?

– Что вы намерены с этим делать? Не обернется ли это против меня?

– Никогда, – сказал Монкс, – ни против вас, ни против меня. Смотрите сюда. Но ни шагу вперед, а не то за вашу жизнь и соломинки не дашь.

С этими словами он неожиданно отодвинул стол и, дернув за железное кольцо в полу, откинул крышку большого люка, оказавшегося у самых ног мистера Бамбла, с величайшей поспешностью отступившего на несколько шагов.

– Загляните вниз, – сказал Монкс, опуская фонарь в отверстие. – Не бойтесь. Будь это в моих интересах, я преспокойно отправил бы вас туда, когда вы сидели над люком.

Ободренная этими словами, надзирательница подошла к краю люка, и даже сам мистер Бамбл, снедаемый любопытством, осмелился сделать то же самое. Бурлящая река, вздувшаяся после ливня, быстро катила вниз свои воды, и все другие звуки тонули в том грохоте, с каким они набегали и разбивались о зеленые сваи, покрытые тиной. Когда-то здесь была водяная мельница: поток, ленись и крутясь вокруг подгнивших столбов и уцелевших обломков машин, казалось, с новой силой устремлялся вперед, когда избавлялся от препятствий, тщетно пытавшихся остановить его бешеное течение.

– Если бросить туда труп человека, где очутится он завтра утром? – спросил Монкс, раскачивая фонарь в темном колодце.

– За двенадцать миль отсюда вниз по течению, и вдобавок он будет растерзан в клочья, – ответил мистер Бамбл, съездившись при этой мысли.

Монкс вынул маленький кошелек из-за пазухи, куда второпях засунул его, и, привязав кошелек к свинцовому грузу, когда-то служившему частью какого-то блока и валявшемуся на полу, бросил его в поток. Кошелек упал тяжело, как игральная кость, с едва уловимым плеском рассек воду и исчез.

Трое, посмотрев друг на друга, казалось, облегченно вздохнули.

– Готово, – сказал Монкс, опуская крышку люка, которая со стуком упала на прежнее место. – Если море и отдаст когда-нибудь своих мертвецов, как говорится в книгах, то золото

свое и серебро, а также и эту дребедень оно оставит себе. Говорить нам больше не о чем, можно положить конец этому приятному свиданию.

– Совершенно верно, – быстро отозвался мистер Бамбл.

– Язык держите за зубами, слышите? – с угрожающим видом сказал Монкс. – За вашу жену я не боюсь.

– Можете положиться и на меня, молодой человек, – весьма учтиво ответил мистер Бамбл, с поклоном пятясь к лестнице. – Ради всех нас, молодой человек, и ради меня самого, понимаете ли, мистер Монкс?

– Слышу и рад за вас, – сказал Монкс. – Уберите свой фонарь и убирайтесь как можно скорее!

Хорошо, что разговор оборвался на этом месте, иначе мистер Бамбл, который, продолжая отвешивать поклоны, находился в шести дюймах от лестницы, неизбежно полетел бы в комнату нижнего этажа. Он зажег свой фонарь от того фонаря, который Монкс отвязал от веревки я держал в руке, и, не делая никаких попыток продолжать беседу, стал молча спускаться по лестнице, а за ним его жена. Монкс замыкал шествие, предварительно задержавшись на ступеньке и удостоверившись, что не слышно никаких других звуков, кроме шума дождя и стремительно несущегося потока.

Они миновали комнату нижнего этажа медленно и осторожно, потому что Монкс вздрагивал при виде каждой тени, а мистер Бамбл, держа свой фонарь на фут от пола, шел не только с исключительной осмотрительностью, но и удивительно легкой поступью для такого дородного джентльмена, нервически осматриваясь вокруг, нет ли где потайных люков. Монкс бесшумно отпер и распахнул дверь, и супруги, обменявшись кивком со своим таинственным знакомым, очутились под дождем во мраке.

Как только они ушли, Монкс, казалось, питавший непреодолимое отвращение к одиночеству, позвал мальчика, который был спрятан где-то внизу. Приказав ему идти впереди и светить, он вернулся в комнату, откуда только что вышел.

Глава XXXIX

выводит на сцену несколько респектабельных особ, с которыми читатель уже знаком, и повествует о том, как совещались между собой достойный Монкс и достойный еврей

На следующий день после того, как три достойные особы, упомянутые в предшествующей главе, покончили со своим маленьким дельцем, мистер Уильям Сайкс, очнувшись вечером от дремоты, сонным и ворчливым голосом спросил, который час.

Этот вопрос был задан мистером Сайксом уже не в той комнате, какую он занимал до экспедиции в Чертей, хотя находилась она в том же районе, неподалеку от его прежнего жилища. Несомненно, это было менее завидное жилье, чем его старая квартира, – жалкая, плохо меблированная комната, совсем маленькая, освещавшаяся только одним крохотным оконцем в покатой крыше, выходившим в тесный, грязный переулок. Не было здесь недостатка и в других признаках, указывающих на то, что славному джентльмену за последнее время не везет, ибо весьма скудная обстановка и полное отсутствие комфорта, а также исчезновение такого мелкого движимого имущества, как запасная одежда и белье, свидетельствовали о крайней бедности; к тому же тощий и изможденный вид самого мистера Сайкса мог бы вполне удостоверить эти факты, если бы они нуждались в подтверждении.

Грабитель лежал на кровати, закутавшись вместо халата в свое белое пальто и отнюдь не похорошевший от мертвенного цвета лица, вызванного болезнью, равно как и от грязного ночного колпака и колючей черной бороды, неделю не бритой. Собака сидела около кровати, то задумчиво посматривая на хозяина, то настораживая уши и глухо ворча, если ее внимание привлекал какой-нибудь шум на улице или в нижнем этаже дома. У окна, углубившись в починку старого жилета, который служил частью повседневного костюма грабителя, сидела женщина, такая бледная и исхудавшая от лишений и ухода за больным, что большого труда

стоило признать в ней ту самую Нэнси, которая уже появлялась в этом повествовании, если бы не голос, каким она ответили на вопрос мистера Сайкса.

– Начало восьмого, – сказала девушка. – Как ты себя чувствуешь, Билл?

– Слаб, как чистая вода, – ответил мистер Сайкс, проклиная свои глаза, руки и ноги. – Дай руку и помоги мне как-нибудь сползти с этой проклятой кровати.

Нрав мистера Сайкса не улучшился от болезни: когда девушка помогала ему подняться и повела его к столу, он всячески ругал ее за неловкость, а потом ударил.

– Скулишь? – спросил Сайкс. – Хватит! Нечего стоять и хныкать! Если ты только на это и способна, проваливай! Слышишь?

– Слышу, – ответила девушка, отворачиваясь и пытаясь рассмеяться. – Что это еще взбрело тебе в голову?

– Э, так ты, стало быть, одумалась? – проворчал Сайкс, заметив слезы, навернувшиеся ей на глаза. – Тем лучше для тебя.

– Но ведь не хочешь же ты сказать, Билл, что и сегодня будешь жесток со мной, – произнесла девушка, положив руку ему на плечо.

– А почему бы и нет? – воскликнул мистер Сайкс, – Почему?..

– Столько ночей, – сказала девушка с еле заметной женственной нежностью, от которой даже в ее голосе слышались ласковые нотки, – столько ночей я терпеливо ухаживала за тобой, заботилась о тебе, как о ребенке, а сегодня я впервые вижу, что ты пришел в себя. Ведь не будешь же ты обращаться со мной как только что, правда ведь? Ну, скажи, что не будешь.

– Ладно, – отозвался мистер Сайкс, – не буду. Ах, черт подери, девчонка опять хнычет!

– Это пустяки, – сказала девушка, бросаясь на стул. – Не обращай на меня внимания. Скоро пройдет.

– Что – пройдет? – злобно спросил мистер Сайкс. – Какую еще дурь ты на себя напустила? Вставай, занимайся делом и не лезь ко мне со всякой бабьей чепухой!

В другое время это внушение и тон, каким оно было сделано, возымели бы желаемое действие, но девушка, действительно ослабевшая от истощения, откинула голову на спинку стула и лишилась чувств, прежде чем мистер Сайкс успел изрыгнуть несколько приличествующих случаю проклятий, которыми при подобных обстоятельствах имел обыкновение приправлять свои угрозы. Хорошенько не зная, что делать при столь исключительных обстоятельствах, – ибо у мисс Нэнси истерики обычно отличались тем бурным характером, который позволял больной справляться с ними без посторонней помощи, – мистер Сайкс попытался пустить в ход несколько ругательств и, убедившись, что такой способ лечения совершенно недейственен, позвал на помощь.

– Что случилось, мой милый? – спросил Феджин, заглядывая в комнату.

– Помогите-ка девчонке, – нетерпеливо откликнулся Сайкс. – Нечего тут бормотать, и ухмыляться, и пялить на меня глаза.

Вскрикнув от удивления, Феджин поспешил на помощь к девушке, а мистер Джек Даукинс (иными словами – Ловкий Плут), вошедший в комнату вслед за своим почтенным другом, мигом положил на пол узел, который тащил, и, выхватив бутылку из рук юного Чарльза Бейтса, шедшего за ним по пятам, мгновенно вытащил пробку зубами и влил часть содержимого бутылки в рот больной, предварительно отведав его сам, во избежание ошибки.

– Возьми-ка мехи, Чарльз, и дай ей глотнуть свежего воздуха, – сказал мистер Даукинс, – а вы похлопайте ее по рукам, Феджин, пока Билл развязывает юбки.

Все эти меры, совместно принятые и примененные с большой энергией – особенно те из них, которые были поручены юному Бейтсу, явно считавшему свою долю участия в процедуре беспримерной забавой, – не замедлили привести к желаемым результатам. Девушка постепенно пришла в себя, шатаясь, добралась до стула у кровати и зарылась лицом в подушку, предоставив встречать новых посетителей мистеру Сайксу, несколько удивленному их неожиданным появлением.

– Какой чертов ветер принес вас сюда? – спросил он Феджина.

– Все не чертов ветер, мой милый. Чертов ветер никому не приносит добра. А я захватил кое-что хорошее, что вам понравится... Плут, мой милый, развяжи узел и передай Биллу те пустяки, на которые мы сегодня утром истратили все деньги.

Исполняя распоряжение мистера Феджина, Ловкий Плут достал сверток не малых размеров, завязанный в старую скатерть, и начал передавать один за другим находившиеся в нем предметы Чарли Бейтсу, который раскладывал их на столе, расхваливая на все лады их редкие и превосходные качества.

– Ах, какой паштет из кроликов, Билл! – воскликнул сей молодой джентльмен, доставая огромный паштет. – Такое нежное создание, с такими хрупкими лапками, Билл, что даже косточки тают во рту и незачем их выбирать. Полфунта зеленого чаю, семь шиллингов шесть пенсов, такого крепкого, что, если засыпать его в кипяток, с чайника слетит крышка; полтора фунта сахару, чуть мокроватого, над которым негры здорово потрудились, пока он не достиг такого совершенства. Две двухфунтовые булки; фунт хорошего свежего масла; кусок жирного глостерского сыра наилучшего сорта, какого вы никогда и не нюхали.

Произнеся этот панегирик, юный Бейтс извлек из своего просторного кармана большую, тщательно закупоренную бутылку вина и в то же самое время налил из прежней бутылки полную рюмку чистого спирта, которую больной без всяких колебаний опрокинул себе в рот.

– Э, – воскликнул Феджин, с довольным видом потирая руки. – Вы не пропадете, Билл, теперь вы не пропадете.

– Не пропаду! – повторил мистер Сайкс. – Да я бы двадцать раз мог пропасть, прежде чем вы пришли ко мне на помощь. Как же это вы, лживая скотина, на три с лишним недели бросили человека на произвол судьбы когда он в таком состоянии?

– Вы только послушайте его, ребята! – пожимая плечами, сказал Феджин. – А мы-то принесли ему все эти чудесные вещи.

– Вещи в своем роде не плохи, – заметил мистер Сайкс, слегка смягчившись после того, как окинул взглядом стол, – но что вы можете сказать в свое оправдание? Почему вы бросили меня здесь, голодного, больного, без денег и вообще без всего и черт знает сколько времени обращали на меня не больше внимания, чем на эту вот собаку?.. Прогони ее, Чарли!

– Никогда еще я не видел такой потешной собаки! – воскликнул юный Бейтс, исполняя его просьбу. – Чует съестное не хуже, чем старая леди, идущая на рынок. Эта собака могла бы сколотить себе состояние на сцене и вдобавок оживить представление.

– А ну, молчи!.. – крикнул Сайкс, когда собака, не переставая рычать, уползла под кровать. – Так что же вы скажете в свое оправдание, тощий, старый кровопийца?

– Меня больше недели не было в Лондоне. Дела были разные, – ответил еврей.

– А другие две недели? – спросил Сайкс. – Другие две недели, когда я валялся здесь, как больная крыса в норе?

– Я ничего не мог поделать, Билл. Нельзя пускаться на людей в длинные объяснения... Я ничего не мог поделать, клянусь честью.

– Чем это вы клянетесь? – с величайшим презрением проворчал Сайкс. – Эй, вы, мальчишки, пусть кто-нибудь из вас отрежет мне кусок паштета, чтобы отбить этот вкус во рту, иначе я совсем задохнусь.

– Не раздражайтесь, мой милый, – смиренно уговаривал Феджин. – Я никогда не забывал вас, Билл, никогда.

– Да, я готов биться об заклад, что не забывали, – с горькой усмешкой отозвался Сайкс. – Все время, пока я лежал здесь в жару и лихорадке, вы замыслили всякие планы и козни: Билл сделает то, Билл сделает это, и Билл сделает все за чертовски низкую плату, как только поправится – он достаточно беден, чтобы работать на вас. Если бы не эта девушка, я отправился бы на тот свет.

– Полно, Билл, – возразил Феджин, жадно ухватившись за эти слова. – «Если бы не эта девушка!» Кто, как не бедный старый Феджин, помог вам обзавестись такой ловкой девушкой?

– Это он правду говорит, – сказала Нэнси, быстро шагнув вперед. – Оставь его, оставь в покое.

Вмешательство Нэнси изменило характер беседы, так как мальчики, подметив хитрое подмигивание осторожного старого еврея, начали угощать ее спиртным, – впрочем, пила она очень умеренно, а Феджин, обнаружив несвойственную ему веселость, постепенно привел мистера Сайкса в лучшее расположение духа, притворившись, будто считает его угрозы милыми шуточками, и вдобавок они от души посмеялись над теми двумя-тремя грубыми остротами, до которых снизошел Сайкс, предварительно приложившись несколько раз к бутылке со спиртом.

– Все это прекрасно, – сказал мистер Сайкс, – но сегодня я должен получить от вас наличные.

– При мне нет ни единой монеты, – ответил еврей.

– Но дома их у вас груды, – возразил Сайкс. – И из них я должен кое-что получить.

– Груды! – вскричал Феджин, вздевая руки. – Да мне не хватило бы даже на...

– Не знаю, сколько их у вас накопилось, да и сами-то вы не знаете, потому что долгонько пришлось бы их считать, – сказал Сайкс. – Но деньги мне нужны сегодня – коротко и ясно!

– Хорошо, хорошо! – со вздохом сказал Феджин. – Я пришло с Ловким Плутотом.

– Этого вы не сделаете, – возразил мистер Сайкс. – Ловкий Плут слишком ловок – он позабудет прийти, или собьется с дороги, или будет уваливать от ищеек и не придет, или еще что-нибудь придумает в оправдание, если вы дадите ему такой наказ. Пусть Нэнси идет в вашу берлогу и принесет деньги, чтобы все было в порядке, а пока ее не будет, я лягу всхрапну.

После долгого торга и пререканий Феджин снизил требуемую ссуду с пяти фунтов до трех фунтов четырех шиллингов и шести пенсов, клятвенно заверяя, что теперь у него останется только восемнадцать пенсов на хозяйство. Мистер Сайкс хмуро заметил, что придется ему удовлетвориться и этим, если на большее рассчитывать не приходится. Затем Нэнси собралась провожать Феджина, а Плут и мистер Бейтс спрятали еду в буфет.

Распрощавшись со своим любезным другом, еврей отправился домой в сопровождении Нэнси и мальчиков; тем временем мистер Сайкс бросился на постель, намереваясь спать вплоть до возвращения молодой леди.

Без всяких задержек они прибыли в обиталище Феджина, где застали Тоби Крекита и мистера Читлинга, увлеченных пятнадцатой партией криббеджа, причем вряд ли нужно говорить, что сей последний джентльмен эту партию проиграл, а вместе с нею пятнадцатый и последний шестипенсовик, к великой потехе своих молодых друзей. Мистер Крекит, явно пристыженный тем, что его застали за игрой с джентльменом, столь ниже его по общественному положению и умственным способностям, зевнул и, осведомившись о Сайксе, взял шляпу, собираясь уйти.

– Никто не приходил, Тоби? – спросил Феджин.

– Ни одной живой души, – ответил мистер Крекит, поднимая воротник. – От скуки я чуть не скис, как дрянное пиво. За вами хорошая выпивка, Феджин, в награду мне за то, что я так долго сторожил дом. Черт побери! Я отупел, как присяжный, и заснул бы так же крепко, как Ньюгетская тюрьма, если бы по доброте своей не вздумал позабавить этого юнца. Чертовская скука, будь я проклят, если не так!

С этими словами мистер Тоби Крекит забрал выигранные деньги и сунул в жилетный карман с высокомерным видом, словно мелкие серебряные деньги совершенно недостойны внимания такой особы, как он; покончив с этим, он важно вышел из комнаты элегантно и благородно поступью, после чего мистер Читлинг, бросивший восхищенные взгляды на его ноги и сапоги, пока они не скрылись из виду, объявил всей компании, что знакомство с ним обходится каких-нибудь пятнадцать шестипенсовиков за свидание, а такой проигрыш он ценит не дороже шелчка.

– Ну и чудак же вы, Том, – сказал мистер Бейтс, которого очень позабавило это

заявление.

– Ничуть не бывало, – отозвался мистер Читлинг. – Разве я чудак, Феджин?

– Ты очень смысленный парень, мой милый, – сказал Феджин, похлопывая его по плечу и подмигивая другим ученикам.

– А мистер Крекит – настоящий франт. Правда, Феджин? – спросил Том.

– Без сомнения, мой милый.

– И поддерживать с ним знакомство очень лестно. Правда, Феджин? – продолжал Том.

– Конечно, очень лестно, мой милый. Они просто завидуют тебе, потому что с ними он не хочет водиться.

– Ну! – с торжеством воскликнул Том. – Вот в чем дело! Он меня дочиста обобрал. Но ведь я могу пойти заработать еще, когда мне вздумается, – правда, Феджин?

– Разумеется, можешь. Том, и чем скорее пойдешь, тем лучше. Возмести же, не мешкая, свой проигрыш и не теряй больше времени... Плут! Чарли! Пора вам отправляться на работу. Пошевеливайтесь! Скоро десять, а ничего еще не сделано.

Приняв к сведению намек, мальчики кивнули Нэнси и, взяв свои шляпы, вышли из комнаты; по дороге Плут и его жизнерадостный друг развлекались, придумывая всевозможные остроты, направленные против мистера Читлинга, в чьем поведении, нужно отдать ему справедливость, не было ничего особо примечательного или странного, поскольку немало есть в столице предприимчивых молодых щеголей, которые платят значительно больше, чем мистер Читлинг, за честь быть принятыми в хорошем обществе, и немало изысканных джентльменов (составляющих упомянутое хорошее общество), которые строят свою репутацию почти на таком же фундаменте, – как и ловкач Тоби Крекит.

– А теперь, – сказал Феджин, когда мальчики вышли из комнаты, – пойду принесу тебе деньги, Нэнси. Это просто ключ от шкафчика, моя милая, где я храню кое-какие вещи, которые приносят мальчики. Своих денег я никогда не запираю, потому что мне и запирасть нечего, моя милая... ха-ха-ха... запирасть нечего. Невыгодное это ремесло, Нэнси, и неблагодарное. Но я люблю видеть вокруг себя молодые лица и все терплю, все терплю. Тише, – воскликнул он, торопливо пряча ключ за пазуху. – Кто это там? Прислушайся.

Девушка, сидевшая за столом сложа руки, по-видимому, несколько не интересовалась, пришел ли кто-нибудь, или уходит, пока до слуха ее не донесся невнятный мужской голос. Едва уловив этот звук, она с быстротой молнии сорвала с себя шляпку и шаль и сунула их под стол. Когда еврей оглянулся, она пожаловалась на жару ослабевшим голосом, удивительно противоречащим стремительности и страстности ее движений, что, однако, не было замечено Феджином, стоявшим в то время к ней спиной.

– Ба! – пробормотал он, как будто раздосадованный помехой. – Это тот человек, которого я ждал раньше; он спускается по лестнице. Ни слова о деньгах, пока он здесь, Нэнси. Он недолго пробудет. Не больше десяти минут, моя милая.

Приложив к губам костлявый указательный палец, еврей понес лампу к двери, когда за нею на лестнице послышались шаги. Он подошел к двери одновременно с посетителем, который, быстро войдя в комнату, очутился возле девушки, прежде чем успел ее заметить.

Это был Монкс.

– Всего-навсего одна из моих молоденьких учениц, – сказал Феджин, заметив, что Монкс попятился при виде незнакомого лица. – Не уходи, Нэнси.

Девушка ближе придвинулась к столу и, мельком, с равнодушным видом посмотрев на Монкса, отвела взгляд; но когда Монкс перевод глаза с нее на Феджина, она искоса снова метнула на него взгляд – такой острый и испытующий, что, будь здесь какой-нибудь наблюдатель и подметь он эту перемену, он с трудом мог бы поверить, что оба эти взгляда брошены одной и той же особой.

– Есть новости? – осведомился Феджин.

– Очень важные.

– И... и... хорошие? – нерешительно спросил Феджин, словно опасаясь раздражать собеседника чрезмерным благодушием.

– Во всяком случае, неплохие, – с улыбкой ответил Монкс. – На этот раз я не терял времени. Мне нужно с вами поговорить.

Девушка еще ближе придвинулась к столу и не выразила намерения покинуть комнату, хотя и могла заметить, что Монкс указывает на нее. Еврей, боясь, быть может, как бы она не заговорила вслух о деньгах, если он попробует ее выпроводить, указал наверх и увел Монкса.

– Только не в ту проклятую дыру, где мы были прошлый раз, – услышала она голос посетителя, когда они поднимались по лестнице. Феджин засмеялся, ответил что-то, чего она не разобрала, и, казалось, судя по скрипу досок, повел своего собеседника на третий этаж.

Еще не замерло в доме эхо, разбуженное их шагами, как девушка уже сняла башмаки, завернула на голову подол платья и, закутав в него руки, остановилась у двери, прислушиваясь с напряженным вниманием. Как только шум затих, она выскользнула из комнаты, удивительно легко и бесшумно поднялась по лестнице и скрылась во мраке наверху.

Около четверти часа, если не больше, в комнате никого не было; затем девушка вернулась той же неслышной поступью, и сейчас же вслед за этим раздались шаги двух мужчин, спускавшихся по лестнице. Монкс немедленно вышел на улицу, а еврей снова поплелся наверх за деньгами. Когда он вошел, девушка надевала шаль и шляпку, якобы собираясь уходить.

– Что это, Нэнси? – воскликнул еврей, поставивший свечу на стол, и отшатнулся. – Какая ты бледная!

– Бледная? – повторила девушка, заслоняя глаза руками, как будто для того, чтобы пристальнее посмотреть на него.

– Ужасно. Что это с тобой стряслось?

– Ровно ничего. Сидела в этой душевной комнате невесть сколько времени, вот и все, – небрежно ответила девушка. – Ну, будьте добреньки, отпустите же меня.

Вздыхая над каждой монетой, Феджин отсчитал ей на ладонь деньги. Они расстались без дальнейших разговоров, обменявшись только пожеланием спокойной ночи.

Очутившись на улице, девушка присела на ступеньку у двери и в течение нескольких секунд казалась совершенно ошеломленной и неспособной продолжать путь. Вдруг она встала и, бросившись в сторону, как раз противоположную той, где ждал ее Сайкс, ускорила шаги и шла все быстрее, пока шаг ее не превратился в стремительный бег. Окончательно выбившись из сил, она остановилась, чтобы отдышаться, но, словно опомнившись и поняв, что не сможет осуществить задуманное, в отчаянии заломила руки и разрыдалась. Может быть, слезы облегчили ее или же она поняла полную безнадежность своего положения – как бы то ни было, она повернулась и побежала в обратную сторону чуть ли не с такой же быстротой – отчасти, чтобы наверстать потерянное время, а отчасти, чтобы приноровить шаг к стремительному потоку своих мыслей, – и вскоре добралась до дома, где оставила грабителя.

Если, представ перед мистером Сайксом, она и выдала чем-нибудь свое волнение, то он этого не заметил; осведомившись, принесла ли она деньги, и получив утвердительный ответ, он удовлетворенно пробурчал что-то и, снова опустив голову на подушку, погрузился в сон, прерванный ее приходом.

Счастье для нее, что на следующий день наличие денег заставило Сайкса столько потрудиться над едой и питьем и к тому же возымело столь благотворное влияние на его нрав, смягчив его шероховатость, что у него не было ни времени, ни желания критиковать ее поведение и манеры. Ее рассеянность и нервозность, как у того, кто готовится совершить какой-то смелый и опасный шаг, требующий серьезной борьбы, прежде чем принято решение, не ускользнули бы от рысьих глаз Феджина, который, вероятно, немедленно забил бы тревогу. Но мистер Сайкс, не отличавшийся особой наблюдательностью и не тревожимый опасениями более тонкими, чем те, какие можно заглушить неизменной грубостью в обращении со всеми и каждым, а вдобавок, как было уже указано, находившийся в

исключительно приятном расположении духа, – мистер Сайкс не видел ничего необычного в ее поведении и в сущности обращал на нее так мало внимания, что, будь даже ее волнение гораздо приметнее, оно вряд ли вызвало бы у него подозрения.

К концу дня возбуждение девушки усилилось, когда же настал вечер и она, сидя возле грабителя, ждала, пока он напьется и заснет, щеки ее были так бледны, а глаза так горели, что даже Сайкс отметил это с изумлением.

Мистер Сайкс, ослабевший от лихорадки, лежал на кровати, разбавляя джин горячей водой, чтобы уменьшить его возбуждающее действие, и уже в третий или четвертый раз пододвинул Нэнси стакан, чтобы та наполнила его, когда вдруг ее вид впервые поразил его.

– Ах, чтоб мне сдохнуть! – воскликнул он, приподнимаясь на руках и всматриваясь в лицо девушки. – Ты похожа на ожившего мертвеца. В чем дело?

– В чем дело? – повторила девушка. – Ни в чем. Чего ты так таращишь на меня глаза?

– Что это еще за дурь? – спросил Сайкс, схватив ее за руку и грубо встряхнув. – Что это значит? Что у тебя на уме? О чем ты думаешь?

– О многом, Билл, – ответила девушка, вздрагивая и закрывая глаза руками. – Но не все ли равно?

Притворно веселый тон, каким были сказаны последние слова, казалось, произвел на Сайкса более глубокое впечатление, чем дикий, напряженный взгляд, который им предшествовал.

– Вот что я тебе скажу, – начал Сайкс, – если ты не заразилась лихорадкой и не больна, так значит тут пахнет чем-то другим, особенным, да к тому же и опасным. Уж не собираешься ли ты... Нет, черт подери, этого ты бы не сделала!

– Чего бы не сделала? – спросила девушка.

– Нет на свете, – сказал Сайкс, не спуская с нее глаз и бормоча эти слова про себя, – нет на свете более надежной девки, не то я еще три месяца назад перерезал бы ей горло. Это у нее лихорадка начинается, вот что.

Успокоив себя таким доводом, Сайкс осушил стакан до дна, а затем, ворчливо ругнувшись, потребовал свое лекарство. Девушка поспешно вскочила, стоя спиной к нему, она быстро налила лекарство и держала стакан у его губ, пока он пил.

– А теперь, – сказал грабитель, – сядь возле меня и чтобы лицо у тебя было как всегда, а не то я разукрашу его так, что ты сама его не узнаешь.

Девушка повиновалась. Сайкс, зажав ее руку в своей, откинулся на подушку, не спуская глаз с ее лица. Глаза закрылись, открылись снова, опять закрылись и снова открылись. Он беспокойно повернулся, несколько раз задремывал на две-три минуты и так же часто вскакивал с испуганным видом, тупо озирался вокруг и вдруг, в ту самую минуту, когда хотел приподняться, погрузился в глубокий, тяжелый сон. Пальцы его разжались, поднятая рука вяло опустилась – он лежал словно в полном беспмятстве.

– Наконец-то опий подействовал, – прошептала ловушка, отходя от кровати, – но, может быть, теперь уже слишком поздно.

Она проворно надела шляпку и шаль, изредка боязливо оглядываясь, словно опасаясь, как бы, несмотря на снотворный напиток, не опустилась на ее плечо тяжелая рука Сайкса; потом, тихонько наклонившись над постелью, поцеловала грабителя в губы и, бесшумно открыв дверь комнаты, выбежала на улицу.

В темном переулке, который вел на главную улицу, сторож выкрикивал половину десятого.

– Давно пробило? – спросила девушка.

– Через четверть часа пробьет десять, – сказал сторож, поднимая фонарь к ее лицу.

– А мне не добраться туда раньше, чем через час, – пробормотала девушка, проскользнув мимо него и бросившись бежать по улице.

Многие лавки уже закрылись в тех глухих переулках и улицах, которыми она пробегала, направляясь из Спителфилдс к лондонскому Вест-Энду. Когда пробило десять, нетерпение ее усилилось. Она мчалась по узкому тротуару; расталкивая прохожих и

проскакивая чуть ли не под самыми мордами лошадей, перебежала запруженные улицы, где кучки людей нетерпеливо ждали возможности перейти через дорогу.

– Эта женщина с ума сошла, – говорили прохожие, оборачиваясь, чтобы посмотреть ей вслед, в то время как она летела дальше.

Когда она добралась до более богатой части города, улицы были сравнительно пустынные, и здесь ее стремительность вызвала еще большее любопытство у редких прохожих, мимо которых она пробегала. Иные ускоряли шаг, словно хотели узнать, куда она так спешит, и те из них, кому удавалось нагнать ее, оглядывались, удивленные тем, что она мчится все с той же быстротой.

Но один за другим они отставали, и она была одна, когда достигла цели своего путешествия. Это был семейный пансион в тихой, красивой улице неподалеку от Гайд-парка. Когда ослепительный свет фонаря, горевшего у двери, привел ее к этому дому, пробило одиннадцать. Сначала она замедлила шаги, словно собираясь с духом, чтобы подойти, но бой часов придал ей решимости, и она вошла в холл... Привратника не было на обычном его месте. Она неуверенно огляделась вокруг и направилась к лестнице.

– Послушайте-ка, – сказала нарядная особа женского пола, выглядывая за ее спиной из-за двери, – кого вам здесь нужно?

– Леди, которая остановилась в этом доме, – отозвалась девушка.

– Леди? – последовал ответ, сопровождаемый презрительным взглядом. – Какую леди?

– Мисс Мэйли, – сказала Нэнси.

Нарядная особа, которая к тому времени обратила внимание на внешность Нэнси, ответила только взглядом, выразившим добродетельное презрение, и призвала для переговоров с нею мужчину. Нэнси повторила ему свою просьбу.

– Как о вас доложить? – спросил слуга.

– Не к чему называть фамилию, – ответила Нэнси.

– А по какому делу? – продолжал тот.

– И об этом незачем говорить! – возразила девушка. – Мне нужно видеть леди.

– Уходите! – сказал слуга, подталкивая ее к двери. – Хватит, убирайтесь!

– Можете вытолкать меня отсюда, но сама я не уйду! – резко крикнула девушка. – А уж я постараюсь, чтобы вы и вдвоем со мной не сладили. Неужели нет здесь никого, – продолжала она, озираясь, – кто бы согласился исполнить просьбу такого жалкого создания, как я?

Этот призыв произвел впечатление на повара, который благодушно наблюдал эту сцену вместе с другими слугами и теперь выступил вперед, чтобы вмешаться.

– Доложите-ка о ней, Джо, что вам стоит, – сказала Эта персона.

– Да что толку? – возразил тот. – Уж не думаете ли вы, что молодая леди пожелает принять такую, как она?

Этот намек на сомнительную репутацию Нэнси вызвал бурю целомудренного гнева в груди четырех горничных, которые с великим угаром заявили, что эта тварь позорит свой пол, и решительно потребовали, чтобы ее без всякого сожаления бросили в канаву.

– Делайте со мной что хотите, – сказала девушка, снова обращаясь к мужчинам, – но сначала исполните мою просьбу, а я именем господ бога прошу доложить обо мне.

Мягкосердечный повар присовокупил свое ходатайство, и дело кончилось тем, что слуга, появившийся первым, взялся исполнить поручение.

– Так что же передать? – спросил он, уже стоя одной ногой на нижней ступеньке.

– Что одна молодая женщина убедительно просит позволения поговорить наедине с мисс Мэйли, – ответила Нэнси, – а когда леди услышит хоть одно слово из того, что та хочет ей сказать, она сама решит, выслушать ли ей до конца, или выгнать эту женщину, как обманщицу.

– Ну, знаете ли, – вы что-то уж очень напористы, – сказал слуга.

– Вы только передайте эти слова, – твердо сказала девушка, – и принесите мне ответ.

Слуга побежал по лестнице. Нэнси, бледная, с трудом переводя дух, стояла внизу,

прислушиваясь с дрожащими губами к тем громким, презрительным замечаниям, на какие не скупилась целомудренные служанки; они принялись расточать их еще щедрее, когда вернулся слуга и сказал, чтобы молодая женщина шла наверх.

– Что толку соблюдать благопристойность на этом свете? – сказала первая служанка.

– Медь иной раз ценят дороже золота, хотя ему и огонь нипочем! – заметила вторая.

Третья удовольствовалась недоуменным вопросом: «Из чего же сделаны леди?» – а четвертая положила начало квартету: «Какой срам!» – на чем и сошлись эти Дианы.

Невзирая на все это – ибо на сердце у нее было бремя более тяжкое, – Нэнси, дрожа всем телом, вошла вслед за слугой в маленькую переднюю, освещенную висевшей под потолком лампой. Здесь слуга ее оставил и удалился.

Глава XL

Странное свидание, которое является продолжением событий, изложенных в предыдущей главе

Жизнь девушки протекала на улицах, в самых гнусных притонах и вертепах Лондона, но тем не менее она еще сохранила какую-то порядочность, присущую женщине, и, когда она услышала легкие шаги, приближающиеся к двери, находившейся против той, в которую она вошла, она подумала о резком контрасте, свидетелем которого будет через секунду эта маленькая комнатка, почувствовала всю тяжесть своего позора и съезжилась, как будто ей почти непосильно было присутствие той, с кем она добивалась свидания.

Но с этими лучшими чувствами боролась гордость – порок самых развращенных и униженных, равно как и возвеличенных и самоуверенных. Жалкая сообщница воров и грабителей, падшее существо, исторгнутое грязными притонами, помощница самых мерзких преступников, живущая под сенью виселицы, – даже это погрязшее в пороках создание было слишком гордым, чтобы хоть отчасти проявить чувствительность, присущую женщине, – чувствительность, которую она считала слабостью, хотя она одна еще связывала ее с человеческой природой, следы которой стерла тяжелая жизнь в пору ее детства. Она подняла глаза лишь настолько, чтобы разглядеть, что представшая перед ней девушка стройна и прекрасна, затем, потупившись, она с притворной беззаботностью потрянула головой и сказала:

– Нелегкое дело добратся до вас, сударыня. Если бы я обиделась и ушла, как сделали бы многие на моем месте, вы об этом когда-нибудь пожалели бы – и не зря.

– Я очень сожалею, если с вами были грубы, – отвечала Роз. – Постарайтесь забыть об этом. Скажите мне, зачем вы хотели меня видеть. Я та, кого вы спрашивали.

Ласковый тон, нежный голос, кроткая учтивость, полное отсутствие высокомерия или неудовольствия застигли девушку врасплох, и она залилась слезами.

– Ах, сударыня! – воскликнула она страстно, заломив руки. – Если бы больше было таких, как вы, – меньше было бы таких, как я... меньше... меньше...

– Сядьте, – настойчиво сказала Роз. – Если вы бедны или вас постигло несчастье, я от всей души и всем, чем могу, рада вам помочь. Сядьте.

– Разрешите мне постоять, леди, – сказала девушка, все еще плача, – и не говорите со мной так ласково, пока вы не узнаете, кто я такая. Становится поздно. Эта... Эта дверь закрыта?

– Да, – сказала Роз, отступив на несколько шагов, словно для того, чтобы к ней скорее могли прийти на помощь в случае, если понадобится. – Почему вы задаете этот вопрос?

– Потому, – сказала девушка, – потому, что я собираюсь отдать в ваши руки свою жизнь и жизнь других. Я – та самая девушка, которая утащила маленького Оливера к старику Феджину в тот вечер, когда он вышел из дома в Пентонвиле.

– Вы?! – воскликнула Роз Мэйли.

– Да, я, сударыня, – ответила девушка. – Я та самая бесчестная женщина, о которой вы слышали, живущая среди воров, и – да поможет мне бог! – с того времени, как я себя помню,

и когда глазам моим и чувствам открылись улицы Лондона, я не знала лучшей жизни и не слышала более ласковых слов, чем те, какими она меня награждала. Не бойтесь, можете отшатнуться от меня, леди. Я моложе, чем кажусь, но я к этому привыкла. Самые бедные женщины отшатываются от меня, когда я прохожу по людной улице.

– Какой ужас! – сказала Роз, невольно отступая от своей странной собеседницы.

– На коленях благодарите бога, дорогая леди, – воскликнула девушка, – что у вас были друзья, которые с самого раннего детства о вас заботились и оберегали вас, и вы никогда не знали холода и голода, буйства и пьянства и... и еще кое-чего похуже, что знала я с самой колыбели. Я могу сказать это слово, потому что моей колыбелью были глухой закоулок да канава... они будут и моим смертным ложем.

– Мне жаль вас, – прерывающимся голосом сказала Роз. – У меня сердце надрывается, когда я вас слушаю.

– Да благословит вас бог за вашу доброту, – отозвалась девушка. – Если бы вы знали, какой я иной раз бываю, вы бы я в самом деле меня пожалели. Но ведь я тайком убежала от тех, которые, конечно, убили бы меня, знай они, что я пришла, сюда, чтобы передать подслушанное. Знаете ли вы человека по имени Монкс?

– Нет, – ответила Роз.

– А он вас знает, – заявила девушка, – и знает, что вы остановились здесь. Ведь я вас отыскала потому, что подслушала, как он назвал это место.

– Я никогда не слыхала этой фамилии, – сказала Роз.

– Значит, у нас он появляется под другим именем, – заявила девушка, – я об этом и раньше догадывалась. Несколько времени назад, вскоре после того, как Оливера просунули к вам в окошко, – когда пытались вас ограбить, я, подозревая этого человека, подслушала однажды ночью его разговор с Феджином. И я поняла, что Монкс, тот самый, о котором я вас спрашивала...

– Да, – сказала Роз, – понимаю.

– Вот что Монкс, – продолжала девушка, – случайно увидел Оливера с двумя из ваших мальчишек в тот день, когда мы в первый раз его потеряли, и сразу узнал в нем того самого ребенка, которого он выслеживал, – я не могла угадать, о какой цели. С Феджином был заключен договора что, если Оливера опять захватят, он получит определенную сумму и получит еще больше, если сделает из него вора, а это для чего-то очень нужно было Монксу.

– Для чего? – спросила Роз.

– Он заметил мою тень на стене, когда я подслушивала, надеясь разузнать, в чем тут дело, – ответила девушка, – и мало кто мог бы, кроме меня, улизнуть вовремя и не попасться. Но мне это удалось, и я его не видела до вчерашнего вечера.

– А что же случилось вчера?

– Сейчас я вам расскажу, леди. Вчера вечером он опять пришел. Опять они поднялись наверх, и я, закутавшись так, чтобы тень не выдала меня, опять подслушивала у двери. Первое, что я услышала, были слова Монкса: «Итак, единственные доказательства, устанавливающие личность мальчика, покоятся на дне реки, а старая карга, получившая их от его матери, гниет в своем гробу». Он и Феджин расхохотались и стали толковать о том, как посчастливилось ему все это обделать, а Монкс, заговорив о мальчике, рассвирепел и сказал, что хотя он и заполучил деньги чертенка, но лучше бы ему добиться их другим путем; вот была бы потеха, говорил он, поиздеваться над чванливым завещанием отца, протащить мальчишку через все городские тюрьмы, а потом вздернуть его на виселицу за какое-нибудь тяжкое преступление, что Феджин легко мог бы обделать, а до этого еще и подработать на нем.

– Что же это такое?! – воскликнула Роз.

– Сущая правда, леди, хотя это и говорю я, – ответила девушка. – Потом Монкс сказал с проклятиями, привычными для меня, но незнакомыми вам, что, если бы он мог утолить свою ненависть и лишить мальчика жизни без риска для собственной головы, он сделал бы это, но так как это невозможно, то он будет начеку, будет следить за превратностями его

судьбы, и так как он знает о его происхождении и жизни – преимущество на его стороне, и, может быть, ему удастся повредить мальчику. «Короче говоря, Феджин, – сказал он, – хотя вы и еврей, но никогда еще не расставляли таких силков, какие я расставил для моего братца Оливера».

– Для брата! – воскликнула Роз.

– Это были его слова, – сказала Нэнси, пугливо озираясь, как озиралась она почти все время, пока говорила, ибо ее преследовал образ Сайкса. – Но это не все. Когда он заговорил о вас и о той, другой леди и сказал, что, видно, бог или дьявол устроили так, чтобы, назло ему, Оливер попал в ваши руки, он расхохотался и заявил, что даже и это его радует, потому что немало тысяч и сотен фунтов отдали бы вы, если бы их имели, чтобы узнать, кто ваша двуногая собачка.

– Неужели это было сказано серьезно? – сильно побледнев, спросила Роз.

– Он говорил на редкость решительно и злобно, – покачивая головой, ответила девушка. – Он не шутит, когда в нем кипит ненависть. Я знаю многих, кто делает вещи похуже, но лучше мне слушать их десяток раз, чем один раз этого Монкса. Сейчас уже поздно, а я должна вернуться домой, чтобы не заподозрили, по какому делу а ходила. Мне нужно поскорее добраться до дому.

– Но что же я могу сделать? – сказала Роз. – Без вас какую пользу я могу извлечь из этих сведений? Добраться до дому? Почему вам хочется вернуться к товарищам, которых вы описали такими ужасными красками? Если вы повторите это сообщение одному джентльмену, которого я сию же минуту могу вызвать из соседней комнаты, не пройдет и получаса, как вас устроят в каком-нибудь безопасном месте.

– Я хочу вернуться, – сказала девушка. – Я должна вернуться, потому что... как говорить о таких вещах вам, невинной леди?.. потому что среди тех людей, о которых я вам рассказывала, есть один, самый отчаянный из всех, и его я не могу оставить, да, не могу, даже ради того, чтобы избавиться от той жизни, какую теперь веду.

– Ваше прежнее заступничество за этого милого мальчика, – сказала Роз, – ваш приход сюда, чтобы, невзирая на страшную опасность, рассказать мне то, что вы слышали, ваш вид, убеждающий меня в правдивости наших слов, ваше явное раскаяние и стыд – все это заставляет меня верить, что вы еще можете исправиться. О! – складывая руки, воскликнула пылкая девушка, а слезы струились у нее по лицу, – не будьте глухи к мольбам другой женщины, которая первая – первая, я в этом уверена! – обратилась к вам со словами жалости и сострадания. Услышьте меня и дайте мне вас спасти для лучшего будущего!

– Сударыня, – воскликнула девушка, падая на колени, – милая сударыня, добрая, как ангел! Да, вы первая, которая осчастливила меня такими словами, и, услышь я их несколько лет назад, они могли бы отвратить меня от пути греха и печали. Но теперь слишком поздно, слишком поздно.

– Никогда не поздно, – сказала Роз, – раскаяться и искупить грехи.

– Поздно! – вскричала девушка, терзаемая душевной мукой. – Теперь я не могу его оставить. Я не могу быть виновницей его смерти.

– А почему вы будете виновницей? – спросила Роз.

– Ничто бы его не спасло! – воскликнула девушка. – Если бы я рассказала другим то, что рассказала вам, и всех бы захватили, ему, конечно, не избежать смерти. Он самый отчаянный и был таким жестоким.

– Может ли быть, – вскричала Роз, – что ради такого человека вы отказываетесь от всех надежд на будущее и от уверенности в немедленном спасении? Эго безумие!

– Не знаю, что это такое, – ответила девушка. – Знаю только, что так оно есть и так бывает не со мной одной, но с сотнями других, таких же падших и ничтожных, как я. Я должна вернуться. Божья ли это кара за содеянное мною зло, но меня тянет вернуться к нему, несмотря на все муки и побои, и, верно, тянуло бы, даже знай я, что в конце концов мне придется умереть от его руки.

– Что же мне делать? – сказала Роз. – Я не должна вас отпускать.

– Вы должны, сударыня! И я знаю, что вы меня отпустите, – возразила девушка, поднимаясь с колен. – Вы не мешаете мне уйти, потому что я доверилась вашей доброте и не потребовала от вас никаких обещаний, хотя могла бы это сделать.

– Какая же тогда польза от вашего сообщения? – сказала Роз. – Эту тайну необходимо раскрыть, иначе какое благо принесет Оливеру, которому вы хотите услужить, то, что вы мне говорили?

– Среди ваших знакомых, конечно, есть какой-нибудь добрый джентльмен, который выслушает все и, сохраняя тайну, посоветует вам, что делать, – сказала девушка.

– Но где же мне найти вас, если это будет необходимо? – спросила Роз. – Я вовсе не хочу знать, где живут эти ужасные люди, но не могли бы вы отныне прогуливаться где-нибудь в определенный час?

– Обещаете ли вы мне, что будете крепко хранить мою тайну и придете одна или только с тем человеком, которому ее доверите? Обещаете, что меня не будут подстергать или выслеживать? – спросила девушка.

– Даю вам торжественное обещание – ответила Роз.

– Каждый воскресный вечер в одиннадцать часов, – не колеблясь, сказала девушка, – если буду жива, я буду ходить по Лондонскому мосту.

– Подождите еще минутку! – воскликнула Роз, когда девушка быстро направилась к двери. – Подумайте еще раз о своей собственной участи и о возможности изменить ее. Я перед вами в долгу не только потому, что вы добровольно доставили эти сведения, но и потому, что вы – женщина, погибшая почти безвозвратно. Неужели вы вернетесь к этой шайке грабителей и к этому человеку, когда одно слово может вас спасти? Что за обольщение заставляет вас вернуться и лгнуть к пороку и злу? О, неужели нет ни одной струны в вашем сердце, которую я могла бы затронуть? Неужели не осталось ничего, к чему могла бы я воззвать, чтобы побороть это ужасное ослепление?

– Когда леди, такие молодые, добрые и прекрасные, как вы, отдают свое сердце, – твердо ответила девушка, – любовь может завлечь их куда угодно... даже таких, как вы, у которых есть дом, друзья, поклонники, все, что делает жизнь полной. Когда такие, как я, у которых нет никакой надежной крыши, кроме крышки гроба, и ни одного друга в случае болезни или смерти, кроме больничной сиделки, отдают свое развращенное сердце какому-нибудь мужчине и позволяют ему занять место, которое никем не было занято в продолжение всей нашей злосчастной жизни, кто может надеяться излечить нас? Пожалейте нас, леди! Пожалейте нас за то, что из всех чувств, ведомых женщине, у нас осталось только одно, да и оно, по суровому приговору, доставляет не покой и гордость, а новые насилия и страдания.

– Вы согласитесь, – помолчав, сказала Роз, – принять от меня немного денег, которые помогут вам жить честно, хотя бы до тех пор, пока мы снова не встретимся?

– Ни одного пенни! – махнув рукой, ответила девушка.

– Не замыкайте своего сердца, не сопротивляйтесь всем моим попыткам помочь вам! – сказала Роз, ласково подходя к ней. – Я ото всей души хочу оказать вам услугу.

– Вы оказали бы мне самую лучшую услугу, сударыня, – ломая руки, ответила девушка, – если бы могли сразу отнять у меня жизнь, потому что сегодня я испытала больше горя, чем когда бы то ни было, все думала о том, кто я такая и что, пожалуй, лучше мне умереть не в том аду, где я жила. Да благословит вас бог, добрая леди, и да пошлет он вам столько счастья, сколько я навлекла на себя позора!

С этими словами, громко рыдая, несчастная девушка ушла, а Роз Мэйли, угнетенная необычайным свиданием, которое походило скорее на мимолетный сон, чем на реальное событие, опустилась в кресло и попыталась собраться с мыслями.

Глава ХLI

содержащая новые открытия и показывающая, что неожиданность, как и беда, не ходит одна

Ее положение было и в самом деле непривычно тяжелым и затруднительным. Охваченная непреодолимым и горячим желанием проникнуть в тайну, окутывавшую жизнь Оливера, она в то же время не могла не почитать священным секретное сообщение, какое несчастная женщина, с которой она только что беседовала, доверила ей – молодой и чистой девушке. Ее слова и вид тронули сердце мисс Мэйли; и к той любви, какую она питала к своему юному питомцу, присоединилось – такое же искреннее и горячее – стремление привести отверженную к раскаянию и надежде.

Они предполагали прожить в Лондоне только три дня, а затем уехать на несколько недель в отдаленное местечко на побережье. Была полночь первого дня их пребывания в столице. На какой образ действий ей решиться, чтобы осуществить задуманное за сорок восемь часов? Или как отложить поездку, не возбуждая подозрений?

С ними приехал мистер Лосберн, который должен был остаться еще на два дня; но Роз слишком хорошо знала стремительность этого превосходного джентльмена и слишком ясно предвидела ту ярость, какой он восплает в припадке негодования против орудия вторичного похищения Оливера, чтобы доверить ему тайну, если ее доводы в защиту девушки не поддержит кто-нибудь, искушенный опытом. Были все основания соблюдать величайшую осторожность и осмотрительность, а если посвятить в это дело миссис Мэйли, первым побуждением ее неизбежно будет призвать на совет достойного доктора. Что касается юридического советчика – даже если бы она знала, как к нему обратиться, – то об этом, по тем же причинам, вряд ли можно было думать. Ей пришла в голову мысль искать помощи у Гарри, но это пробудило воспоминание об их последней встрече, и ей показалось недостойным призывать его назад; может быть, – при этой мысли на глазах у нее навернулись слезы, – он уже научился не думать о ней и чувствовать себя более счастливым вдали от нее.

Волнуемая этими разнообразными соображениями, склоняясь то к одному образу действий, то к другому и снова отшатываясь от всего, по мере того как перебирала в уме все доводы. Роз провела бессонную и тревожную ночь. На следующий день, снова поразмыслив и придя в отчаяние, она решила обратиться к Гарри.

«Если ему мучительно вернуться сюда, – думала она, – то как мучительно это мне! Но, возможно, он не приедет; он может написать или приехать и старательно избегать встречи со мной – он это сделал, когда уезжал. Я не думала, что он так поступит, но это было лучше для нас обоих». Тут Роз уронила перо и отвернулась, словно даже бумага, которой предстояло стать ее вестником, не должна была быть свидетельницей ее слез.

Раз пятьдесят бралась она за перо и опять его откладывала, и снова и снова обдумывала первую строчку письма, не написав еще ни единого слова, как вдруг Оливер, гулявший по улицам с мистером Джайлсом вместо телохранителя, ворвался в комнату с такой стремительностью и в таком сильном возбуждении, что, казалось, это предвещало новый повод для тревоги.

– Что тебя так взволновало? – спросила Роз, вставая ему навстречу.

– Не знаю, что сказать... Я, кажется, сейчас задохнусь, – ответил мальчик. – Ах, боже мой! Подумать только, что наконец-то я его увижу, а у вас будет возможность убедиться, что я рассказал вам всю правду!

– Я никогда в этом не сомневалась, – успокаивая его, сказала Роз. – Но что случилось? О ком ты говоришь?

– Я видел того джентльмена, – ответил Оливер, с трудом внятно выговаривая слова, – того джентльмена, который был так добр ко мне! Мистера Браунлоу, о котором мы так часто говорили!

– Где? – спросила Роз.

– Он вышел из кареты, – ответил Оливер, плача от радости, – и вошел в дом! Я с ним не говорил, я не мог заговорить с ним, потому что он меня не заметил, а я так дрожал, что не в силах был подойти к нему. Но Джайлс, по моей просьбе, спросил, здесь ли он живет, и ему

ответили утвердительно. Смотрите, – сказал Оливер, развертывая клочок бумаги, – вот здесь, здесь он живет... Я сейчас же туда пойду!.. Ах, боже мой, боже мой, что со мной будет, когда я снова увижу его и услышу его голос!

Роз, чье внимание немало отвлекали бессвязные и радостные восклицания, прочла адрес – Крейвн-стрит, Стрэнде. Немедленно она приняла решение извлечь пользу из этой встречи.

– Живо! – воскликнула она. – Распорядись, чтобы наняли карету. Ты поедешь со мной. Сейчас же, не теряя ни минуты, я отвезу тебя туда. Я только предупрежу тетю, что мы на час отлучимся, и буду готова в одно время с тобой.

Оливера не нужно было торопить, и через пять минут они уже ехали на Крейвн-стрит.

Когда они туда прибыли. Роз оставила Оливера в карете якобы для того, чтобы приготовить старого джентльмена к встрече с ним, и, послав свою визитную карточку со слугой, выразила желание повидать мистера Браунлоу по неотложному деду. Слуга вскоре вернулся и попросил ее пройти наверх; войдя вслед за ним в комнату верхнего этажа, мисс Мэйли очутилась перед пожилым джентльменом с благодушной физиономией, одетым в бутылочного цвета фрак. Неподалеку от него сидел другой старый джентльмен в коротких нанковых штанах и гетрах; он имел вид не особенно благодушный и сжимал руками набалдашник толстой трости, подпирая им подбородок.

– Ах, боже мой! – сказал джентльмен в бутылочного цвета фраке, вставая поспешно и с величайшей учтивостью. – Прошу прощения, молодая леди... я думал, что это какая-нибудь навязчивая особа, которая... прошу извинить меня. Пожалуйста, присядьте.

– Мистер Браунлоу, не так ли, сэръ? – спросила Роз, переводя взгляд с другого джентльмена на того, кто говорил.

– Да, это я, – сказал старый джентльмен. – А это мой друг, мистер Гримуиг... Гримуиг, не покинете ли вы нас на несколько минут?

– Я не стала бы беспокоить этого джентльмена просьбой уйти, – вмешалась мисс Мэйли. – Если я правильно осведомлена, ему известно то дело, о котором я хочу говорить с Вами.

Мистер Браунлоу поклонился. Мистер Гримуиг, который отвесил весьма чопорный поклон и поднялся со стула, отвесил еще один чопорный поклон и снова опустился на стул.

– Несомненно, я очень удивлю вас, – начала Роз, чувствуя вполне понятное смущение, – но когда-то вы отнеслись с величайшей добротой и благосклонностью к одному моему милому маленькому другу, и я уверена, что вам любопытно будет услышать о нем снова.

– Вот как! – сказал мистер Браунлоу.

– Вы его знали как Оливера Твиста, – добавила Роз.

Как только эти слова сорвались с ее губ, мистер Гримуиг, притворявшийся, будто внимание его всецело поглощено большущей книгой, лежавшей на столе, уронил ее с грохотом и, откинувшись на спинку стула, взглянул на девушку, причем на лице его нельзя было прочесть ничего, кроме безграничного изумления; он долго и бессмысленно таращил глаза, затем, слов – но пристыженный таким проявлением чувства, судорожно принял прежнюю позу и, глядя прямо перед собой, испустил протяжный, глухой свист, который, казалось, не рассеялся к воздуху, но замер в самых сокровенных тайниках его желудка.

Мистер Браунлоу был удивлен отнюдь не меньше, хотя его изумление выражалось не таким эксцентрическим образом. Он придвинул стул ближе к мисс Мэйли и сказал:

– Окажите мне милость, прелестная моя юная леди, – не касайтесь вопроса о доброте и благосклонности: об этом никто ничего не знает. Если же есть у вас возможность представить какое-нибудь доказательство, которое может изменить то неблагоприятное мнение, какое я когда-то вынужден был составить об этом бедном мальчике, то, ради бога, поделитесь им со мной.

– Скверный мальчишка! Готов съесть свою голову, если это не так, – проворчал мистер Гримуиг; ни один мускул его лица не шевельнулся, словно он прибегнул к чреовещанию.

– У этого мальчика благородная натура и пылкое сердце, – покраснев, сказала Роз, – и та сила, которая почла нужным обречь его на испытания не по летам, вложила ему в грудь такие чувства и такую преданность, какие сделали бы честь многим людям старше его раз в шесть.

– Мне только шестьдесят один год, – сказал мистер Гримуиг все с тем же застывшим лицом. – Если сам черт не вмешался в дело, этому Оливеру никак не меньше двенадцати... И я не понимаю, кого вы имеете в виду?

– Не обращайтесь внимания на моего друга, мисс Мэйли, – сказал мистер Браунлоу, – он не то хотел сказать.

– Нет, то, – проворчал мистер Гримуиг.

– Нет, не то, – сказал мистер Браунлоу, явно начиная сердиться.

– Он готов съесть свою голову, если не то, – проворчал мистер Гримуиг.

– В таком случае он заслуживает того, чтобы у него сняли ее с плеч, – сказал мистер Браунлоу.

– Очень хотел бы он посмотреть, кто возьмется это сделать, – отвечив мистер Гримуиг, стукнув тростью об пол.

Зайдя столь далеко, оба старых джентльмена взяли несколько понюшек табаку, а затем пожали друг другу руку во исполнение неизменного своего обычая.

– Итак, мисс Мэйли, – сказал мистер Браунлоу, – вернемся к предмету, который столь затронул ваше доброе сердце. Сообщите ли вы мне, какие у вас есть сведения об этом бедном мальчике? И разрешите мне сказать, что я исчерпал все средства, какие были в моей власти, чтобы отыскать его, и, с той поры как я покинул Англию, первоначальное мое мнение, будто он меня обманул и прежние сообщники уговорили его обокрасть меня, в значительной мере поколебалось.

Роз, успевшая к тому времени собраться с мыслями, тотчас же поведала просто и немногословно обо всем, что случилось с Оливером с той поры, как он вышел из дома мистера Браунлоу, умолчав о сообщении Нэнси, чтобы передать его потом наедине; закончила она свой рассказ уверениями, что единственным огорчением Оливера за последние несколько месяцев была невозможность встретиться с прежним своим благодетелем и другом.

– Слава богу! – воскликнул старый джентльмен. – Для меня это величайшая радость, величайшая радость! Но вы мне не сказали, мисс Мэйли, где он сейчас находится? Простите, если я осмеливаюсь упрекать вас... но почему вы не привезли его с собой?

– Он ждет в карете у двери, – ответила Роз.

– У двери моего дома! – воскликнул старый джентльмен.

Не произнеся больше ни слова, он устремился вон из комнаты, вниз по лестнице, к подножке кареты и вскочил в карету.

Когда дверь комнаты захлопнулась за ним, мистер Гримуиг приподнял голову и, превратив одну из задних ножек стула в ось вращения, трижды, не вставая с места, описал круг, помогая себе тростью и придерживаясь за стол. Совершив такое упражнение, он встал и, прихрамывая, по крайней мере раз десять прошелся по комнате со всей быстротой, на какую был способен, после чего, внезапно остановившись перед Роз, поцеловал ее без всяких предисловий.

– Тише! – сказал он, когда молодая леди привстала, слегка испуганная этой странной выходкой. – Не бойтесь. Я стар и гожусь вам в деда. Вы славная девушка! Вы мне нравитесь... А вот и они!

Действительно, не успел он опуститься на прежнее место, как вернулся мистер Браунлоу в сопровождении Оливера, которого мистер Гримуиг принял очень благосклонно; и если бы эта счастливая минута была единственной наградой за все беспокойство и заботы об Оливере, Роз Мэйли была бы щедро вознаграждена.

– Между прочим, есть еще кое-кто, о ком не следует забывать, – сказал мистер Браунлоу, позвонив; в колокольчик. – Пожалуйста, пришлите сюда миссис Бэдуин.

Старая экономка тотчас пришла на зов и, сделав у двери реверанс, ждала приказаний.

– Да вы с каждым днем слепнете, Бэдуин, – с легким раздражением сказал мистер Браунлоу.

– И в самом деле слепну, сэр, – отозвалась старая леди. – В моем возрасте зрение с годами не улучшается, сэр.

– Я бы и сам мог вам это сказать, – заявил мистер Браунлоу, – но наденьте-ка очки да посмотрите... Не догадаетесь ли вы, зачем вас позвали.

Старая леди начала шарить в кармане в поисках очков. Но терпение Оливера не выдержало этого нового испытания, и, отдаваясь первому порыву, он бросился в ее объятия.

– Господи помилуй! – обнимая его, воскликнула старая леди. – Да ведь это мой невинный мальчик!

– Милая моя старая няня! – вскричал Оливер.

– Он вернулся – я знала, что он вернется! – воскликнула старая леди, не выпуская его из своих объятий. – А какой прекрасный у него вид, и снова он одет, как сын джентльмена! Где же ты был столько времени? Ах, это все то же милое личико, но не такое бледное, те же кроткие глаза, но не такие печальные! Никогда я не забывала ни этих глаз, ни его кроткой улыбки, каждый день видела его рядышком с моими милыми родными детками, которые умерли еще в ту пору, когда я была веселой и молодой.

Говоря без умолку и то отстраняя от себя Оливера, чтобы определить, очень ли он вырос, то снова прижимая его к груди и ласково перебирая пальцами его волосы, добрая старушка и смеялась и плакала у него на плече.

Предоставив ей и Оливеру делиться на досуге впечатлениями, мистер Браунлоу увел Роз в другую комнату и там выслушал подробный рассказ о ее свидании с Нэнси, который привел его в немалое изумление и замешательство. Роз объяснила также, почему она не доверилась прежде всего своему другу, мистеру Лосберну. Старый джентльмен нашел, что она поступила разумно, и охотно согласился сам открыть торжественное совещание с достойным доктором. Чтобы поскорее доставить ему возможность привести в исполнение этот план, условились, что он зайдет в гостиницу в восемь часов вечера и что к тому времени осторожно осведомят обо всем происшедшем миссис Мэйли. Когда эти предварительные меры были обсуждены, Роз с Оливером вернулись домой.

Роз отнюдь не ошиблась, предвидя, как разгневется добрый доктор. Как только ему поведали историю Нэнси, он разразился градом угроз и проклятий, грозил сделать ее первой жертвой хитроумия мистеров Блетерса и Даффа и даже надел шляпу, собираясь отправиться за помощью к этим достойным особам. Несомненно, в припадке ярости он осуществил бы свое намерение, ни на секунду не задумываясь о последствиях, если бы его не сдержала вспыльчивость мистера Браунлоу, который и сам отличался горячим нравом, а также те доводы и возражения, какие казались наиболее подходящими, чтобы отговорить его от опрометчивого шага.

– Черт возьми, что же в таком случае делать? – спросил неугомонный доктор, когда они вернулись к обеим леди. – Не должны ли мы изъявить благодарность всем этим бродягам мужского и женского пола и обратиться к ним с просьбой принять примерно по сотне фунтов на каждого как скромный знак нашего уважения и признательности за их доброту к Оливеру?

– Не совсем так, – со смехом возразил мистер Браунлоу, – но мы должны действовать осторожно и с величайшей осмотрительностью.

– Осторожность и осмотрительность! – воскликнул доктор. – Я бы их всех до единого послал к...

– Неважно куда! – перебил мистер Браунлоу. – Но рассудите: можем ли мы достигнуть цели, если пошлем их куда бы то ни было?

– Какой цели? – спросил доктор.

– Узнать о происхождении Оливера и вернуть ему наследство, которого, если этот рассказ правдив, его лишили мошенническим путем.

– Вот что! – сказал мистер Лосберн, обмахиваясь носовым платком. – Я об этом почти забыл.

– Видите ли, – продолжал мистер Браунлоу, – если даже оставить в стороне эту бедную девушку и предположить, что возможно предать негодяев суду, не подвергая ее опасности, чего бы мы этим добились?

– По крайней мере нескольких повесили бы, – заметил доктор, – а остальных сослали.

– Прекрасно! – с улыбкой отозвался мистер Браунлоу. – Но нет никаких сомнений, что в свое время они сами до этого дойдут, а если мы вмешаемся и предупредим их, то, кажется мне, мы совершим весьма донкихотский поступок, явно противоречащий нашим интересам или во всяком случае интересам Оливера, что одно и то же.

– Каким образом? – спросил доктор.

– А вот каким. Совершенно ясно, что мы столкнемся с чрезвычайными трудностями, пытаюсь проникнуть в тайну, если нам не удастся поставить на колени этого человека – Монкса. Этого можно добиться только хитростью, захватив его в тот момент, когда он не окружен своими сообщниками. Если допустить, что его арестуют, – у нас нет против него никаких улик. Он даже не участвовал с этой шайкой (поскольку нам известны или поскольку мы представляем себе обстоятельства дела) ни в одном из грабежей. Даже если его не оправдают, то самое большее, его приговорят к тюремному заключению за мошенничество и бродяжничество; разумеется, после этого он будет навсегда потерян для нас, и от него добьешься не больше, чем от какого-нибудь идиота, да к тому же еще глухого, немого и слепого.

– В таком случае, – с жаром заговорил доктор, – я спрашиваю вас снова: полагаете ли вы, что мы связаны обещанием, которое дали девушке? Обещание было дано с самыми лучшими и добрыми намерениями, но, право же...

– Прошу вас, не бойтесь, милая моя молодая леди, – сказал мистер Браунлоу, перебивая Роз, которая хотела заговорить. – Обещание не будет нарушено. Не думаю, чтобы оно явилось хотя бы ничтожной помехой в наших делах. Но прежде чем мы остановимся на каком-нибудь определенном образе действий, необходимо повидать девушку и узнать от нее, укажет ли она этого Монкса при условии, что он будет иметь дело с нами, а не с правосудием. Если же она либо не хочет, либо не может это сделать, то надо добиться, чтобы она указала, какие притоны он посещает, и описала его особу, а мы могли бы его опознать. С нею нельзя увидеться раньше, чем в воскресенье вечером, а сегодня вторник. Я бы посоветовал успокоиться и хранить это дело в тайне даже от самого Оливера.

Хотя мистер Лосберн скроил немало кислых гримас при этом предложении, требующем отсрочки на целых пять дней, ему поневоле пришлось признать, что в данный момент он не может придумать лучшего плана, а так как и Роз и миссис Мэйли весьма решительно поддержали мистера Браунлоу, то предложение этого джентльмена было принято единогласно.

– Мне бы хотелось, – сказал он, – обратиться за содействием к моему другу Гримуигу. Он человек странный, но проницательный и может оказать нам существенную помощь; должен сказать, что он получил юридическое образование и с отвращением отказался от адвокатской деятельности, так как за двадцать лет ему было поручено ведение одного только дела, а служит ли это ему рекомендацией или нет – решайте сами.

– Я не возражаю против того, чтобы вы обратились к вашему другу, если мне позволят обратиться к моему, – сказал доктор.

– Мы должны решить это большинством голосов, – ответил мистер Браунлоу. – Кто он?

– Сын этой леди... старый друг этой молодой леди, – сказал доктор, указав на миссис Мэйли, а затем бросив выразительный взгляд на ее племянницу.

Роз густо покраснела, но ничего не возразила против этого предложения (быть может, она понимала, что неизбежно останется в меньшинстве), и в результате Гарри Мэйли и мистер Гримуиг вошли в комитет.

– Разумеется, – сказала миссис Мэйли, – мы останемся в городе, пока есть хоть

малейшая надежда на успешное продолжение этого расследования. Я не остановлюсь ни перед хлопотами, ни перед расходами ради той цели, которая так сильно интересует нас всех, и я готова жить здесь хоть целый год, если вы заверите меня, что надежда еще не потеряна.

– Прекрасно! – подхватил мистер Браунлоу. – А так как по выражению лиц, меня окружающих, я угадываю желание спросить, как это случилось, что меня не оказалось на месте, чтобы подтвердить рассказ Оливера, и я так внезапно покинул страну, то разрешите поставить условие: мне не будут задавать никаких вопросов, пока я не сочту целесообразным предупредить их, рассказав мою собственную историю. Поверьте, у меня есть веские основания для такой просьбы, ибо иначе я могу породить несбыточные надежды и только умножить трудности и разочарования, и без того уже достаточно многочисленные. Пойдемте! Об ужине уже докладывали, а юный Оливер, который сидит один-одинешенек в соседней комнате, чего доброго подумает, что нам надоело его общество и мы составили какой-то черный заговор, чтобы отделаться от него.

С этими словами старый джентльмен подал руку миссис Мэйли и повел ее в столовую. Мистер Лосберн, ведя Роз, последовал за ним, и заседание было закрыто.

Глава XLII

Старый знакомый Оливера обнаруживает явные признаки гениальности и становится видным деятелем в столице

В тот вечер, когда Нэнси, усыпив мистера Сайкса, Спешила к Роз Мэйли исполнить миссию, ею самой на себя возложенную, по Большой северной дороге приближались к Лондону два человека, которым следует уделить некоторое внимание в нашем повествовании.

Это были мужчина и женщина – или, может быть, вернее назвать их существом мужского и существом женского пола, ибо первый был одним из тех долговязых, кривоногих, расхлябанных, костлявых людей, чей возраст трудно установить с точностью: мальчиками они похожи на недоростков, а став мужчинами, напоминают мальчиков-переростков. Женщина была молода, но крепкого телосложения и вынослива, в чем она и нуждалась, чтобы выдержать тяжесть большого узла, привязанного у нее за спиной. Ее спутник не был обременен поклажей, так как на палке, которую он перекинул через плечо, болтался только маленький сверток, по-видимому довольно легкий, увязанный в носовой платок. Это обстоятельство, а также его ноги, отличавшиеся необыкновенной длиной, помогали ему без особых усилий держаться на несколько шагов впереди спутницы, к которой он иногда поворачивался, нетерпеливо встряхивая головой, слезно упрекая ее за медлительность и побуждая приложить больше усердия.

Так плелись они по пыльной дороге, обращая внимание на окружающие их предметы лишь тогда, когда им приходилось отступать к обочине, чтобы пропустить мчавшиеся из города почтовые кареты; когда же они прошли под Хайгетской аркой, путешественник, шагавший впереди, остановился и нетерпеливо окликнул свою спутницу:

– Иди же! Не можешь, что ли? Ну и лентяйка же ты, Шарлотт!

– Ноша у меня тяжелая, уверяю тебя, – подходя к нему, сказала женщина, чуть дышавшая от усталости.

– Тяжелая! Что ты болтаешь? А для чего же ты создана? – отозвался мужчина, перекидывая при этом свой собственный узелок на другое плечо. – Ну вот, опять решила отдохнуть! Право, не знаю, кто, кроме тебя, умеет так выводить из терпения!

– Далеко еще? – спросила женщина, прислонившись к насыпи и взглянув на него; пот струился у нее по лицу.

– Далеко! Да мы, можно сказать, пришли, – сказал длинноногий путник, указывая вперед. – Смотри! Вон огни Лондона.

– До них добрых две мили – по меньшей мере, – уныло отозвалась женщина.

– Нечего и думать о том, две мили или двадцать, – сказал Ноэ Клейпол, ибо это был он. – Вставай-ка да иди, не то я тебя пихну ногой, предупреждаю заранее!

Так как нос Ноэ от гнева еще сильнее покраснел и он с этими словами перешел через дорогу, словно готовясь привести угрозу в исполнение, женщина без дальнейших рассуждений встала и побрела рядом с ним.

– Где ты хочешь остановиться на ночь, Ноэ? – спросила она, когда они прошли еще несколько сот ярдов.

– Откуда мне знать, – огрызнулся Ноэ, расположение духа которого значительно ухудшилось от ходьбы.

– Надеюсь, где-нибудь поблизости, – сказала Шарлотт.

– Нет, не поблизости, – ответил мистер Клейпол. – Слышишь? Не поблизости. Значит, нечего и думать об этом.

– Почему не поблизости?

– Когда я говорю тебе, что не намерен что-либо делать, этого достаточно без всяких почему и потому, – с достоинством ответил мистер Клейпол.

– Зачем так сердиться? – сказала его спутница.

– Хорошенькое было бы дело, если б мы остановились в каком-нибудь трактире близ самого города, чтобы Саурбери, если он пустился за нами в погоню, сунул туда свой старый нос, надел на нас наручники и отвез нас обратно в повозке, – насмешливым тоном сказал мистер Клейпол. – Нет! Я уйду и затеряюсь в самых узких улицах, какие только удастся найти, и до тех пор не остановлюсь, пока не сыщу самый жалкий трактир из всех, какие нам попадаются по дороге. Благодарю свою счастливую звезду за то, что у меня есть голова на плечах: если бы я не схитрил и не пошел по другой дороге и не вернулся мы через поля, вы, сударыня, уже неделю как сидели бы под крепким замком! И поделом тебе было бы, потому что ты дура!

– Я знаю, что я не такая смышленная, как ты, – ответила Шарлотт, – но не сваливай всю вину на меня и не говори, что меня посадили бы под замок. Случись это со мной, тебя бы, конечно, тоже посадили.

– Ты взяла деньги из кассы, сама знаешь, что ты, – сказал мистер Клейпол.

– Я их взяла для тебя, милый Ноэ, – возразила Шарлотт.

– А я их у себя оставил? – спросил мистер Клейпол.

– Нет. Ты доверился мне и позволил их нести, потому что ты милый и славный, – сказала леди, потрепан его по подбородку и взяв под руку.

Это соответствовало действительности, но так как у мистера Клейпола не было привычки слепо и безрассудно дарить кому бы то ни было свое доверие, то, воздавая должное этому джентльмену, следует заметить, что он доверился Шарлотт только для того, чтобы деньги были найдены у нее, если их поймают: это дало бы ему возможность заявить о своей непричастности к краже и весьма благоприятствовало его надежде ускользнуть. Конечно, при таком положении дел он не стал объяснять своих мотивов, и они очень мирно пошли дальше рядом.

Следуя своему, благоразумному плану, мистер Клейпол шел, не останавливаясь, пока не добрался до «Ангела» в Излингтоне, где он пришел к мудрому заключению, что, судя по толпе прохожих и количеству экипажей, здесь и в самом деле начинается Лондон. Задержавшись только для того, чтобы посмотреть, какие улицы самые людные и каких, стало быть, надлежит особенно избегать, он свернул на Сент-Джон-роуд и вскоре углубился во мрак запутанных и грязных переулков между Грейс-Инн-лейном и Смитфилдом, благодаря которым эта часть города кажется одной из самых жалких и отвратительных, хотя она находится в центре Лондона и подверглась большой перестройке.

Этими улицами шел Ноэ Клейпол, таща за собой Шарлотт; время от времени он сходил на мостовую, чтобы окинуть глазом какой-нибудь трактирчик, и снова шел дальше, если наружный вид заведения заставлял думать, что здесь для него слишкомлюдно. Наконец, он остановился перед одним, на вид более жалким и грязным, чем все замеченные им раньше,

перешел дорогу и, обозрев его с противоположного тротуара, милостиво объявил о своем намерении пристроиться здесь на ночь.

– Давай-ка узел, – сказал Ноэ, отстегивая ремни, укреплявшие его на плечах женщины, и взваливая его себе на плечи, – и не говори ни слова, пока с тобой не заговорят. Как называется это заведение... т-р... трое кого?

– Калек, – сказала Шарлотт.

– Трое калек, – повторил Ноэ. – Ну что ж, прекрасная вывеска. Вперед! Не отставай от меня ни на шаг. Идем!

Сделав такое внушение, он толкнул плечом скрипучую дверь и вошел в дом вместе со своей спутницей.

В буфетной никого не было, кроме молодого еврея, который, опершись обоими локтями о стойку, читал грязную газету. Он очень пристально посмотрел на Ноэ, а Ноэ очень пристально посмотрел на него.

Будь Ноэ в костюме приютского мальчика, у еврея могло быть какое-то основание так широко раскрывать глаза; но так как Ноэ отделался от куртки и значка и в дополнение к кожаным штанам надел короткую рабочую блузу, то, казалось, не было особых причин для того, чтобы внешний его вид привлекал к себе внимание посетителей трактира.

– Это «Трое калек»? – спросил Ноэ.

– Так называется это заведение, – ответил еврей.

– Один джентльмен, шедший из деревни, которого мы повстречали по дороге, посоветовал нам зайти сюда, – сказал Ноэ, подталкивая локтем Шарлотт, быть может, с целью обратить ее внимание на этот чрезвычайно хитроумный способ вызвать к себе уважение, а может быть, предостерегая ее, чтобы она не выдала своего изумления. – Мы хотим здесь переночевать.

– Насчет этого я не знаю, – сказал Барни, который был помощником трактирщика. – Пойду справлюсь.

– Проводите нас в другую комнату и дайте холодной говядины и пива, пока будете ходить справляться, – сказал Ноэ.

Барни повиновался – повел их в маленькую заднюю комнатку и поставил перед ними заказанную еду; покончив с этим, он уведомил путешественников, что они могут устроиться здесь на ночлег, и ушел, предоставив любезной парочке подкрепляться.

Эта задняя комната находилась как раз за буфетной и была расположена на несколько ступенек ниже, так что любой, кто был своим в заведении, отдернув занавеску, скрывавшую маленькое оконце в стене упомянутого помещения, на расстоянии примерно пяти футов от пола, мог не только видеть гостей в задней комнате, не подвергая себя серьезной опасности быть замеченным (оконце было в углу, между стеной и толстой вертикальной балкой, и здесь должен был поместиться наблюдатель), но и, прижавшись ухом к перегородке, установить в достаточной мере точно предмет их разговора. Хозяин Заведения минут пять не отрывал глаз от потайного окна, а Барни, передав упомянутое выше сообщение, только что вернулся, когда Феджин заглянул в бар справиться о своих юных учениках.

– Тсс... – зашептал Барни. – В соседней комнате чужие.

– Чужие? – шепотом повторил старик.

– Да. И чудная пара, – добавил Барни. – Из провинции, но, если не ошибаюсь, вам по вкусу.

Казалось, Феджин выслушал это сообщение с большим интересом. Взобравшись на табурет, он осторожно прижался глазом к стеклу и из своего укромного местечка мог видеть, как мистер Клейпол брал холодную говядину с блюда, пил пиво из кружки и выдавал гомеопатические дозы того и другого Шарлотт, которая сидела рядом и покорно то пила, то ела.

– Эге, – прошептал Феджин, поворачиваясь к Барни. – Мне нравится этот парень. Он может нам пригодиться. Он уже знает, как дрессировать девушку. Притаитесь, как мышь, мой милый, и дайте мне послушать, о чем они говорят, дайте мне их послушать.

Он снова приблизил лицо к стеклу и, прижавшись ухом к перегородке, стал внимательно слушать с такой хитрой миной, которая была бы под стать какому-нибудь старому злему черту.

– Так вот: я хочу сделаться джентльменом, – сказал мистер Клейпол, вытягивая ноги и продолжая разговор, к началу которого Феджин опоздал. – Хватит с меня проклятых старых гробов, Шарлотт. Я желаю жить как джентльмен, а ты, если хочешь, будешь леди.

– Я бы очень хотела, дорогой! – отозвалась Шарлотт. – Но не каждый день можно очищать кассы, и после этого удирать.

– К черту кассы! – сказал мистер Клейпол. – И кроме касс есть что очищать.

– А что у тебя на уме? – спросила его спутница.

– Карманы, женские ридикюли, дома, почтовые кареты, банки, – сказал мистер Клейпол, воодушевляясь под влиянием пива.

– Но ты не сумеешь делать все это, дорогой мой, – сказала Шарлотт.

– Я постараюсь войти в компанию с теми, которые умеют, – ответил Ноэ. – Они-то помогут нам стать на ноги. Да ведь ты одна стоишь пятидесяти женщин; никогда еще я не видывал такого хитрого и коварного создания, как ты, когда я тебе позволяю.

– Ах, боже мой, как приятно слышать это от тебя! – воскликнула Шарлотт, запечатлев поцелуй на его безобразном лице.

– Ну, хватит! Нечего чересчур нежничать, а не то я рассержусь! – важно сказал Ноэ, отстраняясь от нее. – Я бы хотел быть главарем какой-нибудь шайки, держать людей в руках и шпионить за ними так, чтобы они сами этого не знали. Вот это бы мне подошло, если барыш хорош. И если бы только нам связаться с какими-нибудь джентльменами этой породы, я бы сказал, что двадцатифунтовый билет, который у тебя спрятан, недорогая плата, тем более что мы-то сами толком не знаем, как от него отделаться.

Высказав такое пожелание, мистер Клейпол с видом великого мудреца заглянул в пивную кружку и, хорошенько взболтав ее содержимое, хлебнул пива, что, повидимому, очень его освежило. Он подумывал, не хлебнуть ли еще раз, но дверь внезапно распахнулась, и появление незнакомца ему помешало.

Незнакомец был мистер Феджин. И казался он очень любезным; он отвесил низкий поклон, когда подошел, и, присев за ближайший столик, приказал ухмыльнувшемуся Барни подать чего-нибудь выпить.

– Приятный вечер, сэр, но холодный для этой поры года, – сказал Феджин, потирая руки, – Из провинции, как вижу, сэр?

– Как вы это угадали? – спросил Ноэ Клейпол.

– У нас, в Лондоне, нет такой пыли, – ответил Феджин, указывая на башмаки Ноэ, затем на башмаки его спутницы и, наконец, на два узла.

– Вы человек смышленный, – сказал Ноэ. – Ха-ха!.. Ты послушай только, Шарлотт!

– Эх, милый мой, в этом городе приходится быть смышленным, – отозвался еврей, понизив голос до доверительного шепота. – Что правда, то правда.

Феджин подкрепил это замечание, постукав себя сбоку по носу указательным пальцем – жест, который Ноэ попробовал воспроизвести, хотя и не особенно успешно, ибо его собственный нос был для этого слишком мал. Тем не менее мистер Феджин, казалось, истолковал его попытку как выражение полного согласия с высказанным мнением и весьма дружески угостил его вином, которое принес вновь появившийся Барни.

– Славная штука! – заметил мистер Клейпол, причмокивая губами.

– Мой милый, – сказал Феджин, – приходится очищать кассу, или карман, или женский ридикюль, или дом, или почтовую карету, или банк, если пьешь регулярно.

Услыхав эту выдержку из своих собственных речей, мистер Клейпол откинулся на спинку стула и с испуганной физиономией перевел взгляд с еврея на Шарлотт.

– Не обращайтесь на меня внимания, мой милый, – сказал Феджин, придвигая свой стул. – Ха-ха! Вам повезло, что вас слышал только я. Очень удачно вышло, что это был только я.

– Я их не брал, – заикаясь, выговорил Ноэ; он уже не вытягивал ног, как подобало независимому джентльмену, а подбирал их старательно под стул, – это все ее рук дело... Они у тебя сейчас, Шарлотт, ты же знаешь, что у тебя!

– Не важно, у кого они и кто это сделал, мой милый, – отозвался Феджин, бросив, однако, хищный взгляд на девушку и на два узла. – Я сам этим промышляю, поэтому вы мне нравитесь.

– Чем промышляете? – спросил мистер Клейпол, слегка оправившись.

– Такими делами, – ответил Феджин. – Ими занимаются и обитатели этого дома. Вы попали как раз куда нужно, и здесь вы в полной безопасности. Во всем городе не найдется более безопасного места, чем «Калеки», – впрочем, это зависит от меня. А я почувствовал симпатию к вам и к молодой женщине. Потому-то я и заговорил, и пусть у вас на душе будет спокойно.

Может быть, после такого заявления у Ноэ Клейпола и стало спокойно на душе, но к телу его это отнюдь не относилось, ибо он ерзал и корчился, принимая самые нелепые позы, и взирал на своего нового друга боязливо и подозрительно.

– А вам еще кое-что скажу, – продолжал Феджин после того, как успокоил девушку дружелюбными кивками и пробормотал какие-то ободряющие слова, – есть у меня приятель, который сможет исполнить ваше заветное желание и выведет вас на верную дорогу, а тогда вы изберете дельце, которое, по вашему мнению, больше всего подходит вам поначалу, и обучитесь всему остальному.

– Вы как будто говорите всерьез! – сказал Ноэ.

– Какая для меня польза говорить иначе? – пожимая плечами, спросил Феджин. – Знаете, я хочу сказать вам словечко в другой комнате.

– К чему утруждать себя и вставать? – возразил Ноэ, постепенно снова вытягивая ноги. – Она пока отнесет вещи наверх... Шарлотт, займись узлами!

Этот приказ, отданный весьма величественно, был исполнен без всяких возражений, и Шарлотт удалилась с поклажей, а Ноэ придержал дверь и посмотрел ей вслед.

– Недурно я ее натаскал, правда? – вернувшись на свое место, спросил он тоном укротителя, который приручил дикого зверя.

– Очень хорошо! – заявил Феджин, похлопывая его по плечу. – Вы – гений, мой милый!

– Что ж, пожалуй, не будь я им, не сидел бы я сейчас здесь, – ответил Ноэ. – Но послушайте, она вернется, если вы будете мешкать.

– Ну, так что ж вы об этом думаете? – спросил Феджин. – Если мой приятель вам понравится, почему бы вам к нему не пристроиться?

– А дело у него хорошее? Вот что важно, – отвечал Ноэ, подмигивая одним глазом.

– Самое отменное! Нанимает множество людей. С ним лучшие люди этой профессии.

– Настоящие горожане? – спросил мистер Клейпол.

– Ни одного провинциала. И не думаю, чтобы он вас принял, даже по моей рекомендации, не нуждайся он как раз теперь в помощниках.

– Надо ему дать? – спросил Ноэ, похлопав себя по карману штанов.

– Без этого никак не обойтись, – решительным тоном ответил Феджин.

– Но двадцать фунтов... это куча денег.

– Нет, если это банкнот, от которого вы не можете отделаться, – возразил Феджин. – Номер и год, полагаю, записаны? Выплата в банке задержана? Вот видите, он из этого банкнота тоже не много извлечет. Придется переправить за границу, ему не удастся продать его на рынке по высокой цене.

– Когда я его увижу? – неуверенно спросил Ноэ.

– Завтра утром.

– Где?

– Здесь.

– Гм, – сказал Ноэ, – какое жалованье?

– Будете жить как джентльмен, стол и квартира, табуку и спиртного вволю, половина

вашего заработка и половина заработка молодой женщины – ваши, – ответил Феджин.

Весьма сомнительно, согласился бы Ноэ Клейпол, алчность которого не знала пределов, даже на такие блестящие условия, будь он совершенно свободен в своих действиях; но так как он припомнил, что в случае отказа новый знакомый может предать его немедленно в руки правосудия (а случались вещи и более невероятные), то постепенно смягчился и сказал, что, пожалуй, это ему подойдет.

– Но, знаете ли, – заметил Ноэ, – раз она может справиться с тяжелой работой, то мне бы хотелось взяться за что-нибудь полегче.

– За какую-нибудь маленькую, приятную работенку? – предложил Феджин.

– Вот именно, – ответил Ноэ. – Как вы думаете, что бы мне теперь подошло? Ну, скажем, дельце, не требующее больших усилий и, знаете ли, не очень опасное. Что-нибудь в этом роде.

– Я слышал, вы говорили о том, чтобы шпионить за другими, мой милый, – сказал Феджин. – Мой приятель нуждается в человеке, который бы с этим справился.

– Да, об этом я упомянул и не прочь иной раз этим заняться, – медленно проговорил Ноэ, – но, знаете ли, эта работа себя не оправдывает.

– Верно, – заметил еврей, размышляя или притворяясь размышляющим. – Нет, не подходит.

– Так что же вы скажете? – спросил Ноэ, с беспокойством поглядывая на него. – Хорошо бы красть под шумок, чтобы дело было надежное, а риска немногим больше, чем если сидишь у себя дома.

– Что вы думаете о старых леди? – спросил Феджин. – Очень хороший бывает заработок, когда вырываешь у них сумки и пакеты и убегаешь за угол.

– Да ведь они ужасно вопят, а иногда и царапаются, – возразил Ноэ, покачивая головой. – Не думаю, чтобы это мне подошло. Не найдется ли какого-нибудь другого занятия?

– Постойте, – сказал Феджин, положив руку ему на колено. – Облапошивание птенцов.

– А что это значит? – осведомился мистер Клейпол.

– Птенцы, милый мой, – сказал Феджин, – это маленькие дети, которых матери посылают за покупками, давая им шестипенсовики и шиллинги. А облапошить – значит отобрать у них деньги... они их держат всегда наготове в руке... потом столкнуть их в водосточную канаву у тротуара и спокойно удалиться, будто ничего особенного не случилось, кроме того, что какой-то ребенок упал и ушибся. Ха-ха-ха!

– Ха-ха! – захохотал мистер Клейпол, в восторге дрыгая ногами. – Ей-богу, это как раз по мне!

– Разумеется, – ответил Феджин. – И вы можете наметить себе места в Кемден-Тауне, Бэтл-Бридже и по соседству, куда их всегда посылают за покупками, и в каждый свой обход в любой час дня будете сбивать с ног столько птенцов, сколько вам вздумается. Ха-ха-ха!

С этими словами мистер Феджин ткнул мистера Клейпола в бок, и они дружно разразились громким и долго не смолкавшим смехом.

– Ну, все в порядке, – сказал Ноэ; когда в комнату вернулась Шарлотт, он уже мог говорить. – В котором часу завтра?

– В десять можете? – спросил Феджин и, когда мистер Клейпол кивнул в знак согласия, добавил: – Как вас отрекомендовать моему доброму другу?

– Мистер Болтер, – ответил Ноэ, заранее приготовившийся к такому вопросу. – Мистер Морис Болтер. А это миссис Болтер.

– Я к вашим услугам, миссис Болтер, – сказал Феджин, раскланиваясь с комической учтивостью. – Надеюсь, в самом непродолжительном времени ближе познакомится с вами.

– Ты слышишь, что говорит джентльмен, Шарлотт? – заревел мистер Клейпол.

– Да, дорогой Ноэ, – ответила миссис Болтер, протягивая руку.

– Она называет меня Ноэ, это вроде ласкательного имени, – сказал Морис Болтер, бывший Клейпол, обращаясь к Феджину. – Понимаете?

– О да, понимаю, прекрасно понимаю, – ответил Феджин, на сей раз говоря правду. – Спокойной ночи!

После длительных прощаний и многозначительных благих пожеланий мистер Феджин отправился своей дорогой. Ноэ Клейпол, призвав к вниманию свою любезную супругу, начал рассказывать ей о заключенном им соглашении со всем высокомерием и сознанием собственного превосходства, какие приличествуют не только представителю более сильного пола, но и джентльмену, который оценил честь назначения на специальную должность облапошивателя птенцов в Лондоне и его окрестностях.

Глава XLIII **в которой рассказано, как Ловкий Плут попал в беду**

– Так это вы и были вашим собственным другом? – спросил мистер Клейпол, иначе Болтер, когда, в силу заключенного им договора, переселился в дом Феджина. – Ей-богу, мне приходило это в голову еще вчера.

– Каждый человек себе друг, милый мой, – ответил Феджин с вкрадчивой улыбкой. – И такого хорошего друга ему нигде не найти.

– Бывают исключения, – возразил Морис Болтер с видом светского человека. – Иной, знаете ли, никому не враг, а только самому себе.

– Не верьте этому, – сказал Феджин. – Если человек сам себе враг, то лишь потому, что он уж слишком сам себе друг, а не потому, что заботится обо всех, кроме себя. Вздор, вздор! Такого на свете не бывает.

– А если бывает, так не должно быть, – отозвался мистер Болтер.

– Само собой разумеется. Одни заклинатели говорят, что магическое число – три, а другие – семь. Ни то, ни другое, мой друг, ни то, ни другое? Это число – один.

– Ха-ха! – захохотал мистер Болтер. – Всегда один.

– В такой маленькой, общине, как наша, мой милый, – сказал Феджин, считая необходимым пояснить свое суждение, – у нас общее число – один; иначе говоря, вы не можете почитать себя номером первым, не почитая таковым же и меня, а также всех наших молодых людей.

– Ах, черт! – воскликнул мистер Болтер.

– Видите ли, – продолжал Феджин, притворяясь, будто не слышал этого возгласа, – мы все так связаны общими интересами, что иначе и быть не может. Вот, например, ваша цель – заботиться о номере первом, то есть о самом себе.

– Конечно, – отозвался мистер Болтер. – В этом вы правы.

– Отлично. Вы не можете заботиться о себе, номере первом, не заботясь обо мне, номере первом.

– Номере втором, хотите вы сказать, – заметил мистер Болтер, который был щедро наделен таким качеством, как эгоизм.

– Нет, не хочу, – возразил Феджин. – Я имею для вас такое же значение, как и вы сами...

– Послушайте, – перебил мистер Болтер, – вы очень славный человек и очень мне нравитесь, но не так уж мы с вами крепко подружились, чтобы дело дошло до этого.

– Вы только подумайте, – сказал Феджин, пожимая плечами и протягивая руки, – только рассудите. Вы обделали очень хорошенькое дельце, и я вас за это люблю, но зато вам теперь грозит галстук на шею, который так легко затянуть и так трудно развязать, – петля, говоря простым английским языком.

Мистер Болтер поднес руку к своему шейному платку, как будто почувствовав, что он слишком туго завязан, и пробормотал что-то, выражая согласие тоном, но не словами.

– Виселица, – продолжал Феджин, – виселица, мой милый, – это безобразный, придорожный столб, указывающий путь к очень короткому и очень крутому повороту, который положил конец карьере многих смельчаков на широкой, большой дороге. Не

сходить с прямой тропы и держаться от него подальше – вот ваша цель, номер первый.

– Конечно, это верно, – ответил мистер Болтер. – Но зачем вы толкуете о таких вещах?

– Только для того, чтобы пояснить вам смысл моих слов, – сказал еврей, пожимая плечами. – Чтобы добиться этого, вы полагаетесь на меня. Чтобы мирно заниматься своим маленьким делом, я полагаюсь на вас. Одно – для вас номер первый, другое – для меня номер первый. Чем больше вы цените свой номер первый, тем больше вы заботитесь о моем; вот, наконец, мы и вернулись к тому, что я вам сказал вначале: внимание к номеру первому связывает нас всех вместе. Так и должно быть, иначе вся наша компания развалится.

– Это правда, – задумчиво промолвил мистер Болтер. – Ох, и ловкий же вы старый пройдоха!

Мистер Феджин с великой радостью убедился, что эта похвала его способностям не простой комплимент, но что он действительно внушил новичку представление о своем гениальном хитроумии, а укрепить в нем такое представление было делом чрезвычайно важным. Дабы усилить впечатление, столь желательное и полезное, он еще подробнее ознакомил Ноэ с размахом своих операций, переплетая в своих целях правду с вымыслом и преподнося то и другое с таким мастерством, что почтение к нему мистера Болтера явно возросло и окрасилось неким благодетельным страхом, к чему Феджин и стремился.

– Вот это взаимное доверие, какое мы питаем друг к другу, и утешает меня в случае тяжелых утрат, – сказал Феджин. – Вчера утром я лишился своего лучшего помощника.

– Неужели вы хотите сказать, что он умер! – воскликнул мистер Болтер.

– Нет, – ответил Феджин, – дело не так плохо. Не так уж плохо.

– Тогда, должно быть, его...

– Затребовали, – подсказал Феджин. – Да, его затребовали.

– По очень важному делу? – спросил мистер Болтер.

– Нет, – ответил мистер Феджин, – не очень. Его обвинили в попытке очистить карман и нашли у него серебряную табакерку – его собственную, мой милый, его собственную, потому что он сам очень любит нюхать табак. Его держали под арестом до сегодняшнего дня, так как полагали, что знают владельца. Ах, он стоил пятидесяти табакерок, и я бы заплатил их стоимость, только бы его вернуть. Следовало вам знать Плута, мой милый, следовало вам знать Плута.

– Ну что ж, надеюсь, я с ним познакомлюсь, как вы думаете? – сказал мистер Болтер.

– Сомневаюсь, – со вздохом ответил Феджин. – Если они не раздобудут каких-нибудь новых улик, то дадут ему короткий срок, и месяца через полтора он к нам вернется, а если раздобудут, то дело пахнет укупоркой. Им известно, какой он умный парень. Он будет пожизненным. Они сделают Плута ни больше, ни меньше, как пожизненным.

– Что значит укупорка и пожизненный? – спросил мистер Болтер. – Что толку объясняться со мной на таком языке? Почему вы не говорите так, чтобы я мог вас понять?

Феджин хотел было перевести эти таинственные выражения на простой язык, и, получив объяснение, мистер Болтер узнал бы, что сочетание этих слов означает пожизненную каторгу, но тут беседа была прервана появлением юного Бейтса, руки которого были засунуты в карманы, а лицо перекосилось, выражая полукомическую скорбь.

– Все кончено, Феджин! – сказал Чарли, когда он и его новый товарищ были представлены друг другу.

– Что это значит?

– Они отыскивали джентльмена, которому принадлежит табакерка. Еще два-три человека явятся опознать его, и Плуту придется пуститься в плавание, – ответил юный Бейтс. – Мне, Феджин, нужны траурный костюм и лента на шляпу, чтобы навестить его перед тем, как он отправится в путешествие. Подумать только, что Джек Даукинс – молодчага Джек – Плут – Ловкий Плут уезжает в чужие края из-за простой табакерки, которой цена два с половиной пенса. Я всегда думал, что если такое с ним случится, то по меньшей мере из-за золотых часов с цепочкой и печатками. Ох, почему он не отобрал у какого-нибудь старого богача все его драгоценности, чтобы уехать как джентльмен, а не как простой воришка, без всяких

почестей и славы!

Выразив таким образом сочувствие своему злосчастному другу, юный Бейтс с видом грустным и угнетенным опустился на ближайший стул.

– Что это ты там болтаешь? – воскликнул Феджин, бросив сердитый взгляд на своего ученика. – Разве не был он на голову выше всех вас? Разве есть среди вас хоть один, кто бы мог до него дотянуться и в чем-нибудь сравняться с ним?

– Ни одного, – ответил юный Бейтс голосом, охрипшим от огорчения. – Ни одного.

– Так о чем же ты болтаешь? – сердито спросил Феджин. – О чем ты хнычешь?

– О том, что этого не будет в протоколе, – сказал Чарли, которого взбудоражили нахлынувшие сожаления, побудив бросить открытый вызов своему почтенному другу о том, что это не будет указано в обвинительном акте, о том, что никто никогда до конца не узнает, кем он был. Какое место он займет в Ньюгетском справочнике?⁴⁰ Может быть, вовсе не попадет туда. О господи, какой удар!

– Ха-ха! – вскричал Феджин, вытягивая правую руку к мистеру Болтеру и, словно паралитик, весь сотрясаясь от собственного хихиканья. – Посмотрите, как они гордятся своей профессией, мой милый. Не чудесно ли это?

Мистер Болтер кивнул утвердительно, а Феджин, в течение нескольких секунд созерцавший с нескрываемым удовлетворением скорбь Чарли Бейтса, подошел к сему молодому джентльмену и потрепал его по плечу.

– Полно, Чарли, – успокоительно сказал Феджин, – Это станет известно, непременно станет известно. Все узнают, каким он был смышленным парнем, он сам это покажет и не опозорит своих старых приятелей и учителей. Подумай о том, как он молод. Как почетно, Чарли, получить укупорку в такие годы!

– Пожалуй, это и в самом деле честь, – сказал Чарли, немножко утешившись.

– Он получит все, чего пожелает, – продолжал еврей. – Его будут содержать в каменном кувшине, как джентльмена, Чарли. Как джентльмена. Каждый день пиво и карманные деньги, чтобы играть в орлянку, если он не может их истратить.

– Да неужели? – воскликнул Чарли Бейтс.

– Все это он получит, – ответил Феджин. – И у нас будет большой парик – такой, что лучше всех умеет болтать языком, чтобы его защитить. Плут, если захочет, и сам может произнести речь, а мы ее всю прочитаем в газетах: «Ловкий Плут – взрывы смеха, с судьями конвульсии». Ну как, Чарли, э?

– Ха-ха! – захохотал Чарли. – Вот будет потеха! Верно, Феджин? Плут-то им досадит, верно?

– Верно! – воскликнул Феджин. – Уж он досадит.

– Да что и говорить, досадит, – повторил Чарли, потирая руки.

– Мне кажется, я его перед собой вижу, – сказал еврей, устремив взгляд на своего ученика.

– Я тоже! – крикнул Чарли Бейтс. – Ха-ха-ха! Я тоже. Я все это вижу, ей-богу, вижу, Феджин. Вот потеха! Вот уж взаправду потеха! Все большие парики стараются напустить на себя важность, а Джек Даукинс обращается к ним спокойно и задушевно, будто он родной сын судьи и произносит спич после обеда. Ха-ха-ха!

В самом деле, мистер Феджин столь искусно воздействовал на эксцентрический характер своего молодого друга, что Бейтс, который сначала был склонен почитать арестованного Плута жертвой, смотрел на него теперь как на первого актера на сцене, отличающегося беспримерным и восхитительным юмором, и с нетерпением ждал часа, когда старому его приятелю представится столь благоприятный случай обнаружить свои таланты.

– Мы должны половчее разузнать, как идут у него дела сейчас, – сказал Феджин. –

⁴⁰ *Ньюгетский справочник* – издание в шести томах, содержащее биографии знаменитых преступников, отбывавших наказание в Ньюгетской тюрьме с конца XVIII века.

Дай-ка я подумаю.

– Не пойти ли мне? – спросил Чарли.

– Ни за что на свете! – ответил Феджин. – Рехнулся ты, что ли, мой милый, окончательно рехнулся, если вздумал идти туда, где... Нет, Чарли, нет. Нельзя терять больше одного за раз.

– Я думаю, сами-то вы не собираетесь идти? – сказал Чарли, шутливо подмигивая.

– Это было бы не совсем удобно, – покачивая головой, ответил Феджин.

– А почему бы не послать этого нового парня? – спросил юный Бейтс, положив руку на плечо Ноэ. – Его никто не знает.

– Ну что же, если он ничего не имеет против... – начал Феджин.

– Против? – перебил Чарли. – А что он может иметь против?

– Ровно ничего, мой милый, – сказал Феджин, поворачиваясь к мистеру Болтеру, – ровно ничего.

– О, как бы не так! – возразил Ноэ, пятась к двери и опасливо качая головой. – Нет, нет, бросьте! Это не входит в мои обязанности.

– А какие он взял на себя обязанности, Феджин? – спросил юный Бейтс, презрительно созерцая тощую фигуру Ноэ. – Удирать, когда что-нибудь неладно, и есть по горло, когда все в порядке? Это, что ли, его занятие?

– Не все ли равно? – возразил мистер Болтер. – А ты, малыш, не позволяй себе вольностей со старшими, не то тебе не поздоровится.

В ответ на эту великолепную угрозу юный Бейтс так неистово захохотал, что прошло некоторое время, прежде чем Феджин мог вмешаться и объяснить мистеру Болтеру, что в полицейском управлении ему ничто не грозит, ибо ни отчет о маленьком дельце, в котором он участвовал, ни описание его особы еще не препровождены в столицу и, по всей вероятности, его даже не подозревают в том, что он искал в ней приюта, а потому – если он надлежащим образом переоденется, то может посетить это место с такой же безопасностью, как и всякое другое в Лондоне, тем более что из всех мест оно самое последнее, где можно ждать добровольного его появления.

Убежденный отчасти такими доводами, но в значительно большей степени подавленный страхом перед Феджином, мистер Болтер с большой неохотой согласился, наконец, отправиться в эту экспедицию. По указанию Феджина он немедленно заменил свой костюм курткой возчика, короткими плисовыми штанами и кожаными гетрами, – все это было у Феджина под рукой. Его снабдили также войлочной шляпой, разукрашенной билетиками с заставы и извозчичьим кнутом. В таком снаряжении он должен был ввалиться в суд, как сделал бы какой-нибудь деревенский парень с Ковент-Гарденского рынка, вздумавший удовлетворить свое любопытство. А так как Ноэ был как раз таким неотесанным, неуклюжим и костлявым парнем, какой был нужен, мистер Феджин не сомневался в том, что он в совершенстве справится со своей ролью.

Когда эти приготовления были закончены, ему сообщили признаки и приметы, необходимые для опознания Ловкого Плути, и юный Бейтс проводил его темными и извилистыми путями до того места, откуда было недалеко до Боу-стрит. Описав точное местонахождение полицейского управления и присовокупив многочисленные указания, как пройти переулком, пересечь двор, подняться по лестнице к двери по правую руку и, войдя в комнату, снять шляпу, Чарли Бейтс предложил ему проститься и быстро идти дальше и обещал ждать его возвращения там, где они расстались.

Ноэ Клейпол, или, если читателю угодно, Морис Болтер, пунктуально следовал полученным указаниям, которые (юный Бейтс был недурно знаком с этой местностью) были так точны, что ему удалось достигнуть полицейского управления, не задавая никаких вопросов и не встретив на пути никаких помех. Он очутился в плотной толпе, состоявшей преимущественно из женщин, теснившихся в грязной, душной комнате, в дальнем конце которой находилось огороженное перилами возвышение со скамьей для подсудимых у стены слева, кафедрой для свидетелей посередине и столом для судей справа; это последнее,

устрашающее место было отделено перегородкой, которая скрывала суд от взоров простых смертных и давала свободу черни представлять себе (если ей это удастся) правосудие во всем его величии.

На скамье подсудимых сидели только две женщины, которые все время кивали своим восхищенным друзьям, пока клерк читал какие-то показания двум полисменам и чиновнику в штатском, склонившемуся над столом. Тюремщик стоял, опершись на перила скамьи подсудимых и лениво постукивал себя по носу большим ключом, отрываясь от этого занятия лишь для того, чтобы окриком пресечь неуместные попытки зевак вести разговор или, сурово подняв взор, приказать какой-нибудь женщине: «Унесите этого ребенка», – если торжественное отправление правосудия прерывалось слабым писком какого-нибудь тощего младенца, доносившимся из-под материнской шали. Воздух в комнате был тяжелый и спертый; от грязи изменилась окраска стола, а потолок почернел. На каменной стене возвышался старый, закопченный бюст, а над скамьей подсудимых – запылившиеся часы – единственный предмет, который, казалось, был в должном порядке, тогда как пороки, бедность или близкое знакомство с ними оставили на всех одушевленных существах налет, вряд ли менее неприятный, чем густой, жирный слой копоти, лежавший на всех неодушевленных предметах, хмуρο взиравших на происходящее.

Ноэ нетерпеливо озирался в поисках Плута, но хотя многие из присутствующих женщин прекрасно могли бы сойти за мать или сестру этого выдающегося человека и несколько мужчин могли походить на его отца, не было видно решительно никого, к кому подошло бы полученное Ноэ описание наружности мистера Даукинса. Ноэ ждал с величайшим беспокойством и неуверенностью, пока женщины, чьи дела передавались в уголовный суд,⁴¹ не удалились с развязным видом, а затем его быстро успокоило появление другого арестованного, который, как он сразу понял, мог быть только тем, ради кого он сюда пришел.

Это был действительно мистер Даукинс с закатанными, по обыкновению, длинными рукавами сюртука; засунув левую руку в карман, а в правой держа шляпу, он вошел, сопровождаемый тюремщиком, в комнату совершенно неопишуемой походкой, волоча ноги, вразвалку и, заняв место на скамье подсудимых, громким голосом пожелал узнать, чего ради поставили его в такое унижительное положение.

– Прикусите язык, слышите? – сказал тюремщик.

– Я – англичанин, разве не так? – возразил Плут. – Где же мои привилегии?

– Скоро получите свои привилегии, – отрезал тюремщик, – и перцу в придачу!

– А если не получу, то посмотрим, что скажет этим крючкотворам министр внутренних дел... – отвечивал мистер Даукинс. – Ну, какое у нас тут дело? Я буду благодарен судьям, если они разберут это маленькое дельце и не станут меня задерживать, читая газету, потому что у меня назначено свидание с одним джентльменом в Сити, а так как я всегда верен своему слову и очень пунктуален в делах, то он уйдет, если я не приду вовремя. И уж не думают ли они, что им не предьявят иска о возмещении убытков, если они меня задержат? О, как бы не так!

Тут Плут, делая вид, будто крайне заинтересован процессом, который может возникнуть на этой почве, пожелал узнать у тюремщика фамилии вон тех двух ловкачей в судейских креслах. Это столь позабавило зрителей, что они захохотали почти так же громко, как захохотал бы юный Бейтс, если бы услышал такое требование.

– Эй, потише! – крикнул тюремщик.

⁴¹ ...чьи дела передавались в уголовный суд – то есть те правонарушители, действия которых определением мирового судьи подлежат рассмотрению судом более высокой инстанции. По английским законам о судостроительстве мировой (полицейский) суд, если дело подлежало его ведению, мог оправдать обвиняемого или осудить. В том случае, если бывало доказано, что есть основания для обвинения арестованного в преступлении, не подлежащем ведению мирового суда, последний выносил решение о передаче дела в суд более высокой инстанции – в уголовный суд.

– В чем его обвиняют? – спросил один из судей.

– В карманной краже, ваша честь.

– Этот мальчик бывал здесь когда-нибудь раньше?

– Много раз следовало бы ему здесь быть, – ответил тюремщик. – Почти везде он побывал. Уж я-то его хорошо знаю, ваша честь.

– О, вы меня знаете, вот как? – откликнулся на это сообщение Плут. – Очень хорошо! Так или иначе, а это попытка опорочить репутацию.

Тут снова раздался смех, и снова призыв к молчанию.

– Ну, а где же свидетели? – спросил клерк.

– Вот именно, – подхватил Плут. – Где они? Хотел бы я на них посмотреть.

Это желание было немедленно удовлетворено, ибо вперед выступил полисмен, который видел, как арестованный покушался на карман какого-то джентльмена в толпе и даже вытащил оттуда носовой платок, оказавшийся таким старым, что он преспокойно положил его назад, предварительно воспользовавшись им для своего собственного носа. На этом основании он арестовал Плута, как только удалось до него добраться, и при обыске у названного Плута была найдена серебряная табакерка с выгравированной на крышке фамилией владельца. Этого джентльмена разыскали с помощью «Судебного справочника», и, находясь в настоящее время здесь, он показал под присягой, что табакерка принадлежит ему и что он хватился ее накануне, когда выбрался из той самой толпы. Он также заметил в толпе молодого джентльмена, весьма решительно прокладывавшего себе дорогу, и находящийся перед ним арестованный и есть этот молодой джентльмен.

– Мальчик, вы имеете о чем-нибудь спросить этого свидетеля? – сказал судья.

– Я не намерен унижаться, снисходя до беседы с ним, – ответил Плут.

– Вы ничего не имеете сказать?

– Слышите, их честь спрашивает, имеете ли вы что сказать? – повторил тюремщик, подталкивая локтем молчавшего Плута.

– Прошу прощенья! – сказал Плут, с рассеянным видом поднимая глаза. – Это вы ко мне обращаетесь, милейший?

– Никогда я не видал такого прожженного молодого бродяги, ваша честь, – усмехаясь, заметил полисмен. – Хотите ли вы что-нибудь сказать, юнец?

– Нет, – ответил Плут, – не здесь, потому что эта лавочка не годится для правосудия, да к тому же сегодня утром мой адвокат завтракает с вице-президентом палаты общин. Но в другом месте я кое-что скажу, а также и он и мои многочисленные и почтенные знакомые, и тогда эти крючкотворы пожалеют, что родились на свет или что не приказали своим лакеям повесить их на гвоздь вместо шляпы, когда те отпустили их сегодня утром проделывать надо мной эти штуки. Я...

– Довольно! Приговорен к преданию суду. Уведите его, – перебил клерк.

– Идем! – сказал тюремщик.

– Иду, – ответил Плут, чистя ладонью свою шляпу, – Эй (обращаясь к судьям), нечего напускать на себя испуганный вид: я вам не окажу ни малейшего снисхождения, ни на полпенни! Вы за это заплатите, милейшие! Я бы ни за что не согласился быть на вашем месте. Я бы не вышел теперь на волю, даже если бы вы упали на колени и умоляли меня. Эй, ведите меня в тюрьму! Уведите меня!

Произнеся эти последние слова, Плут разрешил, чтобы его вытащили за шиворот, и, пока не очутился во дворе, грозил возбудить дело в парламенте, а затем весело и самодовольно ухмыльнулся в лицо полисмену.

Убедившись, что Даукинса заперли в маленькой одиночной камере, Ноэ быстрыми шагами направился туда, где оставил юного Бейтса. Здесь он дождался этого молодого джентльмена, который благоразумно избегал показываться на глаза, пока из укромного уголка тщательно не обозрел местность и не удостоверился, что никакая назойливая личность не выслеживает его нового друга.

Вдвоем они поспешили домой сообщить мистеру Феджину радостную весть, что Плут

воздаст должное полученному им воспитанию и завоевывает себе блестящую репутацию.

Глава XLIV

Для Нэнси настает время исполнить обещание, данное Роз Мэйли. Она терпит неудачу

Как ни была искушена Нэнси во всех тонкостях искусства хитрить и притворяться, однако она не могла до конца скрыть того смятения, в которое ее поверг соделанный ею поступок. Она помнила, что и лукавый еврей и жестокий Сайкс посвящали ее в свои планы, которые оставались тайной для всех других, в полной уверенности, что она достойна доверия и стоит вне подозрений. Как ни гнусны были эти планы, какими отъявленными негодьями ни были люди, их замыслившие, и как ни велико было ее озлобление против Феджина, который вел ее шаг за шагом вниз и вниз, в бездну преступлений и отчаяния, откуда нет возврата, однако бывали минуты, когда она смягчалась даже по отношению к нему, опасаясь, как бы ее разоблачение не привело его к тем железным тискам, от которых он так долго ускользал, и как бы он не погиб – хотя такую участь он и заслужил – от ее руки.

Но подобные колебания духа не могли целиком оторвать ее от прежних товарищей и сообщников, хотя она и способна была сосредоточиться на одной цели и не уклоняться в сторону, невзирая ни на какие соображения. Ее опасения за Сайкса могли послужить более серьезным мотивом для отступления, пока еще не поздно, но она условилась, что ее тайну будут свято хранить, она не дала ни одной нити, которая помогла бы его найти; ради него она даже отказалась спастись от всех преступлений и мерзости, окружавших ее, – могла ли она сделать больше? Она решилась.

Хотя ее душевная борьба и заканчивалась таким решением, но она начиналась снова и снова и не проходила бесследно. За эти несколько дней Нэнси похудела и побледнела. Иногда она никакого внимания не обращала на то, что происходило вокруг, и не принимала участия к разговорах, тогда как прежде кричала бы громче всех. Иной раз она смеялась невесело и поднимала шум без причины и без толку. Иной раз – это нередко случалось минутой спустя – она сидела молчаливая и понурая, в раздумье опустив голову на руки, и те усилия, какие она делала, чтобы оживиться, красноречивее, чем эти признаки, говорили о том, что ей не по себе и мысли ее не имеют никакого отношения к тому, о чем толкуют ее товарищи.

Был воскресный вечер, и на ближней церкви колокол начал отбивать часы. Сайкс с евреем вели беседу, но теперь умолкли, прислушиваясь. Девушка, сидевшая, сгорбившись, на низкой скамье, подняла голову и тоже прислушалась. Одиннадцать.

– Час до полуночи, – сказал Сайкс, приподняв штору, чтобы посмотреть на улицу, и возвращаясь на свое место. – И к тому же темно и облачно. Славная ночька для работы.

– Ах! – вздохнул Феджин. – Как досадно, Билл, милый мой, что у нас никакой работы не припасено.

– На этот раз вы правы, – хмуро сказал Сайкс. – Досадно, потому что сейчас мне это пришлось бы по вкусу.

Феджин вздохнул и уныло покачал головой.

– Мы должны наверстать потерянное время, как только дела у нас наладятся, вот что я думаю, – заметил Сайкс.

– Правильно рассуждаете, милый мой, – ответил Феджин, осмелившись потрепать его по плечу. – Мне приятно вас слушать.

– Вам приятно! – воскликнул Сайкс. – Ну что ж, пусть так.

– Ха-ха-ха! – засмеялся Феджин, как будто это замечание его успокоило. – Сегодня вы опять такой, как прежде, Билл. Совсем такой же.

– А я себя не чувствую таким, когда вы кладете мне на плечо эти усохшие старые когти. Стало быть, уберите их, – сказал Сайкс, отталкивая руку еврея.

– Это вас волнует, Билл; походит на то, будто вас схватили? – сказал Феджин, решив не

обижаться.

– Походит на то, будто меня сам черт схватил, – ответил Сайкс. – Не бывало еще человека с такой рожей, как у вас. Вот разве что у вашего отца была такая, а уж ему-то, наверно, подпаливают сейчас бороду, рыжую с проседью. Или, может быть, вы произошли прямо от черта, без всякого отца, – меня бы это ничуть не удивило.

На этот комплимент Феджин ничего не ответил, но, дернув Сайкса за рукав, указал пальцем на Нэнси, которая воспользовалась возникшим разговором, чтобы надеть шляпку, и теперь собралась выйти из комнаты.

– Эй! – крикнул Сайкс. – Нэнс! Куда это девка вздумала идти так поздно?

– Недалеко.

– Это еще что за ответ? – сказал Сайкс. – Куда ты идешь?

– Говорю – недалеко.

– А я спрашиваю: куда? – закричал Сайкс. – Ты меня слышишь?

– Не знаю куда, – ответила девушка.

– Ну, так я знаю, – сказал Сайкс, не столько потому, что у него были веские причины не пускать ее, если бы она вздумала куда-нибудь пойти, сколько из упрямства, – Никуда!.. Сядь!

– Мне нездоровится. Я тебе уже говорила, – возразила девушка. – Я хочу подышать свежим воздухом.

– Высунь голову в окно, – ответил Сайкс.

– Мне этого мало, – сказала девушка. – Мне нужно подышать воздухом на улице.

– Обойдешься! – ответил Сайкс.

С этими словами он встал, запер дверь, вынул ключ и, сорвав у нее с головы шляпку, забросил ее на старый шкаф.

– Вот так, – сказал грабитель. – Теперь сиди смиренно там, где сидела, слышишь?

– Шляпа-то меня не удержит, – сильно побледнев, сказала девушка. – Что с тобой, Билл? Да знаешь ли ты, что ты делаешь?

– Знаю ли я... О! – воскликнул Сайкс, поворачиваясь к Феджину. – Смотрите, она свихнулась, иначе она бы не посмела так со мной говорить.

– Ты меня доведешь до какого-нибудь отчаянного поступка, – пробормотала девушка, прижимая обе руки к груди, словно стараясь удержаться от бурного взрыва. – Отпусти, слышишь... сию же минуту... сию же секунду!

– Нет, – сказал Сайкс.

– Феджин, скажите ему, чтобы он меня отпустил. Пусть лучше отпустит. Для него же будет лучше. Слышишь ты меня? – топнув ногой, крикнула Нэнси.

– Слышу ли? – повторил Сайкс, поворачиваясь на стуле лицом к ней. – Если я еще минуту буду тебя слышать, собака вцепится тебе в горло так, что выдерет из глотки этот крикливый голос. Что это на тебя нашло, дрянь ты этакая?! Что на тебя нашло?

– Пусти меня, – очень настойчиво сказала девушка и, усевшись на пол перед дверью, добавила: – Билл, пусти меня! Ты не знаешь, что ты делаешь. Не знаешь... Только на один час... Пусти!.. Пусти...

– Пусть меня режут на куски, – воскликнул Сайкс, грубо схватив ее за плечо, – если у этой девки не буйное помешательство! Встань!

– Не встану, пока ты меня непустишь... пока непустишь... ни за что... ни за что!.. – завизжала девушка.

С минуту Сайкс смотрел на нее, подстерегая удобный момент, потом, внезапно скрутив ей руки, потащил ее, невзирая на сопротивление, в маленькую смежную комнату, где швырнул на стул, а сам уселся рядом на скамью, продолжая держать ее. Она то вырывалась, то умоляла, пока не пробило двенадцать, тогда, устав и выбившись из сил, она перестала настаивать на своем. Бросив ей предостережение, скрепленное многочисленными ругательствами, не пытаться больше выйти сегодня из дому, Сайкс предоставил ей успокаиваться на досуге и вернулся к Феджину.

– Вот так штука! – сказал взломщик, вытирая пот с лица. – Чертовски странная девка.
– Что и говорить, Билл... – задумчиво отозвался Феджин, – что и говорить.
– Как вы думаете, что это ей взбрело в голову уходить из дому ночью? – спросил Сайкс. – Послушайте, вы знаете ее лучше, чем я. Что это значит?

– Упрямство. Мне кажется, это женское упрямство, мой милый.
– Мне тоже так кажется, – проворчал Сайкс. – Я думал, что вышкололил ее, но она такая же дрянь, какой была.

– Хуже, – задумчиво произнес Феджин. – Я никогда еще не видел, чтобы это с ней случилось из-за таких пустяков.

– Я тоже, – сказал Сайкс. – Я думаю, у нее еще бродит в крови эта лихорадка, а?

– Похоже на то.

– Если она еще раз примется за такие штуки, я ей сделаю маленькое кровопускание, не утруждая доктора, – сказал Сайкс.

Феджин выразительно кивнул, одобряя такой способ лечения.

– Она по целым дням, да и по ночам не отходила от меня, когда я лежал пластом, а вы, злое, волчье отродье, держались в стороне, – сказал Сайкс. – К тому же мы все время очень нуждались, и, я думаю, ее это мучило и раздражало, а от долгого сиденья здесь взаперти она, наверно, и сделалась такой беспокойной.

– Так оно и есть, мой милый, – шепотом ответил еврей. – Тише.

Как только он произнес эти слова, девушка вошла в комнату и села на прежнее место. Глаза у нее опухли и покраснели; она раскачивалась взад и вперед, встряхивала головой и вдруг расхохоталась.

– Ну вот, теперь она покатила по другой дорожке! – воскликнул Сайкс, с величайшим изумлением посмотрев на своего собеседника.

Феджин кивнул ему, чтобы он не обращал на нее внимания, и через несколько минут девушка пришла в себя. Шепнув Сайксу, что больше нечего опасаться нового припадка, Феджин взял шляпу и пожелал ему спокойной ночи. У двери он приостановился и, оглянувшись, спросил, не посветит ли ему кто-нибудь на темной лестнице.

– Посвети ему, – сказал Сайкс, набивавший трубку. – Жаль будет, если он свернет себе шею и разочарует любителей зрелищ. Проводи его со свечой.

Взяв свечу, Нэнси спустилась вслед за стариком по лестнице. Когда они вышли в коридор, он приложил палец к губам и, придвинувшись к девушке, спросил шепотом:

– Что случилось, Нэнси, милая?

– О чем вы говорите? – также тихо спросила девушка.

– О причине всего этого, – ответил Феджин. – Если *он*, – костлявым пальцем он указал вверх, – так жесток с тобой (ведь он скотина, Нэнс, грубая скотина), то почему же ты не...

– Ну? – сказала девушка, когда Феджин замолчал, почти касаясь губами ее уха и не сводя с нее глаз.

– Сейчас не будем говорить. Мы об этом еще потолкуем. Во мне ты имеешь друга, Нэнс, верного друга. У меня есть средства под рукой, надежные и безопасные. Если ты хочешь отомстить тем, кто обращается с тобой как с собакой – нет, хуже, чем с собакой, потому что ей он иной раз потакает, – приходи ко мне. Слышишь, приходи ко мне! Этот негодяй у тебя на один день, а меня ты давно знаешь, Нэнс.

– Я вас хорошо знаю, – отозвалась девушка без всякого волнения. – Спокойной ночи.

Она отшатнулась, когда Феджин хотел пожать ей руку, но снова твердым голосом пожелала ему спокойной ночи и, ответив на его прощальный взгляд многозначительным кивком, заперла за ним дверь.

Феджин направился к себе домой, погруженный в глубокие размышления. У него медленно и постепенно зарождалось подозрение – не только из-за сегодняшней сцены, хотя она и служила тому подтверждением, – подозрение, что Нэнси, измученная грубостью взломщика, решила завести себе нового дружка. Перемена в ее обращении, частые отлучки из дому, некоторое равнодушие к интересам шайки, которой она когда-то была так предана,

и в довершение – ее неудержимое желание уйти в тот вечер в определенный час – все это делало правдоподобным его догадку и превращало ее, по крайней мере для него, чуть ли не в уверенность. Предмет этой новой любви не был одним из его подручных. Он мог оказаться ценным приобретением с такой помощницей, как Нэнси, и его следовало (так рассуждал Феджин) привлечь без промедления.

Нельзя было терять из виду и другой цели, еще более преступной. Сайксу слишком многое было известно, а его грубое издевательство раздражало Феджина ничуть не меньше оттого, что он это скрывал. Девушка должна прекрасно знать, что, если она его бросит, ей никогда не защитить себя от его ярости, и эта ярость несомненно обрушится на предмет ее нового увлечения, а это приведет к увечью, может быть и к смерти. «Стоит подговорить ее, – размышлял Феджин, – и весьма вероятно, что она согласится его отравить. Для этого женщины проделывали вещи и похуже. Исчезнет опасный негодяй, человек, которого я ненавижу, его место займет другой, а мое влияние на девушку, подкрепленное тем, что ее преступление мне известно, окажется безграничным».

Эти соображения промелькнули в голове Феджина за короткое время, пока он сидел в комнате грабителя, и, всецело занятый ими, он затем воспользовался представившимся случаем испытать девушку с помощью туманных намеков, брошенных при прощании. Она не удивилась, но притворилась, будто ей непонятен смысл его слов. Девушка все поняла. Об этом говорил при прощании ее взгляд. Но, может быть, она отшатнется от предложения лишить Сайкса жизни, а это была одна из главных целей, о которой надо было помнить. «Как усилить мое влияние на нее? – думал Феджин, плетясь домой. – Как мне добиться большей власти?»

Такие люди умеют изыскивать средства. Скажем, не вырывая у нее признания, он, Феджин, примется выслеживать, откроет предмет ее новой привязанности и, если она отвергнет его замысел, пригрозит рассказать обо всем Сайксу (которого она не на шутку боялась), – разве не обеспечит он себе ее согласия?

– Я этого добьюсь, – прошептал Феджин. – Тогда она не посмеет мне отказать. Ни за что, ни за что не посмеет. Я все обдумал. Средства под рукой и будут пущены в ход. Я еще до тебя доберусь!

Он бросил мрачный взгляд назад, сделал угрожающий жест, глядя в ту сторону, где оставил негодяя, более храброго, чем он сам, и пошел своей дорогой, теребя и туго закручивая костлявыми пальцами складки рваного плаща, словно руки его сокрушали ненавистного врага.

Глава XLV

Феджин дает Ноэ Клейполу секретное поручение

На следующее утро старик встал рано и с нетерпением ждал прихода своего нового сообщника, который с большим опозданием явился, наконец, и с жадностью набросился на завтрак.

– Болтер, – сказал Феджин, придвигая стул и усаживаясь против Мориса Болтера.

– Ну вот, я здесь, – отозвался Ноэ. – Что случилось? Не просите меня ни о чем, пока я не покончу с едой. Вот что у вас здесь плохо: никогда не хватает времени спокойно поесть.

– Разве вы не можете разговаривать и есть одновременно? – спросил Феджин, от всей души проклиная прозорливость своего любезного молодого друга.

– Ну что же, разговаривать я могу. У меня дело идет лучше, когда я разговариваю, – сказал Ноэ, отрезая чудовищный ломоть хлеба. – Где Шарлотт?

– Ушла, – ответил Феджин. – Я ее отослал утром с другой молодой женщиной, потому что хотел остаться с вами наедине.

– О! – сказал Ноэ. – Жаль, что вы не приказали ей сначала приготовить гренки с маслом. Ну ладно. Говорите. Вы мне не помешаете.

В самом деле, не было, казалось, большой опасности помешать ему чем бы то ни было,

так как он уселся за стол с твердым намерением потрудиться на славу.

– Вчера вы хорошо поработали, мой милый, – сказал Феджин. – Превосходно. В первый же день шесть шиллингов девять с половиной пенсов. Вы сколотите себе состояние на облапошивании птенцов.

– Не забудьте прибавить к этому три пинтовые кружки и кувшин для молока, – сказал мистер Болтер.

– Да, да, мой милый. Что касается до кружек – это было здорово сделано, а кувшин – завидная работа.

– Мне кажется, очень неплохо для начинающего, – самодовольно заметил мистер Болтер. – Кружки я снял с изгороди, а кувшин стоял сам по себе у входа в трактир. Я подумал, как бы он не заржавел от дождя или, знаете ли, не схватил простуду. А? Ха-ха-ха!

Феджин сделал вид, будто смеется от души, а мистер Болтер, нахохотавшись вдосталь, проглотил один за другим несколько больших кусков и, покончив с первым ломтем хлеба с маслом, принялся за второй.

– Мне нужно, Болтер, – сказал Феджин, нагнувшись над столом, – чтобы вы, мой милый, исполнили для меня одну работу, требующую величайшего старания и осмотрительности.

– Послушайте, – сказал Болтер, – не вздумайте толкать меня на опасное дело или опять посылать в ваше полицейское управление. Это мне вовсе не подходит, и я вам так прямо и говорю.

– Никакой опасности в этом нет, ни малейшей, – сказал еврей, – нужно только проследить за одной женщиной.

– За старухой? – спросил мистер Болтер.

– За молодой, – ответил еврей.

– С этим делом я прекрасно могу справиться, – сказал Болтер. – В школе я был ловким доносчиком. А зачем мне ее выслеживать? Уж не для того ли, чтобы...

– Делать ничего не нужно, только сообщите мне, куда она ходит, с кем встречается и, если возможно, что говорит; запомнить улицу – если это улица, или дом – если это дом, и принести мне все сведения, какие раздобудете.

– Сколько вы мне заплатите? – спросил Ноэ, поставив чашку и жадно всматриваясь в лицо своего хозяина.

– Фунт, если вы хорошо это обделаете, мой милый. Целый фунт, – сказал Феджин, желая заинтересовать его выслеживанием. – Столько я никогда еще не давал за работу, которая не приносит никаких выгод.

– А кто она? – осведомился Ноэ.

– Одна из наших.

– Ах, бог ты мой! – воскликнул Ноэ, сморщив нос. – Вы, значит, ее подозреваете?

– Она нашла себе каких-то новых друзей, мой милый, а я должен знать, кто они, – ответил Феджин.

– Понимаю, – сказал Ноэ. – Только для того, чтобы иметь удовольствие познакомиться с ними, если они люди почтенные, да? Ха-ха-ха!.. Я готов вам служить.

– Я знал, что вы согласитесь! – воскликнул Феджин в восторге от успеха своей затеи.

– Конечно, конечно! – отозвался Ноэ. – Где она? Где мне ее подстергать? Куда я должен идти?

– Все это вы узнаете от меня, мой милый. Я вам ее покажу, когда придет время, – сказал Феджин. – Будьте наготове, а остальное предоставьте мне.

Этот вечер и два следующих шпион просидел в сапогах и в полном снаряжении возчика, готовый выйти по приказу Феджина. Прошло шесть вечеров – шесть долгих, томительных вечеров, – и каждый раз Феджин приходил домой с разочарованной миной и коротко сообщал, что время еще не настало. На седьмой день он явился раньше обычного, с трудом скрывая свой восторг. Было воскресенье.

– Сегодня ода уйдет из дому, – сказал Феджин. – И я уверен, по тому самому делу...

Целый день она провела одна, а человек, которого она боится, вернется не раньше чем на рассвете. Идем. Поторапливайтесь!

Ноэ вскочил, не говоря ни слова, ибо еврей был в таком сильном волнении, что оно передалось и ему. Крадучись они вышли из дому и, быстро пройдя лабиринтом улиц, остановились, наконец, перед трактиром, в котором Ноэ признал тот самый, где провел ночь по прибытии своем в Лондон.

Был двенадцатый час, и дверь была заперта. Она бесшумно распахнулась, когда Феджин негромко свистнул. Они потихоньку вошли, и дверь за ними закрылась.

Едва осмеливаясь говорить шепотом и заменяя речь пантомимой, Феджин и молодой еврей, впусивший их, указали Ноэ на оконце и знаком предложили ему посмотреть на особу в соседней комнате.

– Это та самая женщина? – спросил он чуть слышно.

Феджин утвердительно кивнул головой.

– Я не могу разглядеть ее лицо, – прошептал Ноэ. – Она опустила голову, а свеча стоит у нее за спиной.

– Подождите, – шепнул Феджин.

Он сделал знак Барни, после чего тот удалился. Секунду спустя парень вошел в соседнюю комнату и, якобы желая снять нагар со свечи, передвинул ее, как было нужно, и, заговорив с девушкой, заставил ее поднять голову.

– Теперь я ее вижу, – прошептал шпион.

– Ясно?

– Я узнал бы ее из тысячи!

Он быстро спустился вниз, так как дверь комнаты распахнулась и появилась девушка. Феджин оттащил его в угол комнаты, отделенный занавеской, и они затаили дыхание, когда она прошла в нескольких футах от их убежища и исчезла за дверью, в которую они вошли.

– Тес! – сказал парень, открывший дверь. – Пора!

Ноэ переглянулся с Феджином и выбежал из трактира.

– Налево! – шепнул парень. – Ступайте налево и держитесь противоположной стороны улицы.

Ноэ так и сделал и при свете фонарей увидел удаляющуюся фигуру девушки, уже значительно его опередившей. Придерживаясь все время другой стороны улицы, он приблизился к ней настолько, насколько считал благоразумным, чтобы удобнее было за нею следить. Раза два или три она тревожно оглянулась, а один раз приостановилась, желая пропустить двух мужчин, шедших за нею. Казалось, она набиралась храбрости по мере того, как шла дальше, и теперь шагала более твердо и уверенно. Шпион соблюдал между нею и собой все то же расстояние и шел, не спуская с нее глаз.

Глава XLVI **Свидание состоялось**

Церковные часы пробили три четверти двенадцатого, когда на Лондонском мосту появились две фигуры.

Одна, шедшая впереди торопливым и быстрым шагом, была женщина, которая нетерпеливо озиралась, словно поджидала и отыскивала кого-то; другая фигура – мужчина, пробиравшийся в самой густой тени, какую только мог найти, и издали приноравливая свой шаг к ее шагам: приостанавливаясь, когда останавливалась она, и двигаясь вперед, как только она шла дальше, но и в пылу преследования не позволяя себе нагнать ее. Так перешли они по мосту из Мидлсекса на Саррийскую сторону, как вдруг женщина, с тревогой заглядывавшая в лица прохожих, по-видимому, обманулась в своих надеждах и повернула назад. Она повернула внезапно, но тот, кто за ней следил, не был застигнут врасплох: забившись в одну из ниш над быками моста и перегнувшись через перила, чтобы получше спрятаться, он выждал, пока она не прошла по противоположному тротуару. Когда она

оказалась впереди его примерно на таком же расстоянии, как и раньше, он потихоньку вышел и снова последовал за ней. Почти на середине моста она остановилась. Остановился и мужчина.

Ночь была очень темная, погода стояла плохая, и в этот час и в таком месте людей было мало. Немногие прохожие быстро шли мимо, по всей вероятности, не замечая ни женщины, ни мужчины, который не терял ее из виду, и, уж конечно, не обращая на них внимания. Не такой был у них вид, чтобы привлекать докучливые взоры тех лондонских нищих, которые случайно проходили в тот вечер по мосту в поисках какой-нибудь холодной ниши или лачуги без дверей, где можно приклонить голову. Оба стояли молча – ни с кем не заговаривали, и никто из прохожих не заговаривал с ними.

Над рекой навис туман, сгущая красные отблески огней, которые горели на маленьких судах, пришвартованных к различным пристаням, и в тумане мрачные строения на берегу казались еще более хмурыми и расплывчатыми. Старые, закопченные склады, по обоим берегам реки поднимались, тяжелые и сумрачные над тесным скопищем крыш и карнизов и мрачно взирали на воду, слишком черную, чтобы отражать даже их громоздкую массу. Во мраке виднелись башня старой церкви Спасителя и шпиль церкви Сент Магнуса – древние стражи-гиганты старинного моста, но лес мачт внизу и густо рассыпанные шпили церковей вверху были почти скрыты от глаз.

Девушка беспокойно прошлась несколько раз взад и вперед – за ней все время пристально следил прятавшийся от нее наблюдатель, – наконец, тяжелый колокол собора св. Павла возвестил о смерти еще одного дня. Полночь спустилась на многолюдный город. На дворец, на ночной винный погребок, на тюрьму, на сумасшедший дом, на приют рождения и смерти, здоровья и болезни, на застывшее лицо мертвеца и мирный сон ребенка – на все спустилась полночь.

Не прошло и двух минут после боя часов, как из наемной кареты, остановившейся неподалеку от моста, вышли молодая леди и седой джентльмен и, отпустив экипаж, направились прямо к мосту. Они едва успели вступить на него, как девушка встрепенулась и сейчас же поспешила к ним навстречу.

Они шли вперед, посматривая по сторонам с таким видом, как будто ждали чего-то, что вряд ли могло осуществиться, когда перед ними внезапно появилась девушка. Они остановились, вскрикнув от изумления, но тотчас умолкли, потому что в этот самый момент мимо них прошел очень близко – даже задел их – какой-то человек, одетый по-деревенски.

– Не здесь! – торопливо сказала Нэнси. – Здесь я боюсь разговаривать с вами. Пойдемте... подальше от дороги... вот сюда, вниз по ступеням.

Когда она произнесла эти слова и указала рукой в ту сторону, куда хотела их повести, деревенский парень оглянулся и, грубо спросив, чего ради они заняли весь тротуар, пошел дальше.

Ступени, указанные девушкой, были те самые, которые на Саррийской стороне, на том же берегу, где церковь Спасителя, служат речной пристанью. Сюда-то и поспешил никем не замеченный человек, похожий на деревенского жителя, и, быстро окинув взглядом это место, стал спускаться.

Эта лестница является частью моста; она состоит из трех пролетов. В конце второго уходящая вниз каменная стена заканчивается с левой стороны орнаментальным пилястром, обращенным к Темзе. Здесь нижние ступени шире, так что человек, завернувший за угол этой стены, не может быть замечен находящимися на лестнице, если они стоят хотя бы на одну ступеньку выше, чем он. Дойдя до этого места, деревенский парень быстро осмотрелся вокруг, и, так как нигде не видно было более укромного уголка, а благодаря отливу места было вполне достаточно, он крадучись свернул в сторону и, прижавшись спиной к пилястру, ждал, совершенно уверенный, что они не спустятся ниже и, если даже ему не удастся подслушать разговор, он может с полной безопасностью снова пойти за ними следом.

Так медленно тянулось время в этом уединенном уголке и так не терпелось шпиону разузнать причины свидания, столь не похожего на то, какого он мог ждать, что он не раз

готов был счесть дело проигранным и говорил себе, что либо они остановились значительно выше, либо удалились для своей таинственной беседы совсем в другое место. Он уже собрался выйти из своего тайника и снова подняться наверх, как вдруг услышал шаги и сейчас же вслед за этим голоса чуть ли не над самым своим ухом.

Он выпрямился, прижимаясь к стене, и, затаив дыхание, стал внимательно слушать.

– Довольно! – сказал голос, несомненно принадлежавший джентльмену. – Я не допущу, чтобы эта молодая леди шла дальше. Немногие доверились бы вам настолько, чтобы прийти с вами сюда, но, как видите, я готов вам потакать.

– Потакать мне! – раздался голос девушки, которую он выслеживал. – Право же, вы очень деликатны, сэр. Потакать мне! Ну, неважно.

– Но с какой же целью, – сказал джентльмен более мягким тоном, – с какой целью вы привели нас в это странное место? Почему не позволили мне поговорить с вами там, наверху, где светло и встречаются прохожие, вместо того чтобы тащить нас в эту темную и мрачную дыру?

– Я уже вам сказала, – ответила Нэнси, – что боюсь разговаривать там с вами. Не знаю почему, – содрогаясь, добавила девушка, – но сегодня меня охватывает такой ужас, что я едва держусь на ногах.

– Ужас перед чем? – спросил джентльмен, казалось почувствовав к ней жалость.

– Я и сама не знаю, – ответила девушка. – А мне так хотелось бы знать. Весь день меня преследовали ужасные мысли о смерти, о каких-то саванах, запятнанных кровью, и такой страх, что я горела, как в огне. Вечером, чтобы скоротать время, я взялась за книгу, и те же видения появлялись между строк.

– Воображение, – успокаивая ее, сказал джентльмен.

– Нет, это не воображение, – хриплым голосом сказала девушка. – Я могу поклясться, что видела слово «гроб», написанное большими черными буквами на каждой странице книги, – да, а сегодня вечером по улице пронесли гроб как раз мимо меня.

– В этом нет ничего необычного, – сказал джентльмен. – Мимо меня их тоже часто проносили.

– *Настоящие гробы*, – возразила девушка. – А этот был не такой.



Что-то столь странное послышалось в ее тоне, что у притаившегося наблюдателя мурашки пробежали по коже и кровь застыла, когда он услышал произнесенные девушкой слова. Никогда еще не испытывал он большего облегчения, чем в тот момент, когда послышался нежный голос молодой леди, просившей ее успокоиться и бороться с такими страшными видениями, созданными воображением.

– Поговорите с ней ласково, – сказала молодая леди своему спутнику. – Бедняжка! Мне кажется, она в этом нуждается.

– Эти надменные благочестивые люди, ваши знакомые, задрали бы нос, увидев меня такой, какая я сейчас, и стали бы проповедовать о пекле и возмездии! – воскликнула девушка. – Ах, дорогая леди, почему те, что считают себя исповедующими заповеди божьи, не относятся к нам, жалким тварям, с такой же кротостью и добротой, с какой относитесь вы? Ведь вам, молодой, прекрасной, имеющей все то, что они утратили, можно было бы немножко возгордиться, а вы гораздо скромнее их.

– О! – отозвался джентльмен. – Турок, умыв лицо, обращает его к востоку, чтобы прочитать свои молитвы, а эти благочестивые люди, с чьих лиц от соприкосновения с миром навсегда сбежала улыбка, неизменно поворачиваются к самой мрачной стороне света. Если выбирать между мусульманином и фарисеем, я предпочту первого.

По-видимому, эти слова были обращены к молодой леди и, быть может, произнесены с целью дать Нэнси время успокоиться. Вскоре джентльмен снова заговорил с ней.

– Вас не было здесь в прошлое воскресенье вечером, – сказал он.

– Я не могла прийти, – ответила Нэнси, – меня удержали силой.

– Кто?

– Тот, о ком я уже говорила молодой леди.

– Надеюсь, вас не заподозрили в том, что вы вступили с кем-нибудь в переговоры по тому делу, которое привело нас сюда сегодня? – спросил старый джентльмен.

– Нет, – покачивая головой, ответила девушка. – Не очень-то легко уйти от него, если он не знает, зачем я иду. И в тот раз мне бы не удалось повидать леди, если бы перед уходом я не дала ему выпить настойку из опия.

– Он проснулся прежде, чем вы вернулись? – спросил джентльмен.

– Нет. Ни он и никто из них меня не подозревает.

– Хорошо, – сказал джентльмен. – Теперь выслушайте меня.

– Я слушаю, – отозвалась девушка, когда он на секунду умолк.

– Эта молодая леди, – начал джентльмен, – сообщила мне и кое-кому из друзей, которым можно спокойно довериться, то, что вы ей рассказали почти две недели назад. Признаюсь вам, сначала у меня были сомнения, можно ли всецело на вас положиться, но теперь я твердо верю, что можно.

– Можно! – с жаром подтвердила девушка.

– Повторяю, я этому твердо верю. В доказательство того, что я склонен вам доверять, скажу вам без всяких недомолвок, что мы предполагаем выпытать тайну, какова бы она ни была, припугнув этого Монкса. Но если... если, – продолжал джентльмен, – его не удастся задержать или если мы его задержим, но не удастся воздействовать на него так, как мы хотим, вы должны выдать еврея.

– Феджина! – вскрикнула девушка, отшатнувшись.

– Этого человека вы должны выдать, – сказал джентльмен.

– Я этого не сделаю! Я этого никогда не сделаю! – воскликнула девушка. – Хоть он и черт, а для меня был хуже черта, этого я никогда не сделаю.

– Не сделаете? – переспросил джентльмен, который, казалось, был вполне подготовлен к такому ответу.

– Никогда, – повторила девушка.

– Объясните мне – почему.

– По одной причине, – твердо ответила девушка, – по одной причине, которая известна этой леди, и леди будет на моей стороне, я это знаю, потому что я заручилась ее обещанием. Есть и другая причина: какой бы дурной ни была его жизнь, моя жизнь тоже была дурной; многие из нас шли вместе одной дорогой, и я не предаю тех, которые могли бы – любой из них – предать меня, но не предали, какими бы ни были они дурными людьми.

– В таком случае, – быстро сказал джентльмен, словно это и была та цель, какой он стремился достигнуть, – отдайте в мои руки Монкса и предоставьте мне иметь дело с ним.

– А что, если он выдаст остальных?

– Обещаю вам, что, если у него будет вырвано правдивое признание, тем дело и кончится. В короткой жизни Оливера несомненно есть какие-то обстоятельства, которые тягостно предавать огласке, и если мы добьемся правды, эти люди не понесут никакого наказания.

– А если не добьетесь? – спросила девушка.

– Тогда, – продолжал джентльмен, – этот Феджин не будет предан суду без вашего согласия. Думаю, в таком случае мне удастся привести вам доводы, которые заставят вас уступить.

– Леди тоже обещает мне это? – спросила девушка.

– Да, – ответила Роз. – Даю вам торжественное обещание!

– Монкс никогда не узнает, откуда вам все известно? – спросила девушка после короткого молчания.

– Никогда, – ответил джентльмен. – Эти сведения будут преподнесены ему так, что у

него не мелькнет ни единой догадки.

– Я была лгуньей и с детства жила среди лгунов, – сказала девушка после новой паузы, – но вам я поверю на слово.

Получив от обоих подтверждение, что она может твердо им верить, девушка тихим голосом, – подслушивавшему не раз было трудно уловить даже смысл ее слов, – начала рассказ, упомянув название и местоположение трактира, где в тот вечер начали ее выслеживать. Судя по тому, что иногда она умолкала, могло показаться, будто джентльмен торопливо записывает сообщаемые ею сведения. Старательно указав все приметы этого трактира, наиболее удобное место, откуда можно было бы за ним следить, не привлекая к себе внимания, и те дни и часы, когда Монкс имел обыкновение его посещать, она как будто на несколько секунд призадумалась, стараясь ярче восстановить в памяти его лицо и манеры.

– Он высокого роста, – сказала девушка, – и крепкого сложения, но не толстый; он как будто не ходит, а крадется и при ходьбе поминутно оглядывается через плечо сначала в одну сторону, потом в другую. Не забудьте об этом, потому что глаза у него так глубоко посажены, как я ни у кого еще не видела, и, должно быть, по одному этому вы могли бы его узнать. Лицо смуглое, волосы и глаза темные; и хотя ему не больше двадцати шести – двадцати восьми лет, вид у него изнуренный и угрюмый. Губы у него бледные и искусанные, потому что с ним случаются ужасные припадки, а иногда он даже до крови кусает себе руки. Почему вы вздрогнули? – спросила девушка, внезапно запнувшись.

Джентльмен поспешно ответил, что ей показалось, и попросил ее продолжать.

– Часть этих сведений, – сказала девушка, – я выпытала у жильцов этого дома, о котором вам говорила, потому что сама видела его только два раза, и оба раза он был закутан в широкий плащ. Вот, кажется, и все приметы, какие я могу вам сообщить, чтобы вы его узнали. А впрочем, подождите! – добавила она. – У него на шее, под галстуком, вы можете увидеть, когда он поворачивает голову...

– Большое красное пятно, словно от ожога? – вскричал джентльмен.

– Как?.. – сказала девушка. – Вы его знаете!

Молодая леди вскрикнула от удивления, и несколько секунд они стояли так тихо, что шпион ясно слышал их дыхание.

– Кажется, да, – сказал джентльмен, нарушая молчание. – Я бы узнал его по вашему описанию. Посмотрим. Много есть людей, поразительно похожих друг на друга. Быть может, это и не он.

Сказав это с притворным равнодушием, он приблизился шага на два к притаившемуся шпиону, о чем последний мог догадаться по тому, как отчетливо было слышно его бормотанье: «Это несомненно он!»

– Вы, любезная, – сказал он, вернувшись, если судить по голосу, туда, где стоял раньше, – оказали нам весьма важную услугу, и я хочу вас отблагодарить. Чем могу я быть вам полезен?

– Ничем, – ответила Нэнси.

– Не упорствуйте, – настаивал джентльмен, в голосе и тоне которого было столько доброты, что она могла бы тронуть сердце гораздо более жестокое и черствое. – Подумайте. Скажите.

– Ничем, сэр, – заплакав, повторила девушка. – Вы ничем не можете мне помочь. Нет у меня больше никакой надежды.

– Вы сами себя ее лишаете, – сказал джентльмен. – До сих пор вы лишь понапрасну расточали свои юные силы, те бесценные сокровища, которыми творец одаряет нас лишь однажды и никогда не наделяет вновь. Но что касается будущего, то вы можете надеяться. Я не говорю, что в нашей власти дать покой вашему сердцу и душе, ибо покой приходит, если вы его ищете; но обеспечить вам тихое пристанище в Англии или, если вы боитесь здесь остаться, где-нибудь в чужих краях, – это не только в нашей власти, но является самым горячим нашим желанием. Еще до рассвета, прежде чем эта река проснется при первых проблесках дня, вы будете совершенно недостижимы для ваших прежних сообщников и не

оставите после себя никаких следов, словно вы в одно мгновение исчезли с лица земли. Пойдемте! Я не хочу, чтобы вы вернулись туда, обменялись хоть одним словом с кем-нибудь из прежних товарищей, бросили взгляд на старые места, вдохнули тот воздух, который несет вам гибель и смерть. Оставьте все это, пока есть время и возможность!

– Теперь ее удастся уговорить! – воскликнула молодая леди. – Я уверена, что она колеблется.

– Боюсь, что нет, моя дорогая, – сказал джентльмен.

– Да, сэр, я не колеблюсь, – ответила девушка после недолгой борьбы с собой. – Я прикована цепями к прежней жизни. Теперь она мне отвратительна и ненавистна, но я не могу ее бросить. Должно быть, я зашла слишком далеко, чтобы вернуться, а впрочем, не знаю: если бы вы заговорили со мной об этом прежде, я бы расхохоталась в ответ. Но меня опять охватывает страх, – добавила она, быстро озираясь. – Мне надо идти домой.

– Домой! – повторила молодая леди с сильным ударением на этом слове.

– Домой, леди, – откликнулась девушка. – В тот дом, который я сама для себя построила трудами всей моей жизни. Простимся. Меня могут выследить или увидеть. Идите! Идите! Если я оказала вам какую-то услугу, я прошу вас только об одном – оставьте меня, не мешайте мне идти своей дорогой.

– Все это бесполезно, – со вздохом сказал джентльмен. – Быть может, оставаясь здесь, мы подвергаем ее опасности. Пожалуй, мы уже задержали ее дольше, чем она рассчитывала.

– Да, да, – подхватила девушка. – Вы меня задержали.

– Чем же кончится жизнь этого бедного создания! – воскликнула молодая леди.

– Чем кончится? – повторила девушка. – Посмотрите прямо перед собой, леди. Посмотрите на эту темную воду. Сколько раз читали вы о том, что такие, как я, бросались в реку, не оставив ни одного живого существа, которому было бы до них дело и которое оплакивало бы их! Может быть, пройдут годы, может быть, только месяцы, но в конце концов мне этого не миновать.

– Прошу вас, не говорите так, – всхлипывая, отозвалась молодая леди.

– Вы никогда не услышите об этом, дорогая леди, и сохрани бог, чтобы вы слышали о таких ужасах! – ответила девушка. – Прощайте, прощайте!

Джентльмен отвернулся.

– Вот кошелек! – воскликнула молодая леди. – Возьмите его ради меня, чтобы у вас были какие-то средства в час нужды и горя.

– Нет! – сказала девушка. – Я это сделала не для денег. Я хочу помнить об этом. Но... дайте мне какую-нибудь вещь, которую вы носили, – я бы хотела иметь что-нибудь... Нет, нет, не кольцо... ваши перчатки или носовой платок... что-нибудь такое, что я могла бы хранить в память о вас, милая леди... Ну вот! Будьте счастливы! Да благословит вас бог! Прощайте, прощайте!

Сильное волнение девушки, боявшейся, что если ее увидят, то жестоко изобьют, казалось побудило джентльмена отпустить ее, как она просила. Послышались удаляющиеся шаги, и голоса смолкли.

Вскоре на мосту появились две фигуры – молодая леди и ее спутник. Они остановились на верхней площадке лестницы.

– Подождите! – воскликнула молодая леди, прислушиваясь. – Она как будто окликнула нас! Мне послышался ее голос.

– Нет, дорогая моя, – ответил мистер Браунлоу, печально оглянувшись. – Она стоит все там же и не тронется с места, пока мы не уйдем.

Роз Мэйли медлила, но старый джентльмен продел ее руку под свою и ласково, но настойчиво увел. Как только они скрылись из виду, девушка упала на каменную ступень, растянувшись чуть ли не во весь рост, и в горьких слезах излила свою душевную боль.

Спустя некоторое время она встала и, пошатываясь, неуверенно ступая, поднялась на улицу. Пораженный слушатель стоял еще несколько минут неподвижно на своем посту, потом, несколько раз осторожно осмотревшись вокруг и удостоверившись, что снова остался

один, медленно выбрался из своего тайника и поднялся по лестнице, крадучись в тени стены, так же как спустился сюда.

Достигнув верхней ступени и несколько раз трусливо оглянувшись, дабы убедиться, что за ним не следят, Ноэ Клейпол пустился во всю прыть и устремился к дому еврея с той быстротой, на какую только способны были его ноги.

Глава XLVII

Роковые последствия

Оставалось почти два часа до рассвета – была та пора, которую осенью можно по справедливости назвать глухой ночью, когда улицы безмолвны и пустынные, когда даже звуки как будто погружаются в сон, а распутство и разгул, пошатываясь, возвращаются домой на отдых. В этот тихий и безмолвный час в старом своем логове Феджин бодрствовал с таким перекошенным и бледным лицом, с такими красными и налитыми кровью глазами, что походил не столько на человека, сколько на какойто отвратительный призрак, вставший из сырой могилы и терзаемый злым духом.

Он сидел, сгорбившись, у холодного очага, закутанный в старое, рваное одеяло, лицом к оплывающей свече, которая стояла на столе около него. Правую руку он держал у рта и, поглощенный своими мыслями, грыз длинные черные ногти, а меж беззубых десен виднелось несколько клыков, какие бывают у собаки или крысы.

На полу, растянувшись на тюфяке, крепко спал Ноэ. Старик изредка останавливал на нем взгляд и снова переводил его на свечу, обгоревший фитиль которой согнулся почти вдвое, а горячее сало капало на стол, явно свидетельствуя, что мысли старика витают где-то далеко.

Так оно в действительности и было. Досада, вызванная крушением его великолепного плана, ненависть к девушке, осмелившейся связаться с чужими людьми, полное неверие в искренность ее отказа выдать его, горькое разочарование, ибо не было возможности отомстить Сайксу, боязнь разоблачения, гибели, смерти и дикое, неудержимое бешенство – все это пронеслось вихрем в мозгу Феджина, а дьявольские мысли и самые черные замыслы грызли ему сердце.

Он сидел, не меняя позы и как будто не замечая, как долго он сидит, пока до чуткого его слуха не донесся шум шагов на улице.

– Наконец-то! – пробормотал он, вытирая сухие, воспаленные губы. – Наконец-то!

Когда он произнес эти слова, тихо звякнул колокольчик. Феджин бесшумно поднялся по лестнице к двери и вскоре вернулся с каким-то человеком, который был закутан до подбородка и держал под мышкой узел. Усевшись и сбросив пальто, этот человек оказался дюжим Сайксом.

– Вот! – сказал он, кладя узел на стол. – Займитесь-ка этим да постарайтесь побольше за него выручить. Немало было хлопот, чтобы его добыть: я думал прийти сюда на три часа раньше.

Феджин забрал узел и, заперев его в шкаф, снова уселся, не говоря ни слова. Все это время он ни на секунду не сводил глаз с грабителя, и теперь, когда они сидели друг против друга, лицом к лицу, он пристально смотрел на него, а губы его так сильно дрожали и лицо так изменилось от овладевшего им волнения, что грабитель невольно отодвинул свой стул и взглянул на него с неподдельным испугом.

– Что случилось? – крикнул Сайкс. – Чего вы так уставились на меня?

Феджин поднял правую руку и погрозил дрожащим указательным пальцем, но возбуждение его было так велико, что на секунду он лишился дара речи.

– Проклятье! – крикнул Сайкс, с тревожным видом нащупывая что-то у себя за пазухой. – Он с ума спятил. Надо мне поостеречься.

– Нет! – возразил Феджин, обретя голос. – Это не то... не вы тот человек, Билл. Я никакой... никакой вины за вами не знаю.

– Не знаете! Вот как! – сказал Сайкс, злобно на него глядя и у него на глазах перекладывая пистолет в другой карман, что поближе. – Это хорошо – для одного из нас. Кто этот один – неважно.

– Билл, я вам должен сказать нечто такое, – начал Феджин, придвигая свой стул, – отчего вы почувствуете себя хуже, чем я.

– Ну? – недоверчиво отозвался грабитель. – Говорите! Да поживее, не то Нэнси подумает, что я пропал.

– Пропал! – воскликнул Феджин. – Для нее это вопрос решенный.

Сайкс с величайшим недоумением посмотрел на еврея и, не найдя удовлетворительного разрешения загадки, схватил его огромной ручищей за шиворот и основательно встряхнул.

– Да говорите же! – крикнул он. – А если не заговорите, то скоро вам дышать будет нечем. Раскройте рот и скажите просто и ясно. Выкладывайте, проклятый старый пес, выкладывайте!

– Допустим, что парень, который лежит вон там... – начал Феджин.

Сайкс повернулся в ту сторону, где спал Ноэ, словно не заметил его раньше.

– Ну? – сказал он, принимая прежнюю позу.

– Допустим, этот парень, – продолжал Феджин, – вздумал донести... предать всех нас, сначала отыскав для этой цели подходящих людей, а потом назначив им свидание на улице, чтобы описать нашу внешность, указать все приметы, по которым они могут нас найти, и место, где нас легче всего захватить. Допустим, он задумал все это устроить и вдобавок выдать одно дело, в котором мы все более или менее замешаны, – задумал это по своей прихоти; не потому, что священник ему нашептал или его довели до этого, посадив на хлеб и на воду, – по своей прихоти, для собственного своего удовольствия, уходил тайком, ночью отыскивать тех, кто больше всего вооружен против нас, и доносил им. Вы слышите меня? – крикнул еврей, в глазах которого загорелась ярость. – Допустим, он все это сделал. Что тогда?

– Что тогда? – повторил Сайкс, изрыгнув ужасное проклятье. – Останься он в живых до моего прихода, я бы железным каблуком моего сапога раздробил ему череп на столько кусков, сколько у него волос на голове.

– Что, если бы это сделал я? – чуть ли не завопил Феджин. – Я, который столько знает и столько людей может вздернуть, не считая самого себя!

– Не знаю, – отозвался Сайкс, стиснув зубы и побледнев при одном предположении. – Я бы выкинул какую-нибудь штуку в тюрьме, чтобы на меня надели кандалы, и если бы меня судили вместе с вами, я бы на суде обрушил на вас эти кандалы и на глазах у всех вышиб вам мозги. У меня хватило бы силы, – пробормотал грабитель, поднимая свою мускулистую руку, – разозжить вам голову так, словно по ней проехала нагруженная повозка.

– Вы бы это сделали?

– Сделал ли бы я? – переспросил взломщик. – Испытайте меня.

– А если бы это был Чарли, или Плут, или Бет, или...

– Мне все равно кто! – нетерпеливо ответил Сайкс. – Кто бы это ни был, я бы расправился с ним точно так же.

Феджин в упор посмотрел на грабителя и, знаком приказав ему молчать, наклонился над тюфяком на полу и начал трясти спящего, стараясь разбудить его. Сайкс нагнулся вперед и, положив руки на колени, недоумевал, к чему клонились все эти вопросы и приготовления.

– Болтер, Болтер! Бедняга! – сказал Феджин, поднимая глаза, горевшие дьявольским предвкушением развязки, и говоря медленно и с многозначительными ударами. – Он устал... устал, выслеживая ее так долго... выслеживая ее, Билл!

– Что это значит? – спросил Сайкс, откинувшись назад.

Феджин ничего не ответил и, снова наклонившись над спящим, приподнял его и усадил. Когда присвоенное им себе имя было повторено несколько раз, Ноэ протер глаза и, протяжно зевнув, стал сонно озираться.

– Расскажите мне опять об этом, еще раз, чтобы он послушал, – сказал еврей, указывая

на Сайкса.

– О чем вам рассказать? – спросил сонный Ноэ, с неудовольствием встряхиваясь.

– Расскажите о... *Нэнси*, – сказал Феджин, хватая Сайкса за кисть руки, чтобы тот не бросился вон из дома, не дослушав до конца. – Вы шли за ней следом?

– Да.

– До Лондонского моста?

– Да.

– Там она встретила двоих?

– Вот, вот...

– Джентльмена и леди, к которой она уже ходила по собственному желанию, а те предложили ей выдать всех ее товарищей и в первую очередь Монкса, что она и сделала; и указать дом, где мы собираемся и куда ходим, что она и сделала; и место, откуда удобнее всего следить за ним, что она и сделала; и час, когда там собираются, что она и сделала. Все это она сделала. Она рассказала все до последнего слова, хотя ей не угрожали, рассказала по своей воле. Она это сделала, да или нет? – крикнул Феджин, обезумев от ярости.

– Верно, – ответил Ноэ, почесывая голову. – Так оно и было!

– Что они сказали о прошлом воскресенье?

– О прошлом воскресенье? – призадумавшись, отозвался Ноэ. – Да ведь я вам уже говорил.

– Еще раз. Скажите еще раз! – крикнул Феджин, еще крепче вцепляясь в Сайкса одной рукой и потрясая другой, в то время как на губах у него выступила пена.

– Они спросили ее... – сказал Ноэ, который, по мере того как рассеивалась его сонливость, как будто начинал догадываться, кто такой Сайкс, – они спросили ее, почему она не пришла, как обещала, в прошлое воскресенье. Она сказала, что не могла.

– Почему, почему? Скажите это ему.

– Потому что ее насильно удержал дома Билл – человек, о котором она говорила им раньше, – ответил Ноэ.

– Что еще про него? – крикнул Феджин. – Что еще про человека, о котором она говорила им раньше? Скажите это ему, скажите ему!

– Да то, что ей не очень-то легко уйти из дому, если он не знает, куда она идет, – сказал Ноэ, – и потому-то в первый раз, когда она пошла к леди, она дала ему – вот рассмешила-то она меня, когда это сказала! – она дала ему выпить настойки из опия.

– Тысяча чертей! – заревел Сайкс, неистово вырываясь из рук еврея. – Пустите меня!

Отшвырнув старика, он бросился вон из комнаты и, вне себя от бешенства, сбежал по лестнице.

– Билл, Билл! – закричал Феджин, поспешив за ним. – Одно слово! Только одно слово!

Это слово не было бы сказано, если бы грабитель мог отпереть дверь, на что зря тратил силы и ругательства, когда еврей, запыхавшись, догнал его.

– Выпустите меня! – крикнул Сайкс. – Не разговаривайте со мной, это опасно. Говорю вам, выпустите меня!

– Выслушайте одно только слово, – возразил Феджин, положив руку на замок. – Вы не будете...

– Ну? – отозвался тот.

– Вы не будете... слишком неистовы, Билл?

Загорался день, и было достаточно светло, чтобы каждый из них мог видеть лицо другого. Они обменялись быстрым взглядом; у обоих глаза зажглись огнем, который не вызывал никаких сомнений.

– Я хочу сказать, – продолжал Феджин, не скрывая, что считает теперь всякое притворство бесполезным, – хочу сказать, что быть чересчур неистовым опасно. Будьте хитрым, Билл, и не слишком неистовым...

Сайкс ничего не ответил и, распахнув дверь, которую отпер Феджин, выбежал на пустынную улицу.

Ни разу не остановившись, ни на секунду не задумываясь, не поворачивая головы ни направо, ни налево, не поднимая глаз к небу и не опуская их к земле, но с беспощадной решимостью глядя прямо перед собой, стиснув зубы так крепко, что, казалось, напряженные челюсти прорвут кожу, грабитель неудержимо мчался вперед и не пробормотал ни слова, не ослабил ни одного мускула, пока не очутился у своей двери. Он бесшумно отпер дверь ключом, легко поднялся по лестнице и, войдя в свою комнату, дважды повернул ключ в замке и, придвинув к двери тяжелый стол, отдернул полог кровати.

Девушка лежала на ней полуодетая. Его приход разбудил ее, она приподнялась торопливо, с испуганным видом.

– Вставай! – сказал мужчина.

– Ах, это ты, Билл! – сказала девушка, по-видимому обрадованная его возвращением.

– Это я, – был ответ. – Вставай.

Горела свеча, но мужчина быстро выхватил ее из подсвечника и швырнул под каминную решетку. Заметив слабый свет загоревшегося дня, девушка встала, чтобы отдернуть занавеску.

– Не надо, – сказал Сайкс, преграждая ей дорогу рукой. – Света хватит для того, что я собираюсь сделать.

– Билл, – сказала девушка тихим, встревоженным голосом, – почему ты на меня так смотришь?

Несколько секунд грабитель сидел с раздувавшимися ноздрями и вздымающейся грудью, не спуская с нее глаз; потом, схватив ее за голову и за шею, потащил на середину комнаты и, оглянувшись на дверь, зажал ей рот тяжелой рукой.

– Билл, Билл, – хрипела девушка, отбиваясь с силой, рожденной смертельным страхом. – Я... я не буду ни вопить, ни кричать... ни разу не вскрикну... Выслушай меня... поговори со мной... скажи мне, что я сделала!

– Сама знаешь, чертовка! – ответил грабитель, переводя дыхание. – Этой ночью за тобой следили. Слышали каждое твое слово.

– Так пощади же, ради неба, мою жизнь, как я пощадила твою! – воскликнула девушка, прижимаясь к нему. – Билл, милый Билл, у тебя не хватит духа убить меня. О, подумай обо всем, от чего я отказалась ради тебя хотя бы только этой ночью. Подумай об этом и спаси себя от преступления; я не разожму рук, тебе не удастся меня отшвырнуть. Билл, Билл, ради господ бога, ради самого себя, ради меня, подожди, прежде чем прольешь мою кровь! Я была тебе верна, клянусь моей грешной душой, я была верна!

Мужчина отчаянно боролся, чтобы освободить руки, но вокруг них обвилась рука девушки, и, как он ни старался, он не мог оторвать ее от себя.

– Билл! – воскликнула девушка, пытаясь положить голову ему на грудь. – Джентльмен и эта милая леди предлагали мне сегодня пристанище в какой-нибудь чужой стране, где бы я могла доживать свои дни в уединении и покое. Позволь мне повидать их еще раз и на коленях молить, чтобы они с такой же добротой и милосердием отнеслись и к тебе, и тогда мы оба покинем это ужасное место и далеко друг от друга начнем лучшую жизнь, забудем, как мы жили раньше, вспоминая об этом только в молитвах, и больше не встретимся. Никогда не поздно раскаяться. Так они мне сказали... я это чувствую теперь... но нам нужно время... хоть немножко времени.

Взломщик освободил одну руку и схватил пистолет. Несмотря на взрыв ярости, в голове его пронеслась мысль, что он будет немедленно пойман, если выстрелит. И, собрав силы, он дважды ударил им по обращенному к нему лицу, почти касавшемуся его лица.

Она пошатнулась и упала, полуослепленная кровью, стекавшей из глубокой раны на лбу; поднявшись с трудом на колени, она вынула из-за пазухи белый носовой платок – платок Роз Мэйли – и, подняв его в сложенных руках к небу, так высоко, как только позволяли ее слабые силы, прошептала молитву, взывая к создателю о милосердии.

Страшно было смотреть на нее. Убийца, отшатнувшись к стене и заслоня глаза рукой, схватил тяжелую дубинку и одним ударом сбил ее с ног.

Глава XLVIII Бегство Саймса

Из всех злодеяний, совершенных под покровом тьмы в пределах широко раскинувшегося Лондона с того часа, как нависла над ним ночь, это злодеяние было самое страшное. Из всех ужасных преступлений, отравивших зловонием утренний воздух, это преступление было самое гнусное и самое жестокое.

Солнце – яркое солнце, приносящее человеку не только свет, но и новую жизнь, надежду и бодрость, – взошло, сияющее и лучезарное, над многолюдным городом. Сквозь дорогое цветное стекло и заклеенное бумагой окно, сквозь соборный купол и расщелину в ветхой стене оно равно проливало свои лучи. Оно озарило комнату, где лежала убитая женщина. Оно озарило ее. Сайкс попытался преградить ему доступ, но лучи все-таки струились. Если зрелище было страшным в тусклых, предутренних сумерках, то каково же было оно теперь при этом ослепительном свете!

Сайкс не двигался: он боялся пошевелинуться. Послышался стон, рука дернулась, и в ужасе, слившемся с яростью, он нанес еще удар и еще. Он набросил на нее одеяло; но было тяжелее представлять себе глаза и думать, что они обращены к нему, чем видеть, как они пристально смотрят вверх, словно следя за отражением лужи крови, которое в лучах солнца трепетало и плясало на потолке. Он снова сорвал одеяло. Здесь лежало тело – только плоть и кровь, не больше, – но какое тело и как много крови!

Он зажег спичку, растопил очаг и сунул в огонь дубинку. На конце ее прилипли волосы, они вспыхнули, съежились в легкий пепел и, подхваченные тягой, кружась, полетели вверх к дымоходу. Даже это его испугало при всей его смелости, но он продолжал держать оружие, пока оно не переломилось, а потом бросил его на угли, чтобы оно сгорело и обратилось в золу. Он умылся и вычистил свою одежду; несколько пятен не удалось вывести, он вырезал куски и сжег их. Сколько этих пятен было в комнате! Даже у собаки лапы были в крови.

Все это время он ни разу не поворачивался спиной к трупу – да, ни на секунду. Покончив с приготовлениями, он, пятясь, отступил к двери, таща за собой собаку, чтобы она снова не запачкала лап и не вынесла на улицу новых улик преступления. Он потихоньку открыл дверь, запер ее за собой, взял ключ и покинул дом.

Он перешел через дорогу и поднял глаза на окно, желая убедиться, что с улицы ничего не видно. Все еще была задернута занавеска, которую она хотела раздвинуть, чтобы впустить свет, так и не увиденный ею. Она лежала почти у окна. Он это знал. Боже, как льются солнечные лучи на это самое место!

Взгляд был мимолетный. Стало легче, когда он вырвался из этой комнаты. Он свистнул собаку и быстро зашагал прочь.

Он прошел через Излингтон, поднялся на холм у Хайгета, где водружен камень в честь Виттингтона,⁴² и стал спускаться к Хайгет-Хилл. Он шел бесцельно, не зная, куда идти; едва начав спускаться с холма, он опять свернул вправо, и пойдя по тропинке через поля, обогнул Сиин-Вуд и таким образом вышел на Хэмстед-Хит. Миновав ложбину у Вейл-Хит, он взобрался на насыпь с противоположной стороны, пересек дорогу, соединяющую деревни Хэмстед и Хайгет, и, дойдя до конца вересковой пустоши, вышел в поля у Норт-Энда, где

⁴² ...водружен камень в честь Виттингтона... – камень, водруженный на одной из улиц района Хайгет в Лондоне, в том месте, где легендарный Дик Виттингтон якобы услышал звон колоколов, призывавший его вернуться назад. Диккенс не раз упоминает в своих романах о герое этой популярной легенды, рассказывающей о юном ученике торговца мануфактурой, задумавшем бежать из Лондона, но по дороге до него донесся звон колоколов старинной церкви Сент Мэри Ле Бау, в котором якобы слышались голоса: «Вернись, Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона». Юный Дик вернулся, и, согласно легенде, пророчество осуществилось – Роберт Виттингтон (историческое лицо XV века) трижды занимал пост лорд-мэра Лондона.

улегся под живой изгородью и заснул.

Вскоре он опять поднялся и пошел – не от Лондона, а обратно, в город, по проезжей дороге, потом назад, пересек с другой стороны пустошь, по которой уже проходил, затем стал блуждать по полям, ложился отдыхать у края канавы и снова вскакивал, чтобы отыскать какое-нибудь другое местечко, возвращался и снова бродил наугад.

Куда бы зайти поблизости, где было не слишкомлюдно, чтобы поесть и выпить? Хэндон. Это было прекрасное место, неподалеку, куда мало кто заглядывал по пути. Сюда-то он и направился, то пускаясь бегом, то, по странной прихоти, подвигаясь со скоростью улитки, а иногда даже приостанавливался и лениво сбивал палкой ветки кустарника. Но когда он пришел туда, все, кого он встречал – даже дети у дверей, – казалось, посматривали на него подозрительно. Снова повернул он обратно, не осмелившись купить чего-нибудь поесть или выпить, хотя вот уже много часов у него не было ни куска во рту; и опять он побрел по вересковой пустоши, не зная, куда идти.

Он проходил милю за милей и снова приходил на старое место. Утро и полдень миновали, и день был на исходе, а он по-прежнему тащился то в одну сторону, то в другую, то в гору, то под гору, по-прежнему возвращался назад и мешкал возле одного и того же места. Наконец, он ушел и зашагал по направлению к Хэтфилду.

Было девять часов вечера, когда мужчина, окончательно выбившись из сил, и собака, волочившая ноги и хромавшая от непривычной ходьбы, спустились с холма возле церкви в тихой деревне и, пройдя по маленькой улочке, проскользнули в небольшой трактир, тусклый огонек которого привел их сюда. В комнате был затоплен камин, и перед ним выпивали поселяне. Они освободили место для незнакомца, но он уселся в самом дальнем углу и ел и пил в одиночестве, или, вернее, со своей собакой, которой время от времени бросал кусок.

Беседа собравшихся здесь людей шла о соседних полях, о фермерах, а когда эти темы были исчерпаны – о возрасте какого-то старика, которого похоронили в прошлое воскресенье; юноши считали его очень дряхлым, а старики утверждали, что он был совсем еще молод – не старше, как заявил один седовласый дед, чем он сам, и его еще хватило бы лет на десять – пятнадцать по крайней мере, если бы он берег себя... если бы он берег себя!

Эта беседа ничем не могла привлечь внимания или вызвать тревогу. Грабитель, расплатившись по счету, сидел молчаливый и неприметный в своем углу и уже задремал, как вдруг его разбудило шумное появление нового лица.

Это был коробейник, балагур и шарлатан, странствовавший пешком по деревням, торгуя точильными камнями, ремнями для правки бритв, бритвами, круглым мылом, смазкой для сбруи, лекарствами для собак и лошадей, дешевыми духами, косметическими мазями и тому подобными вещами, которые он таскал в ящике, привязанном за спиной. Его появление послужило для поселян сигналом к обмену всевозможными незамысловатыми шуточками, которые не смолкали, пока он не поужинал и не раскрыл своего ящика с сокровищами, после чего остроумно ухитрился соединить приятное с полезным.

– А что это за товары? Каковы на вкус, Гарри? – спросил ухмыляющийся поселянин, указывая на плитки в углу ящика.

– Вот это, – сказал парень, извлекая одну из них, – Это незаменимое и неоценимое средство для удаления всяких пятен, ржавчины, грязи, крапинок и брызг с шелка, атласа, полотна, батиста, сукна и крепа, с шерсти, с ковров, с шерсти мериносовой, с муслина, бомбазина и всяких шерстяных тканей. Пятна от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски и дегтя – любое пятно сойдет, стоит разок потереть этим незаменимым и неоценимым средством. Если леди запятнала свое имя, ей достаточно проглотить одну штуку – и она сразу исцелится, потому что это яд. Если джентльмен пожелает это проверить, ему достаточно принять одну маленькую плиточку – и никаких сомнений не останется, потому что она действует не хуже пули и на вкус гораздо противнее, а стало быть, тем больше ему чести, что он ее принял... Пенни за штуку! Такая польза, и только пенни за штуку!

Сразу нашлись два покупателя, и многие слушатели начинали явно склоняться к тому же. Заметив это, торговец стал еще болтливее.

– Выпустить не успеют, как все нарасхват разбирают! – продолжал парень. – Четырнадцать водяных мельниц, шесть паровых машин и гальваническая батарея без отдыха выделывают их да все не поспевают, хотя люди трудятся так, что помирают, а вдовам сейчас же дают пенсию и двадцать фунтов в год на каждого ребенка, а за близнецов – пятьдесят... Пенни за штуку! Два полупенни тоже годятся, и четыре фартинга будут приняты с радостью. Пенни за штуку! Пятна от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски, дегтя, грязи, крови!.. Вот у этого джентльмена пятно на шляпе, которое я выведу, не успеет он заказать мне пинту пива.

– Эй! – восторженно крикнул Сайкс. – Отдайте!

– Я его выведу, сэр, – возразил торговец, подмигивая компании, – прежде чем вы подойдете с того конца комнаты. Джентльмены, здесь присутствующие, обратите внимание на темное пятно на шляпе этого джентльмена величиной не больше шиллинга, но толщиной с полукрону. Будь пятно от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски, дегтя, грязи или крови...

Торговец не кончил фразы, потому что Сайкс с отвратительным проклятьем опрокинул стол и, вырвав у него шляпу, выбежал из дому.

Под влиянием все той же странной прихоти и колебаний, которые весь день владели им вопреки его воле, убийца, убедившись, что его не преследуют и, по всей вероятности, приняли за угрюмого и пьяного парня, повернул обратно в город и, сторонясь от фонарей кареты, стоявшей перед маленькой почтовой конторой, хотел пройти мимо, но узнал почтовую карету из Лондона. Он почти угадывал, что за этим последует, но перешел дорогу и стал прислушиваться.

У двери стоял кондуктор в ожидании почтовой сумки. В эту минуту к нему подошел человек в форме лесничего, и тот вручил ему корзинку, которую поднял с мостовой.

– Это для вашей семьи, – сказал кондуктор. – Эй, вы, там, пошевеливайтесь! Будь проклята эта сумка, и вчера она была не готова. Так, знаете ли, не годится!

– Что нового в городе, Бен? – спросил лесничий, отступая к ставням, чтобы удобнее было любоваться лошадьми.

– Ничего как будто не слышал, – ответил тот, надевая перчатки. – Цена на хлеб немного поднялась. Слышал, что толковали о каком-то убийстве в Спителфилдсе, но не очень-то я этому верю.

– Нет, это правда, – сказал джентльмен, сидевший в карете и выглядывавший из окна. – И вдобавок – Зверское убийство.

– Вот как, сэр! – отозвался кондуктор, притронувшись к шляпе. – Кого убили, сэр: мужчину или женщину?

– Женщину, – ответил джентльмен. – Полагают...

– Эй, Бен! – нетерпеливо крикнул кучер.

– Будь проклята эта сумка! – воскликнул кондуктор. – Заснули вы там, что ли?

– Иду! – крикнул, выбегая, заведующий конторой.

– Иду! – проворчал кондуктор. – Идет так же, как та молодая и богатая женщина, которая собирается в меня влюбиться, да не знаю когда. Ну, давайте! Готово!

Весело затрубил рог, и карета уехала. Сайкс продолжал стоять на улице; казалось, его не взволновала только что услышанная весть, не тревожило ни одно сильное чувство, кроме колебаний, куда идти. Наконец, он снова повернул назад и пошел по дороге, ведущей из Хэтфилда в Сент-Элбанс.

Он шел упрямо вперед. Но, оставив позади город и очутившись на безлюдной и темной дороге, он почувствовал, как подкрадываются к нему страх и ужас, проникая до сокровенных его глубин. Все, что находилось впереди – реальный предмет или тень, что-то неподвижное или движущееся, – превращалось в чудовищные образы, но эти страхи были ничто по сравнению с не покидавшим его чувством, будто за ним по пятам идет призрачная фигура, которую он видел этим утром. Он мог проследить ее тень во мраке, точно восстановить очертания и видеть, как непреклонно и торжественно шествует она. Он слышал шелест ее

одежды в листве, и каждое дыхание ветра приносило ее последний тихий стон. Если он останавливался, останавливалась и она. Если он бежал, она следовала за ним, – не бежала, что было бы для него облегчением, но двигалась, как труп, наделенный какой-то механической жизнью и гонимый ровным, унылым ветром, не усиливавшимся и не стихавшим.

Иногда он поворачивался с отчаянным решением отогнать привидение, даже если бы один его взгляд принес смерть; но волосы поднимались у него дыбом и кровь стыла в жилах, потому что оно поворачивалось вместе с ним и оставалось у него за спиной. Утром он удерживал его перед собой, но теперь оно было за спиной – всегда. Он прислонился к насыпи и чувствовал, что оно высится над ним, вырисовываясь на фоне холодного ночного неба. Он растянулся на дороге – лег на спину. Оно стояло над его головой, безмолвное, прямое и неподвижное – живой памятник с эпитафией, начертанной кровью.

Пусть никто не говорит об убийцах, ускользнувших от правосудия, и не высказывает догадку, что провидение, должно быть, спит. Одна нескончаемая минута этого мучительного страха стоила десятка насильственных смертей.

В поле, где он проходил, был сарай, который мог служить пристанищем на ночь. Перед дверью росли три высоких тополя, отчего внутри было очень темно, и ветер жалобно завывал в ветвях. Он не мог идти дальше, пока не рассветет, и здесь он улегся у самой стены, чтобы подвергнуться новой пытке.

Ибо теперь видение предстало перед ним такое же неотвязное, но еще более страшное, чем то, от которого он спасся. Эти широко раскрытые глаза, такие тусклые и такие остекленевшие, что ему легче было бы их видеть, чем о них думать, появились во мраке; свет был в них, но они не освещали ничего. Только два глаза, но они были всюду. Если он смыкал веки, перед ним возникала комната со всеми хорошо знакомыми предметами – конечно, об иных он бы не вспомнил, если бы восстанавливал обстановку по памяти, – каждая вещь на своем привычном месте. И труп был на своем месте и глаза, какими он их видел, когда бесшумно уходил.

Он вскочил и побежал в поле. Фигура была у него за спиной. Он вернулся в сарай и снова съежился там. Глаза появились раньше, чем он успел лечь.

И здесь он остался, охваченный таким ужасом, какой никому был неведом, дрожа всем телом и обливаясь холодным потом, как вдруг ночной ветер донес издали крики и гул голосов, испуганных и встревоженных. Человеческий голос, прозвучавший в этом уединенном месте, пусть даже возвещая о какой-то беде, принес ему облегчение. Сознание грозящей опасности заставило Сайкса обрести новые силы, и, вскочив на ноги, он выбежал из сарая.

Казалось, широко раскинувшееся небо было в огне. Поднимаясь вверх с дождем искр и перекатываясь один через другой, вырывались языки пламени, освещая окрестности на много миль и гоня облака дыма в ту сторону, где он стоял. Рев стал громче, так как новые голоса подхватили вопль, и он мог слышать крики: «Пожар!» – сливавшиеся с набатом, грохотом от падения каких-то тяжестей и треском огня, когда языки обвивались вокруг какого-нибудь нового препятствия и вздымались вверх, словно подкрепленные пищей. Пока он смотрел, шум усилился. Там были люди – мужчины и женщины, – свет, суматоха. Для него это была как будто новая жизнь. Он рванулся вперед – напрямик, опрометью, мчась сквозь вересковые заросли и кусты и перескакивая через изгороди и заборы так же неудержимо, как его собака, которая неслась впереди с громким и звонким лаем.

Он добежал. Метались полуодетые фигуры: одни старались вывести из конюшен испуганных лошадей, другие гнали скот со двора и из надворных построек, тащили пожитки из горящего дома под градом сыпавшихся искр и раскаленных докрасна балок. Сквозь отверстия, где час назад были двери и окна, виднелось бушующее море огня; стены качались и падали в пылающий колодезь; расплавленный свинец и железо, добела раскаленные, лились потоком на землю. Визжали женщины и дети, а мужчины подбадривали друг друга громкими криками. Лязг пожарных насосов, свист и шипение струи, падавшей на горящее

дерево, сливались в оглушительный рев.

Он тоже кричал до хрипоты и, убегая от воспоминаний и самого себя, нырнул в гущу толпы. Из стороны в сторону бросался он в эту ночь, то трудясь у насосов, то пробиваясь сквозь дым и пламя, но все время норовя попасть туда, где больше всего было шума и людей. На приставных лестницах, наверху и внизу, на крышах строений, на половицах, скрипевших и колебавшихся под его тяжестью, под градом падающих кирпичей и камней, – всюду, где бушевал огонь, был он, но его жизнь была заколдована, он остался невредимым: ни единой царапины, ни ушибов; он не ведал ни усталости, ни мыслей, пока снова не занялась заря и остались только дым да почерневшие развалины.

Когда прошло это сумасшедшее возбуждение, с удесятеренной силой вернулось страшное сознание совершенного преступления. Он подозрительно осмотрелся; люди разговаривали, разбившись на группы, и он опасался, что предметом их беседы служит он. Собака повиновалась выразительному движению его пальца, и они крадучись пошли прочь. Он проходил мимо пожарного насоса, где сидели несколько человек, и они окликнули его, предлагая с ними закусить. Он поел хлеба и мяса, а когда принялся за пиво, услышал, как пожарные, которые явились из Лондона, толкуют об убийстве.

– Говорят, он пошел в Бирмингем, – сказал один, – но его схватят, потому что сыщики уже на ногах, а завтра к вечеру об этом будут знать по всей стране.

Он поспешил уйти и шел, пока не подкосились ноги, – тогда он лег на тропинке и спал долго, но беспокойным сном. Снова он побрел, нерешительный и колеблющийся, страшно боясь провести еще ночь в одиночестве. Вдруг он принял отчаянное решение вернуться в Лондон.

«Там хоть есть с кем поговорить, – подумал он, – и надежное место, чтобы спрятаться. Раз пущен слух, что я в этих краях, им не придет в голову ловить меня там. Почему бы мне не притаиться на недельку, а потом выколотить деньги из Феджина и уехать во Францию? Черт побереи, рискну!»

Этому побуждению он последовал немедленно и, выбирая самые глухие дороги, пустился в обратный путь, решив укрыться где-нибудь неподалеку от столицы, в сумерках войти в нее окольными путями и отправиться в тот квартал, который он наметил целью своего путешествия.

А собака? Если разосланы сведения о его приметах, не забудут, что собака тоже исчезла и, по всей вероятности, ушла с ним. Это может привести к аресту, когда он будет проходить по улицам. Он решил утопить ее и пошел дальше, отыскивая какой-нибудь пруд; по дороге поднял тяжелый камень и завязал его в носовой платок.



Пока делались эти приготовления, собака не сводила глаз со своего хозяина; инстинкт ли предупредил собаку об их цели, или же косой взгляд, брошенный на нее грабителем, был суровее обычного, но она держалась позади него немного дальше, чем всегда, и поджала хвост, как только он замедлил шаги. Когда ее хозяин остановился у небольшого пруда и оглянулся, чтобы позвать ее, она не тронулась с места.

– Слышишь, зову! Сюда! – крикнул Сайкс.

Собака подошла в силу привычки, но, когда Сайкс нагнулся, чтобы обвязать ей шею платком, она глухо заворчала и отскочила.

– Назад! – крикнул грабитель.

Собака завиляла хвостом, но осталась на том же месте. Сайкс сделал мертвую петлю и снова позвал ее.

Собака подошла, отступила, постояла секунду, повернулась и стремглав бросилась прочь.

Сайкс свистнул еще и еще раз, сел и стал ждать, надеясь, что она вернется. Но собака так и не вернулась, и, наконец, он снова тронулся в путь.

Глава XLIX

Монкс и мистер Браунлоу, наконец, встречаются. Их беседа и

известие, ее прервавшее

Смеркалось, когда мистер Браунлоу вышел из наемной кареты у своего подъезда и тихо постучал. Когда дверь открылась, из кареты вылез дюжий мужчина и занял место по одну сторону подножки, тогда как другой, сидевший на козлах, в свою очередь спустился и стал по другую сторону. По знаку мистера Браунлоу они помогли выйти третьему и, поместившись по правую и левую его руку, быстро увлекли в дом. Этот человек был Монкс.

Таким же манером они молча поднялись по лестнице, и мистер Браунлоу, шедший впереди, повел их в заднюю комнату. У двери этой комнаты Монкс, поднимавшийся с явной неохотой, остановился.

– Пусть он выбирает, – сказал мистер Браунлоу. – Если он замешкается или хоть пальцем пошевелинет, сопротивляясь вам, тащите его на улицу, зовите полицию и от моего имени предъявите ему обвинение в преступлении.

– Как вы смеете говорить это обо мне? – спросил Монкс.

– Как вы смеете вынуждать меня к этому, молодой человек? – отозвался мистер Браунлоу, пристально глядя ему в лицо. – Или вы с ума сошли, что хотите уйти из этого дома?.. Отпустите его... Ну вот, сэр: вы вольны идти, а мы – последовать за вами. Но предупреждаю вас – клянусь всем самым для меня святым! – что в ту самую минуту, когда вы окажетесь на улице, я арестую вас по обвинению в мошенничестве и грабеже. Я тверд и непоколебим. Если и вы решили вести себя так же, то да падет ваша кровь на вашу голову.

– По чьему распоряжению я схвачен на улице и доставлен сюда этими собаками? – спросил Монкс, переводя взгляд с одного на другого из стоявших возле него мужчин.

– По моему, – ответил мистер Браунлоу. – За этих людей ответственность несу я. Если вы жалуетесь, что вас лишили свободы, – вы имели право и возможность вернуть ее, когда ехали сюда, однако сочли разумным не поднимать шума, – то, повторяю, отдайтесь под защиту закона. Я в свою очередь обращаюсь к закону. Но если вы зайдете слишком далеко, чтобы отступать, не просите меня о снисхождении, когда власть перейдет в другие руки, и не говорите, что я толкнул вас в пропасть, в которую вы бросились сами.

Монкс был заметно смущен и к тому же встревожен. Он колебался.

– Вы должны поспешить с решением, – сказал мистер Браунлоу с большой твердостью и самообладанием. – Если вам угодно, чтобы я предъявил обвинение публично и обрек вас на кару, которую хотя и могу с содроганием предвидеть, но не могу изменить, то, говорю еще раз, путь вам известен. Если же не угодно и вы взываете к моей снисходительности и к милосердию тех, кому причинили столько зла, садитесь без дальнейших разговоров на этот стул. Он ждет вас вот уже два дня.

Монкс пробормотал что-то невнятное, но все еще колебался.

– Поторопитесь, – сказал мистер Браунлоу. – Одно мое слово – и выбора уже не будет.

Монкс все еще колебался.

– Я не склонен вступать в переговоры, – продолжал мистер Браунлоу. – И к тому же, раз я защищаю насущные интересы других, не имею на это права.

– Нет ли... – запинаясь, спросил Монкс, – нет ли какого-нибудь компромисса?

– Никакого.

Монкс с тревогой посмотрел на старого джентльмена, но, не прочтя на его лице ничего, кроме суровости и решимости, вошел в комнату и, пожав плечами, сел.

– Заприте дверь снаружи, – сказал мистер Браунлоу слугам, – и войдите, когда я позвоню.

Те повиновались, и они остались вдвоем.

– Недурное обращение, сэр, – сказал Монкс, снимая шляпу и плащ, – со стороны старейшего друга моего отца.

– Именно потому, что я был старейшим другом вашего отца, молодой человек! – отвечал мистер Браунлоу. – Именно потому, что надежды и желания юных и счастливых лет были связаны с ним и тем прекрасным созданием, родным ему по крови, которое в юности

отошло к богу и оставило меня здесь печальным и одиноким; именно потому, что он, еще мальчиком, стоял на коленях рядом со мной у смертного ложа единственной своей сестры в то утро, когда – на это не было воли божьей – она должна была стать моей молодой женой; именно потому, что мое омертвевшее сердце льнуло к нему с того дня и вплоть до его смерти во время всех его испытаний и заблуждений; именно потому, что сердце мое полно старых воспоминаний и привязанностей, и даже при виде вас у меня возникают былые мысли о нем; именно потому-то я и расположен отнестись к вам мягко теперь... Да, Эдуард Лиффорд, даже теперь... И я краснею за вас, недостойного носить это имя!

– А причем тут мое имя? – спросил тот, до сих пор молча, с хмурым недоумением наблюдавший волнение своего собеседника. – Что для меня имя?

– Ничто, – ответил мистер Браунлоу, – для вас ничто. Но его носила *она*, и даже теперь, по прошествии стольких лет, оно возвращает мне, старику, жар и трепет, охватывавшие меня, стоило мне лишь услышать Это имя. Я очень рад, что вы его переменили... очень рад.

– Все это превосходно, – сказал Монкс (сохраним присвоенное им себе имя) после долгой паузы, в течение которой он ерзал на стуле, с угрюмым и вызывающим видом поглядывая на мистера Браунлоу, тихо сидевшего заслонив лицо рукой. – Но чего вы от меня хотите?

– У вас есть брат, – очнувшись, сказал мистер Браунлоу, – брат... И достаточно было шепотом сказать вам на ухо его имя, когда я шел за вами по улице, чтобы заставить вас последовать за мной сюда в недоумении и тревоге.

– У меня нет брата, – возразил Монкс. – Вы знаете, что я был единственным ребенком. Зачем вы толкуете мне о брате? Вы это знаете не хуже, чем я.

– Выслушайте то, что знаю я и чего можете не знать вы, – сказал Браунлоу. – Скоро я сумею вас заинтересовать. Я знаю, что единственным и чудовищным плодом этого злосчастного брака, к которому принудили вашего отца, совсем еще юного, семейная гордость и корыстное, черствое тщеславие, – были вы!..

– Я равнодушен к резким выражениям, – с язвительным смехом перебил Монкс. – Факт вам известен, и для меня этого достаточно.

– Но я знаю также, – продолжал старый джентльмен, – о медленной пытке, о долгих терзаниях, вызванных этим неудачным союзом. Я знаю, как томительно и бесцельно влачила эта несчастная чета свою тяжелую цепь сквозь жизнь, отравленную для обоих. Я знаю, как холодные, формальные отношения сменились явным издевательством, как равнодушные уступило место неприязни, неприязнь – ненависти, а ненависть – отвращению, пока, наконец, они не разорвали гремющей цепи. И, разойдясь в разные стороны, каждый унес с собой обрывок постылой цепи, звенья которой не могло сломать ничто, кроме смерти, чтобы в новом окружении скрывать их под личиной веселости, на какую только ваши родители были способны. Вашей матери это удалось: она забыла быстро; но в течение многих лет звенья ржавели и разъедали сердце вашего отца.

– Да, они разошлись, – сказал Монкс. – Ну так что же?

– Когда прошло некоторое время после их разрыва, – отвечал мистер Браунлоу, – и ваша мать, отдавшись всецело суетной жизни на континенте, совершенно забыла своего молодого мужа, который остался на родине без всяких надежд на будущее, – у него появились новые друзья. Это обстоятельство вам во всяком случае известно.

– Нет, неизвестно, – сказал Монкс, отводя взгляд и постукивая ногой по полу, как бы решившись отрицать все. – Неизвестно.

– Ваш вид, не менее чем ваши поступки, убеждает меня в том, что вы об этом никогда не забывали и всегда думали с горечью, – возразил мистер Браунлоу. – Я говорю о том, что случилось пятнадцать лет назад, когда вам было не больше одиннадцати лет, а вашему отцу только тридцать один год, ибо, повторяю, он был совсем юным, когда его отец приказал ему жениться. Должен ли я возвращаться к тем событиям, которые бросают тень на память вашего родителя, или же вы избавите меня от этого и откроете мне правду?

– Мне нечего открывать, – возразил Монкс. – Можете говорить, если вы этого желаете.

– Ну что ж! – продолжал мистер Браунлоу. – Итак, одним из этих новых друзей был морской офицер, вышедший в отставку, жена которого умерла за полгода перед тем и оставила ему двух детей – их было больше, но, к счастью, выжили только двое. Это были дочери: одна – прелестная девятнадцатилетняя девушка, а другая – совсем еще дитя двух-трех лет.

– Что мне за дело до этого? – спросил Монкс.

– Они проживали, – сказал мистер Браунлоу, не обратив внимания на вопрос, – в той части страны, куда ваш отец попал во время своих скитаний и где он обосновался. Знакомство, сближение, дружба быстро следовали одно за другим. Ваш отец был одарен, как немногие. У него была душа и характер его сестры. Чем ближе узнавал его старый офицер, тем больше любил. Хорошо, если бы этим и кончилось. Но дочь тоже его полюбила.

Старый джентльмен сделал паузу. Монкс кусал губы и смотрел в пол. Заметив это, джентльмен немедленно продолжал:

– К концу года он принял на себя обязательство, священное обязательство перед этой девушкой, – он завоевал первую истинную пламенную любовь бесхитростного, невинного создания.

– Ваш рассказ не из коротких, – заметил Монкс, беспокойно ерзая на стуле.

– Это правдивый рассказ о страданиях, испытаниях и горе, молодой человек, – возразил мистер Браунлоу, – а такие рассказы обычно бывают длинными; будь это рассказ о безоблачной радости и счастье, он оказался бы очень коротким. Наконец, умер один из тех богатых родственников, ради интересов которых ваш отец был принесен в жертву, что является делом обычным; желая исправить зло, орудием которого он был, он оставил вашему отцу деньги, которые казались ему панацеей от всех бед. Возникла необходимость немедленно ехать в Рим, куда этот человек отправился лечиться и где он умер, оставив свои дела в полном беспорядке. Ваш отец поехал и заболел там смертельной болезнью. Как только сведения достигли Парижа, за ним последовала ваша мать, взяв с собой вас. На следующий день после ее приезда он умер, не оставив никакого завещания – *никакого завещания*, – так что все имущество досталось ей и вам.

Теперь Монкс затаил дыхание и слушал с напряженным вниманием, хотя и не смотрел на рассказчика. Когда мистер Браунлоу сделал паузу, он изменил позу с видом человека, внезапно почувствовавшего облегчение, и вытер разгоряченное лицо и руки.

– Перед отъездом за границу, проезжая через Лондон, – медленно продолжал мистер Браунлоу, не спуская глаз с его лица, – он зашел ко мне...

– Об этом я никогда не слышал, – перебил Монкс голосом, который должен был звучать недоверчиво, но выражал скорее неприятное изумление.

– Он зашел ко мне и оставил у меня, помимо других вещей, картину – портрет этой бедной девушки, нарисованный им самим. Он не хотел оставлять его и не мог взять с собой, спешно отправляясь в путешествие. От тревоги и угрызений совести он стал похож на собственную тень, говорил сбивчиво, в смятении о гибели и бесчестье, им самим навлеченных; сообщил мне о своем намерении обратить все имущество в деньги, несмотря ни на какие убытки, и, выделив своей жене и вам часть из полученного наследства, бежать из страны, – я прекрасно понял, что бежать он собирался не один, – и никогда больше сюда не возвращаться. Даже мне, своему старому другу, которого связывала с ним смерть дорогого нам обоим существа, – даже мне он не сделал полного признания, обещав написать и рассказать обо всем, а затем повидаться со мной еще раз, последний раз в жизни. Увы! Это и был последний раз. Никакого письма я не получил и никогда больше его не видел... Когда все было кончено, – помолчав, продолжал мистер Браунлоу, – я поехал туда, где родилась – употребляю выражение, которым спокойно воспользовались бы люди, ибо и жестокость людская и снисходительность не имеют для него теперь значения, – где родилась его преступная любовь. Я решил, что если мои опасения оправдаются, заблудшее дитя найдет сердце и дом, которые будут ему приютом и защитой. За неделю до моего приезда семья

покинула те края; они расплатились со всеми мелкими долгами и уехали оттуда ночью. Куда и зачем – никто не мог сказать мне.

Монкс вздохнул еще свободнее и с торжествующей улыбкой обвел взглядом комнату.

– Когда ваш брат, – сказал мистер Браунлоу, придвигаясь к нему ближе, – когда ваш брат, хилый, одетый в лохмотья, всеми покинутый мальчик, был брошен на моем пути силой более могущественной, чем случай, и спасен мною от жизни порочной и бесчестной...

– Что такое? – вскричал Монкс.

– Мною! – повторил мистер Браунлоу: – Я предупреждал, что скоро заинтересую вас. Да, мною. Вижу, что хитрый сообщник скрыл от вас мое имя, хотя, как он считал, оно было вам незнакомо. Когда ваш брат был спасен мною и, оправляясь от болезни, лежал в моем доме, поразительное его сходство с портретом, о котором я упоминал, привело меня в изумление. Даже когда я впервые его увидел, грязного и жалкого, что-то в его лице произвело на меня впечатление, словно в ярком сне промелькнул передо мною образ какого-то старого друга. Мне незачем говорить вам, что он был похищен, прежде чем я узнал его историю...

– Почему – незачем? – быстро спросил Монкс.

– Потому что вам это хорошо известно.

– Мне?

– Отрицать бессмысленно, – отозвался мистер Браунлоу. – Я вам докажу, что знаю еще больше.

– Вы... вы... ничего не можете доказать... против меня, – заикаясь, выговорил Монкс. – Попробуйте-ка это сделать.

– Посмотрим! – промолвил старый джентльмен, бросив на него пытливый взгляд. – Я потерял мальчика и, несмотря на все мои усилия, не мог его найти. Вашей матери уже не было в живых, и я знал, что, кроме вас, никто не может раскрыть тайну; а так как, когда я в последний раз о вас слышал, вы находились в своем поместье в Вест-Индии, куда, как вам хорошо известно, вы удалились после смерти матери, спасаясь от последствий дурных ваших поступков, то я отправился в путешествие. Несколько месяцев назад вы оттуда уехали и, по-видимому, находились в Лондоне, но никто не мог сказать, где именно. Я вернулся. Агентам вашим было неизвестно ваше местопребывание. По их словам, вы появлялись и исчезали так же таинственно, как делали это всегда: иногда появлялись ежедневно, а иногда исчезали на месяцы, посещая, по-видимому, все те же притоны и общаясь все с теми же презренными людьми, которые были вашими товарищами в ту пору, когда вы были наглым, строптивым юнцом. Я докучал вашим агентам новыми вопросами. Днем и ночью я блуждал по улицам, но еще два часа назад все мои усилия оставались бесплодными, и мне не удавалось увидеть вас ни на мгновение.

– А теперь вы меня видите, – сказал Монкс, смело вставая. – Что же дальше? Мошенничество и грабеж – громкие слова, оправданные, по вашему мнению, воображаемым сходством какого-то чертенка с дрянной картиной, намалеванной умершим человеком. Брат! Вы даже не знаете, был ли у этой чувствительной пары ребенок. Даже этого вы не знаете.

– Я не знал, – ответил Браунлоу, тоже вставая, – но за последние две недели я узнал все. У вас есть брат! Вы это знаете и знаете его. Было завещание, которое ваша мать уничтожила, перед смертью открыв вам тайну и связанные с нею выгоды. В завещании упоминалось о ребенке, который мог явиться плодом этой печальной связи; ребенок родился, и, когда вы случайно его встретили, ваши подозрения были впервые пробуждены его сходством с отцом. Вы отправились туда, где он родился. Там сохранились данные – данные, которые долго скрывались, – о его рождении и происхождении. Эти доказательства были уничтожены вами, и теперь говорю вашими же словами, обращенными к вашему собеседнику еврею, *«единственные доказательства, устанавливающие личность мальчика, покоятся на дне реки, а старая карга, получившая их от его матери, гниет в своем гробу»*. Недостойный сын, негодяй, лжец! Вы, по ночам совещающийся с ворами и убийцами в темных комнатах! Вы, чьи заговоры и плутни обрекли насильственной смерти ту, что стояла

миллионов таких, как вы! Вы, кто с самой колыбели отравлял горечью и желчью сердце родного отца и в ком зрели все дурные страсти, порок и распутство, пока не завершились отвратительной болезнью, сделавшей ваше лицо верным отображением вашей души! Вы, Эдуард Лиффорд, вы все еще бросаете мне вызов?

– Нет, нет, нет... – прошептал негодяй, ошеломленный всеми этими обвинениями.

– Каждое слово, каждое слово, каким обменялись вы с этим мерзким злодеем, известно мне! – воскликнул старый джентльмен, – Тени на стене подслушивали ваш шепот и донесли его до моего слуха. Вид загнанного ребенка воздействовал даже на порочное существо, вдохнув в него мужество и чуть ли не добродетель. Совершено убийство, в котором вы участвовали морально, если не фактически...

– Нет, нет! – перебил Монкс. – Я... я... ничего об этом не знаю. Я собирался узнать правду об этом происшествии, когда вы меня задержали. Я не знал причины. Я думал, что это была обычная ссора.

– Причиной явилось частичное разоблачение ваших тайн, – отозвался мистер Браунлоу. – Откроете ли вы все?

– Да, открою.

– Подпишите ли правдивое изложение фактов и подтвердите ли его при свидетелях?

– И это я обещаю.

– Останетесь спокойно здесь, пока не будет составлен этот документ, и отправитесь со мной туда, где я сочту наиболее уместным его засвидетельствовать?

– И это я сделаю, если вы настаиваете, – ответил Монкс.

– Вы должны сделать больше, – сказал мистер Браунлоу. – Возвратить имущество невинному и безобидному ребенку, ибо таков он есть, хотя и является плодом преступной и самой несчастной любви. Вы не забыли условий завещания?.. Исполните их, поскольку они касаются вашего брата, и тогда отправляйтесь куда угодно! В этом мире вам больше незачем с ним встречаться!

Пока Монкс шагал взад и вперед, размышляя с мрачным и злобным видом об этом предложении и о возможностях увильнуть от него, терзаемый, с одной стороны, опасениями, а с другой – ненавистью, дверь торопливо отперли, и в Комнату в сильнейшем волнении вошел джентльмен (мистер Лосберн).

– Этот человек будет схвачен! – воскликнул он. – Он будет схвачен сегодня вечером.

– Убийца? – спросил мистер Браунлоу.

– Да, – ответил тот. – Видели, как его собака шныряла около одного из старых притонов, и, по-видимому, нет никаких сомнений в том, что ее хозяин либо находится там, либо придет туда под покровом темноты. Там повсюду снуют сыщики. Я говорил с людьми, которым поручена его поимка, и они утверждают, что он не может ускользнуть. Сегодня вечером правительством объявлена награда в сто фунтов.

– Я дам еще пятьдесят, – сказал мистер Браунлоу, – и лично объявлю об этом там, на месте, если мне удастся туда добраться... Где мистер Мэйли?

– Гарри? Как только он увидел, что вот этот ваш приятель благополучно уселся с вами в карету, он поспешил туда, где услышал эти вести, и поскакал верхом, чтобы присоединиться к первому отряду в каком-то условленном месте на окраине.

– А Феджин? – спросил мистер Браунлоу. – Что известно о нем?

– Когда я в последний раз о нем слышал, он еще не был арестован, но его схватят, быть может уже схватили. В этом они уверены.

– Вы приняли решение? – тихо спросил Монкса мистер Браунлоу.

– Да, – ответил тот. – Вы... вы... сохраните мою тайну?

– Сохраню. Останьтесь здесь до моего возвращения. Это единственная ваша надежда ускользнуть от опасности.

Джентльмены вышли из комнаты, и дверь была снова заперта на ключ.

– Чего вы добились? – шепотом спросил доктор.

– Всего, на что мог надеяться, и даже большего. Сообщив полученные от бедной

девушки сведения, а также прежние мои сведения и результаты расследования, произведенные на месте добрым нашим другом, я не оставил ему ни одной лазейки и показал в неприкрашенном виде всю его подлость, которая в таком освещении стала, ясной, как день. Напишите и назначьте встречу послезавтра в семь часов вечера. Мы будем там на несколько часов раньше, но нам необходимо отдохнуть, в особенности молодой леди, которой, вероятно, потребуется значительно большая твердость духа, чем мы с вами можем сейчас предполагать. Но у меня кровь закипает от желания отомстить за эту бедную убитую женщину. В какую сторону они отправились?

– Поезжайте прямо в полицейское управление – и вы явитесь как раз вовремя, – ответил мистер Лосберн. – Я останусь здесь.

Джентльмены поспешно распрощались – оба были в лихорадочном возбуждении, с которым не могли справиться.

Глава L **Погоня и бегство**

Неподалеку от Темзы, там, где стоит церковь в Ротерхизе и где строения на берегу самые грязные, а суда на реке самые черные от пыли угольных барж и от дыма скученных, низких домов, расположен самый грязный, самый странный, самый удивительный из всех многочисленных лондонских районов, неизвестных даже по названию огромному числу обитателей этого города.

Очутиться в этой местности путник может лишь пробравшись сквозь лабиринт тесных, узких и грязных улиц, заселенных самыми грубыми и самыми бедными из береговых жителей, где торгуют товарами, на которые здесь может оказаться спрос. Самые дешевые и невкусные продукты навалены в лавках, самые неприхотливые и грубые одежды висят у двери торговца и свешиваются с перил и из окон. Натыкаясь на безработных из числа самых неквалифицированных тружеников, на грузчиков, угольщиков, падших женщин, оборванных детей и всякий сброд с пристани, путник с трудом прокладывает себе дорогу, осаждаемый отвратительными картинами и запахами из узких переулков, ответвляющихся направо и налево, и оглушаемый грохотом тяжелых фургонов, которые развозят груды товаров из складов, попадающих на каждом углу – Выйдя, наконец, на улицы более отдаленные и менее людные, он идет мимо шатких фасадов, нависающих над тротуаром; мимо подгнивших стен, как будто качающихся, когда он проходит; мимо полуразрушенных труб, вот-вот готовых упасть, окон, защищенных ржавыми железными прутьями, изъеденными временем, – мимо всего того, что свидетельствует о невообразимой нищете и разрушении.

Вот в этих-то краях за Докхедом, в Саутурке, находится Остров Джекоба, окруженный грязным рвом глубиной в шесть – восемь футов в часы прилива и шириной в пятнадцать – двадцать, некогда называвшимся Милл-Ронд, но в дни, относящиеся к нашему повествованию, известным как Фолли-Дитч. Эта речонка, или рукав Темзы, во время прилива всегда может наполниться водой, если открыть шлюзы у Лид-Миллс, от которой она и получила старое свое наименование. В таких случаях прохожий, глядя с одного из деревянных мостиков, переброшенных через ров у Милл-лейн, может наблюдать, как жильцы домов по обеим сторонам спускают из задних дверей и окон кадушки, ведра и всевозможную домашнюю посуду, чтобы втащить наверх воду. А если взгляд его, оторвавшись от этих операций, обратится к самим домам, то открывшаяся картина вызовет величайшее его изумление. Шаткие деревянные галереи вдоль задних стен, общие для пяти-шести домов, с дырами в полах, сквозь которые виден ил; окна, разбитые и заклеенные, с торчащими из них жердями для сушки белья, которого никогда на них нет; комнаты, такие маленькие, такие жалкие, такие тесные, что воздух кажется слишком зараженным даже для той грязи и мерзости, какую они скрывают; деревянные пристройки, нависающие над грязью и грозящие рухнуть в нее – что и случается с иными; закопченные стены и подгнивающие фундаменты; все отвратительные признаки нищеты, всякая грязь, гниль, отбросы, – это

украшает берега Фолли-Дитч.

На Острове Джекоба склады стоят без крыш и пустуют, стены крошатся, окна перестали быть окнами, двери вываливаются на улицу, трубы почернели, но из них не вырывается дым. Лет тридцать – сорок назад, когда эта местность еще не знала убытков и тяжб в Канцлерском суде,⁴³ она процветала, но теперь это поистине заброшенный остров. У домов нет владельцев; двери выломаны. И сюда входят все, у кого хватает на это храбрости; здесь они живут, и здесь они умирают. Те, что ищут приюта на Острове Джекоба, должны иметь основательные причины для поисков тайного убежища, либо они дошли до крайней нищеты.

В верхней комнате одного из этих домов – в большом доме, не сообщавшемся с другими, полуразрушенном, но с крепкими дверями и окнами, задняя стена которого обращена была, как описано выше, ко рву, – собралось трое мужчин, которые, то и дело бросая друг на друга взгляды, выражавшие замешательство и ожидание, сидели некоторое время в глубоком и мрачном молчании. Один был Тоби Крекит, другой – мистер Читлинг, а третий – грабитель лет пятидесяти, у которого нос был перебит во время одной из драк, а на лице виднелся страшный шрам, быть может появившийся в ту же пору. Этот человек был беглый каторжник, и звали его Кэгс.

– Хотел бы я, милейший, – сказал Тоби, обращаясь к мистеру Читлингу, – чтобы вы подыскали себе какую-нибудь другую берлогу, когда в двух старых стало слишком жарко, а не являлись бы сюда.

– Почему вы этого не сделали, болван? – спросил Кэгс.

– Я думал, что вы чуточку больше обрадуетесь, увидев меня, – меланхолично ответил мистер Читлинг.

– Видите ли, юноша, – сказал Тоби, – если человек держится так обособленно, как держался я, и, стало быть, имеет уютный дом, вокруг которого никто не шныряет и не разнохивает, то довольно неприятно, когда его удостаивает визитом молодой джентльмен (какой бы он ни был порядочный и приятный партнер, когда есть время перекинуться в карты), находящийся в таких обстоятельствах, как вы.

– Тем более что у этого обособленного молодого человека остановился приятель, который вернулся из чужих стран раньше, чем его ждали, и слишком скромно, чтобы до возвращения своем представляться судьям, – добавил мистер Кэгс.

Последовало короткое молчание, после чего Тоби Крекит, по-видимому понимая, насколько безнадежной будет всякая попытка сохранить свой обычный бесшабашно хвастливый вид, повернулся к Читлингу и спросил:

– Так когда же забрали Феджина?

– Как раз в обеденную пору – сегодня в два часа дня. Мы с Чарли улизнули через дымоход в прачечной, а Болтер залез вниз головой в пустую бочку, но ноги у него такие чертовски длинные, что торчали из бочки, и его тоже забрали.

– А Бет?

– Бедняжка Бет! Она пошла взглянуть, кого убили, – ответил Читлинг, чье лицо вытягивалось все больше и больше, – и рехнулась: начала визжать, бесноваться, биться головой об стенку, так что на нее надели смирительную рубашку и отправили в больницу. Там она и осталась.

⁴³ *Канцлерский суд* – высший суд, созданный в раннюю пору феодализма как дополнение к системе судов, руководствовавшихся при рассмотрении дел королевскими указами и другими источниками закона; по замыслу организаторов Канцлерского суда последний должен был руководствоваться «справедливостью» и председателем его являлся канцлер (министр юстиции). На практике такое противопоставление судов «общего права» Канцлерскому суду привело к необычайной сложности в толковании законов, а производство в Канцлерском суде сопровождалось неслыханной волокитой и было постоянным источником юридических ухищрений недобросовестных адвокатов. Не удивительно, что Диккенс не раз возвращался к разоблачению злоупотреблений, связанных с деятельностью Канцлерского суда, являвшегося бедствием для населения Англии.

– Где же юный Бейтс? – спросил Кэгс.

– Где-то слоняется, чтобы не показываться здесь до темноты, но он скоро придет, – ответил Читлинг. – Теперь некуда больше идти, потому что у «Калек» всех забрали, а буфетная – я там проходил и своими глазами видел – битком набита ищейками.

– Это разгром, – кусая губы, заметил Тоби. – Многих сцапают.

– Сейчас сессия, – сказал Кэгс. – Если они закончат следствие и Болтер выдаст остальных – а он, конечно, это сделает, судя по тому, что он уже сделал, – они могут доказать участие Феджина и назначить суд на пятницу, а через шесть дней его вздернут, клянусь всеми чертями!

– Послушали бы вы, как ревела толпа, – сказал Читлинг. – Полицейские дрались как черти, а не то его разорвали бы в клочья. Один раз его сбили с ног, но полицейские окружили его кольцом и проложили себе дорогу. Видели бы вы, как он озирался, окровавленный, весь в грязи, и цеплялся за них, как за лучших своих друзей. Я их как сейчас вижу: они едва могут устоять, так на них наваливается толпа, и тащат его за собой; как сейчас вижу – в толпе дерутся, скалят на него зубы и рвутся к нему. Как сейчас вижу кровь на его волосах и бороде и слышу крики женщин – они пробились в самую гущу толпы на углу и клялись, что вырвут у него сердце.

Потрясенный ужасом, очевидец этой сцены зажал уши руками и с закрытыми глазами встал и словно помешанный начал быстро ходить взад и вперед.

Он метался, другие двое сидели молча, уставившись в пол, как вдруг они услышали, что в дверь кто-то скребется, и в комнату вбежала собака Сайкса. Они бросились к окну, потом вниз по лестнице на улицу. Собака вскочила на подоконник открытого окна; она не последовала за ними, а хозяина ее нигде не было видно.

– Что же это значит? – сказал Тоби, когда они вернулись. – Не может быть, чтобы он шел сюда. Надеюсь, что нет.

– Если бы он шел сюда, он пришел бы с собакой, – сказал Кэгс, наклоняясь и разглядывая собаку, которая, тяжело дыша, растянулась на полу. – Послушайте, дадим-ка ей воды, она так долго бежала, что чуть жива...

– Все выпила, до последней капли, – сказал Читлинг, молча следивший за собакой. – Вся в грязи, хромает, полуослепла... должно быть, долго бежала.

– Откуда она могла взяться? – воскликнул Тоби. – Конечно, она побывала в других притонах, увидела толпу чужих людей и прибежала сюда, где частенько бывала раньше. Но с самого-то начала откуда она пришла и как очутилась здесь одна, без него?

– Не мог же он (ни один из них не называл убийцу по имени), не мог же он покончить с собой? Как вы думаете? – спросил Читлинг.

Тоби покачал головой.

– Если бы он покончил с собой, – сказал Кэгс, – собака потянула бы нас к тому месту. Нет. Я думаю, он убрался из Англии, а собаку оставил. Должно быть, как-нибудь улизнул от нее, иначе она не лежала бы так смиренно.

Это решение, казавшееся наиболее правдоподобным, было признано правильным; собака, забившись под стул, свернулась в клубок и заснула, не привлекая больше и себе внимания.

Так как уже стемнело, то закрыли ставни, зажгли свечу и поставили ее на стол. Страшные события последних двух дней произвели глубокое впечатление на всех троих, еще усилившееся вследствие угрожавшей им опасности. Они ближе сдвинули стулья, вздрагивая при каждом звуке. Говорили они мало, да и то шепотом, и так были молчаливы и запуганы, словно в соседней комнате лежало тело убитой женщины.

Так сидели они некоторое время, как вдруг внизу раздался нетерпеливый стук в дверь.

– Юный Бейтс, – сказал Кэгс, сердито оглядываясь, чтобы побороть страх, охвативший его.

Стук повторился. Нет, это был не Бейтс. Тот никогда так не стучал.

Крепит подошел к окну и, дрожа всем телом, высунул голову. Не было необходимости

сообщать им, кто пришел: об этом говорило его бледное лицо. Да и собака встрепенулась и, скуля, подбежала к двери.

– Мы должны его впустить, – сказал Крекит, беря свечу.

– Неужели ничего нельзя поделать? – хриплым голосом спросил другой.

– Ничего. Он *должен войти*.

– Не оставляйте нас в темноте, – сказал Кэгс, взяв с каминной полки другую свечу; рука его так дрожала, когда он зажигал свечу, что стук повторился дважды, прежде чем он успел это сделать.

Крекит спустился к двери и вернулся в сопровождении человека, у которого нижняя часть лица была обмотана носовым платком и голова под шляпой обвязана другим платком. Он медленно их снял. Побледневшее лицо, запавшие глаза, ввалившиеся щеки, борода, отросшая за три дня, изможденный вид, короткое, хриплое дыхание – это был призрак Сайкса.

Он положил руку на спинку стула, стоявшего посреди комнаты, но, когда собирался опуститься на него, вздрогнул и, бросив взгляд через плечо, придвинул стул к стене – так близко, как только мог, – придвинул вплотную и сел.

Никто не проронил ни слова. Он молча посматривал то на одного, то на другого. Если кто-нибудь украдкой поднимал глаза и встречал его взгляд, то сейчас же отворачивался. Когда его глухой голос нарушил молчание, все трое вздрогнули. Казалось, никогда еще не слышали они этого голоса.

– Как прибежала сюда собака? – спросил он.

– Одна. Три часа назад.

– В вечерней газете пишут, что Феджина забрали. Правда это или вздор?

– Правда.

Снова замолчали.

– Будьте вы все прокляты! – воскликнул Сайкс, проводя рукой по лбу. – Нечего вам, что ли, мне сказать?

Они смущенно заерзали, но никто не заговорил.

– Вы хозяин этого дома, – сказал Сайкс, поворачиваясь лицом к Крекиту. – Собираетесь вы меня выдать или дадите мне пересидеть здесь, пока не кончилась эта охота?

– Можете оставаться здесь, если считаете безопасным, – ответил после некоторого колебания тот, к кому он обратился.

Сайкс чуть заметно повернул голову, покосился на стену у себя за спиной – и спросил:

– А что оно... тело... его похоронили?

Они ответили отрицательным жестом.

– Да почему же нет? – воскликнул он, снова бросив взгляд назад. – Чего ради держат они такую пакость на земле?.. Кто это там стучит?

Прежде чем выйти из комнаты, Крекит дал понять жестом, что опасаться нечего, и тотчас же вернулся с Чарли Бейтсом, который шел за ним по пятам. Сайкс сидел против двери, так что мальчик увидел его, едва вошел в комнату.

– Тоби! – сказал он, попятившись, когда Сайкс перевел на него взгляд. – Почему вы мне об этом не сказали там, внизу?

Было что-то столь потрясающее в боязни тех, троих, что злосчастный человек готов был заискивать даже перед этим простаком. И вот он кивнул головой и, казалось, готов был пожать ему руку.

– Проводите-ка меня в какую-нибудь другую комнату, – сказал мальчик, снова пятясь.

– Чарли, – сказал Сайкс, шагнув вперед. – Разве ты... ты меня не узнал?

– Не подходите ко мне, – отозвался тот, отступая еще дальше и с ужасом глядя в лицо убийцы. – Чудовище!

Мужчина остановился на полпути, и они посмотрели друг на друга, но глаза Сайкса медленно опустились долу.

– Будьте свидетелями вы, трое! – крикнул мальчик, потрясая сжатым кулаком и

волнуясь все больше и больше по мере того, как говорил. – Будьте свидетелями вы, трое, – я не боюсь его! Если они придут сюда за ним, я его выдам, я это сделаю. Предупреждаю вас заранее. Он может убить меня за это, если вздумает или если посмеет, но если я буду здесь, я его выдам. Я бы выдал его, хотя бы его сварили заживо... Убивают! На помощь!.. Если у вас троих хватит храбрости взять одного человека, вы мне поможете... Убивают! На помощь! Держите его!..

Издавая эти вопли и сопровождая их отчаянными жестами, мальчик действительно бросился один на сильного мужчину и благодаря неистовой своей энергии и внезапности нападения, повалил его на пол.

Трое зрителей казались совершенно ошеломленными. Они не сделали попытки вмешаться, и мальчик и мужчина катались по полу: первый, невзирая на сыпавшиеся на него удары, вцепился в платье убийцы и во весь голос звал на помощь.

Однако борьба была слишком неравной, чтобы длиться долго. Сайкс подмял его под себя и придавил ему горло коленом, но Крекит оттащил его от Бейтса и с тревогой указал на окно. Внизу мелькали огни, слышались громкие голоса, торопливый топот ног – казалось, их было множество – на ближайшем мостике. По-видимому, в толпе был верховой, так как раздался стук копыт, ударявших о неровную мостовую. Блеск огней стал ярче; шум шагов становился все сильнее. Затем послышался громкий стук в дверь и такой яростный и глухой гул, что самый храбрый и тот содрогнулся бы.

– На помощь!.. – крикнул мальчик, и голос его прорезал воздух. – Он здесь. Выломайте дверь!

– Именем короля! – раздались голоса снаружи, в снова прокатился глухой рев, но еще более громкий.

– Выломайте дверь! – кричал мальчик; – Говорю вам: они никогда ее не откроют! Бегите прямо в ту комнату, где горит свет! Выломайте дверь!

Когда он умолк, удары, частые и тяжелые, обрушились на дверь и ставни нижнего этажа и громовое «ура» вырвалось у толпы, впервые давая слушателю возможность составить более или менее правильное представление о том, как велика эта толпа.

– Откройте дверь в какую-нибудь комнату, где бы я мог запереть этого визгливого чертенка! – в бешенстве крикнул Сайкс, бегая взад и вперед и волоча за собой мальчика с такой легкостью, словно это был пустой мешок. – Вот эту! Живее! – Он швырнул мальчика в комнату, заложил засов и повернул ключ. – Нижняя дверь заперта?

– На два поворота ключа и на цепь.

– А створки прочные?

– Обшиты листовым железом.

– И ставни тоже?

– Да, и ставни.

– Будьте вы прокляты! – крикнул отъявленный негодяй, поднимая оконную раму и угрожая толпе. – Делайте что хотите! Я вам еще покажу!

Из всех устрашающих воплей, когда-либо касавшихся человеческого слуха, ни один не был громче рева этой взбешенной толпы. Одни кричали тем, кто стоял ближе, чтобы они подожгли дом; другие орали полисменам, чтобы они его застрелили. В толпе никто, не проявлял такой ярости, как человек верхом на лошади, который, соскочив с седла и прорвавшись сквозь толпу, словно сквозь воду, крикнул под самым окном голосом, заглушившим все остальные:

– Двадцать гиней тому, кто принесет лестницу!

Стоявшие ближе подхватили этот крик, и сотни повторили его. Одни требовали лестниц, другие – молотов; третьи металась с факелами, возвращались и снова кричали; иные надрывались, выкрикивая беспощадные проклятья; другие с исступлением сумасшедших пробивались вперед и мешали тем, кто работал; смельчаки пытались взобраться по водосточной трубе и выбоинам в стене. И все волновались в темноте, словно колосья в поле под гневным ветром, и время от времени сливали вопли в едином громком,

неистовом реве.

– Прилив! – крикнул убийца, отпрянув в комнату и опуская оконную раму. – Был прилив, когда я пришел. Дайте мне веревку, длинную веревку! Все они толпятся у фасада. Я спущусь в Фолли-Дитч и улизну. Дайте мне веревку, а не то я совершу еще три убийства и покончу с собой!

Охваченные паническим страхом, люди указали, где хранятся веревки. Убийца второпях схватил самую длинную и крепкую веревку и бросился наверх.

Все окна в задней половине дома были давно заложены кирпичом, за исключением одного оконца в той комнате, где заперли мальчика. Оно было слишком узко, чтобы он мог пролезть. Но через это отверстие мальчик все время кричал стоявшим на улице, чтобы они охраняли дом сзади, и когда убийца выбрался, наконец, через дверцу чердака на крышу, громкий крик возвестил об этом собравшимся перед фасадом дома, и они тотчас же непрерывным потоком пустились в обход, напирая друг на друга.

Сайкс так крепко припер дверцу доской, которую нарочно захватил для этой цели, что изнутри очень трудно было ее открыть, и, пробираясь ползком по черепицам, взглянул через низкий парапет.

Вода схлынула, и рев превратился в илистое русло. На несколько мгновений толпа притихла, следя за его движением, не зная его намерений, но, угадав их и увидев, что его постигла неудача, она разразилась таким торжествующим и бешеным ревом, по сравнению с которым все прежние вопли казались шепотом. Снова и снова раздавался рев. К нему присоединялись те, кто стоял слишком далеко, чтобы уловить его значение; казалось, будто город изрыгнул сюда всех своих обитателей, чтобы проклясть этого человека.



Со стороны фасада спешили люди – вперед и вперед, – могучий, бурный поток яростных лиц, то там, то сям озаряемых пылающими факелами. В дома по ту сторону канала ворвалась толпа; в каждом окне виднелись лица; люди гроздьями лепились на каждой крыше. Каждый мостик (а отсюда видно было три моста) прогибался под тяжестью толпы. А поток людей все катился, – отыскивая какое-нибудь местечко, откуда можно было хоть на секунду увидеть негодяя и выкрикнуть какое-нибудь проклятье.

– Теперь они его поймают! – крикнул кто-то на ближайшем мосту. – Ура!

В толпе размахивали шапками. И снова поднялся крик.

– Я дам пятьдесят фунтов тому, кто захватит его живым! – крикнул старый джентльмен, появившийся на том же мосту. – Я останусь здесь, пока этот человек не придет ко мне за деньгами.

Опять раздался рев. В эту минуту в толпе пронесся слух, что дверь, наконец, взломали и тот, кто первый потребовал лестницу, поднялся в комнату. Как только это известие стало переходить из уст в уста, поток круто повернул назад; а люди у окон, видя, что народ на мостах хлынул обратно, выбежали на улицу и влились в толпу, которая беспорядочно рвалась теперь к покинутому ею месту. Толкаясь и напирая друг на друга, они неудержимо стремились к двери, чтобы взглянуть на преступника, когда полисмены будут выводить его из дома. Крики и вопли тех, кого чуть не задушили или сбили с ног и топтали в давке, были устрашающи; узкие проходы оказались запруженными; и в это время, когда одни ломались

вперед, чтобы вернуться к фасаду дома, а другие тщетно пытались выбраться из толпы, внимание было отвлечено от убийцы, хотя всеобщее желание видеть его схваченным возросло, если только это было возможно.

Убийца, съезжившись, присел, совершенно подавленный яростью толпы и невозможностью спастись, но, подметив эту внезапную перемену, он вскочил, решив сделать последнее усилие в борьбе за жизнь – спуститься в ров и, рискуя захлебнуться, ускользнуть в темноте и суматохе.

Обретя новую силу и энергию и подгоняемый шумом в доме, возвещавшим, что туда ворвались, он оперся ногой о дымовую трубу, крепко обвязал вокруг нее один конец веревки и руками и зубами чуть ли не в одну секунду сделал прочную подвижную петлю на другом ее конце. Он мог спуститься по веревке так, чтобы от земли его отделяло расстояние меньше его собственного роста, и – в руке он держал наготове нож, намереваясь перерезать затем веревку и прыгнуть.

В тот самый момент, когда он накинул петлю на шею, собираясь пропустить ее под мышки, а упомянутый старый джентльмен (который крепко вцепился в перила моста, чтобы его не смяла толпа) взволнованно предупреждал стоявших вокруг, что человек готовится спуститься в ров, – в этот самый момент убийца, бросив взгляд назад, на крышу, поднял руки над головой и вскрикнул от ужаса.

– Опять эти глаза! – вырвался у него нечеловеческий вопль.

Шатаясь, словно пораженный молнией, он потерял равновесие и упал через парапет. Петля была у него на шее. От его тяжести она натянулась, как тетива; точно стрела, сорвавшаяся с нее, он пролетел тридцать пять футов. Тело его резко дернулось, страшная судорога свела руки и ноги, и он повис, сжимая в коченеющей руке раскрытый нож.

Старая труба дрогнула от толчка, но доблестно устояла. Убийца висел безжизненный у стены, а мальчик, отталкивая раскачивающееся тело, заслонявшее ему оконце, молил ради господина выпустить его.

Собака, до той поры где-то прятаясь, бегала с заунывным воем взад и вперед по парапету и вдруг прыгнула на плечи мертвеца. Промахнувшись, она полетела в ров, перекувырнулась в воздухе и, ударившись о камень, размозжила себе голову.

Глава LI

дающая объяснение некоторых тайн и включающая брачное предложение без всяких упоминаний о закреплении части имущества за женой и о деньгах на булавки

Всего лишь два дня спустя после событий, изложенных в предыдущей главе, в три часа пополудни Оливер сидел в дорожной карете, быстро мчавшей его к родному городу. С ним ехали миссис Мэйли, Роз, миссис Бэдуин и добряк доктор, а в почтовой карете следовал мистер Браунлоу в сопровождении еще одного человека, чье имя не было названо.

Дорогой они разговаривали мало, ибо от волнения и неизвестности Оливер не мог собраться с мыслями и почти лишился дара речи; по-видимому, его спутники в равной степени разделяли это волнение. Мистер Браунлоу очень осторожно ознакомил его и обеих леди с показаниями, вырванными у Монкса, и хотя они знали, что целью их настоящего путешествия является завершение дела, так удачно начатого, однако все происходящее было настолько окутано таинственностью, что они испытывали сильнейшее беспокойство.

Тот же добрый друг с помощью мистера Лосберна позаботился, чтобы к ним не просочилось никаких сведений о случившихся недавно ужасных событиях. «Разумеется, – сказал он, – в скором времени им придется узнать о них, но, пожалуй, лучше будет, если они узнают не теперь; хуже, во всяком случае, быть не может».

Итак, ехали они молча. Каждый был погружен в размышления о том, что свело их вместе, и ни один не был расположен высказывать вслух мысли, осаждавшие всех.

Но если Оливер под влиянием таких впечатлений молчал, пока они ехали к месту его

рождения дорогой, которую он никогда не видел, зато какой поток воспоминаний увлек его в былые времена и какие чувства проснулись у него в груди, когда они свернули на ту дорогу, по которой он шел пешком, бедный, бездомный мальчик-бродяга, не имеющий ни друга, который бы помог ему, ни крова, где можно приклонить голову.

– Видите, вон там! Там! – воскликнул Оливер, с волнением схватив за руку Роз и показывая в окно кареты. – Вон тот перелаз, где я перебрался; вон та живая изгородь, за которой я крался, боясь, как бы кто-нибудь меня не догнал и не заставил вернуться. А там тропинка через поля, ведущая к старому дому, где я жил, когда был совсем маленьким. Ах, Дик, Дик, мой милый старый друг, как бы я хотел тебя увидеть!

– Ты его скоро увидишь, – отозвалась Роз, ласково сжимая его стиснутые руки. – Ты ему скажешь, как ты счастлив и каким стал богатым; скажешь, что никогда еще не был так счастлив, как теперь, когда вернулся сюда, чтобы и его сделать счастливым!

– О да! – подхватил Оливер. – И мы... мы увезем его отсюда, оденем его, будем учить, пошлем в какое-нибудь тихое местечко в деревне, где он окрепнет и выздоровеет, да?

Роз ответила только кивком: мальчик так радостно улыбался сквозь слезы, что она не могла говорить.

– Вы будете ласковы и добры к нему, потому что со всеми вы такая, – сказал Оливер. – Я знаю, вы заплачете, слушая его рассказ; но ничего, ничего, все это пройдет, и вы опять начнете улыбаться – я это тоже знаю, – когда увидите, как он изменится... Так отнеслись вы и ко мне... Он мне сказал: «Да благословит тебя бог», – когда я решился бежать! – с умилением воскликнул мальчик. – А теперь я скажу: «Да благословит тебя бог», – и докажу ему, как я люблю его.

Когда они достигли, наконец, города и ехали узкими его улицами, оказалось нелегко удержать мальчика в пределах благоразумия. Здесь было заведение гробовщика Саурбери, точь-в-точь такое же, как и в прежние времена, только не такое большое и внушительное, каким оно ему запомнилось; здесь были хорошо знакомые лавки и дома, – чуть ли не с каждым из них он связывал какое-нибудь маленькое происшествие; здесь была повозка Гэмфилда – та самая, что и прежде, – и стояла она у двери старого трактира; здесь был работный дом, мрачная тюрьма его детства, с унылыми окнами, хмуро обращенными к улице; здесь был все тот же тощий привратник у ворот, при виде которого Оливер отпрянул, а потом сам засмеялся над своей глупостью, потом заплакал, потом снова засмеялся. В дверях и окнах он видел десятки знакомых людей; здесь почти все осталось по-прежнему, словно он только вчера покинул эти места, а та жизнь, какую он вел последнее время, была лишь счастливым сном. Однако это была подлинная, радостная действительность.

Они подъехали прямо к подъезду главной гостиницы (на которую Оливер смотрел, бывало, с благоговением, считая ее великолепным дворцом, но которая утратила часть своего великолепия и внушительности). Здесь уже ждал их мистер Гримуиг, поцеловавший молодую леди, а также и старую, когда они вышли из кареты, словно приходился дедушкой всей компании, – мистер Гримуиг, расплывавшийся в улыбках, приветливый и не выражавший желаний съесть свою голову, – да, ни разу, даже когда поспорил с очень старым форейтором о кратчайшем пути в Лондон и уверял, что он лучше знает, хотя только один раз ехал этой дорогой, да и то крепко спал. Их ждал обед, спальни были приготовлены, и все устроено, словно по волшебству.

И все же, когда по прошествии получаса суматоха улеглась, снова наступило то неловкое молчание, которое сопутствовало их путешествию. За обедом мистер Браунлоу не присоединился к ним и оставался в своей комнате. Два других джентльмена то приходили торопливо, то уходили с взволнованными лицами, а в те короткие промежутки времени, пока находились здесь, беседовали друг с другом в сторонке.

Один раз вызвали миссис Мэйли, и после часового отсутствия она вернулась с опухшими от слез глазами. Все это породило беспокойство и растерянность у Роз и Оливера, которые не были посвящены в новые тайны. В недоумении они сидели молча либо, если обменивались несколькими словами, говорили шепотом, словно боялись услышать звук

собственного голоса.

Наконец, когда пробило девять часов и они начали подумывать, что сегодня вечером им ничего больше не придется узнать, в комнату вошли мистер Лосберн и мистер Гримуиг в сопровождении мистера Браунлоу и человека, при виде которого Оливер чуть не вскрикнул от изумления: его предупредили, что придет его брат, а это был тот самый человек, которого он встретил в городе, где базар, и видел, когда тот вместе с Феджином заглядывал в окно его маленькой комнатки. Монкс бросил на пораженного мальчика взгляд, полный ненависти, которую даже теперь не мог скрыть, и сел у двери. Мистер Браунлоу, державший в руке какие-то бумаги, подошел к столу, у которого сидели Роз и Оливер.

– Это тягостная обязанность, – сказал он, – но заявления, подписанные в Лондоне в присутствии многих джентльменов, должны быть в основных чертах повторены здесь. Я бы хотел избавить вас от унижения, но мы должны услышать их из ваших собственных уст, прежде чем расстанемся. Причина вам известна.

– Продолжайте, – отвернувшись, сказал тот, к кому он обращался. – Поторопитесь. Думаю, я сделал почти все, что требуется. Не задерживайте меня здесь.

– Этот мальчик, – сказал мистер Браунлоу, притянув к себе Оливера и положив руку ему на голову, – ваш единокровный брат, незаконный сын вашего отца, дорогого моего друга Эдвина Лифорда, и бедной юной Агнес Флеминг, которая умерла, дав ему жизнь.

– Да, – отозвался Монкс, бросив хмурый взгляд на трепещущего мальчика, у которого сердце билось так, что он мог услышать его биение. – Это их незаконнорожденный ублодок.

– Вы позволяете себе оскорблять тех, – сурово сказал мистер Браунлоу, – кто давно ушел в иной мир, где бессильны наши жалкие осуждения. Оно не навлекает позора ни на одного живого человека, за исключением вас, воспользовавшегося им. Не будем об этом говорить... Он родился в этом городе.

– В здешнем работном доме, – последовал угрюмый ответ. – У вас там записана эта история. – С этими словами он нетерпеливо указал на бумаги.

– Вы должны сейчас ее повторить, – сказал мистер Браунлоу, окинув взглядом слушателей.

– Ну так слушайте! – воскликнул Монкс. – Когда его отец заболел в Риме, к нему приехала жена, моя мать, с которой он давно разошелся. Она выехала из Парижа и взяла меня с собой – мне кажется, она хотела присмотреть за его имуществом, так как сильной любви она к нему отнюдь не питала, так же как и он к ней. Нас он не узнал, потому что был без сознания и не приходил в себя вплоть до следующего дня, когда он умер. Среди бумаг у него в столе мы нашли пакет, помеченный вечером того дня, когда он заболел, и адресованный на ваше имя, – повернулся он к мистеру Браунлоу. – На конверте была короткая приписка, в которой он просил вас после его смерти переслать этот пакет по назначению. В нем лежали две бумаги – письмо к этой девушке – Агнес – и завещание.

– Что вы можете сказать о письме? – спросил мистер Браунлоу.

– О письме?... Лист бумаги, в котором многое было замазано, с покаянным признанием и молитвами богу о помощи ей. Он одурачил девушку сказкой, будто какая-то загадочная тайна, которая в конце концов должна раскрыться, препятствует в настоящее время его бракосочетанию с ней, и она жила, терпеливо доверяясь ему, пока ее доверие не зашло слишком далеко и она не утратила то, чего никто не мог ей вернуть. В то время ей оставалось всего несколько месяцев до родов. Он поведал ей обо всем, что намеревался сделать, чтобы скрыть ее позор, если будет жив, и умолял ее, если он умрет, не проклинать его памяти и не думать о том, что последствия их греха падут на нее или на их младенца, ибо вся вина лежит на нем. Он напоминал о том дне, когда подарил ей маленький медальон и кольцо, на котором было выгравировано ее имя и оставлено место для того имени, какое он надеялся когда-нибудь ей дать; умолял ее хранить медальон и носить на сердце, как она это делала раньше, а затем снова и снова повторял бессвязно все те же слова, как будто лишился рассудка. Думаю, так оно и было.

– А завещание? – задал вопрос мистер Браунлоу.

Оливер заливался слезами. Монкс молчал.

– Завещание, – заговорил вместо него мистер Браунлоу, – было составлено в том же духе, что и письмо. Он писал о несчастьях, какие навлекла на него его жена, о строптивом нраве, порочности, злобе, о том, что уже с раннего детства проявились дурные страсти у вас, его единственного сына, которого научили ненавидеть его, и оставил вам и вашей матери по восемьсот фунтов годового дохода каждому. Все остальное свое имущество он разделил на две равные части: одну для Агнес Флеминг, другую для ребенка, если он родится живым и достигнет совершеннолетия. Если бы родилась девочка, она должна была унаследовать деньги безоговорочно; если мальчик, то лишь при условии, что до совершеннолетия он не запятнает своего имени никаким позорным, бесчестным, подлым или порочным поступком. По его словам, он сделал это, чтобы подчеркнуть свое доверие к матери и свое убеждение, укрепившееся с приближением смерти, что ребенок унаследует ее кроткое сердце и благородную натуру. Если бы он обманулся в своих ожиданиях, деньги перешли бы к вам; ибо тогда – и только тогда, когда оба сына были бы равны, – соглашался он признать, что права притязать на его кошелек в первую очередь имеете вы, который никогда не притязал на его сердце, но еще в раннем детстве оттолкнул его своей холодностью и злобой.

– Моя мать, – повысив голос, сказал Монкс, – сделала то, что сделала бы любая женщина. Она сожгла это завещание. Письмо так и не достигло места своего назначения; но и письмо и другие доказательства она сохранила на случай, если эти люди когда-нибудь попытаются скрыть пятно позора. Отец девушки узнал от нее правду со всеми преувеличениями, какие могла подсказать ее жестокая ненависть, – за это я люблю ее теперь. Под гнетом стыда и бесчестия он бежал со своими детьми в самый отдаленный уголок Уэльса, переименовав даже свою фамилию, чтобы друзья не могли отыскать его убежище; и здесь, спустя некоторое время, его нашли мертвым в постели. За несколько недель до этого девушка тайком ушла из дому; он искал ее, бродя по окрестным городам и деревням. В ту самую ночь, когда он вернулся домой, уверенный, что она покончила с собой, чтобы скрыть свой и его позор, его старое сердце разорвалось.

Наступило короткое молчание, после которого мистер Браунлоу продолжал рассказ.

– По прошествии многих лет, – сказал он, – мать этого человека – Эдуарда Лифорда – явилась ко мне. Он покинул ее, когда ему было только восемнадцать лет; похитил у нее драгоценности и деньги; играл в азартные игры, швырял деньгами, не останавливался перед мошенничеством и бежал в Лондон, где в течение двух лет поддерживал связь с самыми гнусными подонками общества. Она страдала мучительным и неизлечимым недугом и хотела отыскать его перед смертью. Начато было дознание, и предприняты самые тщательные поиски. Долгое время они были безрезультатны, но в конце концов увенчались успехом, и он вернулся с матерью во Францию.

– Там она умерла после долгой болезни, – продолжал Монкс, – и на смертном одре завещала мне эти тайны, а также неутолимую и смертельную ненависть ко всем, кого они касались, – хотя ей незачем было завещать ее мне, потому что эту ненависть я унаследовал гораздо раньше. Она отказывалась верить, что девушка покончила с собой, а стало быть и с ребенком, и не сомневалась, что родился мальчик и этот мальчик жив. Я поклялся ей затравить его, если он когда-нибудь появится на моем пути; не давать ему ни минуты покоя; преследовать его с самой, неукротимой жестокостью; излить на него всю сжигающую меня ненависть и, если сумею, притащить его к самому подножию виселиц, и тем посмеяться над оскорбительным завещанием отца. Она была права. Он появился, наконец, на моем пути. Я начал хорошо, и, не будь этих болтливых шлюх, я бы кончил так же, как начал!

Когда негодяй скрестил руки и в бессильной злобе стал вполголоса проклинать самого себя, мистер Браунлоу повернулся к потрясенным слушателям и пояснил, что еврей, старый сообщник и доверенное лицо Монкса, получил большое вознаграждение за то, чтобы держать в сетях Оливера, причем часть этого вознаграждения надлежало возвратить в случае, если тому удастся спастись, и что спор, возникший по этому поводу, повлек за собой их посещение загородного дома с целью опознать мальчика.

– Медальон и кольцо? – сказал мистер Браунлоу, поворачиваясь к Монксу.

– Я их купил, у мужчины и женщины, о которых говорил вам, а они украли их у сиделки, которая сияла их с трупа, – не поднимая глаз, ответил Монкс. – Вам известно, что случилось с ними.

Мистер Браунлоу кивнул мистеру Гримуигу, который, стремительно выбежав из комнаты, вскоре вернулся, подталкивая вперед миссис Бамбл и таща за собою упирающегося супруга.

– Уж не обманывают ли меня глаза, или это в самом деле маленький Оливер? – воскликнул мистер Бамбл с явно притворным восторгом. – Ах, Оливер, если бы ты знал, как я горевал о тебе!..

– Придержи язык, болван! – пробормотала миссис Бамбл.

– Это голос природы, природы, миссис Бамбл! – возразил надзиратель работного дома. – Неужели я не могу расчувствоваться – я, воспитавший его по-приходски, – когда вижу, как он восседает здесь среди леди и джентльменов самой приятнейшей наружности! Я всегда любил этого мальчика, как будто он приходился мне родным... родным дедушкой, – продолжал мистер Бамбл, запнувшись и подыскивая удачное сравнение. – Оливер, дорогой мой, ты помнишь того достойного джентльмена в белом жилете? Ах, Оливер, на прошлой неделе он отошел на небо в дубовом гробу с ручками накладного серебра.

– Довольно, сэр! – резко сказал мистер Гримуиг. – Сдержите свои чувства.

– Постараюсь по мере сил, сэр, – ответил мистер Бамбл. – Как поживаете, сэр? Надеюсь, – вы в добром здравье.

Это приветствие было обращено к мистеру Браунлоу, который остановился в двух шагах от почтенной четы. Он спросил, указывая на Монкса:

– Знаете ли вы этого человека?

– Нет, – решительно ответила Миссис Бамбл.

– Быть может, и вы не знаете? – сказал мистер Браунлоу, обращаясь к ее супругу.

– Ни разу в жизни его не видел, – сказал мистер Бамбл.

– И, может быть, ничего ему не продавали?

– Ничего, – ответила миссис Бамбл.

– И, может быть, у вас никогда не было золотого медальона и кольца? – сказал мистер Браунлоу.

– Конечно, не было! – ответила надзирательница. – Зачем нас привели сюда и заставляют отвечать на такие дурацкие вопросы?

Снова мистер Браунлоу кивнул мистеру Гримуигу, и снова сей джентльмен с величайшей готовностью вышел, прихрамывая. На этот раз его сопровождали не дородный мужчина с женой, а две параличных женщины, которые шли, трясясь и шатаясь.

– Вы закрыли дверь, когда умирала старая Салли, – сказала шедшая впереди, поднимая высохшую руку, – во вы не могли заглушить звуки и заткнуть щели.

– Вот, вот, – сказала вторая, озираясь и двигая беззубыми челюстями. – Вот... вот...

– Мы слышали, как Салли пыталась рассказать вам, что она сделала, и видели, как вы взяли у нее из рук бумагу, а на следующий день мы проследили вас до лавки ростовщика, – сказала первая.

– Вот, вот! – подтвердила вторая. – Медальон и золотое кольцо. Мы это разузнали и видели, как вам их отдали. Мы были поблизости, да поблизости!

– И мы еще больше знаем, – продолжала первая. – Много времени назад мы слышали от нее о том, как молодая мать сказала, что направлялась к могиле отца ребенка, чтобы там умереть: когда ей стало плохо, она почувствовала, что ей не остаться в живых.

– Не желаете ли повидать самого ростовщика? – спросил мистер Гримуиг, направившись к двери.

– Нет! – ответила миссис Бамбл. – Если он, – она указала на Монкса, – струсил и признался, – вижу, что он это сделал, – а вы расспрашивали всех этих ведьм, пока не нашли подходящих, мне нечего больше сказать. Да, я продала эти вещи, и сейчас они там, откуда вы

их никогда не добудете! Что дальше?

– Ничего, – отозвался мистер Браунлоу. – За одним исключением: нам остается позаботиться о том, чтобы вы оба не занимали больше должностей, требующих доверия. Уходите!

– Надеюсь... – сказал мистер Бамбл, с великим унынием посматривая вокруг, когда мистер Гримуиг вышел с двумя старухами, – надеюсь, эта злополучная, ничтожная случайность не лишит меня моего поста в приходе?

– Разумеется, лишит, – ответил мистер Браунлоу. – С этим вы должны примириться и вдобавок почитать себя счастливым.

– Это все миссис Бамбл! Она настаивала на этом, – упорствовал мистер Бамбл, оглянувшись сначала, дабы удостовериться, что спутница его жизни покинула комнату.

– Это не оправдание! – возразил мистер Браунлоу. – Эти вещицы были уничтожены в вашем присутствии, и по закону вы еще более виновны, ибо закон полагает, что ваша жена действует по вашим указаниям.

– Если закон это полагает, – сказал мистер Бамбл, выразительно сжимая обеими руками свою шляпу, – стало быть, закон – осел... идиот! Если такова точка зрения закона, значит закон – холостяк, и наихудшее, что я могу ему пожелать, – это чтобы глаза у него раскрылись благодаря опыту... благодаря опыту!..

Повторив последние два слова с энергическим ударением, мистер Бамбл плотно нахлобучил шляпу и, засунув руки в карманы, последовал вниз по лестнице за подругой своей жизни.

– Милая леди, – сказал мистер Браунлоу, обращаясь к Роз, – дайте мне вашу руку. Не надо дрожать. Вы можете без страха выслушать те последние несколько слов, какие нам осталось сказать.

– Если они... я не допускаю этой возможности, но если они имеют... какое-то отношение ко мне, – сказала Роз, – прошу вас, разрешите мне выслушать их в другой раз. Сейчас у меня не хватит ни сил, ни мужества.

– Нет, – возразил старый джентльмен, продевая ее руку под свою, – я уверен, что у вас хватит твердости духа... Знаете ли вы эту молодую леди, сэр?

– Да, – ответил Монкс.

– Я никогда не видела вас, – слабым голосом сказала Роз.

– Я вас часто видел, – произнес Монкс.

– У отца несчастной Агнес было две дочери, – сказал мистер Браунлоу. – Какова судьба другой – маленькой девочки?

– Девочку, – ответил Монкс, – когда ее отец умер в чужом месте, под чужой фамилией, не оставив ни письма, ни клочка бумаги, которые дали бы хоть какую-то нить, чтобы отыскать его друзей или родственников, – девочку взяли бедняки-крестьяне, воспитавшие ее, как родную.

– Продолжайте, – сказал мистер Браунлоу, знаком приглашая миссис Мэйли подойти ближе. – Продолжайте!

– Вам бы не найти того места, куда удалились эти люди, – сказал Монкс, – но там, где терпит неудачу дружба, часто пробивает себе путь ненависть. Моя мать нашла это место после искусных поисков, длившихся год, – и нашла девочку.

– Она взяла ее к себе?

– Нет. Эти люди были бедны, и им начало надоедать – во всяком случае, мужу – их похвальное человеколюбие; поэтому моя мать оставила ее у них, дав им небольшую сумму денег, которой не могло хватить надолго, и обещала выслать еще, чего отнюдь не намеревалась делать. Впрочем, она не совсем полагалась на то, что недовольство и бедность сделают девочку несчастной, И рассказала этим людям о позоре ее сестры с теми изменениями, какие считала нужными, просила их хорошенько присматривать за девочкой, так как у нее дурная кровь, и сказала им, что она незаконнорожденная и рано или поздно несомненно собьется с пути. Все это подтверждалось обстоятельствами; эти люди поверили.

И ребенок влачил существование достаточно жалкое, чтобы удовлетворить даже нас, но случайно одна леди, вдова, проживавшая в то время в Честере, увидела девочку, почувствовала к ней сострадание и взяла ее к себе. Мне кажется, против нас действовали какие-то проклятые чары, потому что, несмотря на все наши усилия, она осталась у этой леди и была счастлива. Года два-три назад я потерял ее из виду и снова встретил всего за несколько месяцев до этого дня.

– Вы видите ее сейчас?

– Да. Она опирается о вашу руку.

– Но она по-прежнему моя племянница, – воскликнула миссис Мэйли, обнимая слабеющую девушку, – она по-прежнему мое дорогое дитя! Ни за какие блага в мире не рассталась бы я с ней теперь: это моя милая, родная девочка!

– Единственный мой друг! – воскликнула Роз, прижимаясь к ней. – Самый добрый, самый лучший из друзей! У меня сердце разрывается. Я не в силах все это вынести!

– Ты вынесла больше и, несмотря ни на что, оставалась всегда самой милой и кроткой девушкой, делавшей счастливыми всех, кого ты знала, – нежно обнимая ее, сказала миссис Мэйли. – Полно, полно, дорогая моя! Подумай о том, кому не терпится заключить тебя в свои объятия! Взгляни сюда... посмотри, посмотри моя милая!

– Нет, она мне не тетя! – вскричал Оливер, обвивая руками ее шею. – Я никогда не буду называть ее тетей!.. Сестра... моя дорогая сестра, которую почему-то я сразу так горячо полюбил! Роз, милая, дорогая Роз!

Да будут священны эти слезы и те бессвязные слова, какими обменялись сироты, заключившие друг друга в долгие, крепкие объятия! Отец, сестра и мать были обретены и потеряны в течение одного мгновения. Радость и горе смешались в одной чаше, но это не были горькие слезы; ибо сама скорбь была такой смягченной и окутанной такими нежными воспоминаниями, что, перестав быть мучительной, превратилась в торжественную радость.

Долго-долго оставались они вдвоем. Наконец, тихий стук возвестил о том, что кто-то стоит за дверью. Оливер открыл дверь, выскользнул из комнаты и уступил место: Гарри Мэйли.

– Я знаю все! – сказал он, садясь рядом с прелестной девушкой. – Дорогая Роз, я знаю все!.. Я здесь не случайно, – добавил он после долгого молчания. – И обо всем этом я, услышал не сегодня, я это узнал вчера – только вчера... Вы догадываетесь, что я пришел напомнить вам об одном обещании?

– Подождите, – сказала Роз. – Вы знаете все?

– Все... Вы разрешили мне в любое время в течение года вернуться к предмету нашего последнего разговора.

– Разрешила.

– Не ради того, чтобы заставить вас изменить свое решение, – продолжал молодой человек, – но чтобы выслушать, как вы его повторите, если пожелаете. Я должен был положить к вашим ногам то положение в обществе и то состояние, какие могли у меня быть, и если бы вы не отступили от первоначального своего решения, я взял на себя обязательство не пытаться ни словом, ни делом его изменить.

– Те самые причины, какие влияли на меня тогда, будут влиять на меня и теперь, – твердо сказала Роз. – Если есть у меня твердое и неуклонное чувство долга по отношению к той, чья доброта спасла меня от нищеты и страданий, то могло ли оно быть когда-нибудь сильнее, чем сегодня?... Это борьба, – добавила Роз, – но я буду с гордостью ее вести. Это боль, но ее мое сердце перенесет.

– Разоблачения сегодняшнего вечера... – начал Гарри.

– Разоблачения сегодняшнего вечера, – мягко повторила Роз, – не изменяют моего положения.

– Вы ожесточаете свое сердце против меня, Роз, – возразил влюбленный.

– Ах, Гарри, Гарри! – залившись слезами, сказала молодая леди. – Хотелось бы мне, чтобы я могла это сделать и избавить себя от такой муки!

– Зачем же причинять ее себе? – сказал Гарри, взяв ее руку. – Подумайте, дорогая Роз, подумайте о том, что вы слышали сегодня вечером.

– А что я слышала? Что я слышала? – воскликнула Роз. – Сознание, что он обещан, так повлияло на моего отца, что он бежал от всех... Вот что я слышала! Довольно... достаточно сказано, Гарри, достаточно сказано!

– Еще нет! – сказал молодой человек, удерживая ее, когда она встала. – Мои надежды, желания, виды на будущее, чувства, каждая мысль – все, за исключением моей любви к вам, претерпело изменения. Я не предлагаю вам теперь почетного положения в суетном свете, я не предлагаю вам общаться с миром злобы и унижений, где честного человека заставляют краснеть отнюдь не из-за подлинного бесчестия и позора... Я предлагаю свой домашний очаг – сердце и домашний очаг, – да, дорогая Роз, и только это, только это я и могу вам предложить.

– Что вы хотите сказать? – запинаясь, выговорила Роз.

– Я хочу сказать только одно: когда я расстался с вами в последний раз, я вас покинул с твердой решимостью сравнять с землей все воображаемые преграды между вами и мной. Я решил, что, если мой мир не может быть вашим, я сделаю ваш мир своим; я решил, что ни один из тех, кто чванится своим происхождением, не будет презрительно смотреть на вас, ибо я отвернусь от них. Это я сделал. Те, которые отшатнулись от меня из-за этого, отшатнулись от вас и доказали, что в этом смысле вы были правы. Те покровители, власть имущие, и те влиятельные и знатные родственники, которые улыбались мне тогда, смотрят теперь холодно. Но есть в самом преуспевающем графстве Англии веселые поля и колеблемые ветром рощи, а близ одной деревенской церкви – моей церкви. Роз, моей! – стоит деревенский коттедж, и вы можете заставить меня гордиться им в тысячу раз больше, чем всеми надеждами, от которых я отрекся. Таково теперь *мое* положение и звание, и я их кладу к вашим ногам.

– Пренеприятная штука – ждать влюбленных к ужину! – сказал мистер Гримуиг, просыпаясь и сдергивая с головы носовой платок.

По правде говоря, ужин откладывали возмутительно долго... Ни миссис Мэйли, ни Гарри, ни Роз (которые вошли все вместе) ничего не могли сказать в оправдание.

– У меня было серьезное намерение съесть сегодня вечером свою голову, – сказал мистер Гримуиг, – так как я начал подумывать, что ничего другого не получу. С вашего разрешения, я беру на себя смелость поцеловать невесту.

Не теряя времени, мистер Гримуиг привел эти слова в исполнение и поцеловал зарумянившуюся девушку, а его примеру, оказавшемуся заразительным, последовали и доктор и мистер Браунлоу. Кое-кто утверждает, что Гарри Мэйли первый подал пример в соседней комнате, но наиболее авторитетные лица считают это явной клеветой, так как он молод и к тому же священник.

– Оливер, дитя мое, – сказала миссис Мэйли, – где ты был и почему у тебя такой печальный вид? Вот и сейчас ты плачешь. Что случилось?

Наш мир – мир разочарований, и нередко разочарований в тех надеждах, какие мы больше всего лелеем, и в надеждах, которые делают великую честь нашей природе.

Бедный Дик умер!

Глава LII **Последняя ночь Феджина**

Снизу доверху зал суда был битком набит людьми. Испытующие, горящие нетерпением глаза заполняли каждый дюйм пространства. От перил перед скамьей подсудимых и вплоть до самого тесного и крохотного уголка на галерее все взоры были прикованы к одному человеку – Феджину, – перед ним, сзади него, вверху, внизу, справа и слева; он, казалось, стоял окруженный небосводом, усеянным сверкающими глазами.

Он стоял в лучах этого живого света, одну руку опустив на деревянную перекладину перед собой, другую – поднеся к уху и вытягивая шею, чтобы отчетливее слышать каждое слово, срывавшееся с уст председательствующего судьи, который обращался с речью к присяжным. Иногда он быстро переводил на них взгляд, стараясь подметить впечатление, произведенное каким-нибудь незначительным, почти невесомым доводом в его пользу, а когда обвинительные пункты излагались с ужасающей ясностью, посматривал на своего адвоката с немой мольбой, чтобы тот хоть теперь сказал что-нибудь в его защиту. Если не считать этих проявлений тревоги, он не шевельнул ни рукой, ни ногой. Вряд ли он сделал хоть одно движение с самого начала судебного разбирательства, и теперь, когда судья умолк, он оставался в той же напряженной позе, выражавшей глубокое внимание, и не сводил с него глаз, словно все еще слушал.

Легкая суета в зале заставила его опомниться. Оглянувшись, он увидел, что присяжные придвинулись друг к другу, чтобы обсудить приговор. Когда его взгляд блуждал по галерее, он мог наблюдать, как люди приподнимаются, стараясь разглядеть его лицо; одни торопливо подносили к глазам бинокль, другие с видом, выражающим омерзение, шептали что-то соседям. Были здесь немногие, которые как будто не обращали на него внимания и смотрели только на присяжных, досадливо недоумевая, как могут они медлить. Но ни на одном лице – даже у женщин, которых здесь было множество, не прочел он ни малейшего сочувствия, ничего, кроме всепоглощающего желания услышать, как его осудят.

Когда он все это заметил, бросив вокруг растерянный взгляд, снова наступила мертвая тишина, и, оглянувшись, он увидел, что присяжные повернулись к судье. Тише!

Но они просили только разрешения удалиться. Он пристально всматривался в их лица, когда один за другим они выходили, как будто надеялся узнать, к чему склоняется большинство; но это было тщетно. Тюремщик тронул его за плечо. Он машинально последовал за ним с помоста и сел на стул. Стул указал ему тюремщик, иначе он бы его не увидел.

Снова он поднял глаза к галерее. Кое-кто из публики закусывал, а некоторые обмахивались носовыми платками, так как в переполненном зале было очень жарко. Какой-то молодой человек зарисовывал его лицо в маленькую записную книжку. Он задал себе вопрос, есть ли сходство, и, словно был праздным зрителем, смотрел на художника, когда тот сломал карандаш и очинил его перочинным ножом.

Когда он перевел взгляд на судью, в голове у него закопошились мысли о покрое его одежды, о том, сколько она стоит и как он ее надевает. Одно из судейских кресел занимал старый толстый джентльмен, который с полчаса назад вышел и сейчас вернулся. Он задавал себе вопрос, уходил ли этот человек обедать, что было у него на обед и где он обедал, и предавался этим пустым размышлениям, пока какой-то другой человек не привлек его внимания и не вызвал новых размышлений.

Однако в течение всего этого времени его мозг ни на секунду не мог избавиться от гнетущего, ошеломляющего сознания, что у ног его разверзлась могила; оно не покидало его, но это было смутное, неопределенное представление, и он не мог на нем сосредоточиться. Но даже сейчас, когда он дрожал и его бросало в жар при мысли о близкой смерти, он принялся считать железные прутья перед собой и размышлять о том, как могла отломиться верхушка одного из них и починят ли ее или оставят такой, какая есть. Потом он вспомнил обо всех ужасах виселицы и эшафота и вдруг отвлекся, следя за человеком, кропившим пол водой, чтобы охладить его, а потом снова задумался.

Наконец, раздался возглас, призывающий к молчанию, и все, затаив дыхание, устремили взгляд на дверь. Присяжные вернулись и прошли мимо него. Он ничего не мог угадать по их лицам: они были словно каменные. Спустилась глубокая тишина... ни шороха... ни вдоха... Виновен!

Зал огласился страшными криками, повторявшимися снова и снова, а затем эхом прокатился громкий рев, который усиливался, нарастая, как грозные раскаты грома. То был взрыв радости толпы, ликующей перед зданием суда при вести о том, что он умрет в

понедельник.

Шум утих, и его спросили, имеет ли он что-нибудь сказать против вынесенного ему смертного приговора. Он принял прежнюю напряженную позу и пристально смотрел на вопрошавшего; но вопрос повторили дважды, прежде чем Феджин его расслышал, а тогда он пробормотал только, что он – старик... старик... старик... и, понизив голос до шепота, снова умолк.

Судья надел черную шапочку, а осужденный стоял все с тем же видом и в той же позе. У женщин на галерее вырвалось восклицание, вызванное этим страшным и торжественным моментом. Феджин быстро поднял глаза, словно рассерженный этой помехой, и с еще большим вниманием наклонился вперед. Речь, обращенная к нему, была торжественна и внушительна; приговор страшно было слушать. Но он стоял, как мраморная статуя: ни один мускул не дрогнул. Его лицо с отвисшей нижней челюстью и широко раскрытыми глазами было изможденным, и он все еще вытягивал шею, когда тюремщик положил ему руку на плечо и поманил его к выходу. Он тупо посмотрел вокруг и повиновался.

Его повели через комнату с каменным полом, находившуюся под залом суда, где одни арестанты ждали своей очереди, а другие беседовали с друзьями, которые толпились у решетки, выходящей на открытый двор. Не было никого, кто бы поговорил с ним; но когда он проходил мимо, арестованные расступились, чтобы не заслонять его от тех, кто прильнул к прутьям решетки, а те осыпали его ругательствами, кричали и свистели. Он погрозил кулаком и хотел плюнуть на них, но сопровождающие увлекли его мрачным коридором, освещенным несколькими тусклыми лампами, в недра тюрьмы.

Здесь его обыскали – нет ли при нем каких-нибудь средств, которые могли бы предварить исполнение приговора; по совершении этой церемонии его отвели в одну из камер для осужденных и оставили здесь одного.

Он опустился на каменную скамью против двери, служившую стулом и ложем, и, уставившись налитыми кровью глазами в пол, попытался собраться с мыслями. Спустя некоторое время он начал припоминать отдельные, не связанные между собой фразы из речи судьи, хотя тогда ему казалось, что он ни слова не может расслышать. Постепенно они расположились в должном порядке, – а за ними пришли и другие. Вскоре он восстановил почти всю речь. Быть повешенным, за шею, пока не умрет, – таков был приговор. Быть повешенным за шею, пока не умрет.

Когда совсем стемнело, он начал думать обо всех знакомых ему людях, которые умерли на эшафоте – иные не без его помощи. Они возникали перед ним в такой стремительной последовательности, что он едва мог их сосчитать. Он видел, как умерли иные из них, и посмеивался, потому что они умирали с молитвой на устах. С каким стуком падала доска⁴⁴ и как быстро превращались они из крепких, здоровых людей в качающиеся тюки одежды!

Может быть, кое-кто из них находился в этой самой камере – сидел на этом самом месте. Было очень темно; почему не принесли света? Эта камера была выстроена много лет назад. Должно быть, десятки людей проводили здесь последние свои часы. Казалось, будто сидишь в склепе, устланном мертвыми телами, – капюшон, петля, связанные руки, лица, которые он узнавал даже сквозь это отвратительное покрывало... Света, света!

Наконец, когда он в кровь разбил руки, колотя о тяжелую дверь и стены, появилось двое: один нес свечу, которую затем вставил в железный фонарь, прикрепленный к стене; другой тащил тюфяк, чтобы переспать на нем, так как заключенного больше не должны были оставлять одного.

Вскоре настала ночь – темная, унылая, немая ночь. Другим, бодрствующим, радостно прислушиваться к бою часов на церкви, потому что он возвещает о жизни и следующем дне.

⁴⁴ С каким стуком падала доска... – доска, которую выдергивают из-под ног осужденного при совершении казни через повешение.

Ему он приносил отчаяние. В каждом звуке медного колокола, его глухом и низком «бум», ему слышалось – «смерть». Что толку было от шума и суеты беззаботного утра, проникавших даже сюда, к нему? Это был все тот же похоронный звон, в котором издевательство слилось с предостережением.

День миновал. День? Не было никакого дня; он пролетел так же быстро, как наступил, – и снова спустилась ночь, ночь такая долгая и все же такая короткая: долгая благодаря устрашающему своему безмолвию и короткая благодаря быстротечным своим часам. Он то бесновался и богохульствовал, то выл и рвал на себе волосы. Его почтенные единоверцы пришли, чтобы помолиться вместе с ним, но он их прогнал с проклятиями. Они возобновили свои благочестивые усилия, но он вытолкнул их вон.

Ночь с субботы на воскресенье. Ему осталось жить еще одну ночь. И пока он размышлял об этом, настал день – воскресенье.

Только к вечеру этого последнего, ужасного дня угнетающее сознание беспомощного и отчаянного его положения охватило во всей своей напряженности его порочную душу – не потому, что он лелеял какую-то твердую надежду на помилование, а потому, что до сей поры он допускал лишь смутную возможность столь близкой смерти. Он мало говорил с теми двумя людьми, которые сменяли друг друга, присматривая за ним, а они в свою очередь не пытались привлечь его внимание. Он сидел бодрствуя, но грезя. Иногда он вскакивал и с раскрытым ртом, весь в жару, бегал взад и вперед в таком припадке страха и злобы, что даже они – привычные к таким сценам – отшатывались от него с ужасом. Наконец, он стал столь страшен, терзаемый нечистой своей совестью, что один человек не в силах был сидеть с ним с глазу на глаз – и теперь они сторожили его вдвоем.

Он прикорнул на своем каменном ложе и задумался о прошлом. Он был ранен каким-то предметом, брошенным в него из толпы в день ареста, и голова его была обмотана полотняными бинтами. Рыжие волосы свешивались на бескровное лицо; борода сбилась, несколько клочьев было вырвано; глаза горели страшным огнем; невытая кожа трескалась от пожирившей его лихорадки. Восемь... девять... десять... Если это не фокус, чтобы запугать его, если это и в самом деле часы, следующие по пятам друг за другом, где будет он, когда стрелка обойдет еще круг! Одиннадцать! Снова бой, а эхо предыдущего часа еще не отзвучало. В восемь он будет единственным плакальщиком в своей собственной траурной процессии. В одиннадцать...

Страшные стены Ньюгета, скрывавшие столько страдания и столько невыразимой тоски не только от глаз, но – слишком часто и слишком долго – от мыслей людей, никогда не видели зрелища столь ужасного. Те немногие, которые, проходя мимо, замедляли шаги и задавали себе вопрос, что делает человек, приговоренный к повешению, плохо спали бы в эту ночь, если бы могли его увидеть.

С раннего вечера и почти до полуночи маленькие группы, из двух-трех человек, приближались ко входу в привратническую, и люди с встревоженным видом осведомлялись, не отложен ли смертный приговор. Получив отрицательный ответ, они передавали желанную весть другим группам, собиравшимся на улице, указывали друг другу дверь, откуда он должен был выйти, и место для эшафота, а затем, неохотно уходя, оглядывались, мысленно представляя себе это зрелище. Мало-помалу они ушли один за другим, и в течение часа в глухую пору ночи улица оставалась безлюдной и темной.

Площадка перед тюрьмой была расчищена, и несколько крепких брусьев, окрашенных в черный цвет, были положены заранее, чтобы сдерживать натиск толпы, когда у калитки появились мистер Браунлоу и Оливер и предъявили разрешение на свидание с заключенным, подписанное одним из шерифов.⁴⁵ Их немедленно впустили в привратническую.

– И этот юный джентльмен тоже войдет, сэр? – спросил человек, которому поручено

⁴⁵ *Шериф* – высший представитель исполнительной власти в графстве (области), ведающий полицией и уголовным розыском, а также надзирающий за организацией выборов в парламент, исполнением судебных решений и тому подобным.

было сопровождать их. – Такое зрелище не для детей, сэр.

– Верно, друг мой, – сказал мистер Браунлоу, – но мальчик имеет прямое отношение к тому делу, которое привело меня к этому человеку; а так как этот ребенок видел его в пору его преуспевания и злодейств, то я считаю полезным, чтобы он увидел его теперь, хотя бы это вызвало страх и причинило страдания.

Эти несколько слов были сказаны в сторонке – так, чтобы Оливер их не слышал. Человек притронулся к шляпе и, с любопытством взглянув – на Оливера, открыл другие ворота, против тех, в которые они вошли, и темными, извилистыми коридорами повел их к камерам.

– Вот здесь, – сказал он, останавливаясь в мрачном коридоре, где двое рабочих в глубоком молчании занимались какими-то приготовлениями, – вот здесь он будет проходить. А если вы заглянете сюда, то увидите дверь, через которую он выйдет.

Он ввел их в кухню с каменным полом, уставленную медными котлами для варки тюремной пищи, и указал на дверь. На ней было зарешеченное отверстие, в которое врывались голоса, сливаясь со стуком молотков и грохотом падающих досок. Там возводили эшафот.

Далее они миновали несколько массивных ворот, которые отпирали другие тюремщики с внутренней стороны, и, пройдя открытым двором, поднялись по узкой лестнице и вступили в коридор с рядом дверей по левую руку. Подав им знак остановиться здесь, тюремщик постучал в одну из них связкой ключей. Оба сторожа, пошептавшись, вышли, потягиваясь, в коридор, словно обрадованные передышкой, и предложили посетителям войти вслед за тюремщиком в камеру. Они вошли.

Осужденный сидел на скамье, раскачиваясь из стороны в сторону; лицо его напоминало скорее морду затравленного зверя, чем лицо человека. По-видимому, мысли его блуждали в прошлом, потому что он без умолку бормотал, казалось воспринимая посетителей только как участников своих галлюцинаций.

– Славный мальчик, Чарли... ловко сделано... – бормотал он. – Оливер тоже... ха-ха-ха!.. и Оливер... Он теперь совсем джентльмен... совсем джентль... уведите этого мальчика спать!

Тюремщик взял Оливера за руку и, шепнув, чтобы он не боялся, молча смотрел.

– Уведите его спать! – крикнул Феджин. – Слышите вы меня, кто-нибудь из вас? Он... он... причина всего этого. Дадут денег, если приучить его... глотку Болтера... Билл, не возитесь с девушкой... режьте как можно глубже глотку Болтера. Отпилите ему голову!

– Феджин! – окликнул его тюремщик.

– Это я! – воскликнул еврей, мгновенно принимая ту напряженную позу, какую сохранял во время суда. – Старик, милорд! Дряхлый, дряхлый старик!

– Слушайте! – сказал тюремщик, положив ему руку на грудь, чтобы он не вставал. – Вас хотят видеть, чтобы о чем-то спросить. Феджин, Феджин! Ведь вы мужчина!

– Мне недолго им быть, – ответил тот, поднимая лицо, не выражавшее никаких человеческих чувств, кроме бешенства и ужаса. – Прикончите их всех! Какое имеют они право убивать меня?

Тут он заметил Оливера и мистера Браунлоу. Забившись в самый дальний угол скамьи, он спросил, что им здесь нужно.

– Сидите смирно, – сказал тюремщик, все еще придерживая его. – А теперь, сэр, говорите то, что вам нужно. Пожалуйста, поскорее, потому что с каждым часом он становится все хуже!

– У вас есть кое-какие бумаги, – подойдя к нему, сказал мистер Браунлоу, – которые передал вам для большей сохранности человек по имени Монкс.

– Все это ложь! – ответил Феджин. – У меня нет ни одной, ни одной!

– Ради господ бога, – торжественно сказал мистер Браунлоу, – не говорите так сейчас, на пороге смерти! Ответьте мне, где они. Вы знаете, что Сайкс умер, что Монкс сознался, что нет больше надежды извлечь какую-нибудь выгоду. Где эти бумаги?

– Оливер! – крикнул Феджин, поманив его. – Сюда, сюда! Я хочу сказать тебе что-то на ухо.

– Я не боюсь, – тихо сказал Оливер, выпустив руку мистера Браунлоу.

– Бумаги, – сказал Феджин, притягивая к себе Оливера, – бумаги в холщовом мешке спрятаны в отверстии над самым камином в комнате наверху... Я хочу поговорить с тобой, мой милый. Я хочу поговорить с тобой.

– Хорошо, хорошо, – ответил Оливер. – Позвольте мне прочитать молитву. Прошу вас! Позвольте мне прочитать одну молитву. На коленях прочитайте вместе со мной только одну молитву, и мы будем говорить до утра.

– Туда, туда! – сказал Феджин, толкая перед собой мальчика к двери и растерянно глядя поверх его головы. – Скажи, что я лег спать, – тебе они поверят. Ты можешь меня вывести, если пойдешь вот так. Ну же, ну!

– О боже, прости этому несчастному! – заливаясь слезами, вскричал мальчик.

– Прекрасно, прекрасно! – сказал Феджин. – Это нам поможет. Сначала в эту дверь. Если я начну дрожать и трястись, когда мы будем проходить мимо виселицы, не обращай внимания и ускорь шаги. Ну, ну, ну!

– Вам больше не о чем его спрашивать, сэр? – осведомился тюремщик.

– Больше нет никаких вопросов, – ответил мистер Браунлоу. – Если бы я надеялся, что можно добиться, чтобы он понял свое положение...

– Это безнадежно, сэр, – ответил тот, покачав головой. – Лучше оставьте его.

Дверь камеры открылась, и вернулись сторожа.

– Поторопись, поторопись! – крикнул Феджин. – Без шума, но не мешкай. Скорее, скорее!

Люди схватили его и, освободив из его рук Оливера, оттащили назад. С минуту он отбивался с силой отчаяния, а затем начал испускать вопли, которые проникали даже сквозь эти толстые стены и звенели у посетителей в ушах, пока они не вышли во двор.

Не сразу покинули они тюрьму. Оливер чуть не упал в обморок после этой страшной сцены и так ослабел, что в течение часа, если не больше, не в силах был идти.

Светало, когда они вышли. Уже собралась огромная толпа; во всех окнах теснились люди, курившие и игравшие в карты, чтобы скоротать время; в толпе толкались, спорили, шутили. Все говорило о кипучей жизни – все, кроме страшных предметов в самом центре: черного помоста, поперечной перекладки, веревки и прочих отвратительных орудий смерти.

Глава LIII и последняя

Рассказ о судьбе тех, кто выступал в этой повести, почти закончен. То небольшое, что остается поведать их историю, мы изложим коротко и просто.

Не прошло и трех месяцев, как Роз Флеминг и Гарри Мэйли сочетались браком в деревенской церкви, где отныне должен был трудиться молодой священник; в тот же день они вступили во владение своим новым и счастливым домом.

Миссис Мэйли поселилась у своего сына и невестки, чтобы в течение остающихся ей безмятежных дней наслаждаться величайшим блаженством, какое может быть ведомо почтенной старости: созерцанием счастья тех, на кого неустанно расточались самая горячая любовь и нежнейшая забота всей жизни, прожитой столь достойно.

После основательного и тщательного расследования обнаружилось, что, если остатки промотанного состояния, находившегося у Монкса (оно никогда не увеличивалось ни в его руках, ни в руках его матери), разделить поровну между ним и Оливером, каждый получит немногим больше трех тысяч фунтов. Согласно условиям отцовского завещания, Оливер имел права на все имущество; но мистер Браунлоу, не желая лишать старшего сына возможности отречься от прежних пороков и вести честную жизнь, предложил такой раздел,

на который его юный питомец с радостью согласился.

Монкс, все еще под этим вымышленным именем, уехал со своей долей наследства в самую удаленную часть Нового Света, где, быстро растратив все, вновь вступил на прежний путь и за какое-то мошенническое деяние попал в тюрьму, где пробыл долго, был сражен приступом прежней своей болезни и умер. Так же далеко от родины умерли главные уцелевшие члены шайки его приятеля Феджина.

Мистер Браунлоу усыновил Оливера. Поселившись с ним и старой экономкой на расстоянии мили от приходского дома, в котором жили его добрые друзья, он исполнил единственное еще не удовлетворенное желание преданного и любящего Оливера, и все маленькое общество собралось вместе и зажило такой счастливой жизнью, какая только возможна в этом полном превратностей мире.

Вскоре после свадьбы молодой пары достойный доктор вернулся в Чертси, где, лишенный общества старых своих друзей, мог бы предаться хандре, если бы по своему нраву был на это способен, и превратился бы в брюзгу, если бы знал, как это сделать. В течение двух-трех месяцев он ограничивался намеками, что опасается, не вредит ли здешний климат его здоровью; затем, убедившись, что эта местность потеряла для него прежнюю притягательную силу, передал практику помощнику, поселился в холостяцком коттедже на окраине деревни, где его молодой друг был пастором, и мгновенно выздоровел. Здесь он увлекся садоводством, посадкой деревьев, ужением, столярными работами и различными другими занятиями в таком же роде, которым отдался с присущей ему пылкостью. Во всех этих занятиях он прославился по всей округе как величайший авторитет.



Еще до своего переселения он воспылил дружескими чувствами к мистеру Гримуигу, на которые этот эксцентрический джентльмен отвечал искренней взаимностью. Поэтому великое множество раз на протяжении года мистер Гримуиг навещает его. И каждый раз, когда он приезжает, мистер Гримуиг сажает деревья, удит рыбу и столярничает с большим рвением, делая все это странно и необычно, но упорно повторяя любимое свое утверждение, что его способ – самый правильный. По воскресеньям в разговоре с молодым священником он неизменно критикует его проповедь, всегда сообщая затем мистеру Лосберну строго конфиденциально, что находит проповедь превосходной, но не считает нужным это говорить. Постоянное и любимое развлечение мистера Браунлоу – подсмеиваться над старым его пророчеством касательно Оливера и напоминать ему о том вечере, когда они сидели, положив перед собой часы, и ждали его возвращения. Но мистер Гримуиг уверяет, что в сущности он был прав, и в доказательство сего замечает, что в конце концов Оливер не вернулся, каковое замечание всегда вызывает смех у него самого и способствует его доброму расположению духа.

Мистер Ноэ Клейпол, получив прощение от Коронного суда благодаря своим показаниям о преступлениях Феджина и рассудив, что его профессия не столь безопасна, как было бы ему желательно, сначала не знал, где искать средств к существованию, не обременяя себя чрезмерной работой. После недолгих размышлений он взял на себя обязанности осведомителя, в каковом звании имеет приличный заработок. Метод его заключается в том,

что раз в неделю, во время церковного богослужения, он выходит на прогулку вместе с Шарлотт, оба прилично одетые. Леди падает в обморок у двери какого-нибудь сердобольного трактирщика, а джентльмен, получив на три пенса бренди для приведения ее в чувство, доносит об этом на следующий же день и кладет себе в карман половину штрафа.⁴⁶ Иногда в обморок падает сам мистер Клейпол, но результат получается тот же.

Мистер и миссис Бамбл, лишившись должности, дошли постепенно до крайне бедственного и жалкого состояния и, наконец, поселились как призреваемые бедняки в том самом работном доме, где некогда властвовали над другими. Передавали, будто мистер Бамбл говорил, что такие унижения и превратности судьбы мешают ему быть благодарным даже за разлуку с супругой.

Что касается мистера Джайлса и Бритлса, то они попрежнему занимают свои посты, хотя первый облысел, а упомянутый паренек стал совсем седым. Они ночуют в доме приходского священника, но так равномерно распределяют свое внимание между его обитателями и Оливером, мистером Браунлоу и мистером Лосберном, что населению и по сей день не удалось установить, у кого в сущности состоят они на службе.

Чарльз Бейтс, уstraшенный преступлением Сайкса, принялся размышлять о том, не является ли честная жизнь наилучшей. Придя к заключению, что это несомненно так, он покончил со своим прошлым и решил загладить его, принявшись за какой-нибудь другой род деятельности. Сначала ему пришлось тяжело, и он терпел большие лишения, но, отличаясь благодушным нравом и преследуя прекрасную цель, в конце концов добился успеха; поработав батраком у фермера и подручным у возчика, он стал теперь самым веселым молодым скотопромышленником во всем Нортхемптоншире.

Рука, пишущая эти строки, начинает дрожать по мере приближения к концу работы и охотно протянула бы немного дальше нити этих приключений.

Я неохотно расстаюсь с некоторыми из тех, с кем так долго общался, и с радостью разделил бы их счастье, пытаясь его описать. Я показал бы Роз Мэйли в полном расцвете и очаровании юной женственности, показал бы ее излучающей на свою тихую жизненную тропу мягкий и нежный свет, который падал на всех, шедших вместе с нею, и проникал в их сердца. Я изобразил бы ее как воплощение жизни и радости в семейном кругу зимой, у очага, и в веселой компании летом; я последовал бы за нею по знойным полям в полдень и слушал бы ее тихий, милый голос во время вечерней прогулки при лунном свете; я наблюдал бы ее вне дома, всегда добрую и милосердную и с улыбкой неумоимо исполняющую свои обязанности у домашнего очага; я описал бы, как она и дитя ее покойной сестры счастливы своей любовью друг к другу и многие часы проводят вместе, рисуя в своем воображении образы друзей, столь печально ими утраченных; я вновь увидел бы радостные личики, льнущие к ее коленям, и прислушался бы к их болтовне; я припомнил бы этот звонкий смех и вызвал бы в памяти слезы умиления, сверкавшие в кротких голубых глазах. Все это и еще тысячу взглядов и улыбок, мыслей и слов – все хотел бы я воскресить.

О том, как мистер Браунлоу продолжал изо дня в день обогащать ум своего приемного сына сокровищами знаний и привязывался к нему все сильнее и сильнее по мере того, как он развивался и прорастали семена тех качеств, какие он хотел видеть в нем. О том, как он подмечал в нем новые черты сходства с другом своей молодости, которые пробуждали воспоминания о былом и тихую печаль, но были сладостны и успокоительны. О том, как двое сирот, испытав превратности судьбы, сохранили в памяти ее уроки, не забывая о милосердии к людям, о взаимной любви и о пылкой благодарности к тому, кто защитил и сохранил их. Обо всем этом не нужно говорить. Я сказал, что они были истинно счастливы, а без глубокой любви, доброты сердечной и благодарности к тому существу, чей закон –

⁴⁶ ...кладет себе в карман половину штрафа... – Прибегая к своей уловке, Ноз выяснял, кто из трактирщиков торгует спиртными напитками по воскресеньям, покуда не кончилось богослужение в церквях, что запрещалось полицейскими властями; донося полиции о нарушении закона, он получал от последней награду в размере половины штрафа, взимаемого с торговца.

милосердие и великое свойство которого – благоволение ко всему, что дышит, – без этого не достижимо счастье.

В алтаре старой деревенской церкви находится белая мраморная доска, на которой начертано пока одно только слово: «Агнес». Нет гроба в этом склепе, и пусть пройдет много-много лет, прежде чем появится над ним еще другое имя! Но если души умерших возвращаются когда-нибудь на землю, чтобы посетить места, овеянные любовью уходящей за грань могилы, – любовью тех, кого они знали при жизни, – я верю, что тень Агнес витает иногда в этом священном уголке. Верю, что она приходит сюда, в алтарь, хоть при жизни и была слабой и заблуждающейся.

Конец

Повести и рассказы

Помощник судебного пристава⁴⁷

Волнение, вызванное выборами, улеглось, и, поскольку в нашем приходе вновь воцарилось относительное спокойствие, мы можем теперь уделить внимание тем из прихожан, которые стоят в стороне от наших межпартийных схваток, а также от шума и суеты общественной жизни. С искренней радостью мы пользуемся случаем засвидетельствовать, что в собирании материала для этой работы нам оказал большую помощь сам мистер Банг, перед которым мы теперь в неоплатном долгу. Жизнь этого джентльмена всегда отличалась пестротой; он знал переходы – не от мрачности к веселью, ибо никогда не был мрачен, и не от легкомыслия к суровости, ибо суровость вовсе ему несвойственна; нет, у него колебания бывали между крайней бедностью и бедностью сносной или, пользуясь его собственным, более красочным слогом, – между днями, «когда ходишь не евши и когда удается заморить червячка». Как сам он изволил выразиться, и притом весьма решительно, он «не из тех счастливицков, которые, если нырнут под баржу с одного бока в чем мать родила, выплывают с другого бока в новеньком костюме и с талончиком на даровую порцию супа в жилетном кармане». Не принадлежит он и к тем, чей дух бесповоротно сломлен нуждой и горем. Просто он – один из тех беззаботных, ничемных, неунывающих людей, которые, как пробки, держатся на поверхности, а все, кому не лень, играют ими – швыряют туда и сюда, вправо и влево, то подкинут в воздух, то пустят ко дну, да только они всегда всплывают и, подпрыгивая на волнах, весело несутся дальше по течению. За несколько месяцев до того, как мистера Банга уговорили баллотироваться в приходские надзиратели, нужда заставила его пойти в помощники к судебному приставу, что позволило ему ознакомиться с положением чутьли не всех беднейших обитателей прихода; и на эту-то его осведомленность больше всего ссылался его покровитель – капитан, когда стал склонять в его пользу общественное мнение. Не так давно случай столкнул нас с этим человеком. С самого начала нас привлекло подкупающее

⁴⁷ Первыми произведениями молодого Диккенса были печатавшиеся в периодике, начиная с 1833 года, под различными псевдонимами, в том числе и под псевдонимом Боза, зарисовки лондонского быта и нравов, объединенные автором в 1836 году в первом издании «Очерков Боза» («Sketches by Boz»), куда вошли и публикуемые настоящим изданием «Помощник судебного пристава» («The Broker's Man») и «Эпизод из жизни мистера Уоткинса Тотла» («A Passage in the Life of Mr. Watkins Tottle»).

Первый из указанных рассказов был напечатан 28 июля 1835 года в газете «Evening Chronicle». В России он появился в 1884 году в книге: Диккенс, Приходские очерки. Перевод И. В. Майнова. М. – под заглавием «Агент брокера». Рассказ «Эпизод из жизни мистера Уоткинса Тотла» печатался в журнале «Monthly Magazine» в январе – феврале 1835 года. Русский перевод рассказа был впервые выполнен В. В. Бутузовым и напечатан в «Современнике» в 1851 году (т. 30, № 11–12).

нахальство, проявленное им во время выборов; мы не удивились, обнаружив при ближайшем знакомстве, что это неглупый и сметливый человек, наделенный изрядной долей наблюдательности; а после нескольких разговоров с ним нас поразила (как, вероятно, не раз поражала наших читателей при других обстоятельствах) способность некоторых людей не только сочувствовать переживаниям, им самим совершенно чуждым, но и понимать таковые. Выразив новоиспеченному чиновнику наше удивление по поводу того, что он когда-то служил в упомянутой нами должности, мы постепенно навели его на воспоминания о некоторых случаях из его практики. И так как по зрелом размышлении мы склонны считать, что лучше изложить их по возможности его собственными словами, нежели пытаться приукрасить, мы порешили озаглавить их

Рассказ мистера Банга

– Истинную правду изволили сказать, сэр, – так начал мистер Банг, – жизнь у помощника судебного пристава незавидная; и вам, конечно, не хуже моего известно, хоть вы этого и не говорите, что нашего брата ненавидят и гнушаются нами, потому что мы – все равно как вестники несчастья для бедного человека. Но что мне было делать, сэр? Не возьмись я за это дело, взялся бы другой, и никому бы от этого не было лучше; а раз я, беря под надзор чужое имущество, мог тем самым приумножать собственное свое имущество на три с половиной шиллинга в день и с помощью чужих невзгод мог облегчить невзгоды мои и моей семьи, неужели же мне было отказываться от этой работы? Видит бог, она мне никогда не нравилась, я все время присматривал себе что-нибудь получше, и как только нашел, так и бросил это занятие. А если грешно быть орудием в таком деле – не забудьте, я ведь только выполнял чужие распоряжения, – так правда и то, что для новичка, во всяком случае, должность наша несет в себе и наказание. Сколько раз мне хотелось, чтобы меня изругали или побили, я бы и слова не сказал, принял бы это как должное; но вот когда просидишь пять дней один в комнате, где и старой газеты почитать не найдется и из окна ничего не видно, кроме задворков да крыш, а слышно только, как тикают старые стоячие часы, да время от времени плачет навзрыд хозяйка, или соседки за стеной утешают ее шепотом, чтобы «он» не услышал, да иногда вдруг отворится дверь, заглянет какой-нибудь малыш, посмотрит на тебя и удирает в испуге, – вот тут-то и начинаешь чувствовать себя подлецом и стыдиться, что родился на свет; огонь в зимнее время разводят такой, что только и остается вспоминать, как иногда у камина тепло бывает, а еду приносят с такой физиономией, точно желают тебе подавиться, да, наверно, и впрямь желают этого от всего сердца. Если попадутся люди особенно любезные, они в той же комнате стелют тебе на ночь постель, если нет – постель присылает начальство; но о том, чтобы умыться или побриться, и думать нечего, и все-то тебя сторонятся, и никто-то тебе слова не скажет, разве что зайдут в обед спросить, не хочешь ли ты добавка, да таким тоном, точно говорят: «Попробуй только сказать, что хочешь»; либо вечером придут справиться, не принести ли тебе свечу, – это после того, как ты уже битых три часа просидел в потемках. Я вот, бывало, сижу так и думаю, думаю, пока не станет мне тоскливо, как котенку, когда он залезет в прачечный котел, а его ненароком закроют крышкой. Впрочем, люди опытные, кто понаторел в этом деле, те вообще не думают. Некоторые даже говорили мне, что они и думать-то не умеют.

В свое время (продолжал мистер Банг) я предъявил немало ордеров на арест имущества и, разумеется, довольно скоро понял, что не все одинаково достойны жалости и что люди с приличным доходом, которые попадают в затруднительные положения и день за днем, неделю за неделей из них выпутываются, со временем так к этому привыкают, что им уже все нипочем. Помню, самый первый дом, где мне пришлось дежурить, был в этом приходе и принадлежал одному джентльмену, про которого каждый сказал бы, что он просто не может очутиться без денег, даже если бы постарался. Начальник мой Фиксем и я пришли туда утром, около половины девятого; я позвонил у черного хода; ливрейный слуга отворил дверь. «Хозяин дома?» – «Дома, – говорит слуга, – только он сейчас завтракает». – «Это

ничего, – говорит Фиксем, – вы ему доложите, что к нему пришел джентльмен и хочет поговорить с ним по личному делу». Слуга пялит глаза и оглядывается по сторонам, – не иначе как ищет, где же этот самый джентльмен, потому что Фиксема только слепой мог принять за джентльмена; а что до меня, так я ивовсебыл фронт не хуже огородного пугала. Но потом все-таки поворачивается и идет в малую столовую, уютную комнатку в конце коридора, а Фиксем (как у нас полагается) следует за ним и, не дав ему вымолвить «с вашего разрешения, сэр, тут какой-то человек хочет с вами поговорить», входит без доклада и с приятной улыбкой на лице. «Кто вы такой, черт возьми, и как вы смеете без разрешения входить в дом джентльмена?» – говорит хозяин, злющий, как бешеный бык. «Моя фамилия, – говорит Фиксем, а сам подмигивает хозяину, чтобы отослал слугу, и передает ему ордер, сложенный наподобие записочки, – моя фамилия Смит, а пришел я от Джонсона по известному вам делу Томпсона». Тот сразу смекнул. «Ах, вот что, говорит, ну, как Томпсон себя чувствует? Прошу вас, мистер Смит, садитесь. Джон, выйдите отсюда». Слуга ушел, а хозяин и Фиксем до тех пор глядели друг на друга, пока глаза не заслезились, а тогда выдумали новую забаву – повернулись к двери, где я все время стоял, и стали глядеть на меня. Наконец джентльмен говорит: «Значит, сто пятьдесят фунтов?» – «Сто пятьдесят фунтов, – отвечает Фиксем, – плюс пошлины, проценты шерифу и прочие привходящие расходы». – «Гм, – говорит джентльмен, – это я могу уладить завтра к концу дня, не раньше». – «Очень сожалею, но на это время я буду вынужден оставить здесь своего человека», – говорит Фиксем, притворяясь, будто весьма этим опечален. «Очень досадно, – говорит джентльмен, – потому что у меня сегодня гости, и если они догадаются, как обстоит дело, я разорен». Он помолчал, а потом добавил: « Попрошу вас сюда на минутку, мистер Смит». Фиксем отошел с ним к окну и после долгих перешептываний, недолгого звона золотых монет и выразительных взглядов, брошенных в мою сторону, воротился и говорит: «Банг, вы, я знаю, малый расторопный и честный. Этому джентльмену требуется на сегодня лишней лакей – чистить серебро и подавать к столу, так что ежели у вас найдется время, – говорит старик Фиксем, а сам ухмыляется во всю пасть и сует мне в руку два золотых, – он будет рад воспользоваться вашими услугами». Ну, я рассмеялся, и джентльмен тоже рассмеялся, и все мы рассмеялись, и Фиксем побыл там, пока я сходил домой приодеться, а когда я вернулся, Фиксем ушел; и я чистил серебро, и подавал к столу, и морочил прислугу, и никто даже и не заподозрил, по какому делу я здесь нахожусь, хотя была минута, когда все чуть-чуть не открылось: уже поздно вечером один из последних гостей спустился в сени, где я сидел, протянул мне полкроны и говорит: «Приведите мне, любезнейший, карету, и вот вам за труды». Я уже решил, что это уловка и меня просто задумали выпроводить на улицу, и собрался ответить ему в этом духе, не слишком вежливо, как вдруг вижу – хозяин дома (он-то все время был начеку) бежит вниз по лестнице в большой тревоге. «Банг!» – кричит он словно бы в ярости. «Сэр?» – говорю я. «Что же вы, черт возьми, оставили без присмотра серебро?» – «Я как раз хотел послать его за каретой», – говорит второй джентльмен. «А я как раз хотел сказать...» – начал я, но хозяин меня перебил. «Пошлите кого-нибудь еще, дорогой мой, кого-нибудь еще». А сам знай подталкивает меня к двери. «Этому человеку я вверил все серебро и прочие ценные вещи и ни под каким видом не могу допустить, чтобы он выходил из дома. Банг, бездельник вы этакий, сейчас же идите и пересчитайте вилки в малой столовой». Тут я понял, что никакого подвоха не было, и, уж поверьте, от души посмеялся. Денежки наш джентльмен уплатил на следующий день, и на мою долю кое-что перепало; прямо скажу, более приятного дельца в нашей практике я не запомню (да и старик Фиксем, наверно, тоже).

– Однако это – светлая сторона картины, сэр, – продолжал мистер Банг, отбросив хитрую мину и плутовские ужимки, с какими он рассказывал вышеизложенный случай, – а эту сторону мы, к сожалению, видим много, много реже, чем другую, темную. Любезность, которую можно купить за деньги, почти никогда не распространяется на тех, у кого денег нет; и беднякам недоступно даже такое утешение, как выпутываться из одной трудности в ожидании следующей. Дежурил я раз в одном доме в Джордж-Корт – есть такой тесный,

грязный тупичок позади газового завода, – так, боже мой, я, кажется, никогда не забуду, в какой нищете там жили люди! С них причиталась квартирная плата за полгода, два фунта и десять шиллингов или около того. Весь дом состоял из двух комнат, и так как коридора не было, верхние жильцы проходили через комнату хозяев; и всякий раз – а проходили они через комнату раза по три в четверть часа – они бранились и скандалили, потому что на их вещи тоже наложили арест и включили в опись. Перед домом был огороженный квадратик голой земли, по нему вела к двери дорожка, посыпанная золой, возле двери стояла кадка для дождевой воды. В окне болталась на провисшем шнуре полосатая занавеска, внутри на подоконнике примостился треугольный осколок зеркала. Надо полагать, что предназначалось оно для пользования, но вид у обитателей комнаты был до того замученный и несчастный, что даже если один раз им удавалось глянуть на свое лицо и не умереть со страху, едва ли они решались на это вторично. Было в комнате два-три стула, которые в лучшие свои дни стоили от восьми пенсов до шиллинга штука; был маленький некрашенный стол, пустой буфет в углу да кровать – из тех, что вечно встают дыбом, так что ножки у нее торчат в воздухе и вы можете либо стукаться о них головой, либо вешать на них шляпу; ни тюфяка, ни подушки, ни одеяла. Перед камином был постлан вместо коврика старый мешок, и четверо не то пятеро детей возились на земляном полу. Арест на имение наложили только для того, чтобы выселить семью из дома, – взять в уплату за долги было нечего; и здесь я пробыл целых три дня, хотя и это было всего лишь формальностью, потому что я, конечно, знал и все мы знали, что заплатить они никак не могут. На одном из стульев, у холодного очага, сидела старуха – такой страшной и грязной старухи я в жизни не видел – и все раскачивалась взад и вперед, взад и вперед без передышки, только изредка стиснет иссохшие свои руки, а потом опять раскачивается и все потирает себе колени, судорожно поднимая и опуская пальцы. Подругую сторону очага сидела мать с грудным младенцем на руках, который плакал, пока не засыпал, а чуть проснувшись, опять принимался плакать. Старухино голос я ни разу не слышал: она, как видно, совсем отупела; а что до матери, так лучше бы и ее так же пришибло, потому что с горя она превратилась в сущего дьявола. Доведись вам услышать, какими словами она ругала голых ребятишек, что ползали на полу, и увидеть, как она колотила малютку, когда он плакал от голода, вы бы ужаснулись не хуже моего. Так оно и шло. Дети время от времени жевали хлеб, да еще я отдавал им добрую половину обеда, который мне приносила жена; а женщина – та вовсе ничего не ела, и никто из них не ложился на кровать, и комнату за все время ни разу не подмели и не убрали. Соседям было не до них – им своей бедности хватало; а отца, как я понял из проклятий и брани верхней жилички, за несколько недель до того услали на каторгу. Когда положенное время истекло, хозяину дома, да и старику Фиксему тоже, стало страшно – что будет с этой семьей, и вот они подняли шум и добились, чтобы всех их взяли в работный дом. За старухой прислали носилки, и в тот же вечер Симмонс забрал детей. Старуху поместили в лазарет, где она вскорости умерла. Дети и по сей день в работном доме, им там по сравнению с прежним куда как хорошо. А с матерью никакого сладу не было. Раньше она как будто была смиренная, работающая женщина, но от нужды и горя форменным образом помешалась. Ее раз пять сажали в карцер за то, что она запускала чернильницей в попечителей, кляла церковных старост и на всякого, кто подходил к ней, набрасывалась с кулаками; а потом у нее лопнула какая-то жила, и она тоже умерла, и это было избавление не только для нее самой, но и для других бедняков, особенно стариков и старух, которые, бывало, так и валились от нее во все стороны, точно кегли от удара шаром.

– Да, это было достаточно скверно, – сказал мистер Банг и шагнул к двери, словно давая понять, что рассказ его почти окончен. – Это было достаточно скверно, но в другом доме, где мне пришлось дежурить, я видел одну леди, и ее тихое горе, – вы понимаете, что я хочу сказать, сэр, – растрогало меня куда больше. Не важно, где именно находился этот дом; я бы, пожалуй, даже предпочел не называть адреса, но дело было того же порядка. Фиксем и я пришли туда, как обычно, – за квартиру год как не плачено; дверь отворила маленькая служанка, и нас ввели в гостиную, где было трое или четверо хорошеньких детишек,

чистеньких, но очень уж скромно убранных, как, впрочем, и самая комната. «Банг, – сказал мне Фиксем вполголоса, – мне кое-что известно про это семейство, и мое мнение – ничего у нас здесь не выйдет». – «Вы думаете, им нечем заплатить?» – спросил я в тревоге – очень уж мне эти детишки понравились. Фиксем покачал головой и только хотел ответить, как дверь отворилась, и вошла леди – в лице ни кровинки, одни глаза красные, видно, пролила немало слез. Вошла она твердым шагом, в пору мне самому так входить в комнату, плотно прикрыла за собою дверь и села, а лицо совсем спокойное, точно каменное. «Что такое, господа, – спрашивает, и голос ни чуточки не дрожит, просто на удивление, – неужели арест имущества?» – «Именно так, сударыня», – отвечает Фиксем. Леди посмотрела на него все так же спокойно, будто и не поняла его слов. «Именно так, сударыня, – повторил Фиксем, – вот, сударыня, пожалуйста вам ордерок», – и протягивает ей бумагу так учтиво, словно это газета, которую он обещал по прочтении передать джентльмену за соседним столиком.

У леди задрожали губы, когда она брала бумагу. Она глянула на нее, и Фиксем начал было объяснять ей, что к чему, но я-то видел, что она, бедняжка, и не читает вовсе. «О господи! – говорит она вдруг и, ударившись в слезы, роняет ордер и закрывает лицо руками. – О господи! Что же с нами будет?» Тут в комнату вошла девушка лет девятнадцати, – она, должно быть, все время слушала за дверью. На руках у нее был маленький мальчик, и она, ни слова не говоря, посадила его к матери на колени, а та прижала несчастного крошку к груди и заплакала над ним так, что даже старый Фиксем надел свои синие очки, чтобы скрыть две слезы, которые поползли у него по грязным щекам. «Дорогая мама, – говорит девушка, – вы же до сих пор держались так стойко. Ради всех нас, говорит ради папы, прошу вас, не падайте духом». – «Нет, нет, конечно, – говорит леди, торопливо утирая слезы, – как это глупо с моей стороны, но мне уже лучше, гораздо лучше». И она заставила себя встать, ходила с нами из комнаты в комнату, пока мы составляли опись, сама открывала все ящики, разобрала детскую одежду, чтобы облегчить нам работу; и все это так спокойно и невозмутимо, будто ничего и не случилось, только словно бы очень спешила. Когда мы опять спустились в гостиную, она помялась немножко, а потом говорит: «Господа, говорит, я перед вами виновата и боюсь, как бы у вас из-за этого не было неприятностей. Я от вас утаила единственную драгоценность, которая у меня осталась, – вот она. – И кладет на стол миниатюру в золотой рамочке. – Это, говорит, портрет моего покойного отца. Не думала я, что буду когда-нибудь благодарить бога за смерть того, с кого эта миниатюра писана, а теперь благодарю, и уже сколько лет, денно и нощно. Возьмите ее, сэр, говорит. Это лицо никогда не отвращалось от меня в болезни или в горе, и трудно мне, трудно отворотиться от него сейчас, когда, видит бог, того и другого ниспослано мне с избытком». Я слова не мог вымолвить, только поднял голову от бумаги, в которую вносил все по описи, и посмотрел на Фиксема; тот кивнул мне многозначительно, и я перечеркнул буквы «М-и-н-и», которые уже успел написать, и оставил миниатюру на столе.

Так вот, сэр, короче говоря, пришлось мне провести положенное время и в этом доме; и хоть я человек неученый, а хозяин дома был и образованный и умный, я увидел то, чего он не видел; теперь-то он отдал бы полмира (если бы у него было полмира) за то, чтобы вернуть прошлое и быть повнимательнее. Я увидел, сэр, что жена его чахнет от забот, на которые никогда не жалуется, и обид, о которых никому не рассказывает. Я видел, что она умирает у него на глазах; я знал, что одним усилием он мог бы спасти ее, но он ничего не сделал. Я его не осуждаю; скорей всего, он просто неспособен был взять себя, в руки. Она так долго предупреждала каждое его желание и все за него решала, что сам он уже ни на что не годился. Я, бывало, смотрю на нее, на бедное ее платьишко – оно и на ней-то выглядело затрапезным, а на всякой другой было бы вовсе неприлично, – и думаю, что, будь я джентльменом, у меня бы сердце кровью обливалось при виде женщины, которая была нарядной и веселой, когда я ее сватал, а теперь так изменилась, через свою любовь ко мне. Погода стояла холодная, сырая, но всетри дня она в этом своем жиденском платье и стоптанных ботинках с утра до ночи где-то бегала, добывая деньги. Ну, что жденги добыли и долг выплатили. Когда деньги принесли, вся семья собралась в той комнате, где я

находился. Отец очень радовался, что недоразумение улажено, как – об этом он, наверно, и не знал; детишки опять повеселели; старшая дочка хлопотала по хозяйству, – в этот день они могли спокойно пообедать в первый раз с тех пор, как мы явились к ним с ордером; и матери, конечно, приятно было, что все так довольны. Но если я когда-нибудь видел смерть на лице женщины, так это в тот вечер, и на ее лице.

– Я не ошибся, сэр, – продолжал мистер Банг, поспешно проведя рукавом по лицу. – Дела семьи поправились, пришла и удача. Но было поздно. Детишки эти растут теперь без матери, а отец отдал бы все, что с тех пор приобрел, – дом, имущество, деньги, все, чем он владеет или будет когда-нибудь владеть, – только бы вернуть жену, которой он лишился.

Эпизод из жизни мистера Уоткинса Тотла

1

Общеизвестно, что брак – предприятие серьезное. Это – беда, в которую легко попасть, но из которой очень трудно выбраться, и в этом отношении брак подобен чрезмерному пристрастию к грогу. Человека, робкого в таких делах, бесполезно убеждать, что стоит только один раз прыгнуть – и все страхи окажутся позади. То же самое говорят в Олд-Бейли, и в обоих случаях несчастные жертвы извлекают из этих слов одинаковое утешение.

У мистера Уоткинса Тотла панический страх перед узами Гименя самым удивительным образом сочетался со всеми задатками примерного супруга. Это был джентльмен лет под пятьдесят, пухленький, свежий и румяный, ростом в четыре фута шесть и три четверти дюйма. Наружностью своей он напоминал виньетку к роману Ричардсона, а его манерам, безукоризненным как крахмальный воротничок, и фигуре, прямой как кочерга, мог бы позавидовать сам сэр Чарльз Грандисон.⁴⁸ Годовой доход мистера Тотла соответствовал получавшему его джентльмену, по крайней мере, в одном отношении – он был чрезвычайно мал. Рента вручалась Тотлу раз в две недели по понедельникам, и подобно тому, как часы с недельным заводом останавливаются на восьмой день, так он в начале второй недели неизменно прекращал свои платежи – до тех пор, пока квартирная хозяйка, в довершение сходства, не заводила его снова посредством небольшой ссуды, после чего он, в точности как упомянутые часы, продолжал свой размеренный ход.

Мистер Уоткинс Тотл долго жил в состоянии блаженного одиночества, как выражаются холостяки, или проклятого одиночества, как думают старые девы, но мысль о супружестве никогда не оставляла его. Стоило ему предаться размышлениям на эту неизменную тему, как фантазия преображала его тесную квартиру на Сесил-стрит (Стрэнд) в уютный загородный домик; полцентнера угля, сложенного под черной лестницей, внезапно превращались в три тонны отборного уолсендского антрацита; узенькая кровать превращалась в двуспальное супружеское ложе под балдахином, а в пустом кресле, стоявшем по другую сторону камина, воображение рисовало ему прелестную молодую леди, не отличающуюся ни сильной волей, ни какой-либо независимостью, за исключением независимости финансовой, каковою наделила ее последняя воля родителя.

– Кто там? – спросил мистер Уоткинс Тотл, когда однажды вечером легкий стук в дверь прервал нить его размышлений.

– Как поживаете, друг мой? – произнес вместо ответа чей-то грубый голос, и в комнату ворвался низенький пожилой джентльмен.

– Я ведь говорил вам, что забегу как-нибудь вечерком, – сказал низенький джентльмен, вручая свою шляпу Тотлу после нескольких попыток уклониться от его услуг.

⁴⁸ Сэр Чарльз Грандисон – «идеальный» герой сентиментально-нравоучительного романа Сэмюэла Ричардсона (1689–1761) «История сэра Чарльза Грандисона». Это о нем писал Пушкин: «Бесподобный Грандисон, который нам наводит сон».

–Очень рад вас видеть, – проговорил мистер Уоткинс Тотл, жалея про себя, что его гость, вместо того чтобы вваливаться к нему в гостиную, не провалился на дно протекающей в конце улицы Темзы: двухнедельный срок подходил к концу, и средства Уоткинса – тоже.

–Как поживает миссис Габриэл Парсонс? – осведомился Тотл.

–Благодарю вас, превосходно, – отвечал мистер Габриэл Парсонс – так звали низенького джентльмена.

Вслед за тем наступило молчание. Низенький джентльмен глядел на левый угол камина, мистер Уоткинс Тотл сверлил глазами пустоту.

–Превосходно, – повторил маленький джентльмен по истечении пяти минут, – я бы сказал – отлично. – И он принялся потирать руки с такой силой, словно посредством трения собирался высечь огонь.

–Не велеть ли вам чего подать? – осведомился Тотл с отчаянной решимостью человека, которому известно, что вряд ли можно велеть подать гостю что-нибудь, кроме его же собственной шляпы.

–Право, не знаю. Нет ли у вас виски?

–Видите ли, – ответил Тотл очень медленно, стараясь выиграть время, – на прошлой неделе у меня было превосходное, чрезвычайно крепкое виски, но оно все вышло, и потому его крепость...

–Не подлежит сомнению, или, иначе говоря, ее уже невозможно подвергнуть таковому, – подхватил низенький джентльмен и весело рассмеялся, по-видимому чрезвычайно довольный тем, что виски выпито. Мистер Тотл улыбнулся, но это была улыбка отчаяния. Перестав смеяться, мистер Габриэл Парсонс деликатно намекнул, что за отсутствием виски не откажется от бренди. Мистер Уоткинс Тотл с важным видом зажег свечку, извлек огромный ключ от парадной двери, время от времени исполнявший роль ключа от воображаемого винного погреба, и отправился умолять хозяйку поставить им бутылочку, а стоимость оной поставить ему в счет. Просьба увенчалась успехом, и вождеденный напиток возник перед ними на столе – не из таинственной бездны, а всего лишь из ближайшего погребка. Оба низеньких джентльмена приготовили себе грог и уютно устроились возле камина, словно пара башмаков-недомеров, выставленных для просушки поближе к огню.

–Тотл, – начал мистер Габриэл Парсонс, – вы ведь меня знаете. Я человек простой, откровенный, говорю, что думаю, что думаю, то и говорю, терпеть не могу скрытность и ненавижу всякое притворство. Скрытность подобна плохому домино, которое скрывает наружность добрых людей и не придает красоты дурным, а притворяться – все равно что красить нитяный чулок в розовый цвет, стараясь выдать его за шелковый. А теперь послушайте, что я вам скажу.

Тут низенький джентльмен остановился и отхлебнул порядочный глоток грога. Мистер Уоткинс Тотл, в свою очередь, отпил немного из своего стакана, помешал огонь в камине и изобразил на лице своем глубочайшее внимание.

–Давайте говорить без околичностей, – продолжал низенький джентльмен. – Вы ведь хотите жениться.

–Как вам сказать, – уклончиво отвечал мистер Уоткинс Тотл, ощутив дрожь во всем теле и звон в ушах. – Как вам сказать... пожалуй, я бы не прочь... по крайней мере, мне кажется...

–Так не пойдет, – отрезал низенький джентльмен. – Отвечайте прямо – да или нет, – а не то и говорить не о чем. Деньги вам нужны?

–Вы же сами знаете, что нужны.

–Вы поклонник прекрасного пола?

–Разумеется.

–Хотите жениться?

–Конечно, хочу.

–В таком случае вы женитесь. Дело в шляпе. – С этими словами мистер Габриэл

Парсонс взял понюшку табаку и смешал себе еще стакан грога.

– Не будете ли вы, однако, любезны объяснить толком, – сказал Уоткинс. – Право же, я, как главное заинтересованное лицо, не могу согласиться, чтобы мною распоряжались подобным образом.

– Извольте, – отвечал мистер Габриэл Парсонс, разгорячаясь как предметом разговора, так и грогом. – Я знаю одну даму – она сейчас гостит у моей жены, – которая как раз вам пара. Получила отличное воспитание, говорит по-французски, играет на фортепьяно, знает толк в цветах, раковинах и тому подобное и имеет пятьсот фунтов годового дохода с неограниченным правом распорядиться ими по своему духовному завещанию.

– Я засвидетельствую ей свое почтение, – сказал мистер Уоткинс Тотл. – Надеюсь, что она не очень молода?

– Не очень. Я ведь сказал, что она как раз вам под пару.

– А какого цвета волосы у этой дамы? – осведомился мистер Уоткинс Тотл.

– Вот уж, право, не помню, – хладнокровно отвечал Габриэл. – Впрочем, мне следовало вам сразу сказать: она носит накладку.

– Что носит?! – воскликнул Тотл.

– Да знаете, такую штуку с буклями, вот тут. – В пояснение своих слов Парсонс провел прямую линию у себя на лбу над самыми глазами. – Накладка черкая – это я заметил, ну, а про ее собственные волосы ничего определенного сказать не могу, не стану же я, в самом деле, подкрадываться к ней сзади и заглядывать ей иод чепец, но, по-моему, волосы у нее гораздо светлее накладки – пожалуй, какого-то сероватого оттенка.

На лице мистера Уоткинса Тотла изобразилось сомнение. Заметив это, мистер Габриэл Парсонс решил, что следует незамедлительно предпринять новую атаку.

– Послушайте, Тотл, вы были когда-нибудь влюблены? – спросил он.

Робко признавая себя виновным, мистер Уоткинс Тотл залился румянцем от подбородка до корней волос, и на лице его заиграли самые разнообразные сочетания цветов.

– Я полагаю, вам не раз случалось делать предложение, когда вы были молоды... виноват, моложе, – сказал Парсонс.

– Никогда в жизни! – отвечал Уоткинс, явно возмущенный тем, что его могли заподозрить в таком поступке. – Никогда! Дело в том, что я, как вам известно, имею на этот счет особые понятия. Я не боюсь дам – ни старых, ни молодых, – совсем напротив, но мне кажется, что, по нынешним обычаям, они позволяют возможным претендентам на их руку слишком много вольности в разговоре и обращении. Я же никогда не выказывал подобной свободы в обращении и, постоянно опасаясь зайти слишком далеко, прослыл человеком черствым и чопорным.

– Ничего удивительного в этом нет, – отвечал Парсонс серьезно, – решительно ничего. Но в настоящем случае это как раз уместно, ибо сдержанность и деликатность этой дамы далеко превосходят ваши. Вы только послушайте: когда она приехала к нам, у нее в спальне висел старинный портрет какого-то мужчины с большими черными глазами. Так представьте себе – она наотрез отказывалась ночевать в этой комнате до тех пор, пока портрет не сняли, считая это совершенно неприличным.

– Я тоже так думаю, – сказал мистер Уоткинс Тотл. – Разумеется, это неприлично.

– Но это еще не все. На днях – я в жизни так не смеялся, – продолжал мистер Габриэл Парсонс, – на днях, когда я ехал домой, дул сильный восточный ветер, и у меня страшно разболелась голова. И вот, в то время как Фанни, то есть миссис Парсонс, эта ее подруга, я и Фрэнк Росс вечером играли в вист, я в шутку сказал, что, когда лягу спать, закутаю голову фланелевой нижней юбкой Фанни. И представьте себе – она тут же бросила карты и вышла из комнаты.

– Совершенно справедливо! – заявил мистер Уоткинс Тотл. – Она не могла поступить более достойным образом. Что же вы сделали?

– Что сделали? Стали играть с болваном, и я выиграл шесть пенсов.

– И вы не извинились перед нею?

–Черта с два! На следующее утро мы говорили об этом за завтраком. Она утверждала, будто всякое упоминание о фланелевой нижней юбке неприлично – мужчины вообще не должны знать о существовании подобных предметов, а я оправдывался тем, что я человек женатый.

–И что же она на это сказала? – с глубочайшим интересом осведомился Тотл.

–Прибегла к новой уловке и сказала, что, поскольку Фрэнк холостяк, мое замечание было крайне неприлично.

–Благородное существо! – вскричал восхищенный Тотл.

–О! Мы с Фанни сразу решили, что она как нарочно создана для вас.

Когда мистер Уоткинс Тотл услышал это, на круглом лице его засияла безмятежная радость.

–Одного я только не знаю, – добавил мистер Габриэл Парсонс, поднимаясь, чтобы уйти, – ума не приложу, как вы с ней поладите. У нее наверняка сделаются судороги при малейшем намеке на этот предмет. – Тут мистер Габриэл Парсонс снова сел и залился неудержимым смехом. Тотл был ему должен деньги, и потому Парсонс считал себя вправе смеяться на его счет.

Мистер Уоткинс Тотл подумал про себя, что у него нашлась еще одна общая черта с этой современной Лукрецией. Однако он с большой твердостью принял приглашение через два дня отобедать у Парсонсов и, оставшись один, довольно хладнокровно размышлял о предстоящем знакомстве.

Взошедшее через два дня солнце никогда еще не освещало на империале норвудского дилижанса щеголя, подобного мистеру Уоткинсу Тотлу; и этот экипаж, подъехавший к карточному домику с замаскированными трубами и газоном величиной с большой лист зеленой почтовой бумаги, несомненно еще ни разу не доставлял к месту назначения джентльмена, который бы до такой степени конфузился.

Дилижанс остановился, и мистер Уоткинс Тотл спрыгнул... прошу прощения, сошел на землю с большим достоинством.

–Трогай! – произнес он, и экипаж стал подниматься в гору с тою очаровательной невозмутимостью, которой обыкновенно отличаются пригородные дилижансы.

Мистер Уоткинс Тотл судорожным движением потянул рукоятку звонка у садовой калитки. Затем он дернул ее сильнее, и нервическое состояние его несколько не уменьшилось, когда раздался оглушительный звон, напоминавший гул набата.

–Мистер Парсонс дома? – спросил Тотл у человека, отворившего калитку. Он едва мог расслышать свой собственный голос, ибо колокольчик все еще не переставал звенеть.

–Я здесь! – послышался крик, и на лужайке показался мистер Габриэл Парсонс в фланелевой куртке. Он сломя голову носился взад и вперед от воротцев к двум нахлобученным друг на друга шляпам, и от двух шляп обратно к воротцам, между тем как другой джентльмен без сюртука в поисках мяча спускался в подвал. Не прошло и десяти минут, как джентльмен без сюртука отыскал мяч, после чего он побежал обратно к шляпам, а Габриэл Парсонс остановился. Затем джентльмен без сюртука заорал: «Даю!» – и подал мяч. Тогда мистер Габриэл Парсонс отбил мяч на несколько ярдов и снова кинулся бежать, после чего второй джентльмен нацелился в воротца, но не попал, а мистер Габриэл Парсонс, остановившись на бегу, положил свою битку на землю и погнался за мячом, который укатился на соседнее поле. Это у них называлось игрой в крикет.

–Тотл, не хотите ли с нами сыграть? – осведомился мистер Габриэл Парсонс, приближаясь к гостю и отирая со лба пот.

Мистер Уоткинс Тотл отказался. От одной мысли о крикете ему стало почти так же жарко, как Парсонсу.

–Тогда пойдем в комнаты. Уже пятый час, а мне еще надо вымыть руки перед обедом, – сказал мистер Габриэл Парсонс – Прошу, вы ведь знаете, что я ненавижу церемонии! Тимсон, это Тотл. Тотл, это Тимсон. Он возвращен для церкви, но боюсь, что она не вырастила для него ничего, кроме плевелов.

Произнося эту старую шутку, он ухмыльнулся. Мистер Тимсон поклонился небрежно. Мистер Уоткинс Тотл поклонился холодно. Мистер Габриэл Парсонс повел гостей в дом. Он был богатым сахароваром и принимал грубость за честность, а резкость за открытое и прямое обращение. Впрочем, не один Габриэл смешивает грубость манер с чистосердечием.

Миссис Габриэл Парсонс весьма любезно встретила гостей на крыльце и провела их в гостиную. На софе сидела дама очень жеманной и безжизненной наружности. Она принадлежала к тому разряду людей, чей возраст не поддается даже приблизительному определению. Быть может, в молодости она была хороша собой, а может быть, была точно такую же, как и теперь. Лицо ее со следами пудры было так же гладко, как у искусно сделанной восковой куклы, и так же выразительно. Она была нарядно одета и заводила золотые часы.

– Мисс Лиллертон, милочка, это наш старинный знакомый и друг, мистер Уоткинс Тотл, – произнесла миссис Парсонс, представляя ей нового Стрифона⁴⁹ с Сесил-стрит (Стрэнд).

Дама встала и сделала церемонный реверанс, мистер Уоткинс Тотл поклонился.

«Прекрасное, величавое создание!» – подумал Тотл.

Затем выступил вперед мистер Тимсон, и мистер Уоткинс Тотл сразу же его возненавидел. Мужчины большей частью инстинктивно угадывают соперников, и мистер Уоткинс Тотл чувствовал, что ненависть его вполне оправданна.

– Могу ли я, – произнес служитель церкви, – могу ли я обратиться к вам, мисс Лиллертон, с просьбой пожертвовать какую-нибудь безделицу в пользу моего общества по распределению супа, угля и одеял?

– Подпишите меня, пожалуйста, на два соверена, – отвечала мисс Лиллертон.

– Вы поистине человеколюбивы, сударыня, – сказал преподобный мистер Тимсон. – Известно, что щедрость искупает множество грехов. Бога ради, не поймите меня превратно. Я говорю это отнюдь не в том смысле, что у вас много грехов; поверьте, я в жизни не встречал никого безгрешнее мисс Лиллертон.

При этом комплименте на лице дамы выразилось нечто вроде скверной подделки под воодушевление, а Уоткинс Тотл впал в тяжкий грех – он пожелал, чтобы останки преподобного Чарльза Тимсона упокоились на его приходском кладбище, где бы таковое ни находилось.

– Вот что я вам скажу, – вмешался Парсонс, который в эту минуту вошел в комнату с вымытыми руками и в черном сюртуке, – на мой взгляд, Тимсон, ваше общество по распределению – чистейшее шарлатанство.

– Вы слишком строги, – отвечал Тимсон с христианской улыбкой. Он не любил Парсонса, но зато любил его обеды.

– И решительно несправедливы! – добавила мисс Лиллертон.

– Разумеется, – заметил Тотл.

Дама подняла голову, и взгляд ее встретился со взглядом Уоткинса Тотла. В пленительном смущении она отвела свой взор, и Тотл последовал ее примеру, ибо смущение было обоюдным.

– Скажите на милость, – не унимался Парсонс, – зачем давать человеку уголь, когда ему нечего стряпать, или одеяло, когда у него нет кровати, или суп, когда он нуждается в более существенной пище? Это все равно что «дарить манжеты тем, кто о рубашке тужит». Почему не дать беднякам малую толику денег, как поступаю я, когда мне кажется, что они того заслуживают, и пусть покупают себе что хотят. Почему? Да потому, что тогда ваши жертвователи не увидят свои имена, напечатанные огромными буквами на церковной двери, – вот в чем причина!

⁴⁹ *Стрифон* – персонаж из поэмы Сиднея «Аркадия» (1581), возлюбленный Хлои; имя, ставшее нарицательным.

–Право, мистер Парсонс, уж не хотите ли вы сказать, будто я желаю увидеть мое имя красующимся на церковной двери? – перебила его мисс Лиллертон.

–Надеюсь, что нет. – Это мистер Уоткинс Тотл вставил еще одно словцо и был награжден еще одним взглядом.

–Разумеется, нет, – отвечал Парсонс. – Но осмелюсь заметить, вы ведь не прочь увидеть ваше имя записанным в церковную книгу?

–В книгу? В какую книгу? – строго спросила мисс Лиллертон.

–В книгу записи бракосочетаний, в какую же еще? – отвечал Парсонс, смеясь своей собственной остроте и украдкой бросая взгляд на Тотла.

Мистер Тотл чуть было не умер от стыда, и совершенно невозможно представить себе, какое действие произвела бы эта шутка на даму, если бы тут как раз не позвали обедать. Мистер Уоткинс Тотл с неподражаемой галантностью протянул кончик своего мизинца, мисс Лиллертон приняла его грациозно, с девичьей скромностью, и они торжественно проследовали к столу, где и заняли места рядом. Столовая была уютна, обед превосходен, а маленькое общество – в отличном расположении духа. Разговор вскоре сделался общим, и когда мистеру Уоткинсу Тотлу удалось добиться от своей соседки нескольких вялых слов и выпить с нею вина, он начал быстро обретать уверенность. Со стола убрали скатерть; миссис Габриэл Парсонс выпила четыре бокала портвейна – под тем предлогом, что она кормит грудью, а мисс Лиллертон отпила столько же глотков – под тем предлогом, что вовсе не хочет пить. Наконец дамы удалились – к великому удовольствию мистера Габриэла Парсонса, который уже целых полчаса кашлял и подмигивал; впрочем, миссис Парсонс никогда не замечала этих сигналов до тех пор, покуда ей не предлагали принять обычную дозу, что она обыкновенно проделывала немедленно во избежание дальнейших хлопот.

–Ну, как вы ее находите? – вполголоса спросил мистер Габриэл Парсонс мистера Уоткинса Тотла.

–Я уже влюблен до безумия! – отвечал мистер Уоткинс Тотл.

–Господа, прошу вас, выпьем за здоровье дам, – сказал преподобный мистер Тимсон.

–За здоровье дам! – произнес мистер Уоткинс Тотл, осушая свой бокал.

Он преисполнился такой уверенности в себе, что готов был ухаживать за целой дюжиной дам одновременно.

–Ах! – вздохнул мистер Габриэл Парсонс – Помню, когда я был молод... Подлейте себе, Тимсон.

–Я только что выпил.

–Ну, так налейте еще.

–С удовольствием, – отвечал Тимсон, переходя от слов к делу.

–Когда я был молод, – продолжал мистер Габриэл Парсонс, – с каким странным, смешанным чувством произносил я, бывало, этот тост и, помнится, думал, будто все женщины – ангелы.

–Это было до вашей женитьбы? – скромно произнес мистер Уоткинс Тотл.

–Разумеется, до! – отвечал мистер Габриэл Парсонс – После женитьбы мне уж больше в голову не приходило ничего подобного; да и порядочным я был молокососом, если когда-нибудь мог воображать такой вздор. Но знаете ли, я ведь женился на Фанни при весьма странных и презабавных обстоятельствах.

–Что же это были за обстоятельства, осмелюсь спросить? – поинтересовался Тимсон, хотя за последние полгода он слушал эту историю не реже, чем по два раза в неделю.

Мистер Уоткинс Тотл наострил уши, в надежде извлечь какие-либо сведения, полезные в его новом предприятии.

–Я провел первую брачную ночь в кухонной трубе, – начал свой рассказ Парсонс.

–В кухонной трубе! – воскликнул Уоткинс Тотл. – Какой ужас!

–Да, признаюсь, это было не слишком приятно, – отвечал низкорослый хозяин. – Дело в том, что родители Фанни были весьма ко мне расположены, но решительно возражали против того, чтобы я стал их зятем. Видите ли, в те времена у них водились деньжонки, я же

был беден, и потому они хотели, чтобы Фанни нашла себе другого жениха. Тем не менее мы сумели открыть друг другу свои чувства. Встречались мы с нею в гостях у общих знакомых. Сначала мы танцевали, болтали, шутили и тому подобное; затем мне очень понравилось сидеть с нею рядом, и тут мы уж не много говорили, но, помнится, я все смотрел на нее краешком левого глаза, а потом сделался до того несчастным и сентиментальным, что начал писать стихи и мазать волосы макассарским маслом. Наконец мне стало невтерпеж. Лето в том году было дьявольски жаркое, и, прохаживаясь в тесных сапогах целую неделю по солнечной стороне Оксфорд-стрит в надежде встретить Фанни, я сел и написал письмо, в котором умолял ее о тайном свидании, желая услышать ее решение из ее собственных уст. К полному своему удовлетворению, я убедился, что не могу жить без нее, писал я, и если она не выйдет за меня замуж, я непременно приму синильную кислоту, сопьюсь с кругом или уеду на край света – словом, так или иначе погибну. Я занял фунт стерлингов, подкупил служанку, и она передала Фанни мое письмо.

–И что же она ответила? – спросил Тимсон. Он давно уже убедился, что, поощряя повторение старых историй, можно заслужить новое приглашение к обеду.

–Да то, что обыкновенно отвечают в таких случаях! Фанни писала, что она глубоко несчастна, намекала на возможность ранней могилы, утверждала, будто ничто не заставит ее нарушить свой дочерний долг, умоляла меня забыть ее и найти себе более достойную подругу жизни и всякое тому подобное. Она писала, что ни под каким видом не может видаться со мною без ведома папы и мамы, и просила меня не искать случая встретиться с нею в такой-то части Кенсингтонского сада, где она будет гулять на следующий день в одиннадцать часов утра.

–Вы, конечно, не пошли туда? – спросил Уоткинс Тотл.

–Не пошел? Конечно, пошел! Она была там, а поодаль стояла на страже та самая служанка, чтобы никто нам не мешал. Мы погуляли часа два, почувствовали себя восхитительно несчастными и обручились по всем правилам. Затем мы начали переписываться, то есть посылать друг другу не меньше четырех писем в день. Что мы только там писали – ума не приложу. И каждый вечер я ходил на свидание в кухню, в погреб или еще в какое-нибудь место в том же роде. Так продолжалось некоторое время, и любовь наша возрастала с каждым днем. Наконец наше взаимное чувство увеличилось до крайности, а незадолго перед тем увеличилось и мое жалованье, и потому мы решились на тайный брак. Накануне свадьбы Фанни осталась ночевать у подруги. Мы условились обвенчаться рано утром, а затем вернуться в отчий дом и разыграть там трогательную сцену. Фанни должна была упасть в ноги старому джентльмену и оросить его сапоги слезами, мне же надлежало броситься в объятия старой леди, называть ее «маменькой» и как можно чаще пускать в ход носовой платок. Итак, на следующее утро мы обвенчались. Две девушки – приятельницы Фанни – были подружками, а какой-то парень, нанятый за пять шиллингов и пинту портера, исполнял обязанности посаженного отца. К несчастью, однако, старая леди, уехавшая погостить в Рэмсет, отложила свое возвращение домой до следующего утра, а так как вся наша надежда была на нее, мы решили отсрочить свое признание еще на одни сутки. Новобрачная воротилась домой, я же провел день своей свадьбы, шатаюсь по Хэмстед-Хит и на все лады проклиная своего тестя. Вечером я, разумеется, отправился утешать свою женушку, надеясь убедить ее, что нашим терзаниям скоро конец. Я открыл своим ключом садовую калитку, и служанка провела меня в обычное место наших свиданий – в черную кухню, где на каменном полу стоял кухонный стол, на котором мы, за отсутствием стульев, обыкновенно сидели и целовались.

–Вы целовались на кухонном столе? – перебил его мистер Уоткинс Тотл, чье чувство благопристойности было этим крайне оскорблено.

–Вот именно, на кухонном столе! – отвечал Парсонс. – И позвольте вам заметить, старина, что, если бы вы в самом деле по уши влюбились и у вас не было другого места целоваться, вы бы, черт возьми, очень обрадовались такой возможности. Но на чем бишь я остановился?

–На кухонном столе, – подсказал Тимсон.

–Ах да! Итак, на кухне я застал бедняжку Фанни, безутешную и унылую. Старикашка целый день ворчал, так что она чувствовала себя еще более одинокой и совсем нос повесила. Я, понятно, сделал вид, будто все идет как по маслу, постарался обратить дело в шутку, сказал, что после таких мучений радости семейной жизни покажутся нам еще слаще, и моя бедная Фанни в конце концов немножко развеселилась. Я пробыл на кухне до одиннадцати часов, и только успел проститься в четырнадцатый раз, как вдруг к нам вбегают служанка в одних чулках, насмерть перепуганная, и говорит, что старый изверг, – да простит мне всевышний, что я его так называю, теперь-то он уже покойник, – подстрекаемый не иначе как самим дьяволом, идет сюда, чтобы нацедить себе пива на ужин, чего он за последние полгода ни разу не делал; мне-то это было доподлинно известно: ведь бочонок с пивом стоял в этой самой кухне. Застань он меня здесь, ни о каких объяснениях не могло бы быть и речи; старик, когда бывал чем-нибудь недоволен, приходил в такую неистовую ярость, что ни о чем не стал бы меня слушать. Оставалось только одно. В кухне был очень широкий дымоход. Когда-то он предназначался для печи, и поэтому труба сперва поднималась на несколько футов перпендикулярно вверх, а затем поворачивала вбок, образуя нечто вроде маленькой пещеры. Мои надежды, счастье, даже самые средства для нашего совместного существования – все было поставлено на карту. Я, как белка, вскарабкался наверх, свернулся калачиком в углублении и, едва только Фанни вместе со служанкою придвинула широкую доску, закрывавшую очаг, я увидел огонь свечи, которую держал в руке мой ничего не подозревавший тесть. Затем я услышал, как он цедит пиво; и, право же, я в жизни никогда не замечал, чтобы пиво текло так медленно. Наконец он пошел к выходу, а я хотел было спуститься вниз, но тут проклятая доска со страшным грохотом обрушилась наземь. Старик вернулся, поставил кувшин с пивом и свечку на кухонный стол – он был ужасно нервный, и всякий неожиданный шум бесил его. Равнодушно заметив, что очагом все равно никогда не пользуются, он послал перепуганную служанку на чистую кухню за молотком и гвоздями, а затем наглухо заколотил доской очаг, вышел из кухни и запер за собою дверь. Таким-то образом, разодетый в светлые казимировые панталоны, в модный жилет и синий сюртук, составлявшие утром мой венчальный наряд, провел я свою первую брачную ночь в кухонном дымоходе, нижнюю часть которого заколотили, а верхнюю еще раньше подняли футов на пятнадцать, чтобы дым не беспокоил соседей. И здесь, – добавил мистер Габриэл Парсонс, передавая соседу бутылку, – здесь я и оставался до семи часов утра, пока кавалер служанки – плотник – не извлек меня оттуда. Старый пес так крепко приколол доску, что я и по сей день совершенно уверен, что никто, кроме плотника, не мог бы меня выручить.

–А что сказал отец миссис Парсонс, когда узнал, что вы поженились? – спросил Уоткинс Тотл, который, не понимая шуток, всегда хотел дослушать рассказ до самого конца.

–Приключение с трубой пришлось ему по вкусу, и потому он тотчас же нас простил и даже дал кое-какие деньжонки, на которые мы и жили, покуда он не отправился к праотцам. Следующую ночь я провел в парадной комнате на втором этаже его дома, разумеется, намного приятнее, чем предыдущую, ибо, как вы легко можете представить...

–Простите, сэр, хозяйка зовет чай пить, – сказала средних лет служанка, входя в комнату.

–Это та самая служанка, которая фигурирует в моем рассказе, – пояснил мистер Габриэл Парсонс. – Она находится в услужении у Фанни со дня нашей свадьбы и, по-моему, ни капельки не уважает меня после того, как я на ее глазах вылез из трубы. Помнится, с нею тогда сделался истерический припадок, с той поры она им вообще подвержена. Но не присоединиться ли нам к дамам?

–С удовольствием, – сказал мистер Уоткинс Тотл.

–Сделайте одолжение, – присовокупил угодливый мистер Тимсон, и почтенное трио направилось в гостиную.

После чая с гренками, во время которого мистер Уоткинс Тотл нечаянно опрокинул свою чашку, сели играть в вист. Мистеру Парсонсу досталась в партнерши его супруга, а

мистеру Уоткинсу Тотлу – мисс Лиллертон.

Мистер Тимсон, по религиозным соображениям воздерживавшийся от карт, пил грог и беспрестанно пикировался с мистером Уоткинсом Тотлом. Вечер прошел очень приятно; мистер Уоткинс Тотл чувствовал себя превосходно, чему немало способствовала благосклонность мисс Лиллертон. Перед тем как он откланялся, решено было в будущую субботу вместе совершить поездку в Бьюла-Спа.

– Кажется, дело идет на лад, – сказал мистер Габриэл Парсонс мистеру Уоткинсу Тотлу, прощаясь с ним у калитки.

– Надеюсь, – отвечал тот, пожимая руку приятелю.

– Приезжайте в субботу первым дилижансом, – сказал мистер Габриэл Парсонс.

– Непременно, – отвечал мистер Уоткинс Тотл. – Во что бы то ни стало.

Но мистеру Уоткинсу Тотлу не суждено было приехать с первым субботним дилижансом. Его приключения в этот день и исход его сватовства составят содержание следующей главы.

2

Поутру в субботу, назначенную для поездки в Бьюла-Спа, мистер Габриэл Парсонс с самодовольным видом прохаживался по усыпанной гравием четырнадцатифутовой дорожке, тянувшейся вдоль его «газона».

– Что, первый дилижанс еще не проходил, Том? – любопытно спросил он.

– Нет, сэр, я не видал, – ответил садовник в синем фартуке, нанятый для украшения сада за полкроны в день и за харчи.

– Пора бы уже Тотлу быть здесь, – задумчиво произнес мистер Габриэл Парсонс. – Ага, вот, должно быть, и он! – добавил Габриэл, заметив быстро поднимавшийся в гору кеб. Он застегнул свой шлафрок и отпер калитку, чтобы встретить гостя. Кеб остановился, и из него выскочил человек в пальто из грубого сукна, в грязно-белом шейном платке, выгоревшей черной паре, в сапогах с ярко-рыжими отворотами и в одном из тех высоченных цилиндров, которые прежде встречались довольно редко, но за последнее время вошли в моду у джентльменов и уличных торговцев.

– Мистер Парсонс? – вопросительно произнес человек, обращаясь к Габриэлу и рассматривая надпись на записке, которую держал в руке.

– Да, я Парсонс, – отвечал сахаровар.

– Я привез вот эту вот записку, – хриплым шепотом сообщил субъект в сапогах с рыжими отворотами, – я привез вот эту вот записку от одного джентльмена, который нынче поутру поступил к нам в дом.

– А я ожидал этого джентльмена в своем доме, – сказал Парсонс, сломав печать с оттиском профиля ее величества, какие можно видеть на шестипенсовых монетах.

– Этот джентльмен, уж конечно, был бы тут, – возразил незнакомец, – если б только ему не пришлось сперва попасть к нам. Ну, а раз джентльмен к нам попал, мы уже с него глаз не спустим, можете не сомневаться, – добавил неизвестный, весело ухмыляясь, – прошу прощенья, сэр, я ничего худого не хотел сказать, только – уж раз они попались... надеюсь, вы схватили мою мысль, сэр?

Мистер Габриэл Парсонс не отличался способностью схватывать что-либо на лету, за исключением разве насморка. По сему случаю он ограничился тем, что окинул своего таинственного собеседника исполненным глубочайшего изумления взором и принялся разворачивать доставленную ему записку. Развернув ее, он без труда понял, в чем дело. Мистер Уоткинс Тотл был неожиданно арестован за неуплату долга в тридцать три фунта десять шиллингов четыре пенса и писал ему из долговой тюрьмы, находившейся близ Чансери-Лейн.

– Прескверная история! – произнес Парсонс, складывая записку.

– Ничего, стоит только привыкнуть, – равнодушно отвечал субъект в суконном пальто.

–Том! – воскликнул Парсонс, подумав с минуту. – Потрудитесь заложить лошадь. Передайте джентльмену, что я приеду тотчас же вслед за вами, – продолжал он, обращаясь к Меркурию шерифа.

–Очень хорошо, – отвечал сей ответственный посланец и доверительным тоном добавил: – Я советовал бы друзьям джентльмена уладить это дело. Сами видите, что это сушая безделица, и, если только джентльмен не собирается предстать перед судом, вряд ли стоит ожидать предписания о дальнейшем содержании под стражей, сами понимаете. Наш хозяин – он глядит в оба. Я никогда худого не скажу про него или про другого кого, да только он свое дело знает, здорово знает.

Произнося этот красноречивый, а для Парсонса особенно вразумительный монолог, значение которого дополнялось различными ужимками и кивками, джентльмен в сапогах с отворотами снова сел в свой кеб, а кеб быстро покатился прочь и вскоре исчез из виду. Мистер Габриэл Парсонс продолжал еще некоторое время шагать взад и вперед по дорожке, очевидно погруженный в глубокие размышления. Результат его раздумий, по-видимому, вполне удовлетворил его, ибо он проворно вбежал в дом и объявил, что дела требуют его незамедлительного приезда в город, что он велел посланному известить об этом мистера Уоткинса Тотла и что к обеду они вернутся вместе. Затем он на скорую руку приготовился к поездке и, усевшись в свою двуколку, отправился в заведение мистера Соломона Джейкобса, расположенное (как извещал его мистер Уоткинс Тотл) на Кэрситор-стрит близ Чансери-Лейн.

Когда человек особенно спешит, имея в виду определенную цель, достижение которой зависит от окончания путешествия, ему кажется, что на пути его встречается бесконечное число препятствий, словно нарочно придуманных ради этого случая. Мысль эту отнюдь нельзя назвать оригинальной, и во время своей поездки мистер Габриэл Парсонс на собственном горьком опыте убедился в ее справедливости. Существует три разновидности одушевленных предметов, которые мешают вам сколько-нибудь быстро и удобно передвигаться по многолюдным улицам. Это – свиньи, ребятишки и старухи. В том случае, о котором идет речь, свиньи уписывали кочерыжки, в воздухе порхали воланы, подбрасываемые маленькими деревянными ракетками, на мостовой резвились дети, а старухи, с корзинкой в одной руке и с ключом от входной двери в другой, норовили перейти улицу под самым носом у лошади, так что мистер Габриэл Парсонс кипел от ярости и окончательно охрип от беспрестанных окриков и проклятий. Когда он добрался до Флит-стрит, там образовалась «пробка», причем люди, сидевшие в экипажах, имели удовольствие, по крайней мере полчаса, сохранять полную неподвижность и завидовать самым медлительным пешеходам, а полицейские, бегая туда и сюда, хватали лошадей под уздцы и толкали их прямо в витрины задом, пытаясь расчистить дорогу и предотвратить беспорядок. В конце концов мистер Габриэл Парсонс свернул в Чансери-Лейн и, выяснив после некоторых расспросов, как проехать на Кэрситор-стрит (эта часть города была ему совершенно незнакома), вскоре очутился перед домом мистера Соломона Джейкобса. Поручив свою лошадь и двуколку попечению одного из четырнадцати мальчишек, гнавшихся за ним от самого Блекфрайерского моста на случай, если ему потребуются их услуги, мистер Габриэл Парсонс перешел через улицу и постучался в дверь, в верхнюю часть которой было вставлено стекло, забранное, как и все окна этого привлекательного здания, железною решеткой, для пущей приятности покрашенной в белую краску.

На стук вышел рыжий мальчишка с сердитой бледно-желтой физиономией. Обозрев мистера Габриэла Парсонса сквозь стекло, он вставил большой ключ в огромный деревянный нарост, по сути дела представлявший собою замок, но в сочетании с железными гвоздями, которыми были утыканы филенки, придававший двери такой вид, словно на ней выросли бородавки.

–Мне нужно видеть мистера Уоткинса Тотла, – сказал Парсонс.

–Это тот джентльмен, который поступил сегодня утром, Джем, – раздался визгливый голос с лестницы, ведущей вниз на кухню. Голос этот принадлежал неопрятной женщине,

которая в эту минуту как раз подняла свой подбородок на уровень пола в коридоре. – Джентльмен в зале.

–Наверх, сэра, – сказал мальчишка и, отворив дверь ровно настолько, чтобы Парсонс мог пройти, не рискуя быть раздавленным, снова повернул ключ на два оборота, как только тот пробрался сквозь это отверстие. – Второй этаж, дверь налево.

Получив эти указания, мистер Габриэл Парсонс поднялся по полутемной, не покрытой ковром лестнице и несколько раз тихонько постучал в вышеупомянутую «дверь налево». Однако на стук никто не отозвался: его заглушал гомон голосов в комнате и доносившееся снизу шипенье какого-то поджариваемого кушанья. Тогда Парсонс повернул ручку двери и вошел. Узнав, что несчастный, которого он пришел проведать, только что отправился наверх писать письмо, он сел и принялся наблюдать окружающую картину.

Зала, или, скорее, маленькая тесная комната, была разделена перегородками на небольшие клетки, подобно общей зале в какой-нибудь дешевой харчевне. Грязный пол, как видно, давно уже не знал ни щетки, ни ковра, ни простой дорожки, а потолок совершенно почернел от копоти керосиновой лампы, освещавшей комнату по вечерам. Серый пепел на столах и окурки сигар, в изобилии разбросанные возле пыльной каминной решетки, вполне объясняли причину невыносимого запаха табака, наполнявшего комнату, а пустые стаканы и размокшие куски лимона на столах вместе с пивными кружками под столами свидетельствовали о возлияниях, которым с утра до ночи предавались временные постояльцы мистера Соломона Джейкобса. Тусклое зеркало над камином было вдвое уже каминной доски, зато ржавая решетка была, наоборот, вдвое шире самого камина.

Когда мистер Габриэл Парсонс осмотрел эту приятную комнату, внимание его, естественно, привлекли находившиеся в ней люди. В одной из клетушек двое мужчин играли в криббедж очень грязными картами, собранными из разных колод, с синими, зелеными и красными рубашками. Доску для игры давно уже смастерил какой-то изобретательный постоялец, перочинным ножом и вилкой о двух зубьях просверлив в столе необходимое число дырок для втыкания деревянных гвоздиков. В другой клетушке упитанный жизнерадостный субъект лет сорока ел обед, доставленный ему в корзинке не менее бодрою супругой; в третьей молодой человек благородной наружности вполголоса горячо объяснял что-то молодой женщине, лицо которой было скрыто густой вуалью и которая, как решил мистер Габриэл Парсонс, была, очевидно, женою должника. Еще один молодой человек, с вульгарными манерами и одетый по последней моде, заложив руки в карманы, прохаживался из угла в угол с зажженной сигарой во рту, то и дело пуская густые клубы дыма и по временам с очевидным удовольствием прикладываясь к большой кружке, содержимое которой подогревалось на огне.

–Еще четыре пенса, черт возьми! – воскликнул один из игроков в криббедж, раскуривая трубку и обращаясь к своему противнику. – Похоже на то, будто вы спрятали свое счастье в перочинницу и высыпаете его оттуда по мере надобности.

–Недурно сказано, – отвечал другой, лошадиный барышник из Излингтона.

–Вот именно, черт побери! – вмешался жизнерадостный субъект, окончив тем временем свой обед и в поистине завидном супружеском согласии потягивая горячий грог из одного стакана с женою. Верная подруга его жизни принесла внушительное количество антитрезвенной жидкости в большой плоской глиняной бутылки, формой своею напоминавшей кувшин вместимостью в полгаллона, которому сделали удачный прокол от водянки. – Вы славный малый, мистер Уокер. Не желаете ли погрузить сюда свой клюв?

–Благодарю сэра, – отвечал мистер Уокер, выходя из своей клетушки и направляясь в соседнюю, чтобы принять предложенный стакан. – Ваше здоровье, сэра, и здоровье вашей славной женушки. За ваше здоровье, джентльмены, желаю вам удачи. Однако, мистер Уиллис, – продолжал веселый арестант, обращаясь к молодому человеку с сигарой, – вы сегодня что-то не в духе, так сказать – нос на квинту. Что с вами, сэра? Не унывайте.

–О! У меня все в порядке, – отвечал курильщик. – Завтраменя возьмут на поруки.

–В самом деле? Хотел бы я то же самое сказать о себе. Я ведь окончательно пошел ко

дну – в точности как «Ройял Джордж»,⁵⁰ – скорее из него всю воду вычерпают, чем меня отсюда вызволят. Ха-ха-ха!

–Посмотрите на меня, – произнес молодой человек очень громким голосом и остановился среди комнаты. – Как вы думаете, почему я проторчал здесь два дня?

–Скорей всего потому, что не могли отсюда выйти – отвечал мистер Уокер, подмигивая честной компании. – Не то чтобы вы были обязаны здесь оставаться, а просто вам иначе никак невозможно. Никакого принуждения, а так, знаете, должны – и все.

–Ну, разве он не славный малый? – с восхищением обратился к своей жене субъект, предлагавший Уокеру стакан грога.

–А то как же! – отвечала почтенная леди, совершенно очарованная этими блесками остроумия.

–Мое дело совершенно особого рода, – нахмурилась жертва острословия Уокера, бросив в огонь окурок сигары и сопровождая свою речь равномерными ударами пивной кружки по столу. – Отец мой – человек весьма состоятельный, а я – его сын...

–Да, это весьма странное обстоятельство, – игриво заметил мистер Уокер.

–Я его сын и получил прекрасное образование. Я никому ничего не должен – ни единого фартинга, но, видите ли, меня уговорили поручиться за друга на значительную сумму, я бы даже сказал – на весьма значительную сумму, которую мне, однако, не возместили. И каковы же были последствия?

–Что ж, надо полагать, что его векселя пошли бродить по белу свету, а вы угодили под замок. Арест был наложен не на акцепты, а на вас.

–Именно так, – отвечал юный джентльмен, получивший прекрасное образование, – именно так. И вот я здесь, сижу взаперти из-за каких-то тысячи двухсот фунтов.

–Почему же вы не попросите своего родителя выложить денежки? – спросил Уокер скептическим тоном.

–Да что вы! Он никогда этого не сделает, – отвечал тот убежденно. – Никогда!

–Удивительное дело, – вступил в разговор владелец плоской бутылки, смешивая еще один стакан грога. – Я вот уже лет тридцать, можно сказать, только и делаю, что попадаю в беду. Тридцать лет назад я разорился на торговле молоком, потом снова сел на мель, когда занялся продажей фруктов и держал фургон на рессорах, и, наконец, в последний раз, когда стал развозить по домам уголь и картошку, и представьте – за все это время я еще ни разу не встречал в этих местах ни одного молодого парня, который бы не говорил, что его вот-вот должны выпустить. Все сидят за векселя, которые выдали друзьям, и все ровно ничего по ним не получили – ни единого гроша.

–Да, это старая песня, – сказал Уокер. – Не вижу я в ней вовсе никакого толку. Это-то меня и бесит. Я был бы гораздо лучшего мнения о человеке, если б он признался сразу, честно и благородно, как подобает джентльмену, что надувал каждого, кого только мог.

–Конечно, конечно, – вмешался барышник, чьим понятиям о купле и продаже такая формула вполне соответствовала, – совершенно с вами согласен.

Юный джентльмен, вызвавший эти злорадные замечания, приготовился было дать на них весьма резкий ответ, но в эту минуту молодой человек, о котором упоминалось выше, и женщина, сидевшая рядом с ним, поднялись, чтобы выйти из комнаты, и разговор прервался. Она горько плакала, и нездоровая атмосфера комнаты так подействовала на ее расстроенные нервы и хрупкий организм, что ее спутнику пришлось поддерживать ее, когда они вместе направились к выходу.

В наружности этой пары было нечто столь благородное, столь необычное в заведении подобного рода, что все почтительно умолкли и не проронили ни слова до тех пор, пока

⁵⁰ «Ройял Джордж» – английский стопушечный военный корабль, с которым в июне 1782 года произошла неожиданная катастрофа: во время стоянки на рейде Спитхед морские орудия переместились к одному борту и корабль пошел ко дну вместе с многочисленной командой, тремястами пассажирами и адмиралом; всего погибло свыше девятистот человек.

оглушительный скрежет дверной пружины не возвестил о том, что они уже ничего не услышат. Молчание прервала жена бывшего фруктовщика.

–Бедняжка! – произнесла она, заливая свой вздох большим глотком грога. – Она еще такая молоденькая.

–И к тому же недурна, – добавил барышник.

–За что он угодил сюда, Айки? – осведомился Уокер у субъекта, который накрывал один из столов скатертью, испещренной множеством горчичных пятен, и в котором мистер Габриэл Парсонс без труда узнал своего утреннего посетителя.

–У-у, вы еще в жизни не слыхивали о таком дьявольском жульничестве, – отвечал доверенный слуга мистера Соломона Джейкобса. – Он прибыл сюда в прошлую среду и, между прочим, сегодня вечером отправляется на тот берег Темзы,⁵¹ ну, да это к делу не относится. Мне, знаете ли, пришлось-таки побегать туда-сюда по его делам, и я сумел выведать кое-что у слуг и еще кой у кого, и, насколько я понял, суть в том, что...

–Короче, старина, – перебил его Уокер, который по опыту знал, что рассказы владельца высоких сапог с отворотами не отличались ни краткостью, ни вразумительностью.

–Вы мне только не мешайте, – сказал Айки, – тогда через пять секунд меня и след простынет. Отец этого самого молодого джентльмена, – так мне сказали, имейте в виду, – и отец этой молодой женщины всегда были на ножах, но случилось так, что он пошел в гости к одному джентльмену, с которым они вместе учились, и повстречал там эту самую молодую леди. Он виделся с ней несколько раз, а потом возьми да и объяви, что хочет и дальше с нею встречаться, если она согласна. Ну вот, он, значит, полюбил ее, а она его, и не иначе как дело у них пошло на лад, потому что через полгода они обвенчались, и заметьте – тайком от родителей, – по крайней мере, так говорят. Ну, а когда отцы про это узнали – ай-ай-ай, что тут сделалось! Уморить их с голоду – это еще полбеды. Отец молодого джентльмена не отказал ему ни гроша за то, что сын не хотел отказаться от жены, а отец молодой леди – так тот еще хуже сделал: он не только разбил ее последними словами и поклялся, что больше никогда ее не увидит, нет, он еще нанял одного молодца, которого вы, мистер Уокер, не хуже меня знаете, чтоб тот пошел да и скупил все векселя и все такое прочее, под которые молодой супруг пытался раздобыть денег, чтоб хоть некоторое время продержаться, в надежде, что старик одумается; мало того – он стал изо всех сил натравливать на него других людей. Результат был тот, что молодой человек платил сколько мог, но вскоре на него навалились такие долги, какие он никак не рассчитывал отдавать, покуда не обернется, и вот тут-то его и зацапали. Привезли его сюда, как я уже говорил, в прошлую среду, и у нас внизу сейчас наверняка лежит с полдюжины предписаний о дальнейшем задержании под стражей – и все на него. Я по этой части пятнадцать лет служу, – добавил Айки, – а уж таких злопамятных людей не видывал!

–Ах, бедняжки! – снова воскликнула супруга бывшего торговца углем, еще раз прибегая к тому же превосходному средству, чтобы подавить свой вздох в самом зародыше. – Ах, если б им пришлось пережить столько горя, сколько нам с мужем, они бы чувствовали себя не хуже нашего.

–Молодая леди недурна, – сказал Уокер, – да только не в моем вкусе, – уж больно она субтильна, смотреть не на что. Ну, а парень – он, может, и из порядочных и всякое такое, да зря он нос повесил. Прыти ему не хватает, вот что.

–Прыти не хватает! – вскричал Айки, в десятый раз перекладывая с места на место ножик и вилку с зелеными черенками, чтоб иметь предлог оставаться в комнате. – Прыти-то у него хватает, если есть с кем потягаться, но у кого же хватит прыти, как вы выражаетесь, когда рядом с ним сидит такое несчастное создание? У всякого сердце кровью обольется, на них глядя, – это уж точно. Никогда не забуду, как она приезжала сюда в первый раз – в

⁵¹ ...на тот берег Темзы... – то есть в долговую тюрьму; заведение Соломона Джейкобса – дом бейлифа, где за высокую плату арестованным предоставлялись комнаты. Если долг не погашался в течение нескольких дней, арестованного переводили в тюрьму.

четверг он написал ей, чтоб она приехала, я это точно знаю, сам письмо отвозил. Весь день он сидел как на иголках, а вечером, гляжу, спускается в контору да и говорит Джейкобсу: «Сэр, говорит, нельзя ли мне сегодня вечером на несколько минут воспользоваться отдельной комнатой без дополнительной оплаты? Я хотел бы там повидаться со своей женой». Джейкобс хотел было ответить: «Скажите, какой скромник выискался», – да тут как раз тот джентльмен, что жил в задней комнате, уехал, заплатив за весь день, – и потому он и говорит с важным видом: «Сэр, это против наших правил, чтобы постояльцы бесплатно пользовались отдельными комнатами, но, говорит, для джентльмена я готов один раз нарушить правило». Тут он повернулся ко мне и говорит: «Айки, снеси в заднюю гостиную две свечки и поставь их на счет этому джентльмену». Я так и сделал. Через некоторое время к дверям подъезжает наемная карета, а в ней сидит эта молодая леди, завернувшись в ротонду, или как их там называют. В тот вечер я отпирал двери и потому вышел встречать карету, а он ждал у дверей комнаты и весь дрожал с головы до ног – ей-богу! Как увидела его бедняжка, у ней чуть ноги не подкосились. «Ах, Гарри! Вот до чего мы дошли, и все из-за меня!» – говорит она и кладет руку ему на плечо. Обнял он ее за тоненькую талию, нежно провел в комнату, затворил дверь и сказал – тихонько так да ласково: «Что ж делать, Кэт...»

–А вот и джентльмен, которого вы спрашивали, – сказал Айки, резко обрывая свой рассказ и представляя мистеру Габриэлу Парсонсу пришибленного Уоткинса Тотла, который в эту минуту вошел в комнату. Уоткинс приблизился с выражением тупого смирения на лице и пожал протянутую мистером Габриэлом Парсонсом руку.

–Мне нужно поговорить с вами, – сказал Габриэл, на лице которого выразилось крайнее нерасположение к собравшемуся в комнате обществу.

–Пройдемте сюда, – отвечал узник, направляясь к парадной гостиной, где богатые должники Предавались роскоши за две гиней в сутки.

–Итак, я здесь, – сказал Уоткинс, усаживаясь на диван, кладя руки на колени и озабоченно заглядывая в глаза другу.

–Вижу, вижу, и похоже на то, что вы здесь и останетесь, – хладнокровно отвечал Габриэл Парсонс, позвякивая деньгами в кармане своих невыразимых и поглядывая в окно.

–Какова сумма долга вместе с издержками? – осведомился он после неловкого молчания.

–Тридцать семь фунтов три шиллинга десять пенсов.

–Есть у вас деньги?

–Всего девять шиллингов и шесть с половиной пенсов. Прежде чем решиться открыть свой план, мистер Габриэл Парсонс несколько минут прохаживался взад-вперед по комнате; он привык заключать кабальные сделки, но всегда старался скрыть свою алчность. Наконец он остановился и сказал:

–Тотл, вы должны мне пятьдесят фунтов.

–Да.

–И, судя по всему, вы останетесь моим должником.

–Боюсь, что так.

–Хотя вы с удовольствием рассчитались бы со мною, если б имели возможность?

–Разумеется.

–Ну, так слушайте, – сказал мистер Габриэл Парсонс – Вот мое предложение. Вы меня давно знаете. Согласны или не согласны – да или нет? Я плачу долг и все издержки, даю вам займы еще десять фунтов, которые вместе с вашим годовым доходом позволят вам успешно провести свою кампанию, вы же даете расписку в том, что обязуетесь выплатить мне полтора фута фунтов не позже чем через полгода после женитьбы на мисс Лиллертон.

–Но, милый мой...

–Постойте. С одним условием, а именно: вы сделаете предложение мисс Лиллертон немедленно.

–Немедленно! Дорогой Парсонс, подумайте, что вы говорите.

–Это вам нужно думать, а не мне. Она много о вас слышала, хотя лично познакомилась

с вами не так давно. Несмотря на всю ее девическую скромность, я уверен, что она только и мечтает выйти замуж как можно скорее без лишних проволочек. Моя жена выспрашивала ее, и она призналась.

–Призналась? В чем же? – с нетерпением прервал его влюбленный Уоткинс.

–По правде говоря, было бы трудно сказать, в чем именно она призналась, – отвечал Парсонс, – ведь они изъяснялись только намеками; но моя жена в таких делах собаку съела и утверждает, будто признание мисс Лиллертон можно истолковать так, что она не совсем равнодушна к вашим достоинствам, – словом, что она не будет принадлежать никому другому.

Мистер Уоткинс Тотл вскочил с места и дернул звонок.

–Это еще зачем? – осведомился Парсонс.

–Я хочу послать за гербовой бумагой, – отвечал мистер Уоткинс Тотл.

–Стало быть, вы согласны?

–Согласен.

Друзья обменялись сердечными рукопожатиями. Расписка была выдана, долг и издержки уплачены, Айки отблагодарили за услуги, и два друга вскоре закрыли за собой дверь заведения мистера Соломона Джейкобса с той стороны, с которой мечтают снова очутиться все его обитатели, а именно – *снаружной*.

–Итак, – сказал мистер Габриэл Парсонс по дороге в Норвуд, – у вас будет возможность объясниться сегодня же, только не робейте.

–Я готов! – храбро отвечал Уоткинс.

–Хотел бы я увидеть вас вместе! – вскричал мистер Габриэл Парсонс. – То-то будет потеха!

Он смеялся так долго и так громко, что привел в полное замешательство мистера Уоткинса Тотла и испугал лошадь.

–Смотрите, вот Фанни и ваша нареченная гуляют на лужайке, – сказал Габриэл, когда они приблизились к дому. – Держитесь, Тотл.

–Не беспокойтесь, – решительно отвечал Тотл, направляясь к дамам.

–Вот мистер Тотл, милочка, – сказала миссис Парсонс, обращаясь к мисс Лиллертон.

Последняя быстро обернулась, и в ответ на его учтивое приветствие на лице ее, как и при первой их встрече, Уоткинс заметил смущение, однако на этот раз с некоторым оттенком разочарования или равнодушия.

–Вы заметили, как она обрадовалась при виде вас? – прошептал Парсонс.

–По-моему, у нее было такое лицо, словно она хотела увидеть кого-то другого, – отвечал Тотл.

– Чепуха! – снова прошептал Парсонс – Женщины – и молодые и старые – всегда так поступают. Они и виду не покажут, как рады вам, а у самих сердце так и прыгает. Таков уж женский пол, и мужчине вашего возраста пора бы это знать. Фанни много раз признавалась мне в этом, когда мы только поженились. Вот что значит быть женатым!

–Без сомнения, – прошептал Тотл. Храбрость его быстро улетучивалась.

–Ну, пора приниматься за дело, – сказал Парсонс. Вложив в предприятие некоторую сумму, он взял на себя обязанности распорядителя.

–Да, да, сейчас... – в сильном смущении отвечал Тотл.

–Да скажите же ей что-нибудь, – настаивал Парсонс – Черт возьми, сделайте ей комплемент, что ли.

–После обеда, – отвечал застенчивый Тотл, стараясь отсрочить роковую минуту.

–Однако, джентльмены, – сказала миссис Парсонс, – вы, право же, чрезвычайно учтивы. Сначала вы все утро отсутствуете, вместо того чтобы, как было обещано, везти нас на прогулку, а когда наконец приезжаете домой, то шепчетесь друг с другом, не обращая на нас ровно никакого внимания.

–Душа моя, мы говорили о деле, которое задержало нас сегодня утром, – отвечал Парсонс, бросая многозначительный взгляд на Тотла.

–Боже! Как быстро пролетело это утро! – воскликнула мисс Лиллертон, взглянув на свои золотые часы, которые она независимо от надобности заводила в особо торжественных случаях.

–А мне кажется, что оно тянулось очень медленно, – робко заметил Тотл.

–Браво! Отлично! – прошептал Парсонс.

–Неужели? – произнесла мисс Лиллертон, изобразив величественное изумление.

–Я могу объяснить это только тем, что был лишен вашего общества, сударыня, и общества миссис Парсонс, – сказал Уоткинс.

Во время этого короткого диалога дамы направились к дому.

–Какого черта вы приплели к этому комплименту Фанни? – спросил Парсонс, когда друзья последовали за дамами. – Вы этим все дело испортили.

–О, иначе он казался бы очень дерзким, – отвечал Уоткинс Тотл, – я бы даже сказал, чересчур дерзким.

–Он рехнулся! – шепнул Парсонс на ухо своей супруге, входя в гостиную. – Рехнулся от скромности.

–Скажите на милость! – вскричала она. – Я в жизни ничего подобного не слышала.

–Как видите, мистер Тотл, у нас нынче совершенно семейный обед, – сказала миссис Парсонс, когда все сели за стол. – Мисс Лиллертон у нас как родная, да и вы для нас тоже не чужой.

Мистер Уоткинс Тотл выразил надежду, что никогда не будет чужим в семье Парсонс, а про себя подумал, что его застенчивость все равно не даст ему чувствовать себя как дома.

–Снимите крышки, Марта, – приказала миссис Парсонс, озабоченно распоряжаясь переменою декораций.

Приказание было выполнено, и на одном конце стола показалась пара вареных кур с языком и прочими принадлежностями, а на другом – телятина. С одной стороны на зеленом блюде красовались два зеленых соусника с фарфоровыми ложками того же цвета, с другой – кролик под коричневым соусом с пряностями и с гарниром из ломтиков лимона.

–Мисс Лиллертон, милочка, поухаживать за вами? – спросила миссис Парсонс.

–Нет, благодарю вас, я, пожалуй, побеспокою мистера Тотла.

Уоткинс встрепенулся, задрожал, подал кусок кролика и разбил рюмку. Лицо хозяйки дома, до этой минуты сиявшее лучезарною улыбкой, страшно изменилось.

–П-п-рошу прощения, – заикаясь, пробормотал Тотл, в крайнем замешательстве накладывая себе на тарелку соус с пряностями, петрушку и масло.

–О, не важно, – отвечала миссис Парсонс тоном, не оставлявшим ни малейших сомнений в чрезвычайной важности происшествия, и тут же велела мальчику, который шарил под столом в поисках осколков стекла, прекратить свои изыскания.

–Я полагаю, что мистеру Тотлу известно, какому штрафу обычно подвергаются в подобных случаях холостяки, – сказала мисс Лиллертон. – Дюжина рюмок за одну разбитую.

Мистер Габриэл Парсонс многозначительно наступил Тотлу на ногу. В этих словах заключался явный намек, что чем скорее он перестанет быть холостяком и избавится от подобных штрафов, тем лучше. Мистер Уоткинс Тотл именно так и понял это замечание и, выказав просто поразительную в данных обстоятельствах находчивость, предложил миссис Парсонс вина.

–Мисс Лиллертон, – сказал Габриэл, – разрешите мне...

–Вы очень любезны.

–Тотл, передайте, пожалуйста, графин мисс Лиллертон.

Благодарю вас. – За сим последовала обычная пантомима кивков и глотков.

–Тотл, приходилось ли вам бывать в Саффоке? – спросил хозяин дома, жаждавший рассказать одну из своих неизменных семи историй.

–Нет, не приходилось, – отвечал Уоткинс, добавив в виде оговорки, что он бывал в Девоншире.

–Жаль! Видите ли, в Саффоке много лет назад со мной был чрезвычайно странный

случай. Разве я вам никогда о нем не рассказывал?

Мистер Уоткинс Тотл, разумеется, слышал эту историю не меньше тысячи раз. Однако он выразил величайшее любопытство и с крайним нетерпением ждал рассказа. Мистер Габриэл Парсонс тотчас же приступил к делу, несмотря на то что, как наши читатели неоднократно имели возможность убедиться, хозяина дома в таких случаях очень часто перебивают. Мы попытаемся пояснить свою мысль на примере.

–Когда я был в Саффоке... – начал мистер Габриэл Парсонс.

–Сначала уберите кур, Марта, – сказала миссис Парсонс. – Извини, милый.

–Когда я был в Саффоке, – повторил мистер Парсонс, бросая раздраженный взгляд на свою супругу, которая сделала вид, будто ничего не замечает, – когда я был в Саффоке несколько лет назад, мне пришлось заехать по делу в город Бери-Сент-Эдмондс. Я должен был по дороге задержаться на главных станциях и потому для удобства поехал на двуколке. Часов в девять вечера, в полной тьме – дело было зимою, – я выехал из Садбери. Дождь лил как из ведра, ветер завывал в придорожных деревьях, было так темно, что я не мог разглядеть собственную руку, и я вынужден был ехать шагом...

–Джон, – произнесла миссис Парсонс низким глухим голосом, – не пролейте соус.

–Фанни, – с досадою сказал Парсонс, – лучше бы ты отложила свои хозяйственные распоряжения до более удобного времени. Право же, душа моя, очень неприятно, когда тебя постоянно перебивают.

–Но ведь я же не перебивала тебя, милый, – отвечала миссис Парсонс.

–Нет, ты перебила меня, душенька, – возразил мистер Парсонс.

–Это просто смешно, друг мой! Ведь должна же я, в самом деле, смотреть за прислугой, а если б я сидела, спокойно глядя, как Джон обливает соусом новый ковер, ты же первый завтра утром стал бы сердиться, что на ковре пятна.

–Так вот, – продолжал Габриэл с видом полной покорности судьбе, словно зная, что против этого последнего довода все равно ничего не поделаешь, – как я уже сказал, было до того темно, что я не мог разглядеть свою собственную руку. Дорога была безлюдна, и уверяю вас, Тотл (последним замечанием мистер Парсонс желал привлечь внимание Уоткинса, который заинтересовался конфиденциальными переговорами между миссис Парсонс и Мартой, сопровождавшимися передачею огромной связки ключей), уверяю вас, Тотл, мне стало как-то не по себе...

–Подайте хозяину пирог, – перебила его миссис Парсонс, снова обращаясь к прислуге.

–Прошу тебя, дорогая! – обиженно взмолился Парсонс. Миссис Парсонс возвела к потолку глаза и руки, молчаливо ища сочувствия у мисс Лиллертон.

–Когда я подъехал к повороту, – продолжал Габриэл, – лошадь вдруг остановилась и взвилась на дыбы. Я осадил назад, соскочил на землю, подбежал к морде лошади и увидел, что посреди дороги лежит навзничь какой-то человек и неподвижным взором глядит на небо. Я сперва подумал, что он мертв, но нет, он был жив и, по-видимому, цел и невредим. Вдруг он вскочил, схватился за грудь и, устремив на меня самый пронзительный взгляд, какой вы можете себе представить, вскричал...

–Подайте сюда пудинг, – произнесла миссис Парсонс.

–Ах, что толку! – в отчаянии воскликнул хозяин. – Послушайте, Тотл, не угодно ли вина? При миссис Парсонс невозможно ничего рассказывать.

Этот выпад был принят как обычно. Делая вид, что обращается к мисс Лиллертон, миссис Парсонс корила свою половину, распространяясь о раздражительности всех мужчин вообще, намекала, что ее супруг особенно подвержен этому пороку, и в конце своей речи дала понять, что у нее ангельский характер, ибо в противном случае она не могла бы этого выдержать. Право же, тем, кто видит ее в повседневной жизни, трудно представить себе, что ей приходится иногда терпеть.

Продолжать рассказ было бы теперь крайне неуместно, и потому мистер Парсонс, не входя в подробности, ограничился сообщением, что тот человек оказался помешанным, сбежавшим из соседнего сумасшедшего дома.

Наконец со стола убрали скатерть, и вскоре вслед за тем дамы удалились в гостиную, где мисс Лиллертон специально для ушей гостя принялась очень громко играть на фортепьяно. Мистер Уоткинс Тотл и мистер Габриэл Парсонс спокойно болтали до окончания второй бутылки. Перед тем как перейти в гостиную, Парсонс сообщил Уоткинсу, что они с женой придумали план, как оставить его тотчас после чая наедине с мисс Лиллертон.

–Послушайте, – сказал Тотл, когда они поднимались по лестнице, – не кажется ли вам, что лучше отложить это до... до... до завтра?

–А не кажется *ливам*, что было бы гораздо лучше, если б я оставил вас в той гнусной дыре, где застал сегодня утром? – резко возразил ему Парсонс.

–Нет, нет! Я ведь только высказал предположение, – произнес несчастный Тотл с тяжелым вздохом.

После чая мисс Лиллертон, придвинув к камину рабочий столик и установив на нем маленькую деревянную рамку – нечто вроде миниатюрной глиномялки без лошади, – тотчас же принялась плести из коричневого шелка цепочку для часов.

–Боже мой! – вскричал Парсонс, вскакивая с места с притворным изумлением. – Ведь я же совсем забыл про эти проклятые письма. Тотл, я надеюсь, мы меня извините.

Будь его воля, Тотл ни под каким видом не позволил бы никому, за исключением разве самого себя, покинуть комнату. Теперь, однако, он вынужден был с беспечным видом смотреть на уходящего Парсонса.

Не успел тот выйти, как в дверь просунулась Марта со словами:

–Пожалуйста, мэм, вас спрашивают.

Миссис Парсонс вышла из комнаты, плотно прикрыв за собою дверь, и мистер Уоткинс Тотл остался наедине с мисс Лиллертон.

Воцарилась гробовая тишина. Мистер Уоткинс Тотл думал, с чего начать; мисс Лиллертон, казалось, не думала ни о чем. Огонь в камине догорал; мистер Уоткинс Тотл помешал его и подбросил угля.

Минут через пять мисс Лиллертон откашлялась. Мистеру Уоткинсу Тотлу показалось, что прелестное создание заговорило.

–Прошу прощения, – произнес он.

–Что?

–Мне показалось, будто вы что-то сказали.

–Нет, ничего.

–А-а!

–На софе лежат книги, мистер Тотл. Не желаете ли взглянуть? – проговорила мисс Лиллертон еще через пять минут.

–Нет, благодарю вас, – отвечал Уоткинс, а затем с присутствием духа, изумившим даже его самого, добавил: – Сударыня... то есть, простите, мисс Лиллертон, я желал бы поговорить с вами.

–Со мной? – произнесла мисс Лиллертон, роняя шелк и отодвигаясь вместе со стулом на несколько шагов назад. – Поговорить? Со мной?

–Да, сударыня, с вами – и притом о ваших сердечных влечениях.

Тут мисс Лиллертон поспешно встала и хотела было выйти из комнаты, но мистер Уоткинс Тотл нежно остановил ее за руку и, держась от нее на таком расстоянии, какое позволяла общая длина их рук, продолжал:

–Бога ради, не поймите меня превратно, не подумайте, будто после столь непродолжительного знакомства я осмеливаюсь обратить ваше внимание на свои достоинства, ибо я отнюдь не обладаю достоинствами, которые могли бы дать мне право искать вашей руки. Надеюсь, вы не сочтете меня самонадеянным, если я скажу вам, что миссис Парсонс уведомила меня о... то есть миссис Парсонс сказала мне... вернее, не миссис Парсонс, а... – Здесь Уоткинс начал путаться, но мисс Лиллертон пришла ему на выручку.

–Вы, очевидно, хотите сказать, мистер Тотл, что миссис Парсонс сообщила вам о моих чувствах... о моей привязанности... то есть, я хочу сказать, о моем уважении к лицу противоположного пола?

–Да.

–В таком случае, – осведомилась мисс Лиллертон, стыдливо отворачиваясь, – в таком случае, что же могло заставить вас добиваться подобного разговора? Какова ваша цель? Каким образом могу я способствовать вашему счастью, мистер Тотл?

Настала минута для красноречивого признания.

–Вы можете сделать это, если позволите мне, – тут Уоткинс шлепнулся на колени, потеряв при этом две пуговицы от подтяжек и пряжку от жилета, – если позволите мне стать вашим рабом, вашим слугою – словом, если безоговорочно сделаете меня поверенным ваших сердечных тайн, осмелюсь ли сказать – чтобы я мог способствовать вашему собственному счастью, осмелюсь ли сказать – для того чтобы вы могли сделаться женою преданного и любящего мужа?

–О, бескорыстное создание! – воскликнула мисс Лиллертон, закрывая лицо белым носовым платочком с каемкой, вышитой узором из дырочек.

Мистеру Уоткинсу Тотлу пришло в голову, что если бы мисс Лиллертон знала все, она, вероятно, изменила бы свое мнение с нем. Он церемонно поднес к губам кончик ее среднего пальца и по возможности грациозно поднялся с колен.

–Мои сведения были верны? – с трепетом спросил он, как только снова очутился на ногах.

–Да.

Уоткинс поднял руки и, желая выразить свой восторг, возвел глаза к предназначенной для лампы розетке на потолке.

–Наше положение, мистер Тотл, – продолжала мисс Лиллертон, поглядывая на него сквозь дырочку в каемке платка, – наше положение в высшей степени странное и щекотливое.

–Совершенно с вами согласен, – сказал мистер Тотл.

–Наше знакомство было столь непродолжительным, – произнесла мисс Лиллертон.

–Оно длилось всего неделю, – подтвердил Тотл.

–О, гораздо дольше! – с удивлением воскликнула мисс Лиллертон.

–В самом деле? – сказал Тотл.

–Больше месяца, даже больше двух месяцев! – сказала мисс Лиллертон.

«Это, однако, что-то странно», – подумал Тотл.

–О! – произнес он, вспомнив уверения Парсонса, будто она давно о нем слышала. – Понимаю! Однако посудите сами, сударыня. Ведь чем дольше длилось это знакомство, тем меньше теперь причин для промедления. Почему тотчас же не назначить срок для исполнения желания вашего преданного обожателя?

–Мне уже не раз указывали, что следует поступить таким образом, – отвечала мисс Лиллертон, – но вы должны принять во внимание мою деликатность, мистер Тотл. Прошу вас, извините мое смущение, но я имею особые понятия об этих предметах и уверяю вас, у меня никогда не хватило бы духу назначить моему будущему супругу день нашей свадьбы.

–В таком случае позвольте мне назвать его, – нетерпеливо сказал Тотл.

–Мне хотелось бы назначить его самой, – застенчиво отвечала мисс Лиллертон, – но я не могу сделать это, не прибегая к помощи третьего лица.

«Третьего лица? – подумал Тотл. – Кто бы это мог быть, черт его побери!»

–Мистер Тотл, – продолжала мисс Лиллертон, – вы сделали мне в высшей степени бескорыстное и любезное предложение, которое я принимаю. Не соблаговолите ли вы тотчас же передать мое письмо мистеру... мистеру Тимсону?

–Мистеру Тимсону? – проговорил Уоткинс.

–После того что произошло между нами, – отвечала мисс Лиллертон, не поднимая глаз, – вы должны понять, кого я подразумеваю. Мистера Тимсона... священника...

–Мистера Тимсона! Священника! – вскричал Уоткинс Тотл в состоянии невыразимого блаженства, не смея верить своему беспримерному успеху. – Ангел мой! Разумеется – сию же минуту!

–Я тотчас же напишу письмо, – сказала мисс Лиллертон, направляясь к двери. – События нынешнего дня так меня взволновали, что сегодня я больше не выйду из своей комнаты. Я пришлю вам письмо со служанкой.

–О, останьтесь! Останьтесь! – взмолился Тотл, все еще держась на весьма почтительном расстоянии от мисс Лиллертон. – Когда мы увидимся снова?

–О мистер Тотл, – кокетливо отвечала мисс Лиллертон, – когда мы обвенчаемся, мне никогда не будет казаться, что я вижу вас слишком часто, и сколько бы я вас ни благодарила, все будет мало. – И с этими словами она вышла из комнаты.

Мистер Уоткинс Тотл бросился в кресло и предался упоительным грезам о будущем блаженстве, в которых так или иначе главенствовала мысль о «пятистах фунтах годового дохода с неограниченным правом распорядиться ими по своему духовному завещанию». Объяснение шло так гладко и закончилось так великолепно, что он начал даже жалеть, почему тут же не поставил условие перевести эти пятьсот фунтов на его имя.

–Можно войти? – спросил мистер Габриэл Парсонс, заглядывая в дверь.

–Пожалуйста, – отвечал Уоткинс.

–Ну, как дела? – озабоченно осведомился Габриэл.

–Как дела? – произнес Уоткинс Тотл. – Т-сс! Я иду к священнику.

–Да ну? – сказал Парсонс. – Ловко же вы обстряпали это дельце!

–Где живет Тимсон? – осведомился Уоткинс.

–У своего дяди, здесь рядом, за углом, – отвечал Габриэл. – Он ждет прихода и последние два-три месяца помогает старику. Однако здорово вам это удалось! Я не ожидал, что вы так быстро справитесь.

Мистер Уоткинс Тотл принялся доказывать, что наилучший способ вести любовные дела основан на принципах Ричардсона, но тут его прервала Марта, которая явилась с розовой записочкой, сложенной на манер модной треуголки.

–Мисс Лиллертон свидетельствует свое почтение, – сказала Марта и, вручив записку мистеру Тотлу, скрылась.

–Замечаете, какая деликатность? – обратился Тотл к мистеру Габриэлу Парсонсу. – *Почтение* – а *нелюбовь*, каково? Через прислугу ведь иначе нельзя.

Мистер Габриэл Парсонс не нашелся что ответить, а потому ограничился тем, что указательным пальцем правой руки ткнул мистера Уоткинса Тотла в бок между третьим и четвертым ребром.

–Пойдемте, – сказал Уоткинс после того, как утих взрыв веселья, вызванный этой шуткой. – Скорее, не будем терять времени.

–Превосходно! – воскликнул Габриэл Парсонс, и через пять минут они уже стояли у садовой калитки виллы, которую занимал дядя мистера Тимсона.

–Мистер Чарльз Тимсон дома? – осведомился мистер Уоткинс Тотл у слуги дяди мистера Чарльза Тимсона.

–Мистер Чарльз дома, – отвечал слуга, заикаясь, – но только он велел всем говорить, чтобы прихожане его не беспокоили.

–Я не прихожанин, – возразил Уоткинс.

–Быть может, мистер Чарльз пишет проповедь, Том? – спросил Парсонс, проталкиваясь вперед.

–Нет, мистер Парсонс, сэр, он не пишет проповедь, он просто играет на виолончели у себя в спальне и строго приказал не мешать ему.

–Скажите ему, что я здесь, – заявил Габриэл, входя в сад. – Скажите, что пришли мистер Парсонс и мистер Тотл по важному личному делу.

Друзей провели в гостиную, и слуга отправился доложить об их приходе. Доносившиеся издалека стоны виолончели умолкли, на лестнице послышались шаги, и

мистер Тимсон сердечно пожал руку Парсонсу.

–Как ваше здоровье, сэр? – торжественно произнес Тотл.

–А как ваше здоровье, сэр? – отвечал Тимсон таким ледяным тоном, словно здоровье Уоткинса ничуть его не интересовало – как оно, по всей вероятности, и было.

–Я должен передать вам это письмо, – сказал Уоткинс Тотл, протягивая треуголку.

–От мисс Лиллертон! – воскликнул Тимсон, внезапно меняясь в лице. – Прошу вас, садитесь.

Мистер Уоткинс Тотл сел и, пока Тимсон читал письмо, внимательно рассматривал портрет архиепископа Кентерберийского, висевший над камином и цветом напоминавший соус из устриц.

Прочитав письмо, мистер Тимсон встал и с сомнением взглянул на Парсонса.

–Осмелюсь спросить, – обратился он к Тотлу, – знает ли наш друг о цели вашего визита?

–Наш друг пользуется моим полным доверием, – с важностью отвечал Уоткинс.

–В таком случае, сэр, – воскликнул Тимсон, схватив Тотла за руки, – в таком случае разрешите мне в его присутствии самым искренним и сердечным образом поблагодарить вас за ваше великодушное участие в этом деле.

«Он воображает, что я рекомендовал его, – подумал Тотл. – Черт бы побрал этих субъектов! только и думают, что о своем вознаграждении».

–Я глубоко сожалею, что превратно истолковал ваши намерения, милостивый государь, – продолжал Тимсон. – Да, вы поистине человек бескорыстный и мужественный! Мало найдется людей, которые поступили бы так, как вы.

Мистер Уоткинс невольно подумал, что последнее замечание едва ли можно счесть за комплимент. Поэтому он поспешно осведомился:

–Когда же будет свадьба?

–В четверг, – отвечал Тимсон, – в четверг, в половине девятого утра.

–Необыкновенно рано, – заметил Уоткинс Тотл с видом торжествующего самоотречения. – Мне будет нелегко поспеть сюда к этому часу. (Это должно было изображать шутку.)

–Не беспокойтесь, друг мой, – любезно произнес Тимсон, еще раз с жаром пожимая руку Тотлу, – коль скоро мы увидим вас за завтраком, то...

–Гм! – произнес Парсонс с таким странным выражением, какое, вероятно, никогда еще не появлялось ни на одной человеческой физиономии.

–Что?! – вскричал в тот же миг Уоткинс Тотл.

–Я хотел сказать, что коль скоро мы увидим вас за завтраком, мы извиним ваше отсутствие при обряде, хотя, разумеется, нам доставило бы величайшее удовольствие, если бы вы на нем присутствовали, – отвечал Тимсон.

Мистер Уоткинс Тотл, шатаясь, прислонился к стене и устремил на Тимсона устрашающе пронзительный взор.

–Тимсон, – проговорил Парсонс, торопливо разглаживая левой рукою свою шляпу, – кого вы подразумеваете под словом «мы»?

–Как это кого? Разумеется, будущую миссис Тимсон, то есть мисс Лиллертон, – пробормотал Тимсон, тоже с глупейшим видом.

–Нечего вам глазеть на этого болвана! – раздраженно крикнул Парсонс Тимсону, который с изумлением наблюдал диковинные гримасы, искажавшие физиономию Уоткинса Тотла. – Потрудитесь лучше в двух словах изложить мне содержание этого письма.

–Это письмо от мисс Лиллертон, с которой я вот уже пять недель как помолвлен по всем правилам, – отвечал Тимсон. – Ее необычайная щепетильность и странные понятия о некоторых предметах до сих пор мешали мне привести наши отношения к той цели, к которой я так страстно стремлюсь. Она пишет мне, что открылась миссис Парсонс, желая иметь ее своею наперсницей и посредницей, что миссис Парсонс посвятила в тайну этого почтенного джентльмена, мистера Тотла, и что он, в самых любезных и деликатных

выражениях, предложил нам свое содействие и даже взял на себя труд доставить это письмо, в котором заключается обещание, коего я так долго и тщетно домогался, – то есть совершил великодушнейший поступок, за что я ему вечно буду обязан.

–Прощайте, Тимсон, – сказал Парсонс, поспешно направляясь к выходу и увлекая за собою ошеломленного Тотла.

–Может быть, вы еще посидите, откушаете чего-нибудь? – спросил Тимсон.

–Благодарю, я уже сыт по горло, – ответил Парсонс и пошел прочь, сопровождаемый совершенно обалдевшим Уоткинсом Тотлом.

Мистер Габриэл Парсонс посвистывал до тех пор, пока не заметил, что давно прошел мимо собственной калитки. Тут он вдруг остановился и сказал:

–А вы неглупый малый, Тотл.

–Не знаю, – отвечал несчастный Уоткинс.

–Пожалуй, вы теперь будете утверждать, что во всем виновата Фанни.

–Я ничего не понимаю, – отвечал окончательно сбитый с толку Тотл.

–Ну, что ж, – заявил Парсонс, поворачивая к дому, – в следующий раз, когда будете делать предложение, выражайтесь ясно и не упускайте удачного случая. И в следующий раз, когда вас посадят в долговую тюрьму, будьте паинькой, сидите тихо и ждите, пока я вас оттуда выкуплю.

Когда и каким образом мистер Уоткинс Тотл возвратился на Сесил-стрит – покрыто мраком неизвестности. Его башмаки были на другое утро обнаружены у дверей его спальни, но, по свидетельству его квартирной хозяйки, он в течение суток не выходил оттуда и не принимал никакой пищи. По истечении этого срока, когда собравшийся на кухне военный совет решал, не позвать ли приходского надзирателя, чтобы в его присутствии взломать дверь, Тотл вдруг позвонил и потребовал чашку молока с водой. На следующее утро он ел и пил, как обыкновенно, но спустя неделю, читая в утренней газете список бракосочетаний, снова занемог и уж больше не поправлялся.

Через несколько недель после вышеописанных событий в Риджент-канале было обнаружено тело неизвестного джентльмена. В кармане его панталон нашли четыре шиллинга и три с половиною пенса, объявление о бракосочетании какой-то дамы, очевидно вырезанное из воскресного номера газеты, зубочистку и футляр с визитными карточками, которые безусловно дали бы возможность опознать несчастного джентльмена, если б только не оказалось, что на них ничего не написано. Незадолго до этого мистер Уоткинс Тотл ушел из своей квартиры. На следующее утро был предъявлен счет, который до сих пор еще не оплачен, а вскоре вслед за тем на окне его гостиной появился билетик, который до сих пор еще не снят.

Рождественская песнь в прозе Святочный рассказ с привидениями



Строфа первая

52 Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось.

52 «Рождественская песнь в прозе» («A Christmas Carol in Prose») и «Колокола» («The Chimes») принадлежат к числу «Рождественских повестей» Диккенса, написанных в 40-е годы и вышедших отдельными книжками к рождеству, то есть в конце декабря, почему и получили название «рождественских». Так, «Рождественская песнь в прозе» вышла в 1843 году, а «Колокола» – в 1844. «Рождественские повести» не случайно приурочены к рождественским праздникам. Их возникновение имеет свою историю.

В феврале 1843 года ученый-экономист Смит, представитель прогрессивной английской интеллигенции, член правительственной комиссии по вопросам детского труда, попросил Диккенса, как писателя, пользовавшегося всенародной популярностью и уважением, выступить в печати за проведение закона об ограничении рабочего дня на заводах и фабриках. Он сообщил Диккенсу поистине потрясающие данные о чудовищных условиях труда фабричных рабочих, в частности, факты об эксплуатации детей на промышленных предприятиях.

Диккенс полностью разделял взгляды Смита и его прогрессивных единомышленников и согласился написать памфлет «К английскому народу, в защиту ребенка-бедняка», но затем отказался от этого намерения, решив выступить с протестом против эксплуатации не как публицист, а как писатель. «...не сомневайтесь, – писал Диккенс Смицу 10 марта 1843 года, – что, когда вы узнаете, в чем дело, и когда узнаете, чем я был занят, и где, и как, – вы согласитесь с тем, что молот опустился с силой, в двадцать раз, да что там – двадцать тысяч раз большей, нежели та, какую я мог бы применить, если бы выполнил мой первоначальный замысел».

В России первый перевод «Рождественской песни в прозе» был помещен в журнале «Репертуар и пантеон» в 1844 году (№ 9), под заглавием «Святочные видения». Перевод «Колоколов» был впервые выполнен П. И.

Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уже если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес.

Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.

Учтите: я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолоку, как-то особенно мертв, более мертв, чем все другие гвозди. Нет, я лично скорее отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мертвому предмету из всех скобяных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков, и если бы мой нечестивый язык посмел переиначить ее, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему да позволено мне будет повторить еще и еще раз: Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.

Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным уполномоченным во всех делах, его единственным душеприказчиком, его единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить, и день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки.

Вот я упомянул о похоронах Марли, и это возвращает меня к тому, с чего я начал. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Марли мертв. Это нужно отчетливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычайного в той истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался еще задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным. Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь в каком-либо не защищенном от ветра месте, ну, скажем, по кладбищу св. Павла, преследуя при этом единственную цель – поразить и без того расстроенное воображение сына.

Скрудж не вымарал имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы, еще годы спустя: СКРУДЖ и МАРЛИ. Фирма была хорошо известна под этим названием. И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда – Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули. Ему было безразлично.

Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать... Умел, умел старый греховодник! Это был не человек, а камень. Да, он был холоден и тверд, как камень, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий – он прятался как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндевели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на веселых святках.

Жара или стужа на дворе – Скруджа это беспокоило мало. Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа, самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он, самый проливной дождь не был так беспощаден. Непогода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем – они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома.

Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом: «Милейший Скрудж! Как поживаете? Когда зайдете меня проведать?» Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подаванием, ни один ребенок не решался спросить у него, который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. Казалось, даже собаки, поводыри слепцов, понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: «Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом».

А вы думаете, это огорчало Скруджа? Да нисколько. Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех, и те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко.

И вот однажды – и притом не когда-нибудь, а в самый сочельник, – старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же еще туман, и Скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперед, громко топя по тротуару, отдуваясь и колотя себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три, но становилось уже темно, да в тот день и с утра все, и огоньки свечей, затеплившихся в окнах контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана – такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки. Глядя на клубы тумана, спускавшиеся все ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было подумать, что сама Природа открыла где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику.

Скрудж держал дверь конторы приотворенной, дабы иметь возможность приглядывать за своим клерком, который в темной маленькой каморке, вернее сказать чуланчике, переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше, – казалось, там тлеет один-единственный уголек. Но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углем у себя в комнате, и стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасение, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки, однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу.

– С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на святках! – раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж – не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола.

– Вздор! – проворчал Скрудж. – Чепуха!

Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозцу, что казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели – прямо любо-дорого смотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар.

– Это святки – чепуха, дядюшка? – переспросил племянник. – Верно, я вас не понял!

– Слыхали! – сказал Скрудж. – Повеселиться на святках! А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден?

– В таком случае, – весело отозвался племянник, – по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты?

На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое «вздор» и присовокупил еще «чепуха!».

– Не ворчите, дядюшка, – сказал племянник.

– А что мне прикажешь делать. – возразил Скрудж, – ежели я живу среди таких остолопов, как ты? Веселые святки! Веселые святки! Да провались ты со своими святками! Что такое святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам, а денег хоть

шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки, и хотя к твоему возрасту прибавилась единица, к капиталу не прибавилось ни единого пенни. Да будь моя воля, – негодуяще продолжал Скрудж, – я бы такого олуха, который бегаёт и кричит: «Веселые святки! Веселые святки!» – сварил бы живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, а в могилу ему вогнал кол из остролиста.⁵³

– Дядюшка! – взмолился племянник.

– Племянник! – отрезал дядюшка. – Справляй свои святки как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему.

– Справлять! – воскликнул племянник. – Так вы же их никак не справляете!

– Тогда не мешай мне о них забыть. Много проку тебе было от этих святок! Много проку тебе от них будет!

– Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку, – отвечал племянник. – Вот хотя бы и рождественские праздники. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Это радостные дни – дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, – даже в неимущих и обездоленных, – таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, которым подобает идти другим путем. А посему, дядюшка, хотя это верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что рождество приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует рождество!

Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли и погасил последнюю худосочную искру...

– Эй, вы! – сказал Скрудж. – Еще один звук, и вы отпразднуете ваши святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр, – обратился он к племяннику, – вы, я вижу, краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте.

– Будет вам гневаться, дядюшка! Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас.

Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так и сказал, без всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек.

– Да почему же? – вскричал племянник. – Почему?

– А почему ты женился? – спросил Скрудж.

– Влюбился, вот почему.

– Влюбился! – проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде «веселых святок». – Ну, честь имею!

– Но послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями, зачем же теперь сваливать все на мою женитьбу?

– Честь имею! – повторил Скрудж.

– Да я же ничего у вас не прошу, мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть друзьями?

– Честь имею! – сказал Скрудж.

– Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами, и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. Итак, желаю вам веселого рождества, дядюшка.

– Честь имею! – сказал Скрудж.

⁵³ ...вогнал кол из остролиста. – Ветками остролиста по старинному обычаю украшают на рождестве комнаты и праздничные блюда. Это растение стало в Англии как бы символом рождества.

– И счастливого Нового года!

– Честь имею! – повторил Скрудж. И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который хотя и ооченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие.

– Вот еще один умалишенный! – пробормотал Скрудж, подслушавший ответ клерка. – Какой-то жалкий писец, с жалованием в пятнадцать шиллингов, обремененный женой и детьми, а туда же – толкует о веселых святках! От таких впору хоть в Бедлам⁵⁴ сбежать!

А бедный умалишенный тем временем, выпустив племянника Скруджа, впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена приятной наружности, в руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу.

– Скрудж и Марли, если не ошибаюсь? – спросил один из них, сверившись с каким-то списком. – Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли?

– Мистер Марли уже семь лет как покоится на кладбище, – отвечал Скрудж. – Он умер в сочельник, ровно семь лет назад.

– В таком случае, мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону, – произнес один из джентльменов, предъявляя свои документы.

И он не ошибся, ибо они стоили друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души. Услыхав зловещее слово «щедрость», Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги.

– В эти праздничные дни, мистер Скрудж, – продолжал посетитель, беря с конторки перо, – более чем когда-либо подобает нам по мере сил проявлять заботу о сырых и обездоленных, кои особенно страдают в такую суровую пору года. Тысячи бедняков терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч не имеют крыши над головой.

– Разве у нас нет острогов? – спросил Скрудж.

– Острогов? Сколько угодно, – отвечал посетитель, кладя обратно перо.

– А работные дома? – продолжал Скрудж. – Они действуют по-прежнему?

– К сожалению, по-прежнему. Хотя, – заметил посетитель, – я был бы рад сообщить, что их прикрыли.

– Значит, и принудительные работы существуют и закон о бедных остается в силе?

– Ни то, ни другое не отменено.

– А вы было напугали меня, господа. Из ваших слов я готов был заключить, что вся эта благая деятельность по каким-то причинам свелась на нет. Рад слышать, что я ошибся.

– Будучи убежден в том, что все эти законы и учреждения ничего не дают ни душе, ни телу, – возразил посетитель, – мы решили провести сбор пожертвований в пользу бедняков, чтобы купить им некую толику еды, питья и теплой одежды. Мы избрали для этой цели сочельник именно потому, что в эти дни нужда ощущается особенно остро, а изобилие дает особенно много радости. Какую сумму позволите записать от вашего имени?

– Никакой.

– Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени?

– Я хочу, чтобы меня оставили в покое, – отрезал Скрудж. – Поскольку вы, джентльмены, пожелали узнать, чего я хочу, – вот вам мой ответ. Я не балую себя на праздниках и не имею средств баловать бездельников. Я поддерживаю упомянутые учреждения, и это обходится мне недешево. Нуждающиеся могут обращаться туда.

– Не все это могут, а иные и не хотят – скорее умрут.

– Если они предпочитают умирать, тем лучше, – сказал Скрудж. – Это сократит излишек населения. А кроме того, извините, меня это не интересует.

⁵⁴ Бедлам – лондонский сумасшедший дом.

– Это должно бы вас интересовать.

– Меня все это совершенно не касается, – сказал Скрудж. – Пусть каждый занимается своим делом. У меня, во всяком случае, своих дел по горло. До свидания, джентльмены!

Видя, что настаивать бесполезно, джентльмены удалились, а Скрудж, очень довольный собой, вернулся к своим прерванным занятиям в необычно веселом для него настроении.

Меж тем за окном туман и мрак настолько сгустились, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги – бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Старинная церковная колокольня, чей древний осипший колокол целыми днями иронически косился на Скруджа из стрельчатого оконца, совсем скрылась из глаз, и колокол отзванивал часы и четверти где-то в облаках, сопровождая каждый удар таким жалобным дребезжащим тремоло, словно у него зуб на зуб не попадал от холода. А мороз все крепчал. В углу двора, примыкавшем к главной улице, рабочие чинили газовые трубы и развели большой огонь в жаровне, вокруг которой собралась толпа оборванцев и мальчишек. Они грели руки над жаровней и не сводили с пылающих углей зачарованного взора. Из водопроводного крана на улице сочилась вода, и он, позабытый всеми, понемногу обрастал льдом в тоскливом одиночестве, пока не превратился в унылую скользкую глыбу. Газовые лампы ярко горели в витринах магазинов, бросая красноватый отблеск на бледные лица прохожих, а веточки и ягоды остролиста, украшавшие витрины, потрескивали от жары. Зеленые и курятные лавки были украшены так нарядно и пышно, что превратились в нечто диковинное, сказочное, и невозможно было поверить, будто они имеют какое-то касательство к таким обыденным вещам, как купля-продажа. Лорд-мэр в своей величественной резиденции уже наказывал пяти десяткам поваров и дворецких не ударить в грязь лицом, дабы он мог встретить праздник как подобает, и даже маленький портняжка, которого он обложил накануне штрафом за появление на улице в нетрезвом виде и кровожадные намерения, уже размешивал у себя на чердаке свой праздничный пудинг, в то время как его тощая жена с тощим сынишкой побежала покупать говядину.

Все гуще туман, все крепче мороз! Лютый, пронизывающий холод! Если бы святой Дунстан⁵⁵ вместо раскаленных щипцов хватил сатану за нос этаким морозцем, вот бы тот взвыл от столь основательного щипка!

Некий юный обладатель довольно ничтожного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая прославить рождество, но при первых же звуках святочного гимна:

Да пошлет вам радость бог.
Пусть ничто вас не печалит...

Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджу тумана и еще более близкого ему по духу мороза.

Наконец пришло время закрывать контору. Скрудж с неохотой слез со своего высокого табурета, подавая этим безмолвный знак изнывавшему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечу и надел шляпу.

– Вы небось завтра вовсе не намерены являться на работу? – спросил Скрудж.

– Если только это вполне удобно, сэр.

– Это совсем неудобно, – сказал Скрудж, – и недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли?

Клерк выдавил некоторое подобие улыбки.

– Однако, – продолжал Скрудж, – вам не приходит в голову, что я могу считать себя

⁵⁵ *Святой Дунстан* – в молодости золотых дел мастер, впоследствии – архиепископ Кентерберийский. Считается покровителем ювелиров. Существует легенда, что однажды он схватил черта за нос раскаленными щипцами и не отпустил до тех пор, пока черт не дал обещания больше не искушать его.

обиженным, когда плачу вам жалование даром.

Клерк заметил, что это бывает один раз в году.

– Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год, двадцать пятого декабря, запускать руку в мой карман, – произнес Скрудж, застегивая пальто на все пуговицы. – Но, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день. Так извольте послезавтра явиться как можно раньше.

Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение ока контора была заперта, а клерк, скатившись раз двадцать – дабы воздать дань сочельнику – по ледяному склону Корнхилла вместе с оравой мальчишек (концы его белого шарфа так и развевались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошь иметь пальто), припустился со всех ног домой в Кемден-Таун – играть со своими ребятишками в жмурки.

Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать, просмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходно-расходной книгой, отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Дом этот был построен явно не на месте, и невольно приходило на ум, что когда-то на заре своей юности он случайно забежал сюда, играя с другими домами в прятки, да так и застрял, не найдя пути обратно. Теперь уж это был весьма старый дом и весьма мрачный, и, кроме Скруджа, в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались внаем под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощупью, а в черной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой инея, словно сам злой дух непогоды сидел там, погруженный в тяжелое раздумье.

И вот. Достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспоримым остается и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечерне с того самого дня, как поселился в этом доме. Не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже (а это сильно сказано!) городских советников, олдерменов и членов гильдии. Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли.

Лицо Марли, оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того – излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно, и это в сочетании с трупным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его.

Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток.

Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен и по жилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом и зажег свечу.

Правда, он помедлил немного, прежде чем хлопнуть за собой дверь, и даже с опаской заглянул за нее, словно боясь увидеть косицу Марли, торчащую сквозь дверь на лестницу. Но на двери не было ничего, кроме винтов и гаек, на которых держался молоток, и,

пробормотав: «Тьфу ты, пропасть!», Скрудж с треском захлопнул дверь.

Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома, и каждая комната верхнего этажа и каждая бочка внизу, в погребе виноторговца, отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, оправляя по дороге свечу.

Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехать в карете шестерней и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну, а по той лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие, и если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек, оглоблями – к стене, дверцами – к перилам, и тогда на лестнице осталось бы еще достаточно свободного места.

Не это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дроги? Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы и полдюжины газовых фонарей, так что вам нетрудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджа могла рассеять мрак.

Но Скрудж на это плевать хотел и двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же, прежде чем захлопнуть за собой тяжелую дверь своей квартиры, Скрудж прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в порядке. И не удивительно – лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами.

Гостиная, спальня, кладовая. Везде все как следует быть. Под столом – никого, под диваном – никого, в камине тлеет скупой огонек, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой (коей Скрудж пользовал себя на ночь от простуды) – на полочке в очаге. Под кроватью – никого, в шкафу – никого, в халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид, – тоже никого. В кладовой все на месте: ржавые каминные решетки, пара старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга.

Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру – запер, заметьте, на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлевать овсянки.

Огонь в очаге еле теплился – мало проку было от него в такую холодную ночь. Скруджу пришлось придвинуться вплотную к решетке и низко нагнуться над огнем, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей. Камин был старый-престарый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из священного писания. Здесь были Каины и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Валтасары, ангелы, сходящие на землю на облаках, похожих на перины, и апостолы, пускающиеся в морское плавание на посудинах, напоминающих соусники, – словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет – лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, как некогда жезл пророка,⁵⁶ и заслонило все остальное. И на какой бы изразец Скрудж ни глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала голова Марли – так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений, во зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу.

– Чепуха! – проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик был, с какой-то никому неведомой целью, повешен когда-то в комнате и соединен с одним из

⁵⁶ ...как некогда жезл пророка... – намек на библейскую легенду о пророке Аароне, чей жезл чудесным образом расцвел и даже принес плоды миндаля.

помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался едва заметно, и звона почти не было слышно, но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме.

Звон длился, вероятно, не больше минуты, но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили, – все разом. И тотчас откуда-то снизу донеслось бряцание железа – словно в погребке кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что, когда в домах появляются привидения, они обычно влачат за собой цепи.

Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа.

– Все равно вздор! – молвил Скрудж. – Не верю я в привидения.

Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть: «Я узнаю его! Это – Дух Марли!» – и снова померкло.

Да, это было его лицо. Лицо Марли. Да, это был Марли, со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена (Скрудж отлично ее рассмотрел) из ключей, висячих, замков, копилков, документов, гроссбухов и тяжелых кошелев с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке.

Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил.

Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним, и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли. И все же он не хотел верить своим глазам.

– Что это значит? – произнес Скрудж язвительно и холодно, как всегда. – Что вам от меня надобно?

– Очень многое. – Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли.

– Кто вы такой?

– Спроси лучше, кем я был?

– Кем же вы были в таком случае? – спросил Скрудж, повысив голос. – Для привидения вы слишком приве... разборчивы. – Он хотел сказать привередливы, но побоялся, что это будет смахивать на каламбур.

– При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли.

– Не хотите ли вы... Не можете ли вы присесть? – спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа.

– Могу.

– Так сядьте.

Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы не возникла необходимость в довольно щекотливых разъяснениях. Но призрак как ни в чем не бывало уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело.

– Ты не веришь в меня, – заметил призрак.

– Нет, не верю, – сказал Скрудж.

– Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя в

том, что я существую?

– Не знаю.

– Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам?

– Потому что любой пустяк воздействует на них, – сказал Скрудж. – Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а непереваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки, почему я знаю!

Скрудж был не очень-то большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток, однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах.

Сидеть молча, уставясь в эти неподвижные, остекленелые глаза, – нет, черт побери, Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет! И кроме всего прочего, было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавшей призрака. Не то, чтоб Скрудж сам не ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой, ибо, хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточки на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи.

– Видите вы эту зубочистку? – спросил Скрудж, переходя со страха в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвратить от себя каменно-неподвижный взгляд призрака.

– Вижу, – промолвило привидение.

– Да вы же не смотрите на нее, – сказал Скрудж.

– Не смотрю, но вижу, – был ответ.

– Так вот, – молвил Скрудж. – Достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом, все это вздор! Вздор и вздор!

При этих словах призрак испустил вдруг такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но и это было еще ничто по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок (можно было подумать, что ему стало жарко!) и у него отвалилась челюсть.

Заломив руки, Скрудж упал на колени.

– Пощади! – взмолился он. – Ужасное видение, зачем ты мучаешь меня!

– Суетный ум! – отвечал призрак. – Веришь ты теперь в меня или нет?

– Верю, – воскликнул Скрудж. – Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле, и зачем ты явился мне?

– Душа, заключенная в каждом человеке, – возразил призрак, – должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету и – о, горе мне! – взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы – себе и другим на радость.

И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки.

– Ты в цепях? – пролепетал Скрудж, дрожа. – Скажи мне – почему?

– Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни, – отвечал призрак. – Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе?

Скруджа все сильнее пробирала дрожь.

– Быть может, – продолжал призрак, – тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий сочельник семь лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь!

Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов сто длиной, но ничего не увидел.

– Джейкоб! – взмолился он. – Джейкоб Марли, старина! Поговорим о чем-нибудь другом! Утешь, успокой меня, Джейкоб!

– Я не приношу утешения, Эбинизер Скрудж! – отвечал призрак. – Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его и людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немного дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы – слышишь ли ты меня! – никогда не блуждал за стенами этой норы – нашей меняльной лавки, – и годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь.

Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не подымая глаз.

– Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб, – почтительно и смиренно, хотя и деловито заметил Скрудж.

– Не спеша! – фыркнул призрак.

– Семь лет как ты мертвец, – размышлял Скрудж. – И все время в пути!

– Все время, – повторил призрак. – И ни минуты отдыха, ни минуты покоя. Непрестанные угрызения совести.

– И быстро ты передвигаешься? – поинтересовался Скрудж.

– На крыльях ветра, – отвечал призрак.

– За семь лет ты должен был покрыть порядочное расстояние, – сказал Скрудж.

Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мертвое безмолвие ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка.

– О раб своих пороков и страстей! – вскричало привидение. – Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле! Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра! Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал! Не знал!

– Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб, – пробормотал Скрудж, который уже начал применять его слова к себе.

– Дела! – вскричал призрак, снова заламывая руки. – Забота о ближнем – вот что должно было стать моим делом. Общественное благо – вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость, вот на что должен был я направить свою деятельность. А занятия коммерцией – это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных нам дел.

И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею об пол.

– В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно, – промолвило привидение. – О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову. Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка.

У Скруджа уже зуб на зуб не попадал – он был чрезвычайно напуган тем, что призрак все больше и больше приходит в волнение.

– Внемли мне! – вскричал призрак. – Мое время истекает.

– Я внемлю, – сказал Скрудж, – но пожалей меня. Джейкоб, не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще!

– Как случилось, что я предстал пред тобой, в облике, доступном твоему зрению, – я тебе не открою. Незримый, я сидел возле тебя день за днем.

Открытие было не из приятных. Скруджа опять затрясло как в лихорадке, и он отер

выступавший на лбу холодный пот.

– И, поверь мне, это была не легкая часть моего искусства, – продолжал призрак. – И я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Эбинизер, ибо я похлопотал за тебя.

– Ты всегда был мне другом, – сказал Скрудж. – Благодарю тебя.

– Тебя посетят, – продолжал призрак, – еще три Духа.

Теперь и у Скруджа отвисла челюсть.

– Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб, не в этом ли моя надежда? – спросил он упавшим голосом.

– В этом.

– Тогда... тогда, может, лучше не надо, – сказал Скрудж.

– Если эти Духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам, – сказал призрак. – Итак, ожидай первого Духа завтра, как только пробьет Час Полнолуночи.

– А не могут ли они прийти все сразу, Джейкоб? – робко спросил Скрудж. – Чтобы уж поскорее с этим покончить?

– Ожидай второго на следующую ночь в тот же час. Ожидай третьего – на третьи сутки в полночь, с последним ударом часов. А со мной тебе уже не суждено больше встретиться. Но смотри, для своего же блага запомни твердо все, что произошло с тобой сегодня.

Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову. Скрудж догадался об этом, услышав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть стала на место. Тут он осмелился поднять глаза и увидел, что его потусторонний пришелец стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подниматься. С каждым его шагом она подымалась все выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто.

Призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, призрак предостерегающе поднял руку. Скрудж остановился.

Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха. Ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки: смутные и бессвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землей, растаял во мраке морозной ночи за окном.

Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу.

Он увидел сонмы привидений. С жалобными воплями и стенаниями они беспокойно носились по воздуху туда и сюда, и все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни единого призрака, не отягощенного цепью, но некоторых (как видно, членов некоего дурного правительства) сковывала одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни, а с одним пожилым призраком в белой жилетке был когда-то даже на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро, но они уже утратили эту возможность навеки, и именно это и было причиной их терзаний.

Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман – Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса, и опять ночь была как ночь, и все стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой.

Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли. Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа, – ведь он сам ее запер, – и все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать «чепуха!», но осекся на первом же слого. И то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который наваял

на него тоску, а быть может и от соприкосновения с Потусторонним Миром или, наконец, просто от того, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул как убитый.

Строфа вторая ***Первый из трех Духов***

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак – зрение у него было острое, как у хорька, – и в это мгновение часы на соседней колокольне пробили четыре четверти. Скрудж прислушался.

К его изумлению часы гулко пробили шесть ударов, затем семь, восемь... – и смолкли только на двенадцатом ударе. Полночь! А он лег спать в третьем часу ночи! Часы били неправильно. Верно, в механизм попала сосулька. Полночь!

Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и четко отзвонил двенадцать раз.

– Что такое? Быть того не может! – произнес Скрудж. – Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки! А может, что-нибудь случилось с солнцем и сейчас не полночь, а полдень?

Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло заиндевело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть его рукавом, но и после этого почти ничего увидеть не удалось. Тем не менее Скрудж установил, что на дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз и очень тихо и безлюдно – никакой суматохи, никакого переполоха, которые неминуемо должны были возникнуть, если бы ночь прогнала в неурочное время белый день и воцарилась на земле. Это было уже большим облегчением для Скруджа, так как иначе все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги, ибо, если бы на земле не существовало больше такого понятия, как день, то и формула: «...спустя три дня по получении сего вам надлежит уплатить мистеру Эбинизеру Скруджу или его приказу...», не имела бы ровно никакого смысла.

Скрудж снова улегся в постель и стал думать, думать, думать и ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе, а чем больше он старался не думать, тем неотвязней думал.

Призрак Марли нарушил его покой. Всякий раз, как он, по зрелом размышлении, решал, что все это ему просто приснилось, его мысль, словно растянутая до отказа и тут же отпущенная пружина, снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос: «Сон это или явь?» – снова вставал перед ним и требовал разрешения.

Размышляя так, Скрудж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще три четверти, и тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака – когда часы пробьют час, к нему явится езде один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем вознестись живым на небо, это решение можно назвать довольно мудрым.

Последние четверть часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав, бой часов. Но вот до его настороженного слуха долетел первый удар.

– Динь-дон!

– Четверть первого, – принялся отсчитывать Скрудж.

– Динь-дон!

– Половина первого! – сказал Скрудж.

– Динь-дон!

– Без четверти час, – сказал Скрудж.

– Динь-дон!

– Час ночи! – воскликнул Скрудж, торжествуя. – И все! И никого нет!

Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал: густой, гулкой, заунывный звон – ЧАС. В то же мгновение вспышка света озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинула полог кровати.

Да, повторяю, чья-то рука откинула полог его кровати и притом не за спиной у него и не в ногах, а прямо перед его глазами. Итак, полог кровати был отброшен, в Скрудж, привскочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдернула полог. Да, они оказались совсем рядом, вот как мы с вами, ведь я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель.

Скрудж увидел перед собой очень странное существо, похожее на ребенка, но еще более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребенка. Его длинные рассыпавшиеся по плечам волосы были белы, как волосы старца, однако на лице не видно было ни морщинки и на щеках играл нежный румянец. Руки у него были очень длинные и мускулистые, а кисти рук производили впечатление недюжинной силы. Ноги – обнаженные так же, как и руки, – поражали изяществом формы. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало в руке зеленую ветку остролиста, а подол его одеяния, в странном несоответствии с этой святочной эмблемой зимы, был украшен живыми цветами. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая била у него из макушки вверх в освещала всю его фигуру. Это, должно быть, и являлось причиной того, что под мышкой Призрак держал гасилку в виде колпака, служившую ему, по-видимому, головным убором в тех случаях, когда он не был расположен самоосвещаться.

Впрочем, как заметил Скрудж, еще пристальней взглядевшись в своего гостя, не это было наиболее удивительной его особенностью. Ибо, подобно тому как пояс его сверкал и переливался огоньками, которые вспыхивали и потухали то в одном месте, то в другом, так и вся его фигура как бы переливалась, теряя то тут, то там отчетливость очертаний, и Призрак становился то одноруким, то одноногим, то вдруг обрастал двадцатью ногами зараз, но лишался головы, то приобретал нормальную пару ног, но терял все конечности вместе с туловищем и оставалась одна голова. При этом, как только какая-нибудь часть его тела растворялась в непроницаемом мраке, казалось, что она пропадала совершенно бесследно. И не чудо ли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте, и Привидение как ни в чем не бывало приобретало свой прежний вид.

– Кто вы, сэр? – спросил Скрудж. – Не тот ли вы Дух, появление которого было мне предсказано?

– Да, это я.

Голос Духа звучал мягко, даже нежно, и так тихо, словно долетал откуда-то издалека, хотя Дух стоял рядом.

– Кто вы или что вы такое? – спросил Скрудж.

– Я – Святочный Дух Прошлых Лет.

– Каких прошлых? Очень давних? – осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику.

– Нет, на твоей памяти.

Скруджу вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание, Скрудж, вероятно, и сам не смог бы объяснить, если бы это потребовалось, но так или иначе он попросил Привидение надеть колпак.

– Как! – вскричал Дух. – Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты – один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза!

Скрудж как можно почтительнее заверил Духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть и, насколько ему известно, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог принуждать его к ношению колпака. Затем он позволил себе осведомиться, что

привело Духа к нему.

– Забота о твоём благе, – отвечал Дух.

Скрудж сказал, что очень ему обязан, а сам подумал, что не мешали бы ему лучше спать по ночам, – вот это было бы благо. Как видно, Дух услышал его мысли, так как тотчас сказал:

– О твоём спасении, в таком случае. Берегись! С этими словами он протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть.

– Встань! И следуй за мной!

Скрудж хотел было сказать, что час поздний и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище – много ниже нуля, что он одет очень легко – халат, колпак и ночные туфли, – а у него и без того уже насморк... но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться. Скрудж встал с постели. Однако заметив, что Дух направляется к окну, он в испуге уцепился за его одеяние.

– Я простой смертный, – взмолился Скрудж, – я могу упасть.

– Дай мне коснуться твоей груди, – сказал Дух, кладя руку ему на сердце. – Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия.

С этими словами он прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа, и они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Город скрылся из глаз. Он исчез бесследно, а вместе с ним рассеялись и мрак и туман. – Был холодный, ясный, зимний день, и снег устилал землю.

– Боже милостивый! – воскликнул Скрудж, всплеснув руками и озираясь по сторонам. – Я здесь рос! Я бегал здесь мальчишкой!

Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь ни было оно мимолетно и невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячью запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах.

– Твои губы дрожат, – сказал Дух. – А что это катится у тебя по щеке?

Скрудж срывающимся голосом, – вещь для него совсем необычная, – пробормотал, что это так, пустяки, и попросил Духа вести его дальше.

– Узнаешь ли ты эту дорогу? – спросил Дух.

– Узнаю ли я? – с жаром воскликнул Скрудж. – Да я бы прошел по ней с закрытыми глазами.

– Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней! – заметил Дух. – Идем дальше.

Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусивших рысцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры. Все ребятишки задорно перекликались друг с другом, и над простором полей стоял такой веселый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью.

– Все это лишь тени тех, кто жил когда-то, – сказал Дух. – И они не подозревают о нашем присутствии.

Веселые путники были уже совсем близко, и по мере того как они приближались, Скрудж узнавал их всех, одного за другим, и называл по именам. Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах и почему сердце так запрыгало у него в груди, когда ребятишки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилась умиления, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг другу веселых святок? Что Скруджу до веселых святок? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-нибудь прок?

– А школа еще не совсем опустела, – сказал Дух. – Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один-одинешенек.

Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул.

Они свернули с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию, с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. Расположенные во дворе обширные службы, казалось, пустовали без всякой пользы. На стенах их от сырости проступила плесень, стекла в окнах были выбиты, а двери сгнили. В конюшнях рылись и кудахтали куры, каретный сарай и навесы зарастали сорной травой. Такое же запустение царило и в доме.

Скрудж и его спутник вступили в мрачную прихожую; и, заглядывая то в одну, то в другую растворенную дверь, они увидели огромные холодные и почти пустые комнаты.

В доме было сыро, как в склепе, и пахло землей, и что-то говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыта.

Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж – за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло голыми стенами, казавшаяся еще более унылой оттого, что в ней рядами стояли простые некрашенные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина, и Скрудж тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он был когда-то. Все здесь: писк и возня мышей за деревянными панелями, и доносившееся откуда-то из недр дома эхо и звук капли из оттаявшего желоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистных сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающейся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине – все находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам.

Дух тронул его за плечо и указал на его двойника – погруженного в чтение ребенка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии, с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед ними как живой, держа в поводу осла, навьюченного дровами.

– Да это же Али Баба! – не помня себя от восторга, вскричал Скрудж. – Это мой дорогой, старый, честный Али Баба! Да, да, я знаю! Как-то раз на святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми, Али Баба явился ему. Да, да, взаправду явился, вот как сейчас! Ах, бедный мальчик! А вот и Валентин и его лесной брат Орсон⁵⁷ – вот они, вот! А этот, как его, ну тот, кого положили, пока он спал, в исподнем у ворот Дамаска, – разве вы не видите его? А вон конюх султана, которого джины перевернули вверх ногами! Вон он – стоит на голове! Поделом ему! Я очень рад. Как посмел он жениться на принцессе!

То-то были бы поражены все коммерсанты Лондонского Сити, с которыми Скрудж вел дела, если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо и слышать, как он со всей присущей ему серьезностью несет такой вздор да еще не то плачет, не то смеется самым диковинным образом!

– А вот и попугай! – восклицал Скрудж. – Сам зеленый, хвостик желтый, и на макушке хохолок, похожий на пучок салата! Вот он! «Бедный Робин Крузо, – сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. – Бедный Робин Крузо! Где ты был, Робин Крузо?» Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало – это говорил попугай, вы же знаете. А вон и Пятница – мчится со всех ног к бухте! Ну же! ну! Скорей! – И тут же, с внезапностью, столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя: – Бедный, бедный мальчуган! – снова заплакал. – Как бы я хотел... – пробормотал он затем, утирая глаза рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил: – Нет, теперь уж поздно.

– А чего бы ты хотел? – спросил его Дух.

⁵⁷ *Валентин и его лесной брат Орсон* – герои средневекового французского романа. Орсон был похищен и вскормлен медведицей и долго жил в лесах среди зверей.

– Да ничего, – отвечал Скрудж. – Ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь, вот и все.

Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал:

– Поглядим на другое рождество.

При этих словах Скрудж-ребенок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. Теперь видно было, что панели в ней рассохлись, оконные рамы растрескались, от потолка отвалились куски штукатурки, обнажив дранку. Но когда и как это произошло, Скрудж знал не больше, чем мы с вами. Он знал только, что так и должно быть, что именно так все и было. И снова он находился здесь совсем один, в то время как все другие мальчики отправились домой встречать веселый праздник.

Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол.

Тут Скрудж взглянул на Духа и, грустно покачав головой, устремил в тревожном ожидании взгляд на дверь.

Дверь распахнулась, и маленькая девочка, несколькими годами моложе мальчика, вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем.

– Я приехала за тобой, дорогой братец! – говорила малютка, всплескивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть не пополам от радостного смеха. – Ты поедешь со мной домой! Домой! Домой!

– Домой, малютка Фэн? – переспросил мальчик.

– Ну, да! – воскликнуло дитя, сияя от счастья. – Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде, и дома теперь как в раю. Вчера вечером, когда я ложилась спать, он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась, – взяла и попросила его еще раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал: «Да, пускай приедет», и послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной, – продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами, – и никогда больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все святки, и как же мы будем веселиться!

– Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фэн! – воскликнул мальчик.

Девочка снова засмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем, исполненная детского нетерпения, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней.

Тут чей-то грозный голос закричал гулко на всю прихожую:

– Тащите вниз сундучок ученика Скруджа! – И сам школьный учитель собственной персоной появился в прихожей. Он окинул ученика Скруджа свирепо-снисходительным взглядом и пожал ему руку, чем поверг его в состояние полной растерянности, а затем повел обоих детей в парадную гостиную, больше похожую на обледеневший колодец. Здесь, залубенев от холода, висели на стенах географические карты, а на окнах стояли земной и небесный глобусы. Достав графин необыкновенно легкого вина и кусок необыкновенно тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами, а тощему слуге велел вынести почтальону стаканчик «того самого», на что он отвечал, что он благодарит хозяина, но если «то самое», чем его уже раз потчевали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юного Скруджа был водружен на крышу почтовой кареты, и дети, не мешкая ни секунды, распрощались с учителем, уселись в экипаж и весело покатали со двора. Быстро замелькали спицы колес, сбивая снег с темной листвы вечнозеленых растений.

– Хрупкое создание! – сказал Дух. – Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить. Но у нее было большое сердце.

– О да! – вскричал Скрудж. – Ты прав, Дух, и не мне это отрицать, боже упаси!

– Она умерла уже замужней женщиной, – сказал Дух. – И помнится, после нее остались дети.

– Один сын, – поправил Скрудж.

– Верно, – сказал Дух. – Твой племянник. Скруджу стало как будто не по себе, и он

буркнул:

– Да.

Всего секунду назад они покинули школу, и вот уже стояли на людной улице, а мимо них сновали тени прохожих, и тени повозок и карет катили мимо, прокладывая себе дорогу в толпе. Словом, они очутились в самой гуще шумной городской толчеи. Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнения в том, что снова наступили святки. Но на этот раз был уже вечер, и на улицах горели фонари.

Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнает ли он это здание.

– Еще бы! – воскликнул Скрудж. – Ведь меня когда-то отдали сюда в обучение!

Они вступили внутрь. При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что, будь она еще хоть на два дюйма выше, голова у него уперлась бы в потолок, Скрудж в неопишемом волнении воскликнул:

– Господи, спаси и помилуй! Да это же старикан Физзиуиг, живехонек!

Старый Физзиуиг отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали семь пополудни. С довольным видом он потер руки, обдернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог до бровей, – и закричал приятным, густым, веселым, зычным басом:

– Эй, вы! Эбинизер! Дик!

И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика.

– Да ведь это Дик Уилкинс! – сказал Скрудж, обращаясь к Духу. – Помереть мне, если это не он! Ну, конечно, он! Бедный Дик! Он был так ко мне привязан.

– Бросай работу, ребята! – сказал Физзиуиг. – На сегодня хватит. Ведь нынче сочельник, Дик! Завтра рождество, Эбинизер! Ну-ка, мигом запирайте ставни! – крикнул он, хлопая в ладоши. – Живо, живо! Марш!

Вы бы видели, как они взялись за дело! Раз, два, три – они уже выскочили на улицу со ставнями в руках; четыре, пять, шесть – поставили ставни на место; семь, восемь, девять – задвинули и закрепили болты, и прежде чем вы успели бы сосчитать до двенадцати, уже влетели обратно, дыша как призовые скакуны у финиша.

– Ого-го-го-го! – закричал старый Физзиуиг, с невиданным проворством выскакивая из-за конторки. – Тащите все прочь, ребятки! Расчистим-ка побольше места. Шевелись, Дик! Веселей, Эбинизер!

Тащить прочь! Интересно знать, чего бы они ни оттащили прочь, с благословения старика. В одну минуту все было закончено. Все, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгинуло куда-то с глаз долой, словно было изъято из обихода навеки. Пол подмели и обрызгали, лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый, ярко освещенный бальный зал, какой можно только пожелать для танцев в зимний вечер.

Пришел скрипач с нотной папкой, встал за высоченную конторку, как за дирижерский пульт, и принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну прямо как целый оркестр. Пришла миссис Физзиуиг – сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли три мисс Физзиуиг – цветущие и прелестные. Пришли следом за ними шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным братом – булочником. Пришла кухарка с закадычным другом своего родного брата – молочником. Пришел мальчишка-подмастерье из лавки насупротив, насчет которого существовало подозрение, что хозяин морит его голодом. Мальчишка все время пытался спрятаться за девчонку – служанку из соседнего дома, про которую уже доподлинно было известно, что хозяйка дерет ее за уши. Словом, пришли все, один за другим, – кто робко, кто смело, кто неуклюже, кто грациозно, кто расталкивая других, кто таща кого-то за собой, – словом, так или иначе, тем или иным способом, но пришли все. И все пустились в пляс – все двадцать пар разом. Побежали по кругу пара за парой, сперва в одну сторону, потом в другую. И пара за парой – на середину

комнаты и обратно. И закружились по всем направлениям, образуя живописные группы. Прежняя головная пара, уступив место новой, не успевала пристроиться в хвосте, как новая головная пара уже вступала – и всякий раз раньше, чем следовало, – пока, наконец, все пары не стали головными и все не перепуталось окончательно. Когда этот счастливый результат был достигнут, старый Физзиуиг захлопал в ладоши, чтобы приостановить танец, и закричал:

– Славно сплясали! – И в ту же секунду скрипач погрузил разгоряченное лицо в заранее припасенную кружку с пивом. Но будучи решительным противником отдыха, он тотчас снова выглянул из-за кружки и, невзирая на отсутствие танцующих, опять запиликал, и притом с такой яростью, словно это был уже не он, а какой-то новый скрипач, задавшийся целью либо затмить первого, которого в полуобморочном состоянии оттащили домой на ставне, либо погибнуть.

А затем снова были танцы, а затем фанты и снова танцы, а затем был сладкий пирог, и глинтвейн, и по большому куску холодного ростбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей и вволю пива. Но самое интересное произошло после ростбифа и говядины, когда скрипач (до чего же ловок, пес его возьми! Да, не нам с вами его учить, этот знал свое дело!) заиграл старинный контраданс «Сэр Роджер Каверли» и старый Физзиуиг встал и предложил руку миссис Физзиуиг. Они пошли в первой паре, разумеется, и им пришлось потрудиться на славу. За ними шло пар двадцать, а то и больше, и все – лихие танцоры, все – такой народ, что шутить не любят и уж коли возьмутся плясать, так будут плясать, не жалея пяток!

Но будь их хоть, пятьдесят, хоть сто пятьдесят пар – старый Физзиуиг и тут бы не сплосал, да и миссис Физзиуиг тоже. Да, она воистину была под стать своему супругу во всех решительно смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше, и я отвечу – она достойна и этой. От икр мистера Физзиуига положительно исходило сияние. Они сверкали то тут, то там, словно две луны. Вы никогда не могли сказать с уверенностью, где они окажутся в следующее мгновение. И когда старый Физзиуиг и миссис Физзиуиг проделали все фигуры танца, как положено, – и бегом вперед, и бегом назад, и, взявшись за руки, галопом, и поклон, и реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились, наконец, на свое место, старик Физзиуиг подпрыгнул и пристукнул в воздухе каблуками – да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцорам, – и тут же сразу стал как вкопанный.

Когда часы пробили одиннадцать, домашний бал окончился. Мистер и миссис Физзиуиг, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гостье и пожелали ему или ей веселых праздников. А когда все гости разошлись, хозяйева таким же манером распрощались и с учениками. И вот веселые голоса замерли вдали, а двое молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина.

Пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, в котором узнал себя. Он как бы участвовал во всем, что происходило, все припоминал, всему радовался и испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь, когда сияющие физиономии Дика и юноши Скруджа скрылись из глаз, вспомнил он о Духе и заметил, что тот пристально смотрит на него, а сноп света у него над головой горит необычайно ярко.

– Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности, – заметил Дух.

– Немного? – удивился Скрудж.

Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы Физзиуигу, а когда Скрудж повиновался ему, сказал:

– Ну что? Разве я не прав? Ведь он истратил сущую безделицу – всего три-четыре фунта того, что у вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал?

– Да не в этом суть, – возразил Скрудж, задетый за живое его словами и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж. – Не в этом суть, Дух. Ведь от Физзиуига зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд –

легким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя ни исчислить, ни измерить, – все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния. – Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд Духа и запнулся.

– Что же ты умолк? – спросил его Дух.

– Так, ничего, – отвечал Скрудж.

– Ну а все-таки, – настаивал Дух.

– Пустое, – сказал Скрудж, – пустое. Просто мне захотелось сказать два-три слова моему клерку. Вот и все.

Тем временем юноша Скрудж погасил лампу. И вот уже Скрудж вместе с Духом опять стояли под открытым небом.

– Мое время истекает, – заметил Дух. – Поспешите!

Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и тем не менее они тотчас произвели свое действие, Скрудж снова увидел самого себя. Но теперь он был уже значительно старше – в расцвете лет. Черты лица его еще не стали столь резки и суровы, как в последние годы, но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспокойный, алчный блеск появился в глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе и что станет с ним, когда она вырастет и черная ее тень поглотит его целиком.

Он был не один. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на ее ресницах сверкали в лучах исходившего от Духа сияния.

– Ах, все это так мало значит для тебя теперь, – говорила она тихо. – Ты поклоняешься теперь иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить я, тогда, конечно, я не должна печалиться.

– Что это за божество, которое вытеснило тебя? – спросил Скрудж.

– Деньги.

– Нет справедливости на земле! – молвил Скрудж. – Беспощаднее всего казнит свет бедность, и не менее сурово – на словах, во всяком случае, – осуждает погоню за богатством.

– Ты слишком трепещешь перед мнением света, – кротко укорила она его. – Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной – стать неуязвимым для его булавочных уколов. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим и новая всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком!

– Ну и что же? – возразил он. – Что плохого, даже если я и поумнел наконец? Мое отношение к тебе не изменилось.

Она покачала головой.

– Разве не так?

– Наша помолвка – дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш достаток терпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор. В те годы ты был совсем иным.

– Я был мальчишкой, – нетерпеливо отвечал он.

– Ты сам знаешь, что ты был не тот, что теперь, – возразила она. – А я все та же. И то, что сулило нам счастье, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, предвещает нам только горе. Не стану рассказывать тебе, как часто и с какой болью размышляла я над этим. Да, я много думала и решила вернуть тебе свободу.

– Разве я когда-нибудь просил об этом?

– На словах – нет. Никогда.

– А каким же еще способом?

– Всем своим новым, изменившимся существом. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель. И она для тебя важнее всего. И это сделало мою любовь ненужной для тебя. Она не имеет цены в твоих глазах. Признайся, – сказала девушка, кротко, но вместе с

тем пристально и твердо глядя ему в глаза, – если бы эти узы не связывали нас, разве стал бы ты теперь домогаться моей любви, стараться меня завоевать? О нет!

Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливости этих слов. Но все же, сделав над собой усилие, ответил:

– Это только ты так думаешь.

– Видит бог, я была бы рада думать иначе! – отвечала она. – Уж если я должна была, наконец, признать эту горькую истину, значит как же она сурова и неопровержима! Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жены бесприданницу! Это – ты-то! Да ведь даже изливая мне свою душу, ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован Корыстью! Да если бы даже ты на миг изменил себе и остановил свой выбор на такой девушке, как я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние и сожаление! Нет, я понимаю все. И я освобождаю тебя от твоего слова. Освобождаю по доброй воле – во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то.

Он хотел что-то сказать, но она продолжала, отвернувшись от него:

– Быть может... Когда я вспоминаю прошлое, я верю в это... Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной. Но скоро, очень скоро это пройдет, и ты с радостью позабудешь меня, как пустую, бесплодную мечту, от которой ты вовремя очнулся. А я могу только пожелать тебе счастья в той жизни, которую ты себе избрал! – С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда.

– Дух! – вскричал Скрудж. – Я не хочу больше ничего видеть. Отведи меня домой. Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня!

– Ты увидишь еще одну тень Прошлого, – сказал Дух.

– Ни единой, – крикнул Скрудж. – Ни единой. Я не желаю ее видеть! Не показывай мне больше ничего!

Но неумолимый Дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше.

Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую и не богатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко, по-зимнему, пылали дрова, сидела молодая красивая девушка. Скрудж принял было ее за свою только что скрывающуюся подружку – так они были похожи, – но тотчас же увидал и ту. Теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум, ибо там было столько ребятишек, что Скрудж в своем взволнованном состоянии не смог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада в известном стихотворении,⁵⁸ где сорок коровок вели себя как одна, здесь каждый ребенок шумел как добрых сорок, и результаты были столь оглушительны, что превосходили всякое вероятие. Впрочем, это никого, по-видимому, не беспокоило. Напротив, мать и дочка от души радовались и смеялись, глядя на ребятишек, а последняя вскоре и сама приняла участие в их шалостях, и маленькие разбойники стали немилосердно тормозить ее.

Ах, как бы мне хотелось быть одним из них! Но я бы никогда не был так груб, о нет, нет! Ни за какие сокровища не посмел бы я дернуть за эти косы или растрепать их. Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я стащить с ее ножки – господи, спаси нас и помилуй! – бесценный крошечный башмачок. И разве отважился бы я, как эти отчаянные маленькие наглецы, обхватить ее за талию! Да если б моя рука рискнула только обвиться вокруг ее

58 ...в отличие от стада в известном стихотворении... – Имеется в виду стихотворение Вордсворта «Написано в марте», где есть такие строки:

Коровки довольны,
Пастись им привольно,
Сорок щиплют траву, как одна.

стана, она так бы и приросла к нему и никогда бы уж не выпрямилась в наказание за такую дерзость.

Впрочем, признаюсь, я бы безмерно желал коснуться ее губ, обратиться к ней с вопросом, видеть, как она приоткроет уста, отвечая мне! Любоваться ее опущенными ресницами, не вызывая краски на ее щеках! Распустить ее шелковистые волосы, каждая прядка которых – бесценное сокровище! Словом, не скрою, что я желал бы пользоваться всеми правами шаловливого ребенка, но быть вместе с тем достаточно взрослым мужчиной, чтобы знать им цену.

Но вот раздался стук в дверь, и все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились к дверям, что молодая девушка – с смеющимся лицом и в изрядно помятом платье – оказалась в самом центре буйной ватаги и приветствовала отца, едва тот успел ступить за порог в сопровождении рассыльного, нагруженного игрушками и другими рождественскими подарками. Тотчас под оглушительные крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались, приставив к нему вместо лестницы стулья, чтобы опустошить его карманы и отобрать у него пакеты в оберточной бумаге; его душили, обхватив за шею; на нем повисали, уцепившись за галстук; его дубасили по спине кулаками и пинали ногами, изъявляя этим самую нежную к нему любовь! А крики изумления и восторга, которыми сопровождалось вскрытие каждого пакета! А неопикуемый ужас, овладевший всеми, когда самого маленького застигли на месте преступления – с игрушечной сковородкой, засунутой в рот, – и попутно возникло подозрение, что он уже успел проглотить деревянного индюка, который был приклеен к деревянной тарелке! А всеобщее ликование, когда тревога оказалась ложной! Все это просто не поддается описанию! Скажем только, что один за другим все ребятишки, – а вместе с ними и шумные изъявления их чувств, – были удалены из гостиной наверх и водворены в постели, где мало-помалу и угомонились.

Теперь Скрудж устремил все свое внимание на оставшихся, и слеза затуманила его взор, когда хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувшей к его плечу дочерью занял свое место у камина. Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло бы и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет!

– Бэлл, – сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене, – а я видел сегодня твоего старинного приятеля.

– Кого же это?

– Угадай!

– Как могу я угадать? А впрочем, кажется, догадываюсь! – воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. – Мистера Скруджа?

– Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставен, так что я при всем желании не мог его не увидеть. Его компаньон, говорят, при смерти, и он, понимаешь, сидит там у себя один-одинешенек. Один, как перст, на всем белом свете.

– Дух! – произнес Скрудж надломленным голосом. – Уведи меня отсюда.

– Я ведь говорил тебе, что все это – тени минувшего, – отвечал Дух. – Так оно было, и не моя в том вина.

– Уведи меня! – взмолился Скрудж. – Я не могу это вынести.

Он повернулся к Духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал. Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться.

– Пусти меня! Отведи домой! За что ты преследуешь меня!

Борясь с Духом, – если это можно назвать борьбой, ибо Дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно бы не замечал усилий своего противника, – Скрудж увидел, что сноп света у Духа над головой разгорается все ярче и ярче. Безотчетно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которую имеет над ним это существо, Скрудж схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил Духу на голову.

Дух как-то сразу осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко ни прижимал Скрудж гасилку к голове Духа, ему не удалось потушить света, струившегося из-под колпака на землю.

Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну, и в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он что было мочи на колпак-гасилку, затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном.

Строфа третья *Второй, из трех Духов*

Громко всхрапнув, Скрудж проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. На этот раз ему не надо было напоминать о том, что часы на колокольне скоро пробьют Час Полуночи. Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым Духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. Однако, раздумывая над тем, с какой стороны кровати отдернется на этот раз полог, Скрудж ощутил вдруг весьма неприятный холодок и поспешил сам, своими руками, отбросить обе половинки полога, после чего улегся обратно на подушки и окинул зорким взглядом комнату. Он твердо решил, что на этот раз не даст застать себя врасплох и напугать и первый окликнет Духа.

Люди неробкого десятка, кои кичатся тем, что им сам черт не брат и они видали виды, говорят обычно, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способны на все – от игры в орлянку до человекоубийства, а между этими двумя крайностями лежит, как известно, довольно обширное поле деятельности. Не ожидая от Скруджа столь высокой отваги, я должен все же заверить вас, что он готов был встретиться лицом к лицу с самыми страшными феноменами, и появление любых призраков – от грудных младенцев до носорогов – не могло бы его теперь удивить.

Однако будучи готов почти ко всему, он менее всего был готов к полному отсутствию чего бы то ни было, и потому, когда часы на колокольне пробили час и никакого привидения не появилось, Скруджа затрясло как в лихорадке. Прошло еще пять минут, десять, пятнадцать – ничего. Однако все это время Скрудж, лежа на кровати, находился как бы в самом центре багрово-красного сияния, которое лишь только часы пробили один раз, начало струиться непонятно откуда, и именно потому, что это было всего-навсего сияние и Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что означает, оно казалось ему страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль, что он являет собой редчайший пример произвольного самовозгорания, но лишен при этом утешения знать это наверняка. Наконец он подумал все же – как вы или я подумали бы, без сомнения, с самого начала, ибо известно, что только тот, кто не попадал в затруднительное положение, знает совершенно точно, как при этом нужно поступать, и доведись ему, именно так бы, разумеется, и поступил, – итак, повторяю, Скрудж подумал все же, наконец, что источник призрачного света может находиться в соседней комнате, откуда, если приглядеться внимательнее, этот свет и струился. Когда эта мысль полностью проникла в его сознание, он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к двери. Лишь только рука его коснулась дверной щеколды, какой-то незнакомый голос, назвав его по имени, повелел ему войти. Скрудж повиновался.

Это была его собственная комната. Сомнений быть не могло. Но она странно изменилась. Все стены и потолок были убраны живыми растениями, и комната скорее походила на рощу. Яркие блестящие ягоды весело проглядывали в зеленой листве. Свежие твердые листья остролиста, омелы и плюща так и сверкали, словно маленькие зеркальца, развешенные на ветвях, а в камине гудело такое жаркое пламя, какого и не снилось этой древней окаменелости, пока она находилась во владении Скруджа и Марли и одну долгую зиму за другой холодила без огня. На полу огромной грудой, напоминающей трон, были

сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плумпудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман. И на этом возвышении непринужденно и величаво восседал такой веселый и сияющий Великан, что сердце радовалось при одном на него взгляде. В руке у него был факел, несколько похожий по форме на рог изобилия, и он поднял его высоко над головой, чтобы хорошенько осветить Скруджа, когда тот просунул голову в дверь.

– Войди! – крикнул Скруджу Призрак. – Войди, и будем знакомы, старина!

Скрудж робко шагнул в комнату и стал, понурив голову, перед Призраком. Скрудж был уже не прежний, угрюмый, Суровый, старик, и не решался поднять глаза и встретить ясный и добрый взор Призрака.

– Я Дух Нынешних Святков, – сказал Призрак. – Взгляни на меня!

Скрудж почтительно повиновался. Дух был одет в простой темно-зеленый балахон, или мантию, отороченную белым мехом. Одевание это свободно и небрежно спадало с его плеч, и широкая грудь великана была обнажена, словно он хотел показать, что не нуждается ни в каких искусственных покровах и защите. Ступни, видневшиеся из-под пышных складок мантии, были босы, и на голове у Призрака тоже не было никакого убора, кроме венчика из остролиста, на которых сверкали кое-где льдинки. Длинные темно-каштановые кудри рассыпались по плечам, доброе открытое лицо улыбалось, глаза сияли, голос звучал весело, и все – и жизнерадостный вид, и свободное обхождение, и приветливо протянутая рука, – все в нем было приятно и непринужденно. На поясе у Духа висели старинные ножны, но – пустые, без меча, да и сами ножны были порядком изъедены ржавчиной.

– Ты ведь никогда еще не видал таких, как я! – воскликнул Дух.

– Никогда, – отвечал Скрудж.

– Никогда не общался с молодыми членами нашего семейства, из которых я – самый младший? Я хочу сказать – с теми из моих старших братьев, которые рождались в последние годы? – продолжал допрашивать Призрак.

– Как будто нет, – сказал Скрудж. – Боюсь, что нет. А у тебя много братьев, Дух?

– Свыше тысячи восьмисот, – отвечал Дух.

– Вот так семейка! Изволь-ка ее прокормить! – пробормотал Скрудж.

Святочный Дух встал.

– Дух, – сказал Скрудж смиренно. – Веди меня куда хочешь. Прошлую ночь я шел по принуждению и получил урок, который не пропал даром. Если этой ночью ты тоже должен чему-нибудь научить меня, пусть и это послужит мне на пользу.

– Коснись моей мантии.

Скрудж сделал, как ему было приказано, да уцепился за мантию покрепче.

Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, битая птица, свиные окорока, говяжьи туши, поросята, сосиски, устрицы, пироги, пудинги, фрукты и чаши с пуншем – все исчезло в мгновение ока. А с ними исчезла и комната, и пылающий камин, и багрово-красное сияние факела, и ночной мрак, и вот уже Дух и Скрудж стояли на городской улице. Было утро, рождественское утро и хороший крепкий мороз, и на улице звучала своеобразная музыка, немного резкая, но приятная, – счищали снег с тротуаров и сгребали его с крыш, к безумному восторгу мальчишек, смотревших, как, рассыпаясь мельчайшей пылью, рушатся на землю снежные лавины.

На фоне ослепительно белого покрова, лежавшего на кровлях, и даже не столь белоснежного – лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными, а окна – и того еще сумрачнее и темнее. Тяжелые колеса экипажей и фургонов оставляли в снегу глубокие колеи, а на перекрестках больших улиц эти колеи, скрещиваясь сотни раз, образовали в густом желтом крошечном талого снега сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой. Небо было хмуро, и улицы тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморозь, не

то на пар и оседавшей на землю темной, как сажа, росой, словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом – и ну дымить, кто во что горазд! Словом, ни сам город, ни климат не располагали особенно к веселью, и тем не менее на улицах было весело, – так весело, как не бывает, пожалуй, даже в самый погожий летний день, когда солнце светит так ярко и воздух так свеж и чист.

А причина этого таилась в том, что люди, сгребавшие снег с крыш, полны были бодрости и веселья. Они задорно перекликались друг с другом, а порой и запускали в соседа снежком – куда менее опасным снарядом, чем те, что слетают подчас с языка, – и весело хохотали, если снаряд попадал в цель, и еще веселее – если он летел мимо. В курятных лавках двери были еще наполовину открыты, а прилавки фруктовых лавок переливались всеми цветами радуги. Здесь стояли огромные круглые корзины с каштанами, похожие на облаченные в жилеты животы веселых старых джентльменов. Они стояли, привалясь к притолоке, а порой и совсем выкатывались за порог, словно боялись задохнуться от полнокровия и пресыщения. Здесь были и румяные, смуглолицые толстопузые испанские луковицы, гладкие и блестящие, словно лоснящиеся от жира щеки испанских монахов. Лукаво и нахально они подмигивали с полок пробегавшим мимо девушкам, которые с напускной застенчивостью поглядывали украдкой на подвешенную к потолку веточку омелы.⁵⁹ Здесь были яблоки и груши, уложенные в высоченные красочные пирамиды. Здесь были гроздья винограда, развешенные тароватым хозяином лавки на самых видных местах, дабы прохожие могли, любуясь ими, совершенно бесплатно глотать слюнки. Здесь были груды орехов – коричневых, чуть подернутых пушком, – чей свежий аромат воскрешал в памяти былые прогулки по лесу, когда так приятно брести, утопая по шиколотку в опавшей листве, и слышать, как она шелестит под ногой. Здесь были печеные яблоки, пухлые, глянцево-коричневые, выгодно оттенявшие яркую желтизну лимонов и апельсинов и всем своим аппетитным видом настойчиво и пылко убеждавшие вас отнести их домой в бумажном пакете и съесть на десерт. Даже золотые и серебряные рыбки, плававшие в большой чаше, поставленной в центре всего этого великолепия, – даже эти хладнокровные натуры понимали, казалось, что происходит нечто необычное, и, беззвучно разевавая рты, все, как одна, в каком-то бесстрастном экстазе описывали круг за кругом внутри своего маленького замкнутого мирка.

А бакалейщики! О, у бакалейщиков всего одна или две ставни, быть может, были сняты с окон, но чего-чего только не увидишь, заглянув туда! И мало того, что чашки весов так весело позванивали, ударяясь о прилавок, а бечевка так стремительно разматывалась с катушки, а жестяные коробки так проворно прыгали с полки на прилавок, словно это были мячики в руках самого опытного жонглера, а смешанный аромат кофе и чая так приятно щекотал ноздри, а изюму было столько и таких редкостных сортов, а миндаль был так ослепительно бел, а палочки корицы – такие прямые и длинненькие, и все остальные пряности так восхитительно пахли, а цукаты так соблазнительно просвечивали сквозь покрывавшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой! И мало того, что инжир был так мясист и сочен, а вяленые сливы так стыдливо рдели и улыбались так кисло-сладко из своих пышно разукрашенных коробок и все, решительно все выглядело так вкусно и так нарядно в своем рождественском уборе... Самое главное заключалось все же в том, что, невзирая на страшную спешку и нетерпение, которым все были охвачены, невзирая на то, что покупатели то и дело натыкались друг на друга в дверях – их плетеные корзинки только трещали, – и забывали покупки на прилавке, и опрометью бросались за ними обратно, и совершали еще сотню подобных промахов, – невзирая на это, все в предвкушении радостного дня находилось в самом праздничном, самом отличном расположении духа, а хозяин и приказчики имели такой добродушный,

⁵⁹ ...на подвешенную к потолку веточку омелы. – По английскому обычаю, мужчине разрешается поцеловать девушку, если он на святках поймает ее под веткой омелы, подвешенной к потолку или к люстре.

приветливый вид, что блестящие металлические пряжки в форме сердца, которыми были пристегнуты тесемки их передников, можно было принять по ошибке за их собственные сердца, выставленные наружу для всеобщего обозрения и на радость рождественским галкам, дабы те могли поклевать их на святках.⁶⁰

Но вот заблаговестили на колокольне, призывая всех добрых людей в храм божий, и веселая, празднично разодетая толпа повалила по улицам. И тут же из всех переулков и закоулков потекло множество народу: это бедняки несли своих рождественских гусей и уток в пекарни.⁶¹ Вид этих бедных людей, собравшихся попировать, должно быть очень заинтересовал Духа, ибо он остановился вместе со Скруджем в дверях пекарни и, приподымая крышки с проносимых мимо кастрюль, стал кропить на пищу маслом из своего светильника. И, видно, это был совсем необычный светильник, так как стоило кому-нибудь столкнуться в дверях и завязать перебранку, как Дух кропил из своего светильника спорщиков и к ним тотчас возвращалось благодущие. Стыдно, говорили они, ссориться в первый день рождества. И верно, еще бы не стыдно!

В положенное время колокольный звон утих, и двери пекарен закрылись, но на тротуарах против подвальных окон пекарен появились проталины на снегу, от которых шел такой пар, словно каменные плиты тротуаров тоже варились или парились, и все это приятно свидетельствовало о том, что рождественские обеды уже поставлены в печь.

– Чем это ты на них покропил? – спросил Скрудж Духа. – Может, это придает какой-то особенный аромат кушаньям?

– Да, особенный.

– А ко всякому ли обеду он подойдет?

– К каждому, который подан на стол от чистого сердца, и особенно – к обеду бедняка.

– Почему к обеду бедняка особенно?

– Потому что там он нужней всего.

– Дух, – сказал Скрудж после минутного раздумья, – дивлюсь я тому, что именно ты, из всех существ, являющихся к нам из разных потусторонних сфер, именно ты, Святочный Дух, хочешь во что бы то ни стало помешать этим людям предаваться их невинным удовольствиям.

– Я? – вскричал Дух.

– Ты же хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели⁶² – а у многих это единственный день, когда можно сказать, что они и впрямь обедают. Разве не так?

– Я этого хочу? – повторил Дух.

– Ты же хлопчешь, чтобы по воскресеньям были закрыты все пекарни, – сказал Скрудж. – А это то же самое.

– Я хлопчю? – снова возмутился Дух.

– Ну, прости, если я ошибся, но это делается твоим именем или, во всяком случае, от имени твоей родни, – сказал Скрудж.

⁶⁰ ...дабы те могли поклевать их на святках. – Парафраза Шекспира. В «Отелло» (акт I, сц. 1-я) Яго говорит: «Если бы мое поведение отражало мои чувства, я скоро стал бы ходить с душой нараспашку и мое сердце расклевали бы галки».

⁶¹ ...несли своих рождественских гусей и уток в пекарни. – До 80-х годов прошлого века среди бедного населения английских городов было принято, за неимением в доме удобной печи, носить заготовленные блюда в пекарню, где их жарили или пекли за небольшую плату.

⁶² Ты же хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели... – Речь идет о возглавлявшейся духовенством кампании за то, чтобы в праздники никакая торговля не производилась. Этот запрет, временами проводившийся в жизнь, больно ударял по рабочему населению, так как рабочие только в праздники и могли пойти в лавку.

– Тут, на вашей грешной земле, – сказал Дух, – есть немало людей, которые кичатся своей близостью к нам и, побуждаемые ненавистью, завистью, гневом, гордыней, ханжеством и себялюбием, творят свои дурные дела, прикрываясь нашим именем. Но эти люди столь же чужды нам, как если бы они никогда и не рождались на свет. Запомни это и вини в их поступках только их самих, а не нас.

Скрудж пообещал, что так он и будет поступать впредь, и они, по-прежнему невидимые, перенесли на глухую окраину города. Надо сказать, что Дух обладал одним удивительным свойством, на которое Скрудж обратил внимание, когда они еще находились возле пекарни: невзирая на свой исполинский рост, этот Призрак чрезвычайно легко приспособлялся к любому месту и стоял под самой низкой кровлей столь же непринужденно, как если бы это были горделивые своды зала, и нисколько не терял при этом своего неземного величия.

И то ли доброму Духу доставляло удовольствие проявлять эту свою особенность, то ли он сделал это потому, что был по натуре великодушен и добр и жалел бедняков, но только прямо к жилищу клерка – того самого, что работал у Скруджа в конторе, – направился он и повлек Скруджа, крепко уцепившегося за край его мантии, за собой. На пороге дома Боба Крэтчита Дух остановился и с улыбкой окропил его жилище из своего светильника. Подумайте только! Жилище Боба, который и получал-то всего каких-нибудь пятнадцать «бобиков», сиречь шиллингов, в неделю! Боба, который по субботам клал в карман всего-навсего пятнадцать материальных воплощений своего христианского имени! И тем не менее святочный Дух удостоил своего благословения все его четыре каморки.

Тут встала миссис Крэтчит, супруга мистера Крэтчита, в дешевом, дважды перелицованном, но зато щедро отделанном лентами туалете – всего на шесть пенсов ленты, а какой вид! – и расстелила на столе скатерть, в чем ей оказала помощь Белинда Крэтчит, ее вторая дочка, тоже щедро отделанная лентами, а юный Питер Крэтчит погрузил тем временем вилку в кастрюлю с картофелем, и когда концы гигантского воротничка (эта личная собственность Боба Крэтчита перешла по случаю великого праздника во владение его сына, и прямого наследника) полезли от резкого движения ему в рот, почувствовал себя таким франтом, что загорелся желанием немедленно щегольнуть своим крахмальным бельем на великосветском гулянье в парке. Тут в комнату с визгом ворвались еще двое Крэтчитов – младший сын и младшая дочка – и, захлебываясь от восторга, оповестили, что возле пекарни пахнет жареным гусем и они сразу по запаху учуяли, что это жарится их гусь. И зачарованные ослепительным видением гуся, нафаршированного луком и шалфеем, они принялись плясать вокруг стола, превознося до небес юного Пита Крэтчита, который тем временем так усердно раздувал огонь в очаге (он ничуть не возомнил о себе лишнего, несмотря на великолепие едва не задушившего его воротничка), что картофелины в лениво булькавшей кастрюле стали вдруг подпрыгивать и стучаться изнутри о крышку, требуя, чтобы их поскорее выпустили на волю и содрали с них шкуру.

– Куда это запропастился ваш бесценный папенька? – спросила миссис Крэтчит. – И ваш братец Малютка Тим! Да и Марте уже полчаса как надо бы прийти. В прошлое рождество она не запаздывала так.

– Марта здесь, маменька, – произнесла молодая девушка, появляясь в дверях.

– Марта здесь, маменька! – закричали младшие Крэтчиты. – Ура! А какой у нас будет гусь, Марта!

– Господь с тобой, душа моя, где это ты нынче запропала! – приветствовала дочку миссис Крэтчит и, расцеловав ее в обе щеки, хлопотливо помогла ей освободиться от капора и шали.

– Вчера допоздна сидели, маменька, надо было закончить всю работу, – отвечала девушка. – А сегодня все утро прибиралась.

– Ладно! Слава богу, что пришла наконец! – сказала миссис Крэтчит. – Садись поближе к огню, душенька моя, обогрейся.

– Нет, нет! Папенька идет! – запищали младшие Крэтчиты, которые умудрялись

поспевать решительно всюду. – Спрячься, Марта! Спрячься!

Марта, разумеется, спряталась, а в дверях появился сам отец семейства – щуплый человечек в поношенном костюме, подштопанном и вычищенном сообразно случаю, в теплом шарфе, свисавшем спереди фута на три, не считая бахромы, и с Малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руке маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах.

– А где же наша Марта? – вскричал Боб Крэтчит, озираясь по сторонам.

– Она не придет, – объявила миссис Крэтчит.

– Не придет? – повторил Боб Крэтчит упавшим голосом. А он-то мчался из церкви, как кровный скакун с Малюткой Тимом в седле, и пришел домой галопом! – Не придет к нам на первый день рождества?

Конечно, это была только шутка, но огорченный вид отца так растрогал Марту, что она, не выдержав характера, выскочила из-за двери кладовой и бросилась отцу на шею, а младшие Крэтчиты завладели Малюткой Тимом и потащили его на кухню – послушать, как бурлит вода в котле, в котором варится завернутый в салфетку пудинг.

– А как вел себя наш Малютка Тим? – осведомилась миссис Крэтчит, вдоволь посмеявшись над доверчивостью мужа, в то время как тот радостно расцеловался с дочкой.

– Это не ребенок, а чистое золото, – отвечал Боб. – Чистое золото. Он, понимаешь ли, так часто остается один и все сидит себе и раздумывает, и до такого иной раз додумается – просто диву даешься. Возвращаемся мы с ним домой, а он вдруг и говорит мне: хорошо, дескать, что его видели в церкви. Ведь он калека, и, верно, людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день рождества, кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими.

Голос Боба заметно дрогнул, когда он заговорил о своем маленьком сыночке, а когда он прибавил, что Тим день ото дня становится все крепче и здоровее, голос у него задрожал еще сильнее.

Боб не успел больше ничего сказать – раздался стук маленького проворного костыля, и Малютка Тим, в сопровождении братца и сестрицы возвратился к своей скамеечке у огня. Боб, подвернув обшлага (бедняга, верно, думал, что им еще может что-нибудь повредить!), налил воды в кувшин, добавил туда джина и несколько ломтиков лимона и принялся все это старательно разбалтывать, а потом поставил греться на медленном огне. Тем временем юный Питер и двое вездесущих младших Крэтчитов отправились за гусем, с которым вскоре и возвратились в торжественной процессии.

Появление гуся произвело невообразимую суматоху. Можно было подумать, что эта домашняя птица такой феномен, по сравнению с которым черный лебедь самое заурядное явление. А впрочем, в этом бедном жилище гусь и впрямь был диковинкой. Миссис Крэтчит подогрела подливку (приготовленную заранее в маленькой кастрюльке), пока она не зашипела. Юный Питер с нечеловеческой энергией принялся разминать картофель. Мисс Белинда добавила сахару в яблочный соус. Марта обтерла горячие тарелки. Боб усадил Малютку Тима в уголку, рядом с собой, а Крэтчиты младшие расставили для всех стулья, не забыв при этом и себя, и застыли у стола на сторожевых постах, закупорив себе ложками рты, дабы не попросить кусочек гуся, прежде чем до них дойдет черед.

Но вот стол накрыт. Прочли молитву. Наступает томительная пауза. Все затаили дыхание, а миссис Крэтчит, окинув испытующим взглядом лезвие ножа для жаркого, приготовилась вонзить его в грудь птицы. Когда же нож вонзился, и брызнул сок, и долгожданный фарш открылся взору, единодушный вздох восторга пронесся над столом, и даже Малютка Тим, подстрекаемый младшими Крэтчитами, постучал по столу рукояткой ножа и слабо пискнул:

– Ура!

Нет, не бывало еще на свете такого гуся! Боб решительно заявил, что никогда не поверит, чтобы где-нибудь мог сыскаться другой такой замечательный фаршированный гусь! Все наперебой восторгались его сочностью и ароматом, а также величиной и дешевизной. С дополнением яблочного соуса и картофельного пюре его вполне хватило на ужин для всей

семьи. Да, в самом деле, они даже не смогли его прикончить, как восхищенно заметила миссис Крэтчит, обнаружив уцелевшую на блюде микроскопическую косточку. Однако каждый был сыт, а младшие Крэтчиты не только наелись до отвала, но перемазались луковой начинкой по самые брови. Но вот мисс Белинда сменила тарелки, и миссис Крэтчит в полном одиночестве покинула комнату, дабы вынуть пудинг из котла. Она так волновалась, что пожелала сделать это без свидетелей.

А ну как пудинг не дошел! А ну как он развалится, когда его будут выкладывать из формы! А ну как его стащили, пока они тут веселились и уплетали гуся! Какой-нибудь злоумышленник мог ведь перелезть через забор, забраться во двор и похитить пудинг с черного хода! Такие предположения заставили младших Крэтчитов помертветь от страха. Словом, какие только ужасы не полезли тут в голову!

Внимание! В комнату повалил пар! Это пудинг вынули из котла. Запахло, как во время стирки! Это – от мокрой салфетки. Теперь пахнет как возле трактира, когда рядом кондитерская, а в соседнем доме живет прачка! Ну, конечно, – несут пудинг!

И вот появляется миссис Крэтчит – раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде, – таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой остролиста, воткнутой в самую его верхушку.

О дивный пудинг! Боб Крэтчит заявил, что за все время их брака миссис Крэтчит еще ни разу ни в чем не удавалось достигнуть такого совершенства, а миссис Крэтчит заявила, что теперь у нее на сердце полегчало, и она может признаться, как грызло ее беспокойство – хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Это было бы просто кощунством. Да каждый из Крэтчитов сгорел бы со стыда, если бы позволил себе подобный намек.

Но вот с обедом покончено, скатерть убрали со стола, в камине подмели, разожгли огонь. Попробовали содержимое кувшина и признали его превосходным. На столе появились яблоки и апельсины, а на угли высыпали полный совок каштанов. Затем все семейство собралось у камелька «в кружок», как выразился Боб Крэтчит, имея в виду, должно быть, полукруг. По правую руку Боба выстроилась в ряд вся коллекция фамильного хрусталя: два стакана и кружка с отбитой ручкой.

Эти сосуды, впрочем, могли вмещать в себя горячую жидкость ничуть не хуже каких-нибудь золотых кубков, и когда Боб наполнял их из кувшина, лицо его сияло, а каштаны на огне шипели и лопались с веселым треском. Затем Боб провозгласил:

– Веселых святок, друзья мои! И да благословит нас всех господь!

И все хором повторили его слова.

– Да осенит нас господь своею милостью! – промолвил и Малютка Тим, когда все умолкли.

Он сидел на своей маленькой скамеечке, тесно прижавшись к отцу. Боб любовно держал в руке его худенькую ручонку, словно боялся, что кто-то может отнять у него сынишку, и хотел все время чувствовать его возле себя.

– Дух, – сказал Скрудж, охваченный сочувствием, которого никогда прежде не испытывал. – Скажи мне, Малютка Тим будет жить?

– Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего очага, – отвечал Дух. – И костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если Будущее не внесет в это изменений, ребенок умрет.

– Нет, нет! – вскричал Скрудж. – О нет! Добрый Дух, скажи, что судьба пощадит его!

– Если Будущее не внесет в это изменений, – повторил Дух, – дитя не доживет до следующих святок. Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения!

Услышав, как Дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый

раскаянием и печалью.

– Человек! – сказал Дух, – Если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые и пошлые слова, пока тебе еще не дано узнать, ЧТО есть излишек и ГДЕ он есть. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто – умереть? Быть может, ты сам в глазах небесного судии куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребенок этого бедняка. О боже! Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли!

Скрудж согнулся под тяжестью этих укоров и потупился, трепеща. Но тут же поспешно вскинул глаза, услышав свое имя.

– За здоровье мистера Скруджа! – сказал Боб. – Я предлагаю тост за мистера Скруджа, без которого не справить бы нам этого праздника.

– Скажешь тоже – не справить! – вскричала миссис Крэтчит, вспыхнув. – Жаль, что его здесь нет. Я бы такой тост предложила за его здоровье, что, пожалуй, ему не поздоровилось бы!

– Моя дорогая! – укорил ее Боб. – При детях! В такой день!

– Да уж воистину только ради этого великого дня можно пить за здоровье такого гадкого, бесчувственного, жадного скареды, как мистер Скрудж, – заявила миссис Крэтчит. – И ты сам это знаешь, Роберт! Никто не знает его лучше, чем ты, бедняга!

– Моя дорогая, – кротко отвечал Боб. – Сегодня рождество.

– Так и быть, выпью за его здоровье ради тебя и ради праздника, – сказала миссис Крэтчит. – Но только не ради него. Пусть себе живет и здравствует. Пожелаем ему веселых святок и счастливого Нового года. То-то он будет весел и счастлив, могу себе представить!

Вслед за матерью выпили и дети, но впервые за весь вечер они пили не от всего сердца. Малютка Тим выпил последним – ему тоже был как-то не по душе этот тост. Мистер Скрудж был злым гением этой семьи. Упоминание о нем черной тенью легло на праздничное сборище, и добрых пять минут ничто не могло прогнать эту мрачную тень.

Но когда она развеялась, им стало еще веселее, чем прежде, от одного сознания, что со Скруджем-Сквалыжником на сей раз покончено. Боб рассказал, какое он присмотрел для Питера местечко, – если дело выгорит, у них прибавится целых пять шиллингов шесть пенсов в неделю. Крэтчиты младшие помирали со смеху при одной мысли, что их Питер станет деловым человеком, а сам юный Питер задумчиво уставился на огонь, устремив взгляд в узкую щель между концами воротничка и словно прикидывая, куда предпочтительнее будет поместить капитал, когда к нему начнут поступать такие несметные доходы. Тут Марта, которая была отдана в обучение шляпной мастерице, принялась рассказывать, какую ей приходится выполнять работу и по сколько часов трудиться без передышки, и как она рада, что завтра можно подольше поваляться в постели и хорошенько выспаться, благо праздник, и ее отпустили на весь день, и как наемни она видела одну графиню и одного лорда и лорд был «этаким невысокий, ну совсем как наш Питер». При этих словах Питер подтянул свой воротничок так высоко, что, если бы вы при этом присутствовали, вам, пожалуй, не удалось бы установить, есть ли у него вообще голова. А тем временем каштаны и кувшин уже не раз обошли всех круговую, и вот Малютка Тим тоненьким жалобным голоском затянул песенку о маленьком мальчике, заблудившемся в буран, и спел ее, поверьте, превосходно.

Конечно, все это было довольно убого и заурядно, никто в этом семействе не отличался красотой, никто не мог похвалиться хорошим костюмом, – насчет одежды у них вообще было небогато, – башмаки у всех просили каши, а юный Питер, судя по некоторым признакам, уже не раз имел случай познакомиться с ссудной кассой. И тем не менее все здесь были счастливы, довольны друг другом, рады празднику и благодарны судьбе, а когда они стали исчезать, растворяясь в воздухе, лица их как-то особенно засветились, ибо Дух окропил их на прощанье маслом из своего факела, и Скрудж не мог оторвать от них глаз, а в особенности – от Малютки Тима.

Тем временем уже стемнело, и повалил довольно густой снег, и когда Скрудж в

сопровождении Духа снова очутился на улице, в каждом доме во всех комнатах, от кухонь до гостиных, уже жарко пылали каминные и в окнах заманчиво мерцало их веселое пламя. Здесь дрожащие отблески огня на стекле говорили о приготовлениях к уютному семейному обеду: у очага грелись тарелки, и чья-то рука уже поднялась, чтобы задернуть бордовые портьеры и отгородиться от холода и мрака. Там ребяташки гурьбой высыпали из дому прямо на снег навстречу своим теткам и дядям, кузенам и кузинам, замужним сестрам и женатым братьям, чтобы первыми их приветствовать. А вот на спущенных шторах мелькают тени гостей. А вот кучка красивых девушек в теплых капорах и меховых башмачках, щебеча без умолку, перебегают через дорогу к соседям, и горе одинокому холостяку (очаровательным плутовкам это известно не хуже нас), который увидит их раздуряившиеся от мороза щечки!

Право, глядя на всех этих людей, направлявшихся на дружеские сборища, можно было подумать, что решительно все собрались в гости и ни в одном доме не осталось хозяев, чтобы гостей принять. Но это было не так. Гости поджидали в каждом доме и то и дело подбрасывали уголья в камин.

И как же ликовал Дух! Как радостно устремлялся он вперед, обнажив свою широченную грудь, раскинув большие ладони и щедрой рукой разливая вокруг бесхитростное и зажигательное веселье. Даже фонащик, бежавший по сумрачной улице, оставляя за собой дрожащую цепочку огней, и придевшийся, чтобы потом отправиться в гости, громко рассмеялся, когда Дух пронесся мимо, хотя едва ли могло прийти бедняге в голову, что кто-нибудь, кроме его собственного праздничного настроения, составляет ему в эту минуту компанию.

И вдруг – а Дух хоть бы словом об этом предупредил – Скрудж увидел, что они стоят среди пустынного и мрачного торфяного болота. Огромные разбросанные в беспорядке каменные глыбы придавали болоту вид кладбища каких-то гигантов. Отовсюду сочилась вода – вернее, могла бы сочиться, если бы ее не сковал кругом, насколько хватал глаз, мороз, – и не росло ничего кроме мха, дрока и колючей сорной травы. На западе, на горизонте, закатившееся солнце оставило багрово-красную полосу, которая, словно чей-то угрюмый глаз, взирала на это запустенье и, становясь все уже и уже, померкла, наконец, слившись с сумраком беспросветной ночи.

– Где мы? – спросил Скрудж.

– Там, где живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли, – отвечал Дух. – Но и они не чуждаются меня. Смотри!

В оконце какой-то хибарки блеснул огонек, и они поспешно приблизились к ней, пройдя сквозь глинобитную ограду. Их глазам предстала веселая компания, собравшаяся у пылающего очага. Там сидели старые-престарые старик и старуха со своими детьми, внуками и даже правнуками. Все они были одеты нарядно – по-праздничному. Старик слабым, дрожащим голосом, то и дело заглушаемым порывами ветра, пронесившегося с завываньем над пустынным болотом, пел рождественскую песнь, знакомую ему еще с детства, а все подхватывали хором припев. И всякий раз, когда вокруг старика начинали звучать голоса, он веселел, оживлялся, и голос его креп, а как только голоса стихали, и его голос слабел и замирал.

Дух не замешкался у этой хижины, но, приказав Скруджу покрепче ухватиться за его мантию, полетел дальше над болотом... Куда? Неужто к морю? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж, к своему ужасу, увидел грозную гряду скал – оставшийся позади берег. Его оглушил грохот волн. Пенясь, дробясь, неистовствуя, они с ревом врывались в черные, ими же выдолбленные пещеры, словно в ярости своей стремились раздробить землю.

В нескольких милях от берега, на угрюмом, затерянном в море утесе, о который день за днем и год за годом разбивался свирепый прибой, стоял одинокий маяк. Огромные груды морских водорослей облепили его подножье, а буреветники (не порождение ли они ветра, как водоросли – порождение морских глубин?) кружили над ним, взлетая и падая, подобно волнам, которые они задевали крылом.

Но даже здесь двое людей, стороживших маяк, разожгли огонь в очаге, и сквозь узкое

окно в каменной толще стены пламя бросало яркий луч света на бурное море. Протянув мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели, сторожа обменялись рукопожатием, затем подняли тяжелые кружки с грогом и пожелали друг другу веселого праздника, а старший, чье лицо, подобно деревянной скульптуре на носу старого фрегата, носило следы жестокой борьбы со стихией, затянул бодрую песню, звучавшую как рев морского прибора.

И вот уже Дух устремился вперед, над черным бушующим морем. Все вперед и вперед, пока – вдали от всех берегов, как сам он поведал Скруджу, – не опустился вместе с ним на палубу корабля. Они переходили от одной темной и сумрачной фигуры к другой, от кормчего у штурвала – к дозорному на носу, от дозорного – к матросам, стоявшим на вахте, и каждый из этих людей либо напевал тихонько рождественскую песнь, либо думал о наступивших святках, либо вполголоса делился с товарищем воспоминаниями о том, как он праздновал святки когда-то, и выражал надежду следующий праздник провести в кругу семьи. И каждый, кто был на корабле, – спящий или бодрствующий, добрый или злой, – нашел в этот день самые теплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех, кто и вдали был ему дорог, и порадовался, зная, что им тоже отрадно вспоминать о нем. Словом, так или иначе, но каждый отметил в душе этот великий день.

И каково же было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к завыванию ветра и размышляя над суровой судьбой этих людей, которые неслись вперед во мраке, скользя над бездонной пропастью, столь же неизведанной и таинственной, как сама Смерть, – каково же было его удивление, когда, погруженный в эти думы, он услышал вдруг веселый, заразительный смех. Но тут его ждала еще большая неожиданность, ибо он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а Дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит не на кого другого, как все на того же племянника!

– Ха-ха-ха! – заливался племянник Скруджа. – Ха-ха-ха!

Если вам, читатель, по какой-то невероятной случайности довелось знать человека, одаренного завидной способностью смеяться еще более заразительно, чем племянник Скруджа, скажу одно: вам неслыханно повезло. Представьте меня ему, и я буду очень дорожить этим знакомством.

Болезнь и скорбь легко передаются от человека к человеку, но все же нет на земле ничего более заразительного, нежели смех и веселое расположение духа, и я усматриваю в этом целесообразное, благородное и справедливое устройство вещей в природе. Итак, племянник Скруджа покатывался со смеху, держась за бока, трясая головой и строя самые уморительные гримасы, а его жена, племянница Скруджа по мужу, глядя на него, смеялась столь же весело. Да и гости не отставали от хозяев – и тоже хохотали во все горло:

– Ха-ха-ха-ха-ха!

– Он сказал, что святки – это вздор, чепуха, чтоб мне пропасть! – кричал племянник Скруджа. – И ведь всерьез сказал, ей-богу!

– Да как ему не совестно, Фред! – с возмущением вскричала племянница. Ох, уж эти женщины! Они никогда ничего не делают наполовину и судят обо всем со всей решительностью.

Племянница Скруджа была очень хороша собой, – на редкость хороша. Прелестное личико, наивно-удивленный взгляд, ямочки на щеках. Маленький пухлый ротик казался созданным для поцелуев, как оно без сомнения и было. Крошечные ямочки на подбородке появлялись и исчезали, когда она смеялась, и ни одно существо на свете не обладало парой таких лучезарных глаз. Словом, надо признаться, что она умела подзадорить, но и приласкать – тоже.

– Он забавный старый чудака, – сказал племянник Скруджа. – Не особенно приветлив, конечно, ну что ж, его пороки несут в себе и наказание, и я ему не судья.

– Он ведь очень богат, Фред, – заметила племянница. – По крайней мере ты всегда мне это говорил.

– Да что с того, моя дорогая, – сказал племянник. – Его богатство ему не впрок. Оно и людям не приносит добра и ему не доставляет радости. Он лишил себя даже приятного сознания, что... ха-ха-ха!., что он может когда-нибудь осчастливить своими деньгами нас.

– Терпеть я его не могу! – заявила племянница, и сестры племянницы, да и все прочие дамы выразили совершенно такие же чувства.

– Ну, а по мне он ничего, – сказал племянник. – Мне жаль его, и я не могу питать к нему неприязни, даже если б захотел. Кто страдает от его злых причуд? Он сам – всегда и во всем. Вот, к примеру, он вбил себе в голову, что не любит нас, и не пожелал прийти отобедать с нами. К чему это привело? Лишился обеда, хотя и не бог весть какого.

– А я полагаю, что вовсе не плохого, – возразила племянница, и все поддержали ее, а так как они только что отобедали и собрались у камина, возле которого на столике уже горела лампа и был приготовлен десерт, то с мнением их нельзя не считаться.

– Что ж, рад это слышать, – промолвил племянник Скруджа. – А то я не очень-то верю в искусство молодых хозяйшек. А вы что скажете, Топпер?

Топпер, который совершенно явно имел виды на одну из сестер хозяйки, отвечал, что всякий холостой мужчина – это жалкий отщепенец и не имеет права высказывать суждение о таком предмете. При этих словах сестра племянницы – не та, что с розами у корсажа, а пухленькая, с гофрированной кружевной оборочкой у ворота, – залилась краской.

– Ну же, Фред, продолжай, – потребовала племянница Скруджа, хлопая в ладоши. – Вечно он начнет рассказывать и не кончит! Такой нелепый человек!

Племянник Скруджа снова покатился со смеху, и так как смех его был заразителен, все, как один, последовали его примеру, хотя пухленькая сестра племянницы и старалась противостоять заразе, усиленно нюхая флакончик с ароматическим уксусом.

– Я хотел только заметить, – сказал племянник Скруджа, – что его антипатия к нам и нежелание повеселиться с нами вместе лишили его возможности провести несколько часов в приятном обществе, что не причинило бы ему вреда. Это, я думаю, во всяком случае приятнее, чем сидеть наедине со своими мыслями в старой, заплесневелой конторе или в его замшелой квартире. И я намерен приглашать его к нам каждый год, хочет он того или нет, потому что мне его жаль. Он может до конца дней своих хулить святки, но волей-неволей станет лучше судить о них, если из года в год я буду приходить к нему и говорить от чистого сердца: «Как поживаете, дядюшка Скрудж?» Если это расположит его хотя бы к тому, чтобы отписать в завещании своему бедному клерку пятьдесят фунтов – с меня и того довольно. Мне, кстати, сдается, что мои слова тронули его вчера.

Его слова тронули Скруджа! Такая нелепая фантазия дала повод к новому взрыву смеха, но хозяину по причине его на редкость добродушного нрава было совершенно все равно, над кем смеются гости, лишь бы они веселились от души, и, стремясь поддержать их в этом настроении, он с довольным видом пустил в круговую бутылку вина.

Напившись чая, решили заняться музыкой. В этом семействе музыка была в чести, и когда там принимались распевать песни на два, а то и на три голоса с хором, можете мне поверить, что исполняли их со знанием дела. Особенно отличался мистер Топпер, который очень усердно гудел басом, и при том без особой даже натуги, так что лицо у него не багровело и на лбу не надувались жилы. Племянница Скруджа недурно играла на арфе и в числе прочих музыкальных пьес исполнила одну простенькую песенку (совсем пустячок, вы бы через две минуты уже могли ее насвистать), которую певала когда-то одна маленькая девочка, та, что приехала однажды вечером, чтобы увезти Скруджа из пансиона. Это воспоминание воскресил в душе Скруджа Дух Прошлых Святков, и теперь, когда Скрудж услышал знакомую мелодию, картины былого снова ожили в его памяти. Скрудж слушал, и сердце его смягчалось все более и более, и ему уже казалось, что, внимай он чаще этим звукам в давно минувшие годы, и, быть может, он всегда стремился бы только к добру на счастье себе и людям, и не пришлось бы духу Джейкоба Марли вставать из могилы.

Однако не одной только музыке был посвящен этот вечер. Помузицировав, принялись играть в фанты. Ведь так отраднo порой снова стать хоть на время детьми! А особенно

хорошо это на святках, когда мы празднуем рождение божественного младенца. Впрочем, постойте! Сначала играли в жмурки. Ну, конечно! И никто меня не убедит, что мистер Топпер действительно ничего не видел. Да я скорее поверю, что у него была еще одна пара глаз – на пятках. По-моему, они были в сговоре – он и племянник Скруджа. А Дух тоже был с ними заодно. Если бы вы видели, как мистер Топпер припустился напрямик за толстушкой с кружевной оборочкой, вы бы сами сказали, что это значит чересчур уж рассчитывать на легкоеверие человеческой природы. Опрокидывая стулья, роняя каминные щипцы, налетая на фортепьяно, он неотступно гнался за ней по пятам и чуть не задохся, запутавшись в портьерах! Он всегда безошибочно знал, в каком конце комнаты находится пухленькая сестрица хозяйки, и не желал ловить никого другого. Даже если бы вы нарочно поддались ему (а кое-кто и пытался это проделать), он бы, для отвода глаз, пожалуй, притворился, что хочет вас словить, – да только какой бы дурак ему поверил! – и тотчас устремился бы в другом направлении – за пухлой сестрицей.

– Это нечестно! – восклицала она, и не раз, и оно в самом деле было нечестно. Но как ни увертывалась она от него, как ни проскальзывала, шелестя шелковыми юбками, перед самым его носом, ему все же удалось ее поймать, и вот тут – когда он загнал ее в угол, откуда ей уже не было спасения, – вот тут поведение его стало поистине чудовищным. Сколь гнусно было его притворство, когда он делал вид, что не узнает ее и должен коснуться лент у нее на голове и какого-то колечка на пальчике и какой-то цепочки на шее, чтобы удостовериться, что это действительно она. Без сомнения, она не преминула высказать ему свое мнение о нем, когда они, укрывшись за портьерой, поверяли друг другу какие-то секреты, в то время как с завязанными глазами бегал уже кто-то другой.

Племянница Скруджа не играла в жмурки. Ее удобно устроили в уютном уголке, усадив в глубокое кресло и подставив под ноги скамеечку, причем Дух и Скрудж оказались как раз за ее спиной. Но в фантах и она приняла участие, а когда играли в «Любишь не любишь» – так находчиво придумывала ответы на любую букву алфавита, что привела всех в неопишуемый восторг. Столь же блистательно отличилась она и в игре «Как, Когда, Где» и к тайной радости племянника Скруджа совершенно затмила всех своих сестер, хотя они тоже были весьма шустрые девицы, что охотно подтвердил бы вам мистер Топпер. Гостей было человек двадцать, не меньше, и все – и молод и стар – принимали участие в играх, а вместе с ними и Скрудж. В своем увлечении игрой он забывал, что голос его беззвучен для ушей смертных, и не раз громко заявлял о своей догадке, и она почти всегда оказывалась правильной, ибо самые острые иголки, что выпускает уайтчеплская игольная фабрика, не могли бы сравниться по остроте с умом Скруджа, за исключением, конечно, тех случаев, когда он считал почему-либо необходимым прикидываться тупицей.

Такое его поведение пришлось, должно быть, Призраку по вкусу, ибо он бросил на Скруджа довольно благосклонный взгляд. Скрудж принялся, как ребенок, выпрашивать у него разрешения побывать с гостями, пока они не отправятся по домам, но Дух отвечал, что это невозможно.

– Они затеяли новую игру! – молил Скрудж. – Ну хоть полчаса, Дух! Только полчаса!

Игра называлась «Да и Нет». Племянник Скруджа должен был задумать какой-нибудь предмет, а остальные – угадать, что он задумал. По условиям игры он мог отвечать на все вопросы только «да» или «нет». Под перекрестным огнем посыпавшихся на него вопросов удалось мало-помалу установить, что он задумал некое животное, – ныне здравствующее животное, довольно противное животное, свирепое животное, животное, которое порой ворчит, порой рычит, а порой вроде бы разговаривает, и которое живет в Лондоне, и ходит по улицам, и которое не водят на цепи и не показывают за деньги, и живет оно не в зверинце, и мясом его не торгуют на рынке, и это не лошадь, и не осел, и не корова, и не бык, и не тигр, и не собака, и не свинья и не кошка, и не медведь. При каждом новом вопросе племянник Скруджа снова заливался хохотом и в конце концов пришел в такой раж, что вскочил с дивана и начал от восторга топтать ногами. Тут пухленькая сестричка племянницы

расхохоталась вдруг так же неистово и воскликнула.

– Угадала! Я знаю, что вы задумали, Фред! Знак!

– Ну что? – закричал Фред.

– Это ваш дядюшка Скру-у-у-дж!

Да, так оно и было. Тут уж восторг стал всеобщим, хотя кое-кто нашел нужным возразить, что на вопрос: «Это медведь?» – следовало ответить не «нет», а «да», так как отрицательный ответ мог сбить с толку тех, кто уже был близок к истине.

– Ну, мы так потешились насчет старика, – сказал племянник, – что было бы черной неблагодарностью не выпить теперь за его здоровье. Прошу каждого взять свой бокал глинтвейна. Предлагаю тост за дядюшку Скруджа!

– За дядюшку Скруджа! – закричали все.

– Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился, веселого рождества и счастливого Нового года! – указал племянник. – Он не захотел принять от меня этих пожеланий, но пусть они все же сбудутся. Итак, за дядюшку Скруджа!

А дядюшка Скрудж тем временем незаметно для себя так развеселился, и на сердце у него стало так легко, что он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании, не подозревавшей о его присутствии, и поблагодарил бы ее в своей ответной, хотя и беззвучной речи, если бы Дух дал ему на это время. Но едва последнее слово слетело с уст племянника, как видение исчезло, и Дух со Скруджем снова пустились в странствие.

Далеко-далеко лежал их путь, и немало посетили они жилищ, и немало повидали отдаленных мест, и везде приносили людям радость и счастье. Дух стоял у изголовья больного, и больной ободрялся и веселел; он приближался к скитальцам, тоскующим на чужбине, и им казалось, что отчизна близко; к изнемогающим в житейской борьбе – и они окрылялись новой надеждой; к беднякам – и они обретали в себе богатство. В тюрьмах, больницах и богадельнях, в убогих приютах нищеты – всюду, где суетность и жалкая земная гордыня не закрывают сердца человека перед благодатным духом праздника, – всюду давал он людям свое благословение и учил Скруджа заповедям милосердия.

Долго длилась эта ночь, если то была всею одна лишь ночь, в чем Скрудж имел основания сомневаться, ибо ему казалось, что обе святочные недели пролетели с тех пор, как он пустился с Духом в путь. И еще одну странность заметил Скрудж: в то время как сам он внешне совсем не изменился, Призрак старел у него на глазах. Скрудж давно уже видел происходящую в Духе перемену, однако до поры до времени молчал. Но вот, покинув детский праздник, устроенный в крещенский вечер, и очутившись вместе с Духом на открытой равнине, он взглянул на него и заметил, что волосы его совсем поседели.

– Скажи мне, разве жизнь духов так коротка? – спросил его тут Скрудж.

– Моя жизнь на этой планете быстротечна, – отвечал Дух. – И сегодня ночью ей придет конец.

– Сегодня ночью? – вскричал Скрудж.

– Сегодня в полночь. Чу! Срок близится. В это мгновение часы на колокольне пробили три четверти двенадцатого.

– Прости меня, если об этом нельзя спрашивать, – сказал Скрудж, пристально глядя на мантию Духа. – Но мне чудится, что под твоим одеянием скрыто нечто странное. Что это виднеется из-под края твоей одежды – птичья лапа?

– Нет, даже на птичьей лапе больше мяса, чем на этих костях, – последовал печальный ответ Духа. – Взгляни!

Он откинул край мантии, и глазам Скруджа предстали двое детей – несчастные, заморенные, уродливые, жалкие и вместе с тем страшные. Стоя на коленях, они припали к ногам Духа и уцепились за его мантию.

– О Человек, взгляни на них! – воскликнул Дух. – Взгляни же, взгляни на них!

Это были мальчик и девочка. Тощие, мертвенно-бледные, в лохмотьях, они глядели исподлобья, как волчата, в то же время расплываясь у ног Духа в униженной покорности. Нежная юность должна была бы цвести на этих щеках, играя свежим румянцем,

но чья-то дряхлая, морщинистая рука, подобно руке времени, исказила, обезобразила их черты и иссушила кожу, обвисшую как тряпка. То, что могло бы быть престолом ангелов, стало приютом демонов, грозящих всему живому. За все века исполненной тайн истории мироздания никакое унижение или извращение человеческой природы, никакие нарушения ее законов не создавали, казалось, ничего столь чудовищного и отталкивающего, как эти два уродца.

Скрудж отпрянул в ужасе. Когда эти несчастные создания столь внезапно предстали перед ним, он хотел было сказать, что они очень славные дети, но слова застряли у него в горле, как будто язык не пожелал принять участия в такой вопиющей лжи.

– Это твои дети. Дух? – вот и все, что он нашел в себе силы произнести.

– Они – порождение Человека, – отвечал Дух, опуская глаза на детей. – Но видишь, они припали к моим стопам, прося защиты от тех, кто их породил. Имя мальчика – Невежество. Имя девочки – Нищета. Остерегайся обоих и всего, что им сродни, но пуще всего берегись мальчишки, ибо на лбу у него начертано «Гибель» и гибель он несет с собой, если эта надпись не будет стерта. Что ж, отрицай это! – вскричал Дух, повернувшись в сторону города и простирая к нему руку.

Поноси тех, кто станет тебе это говорить! Используй невежество и нищету в своих нечистых, своекорыстных целях! Увеличь их, умножь! И жди конца!

– Разве нет им помощи, нет пристанища? – воскликнул Скрудж.

– Разве нет у нас тюрем? – спросил Дух, повторяя собственные слова Скруджа. – Разве нет у нас работных домов?

В это мгновение часы пробили полночь.

Скрудж оглянулся, ища Духа, но его уже не было. Когда двенадцатый удар колокола прогудел в тишине, Скрудж вспомнил предсказание Джейкоба Марли и, подняв глаза, увидел величественный Призрак, закутанный с ног до головы в плащ с капюшоном и, подобно облаку или туману, плывший над землей к нему навстречу.



Строфа четвертая ***Последний из Духов***

Дух приближался – безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеяло от него на Скруджа, что тот упал перед ним на колени.

Черное, похожее на саван одеяние Призрака скрывало его голову, лицо, фигуру – видна была только одна простертая вперед рука. Не будь этой руки, Призрак слился бы с ночью и стал бы неразличим среди окружавшего его мрака.

Благоговейный трепет объял Скруджа, когда эта высокая величавая и таинственная фигура остановилась возле него. Призрак не двигался и не произносил ни слова, а Скрудж испытывал только ужас – больше ничего.

– Дух Будущих Святых, не ты ли почтил меня своим посещением? – спросил, наконец, Скрудж.

Дух ничего не ответил, но рука его указала куда-то вперед.

– Ты намерен открыть мне то, что еще не произошло, но должно произойти в будущем? – продолжал свои вопросы Скрудж. – Не так ли, Дух?

Складки одеяния, ниспадающего с головы Духа, слегка шевельнулись, словно Дух кивнул. Другого ответа Скрудж не получил.

Хотя общество привидений стало уже привычным для Скруджа, однако эта молчаливая

фигура внушала ему такой ужас, что колени у него подгибались, и, собравшись следовать за Призраком, он почувствовал, что едва держится на ногах. Должно быть, Призрак заметил его состояние, ибо он приостановился на мгновение, как бы для того, чтобы дать ему возможность прийти в себя.

Но Скруджу от этой передышки стало только хуже. Необъяснимый ужас пронизывал все его существо при мысли о том, что под прикрытием этого черного, мрачного савана взор Призрака неотступно следит за ним, в то время как сам он, сколько бы ни напрягал зрение, не может разглядеть ничего, кроме этой мертвенно-бледной руки и огромной черной бесформенной массы.

– Дух Будущих Святых! – воскликнул Скрудж. – Я страшусь тебя. Ни один из являвшихся мне призраков не пугал меня так, как ты. Но я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим человеком и потому готов с сердцем, исполненным благодарности следовать за тобой. Разве ты не хочешь сказать мне что-нибудь?

Призрак ничего не ответил. Рука его по-прежнему была простерта вперед.

– Веди меня! – сказал Скрудж. – Веди! Ночь быстро близится к рассвету, и каждая минута для меня драгоценна – я знаю это. Веди же меня, Призрак!

Привидение двинулось вперед так же безмолвно, как и появилось. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, которое как бы поддерживало его над землей и увлекало за собой.

Они вступили в город – вернее, город, казалось, внезапно сам вырос вокруг них и обступил их со всех сторон. И вот они уже очутились в центре города – на Бирже, в толпе коммерсантов, которые сновали туда и сюда и собирались группами, и поглядывали на часы, и позванивали монетами в кармане, и в раздумье перебирали массивные золотые брелоки, словом, все было, как всегда, – знакомая Скруджу картина.

Дух остановился возле небольшой кучки дельцов. Заметив, что рука Призрака указывает на них, Скрудж приблизился и стал прислушиваться к их разговору.

– Нет, – сказал огромный тучный мужчина с чудовищным тройным подбородком. – Об этом мне ничего не известно. Знаю только, что он умер.

– Когда же это случилось? – спросил кто-то.

– Да как будто прошедшей ночью.

– А что с ним было? – спросил третий, беря изрядную понюшку табаку из огромной табакерки. – Мне казалось, он всех переживет.

– А бог его знает, – промолвил первый и зевнул.

– Что же он сделал со своими деньгами? – спросил краснолицый господин, у которого с самого кончика носа свисал нарост, как у индюка.

– Не слышал, не знаю, – отвечал человек с тройным подбородком и снова зевнул.

– Оставил их своей фирме, должно быть. Мне он их не оставил. Это-то уж я знаю доподлинно. Шутка была встречена общим смехом.

– Похоже, пышных похорон не будет, – продолжал человек с подбородком. – Пропади я пропадом, если кто-нибудь придет его хоронить. Может, нам собраться компанией и показать пример?

– Что ж, если будут поминки, я не прочь, – отозвался джентльмен с наростом на носу. – За такой труд не грех и покормить.

Снова смех.

– Я, видать, бескорыстнее всех вас, – сказал человек с подбородком, – так как никогда не надеваю черных перчаток и никогда не завтракаю второй раз, но тем не менее готов пойти, если кто-нибудь присоединится. Ведь рассудить, так я, пожалуй, был самым близким его приятелем. Как-никак, а при встречах мы всегда останавливались потолковать. Ну, до завтра, господа.

Собеседники разошлись в разные стороны и смешались с другими группами дельцов, а Скрудж, который знал всех этих людей, вопросительно посмотрел на Духа, ожидая от него объяснения.

Призрак двинулся к выходу. Перст его указывал на улицу, где только что повстречались двое людей. Скрудж прислушался к их беседе, полагая, что здесь он найдет, наконец, объяснение всему.

Этих людей он тоже знал как нельзя лучше. Оба были дельцами, весьма богатыми и весьма влиятельными. Скрудж всегда очень дорожил их мнением о себе. С деловой точки зрения, разумеется. Исключительно с деловой точки зрения.

– Добрый день, – сказал один.

– Добрый день, – отвечал другой.

– Слыхали? – сказал первый. – Он попал-таки, наконец, черту в лапы.

– Да, слышал, – отвечал другой. – Каков мороз!

– Самый рождественский. Вы не любитель покататься на коньках?

– Нет, нет. Мало у меня без того забот! Мое почтение!

Вот и все, ни слова больше. Встретились, потолковали и разошлись.

Поначалу Скрудж был несколько удивлен, что Дух может придавать значение такой пустой на первый взгляд беседе, но потом решил, что в словах этих людей заключен какой-то скрытый смысл, и принялся размышлять, что же это такое. Разговоры эти едва ли могли иметь отношение к смерти Джейкоба, его старого компаньона, так как то было делом Прошлого, а областью Духа было Будущее. Но о ком же они толковали? У него же нет ни близких, ни друзей. Однако, ни секунды не сомневаясь, что в этих речах заложен глубокий нравственный смысл, направленный на его благо, Скрудж решил сберечь в памяти своей, как драгоценнейший клад, все, что приведет к тому увидеть или услышать, а прежде всего внимательно наблюдать за своим двойником, когда тот появится. Его собственное поведение в будущем даст, казалось ему, ключ ко всему происходящему и поможет разгадать все загадки.

Скрудж снова заглянул на Биржу, ища здесь своего двойника, но на его обычном месте стоял какой-то незнакомый человек. В этот час Скруджу полагалось уже быть на Бирже, однако он не нашел себя ни там, ни в толпе, теснившейся у входа. Впрочем, это не очень его удивило. Он увидел в этом лишь доказательство того, что принятое им в душе решение – совершенно изменить свой образ жизни – осуществилось.

Черной безмолвной тенью стоял рядом с ним Призрак с простертой вперед рукой. Очнувшись от своих раздумий, Скрудж заметил, что рука Призрака протянута к нему, а Невидимый Взор, – как ему почудилось, – пронизывает его насквозь. Скрудж содрогнулся и почувствовал, что кровь леденеет у него в жилах.

Покинув это оживленное место, они углубились в глухой район трущоб, куда Скрудж никогда прежде не заглядывал, хотя знал, где расположен этот квартал и какой дурной пользуется он славой. Узкие, грязные улочки; жалкие домишки и лавчонки; едва прикрытый зловонным тряпьем, пьяный, отталкивающий в своем убожестве люд. Глухие переулки, подворотни, словно стоки нечистот, извергали в лабиринт кривых улиц свою вонь, свою грязь, свой блуд, и весь квартал смердел пороком, преступлениями, нищетой.

В самой гуще этих притонов и трущоб стояла лавка старьевщика – низкая и словно придавленная к земле односкатной крышей. Здесь за гроши скупали тряпки, старые жестянки, бутылки, кости и прочую ветошь и хлам. На полу лавчонки были свалены в кучу ржавые гвозди, ключи, куски дверных цепочек, задвижки, чашки от весов, сломанные пилы, гири и разный другой железный лом. Кучи подозрительного тряпья, комья тухлого сала, груды костей скрывали, казалось, темные тайны, в которые мало кому пришла бы охота проникнуть. И среди всех этих отбросов, служивших предметом купли-продажи, возле сложенной из старого кирпича печурки, где догорали угли, сидел седой мошенник, довольно преклонного возраста. Отгородившись от внешнего мира с его зимней стужей при помощи занавески из полуистлевших лохмотьев, развешенных на веревке, он удовлетворенно посасывал трубку и наслаждался покоем в тиши своего уединения.

Когда Скрудж, ведомый Призраком, приблизился к этому человеку, какая-то женщина с объемистым узлом в руках крадучись шмыгнула в лавку. Но едва она переступила порог,

как в дверях показалась другая женщина тоже с какой-то поклажей, а следом за ней в лавку вошел мужчина в порыжелой черной паре, и все трое были в равной мере поражены, узнав друг друга. С минуту длилось общее безмолвное изумление, которое разделил и старьевщик, посасывавший свою трубку. Затем трое пришедших разразились смехом.

– Уж будьте покойны, поденщица всегда поспеет первой! – воскликнула та, что опередила остальных. – Ну а прачка уж будет второй, а посыльный гробовщика – третьим. Смотри-ка, старина Джо, какой случай! Ведь не сговариваясь сошлись, видал?

– Что ж, лучшего места для встречи вам бы и не сыскать, – отвечал старик Джо, вынимая трубку изо рта. – Проходите в гостиную. Ты-то, голубушка, уж давно свой человек здесь, да и эти двое тоже не чужие. Погодите, я сейчас притворю дверь. Ишь ты! Как скрипит! Во всей лавке, верно, не сыщется куска такого старого ржавого железа, как эти петли, и таких старых костей, как мои. Ха-ха-ха! Здесь все одно другого стоит, всем нам пора на свалку. Проходите в гостиную! Проводите в гостиную!

Гостиной называлась часть комнаты, за тряпичной занавеской. Старик сгреб угли в кучу старым металлическим прутом от лестничного ковра, мундштуком трубки снял нагар с чадившей лампы (время было уже позднее) и снова сунул трубку в рот.

Тем временем женщина, которая пришла первой, швырнула свой узел на пол, с нахальным видом плюхнулась на табуретку, уперлась кулаками в колени и вызывающе поглядела на тех, кто пришел после нее.

– Ну, в чем дело? Чего это вы устались на меня, миссис Дилбер? – сказала она. – Каждый вправе позаботиться о себе. Он-то это умел.

– Что верно, то верно, – сказала прачка. – И никто не умел так, как он.

– А коли так, чего же ты стоишь и тарачишь глаза, словно кого-то боишься? Никто же не узнает. Ворон ворону глаз не выклюет.

– Да уж, верно, нет! – сказали в один голос миссис Дилбер и мужчина. – Уж это так.

– Вот и ладно! – вскричала поденщица. – И хватит об этом. Подумаешь, велика беда, если они там недосчитаются двух-трех вещичек вроде этих вот. Покойника от этого не убудет, думается мне.

– И в самом деле, – смеясь, поддакнула миссис Дилбер.

– Ежели этот старый скряга хотел, чтобы все у него осталось в целостности-сохранности, когда он отдаст богу душу, – продолжала поденщица, – почему он не жил как все люди? Живи он по-людски, уж, верно, кто-нибудь приглядел бы за ним в его смертный час, и не подох бы он так – один-одинешенек.

– Истинная правда! – сказала миссис Дилбер. – Это ему наказание за грехи.

– Эх, жалко, наказали-то мы его мало, – отвечала та. – Да, кабы можно было побольше его наказать, уж я бы охулки на руку не положила, верьте слову. Ну, ладно, развяжите-ка этот узел, дядюшка Джо, и назовите вашу цену. Говорите начистоту. Я ничего не боюсь – первая покажу свое добро. И этих не боюсь – пусть смотрят. Будто мы и раньше не знали, что каждый из нас прибирает к рукам, что может. Только я в этом греха не вижу. Развязывайте узел, Джо.

Но благородные ее друзья не пожелали уступить ей в отваге, и мужчина в порыжелом черном сюртуке храбро ринулся в бой и первым предъявил свою добычу. Она была невелика. Два-три брелока, вставочка для карандаша, пара запонок да дешевенькая булавка для галстука – вот, в сущности, и все. Старикашка Джо обследовал все эти предметы один за другим, оценил, проставил стоимость каждого мелом на стене и видя, что больше ждать нечего, подвел итог.

– Вот сколько вы получите, – сказал старьевщик, – и ни пенса больше, пусть меня сожгут живьем. Кто следующий?

Следующей оказалась миссис Дилбер. Она предъявила простыни и полотенца, кое-что из одежды, две старомодные серебряные ложечки, щипчики для сахара и несколько пар старых сапог. Все это также получило свою оценку мелом на стене.

– Дамам я всегда переплачиваю, – сказал старикашка. – Это моя слабость. Таким-то

манером я и разоряюсь. Вот сколько вам следует. Если попросите накинуть еще хоть пенни и станете торговаться, я пожалею, что был так щедр, и сбавлю полкроны.

– А теперь развяжите мой узел, Джо, – сказана поденщица.

Старикашка опустился на колени, чтобы удобнее было орудовать, и, распутав множество узелков, извлек довольно большой и тяжелый сверток какой-то темной материи.

– Что это такое? – спросил старьевщик. – Никак полог?

– Ну да, – со смехом отвечала женщина, покачиваясь на табурете. – Полог от кровати.

– Да неужто ты сняла всю эту штуку – всю, как есть, вместе с кольцами, – когда он еще лежал там?

– Само собой, сняла, – отвечала женщина. – А что такого?

– Ну, голубушка, тебе на роду написано нажить капитал, – заметил старьевщик. – И ты его наживешь.

– Скажите на милость, уж не ради ли этого скряги стану я отказываться от добра, которое плохо лежит, – невозмутимо отвечала женщина. – Не беспокойтесь, не на такую напали. Гляди, старик, не закапай одеяло жиром.

– Это его одеяло? – спросил старьевщик.

– А чье же еще? – отвечала женщина. – Теперь небось и без одеяла не простудится!

– А отчего он умер? Уж не от заразы ли какой? – спросил старик и, бросив разбирать вещи, поднял глаза на женщину.

– Не бойся, – отвечала та. – Не так уж приятно было возиться с ним, а когда б он был еще и заразный, разве бы я стала из-за такого хлама. Эй, смотри, глаза не прогляди. Да можешь пялить их на эту сорочку, пока они не лопнут, тут не только что дырочки – ни одной обтрепанной петли не сыщется. Самая лучшая его сорочка. Из тонкого полотна. А кабы не я, так бы зря и пропала.

– Как это пропала? – спросил старьевщик.

– Да ведь напялили на него и чуть было в ней не похоронили, – со смехом отвечала женщина. – Не знаю, какой дурак это сделал, ну а я взяла да и сняла. Уж если простой коленкор и для погребения не годится, так на какую же его делают потребу? Нет, для него это в самый раз. Гаже все равно не станет, во что ни обряди.

Скрудж в ужасе прислушивался к ее словам. Он смотрел на этих людей, собравшихся вокруг награбленного добра при скудном свете лампы, и испытывал такое негодование и омерзение, словно присутствовал при том, как свора непотребных демонов торгуется из-за трупа.

– Ха-ха-ха! – рассмеялась поденщица, когда старикашка Джо достал фланелевый мешочек, отсчитал несколько монет и разложил их кучками на полу – каждому его долю. – Вот как все вышло! Видали? Пока был жив, он всех от себя отваживал, будто нарочно, чтоб мы могли пожить на нем, когда он упокоится. Ха-ха-ха!

– Дух! – промолвил Скрудж, дрожа с головы до пят. – Я понял, понял! Участь этого несчастного могла быть и моей участью. Все шло к тому... Боже милостивый, Это еще что?

Он отпрянул в неизъяснимом страхе, ибо все изменилось вокруг и теперь он стоял у изголовья чьей-то кровати, едва не касаясь ее рукой. Стоял возле неприбранной кровати без полога, на которой под рваной простыней лежал кто-то, хотя и безгласный, но возвещавший о своей судьбе леденящим душу языком.

В комнате было темно, слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть, хотя Скрудж, повинувшись какому-то внутреннему побуждению, и озирался по сторонам, стараясь понять, где он находится. Только слабый луч света, проникавший откуда-то извне, падал прямо на кровать, где ограбленный, обездоленный, необмытый, неоплаканный, покинутый всеми – покоился мертвец.

Скрудж взглянул на Духа. Его неподвижная рука указывала на голову покойника. Простыня была так небрежно наброшена на труп, что Скруджу стоило чуть приподнять край – только пальцем пошевелить, – и он увидел бы лицо. Скрудж понимал это, жаждал это сделать, знал, как это легко, но был бессилён откинуть простыню – так же бессилён, как и

освободиться от Призрака, стоящего за его спиной.

О Смерть, Смерть, холодная, жестокая, неумолимая Смерть! Воздвигни здесь свой престол и окружи его всеми ужасами, коими ты повелеваешь, ибо здесь твои владения! Но если этот человек был любим и почитаем при жизни, тогда над ним не властна твоя злая сила, и в глазах тех, кто любил его, тебе не удастся исказить ни единой черты его лица! Пусть рука его теперь тяжела и падает бессильно, пусть умолкло сердце и кровь остыла в жилах, – но эта рука была щедра, честна и надежна, это сердце было отважно, нежно и горячо, и в этих жилах текла кровь человека, а не зверя. Рази, Тень, рази! И ты увидишь, как добрые его деяния – семена жизни вечной – восстанут из отверстой раны и переживут того, кто их творил!

Кто произнес эти слова? Никто. Однако они явственно прозвучали в ушах Скруджа, когда он стоял перед покойником. И Скрудж подумал: если бы этот человек мог встать сейчас со своего ложа, что первое ожило бы в его душе? Алчность, жажда наживы, испепеляющие сердце заботы? Да, поистине славную кончину они ему уготовили!

Вот он лежит в темном пустом доме, и нет на всем свете человека – ни мужчины, ни женщины, ни ребенка – никого, кто мог бы сказать: «Этот человек был добр ко мне, и в память того, что как-то раз он сказал мне доброе слово, я теперь позабочусь о нем». Только кошка скребется за дверью, заслышав, как пищат под шестком крысы, пытаюсь прогрызть себе лазейку. Что влечет этих тварей в убежище смерти, почему подняли они такую возню? Скрудж боялся об этом даже подумать.

– Дух! – сказал он. – Мне страшно. Верь мне – даже покинув это место, я все равно навсегда сохраню в памяти урок, который я здесь получил. Уйдем отсюда!

Но неподвижная рука по-прежнему указывала на изголовье кровати.

– Я понимаю тебя, – сказал Скрудж. – И я бы сделал это, если б мог. Но я не в силах, Дух. Не в силах!

И снова ему почудилось, что Призрак вперил в него взгляд.

– Если есть в этом городе хоть одна душа, которую эта смерть не оставит равнодушной, – вне себя от муки вскричал Скрудж, – покажи мне ее, Дух, молю тебя!

Черный плащ Призрака распростерся перед ним наподобие крыла, а когда он опустился, глазам Скруджа открылась освещенная солнцем комната, в которой находилась мать с детьми.

Мать, видимо, кого то ждала – с тревогой, с нетерпением. Она ходила из угла в угол, вздрагивая при каждом стуке, поглядывала то на часы, то в окно, бралась за шитье и тотчас его бросала, и видно было, как донимают ее возгласы ребятишек, увлеченных игрой. Наконец раздался долгожданный стук, и она бросилась отворить дверь. Вошел муж. Он был еще молод, но истомленное заботой лицо его говорило о перенесенных невзгодах. Впрочем, сейчас оно хранило какое-то необычное выражение: казалось, он чему-то рад и вместе с тем смущен и тщетно пытается умерить эту радость.

Он сел за стол – обед уже давно ждал его у камина, – и когда жена после довольно длительного молчания нерешительно спросила его, какие новости, этот вопрос окончательно привел его в замешательство.

– Скажи только – хорошие или дурные? – спросила она снова, стараясь прийти ему на помощь.

– Дурные, – последовал ответ.

– Мы разорены?

– Нет, Кэрелайн, есть еще надежда.

– Да ведь это, если он смягчится! – недоумевающе ответила она. – Конечно, если такое чудо возможно, тогда еще не все потеряно.

– Смягчиться уже не в его власти, – отвечал муж. – Он умер.

Если внешность его жены не была обманчива, – то это было кроткое, терпеливое создание. Однако, услышав слова мужа, она возблагодарила в душе судьбу и, всплеснув руками, открыто выразила свою радость. В следующую секунду она уже устыдилась своего

порыва и пожалела о нем, но все же таково было первое движение ее сердца.

– Выходит, эта полупьяная особа сообщила мне истинную правду вчера, когда я пытался проникнуть к нему и получить отсрочку на неделю, – помнишь, я рассказывал тебе. Я-то думал, что это просто отговорка, чтобы отделаться от меня. Но оказывается, он и в самом деле был тяжело болен. Более того – он умирал!

– Кому же должны мы теперь выплачивать долг?

– Не знаю. Во всяком случае, теперь мы успеем как-нибудь обернуться. А если и не успеем, то не может быть, чтобы наследник оказался столь же безжалостным кредитором, как покойный. Это была бы неслыханная неудача. Нет, мы можем сегодня заснуть спокойно, Кэрелайн!

Да, как бы ни пытались они умерить свою радость, у них отлегло от сердца. И у детей, которые, сбившись в кучку возле родителей, молча прислушивались к малопонятным для них речам, личики тоже невольно просветлели. Смерть человека принесла счастье в этот дом – вот что показал Дух Скруджу.

– Покажи мне другие, более добрые чувства, Дух, которые пробудила в людях эта смерть, – взмолился Скрудж, – или эта темная комната будет всегда неотступно стоять перед моими глазами.

И Дух повел Скруджа по улицам, где каждый булыжник был ему знаком, и по пути Скрудж все озирался по сторонам в надежде увидеть своего двойника, но так и не увидел его. И вот они вступили в убогое жилище Боба Крэтчита, которое Скруджу уже удалось посетить однажды, и увидели мать и детей, сидевших у очага.

Тишина. Глубокая тишина. Шумные маленькие Крэтчиты, сидят в углу безмолвные и неподвижные, как изваяния. Взгляд их прикован к Питеру, который держит в руках раскрытую книгу. Мать и дочь заняты шитьем. Но как они все молчаливы!

И взяв дитя, поставил его посреди них!⁶³

Где Скрудж еще раньше слышал эти слова не в грезах, а наяву? А сейчас их, верно, прочел вслух Питер – в ту минуту, когда Скрудж и Дух переступали порог. Почему же он замолчал?

Мать положила шитье на стол и прикрыла глаза рукой.

– От черного глаза ломит, – сказала она.

– От черного?! Ах, бедный, бедный, Малютка Тим!

– Вот уже и полегчало, – сказала миссис Крэтчит. – Глаза слезятся от работы при свечах. Не хватало еще, чтобы ваш отец застал меня с красными глазами. Кажется, ему пора бы уже быть дома.

– Давно пора, – сказал Питер, захлопывая книгу. – Но знаешь, мама, последние дни он стал ходить как-то потише, чем всегда.

Все снова примолкли. Наконец мать сказала спокойным, ровным голосом, который всего лишь раз чуть-чуть дрогнул.

– А помнится, как быстро он ходил с Малюткой Тимом на плече.

– Да, и я помню! – вскричал Питер. – Я часто видел.

– И я видел! – воскликнул один из маленьких Крэтчитов, и дочери тоже это подтвердили.

– Да ведь он был как перышко! – продолжала мать, низко склонившись над шитьем. – А отец так его любил, что для него это совсем не составляло труда. А вот и он сам!

Она поспешила к мужу навстречу, и маленький Боб в своем неизменном шарфе – без него он бы продрог до костей, бедняга! – вошел в комнату. Чайник с чаем уже дожидался хозяина на очаге, и все наперебой стали наливать ему чай и ухаживать за ним. Затем двое

⁶³ *И взяв дитя, поставил его посреди них.* – Строка из евангелия.

маленьких Крэтчитов взобрались к отцу на колени, и каждый прижался щечкой к его щеке, как бы говоря: «Не печалься, папа! Не надо!»

Боб весело болтал с ребяташками и обменивался ласковыми словами со всеми членами своего семейства. Заметив лежавшее на столе шитье, он похвалил миссис Крэтчит и дочерей за прилежание и сноровку. Они закончат все куда раньше воскресенья, заметил он.

– Воскресенья? – А ты был там сегодня, Роберт? – спросила жена.

– Да, моя дорогая, – отвечал Боб. – И жалею, что ты не могла пойти. Тебе было бы отрадно поглядеть, как там все зелено. Но ты же будешь часто его навещать. А я обещал ему ходить туда каждое воскресенье. Сыночек мой, сыночек! – внезапно вскричал Боб. – Маленький мой! Крошка моя!

Слезы хлынули у него из глаз. Он не мог их сдержать. Слишком уж он любил сынишку, чтобы совладать с собой.

Он поднялся наверх – в ярко и весело освещенную комнату, разубранную зелеными ветвями остролиста. Возле постели ребенка стоял стул, и по всему видно было, что кто-то, быть может всего минуту назад, был здесь, сидел у этой кровати... Бедняга Боб тоже присел на стул, посидел немного, погруженный в думу, и когда ему удалось справиться со своей скорбью, поцеловал маленькое личико. Он спустился вниз умиротворенный, покоровившийся неизбежности.

Опять все собрались у огня, и потекла беседа. Мать и дочери снова взялись за шитье. Боб принялся рассказывать им о необыкновенной доброте племянника Скруджа, который и видел-то его всего-навсего один-единственный раз, но тем не менее сегодня, встретившись с ним на улице и заметив, что он немного расстроен, – ну просто самую малость приуныл, пояснил Боб, – стал участливо спрашивать, что его так огорчило.

– Более приятного, обходительного господина я еще в жизни не встречал, – сказал Боб. – Ну, я тут же все ему и рассказал. «От всего сердца соболезную вам, мистер Крэтчит, – сказал он. – И вам и вашей доброй супруге». Кстати, откуда он это-то мог узнать, не понимаю.

– Что «это», мой дорогой?

– Да вот – что ты добрая супруга, – отвечал Боб.

– Кто ж этого не знает! – вскричал Питер.

– Правильно, сынок, – сказал Боб. – Все знают, думается мне. «От всего сердца соболезную вашей доброй супруге, – сказал он. – Если я могу хоть чем-нибудь быть вам полезен, прошу вас, приходите ко мне, вот мой адрес», – сказал он и дал мне свою визитную карточку!

– И дело даже не в том, что он может чем-то нам помочь, – продолжал Боб, – Дело в том, что он был так добр, – вот что замечательно! Ну, прямо, будто он знал нашего Малютку Тима и горюет вместе с нами.

– По всему видно, что это добрая душа, – заметила миссис Крэтчат.

– А если б ты его видела, моя дорогая, да поговорила с ним, что бы ты тогда сказала! – отвечал Боб. – Я ничуть не удивлюсь, если он пристроит Питера на какое-нибудь хорошее местечко, помани мое слово.

– Ты слышишь, Питер! – сказала миссис Крэтчит.

– А тогда, – воскликнула одна из девочек, – Питер найдет себе невесту и обзаведется своим домом.

– Отвяжись, – ухмыльнулся Питер.

– Конечно, со временем это может случиться, моя дорогая, – сказал Боб. – Однако спешить, мне кажется, некуда. Но когда бы и как бы мы ни разлучились друг с другом, я уверен, что никто из нас не забудет нашего бедного Малютку Тима... не так ли? Не забудет этой первой разлуки в нашей семье.

– Никогда, отец! – воскликнули все в один голос.

– И я знаю, – продолжал Боб, – знаю, мои дорогие, что мы всегда будем помнить, как кроток и терпелив был всегда наш дорогой Малютка, и никогда не станем ссориться – ведь

это значило бы действительно забыть его!

– Никогда, никогда, отец! – снова последовал дружный ответ.

– Я счастлив, когда слышу это, – сказал Боб. – Я очень счастлив.

Тут миссис Крэтчит поцеловала мужа, а за ней – и обе старшие дочери, а за ними – и оба малыша, а Питер потряс отцу руку. Малютка Тим! В твоей младенческой душе тлела святая господня искра!

– Дух, – сказал Скрудж. – Что-то говорит мне, что час нашего расставания близок. Я знаю это, хотя мне и неведомо – откуда. Скажи, кто был этот усопший человек, которого мы видели?

Дух Будущих Святок снова повлек его дальше и, как показалось Скруджу, перенес в какое-то иное время (впрочем, последние видения сменяли друг друга без всякой видимой связи и порядка – их объединяло лишь то, что все они принадлежали будущему) и привел в район деловых контор, но и тут Скрудж не увидел себя. А Дух все продолжал увлекать его дальше, как бы к некоей твердо намеченной цели, пока Скрудж не взмолился, прося его помедлить немного.

– В этом дворе, через который мы так поспешно проходим, – сказал Скрудж, – находится моя контора. Я работаю тут уже много лет. Вон она. – Покажи же мне, что ждет меня впереди!

Дух приостановился, но рука его была простерта в другом направлении.

– Этот дом здесь! – воскликнул Скрудж. – Почему же ты указываешь в другую сторону, Дух?

Неумолимый перст не дрогнул.

Скрудж торопливо шагнул к окну своей конторы и заглянул внутрь. Да, это по-прежнему была контора – только не его. Обстановка стала другой, и в кресле сидел не он. А рука Призрака все также указывала куда-то вдаль.

Скрудж снова присоединился к Призраку и, недоумевая – куда же он сам-то мог подеваться? – последовал за ним. Наконец они достигли какой-то чугунной ограды. Прежде чем ступить за эту ограду, Скрудж огляделся по сторонам.

Кладбище. Так вот где, должно быть, покоятся останки несчастного, чье имя предстоит ему, наконец, узнать. Нечего сказать, подходящее для него место упокоения! Тесное – могила к могиле, – сжатое со всех сторон домами, заросшее сорной травой – жирной, впитавшей в себя не жизненные соки, а трупную гниль. Славное местечко!

Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. Скрудж, трепеща, шагнул к ней. Ничто не изменилось в обличье Призрака, но Скрудж с ужасом почувствовал, что какой-то новый смысл открывается ему в этой величавой фигуре.

– Прежде чем я ступлю последний шаг к этой могильной плите, на которую ты указуешь, – сказал Скрудж, – ответь мне на один вопрос, Дух. Предстали ли мне призраки того, что будет, или призраки того, что может быть?

Но Дух все также безмолвствовал, а рука его указывала на могилу, у которой он остановился.

– Жизненный путь человека, если неуклонно ему следовать, ведет к предопределенному концу, – произнес Скрудж. – Но если человек сойдет с этого пути, то и конец будет другим. Скажи, ведь так же может измениться и то, что ты показываешь мне сейчас?

Но Призрак по-прежнему был безмолвен и неподвижен.

Дрожь пробрала Скруджа с головы до пят. На коленях он подполз к могиле и, следуя взглядом за указующим перстом Призрака, прочел на заросшей травой каменной плите свое собственное имя: ЭБИНИЗЕР СКРУДЖ.

– Так это был я – тот, кого видели мы на смертном одре? – возопил он, стоя на коленях.

Рука Призрака указала на него и снова на могилу.

– Нет, нет, Дух! О нет!

Рука оставалась неподвижной.

– Дух! – вскричал Скрудж, цепляясь за его подол. – Выслушай меня! Я уже не тот человек, каким был. И я уже не буду таким, каким стал бы, не доведись мне встретиться с тобой. Зачем показываешь ты мне все это если нет для меня спасения!

В первый раз за все время рука Призрака чуть приметно дрогнула.

– Добрый Дух, – продолжал молить его Скрудж, распростершись перед ним на земле. – Ты жалеешь меня, самая твоя природа побуждает тебя к милосердию. Скажи же, что, изменив свою жизнь, я могу еще спастись от участи, которая мне уготована.

Благостная рука затрепетала.

– Я буду чтить рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим, и воспоминание о трех Духах всегда будет живо во мне. Я не забуду их памятных уроков, не затворю своего сердца для них. О, скажи, что я могу стереть надпись с этой могильной плиты!

И Скрудж в беспредельной муке схватил руку Призрака. Призрак сделал попытку освободиться, но отчаяние придало Скруджу силы, и он крепко вцепился в руку. Все же Призрак оказался сильнее и оттолкнул Скруджа от себя.

Воздев руки в последней мольбе, Скрудж снова воззвал к Духу, чтобы он изменил его участь, и вдруг заметил, что в обличье Духа произошла перемена. Его капюшон и мантия сморщились, обвисли, весь он съезжился и превратился в резную колонку кровати.

Строфа пятая **Заключение**

Да! И это была колонка его собственной кровати, и комната была тоже его собственная. А лучше всего и замечательнее всего было то, что и Будущее принадлежало ему и он мог еще изменить свою судьбу.

– Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим! – повторил Скрудж, проворно вылезая из постели. – И память о трех Духах будет вечно жить во мне! О Джейкоб Марли! Возблагодарим же Небо и светлый праздник рождества! На коленях возношу я им хвалу, старина Джейкоб! На коленях!

Он так горел желанием осуществить свои добрые намерения и так был взволнован, что голос не повиновался ему, а лицо все еще было мокро от слез, ибо он рыдал навзрыд, когда старался умиловить Духа.

– Он здесь! – кричал Скрудж, хватаясь за полог и прижимая его к груди. – Он здесь, и кольца здесь, и никто его не срывал! Все здесь... и я здесь... и да сгинут призраки того, что могло быть! И они сгинут, я знаю! Они сгинут!

Говоря так, он возился со своей одеждой, выворачивал ее наизнанку, надевал задом наперед, совал руку не в тот рукав, и ногу не в ту штанину, – словом, проделывал в волнении кучу всяких несообразностей.

– Сам не знаю, что со мной творится! – вскричал он, плача и смеясь и с помощью обвившихся вокруг него чулок превращаясь в некое подобие Лаокоона. – Мне так легко, словно я пушинка, так радостно, словно я ангел, так весело, словно я школьник! А голова идет кругом, как у пьяного! Поздравляю с рождеством, с веселыми святками всех, всех! Желая счастья в Новом году всем, всем на свете! Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ура! Ой-ля-ля!

Он резво ринулся в гостиную и остановился, запыхавшись.

– Вот и кастрюлька, в которой была овсянка! – воскликнул он и снова забегал по комнате. – А вот через эту дверь проникла сюда Тень Джейкоба Марли! А в этом углу сидел Дух Нынешних Святков! А за этим окном я видел летающие души. Все так, все на месте, и все это было, было! Ха-ха-ха!

Ничего не скажешь это был превосходный смех, смех, что надо, – особенно для человека, который давно уже разучился смеяться. И ведь это было только начало, только предвестие еще многих минут такого же радостного, веселого, душевного смеха.

– Какой же сегодня день, какое число? – спросил Скрудж. – Не знаю, как долго

пробыл я среди Духов. Не знаю. Я ничего не знаю. Я как новорожденное дитя. Пусть! Не беда. Оно и лучше – быть младенцем. Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ой-ля-ля!

Его ликующие возгласы прервал церковный благовест. О, как весело звонили колокола! Динь-динь-бом! Динь-динь-бом! Дили-дили-дили! Дили-дили-дили! Бом-бом-бом! О, как чудесно! Как дивно, дивно!

Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и высунулся наружу. Ни мглы, ни тумана! Ясный, погожий день. Колкий, бодрящий мороз. Он свистит в свою ледяную дудочку и заставляет кровь, приплясывая, бежать по жилам. Золотое солнце! Лазурное небо! Прозрачный свежий воздух! Веселый перезвон колоколов! О, как чудесно! Как дивно, дивно!

– Какой нынче день? – свесившись вниз, крикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись, как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам.

– ЧЕГО? – в неопишемом изумлении спросил мальчишка.

– Какой у нас нынче день, милый мальчуган? – повторил Скрудж.

– Нынче? – снова изумился мальчишка. – Да ведь нынче РОЖДЕСТВО!

«Рождество! – подумал Скрудж. – Так я не пропустил праздника! Духи свершили все это в одну ночь. Они все могут, стоит им захотеть. Разумеется, могут. Разумеется».

– Послушай, милый мальчик!

– Эге? – отозвался мальчишка.

– Ты знаешь курятную лавку, через квартал отсюда, на углу? – спросил Скрудж.

– Ну как не знать! – отвечал тот.

– Какой умный ребенок! – восхитился Скрудж. – Изумительный ребенок! А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висела у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную?

– Самую большую, с меня ростом?

– Какой поразительный ребенок! – воскликнул Скрудж. – Поговорить с таким одно удовольствие. Да, да, самую большую, постреленок ты этакий!

– Она и сейчас там висит, – сообщил мальчишка.

– Висит? – сказал Скрудж. – Так сбегай купи ее.

– Пошел ты! – буркнул мальчишка.

– Нет, нет, я не шучу, – заверил его Скрудж. – Поди купи ее и вели принести сюда, а я скажу им, куда ее доставить. Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг. А если обернешься в пять минут, получишь полкроны!

Мальчишка полетел стрелой, и, верно, искусна была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды.

– Я пошлю индюшку Бобу Крэтчиту! – пробормотал Скрудж и от восторга так и покатился со смеху. – То-то он будет голову ломать – кто это ему прислал. Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима. Даже Джо Миллеру⁶⁴ никогда бы не придумать такой штуки, – послать индюшку Бобу!

Перо плохо слушалось его, но он все же нацарапал кое-как адрес и спустился вниз, – отпереть входную дверь. Он стоял, поджидая приказчика, и тут взгляд его упал на дверной молоток.

– Я буду любить его до конца дней моих! – вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой. – А ведь я и не смотрел на него прежде. Какое у него честное, открытое лицо! Чудесный молоток! А вот и индюшка! Ура! Гоп-ля-ля! Мое почтение! С праздником!

Ну и индюшка же это была – всем индюшкам индюшка! Сомнительно, чтобы эта птица могла когда-нибудь держаться на ногах – они бы подломились под ее тяжестью, как две соломинки.

– Ну нет, вам ее не дотащить до Кемден-Тауна, – сказал Скрудж. – Придется нанять кэб.

⁶⁴ Джо Миллер – автор опубликованного в 1739 году сборника шуток и анекдотов.

Он говорил это, довольно посмеиваясь, и, довольно посмеиваясь, уплатил за индюшку, и, довольно посмеиваясь, заплатил за кэб, и, довольно посмеиваясь, расплатился с мальчишкой и, довольно посмеиваясь, опустился, запыхавшись, в кресло и продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам.

Побриться оказалось нелегкой задачей, так как руки у него все еще сильно тряслись, а бритье требует сугубой осторожности, даже если вы не позволяете себе пританцовывать во время этого занятия. Впрочем, отхвати Скрудж себе кончик носа, он преспокойно залепил бы рану пластырем и остался бы и тут вполне всем доволен.

Наконец, приодевшись по-праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ – совсем как в то рождественское утро, которое Скрудж провел с Духом Нынешних Святых, и, заложив руки за спину, Скрудж шагал по улице, сияющей улыбкой приветствуя каждого встречного. И такой был у него счастливый, располагающий к себе вид, что двое-трое прохожих, дружелюбно улыбнувшись в ответ, сказали ему:

– Доброе утро, сэр! С праздником вас!

И Скрудж не раз говаривал потом, что слова эти прозвучали в его ушах райской музыкой.

Не успел он отдалиться от дому, как увидел, что навстречу ему идет дородный господин – тот самый, что, зайдя к нему в контору в сочельник вечером, спросил:

– Скрудж и Марли, если не ошибаюсь?

У него упало сердце при мысли о том, каким взглядом подарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся, но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути.

– Приветствую вас, дорогой сэр, – сказал Скрудж, убыстряя шаг и протягивая обе руки старому джентльмену. – Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие? Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр!

– Мистер Скрудж?

– Совершенно верно, – отвечал Скрудж. – Это имя, но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения. И вы меня очень обяжете, если... – Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо.

– Господи помилуй! – вскричал джентльмен, разинув рот от удивления. – Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите?

– Ни в коей мере, – сказал Скрудж. – И прошу вас, ни фартигом меньше. Поверьте я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение?

– Дорогой сэр! – сказал тот, пожимая ему руку. – Я просто не знаю, как и благодарить вас, такая щедр...

– Прошу вас, ни слова больше, – прервал его Скрудж. – Доставьте мне удовольствие – зайдите меня проведать. Очень вас прошу.

– С радостью! – вскричал старый джентльмен, и не могло быть сомнения, что это говорилось от души.

– Благодарю вас, – сказал Скрудж. – Тысячу раз благодарю! Премного вам обязан. Дай вам бог здоровья!

Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь, и все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка – да и вообще что бы то ни было – может сделать его таким счастливым!

А когда стало смеркаться, он направил свои стопы к дому племянника.

Не раз и не два прошелся он мимо дома туда и обратно, не решаясь постучать в дверь. Наконец, собравшись с духом, поднялся на крыльцо.

– Дома хозяйин? – спросил он девушку, открывшую ему дверь. Какая милая девушка! Прекрасная девушка!

– Дома, сэр.

– А где он, моя прелесть? – спросил Скрудж.

– В столовой, сэр, и хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу.

– Благодарю. Ваш хозяин меня знает, – сказал Скрудж, уже взявшись за ручку двери в столовую. – Я пройду сам, моя дорогая.

Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь. Хозяева в эту минуту обозревали парадно накрытый обеденный стол. Молодые хозяева постоянно бывают исполнены беспокойства по поводу сервировки стола и готовы десятки раз проверять, все ли на месте.

– Фред! – позвал Скрудж.

Силы небесные, как вздрогнула племянница! Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку, и Скрудж совсем позабыл про нее в эту минуту, иначе он никогда и ни под каким видом не стал бы так ее пугать.

– С нами крестная сила! – вскричал Фред. – Кто это?

– Это я, твой дядюшка Скрудж. Я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред?

Примет ли он дядюшку! Да он на радостях едва не оторвал ему напрочь руку. Через пять минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал.

Племянница выглядела совершенно так же, как в том видении, которое явилось ему накануне. То же самое можно было сказать и про Топпера, который вскоре пришел, и про пухленькую сестричку, которая появилась следом за ним, да и про всех, когда все были в сборе.

Ах, какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье!

А наутро, чуть свет, Скрудж уже сидел у себя в конторе. О да, он пришел спозаранок. Он горел желанием попасть туда раньше Боба Крэтчита и уличить клерка в том, что он опоздал на работу. Скрудж просто мечтал об этом.

И это ему удалось! Да, удалось! Часы пробили девять. Боба нет. Четверть десятого. Боба нет. Он опоздал ровно на восемнадцать с половиной минут. Скрудж сидел за своей конторкой, настезь распахнув дверь, чтобы видеть, как Боб проскользнет в свой чуланчик.

Еще за дверью Боб стащил с головы шляпу и размотал свой теплый шарф. И вот он уже сидел на табурете и с такой быстротой скрипел по бумаге пером, словно хотел догнать и оставить позади ускользнувшие от него девять часов.

– А вот и вы! – проворчал Скрудж, подражая своему собственному вечному брюзжанию. – Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня?

– Прошу прощения, сэр, – сказал Боб. – Я в самом деле немного опоздал!

– Ах, вот как! Вы опоздали? – подхватил Скрудж. – О да, мне тоже сдается, что вы опоздали. Будьте любезны, потрудитесь подойти сюда, сэр.

– Ведь это один-единственный раз за весь год, сэр, – жалобно проговорил Боб, выползая из своего чуланчика. – Больше этого не будет, сэр. Я позволил себе вчера немного повеселиться.

– Ну вот, что я вам скажу, приятель, – промолвил Скрудж. – Больше я этого не потерплю, а посему... – Тут он соскочил со стула и дал Бобу такого тумака под ложечку, что тот задом влетел обратно в свой чулан. – А посему, – продолжал Скрудж, – я намерен прибавить вам жалования!

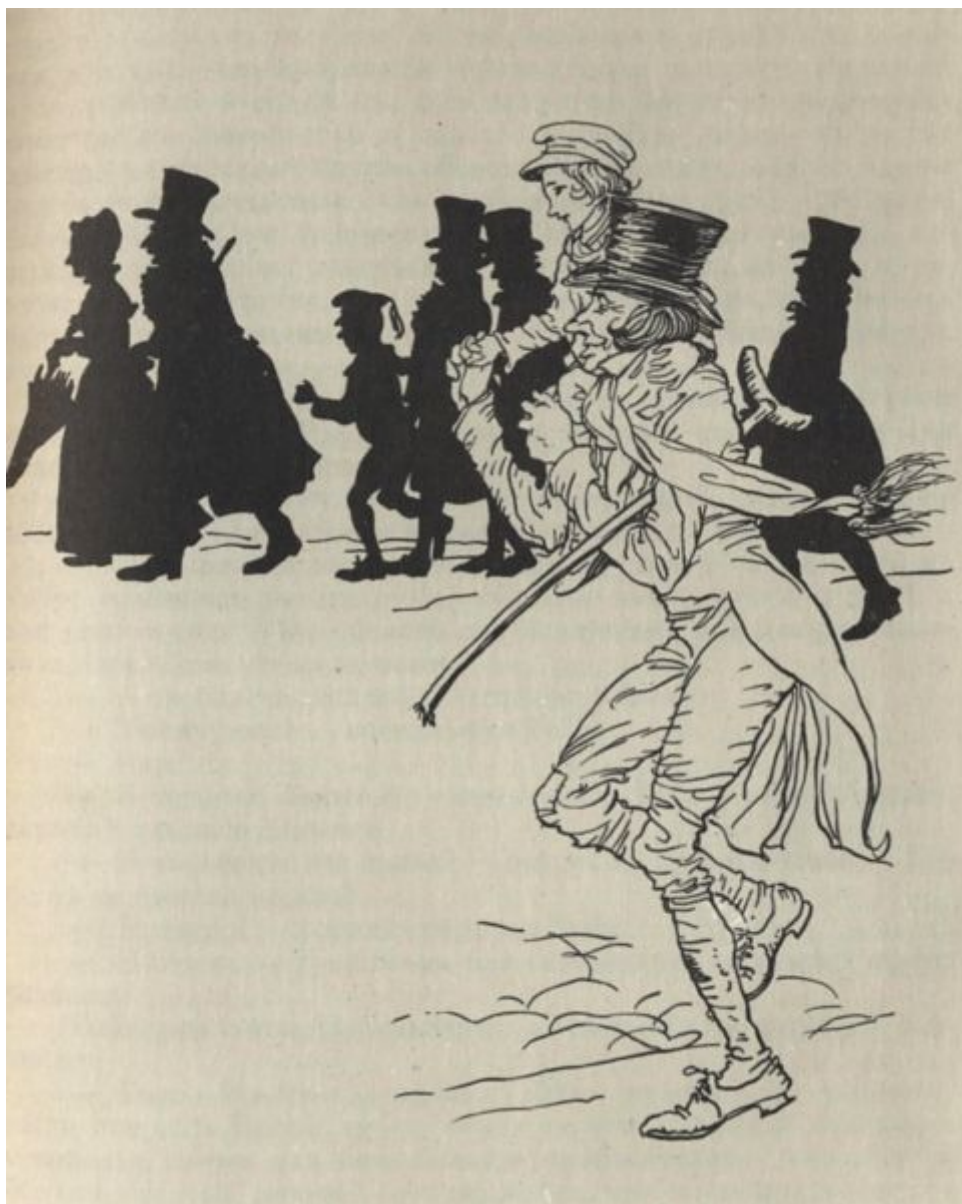
Боб задрожал и украдкой потянулся к линейке. У него мелькнула было мысль оглушить Скруджа ударом по голове, скрутить ему руки за спиной, крикнуть караул и ждать, пока принесут смирительную рубашку.

– Поздравляю вас с праздником, Боб, – сказал Скрудж, хлопнув Боба по плечу, и на этот раз видно было, что он в полном разуме. – И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках, а то прежде вы по моей милости не очень-то веселились. Я прибавлю вам жалования и постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства. Сегодня

вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского глинтвейна, а сейчас, Боб Крэтчит, прежде чем вы нацарапаете еще хоть одну запятую, я приказываю вам сбегать купить ведро угля да разжечь пожарче огонь.

И Скрудж сдержал свое слово. Он сделал все, что обещал Бобу, и даже больше, куда больше. А Малютке Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом. И таким он стал добрым другом, таким тароватым хозяином, и таким щедрым человеком, что наш славный старый город может им только гордиться. Да и не только наш – любой добрый старый город, или городишко, или селение в любом уголке нашей доброй старой земли. Кое-кто посмеивался над этим превращением, но Скрудж не обращал на них внимания – смейтесь на здоровье! Он был достаточно умен и знал, что так уж устроен мир, – всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. Он понимал, что те, кто смеется, – слепы, и думал: пусть себе смеются, лишь бы не плакали! На сердце у него было весело и легко, и для него этого было вполне довольно.

Больше он уже никогда не водил компании с духами, – в этом смысле он придерживался принципов полного воздержания, – и про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое! Про всех нас! А теперь нам остается только повторить за Малюткой Тимом: да осенит нас всех господь бог своею милостью!



Колокола *Рассказ о Духах церковных часов*

Первая четверть

Немного найдется людей, – а поскольку желательно с самого начала устранить возможные недомолвки между рассказчиком и читателем, я прошу отметить, что свое утверждение отношу не только к людям молодым или к малым детям, но ко всем решительно людям, детям и взрослым, старым и молодым, тем, что еще тянутся кверху, и тем, что уже растут книзу, – немного, повторяю, найдется людей, которые согласились бы спать в церкви. Я не говорю – в жаркий летний день, во время проповеди (такое иногда случалось), нет, я имею в виду ночью и в полном одиночестве. Я знаю, что при ярком свете дня такое мнение многим покажется до крайности удивительным. Но оно касается ночи. И обсуждать его следует ночью. И я ручаюсь, что сумею отстоять его в любую ветреную зимнюю ночь, выбранную для этого случая, в споре с любым из множества противников, который захочет встретиться со мною наедине на старом кладбище, у дверей старой церкви, предварительно разрешив мне – если требуется ему лишний довод – запереть его в этой церкви до утра.

Ибо есть у ночного ветра удручающая привычка рыскать вокруг такой церкви, испуская жалобные стоны, и невидимой рукой дергать двери и окна, и выискивать, в какую бы щель пробраться. Проникнув же внутрь и словно не найдя того, что искал, а чего он искал – неведомо, он воеет, и причитает, и просится обратно на волю; мало того, что он мечется по приделам, кружит и кружит между колонн, задевает басы органа: нет, он еще взмывает под самую крышу и норовит разнять стропила; потом, отчаявшись, бросается вниз, на каменные плиты пола, и ворча заползает в склепы. И тут же тихонько вылезает оттуда и крадется вдоль стен, точно читая шепотом надписи в память усопших. Прочитав одни, он раздражается пронзительным хохотом, над другими горестно стонет и плачет. А послушать его, когда он заберется в алтарь! Так и кажется, что он выводит там заунывную песнь о злодеяниях и убийствах, о ложных богах, которым поклоняются вопреки скрижалям Завета – с виду таким красивым и гладким, а на самом деле поруганным и разбитым. Ох, помилуй нас, господи, мы тут так уютно уселись в кружок у огня. Поистине страшный голос у полночного ветра, поющего в церкви!

А вверху-то, на колокольне! Вот где разбойник ветер ревет и свищет! Вверху, на колокольне, где он волен шнырять туда-сюда в пролеты арок и в амбразуры, завиваться винтом вокруг узкой отвесной лестницы, крутить скрипучую флюгарку и сотрясать всю башню так, что ее дрожь пробирает! Вверху, на колокольне, там, где вышка для звонарей и железные поручни изъедены ржавчиной, а свинцовые листы кровли, покоробившиеся от частой смены жары и холода, гремят и прогибаются, если ступит на них невзначай нога человека; где птицы прилепили свои растрепанные гнезда в углах между старых дубовых брусьев и балок; и пыль состарилась и поседела; и пятнистые пауки, разжиревшие и обленившиеся на покое, мерно покачиваются в воздухе, колеблемом колокольным звоном, и никогда не покидают своих домотканых воздушных замков, не лезут в тревоге вверх, как матросы по вантам, не падают наземь и потом не перебирают проворно десятком ног, спасая одну-единственную жизнь! Вверху на колокольне старой церкви, много выше огней и глухих шумов города и много ниже летящих облаков, бросающих на него свою тень, – вот где уныло и жутко в зимнюю ночь; и там вверху, на колокольне одной старой церкви, жили колокола, о которых я поведаю рассказ.

То были очень старые колокола, уж вы мне поверьте. Когда-то давно их крестили епископы,⁶⁵ – так давно, что свидетельство об их крещении потерялось еще в незапамятные

⁶⁵ *Когда-то давно их крестили епископы...* – Обычай давать новым колоколам имена существовал в

времена и никто не знал, как их нарекли. Были у них крестные отцы и крестные матери (сам я, к слову сказать, скорее отважился бы пойти в крестные отцы к колоколу, нежели к младенцу мужского пола), и, наверно, каждый из них, как полагается, получил в подарок серебряный стаканчик. Но время скосило их восприемников, а Генрих Восьмой переплавил их стаканчики;⁶⁶ и теперь они висели на колокольне безыменные и бесстаканные.

Но только не бессловесные. Отнюдь нет. У них были громкие, чистые, залиvistые, звонкие голоса, далеко разносившиеся по ветру. Да и не такие робкие это были колокола, чтобы подчиняться прихотям ветра: когда находила на него блажь дуть не в ту сторону, они храбро с ним боролись и все равно по-царски щедро дарили своим радостным звоном каждого, кому хотелось его услышать; известны случаи, когда в бурную ночь они решали во что бы то ни стало достигнуть слуха несчастной матери, склонившейся над больным ребенком, или жены ушедшего в плавание моряка, и тогда им удавалось наголову разбить даже северо-западного буяна, прямо-таки расколошматить его, как выражался Тоби Вэк; ибо, хотя обычно его называли Трухти Вэк, настоящее его имя было Тоби, и никто не мог переименовать его (кроме как в Тобиаса) без особого на то постановления парламента: ведь в свое время над ним, так же как над колоколами, совершили по всем правилам обряд крещения, пусть и не столь торжественно и не при столь громких кликах народного ликования.

Должен признаться, что я лично разделяю суждение Тоби Вэка – уж кто-кто, а он-то имел полную возможность составить себе правильное суждение на этот счет. Что утверждал Тоби Вэк, то утверждаю и я. И я всегда готов постоять за него, хотя стоять-то ему приходилось, да еще целыми днями (и очень тоскливое это было занятие) как раз перед дверью церкви. Дело в том, что Тоби Вэк был рассыльным, и именно здесь он дожидался поручений.

А каково дожидаться в таком месте в зимнее время, когда тебя просвистывает насквозь, и весь покрываешься гусиной кожей, и нос синееет, а глаза краснеют, и стынют ноги, и зуб на зуб не попадает, – это Тоби Вэк знал как нельзя лучше. Ветер – особенно восточный – налетал из-за угла с такой яростью, словно затем только и принесся с того конца света, чтобы поизмываться над Тоби. И нередко казалось, что он сгоряча проскакивал дальше, чем следует, потому что, выметнувшись из-за угла и миновав Тоби, он круто поворачивал обратно, словно восклицая: «Ах, вот он где!» – и тот же час куцый белый фартук Тоби вскидывало ему на голову (так задирают курточку напроказившему мальчишке), жиденькая тросточка начинала беспомощно трепыхаться в его руке, ноги выписывали самые невероятные кренделя, а всего Тоби, накренившегося к земле, крутило то вправо то влево, и так швыряло и било, и трепало и дергало, и мотало и поднимало в воздух, что еще немножко – и показалось бы настоящим чудом, почему он не взлетает под облака – как то бывает иногда со скопищами лягушек, улиток и прочих легковесных тварей – и не проливается дождем, к великому удивлению местных жителей, на какой-нибудь отдаленный уголок земли, где в глаза не видали рассыльных.

Но ветреные дни, хотя Тоби в эти дни и доставалось так немилосердно, все же были для него почти праздниками. Честное слово. Ему казалось, что в такие дни время идет быстрее и не так долго приходится ждать шестипенсовика; когда он бывал голоден и удручен, необходимость бороться с озорной стихией развлекала его и подбадривала. Мороз или, скажем, снег – это тоже было для него развлечение; он даже считал, что они ему на пользу, хотя в каком именно смысле на пользу, это он вряд ли сумел бы объяснить. Но так или иначе, ветер, мороз и снег, да еще, пожалуй, хороший крупный град приятно

старину и в России.

⁶⁶ ...Генрих Восьмой переплавил их стаканчики. – При Генрихе VIII (1509–1547) Англия отказалась признавать власть папы римского и король стал официально «главою церкви». В Англии было закрыто несколько сот монастырей и конфисковано несметное количество церковного имущества.

разнообразили жизнь Тоби Вэка.

Мокреть – вот что было хуже всего, – холодная, липкая мокреть, которая окутывала его, точно отсыревшая шинель, – другой шинели у него и не было, а без этой он предпочел бы обойтись! Мокрые дни, когда с неба неспешно и упорно сеял частый дождь, когда улица, так же как Тоби, давилась и захлебывалась туманом; когда от бесчисленных зонтов валил пар и, сталкиваясь на тесном тротуаре, они кружились, точно волчки, прыская во все стороны ледяными струйками; когда вода бурлила в сточных канавах и шумела в переполненных желобах; когда с карнизов и выступов церкви кап-кап-капало на Тоби и тонкая подстилка из соломы, на которой он стоял, мгновенно превращалась в грязное месиво, – вот это были поистине тяжелые дни. Тогда-то, и только тогда, можно было увидеть, как мрачнело и вытягивалось лицо у Тоби, тревожно выглядывавшего из своего укрытия в уголке церковной стены – укрытия до того жалкого, что тень, которую оно летом отбрасывало на залитую солнцем панель, была не шире тросточки. Но стоило Тоби, отойдя от стены, раз десять протрусить взад-вперед по тротуару, чтобы немножко согреться, как он, даже в такие дни, снова веселел и повеселевший возвращался в свое убежище.

Трухти его прозвали за его любимый аллюр, усвоенный им для большей скорости, хотя и не дававший ее. Шагом он, возможно, передвигался бы быстрее; даже наверно так; но если бы отнять у Тоби его трусцу, он тут же слег бы и умер. Из-за нее он в мокрую погоду бывал весь забрызган грязью; она причиняла ему уйму хлопот; ходить шагом было бы ему несравненно легче; но отчасти поэтому он и трусил рысцой с таким упорством. Щуплый, слабосильный старик, по своим намерениям Тоби был настоящим Геркулесом. Он не любил получать деньги даром. Мысль, что он честно зарабатывает свой хлеб, доставляла ему огромное удовольствие, а отказываться от удовольствий при его бедности было ему не по средствам. Когда в руки ему попадало письмо или пакет, за доставку которого он получал шиллинг, а то и полтора, его мужество, и без того не малое, еще возрастало. Он пускался трусить по улице, покрикивая быстроногим почтальонам, шагавшим впереди, чтобы они посторонились, ибо он свято верил, что непременно, рано или поздно, нагонит их, а потом и обгонит; и столь же твердо было его убеждение – не часто, впрочем, подвергавшееся проверке, – что он может донести любую тяжесть, какую вообще способен поднять человек.

Итак, даже выбираясь из своего уголка, чтобы погреться в дождливый день, Тоби трусил. Своими дырявыми башмаками прокладывая на слякоти ломаную линию мокрых следов; согнув ноги в коленях, засунув тросточку под мышку, дуя на озябшие руки и крепко их потирая, потому что очень уж плохо защищали их от холода поношенные серые шерстяные рукавицы, в которых отдельная комнатка отведена была только большому пальцу, а остальные помешались в общей зале, – Тоби трусил и трусил. И сходя с панели на мостовую, чтобы посмотреть вверх на звонницу, когда заводили свою музыку колокола, Тоби тоже передвигался трусцой.

Последнее из упомянутых передвижений Тоби совершал по нескольку раз на дню: ведь колокола были его друзьями, и когда он слышал их голоса, ему всегда хотелось взглянуть на их жилище и подумать о том, как их там раскачивают и какие по ним бьют языки. Может, они еще потому его так интересовали, что было между ними и им самим много общего. Они висели на своем месте в любую погоду, под дождем и ветром; окружающие церковь дома они видели только снаружи; никогда не приближались к жаркому огню каминов, бросавшему отблески на оконные стекла и клубами дыма вырывающемуся из труб; и могли только издали поглядывать на разные вкусные вещи, которые хозяева и мальчишки из магазинов знай вручали толстым кухаркам то с парадного хода, то во дворике у кухонной двери. В окнах появлялись и снова исчезали лица – иногда красивые лица, молодые, приветливые, иногда наоборот, – но откуда они появляются и куда исчезают, и бывает ли хоть раз в году, чтобы обладатели этих лиц, когда шевелят губами, сказали про него доброе слово, – обо всем этом Тоби (хотя он часто раздумывал о таких пустяках, стоя без дела на улице) знал не больше, чем колокола на своей колокольне.

Тоби не был казуистом – во всяком случае, не знал за собой такого греха, – и я не хочу

сказать, что когда он только заинтересовался колоколами и из редких нитей своего первоначального знакомства с ними стал сплетать более прочную и плотную ткань, то перебрал одно за другим все эти соображения или мысленно устроил им торжественный смотр. А хочу я сказать – и сейчас скажу, – что подобно тому как различные части тела Тоби, например, его пищеварительные органы, достигали известной цели самостоятельно, посредством множества действий, о которых он понятия не имел и которые, доведись ему узнать о них, чрезвычайно бы его удивили, – так и мозг Тоби, без его ведома и соучастия, привел в движение все эти пружины и колесики, да еще тысячи других в придачу, и таким образом породил его симпатию к колоколам.

Я мог бы даже сказать – любовь, и это не было бы оговоркой, хотя далеко не точно определяло бы очень сложное чувство Тоби. Ибо он, будучи сам человеком простым, наделял колокола загадочным и суровым нравом. Они были такие таинственные – слышно их часто, а видеть не видно; так высоко было до них, и так далеко, и такие они таили в себе звучные и мощные напевы, что он чувствовал к ним какой-то благоговейный страх; и порой, глядя вверх на темные стрельчатые окна башни, он бывал готов к тому, что его вот-вот поманит оттуда нечто – не колокол, нет, но то, что ему так часто слышалось в колокольном звоне. И, однако же, Тоби с негодованием отвергал вздорный слух, будто на колокольные водятся привидения, – ведь это значило бы, что колокола сродни всякой нечисти. Словом, они очень часто звучали у него в ушах, и очень часто присутствовали в его мыслях, но всегда были у него на хорошем счету; и очень часто, заглядевшись с разинутым ртом на верхушку колокольной, где они висели, он так сворачивал себе шею, что ему приходилось лишний раз протрусить взад-вперед, чтобы вернуть ее в прежнее положение.

Этим-то он и занимался однажды, холодным зимним днем, когда отзвук последнего из ударов, только что возвестивших полдень, сонно гудел под сводами башни как огромный музыкальный шмель.

– Время обедать, – сказал Тоби, трусая взад-вперед мимо дверей церкви.

Нос у Тоби был ярко-красный, и веки ярко-красные, а плечи его находились в очень близком соседстве с ушами, а ноги совсем не желали гнуться, и вообще он, видимо, уже давно забыл, когда ему было тепло.

– Время обедать, а? – повторил Тоби, пользуясь своей правой рукавицей в качестве, так сказать, боксерской перчатки и колотя собственную грудь за то, что она озябла. – Нда-а.

После этого он минуты две трусил молча.

– Нет ничего на свете... – заговорил он снова, но тут же остановился как вкопанный и, выразив на лице неподдельный интерес и некоторую тревогу, стал тщательно, снизу доверху, ощупывать свой нос. Нос был пустячный, и, чтобы ощупать его, не потребовалось много времени.

– А я уж думал, он куда девался, – сказал Тоби, вновь пускаясь трусить по панели. – Нет, весь тут, сердешный. Да и вздумай он сбежать, я бы, ей-ей, не стал винить его. Служба у него в холодную погоду трудная, и надеяться особенно не на что – я ведь табак не нюхаю. Ему, бедняге, и во всякую-то погоду приходится несладко: если в кои веки и учует вкусный запах, то скорей всего запах чужого обеда, который несут из пекарни.

Мысль эта напомнила ему про другую, оставшуюся незаконченной.

– Нет ничего на свете, – сказал Тоби, – столь постоянного, как время обеда, и нет ничего на свете столь непостоянного, как обед. В этом и состоит большое различие между тем и другим. Не сразу я до этого додумался. Интересно знать, может быть какой-нибудь джентльмен решил бы, что такое открытие стоит купить для газетной статьи? Или для парламентской речи?

Тоби, конечно, шутил, – он тут же устыдился и с укором покачал головой.

– О, господи, – сказал Тоби, – газеты и без того полным-полны открытий, и парламент тоже. Взять хоть газету от прошлой недели, – он извлек из кармана замызганный листок и поглядел на него, держа в вытянутой руке, – полным-полно открытий! Сплошные открытия! Я, как и всякий человек, люблю узнавать новости, – медленно проговорил Тоби, еще раз

перегибая листок пополам и засовывая его обратно в карман, – но последнее время газеты читать – одно расстройство. Даже страх берет. Просто не знаю, до чего мы, бедняки, дойдем. Дай бог, чтобы дошли до чего-нибудь хорошего в новом году, благо он наступает!

– Отец! Да отец же! – произнес ласковый голос у него над ухом.

Тоби ничего не слышал, он продолжал трусить взад-вперед, погруженный в свои мысли и разговаривая сам с собою.

– Выходит, будто мы всегда не правы, и оправдать нас нечем, и исправить нас невозможно, – сказал Тоби. – Сам-то я неученый, где уж мне разобраться, имеем мы право жить на земле или нет. Иней раз думается, что какое-никакое, а все-таки имеем, а иной раз думается, что мы здесь лишние. Бывает, до того запутаешься, что даже не можешь понять, есть в нас хоть что-нибудь хорошее, или мы так и родимся дурными. Выходит, будто мы ведем себя ужасно, будто мы всем доставляем кучу хлопот; вечно на нас жалуются, кого-то от нас предостерегают. Так ли, этак ли, а в газетах только о нас и пишут. Опять же новый год, – сказал Тоби сокрушенно. – Вообще-то я могу перенести любую беду не хуже другого, даже лучше, потому что я сильный как лев, а это не про всякого скажешь, – но что если мы и в самом деле не имеем права на новый год... что если мы и в самом деле лишние...

– Отец! Да отец же! – повторил ласковый голос.

На этот раз Тоби услышал; вздрогнул; остановился; изменил направление своего взгляда, который перед тем был устремлен куда-то вдаль, словно искал ответа в самом сердце наступающего года, – и тогда оказалось, что он стоит лицом к лицу со своей родной дочерью и смотрит ей прямо в глаза.

И какие же ясные это были глаза – просто чудо! Глаза, в которые сколько ни гляди, не измерить их глубины. Темные глаза, которые в ответ на любопытный взгляд не сверкали своенравным огнем, но струили тихое, честное, спокойное, терпеливое сияние – сродни тому свету, которому повелел быть творец. Глаза прекрасные, и правдивые, и полные надежды – надежды столь молодой и невинной, столь бодрой, светлой и крепкой (хотя они двадцать лет видели перед собой только труд и бедность), что для Тоби Вэка они превратились в голос и сказали: «По-моему, какое-никакое, а все-таки право жить на земле мы имеем!»

Тоби поцеловал губы, которые возникли перед ним одновременно с этими глазами, и сжал цветущее личико между ладоней.

– Голубка моя, – сказал Тоби. – Что случилось? Я не думал, что ты сегодня придешь, Мэг.

– Я и сама не думала, что приду, отец, – воскликнула девушка, кивая головкой и улыбаясь. – А вот пришла. Да еще и принесла кое-что.

– Это как же, – начал Тоби, с интересом поглядывая на корзинку с крышкой, которую она держала в руке, – ты хочешь сказать, что ты...

– Понюхай, милый, – сказала Мэг. – Ты только понюхай!

Тоби на радостях уже готов был приподнять крышку, но Мэг проворно отвела его руку.

– Нет, нет, нет, – сказала она, веселясь, как ребенок. – Надо растянуть удовольствие. Я приподниму только краешек, са-амый краешек, – и она так и сделала, очень осторожно, и понизила голос, точно опасаясь, что ее услышат из корзинки. – Вот так. Теперь нюхай. Что это?

Тоби всего разок шмыгнул носом над корзинкой и воскликнул в упоении:

– Да оно горячее!

– Еще какое горячее! – подхватила Мэг. – Ха-ха-ха! С пылу с жару!

– Ха-ха-ха! – покатился Тоби и даже подрыгал ногой. – С пылу с жару!

– Ну, а что это, отец? – спросила Мэг. – Ведь ты еще не угадал, что это. А ты должен угадать. Пока не угадаешь, не дам, и не надейся. Ты не спеши! погоди минутку! Приоткроем еще немножечко. Ну, угадывай.

Мэг ужасно боялась, как бы он не отгадал слишком быстро; она даже отступила на шаг, протягивая к нему корзинку; и передернула круглыми плечиками; и заткнула пальцами ухо, точно этим могла помешать верному слову сорваться с языка Тоби; и все время тихонько

смеялась.

А Тоби между тем, упершись руками в колени, пригнулся носом к корзинке и глубокомысленно потянул в себя воздух; и тут по морщинистому его лицу расплылась улыбка, словно он вдохнул веселящего газа.

– Пахнет очень вкусно, – сказал Тоби. – Это не... Это. часом, не кровяная колбаса?

– Нет, нет, нет! – в восторге закричала Мэг. – Ничего похожего!

– Нет, – сказал Тоби, снова принохиваясь. – Пахнет словно бы нежнее, чем кровяная колбаса. Очень хорошо пахнет. С каждой минутой все лучше. Но для бараньих ножек запах слишком крепкий. Верно?

Мэг ликовала: ничто не могло быть дальше от истины, чем бараньи ножки, – кроме разве кровяной колбасы.

– Легкое? – сказал Тоби, совещаясь сам с собой. – Нет. Тут чувствуется что-то этакое масляное, что с легким не вяжется. Свиные ножки? Нет, у тех запах слабее. А петушинные головы опять же пахнут пронзительнее. Не сосиски, нет. Я тебе скажу, что это. Это потроха!

– А вот и нет! – крикнула Мэг, торжествуя. – А вот и нет!

– Эх! Да что же это я! – сказал Тоби, внезапно выпрямляясь, насколько это было для него возможно. – Я, наверно, скоро собственное имя забуду. Это рубцы!

Он угадал; и Мэг, сияя от радости, заверила его, что таких замечательных тушеных рубцов еще не бывало на свете, – сейчас он и сам в этом убедится.

– Расстелем-ка мы скатерть, – сказала Мэг, усердно хлопоча над корзинкой. – Ведь рубцы у меня в миске, а миску я завязала в платок; и если я решила раз в жизни загордиться, и расстелить его вместо скатерти, и назвать его скатертью, никакой закон мне этого не запретит, верно, отец?

– Слово бы и так, голубка, – отвечал Тоби. – Но они, знаешь ли, то и дело откапывают новые законы.

– Да, и как сказал тот судья – помнишь, я тебе читала недавно из газеты? – нам, беднякам, все эти законы надлежит знать. Ха-ха-ха! Нужно же такое выдумать! Ой, господи, какими умными они нас считают!

– Верно, дочка! – воскликнул Тоби. – И если б кто из нас вправду знал все законы, как бы они его жаловали! Такой человек просто разжирел бы, столько у него было бы работы, и все важные господа в округе водили бы с ним знакомство. Право слово!

– И он бы с аппетитом пообедал, если б от его обеда так вкусно пахло, – весело закончила Мэг. – Ты не мешкай, потому что тут есть еще горячая картошка и полпинты пива в бутылке, только что из бочки. Тебе где накрывать, отец? На тумбе или на ступеньках? Фу-ты ну-ты, какие мы важные! Даже выбирать можем.

– Сегодня на ступеньках, родная, – сказал Тоби. – В сухую погоду – на ступеньках. В мокрую – на тумбе. На ступеньках-то оно удобнее, потому как там можно обедать сидя; но в сырость от них ревматизм разыгрывается.

– Ну, милости прошу, – хлопая в ладоши, сказала Мэг. – Все готово. Красота, да и только. Иди, отец, иди.

С тех пор как содержимое корзинки перестало быть тайной, Тоби стоял и смотрел на дочь, да и говорил тоже, с каким-то рассеянным видом, ясно показывающим, что, хоть она и занимала безраздельно его мысли, вытеснив из них даже рубцы, он видел ее не такой, какою она была в это время, но смутно рисовал себе трагическою картину ее будущего. Он уже готов был горестно потрянуть головой, но вместо этого сам встряхнулся, словно разбуженный ее бодрим окликом, и послушно затрусил к ней. Только он собрался сесть, как зазвонили колокола.

– Аминь! – сказал Тоби, снимая шляпу и глядя вверх, откуда раздавался звон.

– Аминь колоколам, отец? – воскликнула Мэг.

– Это вышло, как молитва перед едой, – сказал Тоби, усаживаясь. – Они, если бы могли, наверняка прочитали бы хорошую молитву. Недаром они со мной так славно разговаривают.

– Это колокола-то! – рассмеялась Мэг, ставя перед ним миску с ножом и вилкой. – Ну и ну!

– Так мне кажется, родная, – сказал Трухти, с великим усердием принимаясь за еду. – А разве это не все едино? Раз я их слышу, так ведь неважно, говорят они или нет. Да что там, милая, – продолжал Тоби, указывая вилкой на колокольню и заметно оживляясь под воздействием обеда, – я сколько раз слышал, как они говорят: «Тоби Вэк, Тоби Вэк, не печалься, Тоби! Тоби Вэк, Тоби Вэк, не печалься, Тоби!» Миллион раз? Нет, больше.

– В жизни такого не слыхивала! – вскричала Мэг.

Неправда, слыхивала, и очень часто, – ведь у Тоби это была излюбленная тема.

– Когда дела идут плохо, – сказал Тоби, – то есть совсем плохо, так что хуже некуда, тогда они говорят: «Тоби Вэк, Тоби Вэк, жди, работа будет! Тоби Вэк, Тоби Вэк, жди, работа будет!» Вот так.

– И в конце концов работа для тебя находится, – сказала Мэг, и в ласковом ее голосе прозвучала грусть.

– Обязательно, – простодушно подтвердил Тоби. – Не было случая, чтобы не нашлась.

Пока происходил этот разговор, Тоби прилежно расправлялся с сочным блюдом, стоявшим перед ним, – он резал и ел, резал и пил, резал и жевал, и кидался от рубцов к горячей картошке и от горячей картошки к рубцам с неслабеющим, почти набожным рвением. Но вот он окинул взглядом улицу – на тот случай, если бы кому-нибудь вздумалось позвать из окна или двери рассыльного, – и на обратном пути взгляд его упал на Мэг, которая сидела напротив него, скрестив руки и наблюдая за ним со счастливой улыбкой.

– Господи, прости меня! – сказал Тоби, роняя нож и вилку. – Голубка моя! Мэг! Что же ты мне не скажешь, какой я негодяй?

– О чем ты, отец?

– Сижу, – стал покаянно объяснять Тоби, – ем, нажираюсь, уплетаю за обе щеки, а ты, моя бедная, и кусочка не проглотила и глядишь, точно тебе и не хочется, а ведь...

– Да я проглотила, отец, и не один кусочек, – смеясь, перебила его дочь. – Я уже пообедала.

– Вздор, – отрезал Тоби. – Пообедала и еще мне принесла? Два обеда в один день – этого быть не может. Ты бы еще сказала, что наступят сразу два новых года или что я всю жизнь храню золотой и даже не разменял его.

– А все-таки, отец, я пообедала, – сказала Мэг, подходя к нему поближе. – И если ты будешь есть, я тебе расскажу, как пообедала, и где; и откуда взялся обед для тебя; и... и еще кое-что в придачу.

Тоби, казалось, все еще сомневался; но она поглядела на него своими ясными глазами и, положив руку ему на плечо, сделала знак поторопиться, пока мясо не остыло. Тогда он снова взял нож и вилку и принялся за еду. Но ел он теперь гораздо медленнее и покачивал головой, словно был очень собой недоволен.

– А я, отец, – начала Мэг после минутного колебания, – я обедала... с Ричардом. Его сегодня рано отпустили пообедать, и он, когда зашел навестить меня, принес свой обед с собой, ну мы... мы и пообедали вместе.

Тоби отпил пива и причмокнул губами. Потом, видя, что она ждет, сказал: «Вот как?»

– И Ричард говорит, отец... – снова начала Мэг и умолкла.

– Что же он говорит? – спросил Тоби.

– Ричард говорит, отец... – снова молчание.

– Долгонько Ричард собирается с мыслями, – сказал Тоби.

– Он говорит, отец, – продолжала Мэг, подняв, наконец, голову и вся дрожа, но уже больше не сбиваясь, – что вот и еще один год прошел, и есть ли смысл ждать год за годом, раз так мало вероятия, что мы когда-нибудь станем богаче? Он говорит, отец, что сейчас мы бедны, и тогда будем бедны, но сейчас мы молоды, а не успеем оглянуться – и станем старые. Он говорит, что если мы – в нашем-то положении – будем ждать до тех пор, пока ясно не увидим свою дорогу, то это окажется очень узкая дорога... общая для всех... дорога

к могиле, отец.

Чтобы отрицать это, потребовалось бы куда больше смелости, чем ее было у Трухти Вэка. Трухти промолчал.

– А как тяжело, отец, состариться и умереть, и думать перед смертью, что мы могли бы быть друг другу радостью и поддержкой! Как тяжело всю жизнь любить друг друга и порознь горевать, глядя, как другой работает, и меняется год от году, и старится, и седеет. Даже если б я когда-нибудь успокоилась и забыла его (а этого никогда не будет), все равно, отец, как тяжело дожить до того, что любовь, которой сейчас полно мое сердце, уйдет из него, капля за каплей, и не о чем будет даже вспомнить – ни одной счастливой минуты, какие выпадают женщине на долю, чтобы ей в старости утешаться, вспоминая их, и не озлобиться!

Трухти сидел тихо-тихо. Мэг вытерла глаза и заговорила веселее, то есть когда смеяшь, когда плача, а когда смеяшь и плача одновременно:

– Вот Ричард и говорит, отец, что раз он со вчерашнего дня на некоторое время обеспечен работой, и раз я его люблю уже целых три года – на самом-то деле больше, только он этого не знает, – так не пожениться ли нам в день Нового года; он говорит, что это из всего года самый лучший, самый счастливый день, такой день наверняка должен принести нам удачу. Конечно, времени осталось очень мало, но ведь я не знатная леди, отец, мне о приданом не заботиться, подвенечного платья не шить, верно? Это все Ричард сказал, да так серьезно и убедительно, и притом так ласково и хорошо, что я решила – пойду поговорю с тобой, отец. А раз мне сегодня утром заплатили за работу (совершенно неожиданно!), а ты всю неделю недоедал, а мне так хотелось, чтобы этот день, такой счастливый и знаменательный для меня, отец, и для тебя тоже стал бы вроде праздника, я и подумала – приготовлю чего-нибудь повкуснее и принесу тебе, сюрпризом.

– А ему и горя мало, что сюрприз-то остыл! – произнес новый голос.

Чей голос? Да того самого Ричарда: ни отец, ни дочь не заметили, как он подошел, и теперь он стоял перед ними и поглядывал на них, а лицо у него все светилось, как то железо, по которому он каждый день бил своим тяжелым молотом. Красивый он был парень, ладный и крепкий, глаза сверкающие, как докрасна раскаленные брызги, что летят из горна; черные волосы, кольцами выющиеся у смуглых висков; а улыбка... увидев эту улыбку, всякий понял бы, почему Мэг так расхваливала его красноречие.

– Ему и горя мало, что сюрприз остыл! – сказал Ричард. – Мэг, видно, не угадала, чем его порадовать. Где уж ей!

Трухти немедля протянул Ричарду руку и только хотел обратиться к нему с самым горячим выражением радости, как вдруг дверь у него за спиной распахнулась и высоченный лакей чуть не наступил на рубцы.

– А ну, дайте дорогу! Непременно вам нужно рассестись на нашем крыльце! Хоть бы разок для смеху пошли к соседям! Уберетесь вы с дороги или нет?

Последнего вопроса он, в сущности, мог бы и не задавать, – они уже убрались с дороги.

– Что такое? Что такое? – И джентльмен, ради которого старался лакей, вышел из дому той легко-тяжелой поступью, являющей как бы компромисс между иноходью и шагом, какой и подобает выходить из собственного дома почтенному джентльмену в летах, носящему сапоги со скрипом, часы на цепочке и чистое белье: нисколько не роняя своего достоинства и всем своим видом показывая, что его ждут важные денежные дела. – Что такое? Что такое?

– Ведь просишь вас по-хорошему, на коленях умоляешь, не суйтесь вы на наше крыльцо, – выговаривал лакей Тоби Вэку. – Так чего же вы сюда суетесь? Неужели нельзя не соваться?

– Ну, довольно, – сказал джентльмен. – Эй, рассыльный! – И он поманил к себе Тоби Вэка. – Подойдите сюда. Это что? Ваш обед?

– Да, сэр, – сказал Тоби, успевший между тем поставить миску в уголок у стены.

– Не прячьте его! – воскликнул джентльмен. – Сюда несите, сюда. Так. Значит, это ваш обед?

– Да, сэр, – повторил Тоби, облизываясь и сверля глазами кусок рубца, который он

оставил себе на закуску как самый аппетитный: джентльмен подцепил его на вилку и поворачивал теперь из стороны в сторону.

Следом за ним из дому вышли еще два джентльмена. Один был средних лет и хлипкого сложения, с безутешно-унылым лицом, весь какой-то нечищенный и немывтый; он все время держал руки в карманах своих кургузых, серых в белую крапинку панталон, – очень больших карманах и порядком обтрепавшихся от этой его привычки. Второй джентльмен был крупный, гладкий, цветущий, в синем сюртуке со светлыми пуговицами и белом галстуке. У этого джентльмена лицо было очень красное, как будто чрезмерная доля крови сосредоточилась у него в голове; и, возможно, по этой же причине, от того места, где у него находилось сердце, веяло холодом.

Тот, что держал на вилке кусок рубца, окликнул первого джентльмена по фамилии – Файлер, – и оба подошли поближе. Мистер Файлер, будучи подслеповат, так близко пригнулся к остаткам обеда Тоби, чтобы разглядеть их, что Тоби порядком струхнул. Однако мистер Файлер не съел их.

– Этот вид животной пищи, олдермен, – сказал Файлер, тыкая в мясо карандашом, – известен среди рабочего населения нашей страны под названием рубцов.

Олдермен рассмеялся и подмигнул: он был весельчак, этот олдермен Кьют. И к тому же хитрец! Тонкая штучка! Себе на уме. Такого не проведешь. Видел людей насквозь. Знал их как свои пять пальцев. Уж вы мне поверьте!

– Но кто ест рубцы? – спросил Файлер, оглядываясь по сторонам. – Рубцы – это безусловно наименее экономичный и наиболее разорительный предмет потребления из всех, какие можно встретить на рынках нашей страны. Установлено, что при варке потеря с одного фунта рубцов на семь восьмых одной пятой больше, чем с фунта любого иного животного продукта. Так что, собственно говоря, рубцы стоят дороже, нежели тепличные ананасы. Если взять число домашних животных, которых ежегодно забивают на мясо только в Лондоне и его окрестностях, и очень скромную цифру количества рубцов, какое дают туши этих животных, должным образом разделанные, находим, что той частью этих рубцов, которая непроизводительно расходуется при варке, можно было бы прокормить гарнизон из пятисот солдат в течение пяти месяцев по тридцати одному дню в каждом, да еще один февраль. Какой непроизводительный расход!

У Трухти от ужаса даже поджилки задрожали. Выходит, что он собственноручно уморил с голоду гарнизон из пятисот солдат!

– Кто ест рубцы? – повторил мистер Файлер, повышая голос. – Кто ест рубцы? Трухти конфузливо поклонился.

– Это вы едите рубцы? – спросил мистер Файлер. – Ну, так слушайте, что я вам скажу. Вы, мой друг, отнимаете эти рубцы у вдов и сирот.

– Боже упаси, сэр, – робко возразил Трухти. – Я бы лучше сам с голоду умер.

– Если разделить вышеупомянутое количество рубцов на точно подсчитанное число вдов и сирот, – сказал мистер Файлер, повернувшись к олдермену, – то на каждого придется ровно столько рубцов, сколько можно купить за пенни. Для этого человека не останется ни одного грана. Следовательно, он – грабитель.

Трухти был так ошеломлен, что даже не огорчился, увидев, что олдермен сам доел его рубцы. Теперь ему и смотреть на них было тошно.

– А вы что скажете? – ухмыляясь, обратился олдермен Кьют к краснолицему джентльмену в синем сюртуке. – Вы слышали мнение нашего друга Файлера. Ну, а вы что скажете?

– Что мне сказать? – отвечал джентльмен. – Что тут можно сказать? Кому в наше развращенное время вообще интересны такие субъекты, – он говорил о Тоби. – Вы только посмотрите на него! Что за чучело! Эх, старое время, доброе старое время, славное старое время! То было время крепкого крестьянства и прочего в этом роде. Да что там, то было время чего угодно в любом роде. Теперь ничего не осталось. Э-эх! – вздохнул краснолицый джентльмен. – Доброе старое время!

Он не уточнил, какое именно время имел в виду; осталось также неясным, не был ли его приговор нашему времени подсказан нелицеприятным сознанием, что оно отнюдь не совершило подвига, произведя на свет его самого.

– Доброе старое время, доброе старое время, – твердил джентльмен. – Ах, что это было за время! Единственное время, когда стоило жить. Что уж толковать о других временах или о том, каковы стали люди в наше время. Да можно ли вообще назвать его временем? По-моему – нет. Загляните в «Костюмы» Стратта⁶⁷, и вы увидите, как выглядел рассыльный при любом из добрых старых английских королей.

– Даже в самые счастливые дни у него не бывало ни рубахи, ни чулок, – сказал мистер Файлер, – а так как в Англии даже овощей почти не было, то и питаться ему было нечем. Я могу это доказать, с цифрами в руках.

Но краснолицый джентльмен продолжал восхвалять старое время, доброе старое время, славное старое время. Что бы ни говорили другие, он все кружился на месте, снова и снова повторяя все те же слова; так несчастная белка кружится в колесе, устройство которого она, вероятно, представляет себе не более отчетливо, чем сей краснолицый джентльмен – свой канувший в прошлое золотой век.

Возможно, что вера бедного Тоби в это туманное старое время не окончательно рухнула, так как в голове у него вообще стоял туман. Одно, впрочем, было ему ясно, несмотря на его смятение; а именно, что как бы ни расходились взгляды этих джентльменов в мелочах, все же для тревоги, терзавшей его в то утро, да и не только в то утро, имелись веские основания. «Да, да. Мы всегда не правы, и оправдать нас нечем, – в отчаянии думал Трухти. – Ничего хорошего в нас нет. Мы так и родимся дурными!»

Но в груди у Трухти билось отцовское сердце, неведомо как попавшее туда вопреки высказанному им выше убеждению; и он очень боялся, как бы эти умные джентльмены не вздумали предсказывать будущее Мэг сейчас, в короткую пору ее девичьего счастья. «Храни ее бог, – думал бедный Трухти, – она и так узнает все скорее, чем нужно».

Поэтому он стал знаками показывать молодому кузнецу, что ее нужно поскорее увести. Но тот беседовал с нею вполголоса, стоя поодаль, и так увлекся, что заметил эти знаки лишь одновременно с олдерменом Кьютом. А ведь олдермен еще не сказал своего слова, и так как он тоже был философ – только практический, о, весьма практический! – то, не желая лишиться слушателей, он крикнул: «Погодите!»

– Вам, разумеется, известно, – начал олдермен, обращаясь к обоим своим приятелям со свойственной ему самодовольной усмешкой, – что я человек прямой, человек практический; и ко всякому делу я подхожу прямо и практически. Так уж у меня заведено. В обхождении с этими людьми нет никакой трудности, и никакого секрета, если только понимаешь их и умеешь говорить с ними на их языке. Эй, вы, рассыльный! Не пробуйте, мой друг, уверять меня, или еще кого-нибудь, что вы не всегда едите досыта, и притом отменно вкусно; я-то лучше знаю. Я отведал ваших рубцов, и меня вам не «околпачить». Вы понимаете, что значит «околпачить», а? Правильное я употребил слово? Ха-ха-ха!

– Ей-же-ей, – добавил джентльмен, снова обращаясь к своим приятелям, – надлежащее обхождение с этими людьми – самое легкое дело, если только их понимаешь.

Здорово он наловчился говорить с простолюдинами, Этот олдермен Кьют! И никогда-то он не терял терпения! Не гордый, веселый, обходительный джентльмен, и очень себе на уме!

– Видите ли, мой друг, – продолжал олдермен, – сейчас болтают много вздора о бедности – «нужда заела», так ведь говорится? Ха-ха-ха! – и я намерен все это упразднить. Сейчас в моде всякие жалкие слова насчет недоедания, и я твердо решил это упразднить. Вот и все. Ей-же-ей, – добавил джентльмен, снова обращаясь к своим приятелям, – можно упразднить что угодно среди этих людей, нужно только взяться умеючи.

⁶⁷ Стратт Джозеф – художник-график и историк английского быта (1749–1802).

Тоби, действуя как бы бессознательно, взял руку Мэг и продел ее себе под локоть.

– Дочка ваша, а? – спросил олдермен и фамильярно потрепал ее по щеке.

Уж он-то всегда был обходителен с рабочими людьми, Этот олдермен Кьют! Он знал, чем им угодить. И высокомерия – ни капли!

– Где ее мать? – спросил сей достойный муж.

– Умерла, – сказал Тоби. – Ее мать брала белье в стирку, а как дочка родилась, господь призвал ее к себе в рай.

– Но не для того, чтобы брать там белье в стирку? – заметил олдермен с приятной улыбкой.

Трудно сказать, мог ли Тоби представить себе свою жену в раю без ее привычных занятий. Но вот что интересно: если бы в рай отправилась супруга олдермена Кьюта, стал бы он отпускать шутки насчет того, какое положение она там занимает?

– А вы за ней ухаживаете, так? – повернулся Кьют к молодому кузнецу.

– Да, – быстро ответил Ричард, задетый за живое этим вопросом. – И на Новый год мы поженимся.

– Что? – вскричал Файлер. – Вы хотите пожениться?

– Да, уважаемый, есть у нас такое намерение, – сказал Ричард. – Мы даже, понимаете ли, спешим, а то боимся, как бы и это не упразднили.

– О! – простонал Файлер. – Если вы это упраздните, олдермен, вы поистине сделаете доброе дело. Жениться! Жениться!! Боже мой, эти люди проявляют такое незнание первооснов политической экономии, такое легкомыслие, такую испорченность, что, честное слово... Нет, вы только посмотрите на эту пару!

Ну что же! Посмотреть на них стоило. И казалось, ничего более разумного, чем пожениться, они не могли и придумать.

– Вы можете прожить Мафусаилов век, – сказал мистер Файлер, – и всю жизнь не покладая рук трудиться для таких вот людей; копить факты и цифры, факты и цифры, накопить горы фактов и цифр; и все равно у вас будет не больше шансов убедить их в том, что они не имеют права жениться, чем в том, что они не имели права родиться на свет. А уж что такого права они не имели, нам доподлинно известно. Мы давно доказали это с математической точностью.

Олдермен совсем развеселился. Он прижал указательный палец правой руки к носу, точно говоря обоим своим приятелям: «Глядите на меня! Слушайте, что скажет человек практический!» – и поманил к себе Мэг.

– Подойдите-ка сюда, милая, – сказал олдермен Кьют.

Молодая кровь ее жениха уже давно кипела от гнева, и ему очень не хотелось пускать ее. Он, правда, сдержал себя, но когда Мэг приблизилась, он тоже шагнул вперед и стал рядом с ней, взяв ее за руку. Тоби по-прежнему держал другую ее руку и обводил всех по очереди растерянным взглядом, точно видел сон наяву.

– Ну вот, моя милая, теперь я преподам вам несколько полезных советов, – сказал олдермен, как всегда просто и приветливо. – Давать советы – это, знаете ли, входит в мои обязанности, потому что я – судья. Вам ведь известно, что я судья?

Мэг несмело ответила «да». Впрочем, то, что олдермен Кьют – судья, было известно всем. И притом какой деятельный судья! Был ли когда в глазу общества сучок зеленее и краше Кьюта!

– Вы говорите, что собираетесь вступить в брак, – продолжал олдермен. – Весьма нескромный и предосудительный шаг для молодой девицы. Но оставим это в стороне. Сразу после свадьбы вы начнете ссориться с мужем, и в конце концов он вас бросит. Вы думаете, что этого не будет; но это будет, я-то знаю. Так вот, предупреждаю вас, что я решил упразднить брошенных жен. Поэтому не пробуйте подавать мне жалобу. У вас будут дети, мальчишки. Эти мальчишки будут расти на улице, босые, без всякого надзора и, конечно, вырастут преступниками. Так имейте в виду, мой юный друг, я их засужу всех до единого, потому что я поставил себе цель упразднить босоногих мальчишек. Возможно (даже весьма

вероятно), что ваш муж умрет молодым и оставит вас с младенцем на руках. В таком случае вас сгонят с квартиры и вы будете бродить по улицам. Только не бродите, милая, возле моего дома, потому что я твердо намерен упразднить бродячих матерей; вернее – всех молодых матерей, без разбора. Не вздумайте приводить в свое оправдание болезнь; или приводить в свое оправдание младенцев; потому что всех страждущих и малых сих (надеюсь, вы помните церковную службу, хотя боюсь, что нет) я намерен упразднить. А если вы попытаетесь – если вы безрассудно и неблагодарно, нечестиво и коварно попытаетесь утопиться, или повеситься, не ждите от меня жалости, потому что я твердо решил упразднить всяческие самоубийства! Если можно сказать, – произнес олдермен со своей самодовольной улыбкой, – что какое-нибудь решение я принял особенно твердо, так это решение упразднить самоубийства. Так что смотрите мне, без фокусов. Так ведь у вас говорится? Ха-ха! Теперь мы понимаем друг друга.

Тоби не знал, ужасаться ему или радоваться, видя, что Мэг побелела как платок и выпустила руку своего жениха.

– А вы, тупица несчастный, – совсем уже весело и игриво обратился олдермен к молодому кузнецу, – что это вам взбрело в голову жениться? Зачем вам жениться, глупый вы человек! Будь я таким видным, ладным да молодым, я бы постыдился цепляться за женскую юбку, как сопляк какой-нибудь. Да она станет старухой, когда вы еще будете мужчина в полном соку. Вот тогда я на вас посмотрю – как за вами будет всюду таскаться чумичка-жена и орава скулящих детишек!

Да, он умел шутить с простонародьем, этот олдермен Кьют!

– Ну, отправляйтесь восвояси, – сказал олдермен, – и кайтесь в своих грехах. Да не смешите вы людей, не женитесь на Новый год. Задолго следующего Нового года вы об этом пожалеете – такой-то бравый молодец, на которого все девушки заглядываются! Ну, отправляйтесь восвояси.

Они отправились восвояси. Не под руку, не держась за руки, не обмениваясь нежными взглядами; она – в слезах, он – угрюмо глядя в землю. Куда девалась радость, от которой еще так недавно взыграло сердце приунывшего было старого Тоби? Олдермен (благослови его бог!) упразднил и ее.

– Раз уж вы здесь, – сказал олдермен Тоби Вэку, – я поручу вам отнести письмо. Только быстро. Вы это можете? Ведь вы старик.

Тоби, отупело глядевший вслед дочери, очнулся и кое-как пробормотал, что он очень быстрый и очень сильный.

– Сколько вам лет? – спросил олдермен.

– Седьмой десяток пошел, сэр, – отвечал Тоби.

– О! Это намного выше средней цифры! – неожиданно вскричал мистер Файлер, как бы желая сказать, что он, конечно, человек терпеливый, но, право же, всему есть предел.

– Я и сам чувствую, что я лишний, сэр, – сказал Тоби. – Я... я еще нынче утром это подозревал. Ах ты горе какое!

Олдермен оборвал его речь, дав ему письмо, которое достал из кармана; Тоби получил бы кроме того и шиллинг; но поскольку мистер Файлер всем своим видом показывал, что в этом случае он ограбил бы какое-то число людей на девять с половиной пенсов каждого, он получил всего шесть пенсов и еще подумал, что ему здорово повезло.

Затем олдермен взял обоих своих приятелей под руки и отбыл в наилучшем расположении духа; но тут же, словно вспомнив что-то, он поспешно вернулся, уже один.

– Рассыльный! – сказал олдермен.

– Сэр? – откликнулся Тоби.

– Хорошенько смотрите за дочкой. Слишком она у вас красивая.

«Даже красота ее, наверно, у кого-нибудь украдена, – подумал Тоби, глядя на монету, лежавшую у него в ладони, и вспоминая рубцы. – Очень даже просто: взяла и ограбила пятьсот знатных леди, каждую понемножку. Вот ужас-то!»

– Слишком она у вас красивая, любезный, – повторил олдермен. – Такая добром не

кончит, это ясно как день. Послушайте моего совета. Смотрите за ней хорошенько! – С этими словами он поспешил прочь.

– Виноваты. Кругом виноваты! – сказал Тоби, разводя руками. – Дурными родились. Не имеем права жить на свете.

И тут на него обрушился звон колоколов. Полный, громкий, звучный, но не было в нем утешения. Ни капли.

– Песня-то изменилась! – воскликнул старик, прислушавшись. – Ни слова не осталось прежнего. Да и немудрено. Нет у меня права ни на новый год, ни на старый. Лучше умереть!

А колокола все заливались, даже воздух дрожал от их звона. «Упразднить, упразднить! Доброе время, старое время! Факты-цифры, факты-цифры! Упразднить, упразднить!» Вот что они твердили, и притом так упорно и долго, что у Тоби круги пошли перед глазами.

Он сжал руками свою бедную голову, как будто боялся, что она разлетится вдребезги. Движение это оказалось весьма своевременным, ибо, обнаружив у себя в руке письмо и, следовательно, вспомнив о поручении, он машинально двинулся с места обычной своей трусцою и затрусил прочь.

Вторая четверть

Письмо, которое вверил Тоби олдермен Кьют, было адресовано некоей блистательной особе, проживавшей в некоем блистательном квартале Лондона. В самом блистательном его квартале. Это без сомнения был самый блистательный квартал, потому что те, кто в нем жил, именовали его «светом».

Тоби положительно казалось, что никогда еще он не держал в руке такого тяжелого письма. Не оттого, что олдермен запечатал его огромной печатью с гербом и не пожалел сургуча, – нет, очень уж большой вес имело самое имя, написанное на конверте, и груды золота и серебра, с которыми оно связывалось.

«Как непохоже на нас! – подумал Тоби в простоте души, озабоченно перечитывая адрес. – Разделите всех морских черепах в Лондоне и его окрестностях на число важных господ, которым они по карману. Чью долю они забирают себе, кроме своей собственной? А чтобы отнимать у кого-нибудь рубцы – да они нипочем до этого не унижутся!»

И Тоби, бессознательно отдавая дань уважения такому благородству, бережно прихватил письмо уголком фартука.

– Их дети, – сказал Тоби, и глаза его застлало туманом, – их дочери... им-то не заказано любить знатных джентльменов и выходить за них замуж; им можно становиться счастливыми женами и матерями; можно быть такими же красавицами, как моя Мэ...

Выговорить ее имя ему не удалось. Последняя буква застряла в горле, точно стала величиною с весь алфавит.

«Ну ничего, – подумал Тоби. – Я-то знаю, что я хотел сказать. А большего мне и не требуется», – и с этой утешительной мыслью он затрусил дальше.

В тот день крепко морозило. Воздух был чистый, бодрящий, ядреный. Зимнее солнце, хоть и не могло дать тепла, весело глядело сверху на лед, который оно было бессильно растопить, и зажигало на нем яркие блески.

В другое время Тоби, возможно, усмотрел бы в зимнем солнце поучение для бедняков; но сейчас ему было не до этого.

В тот день старый год доживал свои последние часы. Он покорно претерпел упреки и наветы клеветников и честно выполнил свою работу. Весна, лето, осень, зима. Он совершил положенный круг и теперь склонил усталую голову на вечный покой. Сам он не знал ни надежд, ни высоких порывов, ни прочного счастья, но, провозвестник многих радостей для тех, кто придет ему на смену, он взывал перед смертью о том, чтобы труд и терпение его не были забыты и чтобы ему умереть спокойно. Тоби, возможно, прочел бы в умирании года притчу для бедняков; но сейчас ему было не до этого.

И только ли ему? Или уже семьдесят сменявших друг друга лет обращалось с тем же

призывом к английским труженикам и все напрасно!

На улицах царила суэта, лавки были весело разукрашены. Новому году, как младенцу, имеющему унаследовать весь мир, готовили радостную встречу с приветствиями и подарками. Для нового года были припасены игрушки и книги, сверкающие безделушки, нарядные платья, хитрые планы обогащения; и новые изобретения, чтобы ему не соскучиться. Его жизнь была размечена в календарях и альманахах; фазы луны и движение звезд, приливы и отливы, все было заранее известно до одной минуты; продолжительность каждого его дня и каждой ночи была вычислена с такой же точностью, с какой мистер Файлер решал свои задачки про мужчин и женщин.

Новый год, новый год. Повсюду новый год! На старый год уже смотрели как на покойника; имущество его распродалось по дешевке, как пожитки утонувшего матроса на корабле. Он еще дышал, а моды его уже стали прошлогодними и шли за бесценок. Сокровища его стали трухой по сравнению с богатствами его нерожденного преемника.

Тоби Вэку, по его мнению, нечего было ждать ни от старого года, ни от нового.

«Упразднить, упразднить! Факты-цифры, факты-цифры! Доброе время, старое время! Упразднить, упразднить», – он трусил и трусил под этот напев, и никакого другого его ноги не желали слушаться.

Но и этот напев, как ни был он печален, привел его в надлежащее время к цели. К особняку сэра Джозефа Баули, члена парламента.

Дверь отворил швейцар. И какой швейцар! Толстый, надутый, в ливрее! Бляха на груди у Тоби сразу потускнела рядом с его позументами.

Швейцар этот долго отдувался, раньше чем заговорить, – он задохнулся, так как опрометчиво встал со стула, не успев собраться с мыслями. Когда он обрел голос – а случилось это не скоро, потому что голос был глубоко упрятан под слоями жира и мяса, – то произнес сиплым шепотом:

– От кого?

Тоби ответил.

– Передайте сами вот туда, – сказал швейцар, указывая на дверь в конце длинного коридора. – Сегодня все доставляется прямо туда. Еще немножко – и вы бы опоздали: карета подана, а они и приезжали-то в город всего на несколько часов, нарочно для этого дела.

Тоби старательно вытер ноги (и без того уже сухие) и двинулся в указанном ему направлении, примечая по дороге, что дом этот страх какой богатый, но весь затянутый чехлами и молчаливый – видно, хозяева и впрямь живут в деревне. Постучав в дверь, он услышал «войдите», а войдя, очутился в просторном кабинете, где за столом, заваленном бумагами и папками, сидели важная леди в капоре и не ахти какой важный джентльмен в черном, писавший под ее диктовку; в то время как другой джентльмен, постарше и гораздо поважнее, чья трость и шляпа лежали на столе, шагал из угла в угол, заложив руку за борт сюртука и поглядывая на висевший над камином портрет, который изображал его самого во весь рост, а роста он был немало.

– В чем дело? – спросил этот джентльмен. – Мистер Фиш, будьте добры, займитесь.

Мистер Фиш извинился перед леди и, взяв у Тоби письмо, почтительно вручил его по назначению.

– От олдермена Кьюта, сэр Джозеф.

– Это все? Больше у вас ничего нет, рассыльный? – осведомился сэр Джозеф.

Тоби ответил отрицательно.

– Ни от кого никаких векселей, никаких претензий ко мне? Мое имя Баули, сэр Джозеф Баули. Если таковые имеются, предъявите их. Возле мистера Фиша лежит чековая книжка. Я ничего не откладываю на будущий год. В этом доме по всем решительно счетам расплачиваются в конце старого года. Так, чтобы, если безвременная... э-э...

– Смерть, – подсказал мистер Фиш.

– Кончина, сэр, – надменно поправил его сэр Джозеф, – пресечет нить моей жизни, я мог надеяться, что дела мои окажутся в полном порядке.

– Дорогой мой сэръ Джозеф! – воскликнула леди, бывшая много моложе своего супруга. – Как можно упоминать о таких ужасах!

– Миледи Баули! – заговорил сэръ Джозеф, время от времени начиная беспомощно барахтаться, когда мысли его достигали особенно большой глубины, – в эту пору года нам следует подумать о... э-э... о себе. Нам следует заглянуть в свою... э-э... свою счетную книгу. Всякий раз, с наступлением этого дня, столь знаменательного в делах человеческих, нам следует помнить, что в этот день происходит серьезный разговор между человеком и его... э-э... его банкиром.

Сэръ Джозеф произнес эту речь так, словно хорошо сознавал заключенную в ней нравственную ценность и хотел даже Тоби Вэку предоставить возможность извлечь из нее пользу. Кто знает, не этим ли намерением объяснялось и то обстоятельство, что он все еще не распечатывал письма и велел Тоби подождать минутку.

– Вы просили мистера Фиша написать, миледи... – начал сэръ Джозеф.

– Мистер Фиш, по-моему, уже написал это, – перебила его супруга, бросив взгляд на упомянутого джентльмена. – Но в самом деле, сэръ Джозеф, я, кажется, не отошлю это письмо. Очень уж выходит дорого.

– Что именно дорого? – осведомился сэръ Джозеф.

– Да это благотворительное общество. Они дают нам только два голоса при подписке на пять фунтов.⁶⁸ Просто чудовищно!

– Миледи Баули, – возразил сэръ Джозеф, – вы меня удивляете. Разве наши чувства должны быть соразмерны числу голосов? Не вернее ли сказать, что, для человека разумного, они должны быть соразмерны числу подписчиков и тому здоровому состоянию духа, в какое их приводит столь полезная деятельность? Разве не чистейшая радость – иметь в своем распоряжении два голоса на пятьдесят человек?

– Для меня, признаюсь, нет, – отвечала леди. – Мне это досадно. К тому же, нельзя оказать любезность знакомым. Но вы ведь друг бедняков, сэръ Джозеф. Вы смотрите на это иначе.

– Да, я друг бедняков, – подтвердил сэръ Джозеф, взглянув на бедняка, при сем присутствующего. – Как такового меня можно язвить. Как такового меня не однажды язвили. Но мне не нужно иного звания.

«Какой достойный джентльмен, храни его бог!» – подумал Тоби.

– Я, например, не согласен с Кьютом, – продолжал сэръ Джозеф, помахивая письмом. – Я не согласен с партией Файлера. Я не согласен ни с какой вообще партией. Моему другу бедняку нет дела до всех этих господ, и всем этим господам нет дела до моего друга бедняка. Мой друг бедняк, в моем округе, – это мое дело. Никто, ни в одиночку, ни совместно, не вправе становиться между моим другом и мной. Вот как я на это смотрю. По отношению к бедняку я беру на себя... э-э... отеческую заботу. Я ему говорю: «Милейший, я буду обходиться с тобой по-отечески».

Тоби слушал очень внимательно, и понемногу на душе у него становилось легче.

– Тебе, милейший, – продолжал сэръ Джозеф, задержавшись рассеянным взглядом на Тоби, – тебе нужно иметь дело только со мной. Не трудись думать о чем бы то ни было. Я сам буду за тебя думать. Я знаю, что для тебя хорошо; я твой родитель до гроба. Такова воля всемогущего провидения. Твое же назначение в жизни – не в том, чтобы пьянствовать, обжираться и все свои радости по-скотски сводить к еде, – Тоби со стыдом вспомнил рубцы, – а в том, чтобы чувствовать, как благороден труд. Бодро выходи с утра на свежий воздух и... э-э... и оставайся там. Проявляй усердие и умеренность, будь почтителен, умеи

⁶⁸ ...только два голоса при подписке на пять фунтов. – В Англии, наряду с благотворительностью официальной – через приходы, распределявшие средства, поступающие в виде «налога на бедных», – существовало множество частных благотворительных обществ, собиравших пожертвования среди богатых людей и предоставлявших им, в соответствии с суммой пожертвования, то или иное число голосов при выборах правления и административного персонала данного общества.

во всем себе отказывать, расти детей на медные гроши, плати за квартиру в срок и ни минутой позже, будь точен в денежных: делах (бери пример с меня; перед мистером Фишем, моим доверенным секретарем, всегда стоит шкатулка с деньгами) – и можешь рассчитывать на то, что я буду тебе Другом и Отцом.

– Хороши же у вас детки, сэр Джозеф! – сказала леди и вся передернулась. – Сплошь ревматизм, лихорадка, кривые ноги, кашель, вообще всякие гадости!

– И тем не менее, миледи, – торжественно отвечал сэр Джозеф, – я для бедного человека Друг и Отец. Тем не менее я всегда готов его подбодрить. В конце каждого квартала он будет иметь доступ к мистеру Фишу. В день Нового года я и мои друзья всегда будем пить за его здоровье. Раз в год я и мои друзья будем обращаться к нему с прочувствованной речью. Один раз в своей жизни он, возможно, даже получит – публично, в присутствии господ – небольшое вспомоществование. А когда все эти средства, а также мысль о благородстве труда перестанут ему помогать и он навеки успокоится в могиле, тогда, миледи, – тут сэр Джозеф громко высморкался, – тогда я буду... на тех же условиях... Другом и Отцом... для его детей.

Тоби был глубоко растроган.

– Благодарная у вас семейка, сэр Джозеф, нечего сказать! – воскликнула его супруга.

– Миледи, – произнес сэр Джозеф прямо-таки величественно, – всем известно, что неблагодарность – порок, присущий этому классу. Ничего другого я и не жду.

«Вот-вот. Родимся дурными! – подумал Тоби. – Ничем нас не проймешь».

– Я делаю все, что в человеческих силах, – продолжал сэр Джозеф. – Я выполняю свой долг как Друг и Отец бедняков; и я пытаюсь образовать их ум, по всякому случаю внушая им единственное правило нравственности, какое нужно этому классу, а именно – чтобы они целиком полагались на меня. Не их дело заниматься... э-э... самими собой. Пусть даже они, по наущению злых и коварных людей, выказывают нетерпение и недовольство и повинны в непокорном поведении и черной неблагодарности, – а так оно несомненно и есть, – все равно я их Друг и Отец. Это определено свыше. Это в природе вещей.

Высказав столь похвальные чувства, он распечатал письмо олдермена и стал его читать.

– Как учтиво и как внимательно! – воскликнул сэр Джозеф. – Миледи, олдермен настолько любезен, что напоминает мне о выпавшей ему «великой чести» – он, право же, слишком добр! – познакомиться со мною у нашего общего друга, банкира Дидлса; а также осведомляется, угодно ли мне, чтобы он упряднил Уилла Ферна.

– Ах, очень угодно! – сказала леди Баули. – Он хуже их всех! Надеюсь, он кого-нибудь ограбил?

– Н-нет, – отвечал сэр Джозеф, справляясь с письмом. – Не совсем. Почти. Но не совсем. Он, сколько я понимаю, явился в Лондон искать работы (искал где лучше, как он изволил выразиться) и, будучи найден спящим ночью в сарае, был взят под стражу, а наутро приведен к олдермену. Олдермен говорит (и очень правильно), что намерен упряднить такие вещи; и что, если мне угодно, он будет счастлив начать с Уилла Ферна.

– Да, конечно, пусть это будет назиданием для других, – сказала леди. – Прошлой зимой, когда я ввела у нас в деревне вышивание по трафареткам, считая это превосходным занятием для мужчин и мальчиков в вечернее время, и велела положить на музыку, по новой системе⁶⁹ стихи.

Будем довольны своим положением.
Будем на сквайра взирать с уважением,
Будем трудиться с любовью и рвением

⁶⁹ ...по новой системе... – Речь идет о новой системе нотной записи, введенной в Германии в начале XIX века, а несколько позже принятой и в Англии.

И не предаваться греху объедения,

чтобы они могли петь, пока работают, – этот Ферн, – как сейчас его вижу – притронулся к своей, с позволения сказать, шляпе и заявил: «Не взыщите, миледи, но разве можно меня равнять с девицей?» Я этого, конечно, ожидала; чего, кроме дерзости и неблагодарности, можно ожидать от этих людей? Но не в том дело. Сэр Джозеф! Накажите его в назидание другим!

– Кха! – кашлянул сэр Джозеф. – Мистер Фиш, будьте добры, займитесь...

Мистер Фиш тотчас схватил перо и стал писать под диктовку сэра Джозефа.

– «Секретно. Дорогой сэр! Премного обязан вам за любезный запрос касательно Уильяма Ферна, о котором я, к сожалению, не могу дать благоприятного отзыва. Я неизменно считал себя его Отцом и Другом, однако в ответ встречал с его стороны (случай, должен с прискорбием признать, довольно обычный) только неблагодарность и упорное противодействие моим планам. Уильям Ферн – человек непокорного и буйного нрава. Благонадежность его более чем сомнительна. Никакие уговоры быть счастливым, при полной к тому возможности, на него не действуют. Ввиду этих обстоятельств мне, признаюсь, кажется, что, когда он, дав вам время навести о нем справки, опять предстанет перед вами завтра (как он, по вашим словам, обещал, а я думаю, что в такой степени на него можно положиться), осуждение его на небольшой срок за бродяжничество пойдет на пользу обществу и послужит назиданием в стране, в которой – ради тех, кто, наперекор всему, остается Другом и Отцом бедняков, а также ради самих этих, в большинстве своем введенных в заблуждение людей, – назидания совершенно необходимы. Остаюсь...» и так далее.

– Право же, – заметил сэр Джозеф, подписав письмо и передавая его мистеру Фишу, чтобы тот его запечатал, – это предопределение свыше. В конце года я свожу счета даже с Уильямом Ферном!

Тоби, который уже давно перестал умиляться и снова загрустил, с удрученным видом шагнул вперед, чтобы взять письмо.

– Передайте, что кланяюсь и благодарю. – сказал сэр Джозеф. – Стойте!

– Стойте! – как эхо повторил мистер Фиш.

– Вы, вероятно, слышали, – произнес сэр Джозеф необычайно веско, – кое-какие замечания, которые я был вынужден сделать касательно наступающего торжественного дня, а также нашей обязанности привести свои дела в порядок и быть готовыми. Вы могли заметить, что я не ищущу отговориться своим высоким положением в обществе, но что мистер Фиш – вот этот джентльмен – сидит здесь с чековой книжкой и, скажу больше, для того и находится здесь, чтобы я мог оплатить все мои счета и с завтрашнего дня начать новую жизнь. Ну, а вы, мой друг, можете ли вы положить руку на сердце сказать, что вы тоже подготовились к новому году?

– Боюсь, сэр, – пролепетал Трухти, кротко на него поглядывая, – что я... я немножко задержался с уплатой.

– Задержался с уплатой! – повторил сэр Джозеф Баули отдельно и угрожающе.

– Боюсь, сэр, – продолжал Трухти, запинаясь, – что я задолжал шиллингов десять или двенадцать миссис Чикенстокер.

– Миссис Чикенстокер! – повторил сэр Джозеф точно таким же тоном.

– Она держит лавку, сэр, – пояснил Тоби, – мелочную лавку. И еще – немножко за квартиру. Самую малость, сэр. Я знаю, долги – это непорядок, но очень уж нам туго пришлось.

Сэр Джозеф дважды обвел взглядом свою супругу, мистера Фиша и Тоби. Потом безнадежно развел руками, показывая этим жестом, что на дальнейшую борьбу не способен.

– Как может человек, даже из этого расточительного и упрямого сословия... старый человек, с седой головой... как может он смотреть в лицо новому году, когда дела его в таком состоянии, как может он вечером лечь в постель, а утром снова подняться и... Ну,

довольно, – сказал он, поворачиваясь к Тоби спиной. – Отнесите письмо. Отнесите письмо.

– Я и сам не рад, сэр, – сказал Тоби, стремясь хоть как-нибудь оправдаться. – Очень уж нам тяжело досталось.

Но поскольку сэр Джозеф все твердил «Отнесите письмо, отнесите письмо!», а мистер Фиш не только вторил ему, но для вящей убедительности еще указывал на дверь, бедному Тоби ничего не оставалось, как поклониться и выйти вон. И очутившись на улице, он нахлобучил свою обтрепанную шляпу низко на глаза, чтобы скрыть тоску, которую вселяла в него мысль, что нигде-то ему не перепадает ни крошки от нового года.

На обратном пути, дойдя до старой церкви, он даже не стал снимать шляпу, чтобы, задрав голову, посмотреть на колокольню. Он только приостановился там, по привычке, и смутно подумал, что уже темнеет. Где-то над ним терялась в сумерках церковная башня, и он знал, что вот-вот зазвонят колокола, а в такую пору голоса их всегда доносились к нему точно с облаков. Но сейчас он не чаял поскорее доставить олдермену письмо и убраться подальше, пока они молчат, – он смертельно боялся, как бы они, вдобавок к тому припеву, что он слышал от них в прошлый раз, не стали вызванивать «Друг и Отец, Друг и Отец».

Поэтому Тоби поскорее разделался со своим поручением и затрусил к дому. Но был ли тому виной его аллюр, не очень удобный для передвижения по улице, или его шляпа, надвинутая на самые глаза, а только он, не протрусив и минуты, столкнулся с каким-то встречным и отлетел на мостовую.

– Ох, простите великодушно! – сказал Трухти, в смущении сдвигая шляпу на затылок, от чего стала видна рваная подкладка и голова его уподобилась улью. – Я вас, сохрани бог, не ушиб?

Не такой уж Трухти был Самсон, чтобы ушибить кого-нибудь, гораздо легче было ушибить его самого; он и на мостовую-то отлетел наподобие волана. Однако он держался столь высокого мнения о собственной силе, что не на шутку встревожился и еще раз спросил:

– Я вас, сохрани бог, не ушиб?

Человек, на которого он налетел, – загорелый, жилистый мужчина деревенского вида, с проседью и небритый, – пристально поглядел на него, словно заподозрив шутку. Но убедившись, что Трухти и не думает шутить, ответил:

– Нет, друг, не ушибли.

– И малютка ничего? – спросил Трухти.

– И малютка ничего. Большое спасибо.

С этими словами он посмотрел на девочку, спящую у него на руках, и, заслонив ей лицо концом ветхого шарфа, которым была обмотана его шея, медленно пошел дальше.

Голос, каким он сказал «большое спасибо», проник Трухти в самое сердце. Этот прохожий, весь в пыли и в грязи после долгой дороги, был так утомлен и измучен, он оглядывался по сторонам так растерянно и уныло, – видно, ему приятно было поблагодарить хоть кого-нибудь, за какой угодно пустяк. Тоби в задумчивости смотрел, как он плетется прочь, унося девочку, обвившую рукой его шею.

На мужчину в стоптанных башмаках – от них осталась только тень, только призрак башмаков, – в грубых кожаных гетрах, крестьянской блузе и шляпе с обвислыми полями смотрел в задумчивости Трухти, забыв обо всем на свете. И на руку девочки, обвившую его шею.

Человек уже почти слился с окружающим мраком, но вдруг он оглянулся и, увидев, что Тоби еще не ушел, остановился, точно сомневаясь, вернуться ему или идти дальше. Он сделал сперва первое, потом второе, потом решительно повернул обратно, и Тоби двинулся ему навстречу.

– Не можете ли вы мне сказать, – проговорил путник с легкой улыбкой, – а вы, если можете, то конечно скажете, так я лучше спрошу вас, чем кого другого, – где живет олдермен Кьют?

– Здесь рядом, – ответил Тоби. – Я с удовольствием покажу вам его дом.

– Я должен был явиться к нему завтра, и не сюда, а в другое место, – сказал человек, следуя за Тоби, – но я на подозрении и хотел бы оправдаться, чтобы потом спокойно искать заработка... не знаю где. Так он авось не посетует, если я нынче вечером приду к нему на дом.

– Не может быть! – вскричал пораженный Тоби. – Неужто ваша фамилия Ферн?

– А? – воскликнул его спутник, в изумлении к нему обернувшись.

– Ферн! Уилл Ферн! – сказал Тоби.

– Да, это мое имя, – подтвердил тот.

– Ну, если так, – закричал Тоби, хватая его за руку и опасно озираясь, – ради всего святого, не ходите к нему! Не ходите к нему! Он вас упразднит, уж это как пить дать. Вот, зайдем-ка сюда, в переулок, и я вам все объясню. Только не ходите к нему.

Новый его знакомец скорее всего счел его за помешанного, однако спорить не стал. Когда они укрылись от взглядов прохожих, Тоби выложил все, что знал, – какую скверную рекомендацию дал ему сэр Джозеф и прочее.

Герой его повести выслушал ее с непонятным спокойствием. Он ни разу не перебил и не поправил Тоби.

Время от времени он кивал головой, точно поддакивая старому, надоевшему рассказу, а вовсе не с тем, чтобы его опровергнуть, да раза два сдвинул на макушку шляпу и провел веснушчатой рукой по лбу, на котором каждая пропаханная им борозда словно оставила свой след в миниатюре. Вот и все.

– В общем, уважаемый, все это правда, – сказал он. – Кое-где я бы мог отделить плевелы от пшеницы, да ладно уж. Не все ли равно? Я порчу ему всю картину. На свое горе. Иначе я не могу; я бы завтра опять поступил точно так же. А что до рекомендации, так господа, прежде чем сказать о нас одно доброе слово, уж ищут-ищут, нюхают-нюхают, все смотрят, к чему бы придраться! Ну что ж! Надо надеяться, что им не так легко потерять доброе имя, как нам, а то пришлось бы им жить с такой оглядкой, что и вовсе жить не захочется. О себе скажу, уважаемый, что ни разу вот эта рука, – он вытянул вперед руку, – не взяла чужого; и никогда не отлынивала от работы, хоть какой тяжелой и за любую плату. Даю на отсечение эту самую руку, что не вру! Но когда я, сколько ни работай, не могу жить по-человечески: когда я с утра до ночи голоден; когда я вижу, что вся жизнь рабочего человека этак вот начинается, и проходит, и кончается, без всякой надежды на лучшее, – тогда я говорю господам: «Не трогайте меня и оставьте в покое мой дом. Чтобы вашей ноги в нем не было, мне и без вас тошно. Не ждите, что я прибегу в парк, когда у вас там празднуют день рождения, или произносят душеспасительные речи. Играйте в свои игрушки без меня, на здоровье, желаю удовольствия. Нам не о чем говорить друг с другом. Лучше меня не трогать».

Заметив, что девочка открыла глаза и удивленно осматривается, он осекся, что-то ласково зашептал ей на ухо и поставил ее на землю рядом с собой. Она прижалась к его пропыленной ноге, а он, медленно накручивая одну из ее длинных косичек на свой загрубелый указательный палец, снова обратился к Тоби:

– По природе я, мне кажется, человек покладистый, и уж конечно довольствуюсь малым. Ни на кого из них я не в обиде. Я только хочу жить по-человечески. А этого я не могу, и от тех, что могут, меня отделяет пропасть. Таких, как я, много. Их надо считать не единицами, а сотнями и тысячами.

Тоби знал, что сейчас он наверняка говорит правду, и покивал головой в знак согласия.

– Вот они меня и ославили, – сказал Ферн, – и уж наверно на всю жизнь. Выражать недовольство – незаконно, а я как раз и выражаю недовольство, хотя, видит бог, я бы куда охотнее был бодр и весел. Мне-то что, мне в тюрьме будет не хуже, чем сейчас; но ведь этот олдермен, чего доброго, и впрямь меня засадит, раз за меня некому слова замолвить; а вы понимаете... – и он указал пальцем вниз, на ребенка.

– Красивое у нее личико, – сказал Тоби.

– Да, – отозвался Ферн вполголоса и бережно, обеими руками, повернув лицо девочки к

себе, внимательно в него взгляделся. – Я сам об этом думал, и не раз. Я думал об этом, когда в очаге у меня не было ни единого уголька, а в доме – ни куска хлеба. Думал и в тот вечер, когда нас схватили, точно воров. Но они... они не должны подвергать эту малютку слишком большим испытаниям, верно, Лилиен? Это несправедливо.

Он говорил так глухо и смотрел на девочку так пристально и странно, что Тоби, пытаясь отвлечь его от мрачных мыслей, спросил, жива ли его жена.

– Я никогда и не был женат, – ответил тот, покачав головой. – Она дочка моего брата, круглая сирота. Ей девять лет. На вид меньше, верно? – но это оттого, что она сейчас устала и озябла. О ней там хотели позаботиться – запереть в четырех стенах в рабочем доме, двадцать восемь миль от наших мест (так они позаботились о моем старике отце, когда он больше не мог работать, только он их недолго утруждал); но я взял ее к себе, и с тех пор она живет со мной. У ее матери была здесь, в Лондоне, одна знакомая женщина. Мы хотим ее разыскать, и хотим найти работу, но Лондон – большой город. Ну да ничего, зато есть где погулять, правда, Лилли?

Он улыбнулся девочке и пожал руку Тоби, которому его улыбка показалась печальнее слез.

– Я даже имени вашего не знаю, – сказал он, – но я открыл вам душу, потому что я вам благодарен, – вы мне оказали большую услугу. Я послушаюсь вашего совета и не пойду к этому...

– Судье, – подсказал Тоби.

– Да, раз уж его так называют. К этому судье. А завтра попытаем счастья где-нибудь в пригородах, может там нам больше повезет. Прощайте. Счастливого нового года!

– Стойте! – крикнул Тоби, не выпуская его руки. – Стойте! Не будет новый год для меня счастливым, если мы так простимся. Не будет новый год для меня счастливым, если я отпущу вас с ребенком бродить неведомо где, без крыши над головой. Пойдемте ко мне! Я бедный человек, и дом у меня бедный; но на одну-то ночь я могу вас приютить без всякого для себя ущерба. Пойдемте со мной. А ее я понесу! – говорил Трухти, беря девочку на руки. – Красоточка моя! Да я двадцать таких снесу и не почувствую. Вы скажите, если я иду слишком быстро. Ведь я скороход, всегда этим отличался! – Так говорил Трухти, хотя на один шаг своего усталого спутника он делал пять-шесть семенящих шажков и худые его ноги подгибались под тяжестью девочки.

– Да она легонькая, – тараторил Трухти, работая языком так же торопливо, как ногами: он не терпел, когда его благодарили, и боялся умолкнуть хотя бы на минуту, – легонькая, как перышко. Легче павлиньего перышка, куда легче. Раз-два-три, вот и мы! Первый поворот направо, дядя Уилл, мимо колодца, и налево в проулок прямо напротив трактира. Раз-два-три, вот и мы! Теперь на ту сторону, дядя Уилл, и запоминайте – на углу стоит паштетник. Раз-два-три, вот и мы! Сюда, за конюшни, дядя Уилл, и вон к той черной двери, где на дощечке написано «Т. Вэк, рассыльный»; и раз-два-три, и вот и мы, и вот мы и пришли, Мэг, голубку моя, и как же мы тебя удивили!

С этими словами Трухти, совсем запыхавшись, опустил девочку на пол посреди комнаты. Маленькая гостья взглянула в лицо Мэг и, сразу поверив всему, что увидела в этом лице, бросилась ей на шею.

– Раз-два-три, вот и мы! – прокричал Трухти, бегая по комнате и громко отдуваясь. – Дядя Уилл, у огня-то теплее, что же вы не идете к огню? И раз-два-три, и вот и мы! Мэг, ненаглядная моя, а где чайник? Раз-два-три, вот и нашли, и сейчас он у нас вскипит!

Исполняя свой дикий танец, Трухти и вправду подхватил где-то чайник и поставил его на огонь; а Мэг, усадив девочку в теплый уголок, опустилась перед ней на колени и, сняв с нее башмаки, растирала ее промокшие нот. Да, и смеялась, глядя на Трухти, – смеялась так ласково, так весело, что Трухти мысленно призывал на нее благословение божие: ибо он заметил, что, когда они вошли, Мэг сидела у огня и плакала.

– Полно, отец! – сказала Мэг. – Ты сегодня, кажется, с ума сошел. Просто не знаю, что бы сказали на это колокола. Бедные ножки! Совсем заледенели.

– Они уже теплые! – воскликнула девочка. – Уже согрелись!

– Нет, нет, нет, – сказала Мэг. – Мы еще их как следует не растерли. Уж мы так стараемся, так стараемся! А когда согреем ножки – причешемся, вон как волосы-то отсырели; а когда причешемся – умоемся, чтобы бедные щечки разругались; а когда умоемся, нам станет так весело, и тепло, и хорошо...

Девочка, всхлипнув, обхватила ее руками за шею, потом погладила по щеке и сказала:

– Мэг! Милая Мэг!

Это было лучше, чем благословение, которое призывал на нее Тоби. Лучше этого не могло быть ничего.

– Да отец же! – вдруг воскликнула Мэг.

– Раз-два-три, вот и мы, голубка! – отозвался Тоби.

– Господи помилуй! – вскричала Мэг. – Он в самом деле сошел с ума! Капором нашей малютки накрыл чайник, а крышку повесил за дверь!

– Это я нечаянно, милая, – сказал Тоби, поспешно исправляя свою ошибку. – Мэг, послушай-ка!

Мэг подняла голову и увидела, что он, предусмотрительно заняв позицию за стулом гостя, держит в руке заработанный шестипенсовик и делает ей таинственные знаки.

– Когда я входил в дом, милая, – сказал Тоби, – я заметил где-то на лестнице пакетик чаю; и сдаётся мне, там еще был кусочек грудинки. Не помню точно, где именно он лежал, но я сейчас выйду и попробую его разыскать.

Показав себя столь хитроумным политиком, Тоби отправился купить упомянутые им яства за наличный расчет в лавочке у миссис Чикенстокер; и вскоре вернулся, притворяясь, будто не сразу нашел их в темноте.

– Но теперь все тут, – сказал Тоби, ставя на стол чашки. – Все правильно. Мне так и показалось, что это чай и грудинка. Значит, я не ошибся. Мэг, душенька, если ты заварить чай, пока твой недостойный отец поджаривает сало, все у нас будет готово в одну минуту. Странное это обстоятельство, – продолжал Тоби, вооружившись вилкой и приступая к стряпне, – странное, хотя и известное всем моим знакомым: я лично не жалую грудинку, да и чай тоже. Я люблю смотреть, как другие ими балуются, а сам просто не нахожу в них вкуса.

Между тем Тоби принялся к шипящему салу так, будто этот запах ему очень даже нравился; а заваривая чай в маленьком чайнике, он любовно заглянул в глубь этого уютного сосуда и не поморщился от ароматного пара, который ударил ему в нос и густым облаком окутал его лицо и голову. И однако же он не стал ни пить, ни есть, только попробовал кусочек для порядка и как будто бы даже облизнулся, тут же, впрочем, заявив, что ничего хорошего в грудинке не видит.

Нет. Дело Тоби было смотреть, как едят и пьют Уилл Ферн и Лилиен; и Мэг была занята тем же. И никогда еще зрители на банкете у лорд-мэра или на придворном обеде не испытывали такого наслаждения, глядя, как пируют другие, будь то хоть монарх или папа римский. Мэг улыбалась отцу, Тоби ухмылялся дочери. Мэг покачивала головой и складывала ладони, делая вид, что аплодирует Тоби; Тоби мимикой и знаками совершенно непонятно рассказывал Мэг, как, где и когда он повстречал этих гостей; и оба они были счастливы. Очень счастливы.

«Хоть я и вижу, – с огорчением думал Тоби, поглядывая на лицо дочери, – что свадьба-то расстроилась».

– А теперь вот что, – сказал Тоби после чая. – Малютка, ясное дело, будет спать с Мэг.

– С доброй Мэг! – воскликнула Лилиен, ластясь к девушке. – С Мэг.

– Правильно, – сказал Трухти. – И скорей всего она поцелует отца Мэг, верно? Отец Мэг – это я.

И как же доволен был Тоби, когда девочка робко подошла к нему и, поцеловав его, опять отступила под защиту Мэг.

– Какая умница, ну прямо царь Соломон, – сказал Тоби. – Раз-два-три, прочь пошли... да нет, не то. Я... Мэг, голубка, что это я хотел сказать?

Мэг взглядом указала на Ферна, который сидел рядом с ней и, отвернувшись от нее, ласкал детскую головку, уткнувшуюся ей в колени.

– Ну конечно, – сказал Тоби. – Конечно. Сам не знаю, с чего это я сегодня заговариваюсь. Не иначе как у меня ум за разум зашел, право. Уилл Ферн, идемте со мной. Вы устали до смерти, совсем разбиты, вам надо отдохнуть. Идемте со мной.

Ферн по-прежнему играл кудрями девочки, по-прежнему сидел рядом с Мэг, отвернувшись от нее. Он молчал, но движения его огрубелых пальцев, то сжимавших, то отпускавших светлые пряди, были красноречивее всяких слов.

– Да, да, – сказал Тоби, бессознательно отвечая на мысль, которую он прочел в лице дочери. – Бери ее к себе, Мэг. Уложи ее. Вот так! А теперь, Уилл, идемте, я вам покажу, где вы будете спать. Хоромы не бог весть какие – просто чердак; но я всегда говорю, что чердак – это одно из великих удобств для тех, кто живет при каретнике с конюшнями; и квартира здесь дешевая, благо хозяин пока не сдал ее повыгоднее. На чердаке сколько угодно душистого сена, соседского, а уж чисто так, как только у Мэг бывает. Ну, веселей! Не вешайте голову. Дай бог вам нового мужества в новом году.

Дрожащая рука, перед тем ласкавшая ребенка, покорно легла на ладонь Тоби. И Тоби, ни на минуту не умолкая, отвел своего гостя спать так нежно, словно тот и сам был малым ребенком.

Воротившись в комнату раньше дочери, Тоби подошел к двери ее каморки и прислушался. Девочка читала молитву на сон грядущий; она помянула «милую Мэг», а потом спросила, как зовут его, отца.

Не сразу этот старый чудак успокоился настолько, что собрался помешать угли и пододвинуть стул к огню. Проделав все это и сняв нагар со свечи, он достал из кармана газету и стал читать. Сперва только бегло проглядывая столбец за столбцом, потом – с большим вниманием и хмуро сдвинув брови.

Ибо злосчастная эта газета вновь направила его мысли в то русло, по которому они шли весь день, и в особенности после всего, чему он за этот день был свидетелем. Заботы о двух бездомных отвлекли его на время и дали более приятную пищу для ума; но теперь, когда он остался один и читал о преступлениях и бесчинствах, совершенных бедняками, мрачные мысли опять его одолели.

И тут ему (уже не впервые) попало на глаза сообщение о том, как какая-то женщина в отчаянии наложила руки не только на себя, но и на своего младенца. Это преступление так возмутило его душу, переполненную любовью к Мэг, что он выронил газету и, потрясенный, откинулся на спинку стула.

– Как жестоко и противоестественно! – вскричал Тоби. – На такое способны только в корне дурные люди, люди, которые так и родились дурными, которым не должно быть места на земле. Все, что я слышал сегодня, – чистая правда; все это верно, и доказательств хоть отбавляй. Дурные мы люди!

Колокола подхватили его слова так неожиданно, зазвонили так явственно и громко, что казалось, они ворвались прямо в дом.

И что же они говорили?

«Тоби Вэк, Тоби Вэк, ждем тебя, Тоби! Тоби Вэк, Тоби Вэк, ждем тебя, Тоби! Навести нас, навести нас! Поднимись к нам, поднимись к нам! Мы тебя разыщем, мы тебя разыщем! Полно спать, полно спать! Тоби Тоби Вэк, дверь открыта, Тоби! Тоби Вэк, Тоби дверь открыта, Тоби!..»

И опять сначала, еще яростней, так что гудел уже кирпич и штукатурка стен.

Тоби слушал. Наверно, ему померещилось. Просто это говорит его раскаяние, что он убежал от них нынче перед вечером. Да нет, это в самом деле их голоса! Снова и снова, и еще десять раз то же самое: «Мы тебя разыщем, мы тебя разыщем! Поднимись к нам, поднимись к нам!» – оглушительно громко, на весь город.

– Мэг, – тихо сказал Тоби, постучав в ее дверь. – Ты что-нибудь слышишь?

– Слышу колокола, отец. Они сегодня всюю раззвонились.

– Спит? – спросил Тоби, придумав себе повод, чтобы заглянуть в комнату.

– Сладким сном. Только я еще не могу отойти от нее. Видишь, как она крепко держит мою руку?

– Мэг, – прошептал Тоби. – Ты послушай как следует.

Она прислушалась. Тоби было видно ее лицо, ничего на нем не отразилось. Она их не понимала.

Тоби вернулся к огню, сел и опять стал слушать в одиночестве. Так прошло некоторое время.

Но выдержать это не хватало сил. Неистовство колоколов было страшно.

«Если дверь на колокольню и вправду отворена, – сказал себе Тоби, поспешно снимая фартук, но забыв прихватить шляпу, – почему бы мне не слазить туда, чтобы самому убедиться? Если она заперта, никаких других доказательств мне не нужно. Хватит и этого».

Он крадучись вышел на улицу, почти уверенный в том, что дверь на колокольню окажется закрытой и запертой, – ведь он хорошо ее знал, а отворенной видел за все время раза три, не больше. Это была низкая дверь в темном углу за выступом, и висела она на таких больших железных петлях, а запиралась таким огромным замком, что замка и петель было больше, чем самой двери.

Велико же было удивление Тоби, когда он, подойдя с непокрытой головой к церкви, протянул руку в этот темный угол, шибко побаиваясь, что ее вот-вот кто-то схватит, и борясь с желанием тут же ее отдернуть, – и вдруг оказалось, что дверь, отворявшаяся наружу, не только не заперта, но даже приотворена!

Растерявшись от неожиданности, он сперва думал было вернуться, или сходить за фонарем, или позвать кого-нибудь с собой; но тотчас в нем заговорило природное мужество, и он решил идти один.

– Чего мне бояться? – сказал Трухти. – Ведь это же церковь! Может, просто звонари, входя, забыли затворить дверь.

И он пошел, нащупывая дорогу, как слепой, потому что было очень темно. И было очень тихо, потому что колокола молчали.

За порог намело с улицы кучи пыли, нога ступала по ней как по мягкому бархату, и от одного этого замирало сердце. Узкая лестница начиналась от самой двери, так что Тоби с первого же шагу споткнулся и при этом нечаянно толкнул дверь ногой; ударившись снаружи о стену, дверь с размаху захлопнулась, да так крепко, что он уже не мог отворить ее.

Однако это было лишним основанием для того, чтобы идти вперед. Тоби нащупал витую лестницу и пошел. Вверх, вверх, вверх, кругом и кругом; все выше, выше, выше!

Нельзя сказать, чтобы подниматься ощупью по этой лестнице было приятно: она была такая узкая и крутая, что рука его все время на что-то натыкалась; и то и дело ему мерещился впереди человек или, может быть, призрак, бесшумно уступающий ему дорогу, так что он даже проводил рукой по гладкой стене вверх, ожидая нащупать лицо, и вниз, ожидая нащупать ноги, и мороз подирал его по коже. Несколько раз стена прерывалась нишей или дверью; пустоты эти чудились ему шириной во всю церковь, и он, пока снова не находил стену, ясно ощущал, будто стоит на краю пропасти и сейчас камнем свалится вниз.

Вверх, вверх, вверх; кругом и кругом; все выше, выше, выше.

Наконец в спертom, тяжелом воздухе пахнуло свежестью, потом потянул ветерок, потом задуло так сильно, что Тоби трудно стало держаться на ногах. Но он добрался до стрельчатого окна и, крепко ухватясь за что-то, глянул вниз; он увидел крыши домов, дым из труб, тусклые кляксы огней (там Мэг удивляется, куда он пропал, и, может быть, зовет его) – мутное месиво из тьмы и тумана.

То была вышка, куда поднимались звонари. А держался Тоби за одну из растрепанных веревок, свисавших сквозь отверстия в дубовом потолке. Сперва он вздрогнул, приняв ее за пук волос; потом затрепетал от одной мысли, что мог разбудить большой колокол. Самые колокола помещались выше. И Тоби, точно замороженный или послушный какой-то таинственной силе, полез выше, теперь уже по приставным лестницам, и с трудом, потому

что лестницы были очень крутые и перекладины не слишком надежные.

Вверх, вверх, вверх; карабкаясь, цепляясь; все выше, выше, выше!

И вот, просунув голову между балками, он очутился среди колоколов. Огромные их очертания были едва различимы во мраке; но это были они. Призрачные, темные, немые.

Тоска и ужас стеснили его душу, едва он проник в это заоблачное гнездо из металла и камня. Голова у него кружилась. Он прислушался, а потом истошным голосом крикнул:

– Эй-эй-эй!

– Эй-эй-эй! – угрюмо откликнулось эхо. В смятении, задыхаясь от слабости и страха, Тоби огляделся невидящим взглядом и упал без чувств.

Третья четверть

Темны тяжелые тучи и мутны глубокие воды, когда море сознания, пробуждаясь после долгого штиля, отдает мертвых, бывших в нем.⁷⁰ Чудища, вида странного и дикого, всплывают из глубин, воскресшие до времени, незавершенные; куски и обрывки несходных вещей перемешаны и спутаны; и когда, и как, и каким неисповедимым порядком одно отделяется от другого и всякое чувство, всякий предмет вновь обретает жизнь и привычный облик, – того не знает никто, хотя каждый из нас каждодневно являет собою вместилище этой великой тайны.

Вот почему нет никакой возможности рассказать, когда и как кромешная тьма колокольни сменилась сияющим светом; когда и как пустую башню населили несчетные создания; когда и как докучный шепот «мы тебя разыщем», шелестевший у Тоби над ухом во время его сна или обморока, перешел в громкий и явственный возглас «полно спать!», когда и как рассеялось владевшее им смутное ощущение, что такого не бывает, хотя, с другой стороны, вот же все-таки оно есть. Но сейчас он не спал и, стоя на тех самых досках, на которые давеча свалился замертво, видел перед собой колдовское зрелище.

Он видел, что башня, куда его занесли замороженные ноги, кишмя кишит крошечными призраками, эльфами, химерами колоколов. Он видел, как они непрерывно сыплется из колоколов – вылетают из них, выскакивают, падают. Видел их вокруг себя на полу, и в воздухе над собою; они удирали от него вниз по веревкам, смотрели па него сверху, с толстых балок, опоясанных железными скобами; заглядывали к нему через амбразуры и щели; расходились от него кругами, как вода от брошенного камня. Он видел их во всевозможных обличьях. Были среди них уродцы и пригожие собой, скрюченные и стройненькие. Были молодые и старые, добрые и жестокие, веселые и сердитые: он видел, как они пляшут, и слышал, как они поют; видел, как они рвут на себе волосы, и слышал, как они воют. Они роем вились в воздухе. Беспреданно появлялись и исчезали. Скатывались вниз, взлетали кверху, уплывали вдаль, лезли под нос, проворные и неутомимые. Тоби Вэку, так же, как им, все было видно сквозь камень и кирпич, грифель и черепицу. Он видел их в домах, хлопчущими около спящих. Видел, как одних они успокаивают во сне, а других стегают плетками; одним орут что-то в уши, другим услаждают слух тихой музыкой; одних веселят птичьим щебетом и ароматом цветов; на других, чей сон и без того тревожен, выпускают страшные рожи из волшебных зеркал, которые держат в руках.

Он видел этих призраков не только среди спящих, но и среди бодрствующих, видел их за делами несовместными и в обличьях самых противоречивых. Он видел, как один из них пристегнул множество крыльев, чтобы летать быстрее, а другой навесил на себя цепи и гири, чтобы лететь медленнее. Видел, как одни передвигали часовые стрелки вперед, другие назад, третьи же пытались вовсе остановить часы. Видел, как они разыгрывали тут свадьбу, а там похороны, в этой зале – выборы, а в той – бал; он видел их повсюду, в сплошном,

⁷⁰ ...отдает мертвых, бывших в нем... – намек на библейское «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим».

неустанном движении.

Совсем ошалев от этого сонма юрких, удивительных тварей и от гама колоколов, все время оглушительно трезвонивших, Тоби прислонился к деревянной подпорке, чтобы не упасть, и бледный, в немом изумлении, озирался по сторонам.

Вдруг колокола смолкли. Мгновенная перемена! Весь рой обессилел; крошечные создания съежились, проворства их как не бывало; они пробовали взлететь, но тут же никли, умирали и растворялись в воздухе, а новых не возникало. Один, правда, еще довольно бойко спрыгнул с большого колокола и упал на ноги, но не успел он двинуться с места, как уже умер и пропал из глаз. Несколько штук из тех, что совсем недавно резвились на колокольне, оказались чуть долговечнее, – они еще вертелись и вертелись, но с каждым поворотом слабели, бледнели, редели и вскоре последовали за остальными. Дольше всех храбрился малюсенький горбун, который забрался в угол, где еще жило эхо; там он долго крутился и подскакивал совсем один и проявил такое упорство, что перед тем, как ему окончательно раствориться, от него еще оставалась ножка, потом носок башмачка; но в конце концов исчез и он, и колокольня затихла.

Тогда и только тогда старый Тоби заметил в каждом колоколе бородатую фигуру такой же, как колокол, формы и такую же высокую. Непостижимым образом то были и фигуры и колокола; и огромные, важные, они не сводили взгляда с застывшего от ужаса Тоби.

Таинственные, грозные фигуры! Они ни на чем не стояли, но повисли в ночном воздухе, и головы их, скрытые капюшонами, тонули во мраке под крышей. Они были недвижимые, смутные; смутные и темные, хотя он видел их при странном свете, исходившем от них же – другого света не было, – и все прижимали скрытый в черных складках покрывала палец к незримым губам.

Он не мог ринуться прочь от них через отверстие в полу, ибо способность двигаться совершенно его оставила. Иначе он непременно бы это сделал – да что там, он бросился бы с колокольни вниз головой, лишь бы скрыться от взгляда, который они на него устремили, который не отпустил бы его, даже если б вырвать у них глаза.

Снова и снова неизъяснимый ужас, притаившийся на этой уединенной вышке, где властвовала дикая, жуткая ночь, касался его, как ледяная рука мертвеца. Что всякая помощь далеко; что от земли, где живут люди, его отделяет бесконечная темная лестница, на каждом повороте которой сторожит нечистая сила; что он один, высоко-высоко, там, где днем летают птицы и голова кружится на них смотреть; что он отторгнут от всех добрых людей, – в такой час они давно разошлись по домам, заперли двери и спят; – все это он ощутил сразу, и его словно пронизало холодом. А тем временем и страхи его, и мысли, и глаза были прикованы к загадочным фигурам. Глубокий мрак, обволакивающий их, да и самая их форма и сверхъестественная их способность держаться в воздухе делали их не похожими ни на какие другие образы нашего мира; однако видны они были столь же ясно, как крепкие дубовые рамы, подпоры, балки и брусья, на которых висели колокола. Их окружал целый лес обтесанных деревьев; и из глубины его, из этой путаницы и переплетения, как из чаши мертвого бора, сгубленного ради их таинственных целей, они грозно и не мигая смотрели на Тоби.

Порыв ветра – о, какой холодный и резкий! – со стоном налетел на башню. И когда он замер, большой колокол, или дух большого колокола, заговорил.

– Кто к нам явился? – Голос был низкий, гулкий, и Тоби показалось, что он исходит из всех колоколов сразу.

– Мне слышалось, что колокола зовут меня, – сказал Тоби, умоляюще воздев руки. – Сам не знаю, зачем я здесь и как сюда попал. Уже сколько лет я слушаю, что говорят колокола. Они часто утешали меня.

– А ты благодарил их? – спросил колокол.

– Тысячу раз! – воскликнул Тоби.

– Как?

– Я бедный человек, – застыдился Тоби, – я мог благодарить их только словами.

– И ты всегда это делал? – спросил дух колокола. – Никогда не грешил на нас?

– Никогда! – горячо вскричал Тоби.

– Никогда не грешил на нас скверными, лживыми, злыми словами?

Тоби уже готов был ответить: «Никогда!», но осекся и смешался.

– Голос Времени, – сказал дух, – призывает к человеку: «Иди вперед!» Время хочет, чтобы он шел вперед и совершенствовался; хочет для него больше человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы он продвигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда только началось Время и начался человек. Долгие века зла, темноты и насилия сменяли друг друга, несчетные множества людей мучились, жили и умирали, чтобы указать человеку путь. Кто тщится преградить ему дорогу или повернуть его вспять, тот пытается остановить мощную машину, которая убьет дерзкого насмерть, а сама, после минутной задержки, заработает еще более неукротимо и яростно.

– У меня и в мыслях такого не было, сэр, – сказал Трухти. – Если я сделал это, так как-нибудь невзначай. Нарочно нипочем не стал бы.

– Кто вкладывает в уста Времени или слуг его, – продолжал дух, – сетования о днях, тоже знавших невзгоды и падения и оставивших по себе глубокий и печальный след, видимый даже слепому, – сетования, которые служат настоящему только тем, что показывают людям, как нужна их помощь, раз кто-то способен сожалеть даже о таком прошлом, – кто это делает, тот грешит. И в этом ты согрешил против нас, колоколов.

Страх Тоби начал утихать. Но он, как вы знаете, всегда питал к колоколам любовь и признательность; и когда он услышал обвинение в том, что так жестоко их обидел, сердце его исполнилось раскаянья и горя.

– Если б вы знали, – сказал Тоби, смиренно сжав руки, – а может, вы и знаете... если вы знаете, сколько раз вы коротали со мной время; сколько раз вы подбадривали меня, когда я готов был пасть духом; как служили забавой моей маленькой дочке Мэг (других-то забав у нее почти и не было), когда умерла ее мать и мы с ней остались одни, – вы не попомните зла за безрассудное слово.

– Кто услышит в нашем звоне пренебрежение к надеждам и радостям, горестям и печалям многострадальной толпы; кому послышится, что мы соглашаемся с мудрецами, меряющими человеческие страсти и привязанности той же меркой, что и жалкую пищу, на которой человечество хиреет и чахнет, – тот грешит. И в этом ты согрешил против нас! – сказал колокол.

– Каюсь! – сказал Трухти. – Простите меня!

– Кому слышится, будто мы вторим слепым червям земли, упразднителям тех, кто придавлен и сломлен, но кому предназначено быть вознесенными на такую высоту, куда этим мокрицам времени не заползти даже в мыслях, – продолжал дух колокола, – тот грешит против нас. И в этом грехе ты повинен.

– Невольный грех, – сказал Тоби. – По невежеству. Невольно.

– И еще одно, а это важнее всего, – продолжал колокол. – Кто отвращается от падших и изувеченных своих братьев; отрекается от них, как от скверны, и не хочет проследить сострадательным взором открытую пропасть, в которую они скатились из мира добра, цепляясь в своем падении за травинки и кочки утраченной этой земли, и не выпускали их даже тогда, когда умирали, израненные, глубоко на дне, – тот грешит против бога и человека, против времени и вечности. И в этом грехе ты повинен.

– Сжальтесь надо мной! – вскричал Тоби, падая на колени. – Смилуйтесь!

– Слушай! – сказала тень.

– Слушай! – подхватили остальные тени.

– Слушай! – произнес ясный детский голос, показавшийся Тоби знакомым.

Внизу, в церкви, слабо зазвучал орган. Постепенно нарастая, мелодия его достигла крыши, наполнила хоры и неф. Она все ширилась, поднималась выше и выше, вверх, вверх, вверх, будя растревоженные сердца дубовых балок, гулких колоколов, окованных железом дверей, прочных каменных лестниц; и, наконец, когда стены башни уже не могли вместить

ее, взмыла к небу.

Не удивительно, что и грудь старика не могла вместить такого могучего, огромного звука. Он вырвался из этой хрупкой тюрьмы потоком слез; и Трухти закрыл лицо руками.

– Слушай! – сказала тень.

– Слушай! – сказали остальные тени.

– Слушай! – сказал детский голос. На колокольню донеслось торжественное пение хора. Пели очень тихо и скорбно – за упокой, – и Тоби, вслушавшись, различил в этом хоре голос дочери.

– Она умерла! – воскликнул старик. – Мэг умерла! Ее дух зовет меня! Я слышу!

– Дух твоей дочери, – сказал колокол, – оплакивает мертвых и общается с мертвыми – мертвыми надеждами, мертвыми мечтами, мертвыми грезами юности; но она жива. Узнай по ее жизни живую правду. Узнай от той, кто тебе всех дороже, дурными ли рождаются дурные. Узнай, как даже с прекраснейшего стебля срывают один за другим бутоны и листья и как он сохнет и вянет. Следуй за ней! До роковой черты!

Темные фигуры все как одна подняли правую руку и указали вниз.

– Призрак дней прошедших и грядущих будет тебе спутником, – сказал голос. – Иди. Он стоит за тобой.

Тоби оглянулся и увидел... девочку? Девочку, которую нес на руках Уилл Ферн! Девочку, чей сон – вот только что – охраняла Мэг!

– Я сам сегодня нес ее на руках, – сказал Трухти.

– Покажи ему, что такое он сам, – сказали в один голос темные фигуры.

Башня разверзлась у его ног. Он глянул вниз, и там, далеко на улице, увидел себя, разбившегося и недвижимого.

– Я уже не живой! – вскричал Трухти. – Я умер!

– Умер! – сказали тени.

– Боже милостивый! А новый год...

– Прошел, – сказали тени.

– Как! – крикнул он, содрогаясь. – Я забрел не туда, оступился в темноте и упал с колокольни... год назад?

– Девять лет назад, – ответили тени.

Отвечая, они опустили простертые руки; там, где только что были темные фигуры, теперь висели колокола.

И звонили: им опять пришло время звонить. И опять сонмы эльфов возникли неизвестно откуда, опять они были заняты диковинными своими делами, а едва смолкли колокола, опять стали бледнеть, пропадать из глаз, и растворились в воздухе.

– Кто они? – спросил Тоби. – Я наверно сошел с ума, но если нет, кто они такие?

– Голоса колоколов. Колокольный звон, – отвечала девочка. – Их дела и обличья – это надежды и мысли смертных, и еще – воспоминания, которые у них накопились.

– А ты? – спросил ошеломленно Трухти. – Кто ты?

– Тише, – сказала девочка. – Смотри!

В бедной, убогой комнате, склонившись над таким же вышиванием, какое он часто, часто видел у нее в руках, сидела Мэг, его родная, нежно любимая дочь. Он не пытался поцеловать ее; не пробовал прижать ее к сердцу; он знал, что это отнято у него навсегда. Но он, весь дрожа, затаил дыхание и смахнул набежавшие слезы, чтобы разглядеть ее получше. Чтобы только видеть ее.

Да, она изменилась. Как изменилась! Ясные глаза потускнели. Свежие щеки увяли. Красива по-прежнему, но надежда, где та молодая надежда, что когда-то отдавалась в его сердце, как голос!

Мэг оторвалась от пялец и взглянула на кого-то. Проследив за ее взглядом, старик отшатнулся.

Он сразу узнал ее в этой взрослой женщине. Так же завивались кудрями длинные шелковистые волосы; те же были полураскрытые детские губы. Даже в глазах, обращенных с

вопросом к Мэг, светился тот же взгляд, каким она всматривалась в эти черты, когда он привел ее к себе в дом!

Тогда кто же это здесь, рядом с ним?

С трепетом заглянув в призрачное лицо, он увидел в нем что-то... что-то торжественное, далекое, смутно напоминавшее о той девочке, как напоминала ее и женщина, глядевшая на Мэг; а между тем это была она, да, она; и в том же платье.

Но тише! Они разговаривают!

– Мэг, – нерешительно сказала Лилиен, – как часто ты поднимаешь голову от работы, чтобы взглянуть на меня!

– Разве мой взгляд так изменился, что пугает тебя? – спросила Мэг.

– Нет, родная. Ты ведь и спрашиваешь это только в шутку. Но почему ты не улыбаешься, когда смотришь на меня?

– Да я улыбаюсь. Разве нет? – отвечала Мэг с улыбкой.

– Сейчас – да, – отвечала Лилиен. – Но когда ты думаешь, что я работаю и не вижу тебя, лицо у тебя такое грустное, озабоченное, что я и смотреть на тебя боюсь. Жизнь наша тяжелая, трудная, и улыбаться нам мало причин, но раньше ты была такая веселая!

– А сейчас разве нет? – воскликнула Мэг с непонятной тревогой и, поднявшись, обняла девушку. – Неужели из-за меня наша тоскливая жизнь кажется тебе еще тоскливее?

– Если бы не ты, у меня бы никакой жизни не было! – сказала Лилиен, пылко ее целуя. – Если бы не ты, я бы, кажется, и не захотела больше так жить. Работа, работа, работа! Столько часов, столько дней, столько долгих-долгих ночей безнадежной, безотрадной, нескончаемой работы – и для чего? Не ради богатства, не ради веселой, роскошной жизни, не ради достатка, пусть самого скромного; нет, ради хлеба, ради жалких грошей, которых только и хватает на то, чтобы снова работать, и во всем нуждаться, и думать о нашей горькой доле! Ах, Мэг! – Она заговорила громче и стиснула руки на груди, словно от сильной боли. – Как может жестокий мир существовать и равнодушно смотреть на такую жизнь!

– Лилли! – сказала Мэг, успокаивая ее и откидывая ей волосы с лица, залитого слезами. – Лилли! И это говоришь ты, такая молодая, красивая!

– В том-то и ужас, Мэг! – перебила девушка, отпрянув и умоляюще глядя ей в лицо. – Преврати меня в старуху, Мэг! Сделай меня сморщенной, дряхлой, избавь от страшных мыслей, которые смущают меня, молодую!

Трухти повернулся к своей спутнице. Но призрак девочки обратился в бегство. Исчез.

И сам он уже находился совсем в другом месте. Ибо сэр Джозеф Баули, Друг и Отец бедняков, устроил пышное празднество в Баули-Холле по случаю дня рождения своей супруги. А поскольку леди Баули родилась в первый день года (в чем местные газеты усматривали перст провидения, повелевшего леди Баули всегда и во всем быть первой), то и празднество это происходило на Новый год.

Баули-Холл был полон гостей. Явился краснолицый джентльмен, явился мистер Файлер, явился достославный олдермен Кьют, – этот последний питал склонность к великим мира сего и благодаря своему любезному письму весьма сблизился с сэром Джозефом Баули, стал прямо-таки другом этой семьи, – явилось и еще множество гостей. Явился и бедный невидимый Трухти и бродил по всему дому унылым привидением, разыскивая свою спутницу.

В великолепной зале шли приготовления к великолепному пиру, во время которого сэр Джозеф Баули, общепризнанный Друг и Отец бедняков, должен был произнести великолепную речь. До этого его Друзьям и Детям предстояло съесть известное количество пудингов в другом помещении; затем по данному знаку Друзья и Дети, влившись в толпу Друзей и Отцов, должны были образовать семейное сборище, в коем ни один мужественный глаз не останется не увлажненным слезой умиления.

Но это не все. Даже это еще не все. Сэр Джозеф Баули, баронет и член парламента, должен был сыграть в кегли – так-таки сразиться в кегли – со своими арендаторами!

– Невольно вспоминаются дни старого короля Гарри, – сказал по этому поводу

олдермен Кьют. – Славный был король, добрый король. Да. Вот это был молодец.

– Безусловно, – сухо подтвердил мистер Файлер. – По части того, чтобы жениться и убивать своих жен. Кстати сказать, число жен у него было значительно выше среднего.⁷¹

– Вы-то будете брать в жены прекрасных леди, но не станете убивать их, верно? – обратился олдермен Кьют к наследнику Баули, имевшему от рода двенадцать лет. – Милый мальчик! Мы и оглянуться не успеем, – продолжал олдермен, положив руки ему на плечи и приняв самый глубокомысленный вид, – как этот маленький джентльмен пройдет в парламент. Мы услышим о его победе на выборах; о его речах в палате лордов; о лестных предложениях ему со стороны правительства, о всевозможных блестящих его успехах. Да, не успеем мы оглянуться, как будем по мере своих скромных сил возносить ему хвалу на заседаниях городского управления. Помяните мое слово!

«Ох, какая же большая разница между обутыми и босыми!» – подумал Тоби. Но сердце его потянулось даже к этому ребенку: он вспомнил о босоногих мальчишках, которым предначертано было (олдерменом) вырасти преступниками и которые могли бы быть детьми бедной Мэг.

– Ричард, – стонал Тоби, блуждая среди гостей. – Где он? Я не могу найти Ричарда! Где Ричард?

Казалось бы, что здесь делать Ричарду, даже если он еще жив? Но от тоски и одиночества Тоби совсем потерял голову; и все блуждал среди нарядных гостей, ища свою спутницу и повторяя:

– Где Ричард? Покажи мне Ричарда! Во время этих блужданий навстречу ему попался доверенный секретарь мистер Фиш, страшно взволнованный.

– Что же это такое! – воскликнул мистер Фиш. – Где олдермен Кьют? Видел кто-нибудь олдермена?

Видел ли кто олдермена? Да полно, разве кто-нибудь мог не увидеть олдермена? Он был так обходителен, так любезен, так твердо помнил о естественном для каждого человека желании видеть его, что, пожалуй, единственный его недостаток в том и состоял, что он все время был на виду. И где бы ни находились великие мира сего, там же, в силу сродства избранных душ, находился и Кьют.

Несколько голосов крикнуло, что он – в том кружке, что собрался возле сэра Джозефа. Мистер Фиш направился туда, нашел его и потихоньку отвел к ближайшему окну. Трухти последовал за ними. Не умышленно. Ноги сами понесли его в ту сторону.

– Дорогой олдермен Кьют! – сказал мистер Фиш. – Отойдем еще подальше. Произошло нечто ужасное. Мне только сию минуту дали знать. Думаю, что сэру Джозефу лучше не сообщать об этом до конца праздника. Вы хорошо знаете сэра Джозефа и посоветуете мне, как быть. Поистине страшное и прискорбное событие!

– Фиш! – сказал олдермен. – Фиш, дорогой мой, что случилось? Надеюсь, ничего революционного? Никто не... не покушался на, полномочия мировых судей?

– Дидлс, банкир... – пролепетал Фиш. – Братья Дидлс... его сегодня здесь ждали... занимал такой высокий пост в Пробирной палатке...

– Неужели прекратил платежи? – вскричал олдермен. – Быть не может!

– Застрелился.

– Боже мой!

– У себя в конторе, – сказал мистер Фиш. – Сунул в рот дуствольный пистолет и спустил курок. Причин – никаких. Был всем обеспечен.

– Обеспечен! – воскликнул олдермен. – Да он был богатейший человек. Почтеннейший человек. Самоубийство! От собственной руки!

– Сегодня утром, – подтвердил Фиш.

⁷¹ ...число жен у него было значительно выше среднего. – Генрих VIII был женат шесть раз. С двумя из своих жен он развелся, две других были казнены по его приказу.

– О бедный мозг! – воскликнул олдермен, набожно воздев руки. – О нервы, нервы! Тайны машины, называемой человеком! О, как мало нужно, чтобы нарушить ее ход, – несчастные мы создания! Возможно, неудачный обед, мистер Фиш. Возможно, поведение его сына, – я слышал, что этот молодой человек вел беспутный образ жизни и взял в привычку выдавать векселя на отца, не имея на то никакого права! Такой почтенный человек! Один из самых почтенных, каких я только знал! Это потрясающий случай, мистер Фиш. Это общественное бедствие! Я не премину надеть глубокий траур. Такой почтенный человек! Однако на все воля божия. Мы должны покоряться, мистер Фиш. Должны покоряться!

Как, олдермен! Ни слова о том, чтобы упразднить? Вспомни, праведный судия, как ты гордился и хвастал своей высокой нравственностью. Ну же, олдермен! Уравновесь чашки весов. Брось-ка на эту, пустую, меня, да голод, да какую-нибудь бедную женщину, у которой нужда и лишения иссушили жизненные соки, сделали ее глухой к слезам ее отпрысков, хотя они-то имели право на ее участие, право, дарованное святой матерью Евой. Взвесь то и другое, ты, Даниил,⁷² когда придет твой час предстать перед Страшным судом! Взвесь то и другое на глазах у тысяч страдальцев, для которых ты разыгрываешь свой жестокий фарс, и не думай, будто их так легко обмануть. А что, если у тебя самого помрачится разум – долго ли? – и ты перережешь себе горло в назидание своим сытым собратьям (если есть у тебя собратья), чтобы они поосторожнее читали мораль удрученным и отчаявшимся. Что тогда?

Слова эти возникли в сердце у Тоби, точно произнесенные не его, а чьим-то чужим голосом. Олдермен Кьют заверил мистера Фиша, что поможет ему сообщить о печальном происшествии сэру Джозефу, когда кончится праздник. На прощанье, в сокрушении душевном стиснув руку мистера Фиша, он еще раз сказал: «Такой почтенный человек!» И добавил, что ему (даже ему!) непонятно, как допускаются на земле подобные несчастья.

– Впору предположить, хоть это, конечно, и не так, – сказал олдермен Кьют, – что временами в природе совершаются какие-то страшные сдвиги, влияющие на всю систему общественного устройства. Братья Дидлс!

Игра в кегли прошла с огромным успехом. Сэр Джозеф сбивал кегли весьма искусно; его наследник тоже бросил шар, с более близкого расстояния; и все признали, что раз уж баронет и сын баронета играют в кегли, значит дела в стране поправляются, и притом очень быстро.

В надлежащее время был подан обед. Трухти, сам не рная зачем, тоже направился в залу, – его повлекло туда нечто, бывшее сильнее собственной его воли. Зала представляла собой прелестную картину; дамы были одна другой красивее; все гости – довольны, веселы и благодушны. Когда же в дальнем конце залы отворились двери и в них хлынули жители деревни в своих крестьянских костюмах, зрелище стало совершенно уже восхитительным. Но Тоби ни на что не смотрел, а только продолжал шептать: «Где Ричард? Он бы должен помочь ей, утешить ее! Я не вижу Ричарда!»

Уже было предложено несколько тостов; уж выпили за здоровье леди Баули; уже сэр Джозеф Баули поблагодарил гостей и произнес свою великолепную речь, в которой привел разнообразные доказательства тому, что он прирожденный Друг и Отец и прочее; и сам предложил тост: за своих Друзей и Детей и за благородство труда, – как вдруг внимание Тоби привлекло легкое замешательство в конце залы. После недолгой суеты, шума и пререканий какой-то человек протиснулся сквозь толпу и выступил вперед.

Не Ричард. Нет. Но и об этом человеке Тоби много раз думал, пытался его разыскать. При менее ярком свете Тоби, возможно, не сообразил бы, кто этот изможденный мужчина, такой старый, седой, ссутулившийся; но сейчас, когда десятки ламп озаряли его большую шишковатую голову, он тотчас признал Уилла Ферна.

⁷² *Взвесь то и другое, ты, Даниил...* – намек на библейского пророка Даниила, который истолковал таинственную надпись, появившуюся на стене дворца царя Валтасара. Часть надписи гласила: «Ты взвешен на весах и найден очень легким».

– Что такое! – вскричал сэр Джозеф, вставая с места. – Кто впустил сюда этого человека? Это преступник, только что из тюрьмы! Мистер Фиш, будьте так добры, займитесь...

– Одну минуту! – сказал Уилл Ферн. – Одну минуту! Миледи, нынче день рожденья – ваш и нового года. Разрешите мне сказать слово.

Она вступилась за него. Сэр Джозеф с присущим ему достоинством снова опустился на стул.

Гость-оборванец – одежда на нем была вся в лохмотьях – оглядел собравшихся и смиренно им поклонился.

– Добрые господа! – сказал он. – Вы пили за здоровье рабочего человека. Посмотрите на меня!

– Прямехонько из тюрьмы, – сказал мистер Фиш.

– Прямехонько из тюрьмы, – подтвердил Ферн. – И не в первый раз, не во второй, не в третий, даже не в четвертый.

Тут мистер Файлер брюзгливо заметил, что четыре раза это уже выше среднего и как, мол, не стыдно.

– Добрые господа! – повторил Уилл Ферн. – Посмотрите на меня! Вы видите, на что я стал похож – хуже некуда, мне теперь ни повредить больше нельзя, ни помочь; то время, когда ваши милостивые слова и благодеяния могли принести пользу мне, – он ударил себя в грудь и тряхнул головой, – то время ушло, развеялось, как запах прошлогоднего клевера. Я хочу замолвить слово за них, – он указал на работников, столпившихся в углу залы, – сейчас вы тут все в сборе, так выслушайте раз в жизни настоящую правду.

– Здесь не найдется никого, – сказал хозяин дома, – кто уполномочил бы этого человека говорить от его имени.

– Очень может быть, сэр Джозеф. Я тоже так думаю. Но это не значит, что в моих словах нет правды. Может, как раз это-то их и подтверждает. Добрые господа, я прожил в этих местах много лет. Вон от той канавы виден мой домишко. Сколько раз нарядные леди срисовывали его в свои альбомы. Говорят, на картинках он получается очень красиво; но на картинках нет погоды, вот и выходит, что куда лучше его срисовывать, чем в нем жить. Ну ладно, я в нем жил. Как трудно и тяжело мне там жилось, про это я не стану рассказывать. Можете убедиться сами, в любой день, когда угодно.

Он говорил так же, как в тот вечер, когда Тоби встретил его на улице. Голос его стал более глухим и хриплым и временами дрожал; но ни разу он не поднялся до страстного крика, а звучал сурово и обыденно, под стать тем обыденным фактам, которые он излагал.

– Вырасти в таком доме порядочным, мало-мальски порядочным человеком труднее, чем вы думаете, добрые господа. Что я вырос человеком, а не зверем, – и то хорошо; это, как-никак, похвала мне... такому, каким я был. А какой я стал – такого меня и хвалить не за что, и сделать для меня уже ничего нельзя. Кончено.

– Я рад, что этот человек пришел сюда, – заметил сэр Джозеф, обводя своих гостей безмятежным взглядом. – Не прерывайте его. Видимо, такова воля всевышнего. Перед нами пример, живой пример. Я надеюсь, я верю и жду, что мои друзья усмотрят в нем назидание.

– Я выжил, – вновь заговорил Ферн после минутного молчания. – Как – и сам не знаю, и никто не знает; но до того мне было трудно, что я не мог делать вид, будто я всем доволен, или прикидываться не тем, что я есть. Ну, а вы, джентльмены, что заседаете в судах, когда вы видите, что у человека на лице написано недовольство, вы говорите друг другу: «Это подозрительный субъект. Этот Уилл Ферн мне что-то не нравится. Надо за ним последить!» Удивляться тут нечему, джентльмены, я просто говорю, что это так; и уж с этого часа все, что Уилл Ферн делает и чего не делает, – все оборачивается против него.

Олдермен Кьют засунул большие пальцы в карманы жилета и, откинувшись на стуле, с улыбкой подмигнул ближайшему канделябру, словно говоря: «Ну конечно! Я же вам говорил. Старая песня. Все это нам давно знакомо – и мне и человеческой природе».

– А теперь, джентльмены, – сказал Уилл Ферн, протянув к ним руки, и бледное лицо

его на мгновение залилось краской, – вспомните ваши законы, ведь они как нарочно придуманы для того, чтобы травить нас и расставлять нам ловушки, когда мы дойдем до такого положения. Я пробую перебраться в другое место. И оказываюсь бродягой. В тюрьму его! Я возвращаюсь сюда. Иду в ваш лес за орехами и ломаю несколько веток – с кем не случается! В тюрьму его! Один из ваших сторожей видит меня среди бела дня с ружьем, около моего же огорода. В тюрьму его! Вышел из тюрьмы и, само собой, обругал этого сторожа как следует. В тюрьму его! Я срезал палку. В тюрьму его! Подобрал и съел гнилое яблоко или репу. В тюрьму его! Обрато идти двадцать миль; по дороге попросил милостыню. В тюрьму его! А потом уж где бы я ни был, что бы ни делал, непременно попадаюсь на глаза то констеблю, то сторожу, то еще кому-нибудь. В тюрьму его, он бродяга, сколько раз сидел за решеткой, у него и дома-то нет, кроме тюрьмы.

Олдермен глубокомысленно кивнул, как бы говоря: «Что ж, дом самый подходящий!»

– Ради кого я это говорю, неужели ради себя? – воскликнул Ферн. – Кто вернет мне мою свободу, мое доброе имя, невинность моей племянницы! Тут бессильны все лорды и леди, сколько их ни есть в Англии. Но прошу вас, добрые господа, когда имеете дело с другими, подобными мне, начинайте не с конца, а с начала. Дайте, прошу вас, сносные дома тем, кто еще лежит в колыбели; дайте сносную пищу тем, кто трудится в поте лица; дайте более человеческие законы, чтобы не губить нас за первую же провинность, и не гоните нас за каждый пустяк в тюрьму, в тюрьму, в тюрьму! Тогда мы будем с благодарностью принимать всякое снисхождение, какое вы пожелаете оказать рабочему человеку, – ведь сердце у него незлое, терпеливое и отзывчивое. Но сперва вы должны спасти в нем живую душу. Ибо сейчас – пусть это пропащий, как я, или один из тех, что здесь собрались, – все равно, душой он не с вами. Верните себе его душу, господа, верните! Не дожидайтесь того дня, когда даже в библии его помутившемуся разуму почудится не то, что было в ней раньше, и знакомые слова предстанут его глазам такими, как они представляли иногда моим глазам... в тюрьме: «Куда ты пойдешь, туда я не пойду; где ты будешь жить, там я не буду жить; народ твой – не мой народ, и твой бог – не мой бог!».⁷³

Внезапно в зале началось какое-то волнение и суета. Тоби подумал было, что это гости повскакали со своих мест, чтобы выгнать Ферна. Но в следующую минуту и зала и гости исчезли, и перед ним снова сидела его дочь, склонившись над работой. Только теперь каморка ее была другая, совсем уже нищенская; и Лилиен рядом с ней не было.

Пяльцы, за которыми Лилиен когда-то работала, были убраны на полку и прикрыты. Стул, на котором она сидела, – повернут к стене. В этих мелочах и в осунувшемся от горя лице Мэг была целая повесть. Каждый прочел бы ее с первого взгляда!

Мэг прилежно трудилась, пока не стемнело, а когда перестала различать нити, зажгла грошовую свечу и опять принялась за работу. Старый ее отец, невидимый, все стоял возле нее, смотрел на нее, любил ее – так любил! – и ласковым голосом говорил ей что-то про прежние дни и про колокола. Хотя он и знал – бедный Трухти! – что она его не слышит.

Уже совсем поздно вечером в дверь постучали. Мэг отворила. На пороге стоял мужчина. Угрюмый, пьяный, неопрятный, истасканный, со свалывшимися волосами и нестриженной бородой; но по каким-то признакам еще можно было угадать, что в молодости он был ладный и красивый.

Он стоял, ожидая разрешения войти, а она, отступив на шаг от двери, смотрела на него молча и печально. Желание Тоби исполнилось: он увидел Ричарда.

– Можно к тебе, Маргарет?

– Да. Войди. Войди!

Хорошо, что Тоби знал его раньше, чем он заговорил; не то, услышав этот грубый, сиплый голос, он бы ни за что не поверил, что перед ним Ричард.

⁷³ «Куда ты пойдешь, туда я не пойду... твой бог не мой бог!» – парафраза библейского текста. Руфь, отказавшись после смерти мужа вернуться в свой родной дом, говорит свекрови: «Куда ты пойдешь, туда я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой бог – моим богом».

В комнате было только два стула. Мэг уступила ему свой, а сама, отойдя немного в сторону, стояла и ждала, что он скажет. Но он сидел, тупо уставясь в пол, с застывшей, бессмысленной улыбкой. Он являл собой картину такого глубокого падения, такой предельной безнадежности, такого жалкого позора, что она закрыла лицо руками и отвернулась, чтобы скрыть свою боль.

Очнувшись от шороха ее платья или другого какого-то звука, он поднял голову и заговорил, словно только сейчас переступил порог.

– Все за работой, Маргарет? Поздно ты кончаешь.

– Как всегда.

– А начинаешь рано?

– Начинаю рано.

– Вот и она так говорит. Говорит, что ты никогда не уставала; или не признавалась, что устала. Это когда вы жили вместе. Даже если падала в обморок от усталости и голода. Но это я тебе уже рассказывал в прошлый раз.

– Да, – отвечала она. – А я просила тебя больше ничего мне не рассказывать; и ты мне поклялся, Ричард, что не будешь.

– Поклялся, – повторил он с пьяным смехом, глядя на нее пустыми глазами. – Поклялся. Вот-вот. Поклялся! – Потом, точно снова очнувшись, сказал с неожиданной горячностью: – А как же мне быть, Маргарет? Как же мне быть? Она опять ко мне приходила!

– Опять! – воскликнула Мэг, всплеснув руками. – Значит, она так часто обо мне вспоминает! Опять приходила?

– Сколько раз, Маргарет, она не дает мне покою. Нагоняет меня на улице и сует мне в руку. Когда я работаю (ха-ха, это не часто бывает), она подходит ко мне тихонько по золе и шепчет мне в ухо: «Ричард, не оглядывайся. Ради всего святого, передай ей это». Приносит мне на квартиру, посылает в письмах; иногда стукнет в окно и положит на подоконник. Что я могу поделать? Вот, гляди!

Он протянул ей маленький кошелек и подкинул его на ладони, так что в нем забренчали монеты.

– Спрячь его, – сказала Мэг, – спрячь! Когда она опять придет, скажи ей, что я люблю ее всем сердцем. Что я каждый вечер молюсь за нее. Что, когда сижу одна за работой, все время о ней думаю. Что она со мной, днем и ночью. Что, если бы мне завтра умирать, я помнила бы о ней до последнего вздоха. Но что на деньги эти я и смотреть не хочу.

Он медленно убрал руку и, сжав деньги в кулаке, произнес не то задумчиво, не то сонно:

– Я ей так и сказал. Яснее ясного. Я после того раз десять относил ей этот подарок. Но когда она пришла и стала прямо передо мной, что мне было делать?

– Так ты ее видел! – вскричала Мэг. – Ты ее видел? Лилиен, золотая моя девочка! Лилиен!

– Я ее видел, – сказал он, не в ответ ей, но словно все так же медленно думая вслух. – Стоит передо мной и вся дрожит. «Как она выглядит, Ричард? Похудела? А меня вспоминает? Мое всегдашнее место у стола – что там теперь? А пальцы, в которых она учила меня вышивать, она их сожгла, Ричард?» Так и говорила. Я сам слышал.

Сдерживая рыдания, с мокрым от слез лицом, Мэг склонилась над ним, чтобы не упустить ни слова.

А он, уронив руки на колени и весь подавшись вперед, точно с трудом разбирая стершуюся надпись на полу, продолжал говорить:

– «Ричард, я пала очень низко, и ты поймешь, каково мне было получить обратно эти деньги, раз я теперь решила сама принести их тебе. Но ты любил ее когда-то, еще на моей памяти. Люди вас разлучили; страх, ревность, сомнения, самолюбие сделали свое дело: ты отдалился от нее. Но ты ее любил, еще на моей памяти». Да, наверно любил, – сказал он вдруг, сам себя прерывая: – Наверно любил. Но не в этом суть. «Ричард, если ты ее любил,

если помнишь то, что прошло и не вернется, сходи к ней еще раз. В последний раз. Расскажи ей, как я тебя упрашивала. Расскажи, как я положила тебе руку на плечо – на это плечо она могла бы сама склоняться, – и как смиренно я с тобой разговаривала. Расскажи ей, как ты поглядел мне в лицо и увидел, что красота, которой она когда-то любовалась, исчезла без следа, что она бы расплакалась, увидев, какая я стала худая и бледная. Расскажи ей все, и тогда она не откажется их взять, не будет так жестока!»

Он посидел еще немного, задумчиво повторяя последние слова, потом опять очнулся и встал.

– Не возьмешь, Маргарет?

Она только качала головой и без слов молила его уйти.

– Покойной ночи, Маргарет.

– Покойной ночи.

Он оглянулся на нее, пораженный ее горем, а может и жалостью к нему, дрожавшей в ее голосе. То было быстрое, живое движение, мгновенная вспышка прежнего огня. В следующую минуту он ушел, И навряд ли эта вспышка помогла ему яснее увидеть, до какого бесчестия он докатился.

Как бы ни печалилась Мэг, какую бы ни терпела муку, душевную или телесную, а работать все равно было нужно. Она взялась за иглу. Наступила полночь, она все работала.

Ночь была холодная, огонь в очаге чуть тлел, и она встала, чтобы подбросить немножко угля. Тут прозвонили колокола – половина первого; а когда они смолкли, кто-то тихо постучал в дверь. И только она подумала, кто бы это мог быть в такое неурочное время, как дверь отворилась.

О красота и молодость, вы, по праву счастливые, смотрите! О красота и молодость, благословенные и все вокруг себя благословляющие, вы, через кого совершается воля всеблагого творца вашего, смотрите!

Мэг увидела входящую; вскрикнула; назвала ее по имени: «Лилиен!»

Мгновение – и та упала перед ней на колени, ухватилась за ее платье.

– Встань, родная, встань! Лилиен, дорогая моя!

– Нет, нет, Мэг, поздно! Только так, рядом с тобой, касаться тебя, почувствовать на лице твое дыхание!

– Малютка Лилиен! Дитя моего сердца – родная мать не могла бы любить сильнее, – дай мне обнять тебя!

– Нет, Мэг, поздно! Когда я впервые тебя увидела, ты стояла передо мной на коленях. Дай мне умереть на коленях перед тобой. Не поднимай меня!

– Ты возвратилась. Сокровище мое! Мы будем вместе, будем вместе жить, работать, надеяться, вместе умрем!

– Поцелуй меня, Мэг, обними меня, прижми к груди; посмотри на меня, как бывало. Но не поднимай меня. Дай наглядеться на тебя напоследок вот так, на коленях!

О красота и молодость, вы, по праву счастливые, смотрите! О красота и молодость, вы, через кого совершается воля всеблагого творца вашего, смотрите!

– Прости меня, Мэг! Дорогая моя! Прости! Я знаю, вижу, что ты простила, но ты скажи это, Мэг!

И она сказала это, касаясь губами щеки Лилиен, обвив руками ту, чье сердце – теперь она это знала – вот-вот перестанет биться.

– Храни тебя спаситель, родная. Поцелуй меня еще раз! Он позволил ей сидеть у его ног и отирать их волосами головы своей.⁷⁴ Ах, Мэг, какое милосердие!

Едва она умерла, как возле старого Тоби опять возник призрак маленькой девочки, невинной и радостной, и, легко до него дотронувшись, поманил его за собой.

⁷⁴ *Он позволил ей сидеть у его ног и отирать их волосами головы своей...* – намек на евангельскую легенду о грешнице, которую Христос простил за искреннее раскаяние.

Четвертая четверть

Снова забрезжили в памяти грозные фигуры – духи колоколов; донесся до слуха слабый колокольный звон; закружился в глазах и в мозгу рой эльфов, и множился, множился, пока самое воспоминание о нем не затерялось в его несметности; снова мелькнула мысль, неведомо кем внушенная, что прошло еще сколько-то лет, и теперь Тоби, стоя рядом с призраком девочки, видел перед собой простых смертных.

Смертные были упитанные, румяные, довольные. Их было всего двое, но покраснелись они за десятерых. Они сидели у весело пылающего огня, по обе стороны низкого столика; и аромат горячего чая и пышек, – если только он не застаивался здесь дольше, чем во всякой другой комнате, – свидетельствовал о том, что столиком этим совсем недавно пользовались. Но поскольку посуда была вымыта и расставлена по местам в буфете, а длинная вилка для поджаривания хлеба висела в отведенном ей уголке, растопырив свои четыре пальца и словно требуя, чтобы с нее сняли мерку для перчатки, – видимых следов только что закончившейся трапезы не осталось, если не считать довольного мурлыканья разомлевшей, умывающейся лапкой кошки да убогатворенных, чтобы не сказать лоснящихся физиономий ее хозяев.

Эти двое (явно супружеская пара) уютно расположились у огня так, чтобы ни ему, ни ей не было обидно, и глядя на искры, падающие в решетку, то задремывали, то снова просыпались, когда горячая головешка покрупнее со стуком скатывалась вниз, словно увлекая за собой остальные.

Впрочем, огню не грозила опасность потухнуть: он поблескивал не только в комнатке, и на стеклах двери, и на занавеске, до половины скрывавшей их, но и в лавочке за этой дверью. А лавочка была битком набита товаром – обжора, а не лавочка, с пастью жадной и вместительной, что у акулы. Сыр, масло, дрова, мыло, соленья, спички, сало, пиво, волчки, сласти, бумажные змеи, конопляное семя, ветчина, веники, плиты для очага, соль, уксус, вакса, копченые селедки, бумага и перья, шпиг, грибной соус, шнурки для корсетов, хлеб, воланы, яйца и грифели – все годилось в пищу этой прожорливой лавчонке и все она заглатывала без разбора. Сколько еще было в ней всякого другого добра – сказать невозможно; но с потолка, подобно гроздьям диковинных фруктов, свисали мотки бечевки, связки лука, пачки свечей, сита и щетки; а жестяные ящички, издававшие разнообразные приятные запахи, подтверждали слова вывески над входной дверью, оповещавшей публику, что владелец этой лавочки имеет разрешение на торговлю чаем, кофе, перцем и табаком, как курительным так и нюхательным.

Бросив взгляд на те из перечисленных выше предметов, которые были видны при ярком пламени очага и не столь веселом свете двух закопченных ламп, тускло горевших в самой лавке, словно задыхаясь от ее изобилия; а затем взглянув на одно из лиц, обращенных к огню, Трухти тотчас узнал в раздобревшей пожилой особе миссис Чикенстокер: она всегда была склонна к полноте, даже в те дни, когда он знал ее лично и за ним числился в ее лавке небольшой должок.

Второе лицо далось ему труднее. Тяжелый подбородок с такими глубокими складками, что в них можно засунуть целый палец; удивленные глаза, точно пытающиеся убедить сами себя, что нельзя же так беспардонно заплывать жиром; нос, подверженный малоприятному расстройству, в просторечии именуемом сопеньем; короткая, толстая шея; грудь, вздымаемая одышкой, и другие подобные прелести хоть и были рассчитаны на то, чтобы запечатлеться в памяти, но сначала не вызвали у Трухти воспоминания ни о ком из его прежних знакомых. А между тем ему помнилось, что где-то он их уже видел. В конце концов в компаньоне миссис Чикенстокер по торговой линии, а также по кривой и капризной линии жизни, Трухти узнал бывшего швейцара сэра Джозефа Баули, который много лет назад прочно связался в его сознании с миссис Чикенстокер, ибо именно он, сей апоплексический младенец, впустил его в богатый особняк, где он покался в своих обязательствах перед этой леди и тем навлек па

свою горемычную голову столь тяжкий укор.

После тех перемен, на какие насмотрелся Тоби, эта перемена не особенно его поразила; но сила ассоциации порою бывает очень велика, и он невольно заглянул в лавку, на косяк двери, где когда-то записывали мелом долги покупателей. Своей фамилии он не увидел. Те фамилии, что значились там, были ему незнакомы, да и число их заметно сократилось против прежнего, из чего он заключил, что бывший швейцар предпочитает торговать за наличные и, войдя в дело, подтянул поводья чикенстокеровским неплательщикам.

Так грустно было Тоби, так он горевал о загубленной молодости своей несчастной дочери, что и тут не на шутку опечалился – даже в списке должников миссис Чикенстокер ему не нашлось места!

– Какая на дворе погода, Энн? – спросил бывший швейцар сэра Джозефа Баули и, протянув ноги к огню, потер их, насколько позволяли его короткие руки, словно говоря: «Если плохая – хорошо, что я дома, если хорошая – все равно никуда не пойду».

– Ветер и слякоть, – отвечала жена. – Того и гляди снег пойдет. Темно. И холодно очень.

– Вот и правильно, что мы поели пышек, – сказал бывший швейцар тоном человека, успокоившего свою совесть. – Вечер нынче как раз подходящий для пышек. А также для сладких лепешек. И для сдобных булочек.

Бывший швейцар назвал эти лакомства одно за другим, словно не спеша подсчитывая свои добрые дела. Затем он опять потер толстые свои ноги и, согнув их в коленях, чтобы подставить огню еще не поджарившиеся места, рассмеялся как от щекотки.

– Вы сегодня веселы, дорогой Тагби, – заметила супруга.

Фирма именовалась «Тагби, бывш. Чикенстокер».

– Нет, – сказал Тагби. – Нет. Разве что чуточку навеселе. Очень уж кстати пришились пышки.

Тут он поперхнулся смехом, да так, что весь почернел, а чтобы изменить свою окраску, стал выделывать ногами в воздухе замысловатые фигуры, причем жирные эти ноги согласились вести себя сколько-нибудь прилично лишь после того, как миссис Тагби изо всей мочи постукала его по спине и встряхнула, точно большую бутылку.

– О господи, спаси и помилуй! – в испуге восклицала миссис Тагби. – Что же это делается с человеком!

Мистер Тагби вытер слезы и слабым голосом повторил, что он чуточку навеселе.

– Ну и довольно, богом вас прошу, – сказала миссис Тагби. – Я просто умру со страху, если вы будете так лягаться и биться.

Мистер Тагби пообещал, что больше не будет; но вся его жизнь была сплошной битвой, в которой он, если судить по усиливающейся с годами одышке и густеющей багровости лица, терпел поражение за поражением.

– Так вы говорите, моя дорогая, что на дворе ветер и слякоть, вот-вот пойдет снег, темно и очень холодно? – сказал мистер Тагби, глядя в огонь и возвращаясь к первопричине своей веселости.

– Погода хуже некуда, – подтвердила его жена, качая головой.

– Да, да, – проговорил мистер Тагби. – Годы в этом смысле все равно что люди. Одни умирают легко, другие трудно. Нынешнему году осталось совсем мало жизни, вот он за нее и борется. Что ж, молодец! Это мне по нраву. Дорогая моя, покупатель!

Миссис Тагби, услышав, как стукнула дверь, и сама уже встала с места.

– Ну, что угодно? – спросила она, выходя в лавку. – Ох, прошу прощенья, сэр, никак не ожидала, что это вы.

Джентльмен в черном, к которому она обратилась с этим извинением, кивнул в ответ, засучил рукава, небрежно сдвинул шляпу набекрень и уселся верхом на бочку с пивом, сунув руки в карманы.

– Там у вас наверху дело плохо, – сказал джентльмен. – Он не выживет.

– Неужто чердак? – вскричал Тагби, выходя в лавку и вступая в беседу.

– Чердак, мистер Тагби, – сказал джентльмен, – быстро катится вниз и скоро окажется ниже подвала.

Поглядывая то па мужа, то на жену, он согнутыми пальцами постучал по бочке, чтобы выяснить, сколько в ней пива, после чего стал выстукивать на пустой ее части какой-то мотивчик.

– Чердак, мистер Тагби, – сказал джентльмен, снова обращаясь к онемевшему от неожиданности Тагби, – скоро отправится на тот свет.

– В таком случае, – сказал Тагби жене, – надо отправить его отсюда, пока он еще туда не отправился.

– Трогать его с места нельзя, – сказал джентльмен, покачивая головой. – Я по крайней мере не могу взять на себя такую ответственность. Лучше оставьте его в покое. Он долго не протянет.

– Только из-за этого, – сказал Тагби и так ударил кулаком по чашке весов, что она грохнула о прилавок, – только из-за этого у нас с ней и бывали нелады, и вот, извольте видеть, что получилось! Все-таки он умирает здесь. Умирает под этой крышей. Умирает в нашем доме!

– А где же ему было умирать, Тагби? – вскричала его жена.

– В рабочем доме. Для чего же и существуют рабочие дома!

– Не для того, – заговорила миссис Тагби горячо и убежденно. – Не для того! И не для того я вышла за вас, Тагби. Я этого не позволю, и не надеюсь, я этого не допущу. Скорее я готова разойтись с вами и больше вас не видеть. Еще когда над этой дверью стояла моя вдовья фамилия – а так было много лет, и лавка миссис Чикенстокер была известна всем в округе как честное, порядочное заведение, – еще когда над этой дверью, Тагби, стояла моя вдовья фамилия, я знала его, видного парня, непьющего, смелого, самостоятельного; знала и ее, красавицу и умницу, каких поискать; знала и ее отца (он, бедняга, залез как-то во сне на колокольню, упал и разбился насмерть), такой работающий был старик, а сердце простое и доброе, как у малого ребенка; и уж если я их выгону из своего дома, пусть ангелы выгонят меня из рая. А они и выгонят. И поделом мне будет!

При этих словах будто проглянуло ее прежнее лицо, – а оно до всех описанных перемен каждого привлекало своими симпатичными ямочками; и когда она утерла глаза и тряхнула головой и платком, глядя на Тагби с выражением непреклонной твердости, Трухти сказал: «Благослови ее бог!» Потом с замирающим сердцем стал слушать дальше, понимая пока одно – что речь идет о Мэг.

Если в гостиной Тагби вел себя веселее, чем нужно, то теперь он с лихвой расплатился по этому счету, ибо в лавке был мрачнее мрачного; он тупо уставился на жену и даже не пытался ей возражать, однако же, не спуская с нее глаз, втихомолку – то ли по рассеянности, то ли из предосторожности – перекаладывал всю выручку из кассы к себе в карман.

Джентльмен, сидевший на бочке, – видимо, он был уполномочен городскими властями оказывать врачебную помощь беднякам, – казалось, привык к мелким стычкам между супругами, почему и в этом случае не счел нужным вмешаться. Он сидел, тихо посвистывая и по капле выпуская пиво из крана, пока не водворилась полная тишина, а тогда поднял голову и сказал, обращаясь к миссис Тагби, бывшей Чикенстокер:

– Женщина и сейчас еще недурна. Как случилось, что она вышла за него замуж?

– А это, пожалуй, и есть самое тяжелое в ее жизни, сэр, – отвечала миссис Тагби, подсаживаясь к нему. – Дело-то было так: они с Ричардом полюбили друг друга еще давным-давно, когда оба были молоды и хороши собой. Вот они обо всем договорились и должны были пожениться в день Нового года. Но Ричард послушал тех джентльменов и забрал в голову, что, мол, нечего себя губить, что скоро он об этом пожалеет, что она ему не пара, что такому молодцу, как он, вообще незачем жениться. А ее те джентльмены застращали, она стала такая смутная, все боялась, что он ее бросит, и что дети ее угодят на виселицу, и что выходить замуж грешно и бог его знает чего еще. Ну, короче говоря, они все тянули и тянули, перестали верить друг другу и, наконец, расстались. Но вина была его.

Она-то пошла бы за него, сэр, с радостью. Я сама сколько раз видела, как она аж в лице менялась, когда он, бывало, гордо пройдет мимо и не взглянет на нее; и ни одна женщина так не сокрушалась о мужчине, как она сокрушалась о Ричарде, когда он стал сбиваться с пути.

– Ах, так он, значит, сбился с пути? – спросил джентльмен и, вытащив бутылку, заглянул в бочку с пивом.

– Да понимаете, сэр, по-моему, он сам не знал, что делает. По-моему, когда они расстались, у него даже разум помрачился. Не будь ему совестно перед теми джентльменами, а может и страшновато – как, мол, она его примет, – он бы на любые муки пошел, лишь бы опять получить согласие Мэг и жениться на ней. Это я так думаю. Сам-то он никогда этого не говорил, и очень жаль. Он стал пить, бездельничать, водиться со всяким сбродом, – ведь ему сказали, что это лучше, чем свой дом и семья, которую он мог бы иметь. Он потерял красоту, здоровье, силу, доброе имя, друзей, работу – все потерял!

– Не все, миссис Тагби, – возразил джентльмен, – раз он обрел жену; мне интересно, как он обрел ее.

– Сейчас, сэр, я к этому и веду. Так шло много лет – он опускался все ниже, она, бедняжка, терпела такие невзгоды, что не знаю, как еще она жива осталась. Наконец он докатился до того, что никто уж не хотел и смотреть на него, не то что держать на работе. Куда ни придет, отовсюду его гонят. Вот он ходил с места на место, обивал-обивал пороги, и в сотый, наверно, раз пришел к одному джентльмену, который раньше часто давал ему работу (работал-то он хорошо до самого конца); а этот джентльмен знал его историю, он разобиделся, рассердился, да и скажи ему: «Думаю, что ты неисправим; только один человек на свете мог бы тебя образумить. Пусть она попробует, а до того не будет к тебе больше моего доверия». Словом, что-то в этом роде.

– Вот как? – сказал джентльмен. – Ну и что же?

– Ну, он и пошел к ней, бухнулся ей в ноги, сказал, что только на нее и надеется, просил-умолял спасти его.

– А она?.. Да вы не расстраивайтесь так, миссис Тагби.

– Она в тот вечер пришла ко мне насчет комнаты. «Чем он был для меня раньше, говорит, это лежит в могиле, как и то, чем я была для него. Но я подумала, и я попробую. В надежде спасти его. В память той беззаботной девушки (вы ее знали), что должна была выйти замуж на Новый год; и в память ее Ричарда». И еще она сказала, что он пришел к ней от Лилиен, что Лилиен доверяла ему, и она этого никогда не забудет. Вот они и поженились; и когда они сюда пришли и я их увидела, у меня была одна мысль: не дай бог, чтобы сбывались такие пророчества, как те, что разлучили их в молодости, и не хотела бы я быть на месте этих пророков!

Джентльмен слез с бочки и потянулся.

– Наверно, он с самого начала стал дурно с ней обращаться?

– Да нет, этого, по-моему, никогда не было, – сказала миссис Тагби, утирая слезы. – Некоторое время он держался, но отделаться от старых привычек не мог; скоро он опять поскользнулся и очень быстро докатился бы до прежнего, да тут его свалила болезнь. А ее он, по-моему, всегда жалел. Даже наверно так. Я видела его во время припадков: плачет, трясется и все старается поцеловать ей руку; я слышала, как он называл ее «Мэг» и говорил, что ей, мол, сегодня исполнилось девятнадцать лет. А теперь он уже сколько месяцев не встает с постели. Ей и за ним ходить и за ребенком – работать-то она и не попевала. А раз не попевала, то ей и давать работу не стали. Уж как они жили – не знаю.

– Зато я знаю, – буркнул Тагби; он с хитрым видом поглядел на кассу, на полки с товарами, на жену и закончил: – Как кошка с собакой!

Его прервал громкий крик – горестный вопль, – донесшийся с верхнего этажа. Джентльмен поспешно направился к двери.

– Друг мой, – сказал он, оглядываясь на ходу, – можете не спорить о том, отправлять его куда-нибудь или нет. Кажется, он избавил вас от этой заботы!

И джентльмен побежал вверх; миссис Тагби бросилась за ним, а мистер Тагби стал

медленно подниматься следом, ворча что-то себе под нос и больше обычного пыхтя и отдуваясь под тяжестью вырочки, в которой, как на грех, оказалось множество медяков.

Трухти, послушный призраку девочки, вознесся по лестнице, как дуновение ветерка.

– Следуй за ней! Следуй за ней! – звучали у него в ушах неземные голоса колоколов. – Узнай правду от той, кто тебе всех дороже!

Все было кончено. Все кончено – и вот она, гордость и радость отцовского сердца! Измученная, изможденная женщина плачет возле убогой кровати, нежно прижимая к груди младенца. Такого худенького, слабенького, чахлого младенца, такого для нее драгоценного!

– Слава богу! – воскликнул Тоби, молитвенно сложив руки. – Благодарение богу! Она любит свое дитя!

Джентльмен, по природе отнюдь не жестокосердый и не равнодушный (просто он видел такие сцены изо дня в день и знал, что в задачках мистера Файлера это самые ничтожные цифры, крошечные черточки в его вычислениях), положил руку на сердце, переставшее биться, послушал, есть ли дыхание, и сказал: «Страдания его кончились. Так оно и лучше». Миссис Тагби пыталась утешить вдову ласковыми словами, мистер Тагби – философскими рассуждениями.

– Ну, ну, – сказал он, держа руки в карманах, – нельзя малодушничать. Это не дело. Надо крепиться. Хорош бы я был, если бы смалодушничал, когда в бытность мою швейцаром у нашего крыльца как-то вечером сцепились колесами целых шесть карет. Но я остался тверд, я так и не отпер двери!

Снова Тоби услышал голоса, говорившие: «Следуй за ней». Он повернулся к своей призрачной спутнице, но она стала подниматься в воздух, сказала: «Следуй за ней!» – и исчезла.

Он остался возле дочери; сидел у ее ног; заглядывал ей в лицо, ища хотя бы бледных следов прежней красоты; вслушивался в ее голос – не прозвучит ли в нем прежняя ласка. Он склонялся над ребенком. Хилый ребенок, старообразный, страшный своей серьезностью, надрывающий сердце тихим, жалобным плачем. Тоби готов был молиться на него. Он видел в нем единственное спасение дочери, последнее уцелевшее звено ее долготерпенья. Все свои надежды он, отец, возложил на этого хрупкого младенца; он ловил каждый взгляд, который бросала на него мать, и снова и снова восклицал: «Она его любит! Благодарение богу, она его любит!»

Он видел, как добрая женщина ухаживала за ней; как опять пришла к ней среди ночи, когда рассерженный супруг уснул и все затихло; как подбодряла ее, плакала с ней вместе, принесла ей поесть. Он видел, как наступил день и снова ночь, и еще день, и еще ночь. Время шло; мертвого унесли из обители смерти, и Мэг осталась в комнате одна с ребенком. Ребенок стонал и плакал, изводил ее, не давал ей покоя, и едва она, в полном изнеможении, забывалась дремотой, возвращал ее к жизни и маленькими своими ручонками опять тащил на дыбу. Но она оставалась неизменно терпеливой и ласковой. Любила его всей душой, всем своим существом была связана с ним так же крепко, как тогда, когда носила его под сердцем.

Все это время она терпела нужду – жестокую, безысходную нужду. С ребенком на руках бродила по улицам в поисках работы; держа его на коленях, поглядывая на обращенное к ней прозрачное личико, делала любую работу, за любого плату – за сутки труда столько фартингов, сколько цифр на циферблате. Может, она сердилась на него? Не заботилась о нем? Может, иногда глядела на него с ненавистью? Или хоть раз сгоряча ударила? Нет. Только этим и утешался Тоби – любовь ее ни на минуту не угасала.

Она скрывала свою крайнюю бедность ото всех и днем старалась уходить из дому, чтобы избежать расспросов единственного своего друга: всякая помощь, какую оказывала ей эта добрая женщина, вызывала новые ссоры между супругами; и ей было тяжело сознавать, что она вносит раздор в жизнь людей, которым так много обязана.

Она любила своего ребенка. Любила все сильнее и сильнее. Но однажды вечером в самой ее любви что-то изменилось.

Она носила младенца по комнате, баюкая его тихим пением, как вдруг дверь неслышно

отворилась и вошел мужчина.

– В последний раз, – сказал он.

– Уильям Ферн!

– В последний раз.

Он прислушивался, точно опасаясь погони, и говорил шепотом.

– Маргарет, мне скоро конец. Но я не мог не проститься с тобой, не поблагодарить тебя.

– Что вы сделали? – спросила она, глядя на него со страхом.

Он не отвел глаз, но промолчал.

Потом махнул рукой, будто отмахивался от ее вопроса, отметал его в сторону, – и сказал:

– Много прошло времени, Маргарет, но тот вечер я помню как сейчас. Не думали мы тогда, – прибавил он, окинув взглядом комнату, – что встретимся вот так. Твой ребенок, Маргарет? Дай его мне. Дай мне поддержать твоего ребенка.

Он положил шляпу на пол и взял младенца. А сам весь дрожал.

– Девочка?

– Да.

Он заслонил крошечное личико рукой.

– Видишь, как я сдал, Маргарет, – я даже боюсь смотреть на нее. Нет. Подожди ее брать, я ей ничего не сделаю. Много прошло времени, а все же... Как ее зовут?

– Маргарет, – ответила она живо.

– Это хорошо, – сказал он. – Это хорошо!

Казалось, он вздохнул свободнее; и после минутного колебания он отнял руку и заглянул малютке в лицо. Но тут же снова прикрыл его.

– Маргарет! – сказал он, отдав ей ребенка. – Это лицо Лилиен.

– Лилиен!

– То же лицо, что у девочки, которую я держал на руках, когда мать Лилиен умерла и оставила ее сиротой.

– Когда мать Лилиен умерла и оставила ее сиротой! – воскликнула она иступленно.

– Почему ты кричишь? Почему так на меня смотришь? Маргарет!

Она опустилась на стул и, прижав ребенка к груди, залилась слезами. То она отстранялась и с тревогой глядела ему в лицо, то снова прижимала его к себе. И тут-то к ее любви стало примешиваться что-то неистовое и страшное. И тут-то у ее старика отца заныло сердце.

«Следуй за ней! – прозвучало повсюду вокруг. – Узнай правду от той, кто тебе всех дороже!»

– Маргарет! – сказал Ферн и, наклонившись, поцеловал ее в лоб. – В последний раз благодарю тебя. Прощай! Дай мне руку и скажи, что отныне ты меня не знаешь. Постарайся думать обо мне как о мертвом.

– Что вы сделали? – спросила она снова.

– Нынче ночью будет пожар, – сказал он, отодвигаясь от нее. – Всю зиму будут пожары,⁷⁵ то там, то тут, чтобы по ночам было виднее. Как увидишь вдали зарево, так и знай – началось. Как увидишь вдали зарево, забудь обо мне; а если не сможешь, то вспомни, какой адский огонь запалили у меня в груди, и считай, что это его отсвет играет на тучах. Прощай!

⁷⁵ *Всю зиму будут пожары...* – Английские крестьяне и батраки, доведенные до отчаяния нуждой и безработицей, еще с 30-х годов XIX века стали прибегать к поджогам как к средству борьбы против землевладельцев и богатых фермеров. Зимой 1843–1844 года, то есть за год до того, как были написаны «Колокола», эти поджоги необычайно участились. Газеты того времени чуть ли не каждую неделю приводят случаи, когда крестьяне сжигали стога сена, скирды хлеба, надворные постройки. В большинстве случаев не удавалось установить, кем был совершен поджог.

Она окликнула его, но он уже исчез. Она сидела оцепенев, пока не проснулся ребенок, а тогда опять почувствовала и холод, и голод, и окружающую тьму. Всю ночь она ходила с ним из угла в угол, баюкая его, успокаивая. Временами повторяла вслух: «Как Лилиен, когда мать умерла и оставила ее сиротой!» Почему всякий раз при этих словах ее шаг убыстрялся, глаза загорались, а любовь становилась такой неистойвой и страшной?

– Но это любовь, – сказал Трухти. – Это любовь. Она никогда не разлюбит свое дитя. Бедная моя Мэг!

Утром она особенно постаралась приодеть ребенка – тщетные старания, когда под рукой только жалкие тряпки! – и еще раз пошла искать себе пропитания. Был последний день старого года. Она искала до вечера, не пивши, не евши. Искала напрасно.

Она вмешалась в толпу отверженных, которые ждали, стоя в снегу, чтобы некий чиновник, уполномоченный творить милостыню от имени общества (не втайне, как велит нагорная проповедь, но явно и законно), соизволил вызвать их и допросить, а потом одному бы сказал: «Ступай туда-то», другому. «Зайди на той неделе», а третьего подкинул как мяч и пустил гулять из рук в руки, от порога к порогу, покуда он не испустит дух от усталости, либо, отчаявшись, пойдет на кражу и тогда станет преступником высшего сорта, чье дело уже не терпит отлагательства. Здесь она тоже ничего не добила. Она любила свое дитя, ни о чем не согласилась бы с ним расстаться. А таким не помогают.

Уже ночь была на дворе – темная, ненастная ночь, – когда она, согревая ребенка на груди, подошла к единственному дому, который могла назвать своим. Измученная, без сил, она уже хотела войти и только тут заметила, что в дверях кто-то стоит. То был хозяин дома, расположившийся таким образом, чтобы загородить собой весь вход, – при его комплекции это было нетрудно.

– А-а, – сказал он вполголоса, – так вы вернулись? Она взглянула на ребенка, потом обратила умоляющий взор к хозяину и кивнула головой.

– А вам не кажется, что вы и так уже прожили здесь достаточно долго, не платя за квартиру? – сказал мистер Тагби. – Вам не кажется, что вы и так уже забрали в этой лавке достаточно товаров в кредит?

Снова она обратила на него молящий взгляд.

– Может, вам бы сменить поставщиков? – сказал он. – И может, поискать бы себе другое жилище, а? Вам не кажется, что имеет смысл попробовать?

Она едва слышно проговорила, что время уже очень позднее. Завтра.

– Я понимаю, чего вам нужно, – сказал Тагби, – и к чему вы клоните. Вы знаете, что в этом доме существуют два мнения относительно вас, и вам, видно, очень нравится стравливать людей. А я не желаю ссор; я нарочно говорю тихо, чтобы избежать ссоры; но если вы станете упрямы, я заговорю погромче, и тогда можете радоваться, ссоры не миновать, да еще какой. Но войти вы не войдете, это я решил твердо.

Она откинула волосы со лба и как-то странно посмотрела на небо, а потом устремила взгляд во тьму, окутавшую улицу.

– Сегодня кончается старый год, и я не намерен, в угоду вам или кому бы то ни было, переносить в новый год всякие нелады и раздоры, – сказал Тагби. (Он тоже был Друг и Отец, только весом поменьше.) – И не совестно вам переносить такие повадки в новый год? Если вам нечего делать в жизни, как только малодушничать да ссорить мужа с женой, лучше бы вам вовсе не жить. Уходите отсюда!

«Следуй за ней! До роковой черты!»

Опять старый Тоби услышал голоса духов. Подняв голову, он увидел их в воздухе, они указывали на Мэг, уходящую вдаль по темной улице.

– Она любит свое дитя! – взмолился он в нестерпимой муке. – Милые колокола! Она его любит!

– Следуй за ней! – И темные фигуры, как тучи, понеслись ей вдогонку.

Тоби не отставал от них; вот он нагнал дочь, заглянул ей в лицо. Он увидел то неистовое и страшное, что применилось к ее любви, горело в ее глазах. Он услышал слова:

«Как Лилиен! Стать такой, как Лилиен!», и она еще ускорила шаг.

Ах, если б что-нибудь ее разбудило! Если бы проник в воспаленный мозг какой-нибудь образ, или звук, или запах, способный вызвать нежные воспоминания! Если б стала перед нею хоть одна светлая картина прошедшего!

– Я был ее отцом! Отцом! – крикнул старик, простирая руки к черным теням, летящим в вышине. – Смилуйтесь над ней и надо мною! Куда она идет? Верните ее! Я был ее отцом!

Но они только указали на нее и повторили: «Следуй за ней! Узнай правду от той, кто тебе всех дороже!»

Стоголосое эхо подхватило эти слова. Воздух был полон ими. Тоби словно вбирал их в себя при каждом вдохе. Они были везде, никуда от них не скрыться. А Мэг уже не шла, а бежала, и все тот же огонь пылал в ее взоре, все те же слова срывались с губ: «Как Лилиен! Стать такой, как Лилиен!»

Вдруг она остановилась.

– Хоть теперь верни ее! – воскликнул старик, схватившись за седую свою голову. – Моя дочка! Мэг! Верни ее! Отче милосердный, верни ее!

Она укутала младенца в свою рваную шаль. Горячечными руками ощупала его тельце, погладила по лицу, оправила на нем убогий наряд. Прижала его к исхудалой груди, словно давала клятву никогда с ним не разлучаться. И прильнула к нему сухими губами в последнем, мучительном порыве любви.

А потом она спрятала крошечную ручонку у себя за пазухой, возле наболевшего сердца, повернула сонное личико к себе и, опять сжав малютку в объятиях, побежала дальше, к реке.

К быстрой реке, клубящейся и мутной, где зимняя ночь была мрачна, как последние мысли многих других несчастных, искавших здесь избавления. Где редкие красные огни на берегу горели угрюмо и тускло, точно факелы, освещающие путь в небытие. Где ни одно обиталище живых людей не бросало тени на глубокую, непроглядную, печальную тьму.

К реке! К этим воротам в вечность стремилась она свой бег, так же неудержимо, как воды реки стремились к морю. Тоби хотел коснуться ее, когда она сбегала к темной воде, но дикое, безумное лицо – неистовая, страшная любовь – отчаяние, презревшее все земные запреты, – пронеслось мимо него, как вихрь.

Он догнал ее. На мгновение она задержалась перед смертельным прыжком. Он упал на колени и в голос крикнул духам колоколов, парившим над ним:

– Я узнал правду! Узнал от той, кто мне всех дороже! О, спасите ее, спасите!

Он вцепился в ее платье, и платье не выскользнуло у него из рук. Произнося последние слова, он почувствовал, что к нему вернулось осязание, что он может ее удержать.

Духи колоколов не сводили с него пристального взгляда.

– Я узнал все! – вскричал старик. – Смилуйтесь надо мной в этот час, даже если я, из любви к ней, такой молодой и невинной, клеветал на Природу, на сердце матери, доведенной до отчаяния. Простите мою дерзость, Злобу и невежество, спасите ее!

Он почувствовал, что пальцы его слабеют. Колокола молчали.

– Смилуйтесь над ней! – вскричал он. – Ведь на страшный этот грех ее толкнула любовь – пусть больная любовь, но самая сильная, самая глубокая, какую только дано знать нам, падшим созданиям! Подумайте, сколько она выстрадала, если такие семена принесли такие плоды! Она была рождена для безгрешной жизни. Всякая любящая мать могла бы сделать то же после стольких испытаний. О, сжальтесь над моей дочерью, ведь она и сейчас жалеет свое дитя и только затем губит свою бессмертную душу, чтобы спасти его!

Он крепко обхватил ее. Теперь-то он ее удержит! Сила его была безмерна.

– Я вижу среди вас призрак дней прошедших и грядущих! – воскликнул старик, приметив девочку и словно черпая вдохновение в устремленных на него сверху взглядах. – Я знаю, что Время хранит для нас наше наследие. Я знаю, что придет день и волна времени, поднявшись, сметет, как листья, тех, кто чернит нас и угнетает. Я вижу, она уже поднимается! Я знаю, что мы должны верить, и надеяться, и не сомневаться ни в себе, ни

друг в друге. Я узнал это от той, кто мне всех дороже. Я снова обнимаю ее. О духи, милостивые и добрые, я запомню ваш урок. О духи, милостивые и добрые, спасибо!

Он мог бы говорить еще, но тут колокола, – старые знакомые колокола, его милые, преданные, верные друзья – зазвонили в честь нового года, да так радостно, так весело и задорно, что он вскочил на ноги и разрушил тяготевшие над ним чары.

– И очень прошу тебя, отец, – сказала Мэг, – воздержись ты от рубцов, пока не справишься у какого-нибудь доктора, не вредно ли тебе их есть; ведь что ты тут вытворял – ой-ой-ой!

Она шила за столиком у огня – отделявала свое простенькое платье лентами, к свадьбе. И столько в ней было спокойного счастья, столько цветущей юности и светлой надежды, что Тоби громко ахнул, словно увидев ангела, а потом кинулся к ней с распростертыми объятиями.

Но он запутался ногами в упавшей на пол газете, и кто-то успел проскочить между ним и дочерью.

– Нет! – крикнул этот кто-то бодрым, ликующим голосом. – Даже вам не уступлю, даже вам. Первый поцелуй и Мэг в новом году достанется мне. Мне! Я целый час дожидался на улице, пока зазвонят колокола. Мэг, сокровище мое, с новым годом! Многих, многих тебе счастливых лет, дорогая моя женушка!

И Ричард осыпал ее поцелуями.

В жизни своей вы не видели ничего подобного тому, что тут сделалось с Трухти. Где бы вы ни жили, что бы ни видели на своем веку, все равно: ничего даже отдаленно похожего на это вам и не снилось! Он садился на стул, бил себя по коленкам и плакал; садился на стул, бил себя по коленкам и смеялся; садился на стул, бил себя по коленкам и смеялся и плакал одновременно; он вскакивал со стула и бросался обнимать Мэг; вскакивал со стула и бросался обнимать Ричарда; вскакивал со стула и бросался обнимать их обоих вместе; он то подбегал к Мэг и, сжав руками ее свежее личико, крепко ее целовал, то отбегал от нее задом, чтобы ни на минуту не терять ее из виду, и снова подбегал к ней, как фигурка в волшебном фонаре; а в промежутках плюхался на стул, но тут же снова вскакивал, точно подброшенный пружиной. Он в полном смысле слова был сам не свой от радости.

– А завтра твоя свадьба, голубка! – вскричал Трухти. – Настоящая, счастливая свадьба!

– Не завтра, а сегодня! – воскликнул Ричард, пожимая ему руку. – Сегодня. Колокола уже возвестили новый год. Вы только послушайте.

Ох, как они звонили! Как же они звонили, дай им бог здоровья! Конечно, это были замечательные колокола – большие, голосистые, звучные, отлитые из лучшего металла, сработанные лучшими мастерами; однако никогда, никогда еще они так не звонили!

– Но ведь сегодня, родная, – сказал Трухти, – сегодня вы с Ричардом малость повздорили.

– Потому что он очень нехороший человек, отец, – отвечала Мэг. – Разве неправда, Ричард? Такой упрямец, такой горячка! Ему бы ничего не стоило отчитать этого важного олддермена, прямо-таки упразднить его, – он думает, это так же просто, как...

– Поцеловать Мэг, – перебил ее Ричард. И поцеловал.

– Да, да, так же просто. Но я ему не позволила, отец. Какой в том был бы прок?

– Ричард, дружище! – сказал Трухти. – Ты всегда у нас был молодчина, и всегда будешь молодчина, до гробовой доски! Но ты, моя голубка, ты плакала у огня, когда я пришел. О чем ты плакала у огня?

– Я вспоминала, сколько мы с тобой прожили вместо, отец. И думала, что теперь тебе будет скучно одному. Вот и все.

Трухти снова попятился к своему спасительному стулу, но тут, разбуженная шумом, к ним вбежала полуодетая девочка.

– Да вот она! – вскричал Трухти, подхватывая ее на руки. – Вот наша маленькая Лиlien! Ха-ха-ха! Раз-два-три, вот и мы! И раз-два-три, и вот и мы! А вот и дядя Уилл! – И Трухти, прервав свои прыжки, сердечно его приветствовал. – Ах, дядя Уилл, какое мне было

видение за то, что я привел вас к себе! Ах, дядя Уилл, друг дорогой, какую службу вы мне сослужили своим приходом!

Уилл Ферн не успел ответить, потому что в комнату ворвался целый оркестр, а за ним и толпа соседей, выкрикивающих «С новым годом, Мэг!», «Счастливого брака!», «Долгой жизни!» и прочие пожелания в том же духе. Барабан (закадычный друг Тоби) выступил вперед и сказал:

– Трухти Вэк, старина! Прошел слух, что твоя дочка завтра выходит замуж. Не найдется человека, который, зная тебя, не желал бы тебе счастья или, зная ее, не желал бы счастья ей. Или, зная вас обоих, не желал бы вам обоим всяческого благополучия, какое только может принести новый год. Вот мы и пришли встретить его музыкой и танцами.

Дружный крик одобрения был ответом на эту речь. Барабан, к слову сказать, был сильно под хмельком; ну, да бог с ним.

– Какое же счастье, – сказал Тоби, – внушать людям этакие чувства! Какие вы добрые друзья и соседи! А все она, моя милая дочка. Она это заслужила.

Минуты не прошло, как они приготовились к танцам (Мэг и Ричард в первой паре); и барабан уже совсем было собрался забарабанить во всю мочь, как вдруг за дверью послышался страшный шум и в комнату вбежала женщина лет пятидесяти, вида приятного и добродушного, а за ней мужчина с глиняным кувшином необъятных размеров, а за ним трещотка и колокольцы – маленькие, на деревянной раме, совсем непохожие на те, большие колокола.

Тоби сказал «миссис Чикенстокер!» и опять плюхнулся на стул и стал бить себя по коленкам.

– Собралась замуж, Мэг, а от меня утаила! – воскликнула добрая женщина. – А я бы не уснула в последнюю ночь старого года, если бы не зашла пожелать тебе счастья. Будь я прикована к постели, я бы и то пришла. А раз сегодня канун нового года и к тому же канун твоей свадьбы, моя милочка, я велела сварить кувшинчик пивного пунша и захватила с собой.

«Кувшинчик» поистине делал честь миссис Чикенстокер. Из него валил дым и пар, как из кратера вулкана, а мужчина, принесший его, совсем ослабел.

– Миссис Тагби! – сказал Трухти, в упоении описывая около нее круг за кругом, – то есть, вернее, миссис Чикенстокер. Сердечно вас благодарим! Счастливого вам нового года и долгой жизни!.. Миссис Тагби! – продолжал Трухти, расцеловавшись с нею, – то есть, вернее, миссис Чикенстокер. Познакомьтесь – это Уильям Ферн и Лилиен.

К его удивлению, сия достойная особа сильно побледнела, а затем густо покраснела.

– Неужели та Лилиен Ферн, – сказала она, – у которой мать умерла в Дорсетшире?

Уильям Ферн ответил «да», и они, быстро отойдя в сторонку, обменялись несколькими словами, после чего миссис Чикенстокер пожала ему обе руки, еще раз, а затем по собственному почину, расцеловалась с Тоби и привлекла девочку к своей объемистой груди.

– Уилл Ферн! – сказал Тоби, надевая на правую руку свою серую рукавицу. – Не та ли это знакомая, которую вы надеялись разыскать?

– Та самая, – отвечал Ферн, кладя руки на плечи Тоби. – И она, видно, окажется почти таким же добрым другом, как тот, которого я уже нашел.

– Ах, вот оно что! – сказал Тоби. – Музыка, прошу. Окажите такую любезность.

Под звуки оркестра, колокольцев и трещоток и под не смолкнувший еще трезвон колоколов Трухти, отодвинув Мэг и Ричарда на второе место, открыл бал с миссис Чикенстокер и сплясал танец, не виданный ни до того, ни после, – танец, в основу коего была положена знаменитая его трюса.

Может, все это приснилось Тоби? Или его радости и горести, и те, кто делил их с ним, – только сон; и сам он только сон; и рассказчику эта повесть приснилась и лишь теперь он пробуждается? Если так, о ты, кто слушал его и всегда оставался ему дорог, не забывай о суровой действительности, из которой возникли эти видения; и в своих пределах – а для этого никакие пределы не будут слишком широки или слишком тесны – старайся исправить

ее, улучшить и смягчить. Так пусть же новый год принесет тебе счастье, тебе и многим другим, чье счастье ты можешь составить. Пусть каждый новый год будет счастливее старого, и все наши братья и сестры, даже самые смиренные, получают по праву свою долю тех благ, которые определил им создатель.

Рассказ бедного родственника

⁷⁶Ему очень не хотелось говорить первым, прежде стольких почтенных членов их семейства, когда они, усевшись в кружок у огня в рождественский вечер, решили каждый рассказать какую-нибудь историю; и он скромно заметил, что было бы правильнее, если бы начать согласился «Джон, наш уважаемый хозяин» (за чье здоровье он предлагает выпить). Ему же самому, сказал он, так непривычно быть впереди других, что, право же... Но когда все хором вскричали, что начинать нужно именно ему, и заявили в один голос, что он может, должен и даже обязан начать, он перестал потирать руки, высвободил ноги из-под кресла и начал.

Я не сомневаюсь (сказал бедный родственник), что мой рассказ удивит собравшихся здесь членов нашего семейства и в особенности Джона, нашего уважаемого хозяина, которому все мы так много обязаны за гостеприимство, оказанное нам сегодня. Но если вы удостоите своим удивлением слова человека, так мало значащего в семье, я могу сказать лишь одно: во всем, что вы от меня услышите, я буду строжайшим образом придерживаться правды.

Я – не то, чем меня считают. Я нечто совсем иное. И для начала нужно, пожалуй, сказать несколько слов о том, чем же меня считают.

Считается, если я не ошибаюсь, – а если ошибаюсь, что очень возможно, собравшиеся здесь члены нашего семейства поправят меня (тут бедный родственник смиренно обвел всех глазами, готовый принять любое возражение); считается, что я никому не враг, кроме как самому себе. Что я ни в чем не добился особенных успехов. Что меня постигла неудача в делах, потому что я был не деловит и легковверен и не догадался о корыстных замыслах моего компаньона. Что меня постигла неудача в любви, потому что я был до смешного доверчив и не допускал мысли, что Кристиана может обмануть меня. Что меня постигла неудача с наследством дядюшки Чилла, оттого что я оказался, на его взгляд, недостаточно расчетлив в житейских делах. Что всю жизнь меня, можно сказать, водили за нос и оставляли в дураках. Что я холост, дотягиваю шестой десяток и живу на скромный пенсioen, который получаю раз в три месяца и дальнейшее упоминание о котором, как я вижу, было бы неприятно Джону, нашему уважаемому хозяину.

Мои занятия и привычки люди представляют себе примерно так.

Я снимаю комнату на Клепем-роуд – очень чистенькую комнату окном во двор в очень почтенном доме, – где не бываю в дневное время, разве что прихворну, и откуда ухожу в девять часов утра, словно бы на службу. Мой утренний завтрак – булочка с маслом и полпинты кофе – ждет меня в старой кофейне у Вестминстерского моста; затем я иду в Сити – сам не знаю зачем – и сижу в кофейне Гэрроуэя или на бирже, а не то брожу по улицам и заглядываю в присутствия и конторы, откуда некоторые мои родственники и знакомые по доброте своей не гонят меня и где я могу постоять у камина, если на улице холодно. Так я провожу время до пяти часов, после чего обедаю: это обходится мне в среднем один

⁷⁶ «Рассказ бедного родственника» («A PoorRelation'sStory») был напечатан 25 декабря 1852 года в основанном Диккенсом в 1850 году журнале «Домашнее чтение» («HouseholdWords») и вместе с рядом других появившихся в журнале в 50-е годы рассказов и очерков Диккенса вошел в число отобранных к отдельному изданию самим писателем и выпущенных в 1858 году «Переизданных рассказов» («ReprintedPieces»).

Русский перевод рассказа был опубликован в «Москвитянине» в 1853 году (№ 7), под заглавием «История бедного родственника».

шиллинг и три пенса в день. Немножко денег у меня еще остается на вечер, и по дороге домой я захожу в мою старую кофейню, где выпиваю чашку чаю, иногда с гренками. И так, когда малая стрелка часов, описав круг, возвращается к девяти, я, описав свой круг, возвращаюсь на Клепем-роуд и, добравшись до своей комнаты, сразу ложусь спать, потому что уголь стоит дорого, и к тому же мои хозяйки не любят, когда в комнате шумят и разводят грязь.

Иногда кто-нибудь из моих родных или знакомых оказывает мне любезность – приглашает к себе отобедать. Это для меня праздник, и в такие дни я обычно гуляю в Гайд-парке. Я не общителен и по большей части гуляю один. Не то чтобы меня избегали из-за того, что я плохо одет; я одет вовсе не плохо, на мне всегда хороший черный костюм (вернее, очень темно-синий, этот цвет кажется черным, и притом гораздо дольше не выгорает); но говорю я теперь тихо, и люблю помолчать, и состояние духа у меня неважное, и вполне понятно, что люди не ищут моего общества.

Единственное исключение из этого правила – маленький Фрэнк, мой двоюродный племянник. Я необыкновенно привязан к этому мальчику, и он меня любит. По природе своей это робкий ребенок; в толпе его недолго и затереть, если можно так выразиться, и позабыть о нем. А мы с ним прямо-таки отлично ладим. Сдается мне, что со временем этот бедный мальчик займет в семье такое же положение, какое нынче занимаю я. Разговариваем мы мало, а между тем понимаем друг друга. Мы с ним гуляем, взявшись за руки; и он без лишних слов знает, что у меня на уме, а я знаю, что у него на уме. Когда он был еще совсем маленький, я, бывало, останавливался с ним у витрин игрушечных лавок и показывал ему игрушки. Просто удивительно, как быстро он понял, что я много чего подарил бы ему, если бы это было мне по средствам.

Мы с маленьким Фрэнком ходим иногда любоваться Монументом⁷⁷ – он очень любит Монумент – или поглядеть на мосты и на другие достопримечательности, за обозрение которых не нужно платить денег. Два раза, в день моего рожденья, мы ели на обед бифштекс и ходили за полцены в театр, где с большим интересом смотрели представление. Однажды я шел с ним по Ломберд-стрит,⁷⁸ куда мы стали часто заходить после того, как я рассказал ему, что там сосредоточены большие богатства, – он очень любит Ломберд-стрит, – и какой-то господин, обогнавши нас, сказал мне: «Сэр, ваш сынок обронил рукавичку». Уверяю вас, если будет мне позволено остановиться на столь пустячном обстоятельстве, – эти случайно брошенные слова, будто ребенок мой, тронули меня до глубины сердца, и я, глупый человек, даже прослезился.

Когда маленького Фрэнка отдадут в школу, далеко от Лондона, я просто не представляю себе, как я буду без него жить, но я собираюсь раз в месяц ходить к нему в гости в такие дни, когда уроки кончаются рано. Мне говорили, что в это время мальчики играют на лугу; а если мои посещения вызовут недовольство, если найдут, что они выбивают ребенка из колеи, я могу посмотреть на него издали, так, чтобы он меня не видел, а потом уйти обратно в город. Мать у него из благородных и, чувствую я, не одобряет нашей дружбы. Разумеется, такой человек, как я, не может отучить его от застенчивости; но думаю, что, если мы совсем перестанем видеться, он будет скучать по мне, и долго скучать.

Когда я умру у себя на Клепем-роуд, я оставляю в этом мире немногим больше того, что унесу с собой; но есть у меня одна миниатюра – портрет мальчика с открытым лицом и курчавой головкой, в рубашке с плюеным воротничком (портрет заказала моя мать, но мне не верится, чтобы он хоть когда-нибудь был похож на меня); за эту миниатюру много не

⁷⁷ *Монумент* – колонна, воздвигнутая в 1671–1677 годах по проекту архитектора Кристофера Ренна (1632–1723) в память о лондонском пожаре 1666 года. Стоит на том месте, дальше которого пожар не распространялся.

⁷⁸ *Ломберд-стрит* – с XII века лондонский финансовый центр – улица, где находится несколько крупных банков.

выручишь, и я попрошу, чтобы ее отдали Фрэнку. Я приложил к ней письмецо для моего мальчика, в котором написал, что мне очень грустно было покидать его, хотя, признаться по совести, я не видел причин оставаться здесь. Я дал ему единственный совет, какой мог придумать, – насчет того, что плохо получается, если человек никому не враг, кроме как самому себе; и постарался его утешить, – а то он, чего доброго, затоскует обо мне, – указав, что для всех, кроме него, я был здесь лишним и ненужным; и что раз мне не удалось найти себе место в этом блестящем обществе, для меня же лучше будет, если я из него удалюсь.

Вот так (сказал бедный родственник, откашлявшись и немного повысив голос) думают обо мне люди. Но самое замечательное, к чему я и веду мой рассказ, заключается в том, что это совсем, совсем неверно. Не такова моя жизнь, и не таковы мои привычки. Я даже не живу на Клепем-роуд. Я бываю там сравнительно очень редко. Большею частью я обитаю... мне даже совестно произнести это слово, до того заносчиво оно звучит, – в замке – Я не хочу сказать, что это – старинное родовое гнездо каких-нибудь баронов, но все же такое здание всегда называют замком. В нем я храню всю повесть моей жизни; сложилась она так.

Когда я, будучи молодым человеком, не старше двадцати пяти лет, еще проживал у моего дядюшки Чилла, чьим наследником имел основания себя считать, и вскоре после того, как я взял в компаньоны Джона Спэттера (который раньше служил у меня клерком), я отважился сделать Кристиане предложение. Я давно любил Кристиану. Она была очень хороша собой, и во всех отношениях прекрасная девушка. Я не чувствовал расположения к ее матери, вдове, так как побаивался ее коварства и корыстолюбия; но ради Кристианы всячески старался не думать о ней плохо. Я никогда никого не любил, кроме Кристианы, и с самого нашего детства в ней был для меня весь мир, нет, много больше, чем весь мир!

Кристиана с согласия матери приняла мое предложение, чем несказанно осчастливила меня. Житье мое у дядюшки Чилла было убогое и скучное, а моя каморка на чердаке – унылая, пустая и холодная, как темница в башне какой-нибудь суровой северной крепости. Но Кристиана любила меня, а больше мне ничего не было нужно. Я бы не поменялся судьбой ни с кем на свете.

К несчастью, дядюшкой Чиллом владел страшный порок – скупость. Он был богат, но скарденничал, во всем себя урезывал, все прибирал к рукам и жил как последний бедняк. Так как у Кристианы не было приданого, я некоторое время не решался рассказать ему о нашей помолвке; но, наконец, написал письмо, в котором и сообщил, как обстоит дело. Письмо я передал ему из рук в руки вечером, перед тем как уйти к себе спать.

На следующее утро я спустился вниз, пожимаясь от декабрьского холода, – в нетопленном дядином доме он ощущался сильнее, чем на улице, ведь там нет-нет да и проглянет зимнее солнце, а веселые голоса и лица прохожих вносят хоть какое-то оживление, – и с тяжелым сердцем вошел в длинную низкую столовую, где сидел мой дядя. Комната была большая, а огонь в камине маленький, и было в ней высокое окно фонарем, на котором следы ночного дождя казались слезами бездомных. Окно глядело на мощный булыжником запущенный двор с покосившейся ржавой железной решеткой, а на нас глядело оттуда уродливое строение, где когда-то работал над трупами известный хирург, – от него дом перешел к дяде по закладной.

Мы вставали так рано, что в это время года завтракали всегда при свечах. Когда я вошел в комнату, дядя сидел у единственной, тускло горевшей свечи, так съежившись от холода в своем кресле, что я увидел его только подойдя вплотную к столу.

Не успел я протянуть ему руку, как он схватил палку (с которой не расставался из-за больной ноги) и, замахнувшись на меня, сказал: «Дурак!»

– Дядюшка, – вымолвил я, – я не ожидал, что вы так рассердитесь. – Я и вправду этого не ожидал, хотя он был черствый и гневливый старик.

– Не ожидал! – подхватил он. – А ты когда-нибудь чего-нибудь ожидал? Ты когда-нибудь строил расчеты, думал о будущем, презренная ты собака?

– Жестокие слова вы говорите, дядюшка!

– Жестокие? Такие болваны, как ты, еще и не того заслуживают. Эй! Бетси Снэп! Посмотри-ка на него!

Бетси Снэп, сморщенная, желтая, безобразная старуха, единственная наша служанка, как всегда по утрам, стоя на коленях, растирала дядюшке ноги. Призывая ее посмотреть на меня, он опустил свою тощую руку ей на макушку и повернул ее лицом ко мне. Картина эта при всей моей душевной тревоге невольно навела меня на мысль о мертвецкой во дворе, какой она, должно быть, бывала во времена хирурга.

– Посмотри на этого молокососа! – сказал мой дядя. – На этого слюнтяя! Вот человек, про которого говорят, что он никому не враг, кроме как самому себе! Человек, который не умеет ответить отказом. Человек, который наживает такие барыши, что ему понадобился компаньон. Человек, который задумал жениться на бесприданнице и угодит в лапы Иезавелей,⁷⁹ рассчитывающих на мою смерть!

Теперь я знал, как сильна его ярость: не будь он вне себя, ничто не исторгло бы у него этого последнего слова, ибо он так ненавидел его и боялся, что ни произносить его, ни намекать на него при нем не смели.

– На мою смерть! – повторил он так, будто, бросая вызов собственному отвращению к этому слову, бросал вызов мне. – На мою смерть... смерть... смерть! Но я эти расчеты разобью. В последний раз садись есть в моем доме, идиот несчастный, и подавись!

Вы легко поверите, что меня не особенно прельщал завтрак, предложенный мне в таких выражениях; однако я сел на свое обычное место. Я понимал, что навсегда отвергнут дядей; но это я мог снести без труда, ведь сердце Кристианы принадлежало мне.

Он, как всегда, съел плошку молока с хлебом, только взял ее на колени и повернулся вместе с креслом спиной к столу, за которым я сидел. Покончив с едой, он старательно загасил свечу, и в комнату вполз хмурый, мутно-серый свет зимнего дня.

– Ну-с, мистер Майкл, – сказал дядя, – прежде, чем мы расстанемся, я хотел бы в вашем присутствии сказать несколько слов этим дамам.

– Как вам угодно, сэр, – ответил я. – Но вы заблуждаетесь и жестоко нас обижаете, если думаете, что в нашем сговоре замешано какое-либо иное чувство, кроме чистой, бескорыстной и верной любви.

На это он ответил только «Врешь!» и не прибавил более ни слова.

Под полурастаявшим снегом и полузамерзшим дождем мы отправились к дому, где жили Кристиана и ее мать. Дядя был с ними хорошо знаком. Они сидели за завтраком и очень удивились, увидя нас в такой ранний час.

– Ваш покорный слуга, сударыня, – сказал дядя, обращаясь к матери Кристианы. – Полагаю, что вы догадываетесь о цели моего посещения. До меня дошло, что у вас тут имеется непочатый край чистой, бескорыстной и верной любви. Я счастлив добавить к ней единственное, чего ей еще недостает. Я привез вам зятя, сударыня, а вам, моя красавица, – мужа. Сам я его знать не знаю, но приношу ему мои поздравления по случаю столь благоразумного выбора.

Выходя, он злобно огрызнулся на меня, и больше я его никогда не видел.

Совершенно ошибочно предполагают (продолжал бедный родственник), что моя дорогая Кристиана, подчинившись уговорам и влиянию своей матери, вышла замуж за богатого человека и что теперь, когда времена изменились, меня частенько обдаст грязью из-под колес его коляски, в которой она разъезжает. Нет, нет, она вышла за меня.

Поженились мы немного раньше, чем собирались, и вот каким образом это вышло. Я снял скромную комнатку и, все время думая о Кристиане, копил деньги и строил планы на будущее; а она однажды заговорила со мной очень серьезно и сказала так:

⁷⁹ ...угодит в лапы Иезавелей... – Иезавель – упоминаемая в Библии жена царя Израиля, властная и коварная правительница. Ее имя употребляется для обозначения жестоких и порочных женщин.

– Милый мой Майкл, я отдала тебе мое сердце. Я сказала, что люблю тебя, и обещала стать твоей женой. Я твоя, что бы ни случилось с нами хорошего или дурного, настолько же твоя, как если бы мы поженились в тот день, когда были сказаны эти слова. Я хорошо тебя знаю, и знаю, что, если бы мы разлучились и наш союз был бы расторгнут, это омрачило бы всю твою жизнь, и те силы, которые у тебя есть, чтобы бороться, иссякли бы и сошли на нет.

– Видит бог, Кристиана, – отвечал я, – ты говоришь истинную правду!

– Майкл! – сказала она, протягивая мне руку и вся сияя юной любовью, – не будем больше откладывать. Мне вполне достаточно того, что у тебя есть, а тебе и подавно. Я говорю от чистого сердца. Довольно тебе биться одному; давай биться вместе. Милый мой Майкл, нельзя мне скрывать от тебя то, чего ты не подозреваешь, но что терзает меня днем и ночью. Моя мать, не считаясь с тем, что все потерянное тобою потеряно из-за меня, и потому, что ты верил в мою преданность, польстилась на богатство и прочит мне другого жениха, на мою гибель. Этого я не снесу, потому что снести это – значит изменить тебе. Мне легче разделить твою бедность, чем видеть ее. Мне не нужно дома лучше того, какой ты можешь мне дать. Я знаю, что у тебя прибавится бодрости и мужества, если я стану твоей женой, и пусть так будет, когда ты захочешь.

То был поистине благословенный день, и словно новый мир мне открылся. Очень скоро после этого мы поженились, и я привел мою жену к себе в дом. Вот так и возникло то счастливое жилище, о котором я говорил; тот Замок, где мы с тех пор живем с нею неразлучно. Там родились все наши дети. Первым ребенком была девочка, мы назвали ее Кристианой. Теперь она уже замужем, и ее сын так похож на маленького Фрэнка, что я с трудом отличаю их друг от друга.

О том, как поступил по отношению ко мне мой компаньон, у людей тоже сложилось совершенно превратное мнение. Когда между мной и дядей произошла та роковая ссора, он не стал обращаться со мной презрительно, как с жалким простаком; и позднее он не завладел всем нашим делом и не вытеснил меня. Напротив, он проявил себя в высшей степени честным и добросовестным человеком.

Выяснилось это следующим образом. В тот день, когда я расстался с дядей, и еще до того, как в контору прибыли мои вещи (которые дядя отправил следом за мной, не уплатив за перевозку), я пришел в нашу рабочую комнату на маленькой пристани, выходящую окнами на реку, и там поведал Джону Спэттеру обо всем, что случилось. В ответ Джон не сказал мне, что богатый старый родственник – это нечто осязательное, а любовь и прочие прекрасные чувства – мечта и фантазия. Он обратился ко мне с такими словами:

– Майкл, – сказал Джон, – мы вместе учились в школе, и обычно я ухитрялся обгонять тебя и считался лучшим учеником.

– Было дело, Джон, – отвечал я.

– А между тем, – сказал Джон, – я брал у тебя книги и терял их; брал взаймы твои карманные деньги и никогда их не возвращая; сбывал тебе мои сломанные ножи дороже, чем платил за них, когда они были новые; и, разбив окно, сваливал вину на тебя.

– Не стоило бы вспоминать об этом, Джон Спэттер, – сказал я, – хотя все это правда.

– Когда ты только что основал дело, которое нынче идет так успешно, – продолжал Джон, – я явился к тебе, готовый ухватиться за какую угодно работу, и ты взял меня к себе в клерки.

– И об этом не стоило бы вспоминать, мой милый Джон Спэттер, – сказал я, – хотя и это правда.

– А убедившись, что у меня есть деловые способности и что я могу принести делу пользу, ты не захотел оставить меня в этой должности и вскоре решил, что тебе по справедливости следует взять меня в долю.

– Вот об этом и вовсе не стоило бы вспоминать, Джон Спэттер, – сказал я. – Ведь я как тогда знал, так и теперь знаю твои достоинства и свои недостатки.

– Так вот, мой добрый друг, – сказал Джон и локтем прижал к себе мою руку, как

бывало в школе; в то время как мимо окон нашей конторы, формой напоминавших иллюминаторы, два суденышка легко скользили вниз по реке, увлекаемые отливом, точь-в-точь как мы с Джоном, в доверии и согласии, вместе уходили в наше жизненное плавание, – давай теперь же договоримся, дружески и по душам. Ты слишком мягок, Майкл. Ты никому не враг, кроме как самому себе. Вздумай я внушать это нелестное мнение нашим деловым знакомым, этак пожимая плечами, покачивая головой и сокрушенно вздыхая; вздумай я употребить во зло твое доверие...

– Но ты никогда не употребишь его во зло, Джон, – заметил я.

– Никогда! – сказал он. – Я просто говорю предположительно – вздумай я употребить твое доверие во зло и о некоторых подробностях наших общих дел умалчивать, другие выставлять напоказ, а о третьих поминать только вскользь и тому подобное, – тогда и моя сила и твоя слабость нарастали бы изо дня в день, пока я не вышел бы, наконец, на широкую дорогу к богатству, оставив тебя на голом поле, далеко от всяких дорог.

– Верно, – сказал я.

– Чтобы этого не случилось, Майкл, – сказал Джон Спэттер, – чтобы не случилось ничего даже близкого к этому, между нами должна быть совершенная откровенность. Ничего не скрывать друг от друга, всегда иметь в виду один, общий интерес.

– Мой милый Джон Спэттер, – заверил я его, – я и сам не желаю ничего лучшего.

– А если ты будешь слишком мягок, – продолжал Джон, и все лицо его светилось теплым, дружеским чувством, – позволь мне следить за тем, чтобы никто не мог воспользоваться этой твоей слабостью; не жди, что я буду потакать ей...

– Мой милый Джон Спэттер, – перебил я его, – я вовсе не жду, что ты будешь потакать ей. Я хочу с ней покончить.

– И я тоже, – сказал Джон.

– Верно! – воскликнул я. – У нас с тобой одна цель; и если мы станем добиваться ее честно, полностью доверяя друг другу и всегда имея в виду один, общий интерес, содружество наше окажется удачным и счастливым.

– Я в этом убежден! – ответил Джон Спэттер. И мы горячо пожали друг другу руки.

Я привел Джона к себе в Замок, и мы отлично провели день. Содружество наше принесло обильные плоды. Как я и предвидел, мой друг и компаньон вносил в него то, чего недоставало мне; и совершенствуя как наше дело, так и меня самого, сторицей отплатил за ту малую помощь, какую я оказал ему в молодости.

Я не очень богат (сказал бедный родственник, глядя в огонь и неторопливо потирая руки), потому что никогда к этому не стремился; но у меня есть все необходимое, я избавлен от нужды и от тревоги за завтрашний день. Мой Замок не блещет великолепием, но это очень уютное жилище, все в нем дышит теплом и весельем, это подлинно – домашний очаг.

Старшая наша дочка, очень похожая лицом на мать, вышла замуж за старшего сына Джона Спэттера. Наши семьи тесно связаны и другими узами. Так приятно бывает по вечерам, когда все соберутся вместе, – а это случается часто, – и мы с Джоном беседуем о прошлом и о том общем интересе, который всегда нас объединял.

У себя в замке я не знаю одиночества. Всегда возле меня есть кто-нибудь из моих детей или внуков, и мне отрадно – так отрадно! – прислушиваться к их молодым голосам. Моя дорогая, неизменно преданная жена, верная, любящая, всегда готовая помочь, поддержать и утешить, – вот главное, неоценимое благо моего дома, от которого происходят и все другие блага. Семья у нас музыкальная; всякий раз, как Кристиана замечает, что я немного утомился или чем-нибудь огорчен, она тихонько подходит к роялю и поет нежную песенку, которую певала еще в те дни, когда мы обручились. Я слабый человек и просто не могу слышать, чтобы ее пел кто-нибудь другой. Однажды ее заиграли в театре, где я был с маленьким Фрэнком, и мальчик спросил в изумлении: «Дядя Майкл, чьи это горячие слезы упали мне на руку?»

Таков мой Замок, и такова истинная повесть моей жизни, которую я в нем храню. Я

часто беру к себе маленького Фрэнка. Мои внучата очень радуются его приходу и затевают с ним игры. В это время года – на святках – я редко покидаю свой Замок. Ибо рождественские воспоминания удерживают меня там, а рождественские заветы гласят, что там и следует находиться.

– И этот Замок... – раздался спокойный, добрый голос из круга собравшихся у камина.

– Да, – сказал бедный родственник, задумчиво кивая головой и не отрывая глаз от огня, – мой Замок – воздушный замок. Джон, наш уважаемый хозяин, правильно понял меня. Это воздушный замок! Я кончил. Теперь пусть рассказывает кто-нибудь другой.

Груз «Грейт Тасмании»

⁸⁰ Я постоянно езжу по одной железной дороге. Она ведет из Лондона к большим провиантским складам военного ведомства и расположенным там же большим казармам. Насколько я могу припомнить, мне ни разу не случилось ехать днем в поезде без того, чтобы не встретить нескольких дезертиров в наручниках.

Вполне естественно, что в армии, устроенной на таких началах, как наша английская армия, попадаетея немало дурных и недисциплинированных людей. Но ведь это довод в пользу, а не против того, чтобы сделать армию возможно более приемлемой для порядочных людей, которые хотели бы стать солдатами. А этих людей никак не привлекает необходимость жить в грязи, в какой не живет свинья, жить так, как не согласилось бы ни одно человеческое существо. Вот почему, когда иные из этих весьма относительных прелестей солдатской жизни стали не так давно достоянием гласности, мы, люди штатские, которые, в неведение о происходящем, сидели себе и умилялись в душе подоходному налогу, сочли, что имеем к этому делу касательство, и даже вознамерились высказать вслух пожелание, чтобы здесь был наведен порядок, если только можно сделать подобный намек властям предрержащим, не погрешив против катехизиса.

Всякое живое описание недавних боев, всякое письмо солдата к родным, опубликованное в газетах, всякая страница репортажей о награждении крестом ордена Виктории⁸¹ показывают, что в рядах армии, при всем, что мешает этому, столько же людей

⁸⁰ Очерк «Груз «Грейт Тасмании» («TheGreatTasmania'sCargo») вошел в цикл очерков «Путешественник не по торговым делам» («TheUncommercialTraveller»), печатавшихся в разное время, начиная с 1860 года, в принадлежащем Диккенсу журнале «Круглый год» («ALLtheYearRound»).

Название «TheUncommercialTraveller» (буквально «Неторговый путешественник»), по свидетельству биографа Диккенса Форстера, образовано по аналогии с названием «Школы торговых путешественников» (то есть разъездных торговых агентов), которой Диккенс восхищался как образцовым учебным заведением.

Так у Диккенса возникла мысль написать о путешествиях, главный интерес которых составляет человек во всей сложности его бытия: «Я всегда в дороге. Я езжу, фигурально выражаясь, от великой фирмы «Братство человеческих интересов»... наблюдая малое, а иной раз великое; и то, что рождает во мне интерес, надеюсь, заинтересует и других».

«Очерки неторгового путешественника» необычайно разнообразны по жанру и по тематике. Они действительно содержат и очень малое в масштабах человеческого общества, и очень значительное.

Порой читатель видит прежнего, неудержимо веселого, остроумного юмориста Боза, но чаще всего великий гуманист, представляющий фирму «Братство человеческих интересов», беседует с читателем о злободневных, острых социальных проблемах, подводит итоги своих жизненных наблюдений, открыто негодует и в то же время пытается подчас примирить непримиримое.

Отдельным изданием первые семнадцать очерков, включая и «Груз «Грейт Тасмании», вышли в 1860 году; второе издание (следующие одиннадцать очерков) появилось в 1868 году, и шесть последних очерков, которые Диккенс назвал «Новые неторговые образчики», были напечатаны в 1869 году.

На русском языке очерк «Груз «Грейт Тасмании» впервые появился в Полном собрании сочинений Диккенса, изд. Ф. Павленкова, СПб. 1897 (т. 10), в переводе З. Н. Журавской.

⁸¹ *Орден Виктории* – английский военный орден, учрежденный королевой Викторией в 1856 году.

с чувством долга, сколько и среди представителей остальных профессий. Можно ли усомниться, что, исполняя все мы свой долг так же честно, как исполняет его солдат, на свете жилось бы много легче? Не спорю, нам это бывает порою трудней, чем солдату. Но давайте, по крайней мере, выполним свой долг перед ним.

Я вернулся опять в тот прекрасный богатый порт, где присматривал за Джеком-Мореходом, и как-то раз, в непогожее мартовское утро, решил подняться на холм. Моим случайным попутчиком был мой чиновный друг Панглос, и мы разговорились о том, что было целью этого моего путешествия не по торговым делам – я хотел повидать отслуживших свой срок солдат, которые вернулись недавно из Индии. Среди них были солдаты Хэблока,⁸² люди, участвовавшие во многих жарких боях великой индийской кампании, и мне любопытно было посмотреть на этих солдат после того, как они ушли из армии.

– Мой интерес отнюдь не уменьшился, – сказал я своему чиновному другу Панглосу,⁸³ – из-за того, что эти солдаты добивались отставки, а их долгое время не отпускали.

Нельзя было усомниться в их верности долгу и храбрости, но когда обстоятельства переменились, они решили, что их договор потерял силу, и сочли себя вправе требовать нового. В Индии наши власти упорно сопротивлялись их настояниям, но, как видно, солдаты были не так уж неправы, ибо это запутанное дело кончилось тем, что из Англии пришел приказ уволить их в отставку и отправить домой. (Это, конечно, стоило немалых денег.)

Когда солдатам удалось отстоять себя перед Департаментом Пагод того великого Министерства Околичностей, во владениях коего никогда не заходит солнце и никогда не пробивается луч разума, Департаменту Пагод, думал я, поднимаясь на холм, где случайно встретил своего чиновного друга, следовало особенно озаботиться честью нации. Он должен был даже в мелочах проявить исключительную добросовестность, если не великодушие, и тем доказать солдатам, что государственной власти чужды такие мелкие чувства, как мстительность и злопамятство. Он должен был принять все меры к тому, чтобы на пути домой сохранить их здоровье и чтобы они высадились на суше отдохнувшие от своих ратных трудов после морского путешествия, во время которого им были бы обеспечены чистый воздух, здоровая пища и хорошие лекарства. И я наперед радовался, представляя себе, какие замечательные рассказы об обхождении с ними принесут эти люди в свои города и села и насколько это будет способствовать популярности военной службы. Я почти уже начал надеяться, что на моей линии железной дороги дезертиры, которых доселе трудно было не встретить, станут мало-помалу в диковинку.

В этом приятном расположении духа вошел я в ливерпульский работный дом, ибо лавры были посажены в песчаную почву и солдаты, о которых идет речь, очутились в этом приюте славы.

Прежде чем пойти к ним в палаты, я спросил, как совершили они свой триумфальный въезд. Если не ошибаюсь, их привезли сюда под дождем на открытых телегах прямо с места высадки, а затем обитатели работного дома затащили их на своих спинах наверх. Во время этой пышной церемонии стоны и страдания несчастных были до того ужасны, что на глазах у присутствующих – как ни привычны они были к душераздирающим сценам – показались слезы. Солдаты настолько промерзли, что тех, кто в состоянии был подобраться к огню, с трудом удержали от того, чтобы они не сунули ноги прямо в пылающие уголья. Они были настолько истощены, что на них страшно было смотреть. Сто сорок человек, измученных

⁸² ...солдаты Хэблока... – Хэлок – английский генерал (1797–1857), участвовал в осуществлении колонизаторских планов Англии в Индии и Малой Азии. Его идеалом был солдат, воспитанный в строго пуританском Духе.

⁸³ ...мой чиновный друг Панглос... – Панглос – учитель юноши Кандида в повести Вольтера «Кандид». Он проповедует теорию оптимизма: все к лучшему в этом лучшем из миров.

дизентерией, почерневших от цинги, привели в чувство коньяком и уложили в постель.

Мой чиновный друг Панглос происходит по прямой линии от носившего то же имя ученого доктора, который был некогда наставником Кандида, – довольно известного юноши простодушного нрава. В частной жизни он человек достойный и добрый, не хуже многих других, но в качестве представителя власти он, по несчастью, исповедует веру своего славного предка, пытаясь по всякому случаю доказать, что мы живем в лучшем из чиновных миров.

–Скажите мне, во имя человеколюбия, – промолвил я, – каким образом эти люди дошли до столь горестного состояния? Какими припасами снабжен был корабль?

–У меня нет собственных сведений, но я имею все основания утверждать, что продукты были лучшие на свете, – отвечал Панглос.

Офицер медицинской службы положил перед нами пригоршню гнилых сухарей и горсть сухих бобов. Сухарь представлял собой сплошную массу червей и их экскрементов. Бобы были еще тверже, чем эта мерзость. Подобную же пригоршню бобов варили на пробу в течение шести часов, и они несколько не стали мягче. Таков был провиант, которым кормили солдат.

–Говядина... – начал я, но Панглос не дал мне кончить.

–Лучшая на свете, – заявил он.

Но вот посмотрите, перед нами положили один из протоколов коронерского дознания, проведенного по случаю того, что некоторые солдаты, очутившись в подобных условиях, из неповиновения умерли. Из этого протокола явствовало, что говядина была худшая на свете.

–Тогда я торжественно заявляю, что уж свинина, во всяком случае, была лучшая на свете, – сказал Панглос.

–Но посмотрите, что за продукты лежат перед нами, если только они заслуживают этого названия, – сказал я. – Разве мог инспектор, честно исполняющий свои обязанности, признать эту пакость съедобной?

–Их не следовало принимать, – согласился Панглос.

–В таком случае тамошние власти... – начал я, но Панглос снова не дал мне кончить.

–Кажется, и в самом деле иногда что-то где-то было не так, – сказал он, – но я берусь доказать, что тамошние власти лучшие на свете.

Я еще никогда не слышал, чтоб власти, чьи действия подвергнуты критике, не были бы лучшими властями на свете.

–Говорят, что эти несчастные слегли от цинги, – продолжал я. – Но с тех пор как у нас во флоте стали заготавливать и выдавать матросам лимонный сок, эта болезнь не наносит опустошений и почти исчезла. На этом транспорте был лимонный сок?

Мой чиновный друг уже завел было свое: «Лучший на свете», – но, как назло, палец медика указал еще на один пункт в протоколе дознания, из коего следовало, что лимонный сок тоже никуда не годился. Стоит ли упоминать, что уксус никуда не годился, овощи никуда не годились, для приготовления пищи (если там вообще стоило что-либо готовить) все было приспособлено плохо, воды не хватало, а пиво было прокисшее.

–В таком случае солдаты, – сказал Панглос, начиная раздражаться, – были самые плохие на свете.

–В каком смысле? – поинтересовался я.

–Пропойцы! – заявил Панглос.

Однако тот же неисправимый палец медика указал еще на один пункт в протоколе дознания, из коего явствовало, что умершие были подвергнуты вскрытию и что они, во всяком случае, никак не могли быть алкоголиками, ибо органы, на которых обнаружались бы последствия пьянства, оказались совершенно здоровыми.

–Кроме того, – заявили в один голос все трое присутствовавших здесь врачей, – алкоголики, дойдя до такого состояния, не оправились бы, получив пищу и уход, как большинство этих солдат. У них организм бы не выдержал.

–Ну, значит, они были расточительны и не думали о завтрашнем дне, – сказал

Панглос. – Эта публика всегда такова, в девяти случаях из десяти.

Я обратился к зрителю работного дома и спросил его, были у этих людей деньги или нет.

– Деньги? – переспросил он. – У меня в несгораемом шкафу лежит фунтов четыреста их денег, еще фунтов сто у агентов, и у многих из них остались деньги в индийских банках.

«Да! – сказал я себе, когда мы поднимались наверх. – История, пожалуй, не самая лучшая на свете!»

Мы вошли в большую палату, где стояло двадцать или двадцать пять кроватей. Мы обошли одну за другой несколько подобных палат. Я не решаюсь сказать, какое ужасное зрелище явилось моим глазам, ибо отпугну читателя от этих строк и тем самым лишу себя возможности сообщить ему все, что намерен.

Эти запавшие глаза, которые обращались ко мне, когда я проходил между рядами кроватей, и – хуже того – эти потухшие невидящие взоры, неподвижно вперившиеся в белый потолок, лишённые всякого интереса к окружающему! Здесь лежит живой скелет, обтянутый тонкой нездоровой кожей, так что видна каждая косточка, и я могу двумя пальцами обхватить его руку повыше локтя. Здесь лежит человек, у которого черная цинга разъела ноги; десны исчезли, и во рту торчат длинные обнаженные зубы. Эта кровать пуста, потому что здесь побывала гангрена и пациент накануне умер. Этот больной безнадежен, он день за днем угасает, и его можно только заставить со слабым стоном повернуть на подушке несчастное, изможденное, подобное маске лицо. Ужасная худоба запавших щек, ужасный блеск провалившихся глаз, серые губы, бледные руки. Эти человеческие подобия лежат безвольно, осененные крылом смерти и освещенные торжественным сумеречным светом, как те шестьдесят, что умерли на корабле и покоятся ныне на дне морском... О Панглос, бог тебе судья!

На одной кровати лежал человек, чья жизнь, после того как ему сделали глубокие надрезы на руках и ногах, надеялись, была вне опасности. Пока я разговаривал с ним, подошла сиделка сменить припарки, необходимые после этой операции, и я почувствовал, что отвернуться, дабы спасти себя от переживаний, было бы с моей стороны нехорошо. Больной был впечатлителен и страшно истощен, но делал буквально героические усилия, чтобы ничем не выдать своих невыносимых страданий. По тому, как он содрогался всем телом, по тому, как натягивал простыню на лицо, легко было увидеть, что ему приходилось терпеть, и я сам содрогался, словно это мне было больно, но, когда ему наложили новые повязки и его бедные ноги успокоились, он извинился, хотя за все это время не проронил ни слова, и жалобно проговорил: «Видите, сэр, какой я стал слабый и чувствительный!» Ни от него, ни от других несчастных страдальцев не слышал я слова жалобы. Слов благодарности за внимание и заботу я слышал много, но жалобы – ни одной.

Даже в самом ужасном скелете можно было, я думаю, узнать солдата. Что-то от бывшего характера таилось в бледных тенях людей, с которыми я говорил. Одно истощенное существо, от которого, в буквальном смысле слова, остались кожа да кости, лежало распростертое ничком на кровати и было так похоже на мертвеца, что я спросил докторов, не умирает ли он. Но вот доктор сказал ему на ухо несколько добрых слов; он открыл глаза, улыбнулся, и мне вдруг показалось, что, если бы он мог, он отдал бы честь. «Мы его вызволим, с божьей помощью», – сказал доктор. «Спасибо, доктор, дай бог», – сказал пациент. «Вам сегодня много лучше, правда?» – спросил доктор. «Дай бог, сэр; мне надо хорошенько постучать по спине, сэр, ночью не сплю, дышать трудно». – «А вы знаете, он человек предусмотрительный», – сказал доктор весело. – Когда его положили на телегу, чтобы везти сюда, шел сильный дождь, и он догадался попросить, чтобы у него из кармана вынули содерен и наняли извозчика. Возможно, это спасло ему жизнь». Пациент издал какое-то дребезжащее подобие смеха и промолвил, гордый тем, что о нем рассказали: «То-то и дело, сэр, что тащить сюда умирающего на открытой телеге – нелепая затея; а вот чтоб его доконать, лучшего средства не сыщешь». Когда он произнес эти слова, можно было побиться об заклад, что перед вами солдат.

Когда я ходил от постели к постели, одно обстоятельство сильно меня озадачило. Очень важное и очень печальное обстоятельство. Я не обнаружил молодых людей, кроме одного. Он привлек мое внимание тем, что встал, натянул свои солдатские штаны и куртку, чтобы посидеть у огня, но, убедившись, что слишком для этого слаб, забрался обратно на койку и улегся поверх одеяла. В нем одном признал я молодого человека, постаревшего раньше времени от голода и болезни. Когда мы стояли у кровати солдата-ирландца, я упомянул о своем недоумении врачу. Он снял табличку с изголовья кровати ирландца и спросил, сколько, по-моему, лет этому человеку. Я внимательно наблюдал его все время, что с ним говорил, и ответил с уверенностью: «Пятьдесят». Доктор, бросив сочувственный взгляд на больного, снова впавшего в забытие, повесил табличку обратно и сказал: «Двадцать четыре».

Порядок в палатах был образцовый. Невозможно было отнестись к больным с большей человечностью и сочувствием, окружить их лучшим уходом, поместить в более здоровую обстановку. Владельцы судна тоже сделали все, что было в их силах, не побоявшись затрат. В каждой комнате ярко пылал камин, и выздоравливающие сидели у огня, читая газеты и журналы. Я взял на себя смелость попросить своего чиновного друга Панглоса посмотреть на их лица, приглядеться к их поведению и сказать, не видно ли по ним, что это исправные, стойкие солдаты. Смотритель работного дома, услышав мои слова, заметил, что ему немало пришлось иметь дела с военными, но что ему никогда прежде не случалось сталкиваться с людьми более примерного поведения. Они, добавил он, всегда такие, какими мы их видим сейчас. А о нас, посетителях, добавлю я, они знали лишь то, что мы здесь.

Как ни дерзко это было с моей стороны, я позволил себе еще одну вольность с Панглосом. Заметив для начала, что хотя, как мне известно, никто ни в малейшей мере не пробовал замолчать какие-либо обстоятельства этого ужасного дела и что дознание было справедливейшее на свете, я все же попросил его, во-первых, обратить внимание на то, что дознание велось не здесь, а в другом месте; во-вторых, посмотреть на эти беспомощные тени людей, что лежат вокруг него на кроватях; в-третьих, припомнить, что свидетелей для коронера пришлось отбирать не из тех, кто знал больше других, а из тех, кто способен был перенести поездку к коронеру; и в-четвертых, объяснить, почему коронер с присяжными не могли явиться сюда, к этим постелям, и здесь тоже снять показания? Мой чиновный друг отказался свидетельствовать сам против себя и промолчал.

В кучке людей, сидевших у одного из каминов, я увидел сержанта, который что-то читал. Поскольку у него было умное лицо и поскольку я питаю большое уважение к унтер-офицерам, я присел на ближайшую постель и заговорил с ним. (Это была постель одного из самых страшных скелетов; он вскоре умер.)

—Мне было приятно, сержант, прочитать показания одного офицера, который во время дознания заявил, что ему никогда прежде не случалось видеть, чтобы солдаты лучше вели себя на борту корабля.

—Они вели себя очень хорошо, сэр.

—И еще мне было приятно узнать, что у каждого солдата была своя подвесная койка.

Сержант угрюмо покачал головой.

—Здесь какая-то ошибка, сэр. У солдат моей команды не было коек. На корабле коек не хватало, и солдаты двух других команд захватили койки, как только попали на борт, так что они, что называется, обошли моих людей.

—Значит, у ваших людей коек не было?

—Не было, сэр. Койки им доставались только тогда, когда кто-нибудь умирал, но до многих очередь так и не дошла.

—Так что вы не согласны с этим пунктом протокола?

—Конечно нет, сэр. Как можно согласиться, когда знаешь, что это не так?

—Были на корабле солдаты, которые продавали свою постель, чтобы купить спиртного?

—Здесь опять ошибка, сэр. Люди думали, да и я так считал в то время, что нам не позволят взять с собою на борт одеяла и постельные принадлежности, и поэтому те, у кого

они были, старались сбыть их с рук.

–А случилось, что солдаты пропивали свою одежду?

–Случалось, сэр. (Я думаю, что на свете не было свидетеля более беспристрастного, чем этот сержант. Он совершенно не старался никого обелить.)

–И многие это делали?

–Кое-кто, сэр, – отвечал он, подумав. – По-солдатски, Мы долго шли в сезон дождей по плохим дорогам, короче говоря, по бездорожью, и когда мы добрались до Калькутты, людям захотелось выпить, прежде чем проститься с городом. По-солдатски.

–Вот, например, в этой палате есть сейчас кто-нибудь из тех, кто пропил тогда свою одежду?

Тусклые глаза сержанта, в которых только еще стали зажигаться первые счастливые искорки жизни, оглядели палату я снова обратились ко мне.

–Разумеется, сэр.

–Должно быть, дойти пешком маршем до Калькутты в сезон дождей было очень трудно?

–Это был очень тяжелый марш, сэр.

–Но я думаю, что солдаты, даже те, кто пил, должны были скоро оправиться на борту корабля, где они могли отдохнуть и подышать морским воздухом.

–Могли бы, но на них сказались плохая пища, особенно в холодных широтах, и когда мы попали туда, люди совсем обессилели.

–Мне говорили, сержант, что больные, как правило, отказывались от еды.

–А вы видели, чем нас кормили, сэр?

–Кое-что видел.

–А вы видели, сэр, в каком состоянии у них зубы? Если бы сержант, привыкший к коротким словам команды, не был столь лаконичен, а наговорил бы столько, что хватило бы на целую книгу, он все равно не сумел бы лучше растолковать суть дела. Я думаю, больные могли с таким же успехом съесть корабль, как и корабельные припасы.

Когда я, пожелав ему скорого выздоровления, оставил сержанта, я снова позволил себе вольность по отношению к своему чиновному другу Панглосу, осведомившись у него, слышал ли он когда-нибудь, чтобы сухари напились пьяными и выменяли свои питательные качества на гниль и червей, а бобы затвердели в спиртном; чтобы койки спились и сгнули со света, а лимонный сок, овощи, уксус, кухонные принадлежности, вода и пиво собрались вместе и сами себя пропили. Если он такого не слышал, продолжал я, то что он может сказать в защиту осужденных коронерским судом офицеров, которые, подписав инспекторский акт о пригодности «Грейт Тасмании» для транспортировки войск, тем самым предумышленно объявили всю эту отраву, все эти отбросы, годные для помойки, доброкачественной и полезной пищей. Мой чиновный друг в ответ заявил, что если иные офицеры относительно хороши, а другие только сравнительно лучше, то офицеры, о коих идет речь, самые лучшие на свете.

У меня щемит сердце и рука изменяет мне, когда я пишу отчет об этом своем путешествии. Видеть этих солдат на больничных койках в ливерпульском работном доме (кстати, очень хорошем работном доме) было так ужасно и так позорно, что я, как англичанин, сгораю от стыда при одном лишь воспоминании. Я просто не в силах был бы вынести это зрелище, если бы не забота и сочувствие, которые проявили к ним там, пытаюсь облегчить их страдания.

Никакое наказание, предусмотренное нашими слабыми законами, нельзя даже назвать наказанием, когда речь идет о лицах, виновных в таком преступлении. Но если память о нем умрет неотмщенной и все, кто в нем повинен, не будут беспощадно изгнаны и заклеены позором, позор падет на голову правительства (все равно, какой партии), до такой степени пренебрегшего своим долгом, и на английский народ, безучастно вззирающий на то, как от его имени совершаются столь чудовищные злодеяния.

Роман, сочиненный на каникулах

В четырех частях

Часть I

Вводный роман. Сочинение Уильяма Тинклинга, эсквайра⁸⁴

⁸⁵Эта вводная часть никем не выдумана из головы, так и знайте. Это было взаправду. Вы должны верить вводной части больше, чем тому, что пойдет за ней, иначе не поймете, как было написано то, что за ней пойдет. Вы должны верить всему, но этой части, пожалуйста, верьте больше всего. Я редактор этих сочинений. Боб Редфорт (он мой двоюродный брат и сейчас нарочно толкает стол) сам хотел редактировать эти сочинения, но я сказал, чтобы он не смел, потому что не может, – ведь он и понятия не имеет, как нужно редактировать.

Нетти Эшфорд моя жена. Мы повенчались с ней в первый же день нашего знакомства в стенном шкафу, что в углу танцевальной школы с правой стороны, а обручальное кольцо (зеленое) купили в игрушечном магазине Уилкингуотера. Это я купил его в долг и заплачу из своих карманных денег. Когда великолепная церемония кончилась, мы вчетвером ушли на дорожку, что между садовыми изгородями, и выстрелили из пушки (Боб Редфорт принес ее, заряженную, в своем жилетном кармане), чтобы объявить о нашей свадьбе. После выстрела пушка так и подпрыгнула, а потом перевернулась. На другой день с такими же церемониями обвенчали подполковника Робина Редфорта с Элис Рейнберд. На этот раз пушка взорвалась с ужаснейшим треском так, что какой-то щенок даже залаял.

В то время, о котором мы теперь говорим, моя несравненная жена была в плену – в школе мисс Триммер. Школу содержат две компаньонки – Дроуви и Триммер, – и неизвестно, которая хуже. Очаровательная жена подполковника тоже была заключена в темницах этого заведения. Мы с подполковником поклялись друг другу похитить наших жен в следующую среду, когда пансионеры будут гулять парами.

Дело было отчаянное, и подполковник, который одарен живым умом и занимается противозаконной деятельностью (он пират), предложил идти в атаку с фейерверком. Однако мы из человеколюбия отказались от этого: слишком дорого обойдется.

Легко вооруженный ножом для разрезания книг (который был спрятан под застегнутой курткой) и потрясая грозным черным флагом, укрепленным на конце палки, подполковник принял команду надо мною в два часа пополудни этого богатого событиями дня. Он начертил план атаки на клочке бумаги и накатал его на палочку от обруча. Он показал мне план. Моя позиция и мой портрет во весь рост (но на самом деле уши у меня не торчат так горизонтально) были изображены за угловым фонарным столбом, и тут же мне был вручен письменный приказ оставаться на месте, пока я не увижу, что мисс Дроуви пала. Дроуви, которая должна была пасть, это та, что в очках, а не та, что в большой сиреневой шляпке. По этому сигналу я должен был ринуться вперед, схватить свою жену и с боем проложить себе путь на дорожку между изгородями. Тут мы с подполковником должны были соединиться и, поставив своих жен позади себя – между нами и оградой, – победить или умереть.

Неприятель появился... приблизился. Размахивая черным флагом, подполковник бросился в атаку. Последовало смятение. В тревоге я ждал сигнала; но сигнала не было. Ненавистная Дроуви в очках не только не пала, но, как мне показалось, накинула подполковнику на голову его противозаконное знамя и принялась тузить его зонтиком. Та,

⁸⁴ Восьми лет (*Прим. автора*)

⁸⁵ Рассказ «Роман, сочиненный на каникулах» («Holiday Romances») впервые был напечатан в американском журнале «Our Young Folks» в январе – мае 1868 года.

На русском языке рассказ появился в 1869 году в № 1 журнала «Заря», под заглавием «Праздничная повесть».

что в сиреновой шляпке, тоже проявляла чудеса храбрости и колотила его кулаками по спине. Убедившись, что на этот раз все потеряно, я ринулся в отчаянный рукопашный бой и пробился на дорожку. Свернув на заднюю тропинку, я, к счастью, никого не встретил и без помехи прибыл на место.

Будто целый век прошел, пока подполковник прибежал ко мне. Он ходил к портному, чтобы тот зашил дырки на его штанах, и объяснил наше поражение тем, что ненавистная Дроуви отказалась пасть. Поняв, как она упряма, он сказал ей: «Умри, малодушная!» – но увидел, что она глуха к доводам разума – в этом случае, как и в других.

На другой день моя цветущая жена вместе с женой подполковника пришла в танцевальную школу. Как! Неужели она отвернулась от меня? Ха! Вот именно. С упреком во взоре она сунула мне в руку клочок бумажки и пошла танцевать с другим кавалером. На бумажке было написано карандашом: «Боже! Смогу ли я написать это слово? Неужели мой супруг... трутень?»

Я прямо остолбенел, голова моя пылала, и я старался угадать, какой клеветник пустил слух, что мой род происходит от вышеупомянутого неблагородного насекомого. Тщетны были мои старания. Когда танцы кончились, я шепотом вызвал подполковника в раздевальню и показал ему записку.

– Тут один слог лишний, – произнес он, мрачно сморщив лоб.

– Ха! Как это лишний? – спросил я.

– Она спрашивает, может ли она написать это слово. Выходит, что нет; видишь – не смогла и вместо него написала другое, – сказал подполковник, ткнув пальцем в строчку.

– Какое же слово она хотела написать? – спросил я.

– Трус-с-с, – зашипел мне в ухо пират-подполковник, возвращая записку.

Тут я понял, что или мне всю жизнь придется бродить по земле заклеянным мальчиком – то есть человеком, – или я обязан восстановить свою честь и потребовать, чтобы меня судили военным судом. Подполковник признал мое право на суд. Трудновато оказалось собрать судей, потому что тетка французского императора не захотела отпустить его из дому. А он был председатель суда. Но не успели мы назначить ему заместителя, как сам председатель сбежал от тетки, перелез через стену заднего двора и вернулся к нам самодержавным монархом.

Суд состоялся на лужайке у пруда. Я узнал в одном адмирале из числа судей своего самого заклятого врага. Однажды он так ругался из-за кокосового ореха, что я не вытерпел; однако я был уверен в своей невиновности и к тому же президент Соединенных Штатов (сидевший рядом с ним) еще не вернул мне моего ножа, поэтому я собрался с духом и приготовился к тяжкому испытанию.

Торжественное это было зрелище, наш суд! Меня привели два палача в передниках наизнанку. Под зонтиком стояла моя жена, опираясь на жену пирата-подполковника. Председатель призвал к порядку одну маленькую прапорщицу за то, что она хихикала, когда дело шло о жизни и смерти, а потом велел мне признаться: «Трус я или не трус, виновен или не виновен?» Я заявил твердым голосом: «Не трус и не виновен» (маленькую прапорщицу председатель снова призвал к порядку за нехорошее поведение, а она взбунтовалась, покинула суд и принялась кидаться камнями).

Мой непреклонный враг, адмирал, поддерживал обвинение против меня. Вызвали жену подполковника подтвердить, что во время схватки я стоял за угловым фонарным столбом. До чего тяжело мне было слушать, как моя собственная жена дает свидетельские показания по тому же вопросу. Меня могли бы избавить от этого, но адмирал знал, чем меня уязвить. Молчи, душа! Ничего! Потом вызвали подполковника давать свидетельские показания.

Я с нетерпением ждал этой минуты, потому что это был поворотный пункт моего дела. Оттолкнув своих стражей – им вовсе незачем было держать меня, дуракам этаким, пока меня не признали виновным, – я спросил подполковника, в чем, по его мнению, первый долг солдата. Он еще не успел ответить, как вдруг президент Соединенных Штатов встал и заявил суду, что мой враг адмирал произнес слово «храбрость»; а ведь подсказывать свидетелю

нечестно. Председатель суда немедленно приказал набить адмиралу рот листьями и связать его веревкой.

Заседание еще не возобновилось, а я уже с удовлетворением увидел, как приговор привели в исполнение.

Тогда я вынул из кармана штанов бумагу и спросил:

– Как по-вашему, подполковник Редфорт, в чем первый долг солдата? В повиновении?

– Именно, – ответил подполковник.

– А эта бумага, взгляните на нее, пожалуйста, написана вашей рукой?

– Именно, – ответил подполковник.

– Это военный план?

– Именно, – ответил подполковник.

– План сражения?

– Совершенно верно, – ответил подполковник.

– Последнего сражения?

– Последнего сражения.

– Будьте добры описать его, а потом вручить председателю суда.

То была минута моего торжества, и, начиная с нее, мои страдания и грозившие мне опасности кончились. Суд встал и запрыгал, убедившись, что я в точности исполнял приказы. Мой враг – адмирал, хоть он и был в наморднике, оказался настолько злобным, что предложил считать меня обесчещенным за то, что я бежал с поля битвы. Но ведь сам подполковник тоже сбежал, поэтому он поклялся словом и честью пирата, что, когда все потеряно, бежать с поля битвы можно и это вовсе не позор. Меня уже собирались признать «не трусом и невиновным», а мою цветущую жену собирались публично вернуть в мои объятия, как вдруг непредвиденное обстоятельство расстроило общее ликование. Это была не кто иная, как тетка французского императора, – она вцепилась ему в волосы. Заседание прервалось, и суд бросился бежать врассыпную.

На второй день после суда, когда серебряные лучи месяца еще не коснулись земли, а вечерние тени уже начали на нее падать, можно было различить четыре фигуры, которые медленно двигались к плакучей иве на берегу пруда – опустевшей арене позавчерашних мук и побед. Подойдя поближе и присмотревшись опытным глазом, можно было узнать в этих фигурах пирата-подполковника с молодой женой и позавчерашнего доблестного узника с молодой женой.

На прекрасных лицах наших нимф отражалось уныние. Все четверо несколько минут молча сидели на траве, прислонившись к иве, и, наконец, жена подполковника сказала, надув губы:

– Не стоит больше воображать, и лучше нам все это бросить.

– Ха! – воскликнул пират. – Воображать?

– Перестань! Ты меня огорчаешь! – отозвалась его жена.

Очаровательная жена Тинклинга повторила это неслыханное заявление. Оба воина обменялись мрачными взглядами.

– Если взрослые не *желают* делать того, что следует, – сказала жена пирата-подполковника, – и всегда берут над нами верх, какой толк от того, что мы будем воображать?

– Нам же хуже, – вставила жена Тинклинга.

– Ты отлично знаешь, – продолжала жена подполковника, – что мисс Дроуви ни за что бы не захотела пасть. Ты сам на это жаловался. Ты знаешь, как позорно окончился военный суд. А наш брак – разве мои родные его признают?

– А разве мои родные признают наш брак? – сказала жена Тинклинга.

Оба воина снова обменялись мрачными взглядами.

– Уж если тебе велели убираться вон, – сказала жена подполковника, – так можешь сколько угодно стучать в дверь и требовать меня, все равно тебя выдерут за уши, за волосы или за нос!

– А если ты будешь настойчиво звонить в колокольчик и требовать меня, – сказала жена Тинклинга этому джентльмену, – тебя закидают всякой дрянью из того окна, что над дверью, или обольют водой из садовой кишки.

– А у вас дома будет не лучше, – продолжала жена подполковника. – Вас отправят спать или придумают еще что-нибудь столь же унижительное. И потом, как вы добудете деньги, чтобы нас кормить?

– Грабежом! – мужественно ответил пират-подполковник.

Но его жена возразила:

– А если взрослые не захотят, чтобы их грабили?

– Тогда, – сказал подполковник, – они заплатят своей кровью.

– А если они не захотят, – возразила его жена, – и не станут платить ни своей кровью и ни еще чем-нибудь?

Наступило мрачное молчание.

– Так, значит, ты больше не любишь меня, Элис? – спросил подполковник.

– Редфорт! Я навеки твоя, – ответила его жена.

– Так, значит, ты больше не любишь меня, Нетти? – спросил пишущий эти строки.

– Тинклинг! Я навеки твоя, – ответила моя жена.

Мы все четверо расцеловались. Да не поймут меня превратно непостоянные сердца. Подполковник поцеловал свою жену, а я свою. Но ведь дважды два – четыре.

– Мы с Нетти обдумали наше положение, – печально промолвила Элис. – Со взрослыми нам не справиться. Они над нами смеются. Кроме того, они теперь все переделали по-своему. Вот, например, вчера крестили маленького братца Уильяма Тинклинга. И что же? Пришел ли на крестины хоть один король? Отвечай, Уильям.

Я сказал «нет»; разве только под видом двоюродною дедушки Чоппера.

– А королева пришла?

Насколько я знал, никакой королевы к нам не приходило. Возможно, королева сидела на кухне, но не думаю: прислуга, наверное, доложила бы про нее.

– А феи были?

– Ни одной феи я не видел.

– Помнится, мы думали, – сказала Элис с грустной улыбкой, – мы все четверо думали, что мисс Триммер окажется злой волшебницей, придет на крестины с костью и преподнесет ребенку зловещий подарок. – Было что-нибудь в этом роде? Отвечай, Уильям.

Я сказал, что мама потом говорила (и она действительно говорила), что подарок двоюродного дедушки Чоппера жалкая дешевка, но она не назвала этот подарок зловещим. Она сказала, что он жалкий, подержанный, подделка и что дедушка мог бы позволить себе купить что-нибудь подороже.

– Очевидно, эти взрослые все так переделали по-своему, – сказала Элис. – Ведь мы-то не смогли бы, даже если бы хотели, а мы никогда бы не захотели. Или, может, мисс Триммер все-таки злая волшебница, но не хочет вести себя так, как ей полагается, потому что взрослые ее отговорили. Но все равно, они нас поднимут на смех, скажи мы им только, чего мы ожидали.

– Тираны! – пробормотал пират-подполковник.

– Нет, Редфорт, – сказала Элис, – не надо так говорить. Не ругайся, Редфорт, а то они пожалуются папе.

– Пускай! – сказал подполковник. – Наплевать! Кто он такой, подумаешь!

Тут Тинклинг пустился в опасное предприятие – сделал замечание своему противозаконному другу, и тот согласился взять назад вышеупомянутые мрачные выражения.

– Что же нам остается делать? – продолжала Элис, как всегда, кротко и рассудительно. Нам нужно воспитывать, нам нужно воображать по-новому, нам нужно ждать.

Подполковник стиснул зубы. Спереди у него не хватало четырех и еще куса от другого зуба, и его два раза таскали к злодею-дантисту, но подполковник убежал от своих

конвоиров.

– Как это воспитывать? Как воображать по-новому? Как ждать?

– Воспитывать взрослых, – ответила Элис. – Мы расстанемся сегодня вечером. Да, Редфорт, – обратилась она к подполковнику, потому что он засучил рукава, – расстанемся сегодня вечером! И давайте во время будущих каникул – ведь они скоро начнутся – подумаем о том, как перевоспитать взрослых и показать им, какую должна быть жизнь. Давайте скроем свои мысли под видом романов. Ты, я и Нетти! Уильям Тинклинг пишет разборчивей и быстрее всех, поэтому он перепишет наши сочинения. Согласны?

Подполковник хмуро ответил:

– Ничего не имею против. – Потом спросил: – А как насчет воображения?

– Мы будем воображать, – сказала Элис, – что мы дети; мы не будем воображать себя взрослыми, – ведь они должны нам помогать, а не хотят и совсем нас не понимают.

Подполковник, все еще очень недовольный, проворчал:

– А как насчет ожидания?

– Мы будем ждать, – сказала маленькая Элис, взяв за руку Нетти и глядя на небо, – мы будем ждать, верные и постоянные до гроба, пока жизнь не изменится, да так, что все нам будут помогать и никто не станет над нами смеяться, а феи вернутся. Мы будем ждать, верные и постоянные до гроба, пока нам не исполнится восемьдесят, девяносто или сто лет. А тогда феи пошлют детей и нам, к мы поможем им, прелестным бедняжкам, если они будут воображать по-нашему.

– Так и сделаем, милая! – сказала Нетти Эшфорд, обнимая ее обеими руками за талию и целуя. – А теперь пусть мой муж пойдет купить нам вишен, – деньги у меня есть.

Я самым дружеским образом пригласил подполковника пойти со мной вместе, но он настолько забылся, что в ответ на приглашение лягнул ногой, потом бросился животом на траву и принялся выдергивать ее и жевать. Впрочем, когда я вернулся, Элис уже почти удалось рассеять его дурное настроение, и теперь она утешала его рассказами о том, как скоро всем нам будет по девяносто лет.

Пока мы сидели под ивой и ели вишни (по-честному, потому что Элис выдала каждому его долю), мы затеяли игру в девяносто лет. Нетти стала жаловаться, что у нее, старенькой, болит спина, так что она даже захромала, а Элис спела песенку по-старушечьи, но песенка была очень красивая, и всем нам стало весело. Впрочем, не знаю, взаправду ли весело, но, во всяком случае, уютно.

Вишен была целая куча, а Элис всегда брала с собой какой-нибудь хорошенький мешочек, коробочку или сундучок со всякими вещицами. В тот вечер она взяла с собой крошечную рюмочку. И вот Элис и Нетти сказали, что они сделают нам вино из вишен, чтобы выпить за нашу любовь, на прощанье.

Каждый получил по целой рюмке, и вино оказалось превкусное; и каждый произносил тост: «За нашу любовь, на прощанье». Подполковник выпил свое вино последним, и мне сейчас же пришло в голову, что оно сейчас же ударило ему в голову. Так иди иначе, но, опрокинув рюмку, он стал вращать глазами, а потом отвел меня в сторону и хриплым шепотом предложил, чтобы мы оба «все-таки похитили их».

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил я своего противозаконного друга.

– Похитим наших жен, а потом пробьем себе дорогу, не задерживаясь на поворотах, и прямо – марш к Испанскому океану! – ответил подполковник.

Может, мы и сделали бы такую попытку, хотя, по-моему, из нее все равно ничего бы не вышло; но мы оглянулись и увидели, что под ивой только месяц светит, а наши милые, прелестные жены ушли. Тут мы залились слезами. Подполковник разревелся вторым, а успокоился первым; но ревел он здорово.

Мы стеснялись своих красных глаз и полчаса с ними возились, – все старались их побелить. Подвели себе глаза куском мела – я подполковнику, а он мне, – но потом в спальне увидели в зеркало, что получилось ненатурально, не говоря уж о воспалении. Тут мы завели разговор насчет девяноста лет. Подполковник сказал мне, что у него есть пара башмаков, на

которые нужно поставить подметки и каблуки; но едва ли стоит говорить об этом отцу, потому что подполковнику очень скоро стукнет девяносто лет, а тогда будет удобнее носить туфли. Еще подполковник сказал, уперев руку в бок, что уже чувствует, как стареет и у него начинается ревматизм. А я сказал ему то же самое о себе. А дома, когда родные говорили за ужином (они вечно пристают то с тем, то с другим), что я начал горбиться, я так обрадовался!

Этим кончается вводная часть, которой вы должны были верить больше всего.

Часть II

Сочинение мисс Элис Рейнберд⁸⁶

Жил-был один король, и была у него королева; и он был самый мужественный из мужчин, а она была самая очаровательная из женщин. Король был по профессии государственным служащим. Отцом королевы был деревенский доктор.

У них было девятнадцать человек детей и постоянно рождались новые дети. Семнадцать человек этих детей нянчили младшего, грудного ребеночка: Алиса, старшая, нянчила всех прочих. Возраста они были разного: от семи лет до семи месяцев.

Теперь перейдем к нашему рассказу.

Однажды король шел на службу и зашел в рыбную лавку купить полтора фунта лососины – кусок не слишком близко к хвосту, – потому что королева (она была хорошая хозяйка) попросила его прислать домой лососины. Мистер Пиклз, торговец рыбой, сказал:

– Пожалуйста, сэръ: а не угодно ли вам еще чего-нибудь? До свиданья.

Король шел на службу печальный, потому что до дня получения жалованья оставалось еще очень много времени, а некоторые его милые детки уже выросли из своих платьев. Не успел он уйти далеко, как вдруг мальчик, посыльный мистера Пиклза, догнал его и спросил:

– Сэр, вы не заметили старушки у нас в лавке?

– Какой старушки? Я никакой старушки не заметил, – ответил король.

Надо вам знать, что король потому не заметил никакой старушки, что эта старушка была для него невидима, а видима только для мальчика мистера Пиклза. Может, это получилось потому, что мальчишка так возился и так брызгался водой и с такой силой швырялся рыбами, что, будь она для него невидима, он испортил бы ей платье.

Тут как раз прибежала и старушка. Она была одета в богатейшее платье из шелка, переливающегося разными цветами, и пахла сушеной лавандой.

– Вы король Уоткинз Первый? – спросила старушка.

– Да, – ответил король, – моя фамилия Уоткинз.

– Если не ошибаюсь, вы папа прекрасной принцессы Алисы? – спросила старушка.

– И восемнадцати других милых деток, – ответил король.

– Слушайте! Вы идете на службу? – сказала старушка.

Тут король сразу же догадался, что она, должно быть, фея, – иначе как она могла знать, куда он идет?

– Вы правы, – сказала старушка, отвечая на его мысли. – Я добрая фея Грандмарина. Внимание! Когда вы вернетесь домой, вежливо попросите принцессу Алису скушать немного лососины – вот той, что вы сейчас купили.

– Лососина может ей повредить, – сказал король.

Старушка так рассердилась на эту нелепость, что король очень испугался и смиренно попросил у нее прощения.

– Слишком уж много твердят: одно вредно, другое вредно, – сказала старушка с величайшим презрением. – Не жадничайте! Должно быть, вам самим хочется съесть всю лососину.

Выслушав этот упрек, король повесил голову и сказал, что никогда больше не будет говорить про вредное.

– Так будьте пайнкой и не делайте этого, – сказала фея Грандмарина. – Когда прекрасная принцесса Алиса согласится отведать лососины – а я думаю, она согласится, – вы увидите, что она оставит рыбью косточку на тарелке. Попросите ее высушить эту косточку, натереть ее и полировать, пока она не заблестит, словно перламутр, а потом пусть бережет ее как подарок от меня.

– Это все? – спросил король.

– Потерпите немножко, сэр, – строго заметила ему фея Грандмарина. – Не прерывайте других, пока они не кончат говорить. И что это за привычка у вас, взрослых, – вечно вы всех прерываете.

Король опять повесил голову и сказал, что больше не будет.

– Так будьте пайнкой и не делайте этого, – сказала фея Грандмарина, – передайте от меня привет принцессе Алисе и скажите ей, что рыбья косточка – волшебный дар, которым можно воспользоваться только один раз; но в этот единственный раз косточка даст принцессе все, чего она пожелает, *если только она пожелает этого вовремя*. Вот мой завет. Не позабудьте его.

Король хотел было спросить: «А можно узнать почему...», но фея пришла в полную ярость.

– Будете вы пайнкой или нет, сэр?! – вскричала она, топнув ногой. – Почему да почему! Вечно вы хотите знать почему... Потому! Вот вам! Получили? Надоели мне ваши взрослые «почему»!

Старушка до того расвирепела, что король страшно испугался и сказал, что если он обидел ее, то очень раскаивается и никогда больше не будет спрашивать «почему».

– Так будьте пайнкой и не делайте этого! – сказала старушка.

Тут Грандмарина исчезла, а король ушел и все шел и шел, пока не дошел до своей конторы. Там он все писал, писал и писал, пока не настало время идти домой. Дома он, по приказу феи, вежливо попросил принцессу Алису отведать лососины. А когда принцесса с большим удовольствием скушала лососину, он, как и предсказывала фея, увидел на тарелке рыбью косточку и передал дочке завет феи, а принцесса Алиса заботливо высушила косточку, натерла ее и отполировала так, что она заблестела, словно перламутр.

И вот наутро королева уже собиралась встать с постели, как вдруг оказалась:

– Ох, горе мне, горе! Ох! Голова моя, голова! – и упала в обморок.

В это время принцесса Алиса заглянула в дверь спальни спросить насчет завтрака, но, увидев свою царственную маму в таком состоянии, сильно встревожилась и позвонила в колокольчик, чтобы вызвать Пегги – так звали лорда-камергера. Но тут она вспомнила, где стоит флакон с нюхательной солью, влезла на стул и достала флакон; а потом влезла на другой стул, у кровати, и дала королеве понюхать этот флакон; а потом соскочила на пол и принесла воды; а потом опять вскочила на стул и намочила лоб королеве; коротко говоря, когда лорд-камергер пришла, она – такая милая старушка – сказала маленькой принцессе:

– Какая проворная! Все сделала не хуже меня самой!

Но это еще не самое худшее, что случилось с доброй королевой. О нет! Она тяжело и очень долго болела. Все это время принцесса Алиса всегда старалась уgomонить всех семнадцать человек маленьких принцев и принцесс, одевала и раздевала их, нянчила ребеночка, кипятила воду в чайнике, разогревала суп, выметала камин, капала лекарство, ухаживала за королевой, вообще делала все, что могла, и была так занята, так занята, так занята, как только можно – ведь во дворце было не очень много слуг по трем причинам: потому, что у короля не хватало денег, потому, что его не собирались повысить по службе, и потому, что до дня следующей квартальной получки было так далеко, что он казался почти таким же далеким и маленьким, как любая звезда.

Но в то утро, когда королева упала в обморок, где же была волшебная рыбья косточка? Да в кармане у принцессы Алисы! Принцесса уже вынула ее, чтобы привести в чувство

королеву, но потом положила на место и начала искать флакон с нюхательной солью.

Когда в то утро королева пришла в себя и задремала, принцесса Алиса спешно побежала наверх рассказать одну особенную тайну одной своей особенно задушевной подруге – герцогине. Люди думали, что это кукла, но на самом деле она была герцогиня, хотя никто, кроме принцессы, об этом не знал.

Эта особенная тайна была тайной волшебной рыбьей косточки, и герцогиня отлично ее знала, потому что принцесса все ей рассказывала. Принцесса стала на колени перед кроватью, на которой, широко раскрыв глаза, лежала герцогиня в парадном туалете, и шепотом открыла ей тайну. Герцогиня улыбнулась и кивнула. Конечно, люди могут подумать, что она никогда не улыбалась и не кивала; но она часто это делала, только никто, кроме принцессы, про это не знал.

Затем принцесса Алиса бегом сбежала вниз, чтобы опять дежурить в комнате королевы. Она часто дежурила в комнате королевы совсем одна; но пока королева хворала, принцесса каждый вечер дежурила вместе с королем. И каждый вечер король сурово смотрел на принцессу, удивляясь, почему она не вынимает волшебной рыбьей косточки. Всякий раз как принцесса Алиса замечала это, она бежала наверх, чтобы еще раз шепотом рассказать про тайну герцогине; а еще она говорила герцогине: «Они думают, что мы, дети, все делаем без толку, по-дурацки!». А герцогиня, хоть она была самой великосветской герцогиней на свете, подмигивала ей.

– Алиса! – сказал король как-то вечером, после того как принцесса пожелала ему спокойной ночи.

– Что, папа?

– Куда девалась волшебная рыбка косточка?

– Она у меня в кармане, папа.

– А я думал, ты ее потеряла.

– Конечно нет, папа!

– Или позабыла о ней.

– Вовсе нет, папа!

А в другой раз страшный маленький кусака-мопс из соседней квартиры бросился на одного юного принца, когда тот, вернувшись домой из школы, стоял на крыльце, и напугал его до полусмерти, а принц ткнул рукой в оконное стекло, и вот из руки у него потекла кровь, и все текла, и текла, и текла. Тут семнадцать человек маленьких принцев и принцесс увидели, как из него течет кровь, и все течет, и течет, и течет, и сами тоже испугались до полусмерти и раскричались так, что все их семнадцать рожниц посинели сразу. Но принцесса Алиса закрыла рукой все их семнадцать ротиков, один за другим, и уговорила сестриц и братьев вести себя потише, чтобы не беспокоить больную королеву. А потом она сунула раненую руку принца в таз со свежей холодной водой и, в то время как принцы и принцессы тарасили на него свои дважды семнадцать – тридцать четыре (запишем четыре, три в уме) глаза, принцесса Алиса осмотрела руку, чтобы узнать, не осталось ли в ней осколков стекла; но, к счастью, осколков не осталось. Тогда она сказала двум толстоногим принцам, маленьким, но крепким:

– Принесите мне королевский мешок с лоскутками: мне нужно шить и кроить, резать и прилаживать.

И вот оба маленьких принца схватили королевский мешок с лоскутками и притащили его, а принцесса Алиса села на пол, взяла большие ножницы, нитку с иглой и принялась шить и кроить, резать и прилаживать; потом сделала бинт, перевязала руку принцу, и перевязка держалась замечательно; а когда все было сделано, она увидела, что ее папа, король, заглядывает в дверь.

– Алиса!

– Да, папа?

– Что ты тут делала?

– Шила, кроила, резала и прилаживала, папа.

- Где волшебная рыбка косточка?
- У меня в кармане, пана.
- А я думал, ты ее потеряла.
- Конечно нет, папа!
- Или позабыла о ней.
- Вовсе нет, папа!

Потом принцесса Алиса побежала наверх к герцогине и рассказала ей о том, что произошло, и снова рассказала ей про тайну, а герцогиня потрянула льняными локонами и улыбнулась розовыми губками.

Так! А в другой раз ребеночек упал за каминную решетку. Все семнадцать человек маленьких принцев и принцесс уже привыкли к таким неприятностям, потому что сами они постоянно падали за каминную решетку или с лестницы, но ребеночек еще не успел привыкнуть, – личико у него распухло, а под глазом появился синяк. Бедный малыш упал потому, что он скатился с колен принцессы Алисы, когда она в большом жестком переднике (в котором прямо задыхалась, такой он был тесный), сидела перед огнем в кухне и чистила репу на суп к обеду; а делала она это потому, что королевская кухарка сбежала в то утро со своим верным возлюбленным – очень рослым, но очень пьяным солдатом. Тогда все семнадцать человек маленьких принцев и принцесс, которые вечно плакали, что бы ни случилось, принялись плакать и рыдать. Но принцесса Алиса (она сама не могла удержаться, чтобы не поплакать немножко) спокойно попросила их угомониться, чтобы королеве, которая быстро поправлялась, не пришлось опять переселяться наверх, а потом сказала им:

- Молчите вы, несносные обезьянки, пока я буду осматривать малыша!

Затем она осмотрела ребеночка и увидела, что он ничего себе не сломал. Тогда она приложила холодное железо к его бедному милому глазику и погладила его бедное милое личико, и вскоре он заснул у нее на руках.

И вот она сказала всем семнадцати принцам и принцессам:

– Боюсь, что если я его сейчас уложу, он проснется и у него опять что-нибудь заболит; так уж будьте пайныками, и все вы станете поварами.

Услышав это, они запрыгали от радости и принялись мастерить себе поварские колпаки из старых газет. Тогда она одному дала солонку, другому ячневую крупу, третьему зелень, четвертому репу, тому морковь, этому лук, тому коробку с пряностями, и все они сделались поварами и хлопотливо забегали туда-сюда, а принцесса Алиса сидела посередине, задыхаясь в большом жестком переднике, и нянчила ребеночка. Вскоре суп сварился, а ребеночек проснулся, улыбаясь, как ангел, и его отдали поддерживать самой смирной из принцесс, а всех остальных принцев и принцесс запихнули в дальний угол, чтобы они только издали смотрели, как принцесса Алиса будет выливать суп из кастрюли в суповую миску: иначе они, чего доброго, обварились бы или ошпарились – ведь они вечно попадали в беду.

Но вот суп стал выливаться в миску, окутанный большими клубами пара и душистый, словно букет из вкусных цветов, и все захолопали в ладоши. Малыш, глядя на них, тоже захолопал в ладошки и так потешно скорчил свою опухшую рожицу, как будто у него болели зубки, а все принцы и принцессы расхохотались. Тут принцесса Алиса сказала:

– Смейтесь и будьте пайныками, а после обеда мы сделаем ему гнездышко на полу, в уголке, и он будет сидеть в гнездышке и смотреть, как танцуют восемнадцать поваров.

Маленькие принцы и принцессы пришли в восторг, съели весь суп, вымыли все тарелки и блюда, убрали всю посуду, сдвинули стол в угол, а потом все они в своих поварских колпаках, а принцесса Алиса в тесном жестком переднике (принадлежавшем кухарке, которая сбежала со своим верным возлюбленным – очень рослым, но очень пьяным солдатом), протанцевали танец восемнадцати поваров перед прелестным, как ангел, ребеночком, а тот, позабыв о своем распухшем личике и синяке под глазом, кричал в упоении.

И вот принцесса Алиса опять увидела, что отец ее, король Уоткинз Первый, стоит в дверях и говорит:

- Что ты делала, Алиса?
- Стряпала и улаживала, папа.
- А еще что ты делала, Алиса?
- Развлекала детей, папа.
- Где волшебная рыбка косточка, Алиса?
- У меня в кармане, папа.
- А я думал, ты ее потеряла.
- Конечно нет, папа!
- Или позабыла о ней.
- Вовсе нет, папа!

Тогда король вздохнул так тяжело и, должно быть, так огорчился и сел так грустно, опустив голову на руку и облокотившись о кухонный стол, сдвинутый в угол, что все семнадцать принцев и принцесс тихонько выскользнули из кухни и оставили его одного с принцессой Алисой и прелестным, как ангел, ребеночком.

- Что с вами, папа?
- Я страшно беден, дитя мое.
- Разве у вас совсем нет денег, папа?
- Никаких денег, дитя мое.
- Разве их нельзя как-нибудь достать, папа?
- Никак. Я очень старался, все на свете перепробовал, – ответил король.

Услышав эти слова, принцесса Алиса сунула руку в тот карман, где у нее лежала рыбка косточка.

– Папа, – сказала она, – если мы очень старались и все на свете перепробовали, значит мы сделали решительно все, что было в наших силах?

– Без сомнения, Алиса.

– Но если мы сделали все, решительно все, что было в наших силах, папа, и этого оказалось недостаточно, тогда, мне кажется, пора нам просить помощи у других.

Это и было тайной волшебной рыбьей косточки, и принцесса Алиса сама угадала эту тайну в словах доброй феи Грандмарины, и про нее-то она и шептала так часто своей прекрасной и великосветской подруге – герцогине.

И вот принцесса Алиса вынула из кармана волшебную рыбку косточку, которую сушила, натирала и полировала, пока она не заблестела, словно перламутр, поцеловала ее и пожелала, чтобы день квартальной получки жалованья был сегодня. Сейчас же так и случилось: квартальное жалованье короля загремело в трубе и высыпалось на середину комнаты.

Но это еще не половина – нет, это еще меньше четверти всего того, что произошло, – ведь сразу же после этого добрая фея Грандмарина приехала в карете, запряженной четверней (павлинов), с мальчиком мистера Пиклза на запятках, разодетым в серебро и золото, в треугольной шляпе, в пудренном парике, в розовых шелковых чулках, с тростью, украшенной драгоценными камнями, и букетом цветов. Мальчик мистера Пиклза спрыгнул на пол, снял треуголку и необыкновенно вежливо (ведь он совершенно изменился по волшебству) помог Грандмарине выйти из кареты; и вот она вышла в богатом платье из шелка, переливающегося разными цветами, благоухая сушеной лавандой и обмахиваясь сверкающим веером.

– Алиса, милая моя, – сказала прелестная старая фея, – здравствуй! Надеюсь, ты здорова? Поцелуй меня.

Принцесса Алиса обняла ее, а Грандмарина повернулась к королю и спросила довольно резко:

– Вы паинька?

Король сказал, что, пожалуй, да.

– Надеюсь, вы теперь понимаете, почему моя крестница, – тут фея снова поцеловала принцессу, – не обратилась к рыбьей косточке раньше? – спросила фея.

Король застенчиво поклонился.

– Так! Но в то время вы этого не знали? – спросила фея.

Король поклонился еще более застенчиво.

– А вы будете снова спрашивать «почему»? – спросила фея.

Король ответил, что «нет» и что он очень раскаивается.

– Так будьте же паинькой и живите счастливо веки вечные, – сказала фея.

Тут Грандмарина махнула веером, и вошла королева в роскошном наряде, а все семнадцать маленьких принцев и принцесс вошли теперь уже не в тех платьях, из которых они выросли, а с ног до головы во всем новеньком, и все на них было сшито на рост, со складками, чтобы потом можно было выпустить из запаса. Затем фея хлопнула веером принцессу Алису, и тесный жесткий передник слетел с нее, и она оказалась одетой в чудесное платье – словно маленькая невеста – с венком из флердоранжа на голове и в серебряной фате. Потом кухонный шкаф превратился в гардероб из красивого дерева с золотом и с зеркалом, и он был набит всевозможными нарядами, – все они были для принцессы Алисы, и все отлично на ней сидели. Потом в комнату вбежал прелестный, как ангел, ребенок, – сам, на своих ножках, – причем личико и глаз у него теперь были ничуть не хуже прежнего, а даже гораздо лучше. Тогда Грандмарина пожелала познакомиться с герцогиней, и когда герцогиню принесли вниз, они обменялись множеством комплиментов.

Фея и герцогиня немного пошептались, а потом фея проговорила:

– Да, я так и думала, что она вам сказала. Тут Грандмарина повернулась к королю и королеве и объявила:

– Мы поедем искать принца Одинчеловекио. Приглашаю вас прийти в церковь ровно через полчаса.

И вот она села в карету вместе с принцессой Алисой, а мальчик мистера Пиклза посадил туда герцогиню, и она сидела на переднем сиденье, а потом мальчик мистера Пиклза закинул подножку, влез на запятки, и павлины улетели, распустив хвосты.

Принц Одинчеловекио сидел один-одинешенек, кушал ячменный сахар и все ждал, когда ему стукнет девяносто лет. Когда же он увидел, что павлины, а за ними карета влетают в окно, он сразу подумал, что сейчас случится что-то необыкновенное.

– Принц, я привезла вам вашу невесту, – сказала Грандмарина.

Как только фея произнесла эти слова, лицо у принца Одинчеловекио перестало быть липким, куртка и плисовые штаны превратились в бархатный костюм персикового цвета, волосы закурчавились, а шапочка с пером прилетела, как птичка, и опустилась ему на голову. По приглашению феи он сел в карету и тут возобновил свое знакомство с герцогиней, с которой встречался раньше.

В церкви были родственники и друзья принца, а также родственники и друзья принцессы Алисы, семнадцать человек принцев и принцесс, ребенок и толпа соседей. Свадьба была невыразимо великолепная. Герцогиня была подружкой и смотрела на всю церемонию с кафедры, опираясь на подушечку.

Затем Грандмарина устроила роскошный свадебный лир, на котором подавались всевозможные кушанья и всевозможные напитки. Свадебный торт был изящно украшен белыми атласными лентами, серебряной мишурой и белыми лилиями, и он имел сорок два ярда в окружности.

Когда Грандмарина выпила за здоровье молодых, а принц Одинчеловекио произнес речь и все прокричали: «Хип-хип-хип, ура!» – Грандмарина объявила королю и королеве, что впредь в каждом году будет по восьми дней квартальной полочки жалования, а в високосном году таких дней будет десять. Потом она повернулась к Одинчеловекио и Алисе и сказала:

– Дорогие мои, у вас родится тридцать пять человек детей, и все они будут послушные и красивые. У вас будет семнадцать мальчиков и восемнадцать девочек. Волосы у всех ваших детей будут кудрявые. Дети никогда не будут болеть корью и вылечатся от коклюша еще до своего рождения.

Услышав такие радостные вести, все снова прокричали:

– Хип-хип-хип, ура!

– Остается только покончить с рыбьей косточкой, – сказала в заключение Грандмарина.

И вот она взяла рыбью косточку у принцессы Алисы, и косточка немедленно влетела в горло страшному маленькому мопсу-кусаче из соседней квартиры, и тот подавился и умер в судорогах.

Часть III

Роман. Сочинение подполковника Робина Редфорта⁸⁷

Герой нашего рассказа посвятил себя ремеслу пирата в сравнительно раннем возрасте. Мы знаем, что он стал командиром великолепной шхуны с сотней заряженных до самого жерла пушек гораздо раньше, чем пригласил гостей, чтобы отпраздновать свой десятый день рождения.

Говорят, что наш герой, считая себя оскорбленным одним учителем латинского языка, потребовал удовлетворения, которое всякий человек чести обязан дать другому человеку чести. Не получив этого удовлетворения, он, гордый духом, тайно покинул столь низменное общество, купил подержанный карманный пистолет, сунул в бумажный кулек несколько сандвичей, приготовил бутылку испанской лакричной воды и вступил на попрание доблести.

Пожалуй, скучно было бы следить за Смелычаком (так звали нашего героя) в начале его жизненного пути. Достаточно будет сказать, что мы видим, как он, уже в чине капитана Смелычака, одетый в парадную форму, полулежит на малиновом каминном коврикe, разостланном на шканцах его шхуны «Красавица», которая плывет по Китайским морям. Вечер прекрасный. Команда лежит вокруг своего капитана, и он поет ей следующую песню:

Эх, кто на суше, тот дурак!

Эх, пират, он весельчак!

Эх, тати-тати-та-так!

Так!

Хор: Наддай!

Простые матросы все вместе подхватили песню своими грубыми голосами в лад с сочным голосом Смелычака, и эти веселые звуки оказали на всех успокоительное действие, которое легче представить себе, нежели описать.

Тут вахтенный на топе мачты крикнул:

– Киты!

Теперь все пришло в движение.

– Где именно? – крикнул капитан Смелычак, вскочив на ноги.

– С носовой части по левому борту, сэр – ответил человек на топе мачты, притронувшись к шляпе.

Так высоко стояла дисциплина на борту «Красавицы», что даже сидя на таком высоком месте, матрос должен был соблюдать ее под страхом, что его казнят выстрелом в голову.

– Этот подвиг совершу я! – сказал капитан Смелычак. – Юнга, мой гарпун! С собой не беру никого. – И, прыгнув в свою шлюпку, капитан, направляясь к чудовищу, стал грести с замечательной ловкостью.

Теперь все пришло в возбуждение.

– Плывет к киту! – сказал один пожилой моряк, следя за капитаном в подзорную трубу.

– Разит его! – сказал другой моряк, совсем еще мальчик, но тоже с подзорной трубой.

– Тащит к нам! – сказал третий моряк, мужчина во цвете лет, но тоже с подзорной

⁸⁷ Девяти лет. (Прим. автора.)

трубой.

И правда, уже видно было, что капитан приближается к шхуне и тащит за собой огромную тушу. Мы не будем останавливаться на оглушительных криках «Смельчак! Смельчак!», которыми встретили капитана, когда он, небрежно вскочив на шканцы, преподнес добычу своим матросам. Впоследствии они продали кита за две тысячи четыреста семнадцать фунтов стерлингов десять шиллингов и шесть пенсов.

Приказав поднять паруса, капитан теперь взял курс на вест-норд-вест. «Красавица» скорее летела, чем плыла по темно-голубым волнам. В течение двух недель ничего особенного не произошло, если не считать того, что после жестокой резни захватили четыре испанских галеона⁸⁸ и бриг из Южной Америки, – все с богатым грузом. Но вот безделье начало сказываться на духе команды. Капитан Смельчак созвал всех на корму и сказал:

– Ребята, я слышал, что среди вас есть недовольные. Пусть они выступят вперед!

Поднялся ропот и послышались глухие выкрики: «Есть, капитан!», «британский флаг», «стоп», «правый борт», «левый борт», «бушприт» – и тому подобные проявления тайного мятежного духа. Потом Уилл Запивоха, шкипер с фор-марса, вышел из толпы. Это был великан, но под взглядом капитана он дрогнул.

– Чем ты недоволен? – спросил капитан.

– Да что там, знаете ли, капитан Смельчак, – ответил громадный морской волк, – я много лет плавал на кораблях – и мальчиком и мужчиной, – но в жизни не видывал, чтобы команде подавалось к чаю такое кислое молоко, как на борту вашего судна.

В эту минуту пронзительный крик «человек за бортом!» возвестил удивленной команде, что Запивоха (который отшатнулся, когда капитан просто по рассеянности взялся за свой верный карманный пистолет, торчавший за кушаком), оказывается, потерял равновесие и теперь борется с пеннистыми волнами.

Теперь все пришли в изумление.

Но сбросить мундир, невзирая на различные роскошные ордена, которыми он был украшен, и нырнуть в море вслед за утопающим великаном было для капитана Смельчака делом одной секунды. Безумно было всеобщее возбуждение, когда спустили шлюпки; велика была всеобщая радость при виде капитана, державшего в зубах утопающего; оглушительны были восторженные крики, когда обоих втащили на верхнюю палубу «Красавицы». И с той минуты, как капитан Смельчак переменял свое мокрое платье на сухое, не было у него более преданного, хоть и смиренного друга, чем Уильям Запивоха. Тут Смельчак показал пальцем на горизонт и обратил внимание своей команды на тонкие мачты и реи одного корабля, стоящего в гавани под защитой крепостных пушек.

– Он будет нашим на восходе солнца, – сказал Смельчак. – Выдайте двойную порцию грога и приготовьтесь к сражению.

Теперь все принялись за приготовления.

Когда после бессонной ночи настал рассвет, оказалось, что неизвестный корабль выходит под всеми парусами из гавани и вызывает на бой. Когда же оба судна подошли друг к другу поближе, незнакомый корабль выстрелил из пушки и поднял римский флаг. Смельчак понял, что это барк учителя латинского языка. Так оно и было. Барк без толку слонялся по свету с того времени, как его владелец стал вести бродячую жизнь.

Тут Смельчак обратился с речью к своим матросам, обещая взорвать их на воздух, если он убедится, что их репутация этого требует, а затем отдал приказ взять учителя-латиниста в плен живым. Потом он отправил всех на места, и бой начался бортовым залпом с «Красавицы». Затем она повернулась и дала залп с другого борта. «Скорпион» (так назывался – и это очень подходящее название – барк учителя латинского языка) не замедлил дать ответный залп, и последовала ужасающая канонада, во время которой пушки «Красавицы» произвели сокрушительный разгром.

⁸⁸ Галеон – старинный военный испанский корабль.

Уже видно было, как учитель латинского языка стоит на корме среди дыма и пламени и ободряет свою команду. Надо отдать ему справедливость, он был не трус, хотя его белая шляпа, короткие серые штаны и длинный до пят сюртук табачного цвета (тот самый сюртук, в котором он оскорбил Смельчака) представляли самый неблагоприятный контраст с блестящим мундиром нашего капитана. В этот миг Смельчак схватил пику и, став во главе своей команды, отдал приказ пойти на абордаж.

Ожесточенная схватка произошла среди плетеных подвесных коек или где-то в той стороне; но вот учитель-латинист, увидев, что все его мачты рухнули, корпус и снасти его судна прострелены, а Смельчак с боем пробивает себе дорогу к нему, латинисту, сам спустил свой флаг, отдал Смельчаку свою саблю и запросил пощады. Не успели его посадить в капитанскую шлюпку, как «Скорпион» пошел ко дну со всей командой.

Теперь капитан Смельчак созвал своих матросов, но тут произошло одно событие. Капитан нашел нужным казнить кока одним ударом кортика, потому что кок, потерявший в этом сражении родного брата, пришел в ярость и бросился на учителя с кухонным ножом.

Потом капитан Смельчак обратился с речью к учителю-латинисту, сурово упрекнул его в измене и спросил команду, как по ее мнению: чего заслуживает учитель, оскорбивший мальчика?

Все ответили в один голос:

– Смерти!

– Пожалуй, что так, – сказал капитан, – но пусть никто не сможет сказать, что Смельчак осквернил час своего торжества кровью врага. Приготовьте катер!

Катер немедленно приготовили.

– Я не буду лишать вас жизни, – сказал капитан учителю, – но я обязан навеки лишить вас возможности оскорблять других мальчиков. Я посажу вас в эту лодку, а вы плывите в ней по воле ветра. Вы найдете в ней два весла, компас, бутылку рома, бочонок воды, кусок свинины, мешок сухарей и мою латинскую грамматику. Ступайте, оскорбляйте туземцев, если сможете их отыскать!

Несчастный был глубоко уязвлен этой горькой насмешкой. Его посадили в катер, и вскоре он остался далеко позади. Он не пытался грести, но все видели, – когда в последний раз смотрели на него в корабельные подзорные трубы, – как он лежит на спине, задрал ноги кверху.

Теперь подул свежий ветер, и капитан Смельчак отдал приказ держать курс на зюйд-зюйд-вест, но в течение ночи давал иногда небольшой отдых шхуне, отклоняясь на один или два румба к вест-весту или даже к зюйд-весту, если ей было очень тяжело. Затем он отошел ко сну, ибо поистине очень нуждался в отдыхе. Вдобавок к усталости от ратных трудов этот храбрый воин получил в бою шестнадцать ран, но никому ни слова про них не сказал.

Утром налетел внезапный шквал, а за ним последовали разные другие шквалы. Целых шесть недель ужасным образом гремел гром и сверкала молния. Затем целых два месяца бушевали ураганы. За ними последовали водяные смерчи и бури. Старейший матрос на борту – а он был очень стар – в жизни не видывал такой погоды. «Красавица» не имела понятия, где она находится, и плотник доложил, что трюм залит водой на шесть футов и два дюйма. Все до единого каждый день падали без чувств, когда откачивали воду.

Съестных припасов осталось теперь очень мало. Наш герой приказал выдавать команде уменьшенный паек, а себе самому урезал паек еще больше, чем любому из своих подчиненных. Но бодрость не давала ему худеть. В этом отчаянном положении преданность Запивохи (наши читатели, наверное, не забыли его) была поистине трогательной. Смирный, но любящий Уильям много раз просил, чтобы его закололи и заготовили впрок для капитанского стола.

И вот мы приближаемся к поворотному пункту.

Как-то раз, когда проглянуло солнце и буря утихла, человек на топе мачты (теперь он был уже слишком слаб, чтобы притрагиваться к шляпе, к тому же ее унесло ветром) крикнул:

– Дикари!

Теперь все превратилось в ожидание.

Вскоре появились полторы тысячи челноков; на каждом из них сидело на веслах по двадцати дикарей, и приближались они в полном порядке. Они были светло-зеленого цвета (то есть дикари) и с большим воодушевлением пели следующую песню:

Жевать, жевать, жевать. Зуб!

Грызи, грызи. Мясо!

Жевать, жевать, жевать. Зуб!

Грызи, грызи. Мясо!

В тот час сгущались вечерние тени, и потому все подумали, что эти простодушные люди на свой лад поют вечерний гимн. Однако слишком скоро оказалось, что их песня – это перевод молитвы, которую читают перед обедом.

Как только вождь, великолепно украшенный громадными перьями ярких цветов и похожий на величественного боевого попугая, понял (он в совершенстве понимал английский язык), что этот корабль – «Красавица» капитана Смельчака, он рухнул ничком на палубу, и невозможно было убедить его встать, пока сам капитан не поднял его и не сказал, что не причинит ему вреда. Все остальные дикари тоже в ужасе рухнули ничком на палубу, и их тоже пришлось поднимать одного за другим. Так слава великого Смельчака летела впереди него и дошла даже до этих детей природы.

Затем дикари притащили неисчислимое количество черепах и устриц, и матросы сытно пообедали, а также наелись ямса.⁸⁹ После обеда вождь сказал капитану Смельчаку, что в деревне можно поесть еще лучше и что он будет рад отвезти туда капитана и его офицеров. Заподозрив предательство, Смельчак приказал команде своей шлюпки сопровождать его в полном вооружении. Не худо бы всем командирам принимать такие меры предосторожности, которые... но не будем забегать вперед.

Когда челноки пристали к берегу, ночной мрак озарился пламенем огромного костра. Приказав команде шлюпки (во главе с неграмотным, но неустрашимым Уильямом) держаться поблизости и быть начеку, Смельчак храбро пошел вперед рука об руку с вождем.

Но как описать удивление капитана, когда он увидел целый хоровод дикарей, поющих хором вышеприведенный варварский перевод предобеденной молитвы и пляшущих, взявшись за руки, вокруг учителя-латиниста, который лежал в корзинке для провизии (с обритой головой), причем два дикаря обваливали его в муке, перед тем как изжарить!

Тут Смельчак посоветовался со своими офицерами насчет того, что следует предпринять. Между тем несчастный пленник не переставал просить прощения и умолять, чтобы его отпустили. По предложению великодушного Смельчака, в конце концов было решено не жарить учителя, но позволить ему остаться в сыром виде, однако при условии, что он даст два обещания, а именно:

1. Что он никогда, ни при каких обстоятельствах не будет ничему учить ни одного мальчика.

2. Что, если его отвезут в Англию, он будет всю жизнь путешествовать в поисках мальчиков, которым нужно писать письменные работы, и будет писать письменные работы для этих мальчиков задаром и никому ни слова про это не скажет.

Вынув шпагу из ножен, Смельчак приказал учителю поклясться на ее блестящем клинке, что тот выполнит эти условия. Пленник горько плакал и, как видно, глубоко осознал ошибки своей прежней деятельности.

Но вот капитан приказал команде своей шлюпки приготовиться к залпу, а выстрелив,

⁸⁹ Ямс – съедобный клубень тропического растения, произрастающего в Индии и на Вест-Индских островах.

побыстрее перезарядить ружья.

– И будьте уверены, человек двадцать или сорок из вас полетят вверх тормашками, – проворчал Уильям Запивоха, – потому что я сам в вас целюсь.

С этими словами насмешливый, но смертоносный Уильям хорошенько прицелился.

– Пли!

Звонкий голос Смельчака был заглушен громом выстрелов и воплями дикарей. Залп за залпом будили многочисленные эхо. Сотни дикарей были убиты, сотни ранены, а тысячи с воем разбежались по лесам. Учителю-латинисту одолжили лишний ночной колпак и длинный фрак, который он надел задом наперед. Он представлял смехотворное, но жалкое зрелище, и поделом ему.

Теперь мы видим, что капитан Смельчак с этим спасенным негодяем на борту держит курс на другие острова. На одном из них – где ели не людей, а свинину и овощи, – капитан женился (но только по-нарочному) на дочери местного вождя. Здесь он некоторое время отдыхал, получая в дар от туземцев огромное количество драгоценных камней, золотого песка, слоновой кости, сандалового дерева, и страшно разбогател. Разбогател несмотря на то, что почти каждый день делал чрезвычайно дорогие подарки своим матросам.

Когда наконец на корабль погрузили столько всевозможных ценных вещей, сколько он мог вместить, Смельчак приказал сняться с якоря и повернуть нос «Красавицы» к берегам Англии. Этот приказ выполнили, прокричав троекратное «ура», и, прежде чем село солнце, неуклюжий, но проворный Уильям протанцевал на палубе множество матросских танцев.

А затем мы видим, что капитан Смельчак находится примерно в трех милях от Мадейры и следит в подзорную трубу за каким-то подозрительным незнакомым кораблем, который приближается к шхуне. Капитан выстрелил из пушки, приказывая кораблю остановиться, а на корабле подняли флаг, и Смельчак тотчас же узнал, что это флаг, висевший на шесте в саду позади его отчего дома.

Заклучив из этого, что отец его отправился в море на поиски своего пропавшего без вести сына, капитан послал свою собственную шлюпку к незнакомому кораблю разузнать, так ли это, и если так, то имеет ли отец вполне благородные намерения. Шлюпка вернулась с подарком, состоявшим из зелени и свежего мяса, и доложила, что незнакомый корабль – это «Родня», водоизмещением в тысячу двести тонн, а на борту его не только отец капитана, но и мать, и большинство теток и дядей, а также все двоюродные братья и сестры. Смельчаку также доложили, что все его родственники ведут себя подобающим образом и жаждут обнять и отблагодарить его за то, что он оказал им честь своими славными подвигами. Смельчак тотчас же пригласил их позавтракать на борту «Красавицы» на следующее утро и приказал подготовиться к блестящему балу, который должен был длиться целый день.

В течение этой ночи капитан понял, что вернуть учителя-латиниста на путь истины – дело безнадежное. Когда оба корабля стояли рядом, этот неблагодарный изменник был уличен в том, что сигнализировал «Родне» и предлагал выдать ей Смельчака. Наутро его первым делом повесили на рее, после того как Смельчак выразительно объяснил ему, что такова судьба всех обидчиков.

Когда капитан встретился со своими родителями, они залились слезами. Его дяди и тетки тоже готовы были залиться слезами при встрече с ним, но этого он не потерпел. Его двоюродные братья и сестры были ошеломлены размерами его корабля и дисциплиной его матросов и потрясены великолепием его мундира. Он любезно водил их по всему судну и показывал все достойное внимания. А еще он выстрелил из своих ста пушек и забавлялся, глядя, как перепугались родственники.

Пир задали такой, какого никогда еще не задавали ни на одном корабле, и продолжался он от десяти часов утра до семи часов следующего утра. Произошел только один неприятный случай. Капитану Смельчаку пришлось заковать в кандалы своего двоюродного брата Тома за дерзость. Впрочем, когда мальчик попросил прощения, его гуманно отпустили на волю, продержав всего несколько часов в одиночном заключении.

Теперь Смельчак увел свою маму в большую каюту и начал расспрашивать о той

молодой девице, в которую он, как все на свете знали, был влюблен. Мама ответила, что предмет его любви находится теперь в школе в Маргете и пользуется морскими купаниями (был сентябрь), но она, мама, подозревает, что друзья молодой девицы все еще противятся их браку. Смельчак тут же решил бомбардировать город, если потребуется.

С этой целью Смельчак принял команду над своим кораблем и, переправив всех, кроме бойцов, на борт «Родни», приказал этому судну держаться поблизости, а сам вскоре бросил якорь на маргетском рейде. Тут, вооруженный до зубов, он сошел на берег в сопровождении команды своей шлюпки (во главе с верным, хоть и свирепым Уильямом) и потребовал свидания с мэром. Тот вышел из своего кабинета.

– Ты знаешь, мэр, как зовут этот корабль? – в ярости спросил Смельчак.

– Нет, – ответил мэр, протирая глаза, которым он едва смог поверить, когда увидел чудесный корабль, стоявший на якоре.

– Его зовут «Красавица», – сказал капитан.

– Ха! – воскликнул мэр, вздрогнув. – Так, значит, вы капитан Смельчак?

– Он самый.

Наступило молчание. Мэр затрепетал.

– Ну, мэр, выбирай! – сказал капитан. – Веди меня к моей невесте, а не то я тебя бомбардирую!

Мэр попросил два часа отсрочки, чтобы навести справки о молодой девице. Смельчак дал ему только один час и приставил к нему на этот час сторожем Уильяма Запивоху с саблей наголо, которому приказал сопровождать мэра, куда бы тот ни пошел, и проколоть его насквозь, если он будет заподозрен в обмане.

Через час мэр вернулся ни живой ни мертвый, а за ним по пятам шел Запивоха, совсем живой и отнюдь не мертвый.

– Капитан, – сказал мэр, – я установил, что молодая девица собирается идти купаться. Уже сейчас она ждет своей очереди получить купальную будку. Прилив еще низкий, но поднимается. Если я сяду в нашу городскую лодку, я не вызову подозрений. Когда молодая девица в купальном костюме войдет в мелкую воду из-под навеса будки, моя лодка станет ей поперек дороги и помешает вернуться на берег. Остальное – ваше дело.

– Мэр, ты спас свой город, – отозвался капитан Смельчак.

Тут капитан дал сигнал своей шлюпке приехать за ним, сам сел за руль, а команде приказал грести к пляжу и там остановиться. Все произошло так, как было условлено. Его очаровательная невеста вошла в воду, мэр в лодке проскользнул позади нее, а она смутилась и поплыла на глубокое место, но вдруг... один ловкий поворот руля и один резкий удар веслами на шлюпке, и вот обожающий Смельчак уже обхватил свою возлюбленную сильными руками. Тут ее вопли ужаса перешли в крики радости.

«Красавица» еще не успела подойти к берегу, а в городе и гавани уже взвились все флаги, зазвонили все колокола, и храбрый Смельчак понял, что ему нечего бояться. Поэтому он решил жениться тут же на месте и дал сигнал на берег, вызывая к себе священника и клерка, которые быстро прибыли на парусной лодке «Жаворонок».

На борту «Красавицы» снова задали большой пир, в разгаре которого мэра вызвал курьер. Мэр вернулся с известием, что правительство прислало узнать, не согласится ли капитан Смельчак, чтобы в награду за великие услуги, оказанные им родине в качестве пирата, ему пожаловали чин подполковника. Капитан с презрением отверг бы эту нестоящую милость, но его молодая супруга пожелала, чтобы он согласился, и он дал согласие.

Одно лишь событие произошло, прежде чем славное судно «Родню» отпустили восвояси, одарив богатыми подарками всех на борту. Неприятно рассказывать (но таковы характеры некоторых двоюродных братьев), что Том, неучливый двоюродный брат капитана Смельчака, был уже связан и ему собирались дать три дюжины ударов плетью за «нахальство и подшучиванье», но супруга капитана Смельчака похлопотала за него, и его пощадили. Затем «Красавицу» снарядили заново, и капитан вместе с молодой женой отплыли в Индийский океан, чтобы там наслаждаться счастьем веки вечные.

Часть IV

Роман. Сочинение мисс Нетти, Эшфорд⁹⁰

Есть такая страна, которую я вам покажу, когда научусь понимать географические карты, и где дети все делают по-своему. Жить в этой стране ужасно приятно. Взрослые обязаны слушаться детей, и им никогда не позволяют досиживать до ужина, кроме как в день их рождения. Дети заставляют взрослых варить варенье, делать желе, мармелад, торты, паштеты, пудинги и всевозможное печенье. Если же они не хотят, их ставят в угол, пока не послушаются. Иногда им позволяют чего-нибудь попробовать; но когда они чего-нибудь попробуют, им потом всякий раз приходится давать порошки.

Одна из жительниц этой страны, миссис Апельсин, очень милая молодая женщина, к несчастью, сильно страдала от своей многочисленной родни. Ей все время надо было присматривать за своими родителями, а у них были родственники и друзья, которые то и дело выкидывали всякие штуки. И вот миссис Апельсин сказала себе: «Я, право, не могу больше так изводиться с этими мучителями; надо мне всех их отдать в школу».

Миссис Апельсин сняла передник, оделась очень мило, взяла своего грудного ребеночка и пошла с визитом к другой даме, миссис Лимон, содержавшей приготовительную школу. Миссис Апельсин стала на скребок для очистки сапог, чтобы дотянуться до звонка, и позвонила – «рин-тин-тин».

Опрятная маленькая горничная миссис Лимон побежала по коридору, подтягивая свои носки, и вышла на звонок – «рин-тин-тин».

– Доброе утро, – сказала миссис Апельсин. – Сегодня прекрасная погода. Как поживаете? Миссис Лимон дома?

– Да, сударыня.

– Передайте ей, что пришла миссис Апельсин с ребенком.

– Слушаю, сударыня. Войдите.

Ребеночек у миссис Апельсин был очень красивый и весь из настоящего воска. А ребенок миссис Лимон был из кожи и отрубей. Но когда миссис Лимон вышла в гостиную со своим ребенком на руках, миссис Апельсин вежливо сказала:

– Доброе утро. Сегодня прекрасная погода. Как вы поживаете? А как поживает маленькая Пискунья?

– Она плохо себя чувствует. У нее зубки прорезываются, сударыня, – ответила миссис Лимон.

– О! В самом деле, сударыня? – сказала миссис Апельсин. – Надеюсь, у нее не бывает родимчиков?

– Нет, сударыня.

– Сколько у нее зубок, сударыня?

– Пять, сударыня.

– У моей Эмилии восемь, сударыня, – сказала миссис Апельсин. – Не положить ли нам своих деток рядышком на каминную полку, пока мы будем разговаривать?

– Очень хорошо, сударыня, – сказала миссис Лимон. – Хм!

– Мой первый вопрос, сударыня: я вам не докучаю? – спросила миссис Апельсин.

– Нисколько, сударыня! Вовсе нет, уверяю вас, – ответила миссис Лимон.

– Тогда скажите мне, пожалуйста, у вас есть... у вас есть свободные вакансии? – спросила миссис Апельсин.

– Да, сударыня. Сколько вакансий вам нужно?

– По правде говоря, сударыня, – сказала миссис Апельсин, – я пришла к заключению, что мои дети, – (ох, я и забыла сказать, что в этой стране всех взрослых называют детьми!), –

⁹⁰ Шести с половиной лет. (Прим. автора.)

что мои дети мне прямо до смерти надоели. Дайте подумать. Двое родителей, двое их близких друзей, один крестный отец, две крестных матери и одна тетя. Найдется у вас восемь свободных вакансий?

– У меня их как раз восемь, сударыня, – ответила миссис Лимон.

– Какая удача! Условия умеренные, я полагаю?

– Весьма умеренные, сударыня.

– Питание хорошее, надеюсь?

– Превосходное, сударыня.

– Неограниченное?

– Неограниченное.

– Очень приятно! Телесные наказания применяются?

– Как вам сказать... Иногда приходится встряхнуть кого-нибудь, – сказала миссис Лимон, – бывает, что и шлепнешь. Но лишь в исключительных случаях.

– Нельзя ли мне, сударыня, осмотреть ваше заведение? – спросила миссис Апельсин.

– С величайшим удовольствием покажу вам, сударыня, – ответила миссис Лимон.

Миссис Лимон повела миссис Апельсин в класс, где сидело много воспитанников.

– Встаньте, дети, – сказала миссис Лимон, и все встали.

Миссис Апельсин прошептала миссис Лимон:

– Вон тот бледный лысый ребенок с рыжими бакенбардами, он, должно быть, наказан.

Можно спросить, что он натворил?

– Подойдите сюда, Белый, и скажите этой леди, чем вы занимались, – сказала миссис Лимон.

– Играл на бегах, – хмуро ответил Белый.

– Вам грустно, что вы так плохо вели себя, непослушное дитя? – спросила миссис Лимон.

– Нет, – сказал Белый, – мне грустно проигрывать, а выиграть я не прочь.

– Вот какой противный мальчишка, сударыня! – сказала миссис Лимон. – Ступайте прочь, сэр! А вот это Коричневый, миссис Апельсин. Ох, какой он несносный ребенок, этот Коричневый! Ни в чем не знает меры. Такой прожорливый! Как ваша подагра, сэр?

– Скверно, – ответил Коричневый.

– Чего же еще ожидать? – сказала миссис Лимон. – Ведь вы едите за двоих. Сейчас же ступайте побегайте. Миссис Черная, подойдите ко мне поближе. Ну и ребенок, миссис Апельсин! Вечно она играет. Ни на один день ее не удержишь дома; вечно шляется где-то и портит себе платье. Играет, играет, играет, играет с утра до ночи и с вечера до утра. Можно ли ожидать, что она исправится?

– Я и не собираюсь, – дерзко проговорила миссис Черная. – Вовсе не хочу исправляться.

– Вот какой у нее характер, сударыня, – сказала миссис Лимон. – Поглядишь, как она носится туда-сюда, забросив все свои дела, так подумаешь, что она хотя бы добродушная. Но нет, сударыня! Это такая дерзкая, нахальная девчонка, какой вы в жизни не видывали!

– У вас с ними, должно быть, куча хлопот, сударыня? – сказала миссис Апельсин.

– Ах, еще бы, сударыня! – сказала миссис Лимон. – Ведь у них такие характеры, они так ссорятся, никогда не знают, что для них полезно, вечно хотят командовать... нет, избавьте меня от таких неразумных детей!

– Ну, прощайте, сударыня, – сказала миссис Апельсин.

– Ну, прощайте, сударыня, – сказала миссис Лимон.

Затем миссис Апельсин взяла своего ребеночка, отправилась домой и объявила своим детям, которые ей так досаждали, что она всех их поместит в школу. Они сказали, что не хотят ехать в школу; но она уложила их сундуки и отправила их вон из дома.

– Ох, ох, ох! Теперь отдохну и успокоюсь! – сказала миссис Апельсин, откинувшись на спинку своего креслица. – Наконец-то я отделалась от этих беспокойных сорванцов, слава тебе господи!

Тут другая дама, миссис Девясил, пришла с визитом и позвонила у входной двери – «рин-тин-тин».

– Милая моя миссис Девясил, – сказала миссис Апельсин, – как поживаете? Пожалуйста, пообедайте с нами. У нас будет только вырезка из пастилы, а потом просто хлеб с патокой, но если вы не побрезгаете нашим угощением, это будет *так* любезно с вашей стороны!

– С удовольствием, – сказала миссис Девясил. – Буду очень рада. Но как вы думаете, зачем я к вам пришла, сударыня? Догадайтесь, сударыня.

– Право, не могу догадаться, сударыня, – сказала миссис Апельсин.

– Вы знаете, я нынче вечером собираюсь устроить маленькую детскую вечеринку, – сказала миссис Девясил, – и если вы с мистером Апельсином и ребеночком придете к нам, мы будем в полном составе.

– Я просто в восторге, уверяю вас! – сказала миссис Апельсин.

– Как это любезно с вашей стороны! – сказала миссис Девясил. – Надеюсь, детки вам не наскучат?

– Ах, милашки! Вовсе нет, – ответила миссис Апельсин. – Я в них души не чаю.

Тут мистер Апельсин вернулся домой из Сити, и он тоже вошел, позвонив – «рин-тин-тин».

– Джеймс, друг мой, – сказала миссис Апельсин, – у тебя усталый вид. Что сегодня делалось в Сити?

– Играли в лапту, в крикет и в мяч, дорогая, а от этого прямо из сил выбиваешься, – ответил мистер Апельсин.

– Уж это мне противное, беспокойное Сити! – сказала миссис Апельсин, обращаясь к миссис Девясил. – Как там утомительно, правда?

– Ах, так трудно! – сказала миссис Девясил. – Последнее время Джон спекулировал на кольцах от волчков, и я часто говорила ему по вечерам: «Джон, да стоит ли это всех трудов и усилий?»

К тому времени поспел обед, поэтому все сели за стол, и мистер Апельсин, разрезая кусок пастилы, сказал:

– Только низкая душа никогда не радуется. Джейн, спуститесь в погреб и принесите бутылку лучшего имбирного пива.

Когда пришла пора пить чай, мистер и миссис Апельсин с ребеночком и миссис Девясил отправились к миссис Девясил. Дети еще не пришли, но бальный зал для них был уже готов и разукрашен бумажными цветами.

– Какая прелесть! – сказала миссис Апельсин. – Ах, милашки! Как они обрадуются!

– А вот я детьми не интересуюсь, – сказал мистер Апельсин и зевнул.

– Даже девочками? – сказала миссис Девясил. – Полно! Девочками-то вы интересуетесь!

Мистер Апельсин покачал головой и опять зевнул.

– Все – вертихвостки и пустышки, сударыня!

– Милый Джеймс, – вскричала миссис Апельсин, оглядевшись по сторонам, – взгляни-ка сюда! Вот тут в комнате, за дверью, уже приготовлен ужин для милашек. Вот для них немножко соленой лососины, гляди! А вот для них немножко салата, немножко ростбифа, немножко курятины, немножко печенья и чуть-чуть-чуть шампанского!

– Да, сударыня, – сказала миссис Девясил, – я решила, что лучше им ужинать отдельно. А наш стол вон там в углу, и здесь джентльмены смогут выпить рюмку горячего вина с сахаром и водой и скушать сэндвич с яйцом, а потом спокойно поиграть в карты и посмотреть на детей. А у нас с вами, сударыня, будет дела по горло: ведь нам придется занимать гостей.

– О, еще бы, надо думать! Дела хватит, сударыня, – сказала миссис Апельсин.

Начали собираться гости. Первым пришел толстый мальчик с седым коком и в очках. Горничная привела его и сказала:

– Приказано передать привет и спросить, в котором часу за ним прийти.

На это миссис Девясил ответила:

– Никак не позже десяти. Как поживаете, сэр? Входите и садитесь.

Потом пришло множество других детей: мальчики в одиночку, девочки в одиночку, мальчики и девочки вместе.

Они вели себя очень нехорошо. Некоторые смотрели на других в монокли и спрашивали: «Это кто такие? Я их не знаю». Некоторые смотрели на других в монокли и говорили: «Как живете?» Некоторым подавали чашки чая или кофе, и они говорили: «Благодарю, весьма!» Многие мальчики стояли столбом и теребили воротнички своих рубашек. Четыре несносных толстых мальчика упорно стояли в дверях, разговаривая про газеты, пока миссис Девясил не подошла к ним и не сказала:

– Не мешайте людям входить в комнату, милые мои, этого я никак не могу вам позволить. Если вы будете путаться под ногами, то, как ни грустно, а придется мне отправить вас домой.

Один мальчик, с бородой и в широком белом жилете, стал, широко расставив ноги, на каминном коврикe и принялся греть перед огнем фалды своего фрака, так что его действительно пришлось отправить демон.

– Это в высшей степени неприлично, милый мой, – сказала миссис Девясил, выводя его из комнаты, – и я не могу этого допустить.

Заиграл детский оркестр – арфа, рожок и рояль, – а миссис Девясил вместе с миссис Апельсин засновали среди детей, уговаривая их приглашать дам и танцевать. Но дети были такие упрямые! Очень долго невозможно было убедить их, чтобы они пригласили дам и стали танцевать. Большинство мальчиков говорило: «Благодарю, весьма! Но не сейчас». А большинство других мальчиков говорило: «Благодарю, весьма! Но не танцую».

– Ох, уж эти дети! Всю душу вымотают! – сказала миссис Девясил, обращаясь к миссис Апельсин.

– Милашки! Я в них души не чаю, но они и в самом деле могут всю душу вымотать, – сказала миссис Апельсин, обращаясь к миссис Девясил.

В конце концов дети начали медленно и печально скользить под звуки музыки, но и тут они не желали слушаться, а упорно стремились танцевать именно с этой дамой и ни за что не хотели танцевать с той дамой, да еще сердились. И они не желали улыбаться, нет, ни за что на свете; а когда музыка умолкала, все ходили и ходили вокруг комнаты гнилыми парами, словно все остальные умерли.

– Ох, до чего же трудно занимать этих противных детей! – сказала миссис Девясил, обращаясь к миссис Апельсин.

– Я в них души не чаю, в этих милашках, но, правда, трудно, – сказала миссис Апельсин, обращаясь к миссис Девясил.

Надо сознаться, это были очень невоспитанные дети. Сначала они не желали петь, когда их просили петь; а потом, когда все уже убеждались, что они не будут петь, они пели.

– Если вы споете нам еще одну такую песню, милая, – сказала миссис Девясил высокой девочке в платье из сиреневого шелка, украшенном кружевами и с огромным вырезом на спине, – мне, как ни грустно, придется предложить вам постель и немедленно уложить вас спать!

В довершение всего девочки были одеты так нелепо, что еще до ужина платья их превратились в лохмотья. Ведь мальчики волей-неволей наступали им на шлейфы. И все-таки, когда им наступали на шлейфы, девочки опять сердились, и вид у них был такой злой, такой злой! Однако все они, видимо, обрадовались, когда миссис Девясил сказала: «Дети, ужин готов!» И они пошли ужинать, толпясь и толкаясь, словно дома за обедом ели только черствый хлеб.

– Ну, как ведут себя дети? – спросил мистер Апельсин у миссис Апельсин, когда та пошла взглянуть на своего ребеночка.

Миссис Апельсин оставила ребеночка на полке поблизости от мистера Апельсина,

который играл в карты, и попросила его присмотреть за дочкой.

– Очаровательно, дорогой мой! – ответила миссис Апельсин. – Так смешно смотреть на их ребяческий флирт и ревность! Пойдем посмотрим!

– Очень благодарен, милая, – сказал мистер Апельсин, – но кто как, а я детьми не интересуюсь.

И вот, убедившись, что ребенок в целости и сохранности, миссис Апельсин пошла одна, без мистера Апельсина, в комнату, где ужинали дети.

– Что они теперь делают? – спросила миссис Апельсин у миссис Девясил.

– Произносят речи и играют в парламент, – ответила миссис Девясил миссис Апельсин.

Услышав это, миссис Апельсин сейчас же вернулась к мистеру Апельсину и сказала:

– Милый Джеймс, пойдем! Дети играют в парламент.

– Очень благодарен, дорогая, – сказал мистер Апельсин, – но кто как, а я не интересуюсь парламентом.

Тогда миссис Апельсин снова пошла одна, без мистера Апельсина, в комнату, где ужинали дети, посмотреть, как они играют в парламент. Тут она услышала, как один мальчик закричал: «Правильно, правильно, правильно!», а другие мальчики закричали: «Нет, нет!», а другие: «Ближе к делу!», «Хорошо сказано!» и вообще всякую немыслимую чепуху. Затем один из тех несносных толстых мальчиков, которые загоразивали вход, сказал гостям, что он встал на ноги (как будто они сами не видели, что он встал на ноги, а не на голову или на что-нибудь другое!), встал на ноги для того, чтобы объясниться и с разрешения своего глубокоуважаемого друга, если тот позволит ему называть его так (другой несносный мальчик поклонился), он начнет объясняться. Затем несносный толстый мальчик начал долго бормотать без всякого выражения (и совсем непонятно) про то, что он держит в руке бокал; и про то, что он пришел нынче вечером в этот дом выполнить, он бы сказал, общественный долг; и про то, что в настоящее время он, положив руку (другую руку) на сердце, заявляет глубокоуважаемым джентльменам, что собирается открыть дверь всеобщему одобрению. Тут он открыл эту дверь словами: «За здоровье хозяйки!» и все остальные сказали: «За здоровье хозяйки!» – а потом закричали «Ура». После этого другой несносный мальчик начал что-то бормотать без всякого выражения, а после него еще несколько шумливых и глупых мальчиков забормотали все сразу.

Но вот миссис Девясил сказала:

– Не могу больше выносить этот шум. Ну, дети, вы очень мило поиграли в парламент; но в конце концов и парламент может наскучить, так что пора вам перестать, потому что скоро за вами придут.

Затем потанцевали еще (причем шлейфы девочек рвались даже больше, чем до ужина), а потом за детьми начали приходиться, и вам будет очень приятно узнать, что несносного толстого мальчика, который «встал на ноги», увели первым без всяких церемоний. Когда все они ушли, бедная миссис Девясил повалилась на диван и сказала миссис Апельсин:

– Эти дети сведут меня в могилу, сударыня... Непременно сведут!

– Я просто обожаю их, сударыня, – сказала миссис Апельсин, – но они, правда, очень уж надоедают.

Мистер Апельсин надел шляпу, а миссис Апельсин надела шляпку, взяла своего ребеночка, и они отправились домой. По дороге им пришлось проходить мимо приготовительной школы миссис Лимон.

– Интересно знать, милый Джеймс, – сказала миссис Апельсин, глядя вверх на окно, – спят они теперь, наши драгоценные детки, или нет?

– Ну, я-то не особенно интересуюсь, спят они или нет, – сказал мистер Апельсин.

– Джеймс, милый!

– Ты-то ведь в них души не чаешь, – сказал мистер Апельсин. – А это большая разница.

– Не чаю! – восторженно проговорила миссис Апельсин. – Ох, просто души не чаю!

– А я нет, – сказал мистер Апельсин.

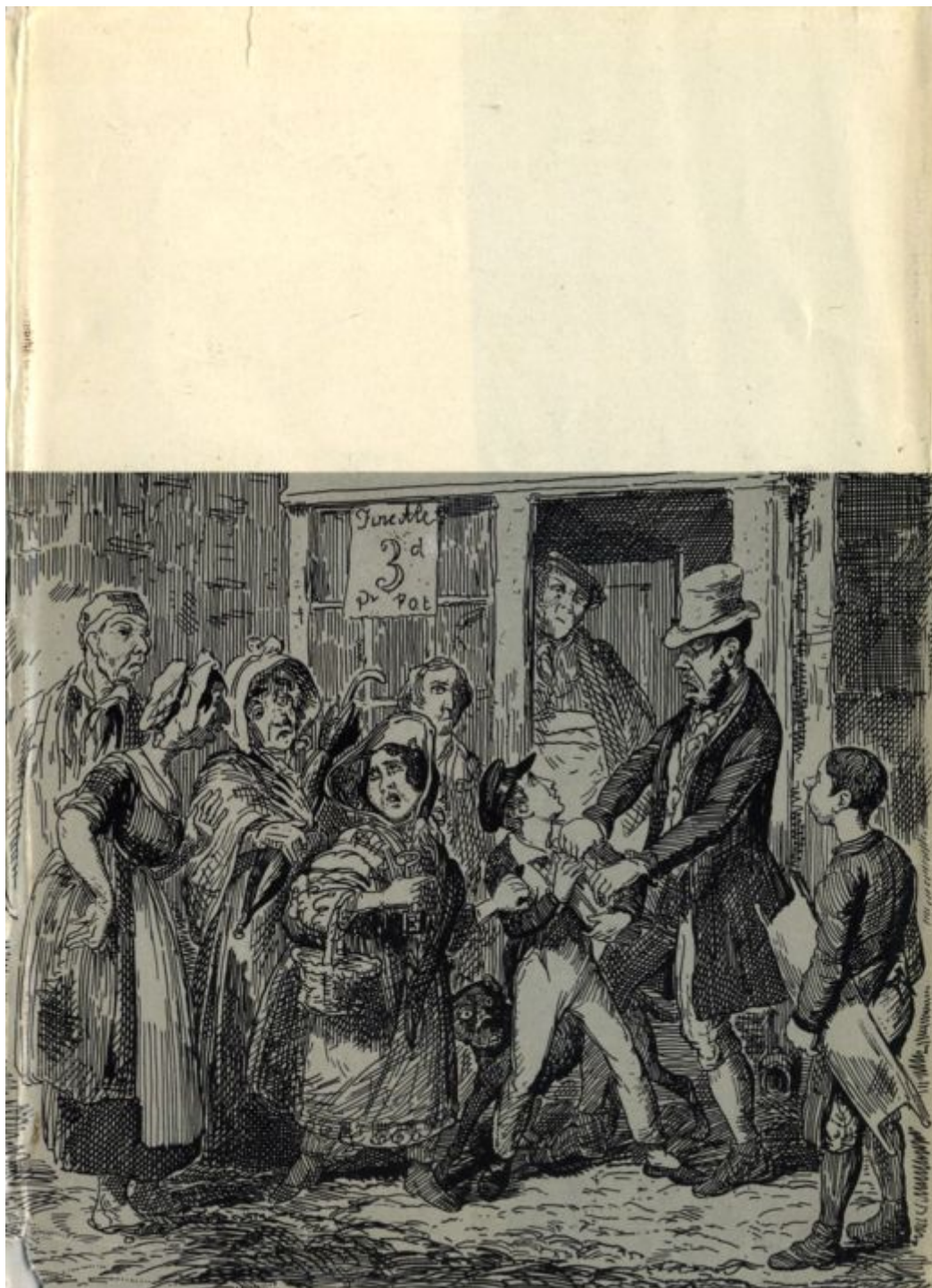
– Но вот о чем я думала, милый Джеймс, – сказала миссис Апельсин, сжимая ему

руку, – может быть, наша милая, добрая, любезная миссис Лимон согласится оставить у себя детей на каникулы.

– Если ей за это заплатят, бесспорно согласится, – сказал мистер Апельсин.

– Я обожаю их, Джеймс, – сказала миссис Апельсин, – так давай заплатим ей!

Вот почему эта страна дошла до такого совершенства и жить в ней было так чудесно. Взрослых людей (как их называют в других странах) вскоре совсем перестали брать домой на каникулы, после того как мистер и миссис Апельсин не стали брать своих; а дети (как их называют в других странах) держали их в школе всю жизнь и заставляли слушаться.



ЧАРЛЬЗ
ДИККЕНС

